

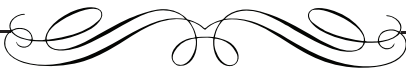
Кемеровский государственный университет культуры и искусств

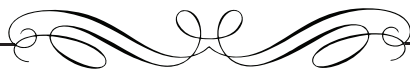
Университет Культуры

Литературно-художественный журнал

№ 1–2/2012

Кемерово 2012





Редакционный совет

Е. Л. Кудрина – ректор Кемеровского государственного университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

А. В. Шунков – проректор по научной и инновационной деятельности, кандидат филологических наук, доцент.

В. И. Бедин – советник при ректорате, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Редакционная коллегия

И. А. Куралов – главный редактор, член Союза писателей России, заместитель председателя Союза писателей Кузбасса, руководитель литературной студии КемГУКИ, лауреат премии имени В. Д. Фёдорова.

В. С. Еременко – член Союза писателей России, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников.

М. В. Литовченко – заведующая кафедрой русского языка и литературы КемГУКИ, кандидат филологических наук, доцент.

Е. Л. Мироненко – доцент кафедры литературы и русского языка, кандидат филологических наук.

Э. М. Афанасьева – доцент кафедры литературы и русского языка, кандидат филологических наук.

Ю. В. Подковырин – старший преподаватель кафедры литературы и русского языка, кандидат филологических наук.

А. А. Лушпей – старший преподаватель кафедры литературы и русского языка.

Издание осуществлено в рамках проекта «Русский язык в пространстве межкультурных коммуникаций», реализуемого кафедрой литературы и русского языка КемГУКИ.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации **ПИ № ТУ 42-00219**, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области от **07 мая 2010 г.**

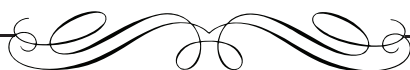
Цена свободная

Редакторы: *Н. Ю. Мальцева, Т. В. Сафарова*
Компьютерная верстка: *М. Б. Сорокиной*

Подписано к печати 31.10.2012. Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman».
Уч.-изд. л. 31,4. Усл. печ. л. 38,13. Тираж 500 экз. Заказ № 1027.
Издательство КемГУКИ: 650029, г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 19. Тел. 73-45-83.
E-mail: izdat@kemguki.ru

ISSN 2079-1917

© Кемеровский государственный
университет культуры и искусств, 2012
© И. А. Куралов, А. В. Шунков, составление, 2012



Содержание

<i>Иосиф Куралов. Слава Кузбасса</i>	<i>4</i>

Проза

<i>Александр Волошин. Земля Кузнецкая. Роман</i>	<i>6</i>
<i>Юлия Лавряшина. Московское фламенко. Роман. Фрагмент</i>	<i>254</i>

Поэзия

<i>Василий Федоров. По главной сути</i>	<i>162</i>
<i>Евгений Буравлев. Биография начиналась так</i>	<i>167</i>
<i>Михаил Небогатов. Красота земли родной</i>	<i>174</i>
<i>Виктор Баянов. Я не прошу иной судьбы</i>	<i>180</i>
<i>Валентин Махалов. Как самое первое чудо</i>	<i>186</i>
<i>Игорь Киселев. И качнутся почки, набухая силой</i>	<i>191</i>
<i>Любовь Никонова. Сердце ловит намеки на чудо</i>	<i>197</i>
<i>Никола Инджов. Цветочницам на память – по веточке левкоя</i>	<i>214</i>
<i>Геннадий Юров. Родина и Природа</i>	<i>220</i>
<i>Борис Бурмистров. Свет переходит из дальнего в ближний</i>	<i>225</i>
<i>Валерий Зубарев. В озарении внезапном</i>	<i>229</i>
<i>Иосиф Куралов. Я на небе прочел</i>	<i>234</i>
<i>Владимир Еременко. Зеленая ветка стиха</i>	<i>241</i>
<i>Сергей Донбай. Дверь открой посредине России</i>	<i>244</i>
<i>Александр Катков. Это родина – синие ставни</i>	<i>248</i>

Публицистика

<i>Владимир Чивилихин. Как вам дышится, горожане? Слово о кедре. В тени деревьев</i>	<i>201</i>
<i>Влад Ривлин. Фрагменты жизни. Миниатюры</i>	<i>312</i>

Воспоминания

<i>Зинаида Волошина. Время любви и надежд</i>	<i>156</i>

Изобразительное искусство

<i>Марина Чертогова. Первый (О творчестве художника Александра Кирчанова)</i>	<i>326</i>

Глава Кузбасса

В январе 2013 года исполняется 70 лет Кемеровской области. Очередной номер журнала «Университет Культуры» посвящен этому большому событию в жизни Кузбасса и России.

Кемеровская область была создана в 1943 году, когда шла Великая Отечественная война. В роковые сороковые все силы наших соотечественников были направлены на достижение одной на всех цели – Победы. Кемеровская область с первых дней жизни стала одной из основных кузниц страны, в которых ковалась наша Великая Победа.

После Победы, в которую Кузбасс внес огромный вклад, наша область стала опорным краем России. Уголь, металл, продукция химической промышленности были востребованы и в стране, и за рубежом.

Но не только промышленной продукцией и природным сырьем известен и богат наш край. Богат Кузбасс, прежде всего, людьми. В том числе людьми творческими – писателями, художниками, артистами, музыкантами, которые с первых дней создания Кемеровской области начали отражать в своих произведениях сложную, многоцветную, освещенную трудовым горением, полную высокого смысла жизнь своих земляков.

Особый вклад в создание объемной картины жизни Кузнецкой земли и ее людей внесли поэты, прозаики, публицисты, художники. Имена их известны всей стране.

Закономерно будет назвать первым в этом ряду имя Александра Волошина. Автора монументального произведения – романа о Кузнецкой земле, названного ее именем – «Земля Кузнецкая». Роман был по достоинству оценен современниками – и рядовыми читателями, и правительством. За этот роман Александру Волошину в 1949 году была присуждена высшая награда того времени, присуждавшаяся за произведения литературы и искусства, – Сталинская премия. Литературоведами высказывалась точка зрения, что с этого романа началась большая литература, создававшаяся и до сих пор создающаяся в Кемеровской области. Нет оснований не согласиться с этим мнением.

Нельзя не назвать в этом прекрасном ряду, олицетворяющем Славу Кузбасса, имена таких выдающихся поэтов и прозаиков, как Василий Федоров, Владимир Чивилихин, Евгений Буравлев, Михаил Небогатов, Игорь Киселев, Виктор Баянов, Валентин Махалов, Любовь Никонова, художника Александра Кирчанова. Эти ярко талантливые и поистине великие люди уже завершили свои земные дела. Они ушли, оставив бессмертные строки и картины, которые отражают Славу Кузбасса и сами являются его славой.

Представлены в номере произведения и современных писателей России, живущих в Кузбассе и за его пределами. Приятно сознавать, что в их числе – выпускники Кемеровского государственного университета культуры и искусств и его педагоги – нынешние и работавшие в вузе.

Являясь одним из инструментов ведения культурной политики вуза в России и за рубежом, журнал продолжает публиковать произведения своих иностранных авторов.

Замечательно, что творческие замыслы, воплощенные в журнале, получают поддержку на региональных конкурсах университетской книги. Уже третий раз журнал стал лауреатом конкурса в номинации «Литературно-художественное издание».

Посвящая этот номер журнала «Университет Культуры» Славе Кузбасса, редколлегия надеется, что он, вместе с другими номерами, когда-то тоже станет частью этой Славы.

Хочется верить, что весомая подшивка номеров журнала послужит современным и будущим читателям в постижении творчества прекрасных писателей и художников, живущих и живших в Кузбассе, России и за ее рубежами.

*Иосиф Куралов,
главный редактор журнала
«Университет Культуры»*

Александр Волошин



Волошин Александр Никитич (1912–1978) – русский советский писатель, автор многих книг. Лауреат Сталинской премии (1949). Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Член Союза писателей СССР с 1950 года. Именем Александра Волошина названа премия Кемеровской области, которой награждаются писатели за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения в прозе, драматургии, публицистике, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Кузбасса.

Земля Кузнецкая

ПРОЛОГ

И разыгралось же сердце у каждого воина, когда эшелон, перевалив пограничный рубеж, помчался по родной земле. Сгрудившись у открытых дверей вагонов, солдаты молча глядели на израненные поля. Синий дымок вился за дальним лесом, редкие сизые облака ползли на запад, багровея в лучах заходящего солнца. Каждый вдруг понял, что давно в его жизни не было и таких обыкновенных туч, и такого розового заката, и кудрявых дымочков за лесом.

Родина! Сколько сынов не вернулось в твои просторы!..

– Заяц! Смотрите, заяц! – кричит сержант Данилов и, сорвав с головы пилотку, показывает на прыгающий по зеленому полю комочек.

Долго в этот вечер не ложились спать. Сперва беседовали под торопливый перестук колес, потом в несколько голосов пели «Шумел камыш, деревья гнулись». И про Ермака пели, и про славное море Байкал. Пели, томимые ожиданием скорых встреч.

Дверь не закрывали, и в бледном проеме ее до поздней ночи маячила небольшая фигурка Степана Данилова. Этот парень с беленьким вихорком, упрямо торчавшим из-под пилотки, отличался удивительной непоседливостью. Но это была не детская непоседливость, а горячее желание поскорее присмотреться к родной земле, надышаться ее ароматами. Маленький, крепко сбитый Данилов очень прямо носил свою русую вихрастую голову. На его узком подвижном лице светились синие пристальные глаза. Стоило поезду остановиться, будь то рано утром или поздно вечером, он прыгал с подножки и сразу куда-нибудь бежал. Зато в вагоне все точно знали фамилию паровозного машиниста (37 лет стажа!), знали, что у этого старика племян-

ница учиться в московской театральной школе, а кроме племянницы, никого нет – всех немцы порешили.

Данилов же сообщил, что первая узловая станция после границы будет утром.

А утром он вдруг исчез. Сначала этому не придали значения. Ну нет и нет человека, едет, значит, в соседнем вагоне или на тормозе. Но к вечеру всем стало не по себе. Аккордеоном заняться было некому, новостей не было.

– Вот якорь-то, отстал парень, – сокрушенно посетовал старый солдат Алексеев.

– Наверняка влюбился, – полушутя сказал Григорий Вошин. – Помните, когда еще из Германии тронулись, он заявил: «Как перееду границу – в первую же русскую девчонку влюблюсь!»

Только через двое суток, уже в Смоленске, Данилов явился в вагон и, ни слова не говоря, завалился на верхние нары. Выспавшись, он не торопясь съел котелок колхозного варенца, вытер губы, отряхнулся и потянул к себе аккордеон. Но после бойкого перебора вдруг остановился и задумчиво пригладил белый непокорный вихор.

– Был в Овражках, – сказал он негромко. – В сорок первом меня там так стукнуло – полгода валялся в госпитале, до пролежней.

– Ну и как? – насторожился Алексеев.

– Что как? До пролежней, говорю, валялся, вот как. Во мне и сейчас железа сколько угодно.

– Я не о том, – поморщился старый солдат. – Чудак человек, нашел чем хвастать. Я спрашиваю, как Овражки?

– Окоп своего отделения нашел... – Данилов растерянно улыбнулся, словно испугавшись, что его уличат в мальчишеском легкомыслии.

Но солдаты выжидающе молчали.

– Там, где первое отделение воевало, картошку посадили, а у самого моего окопа сад разводят... Вот люди! – Данилов помолчал и задумчиво добавил: – Жарко там было, черт!

На лицах демобилизованных появились не смелые улыбки.

– Видишь ты... – удивился Алексеев. – Сад!

Но Данилов уже встряхнулся и широко развел мехи аккордеона.

В Москве эшелон расформировали. Четверо сибиряков-попутчиков и дальше, уже пассажир-

ским поездом, тронулись вместе. Сапер Моисеев, пожилой пехотинец Черкасов и Вошин – кряжистый широколицый связист ехали в Кузбасс, Данилов же был родом из Новосибирска.

Проворный маленький сержант занял верхнюю полку и залег там. Теперь он не бегал, а лежал чуть ли не по целым суткам, хотя духота в вагоне была нестерпимая.

За Уралом распахнулась необъятная сибирская ширь. Зеленые степи с голубыми осколками озер медленными кругами поворачивались за окном вагона. Солдаты стали заметно молчаливее. Вошин и Черкасов, оба одинаково обстоятельные, только тем и выдавали свое нетерпение, что чаще обыкновенного перекладывали в солдатских вешевичках скромные гостинцы для домашних. Моисеев из Прокопьевска часто изумленно оглядывался и, потирая руки, говорил:

– А ведь кончилось!.. Товарищи! Вот, ей-богу, чудеса!

– Сиди уж! – подал однажды голос Данилов. – Все никак не опомнишься! Наш народ не впервой такие чудеса творит.

– Нет, в самом деле, воевал, воевал...

– А соображаешь туго! – снова поддел Данилов.

Моисеев сердито потянул себя за длинный прокуренный ус, но потом махнул рукой и вполголоса предложил, подмигнув:

– Выпьем?

Впятером скромненько выпили, разложив на газете пайковую селедку, яйца вкрутую и кусочки холодного мяса.

Только что миновали Омск. Слегка захмелев, Данилов рассказывал, как он познакомился с Вошиным.

– Ты молчи, молчи! – строго прикрикнул он на связиста, когда тот попытался возразить что-то. – Раз было дело, значит должен я рассказать, тем более что уважаю тебя... А было это двадцать девятого апреля. Мы уже в самом центре Берлина дрались. Лейтенанта нашего у Темпельгофа поранило, а капитана Рогова еще на Одере. Я командовал взводом, а во взводе четыре человека, если меня самого считать.

Утром передают приказ: «Вперед!» По улице немцы бьют из крупнокалиберного, да как! Перебежали мы до угла на Кирхенплатц. Смо-

трю, у крыльца, посреди известки и кирпичей, двое наших лежат. Убитые. А третий, неизвестный солдат стоит и не хоронится. Пули тренькают, чиркают обо что ни попадя, а этот солдат стоит и плачет, плачет и ругается: «Сволочи, – говорит, – ребят наших загубили. Всю войну бились вместе... Сволочи, засели вон под тем танком и подыхать добром не желают!»

– Будет тебе, – смущенно останавливает Вошин рассказчика. – С кем не бывало, сам знаешь...

– Все знаю, ты помолчи! – продолжает Данилов. – Так вот. «Подожди, – говорю я солдату, – размокнешь еще, чего доброго, дай оглядеться...»

Отдышался. В глазах свет прояснился. Небо на востоке чистое, будто его умыли. А на западе туча на тучу громоздится. Над головами гудит – это наши тяжелые идут. Идут эшелонами и, немного не дотянув до своего переднего края, разом ныряют. Посмотришь – даже голова в плечи уходит. Но бомбы точно следуют во вражеский адрес.

Берлин охает, гарью воняет. «Ага, – думаю, – это вам за Сталинград, за Овражки, будьте вы прокляты!» Говорю своим ребятам: «Видите угол, под которым танк завалился? Ну, вот нам хоть землю зубами грызи, а нужно хлопнуть фашистов, которые выстрачивают оттуда». Командую больше для бодрости духа: «Справа по одному!»

А справа у меня только один Колька Грачев – маленький, в чем душа, но въедливый, как клещ. Только крикнул я, как на нашу голову столько штукатурки посыпалось – уму непостижимо! Переждали. А чуть утихло – Колька Грачев метнулся на тротуар и за тумбу. По нему и давай щелкать. Парень только головой мотает. Убьют, думаю, стервецы. А солдат, который плакал, тянет меня за ногу и просит: «Сержант, а сержант, дай я сам...» – «Поди ты, – говорю, – к черту, плакса! Не мешай серьезным людям воевать».

И вдруг этот плакса вскакивает, как на пружинах, и в окно, – только его и видели. А мой Грачев забрался уже в воронку от бомбы, в аккурат посреди улицы, но из воронки головы показать не может. У нас, у троих, положение не лучше.

Так четверть часа прошло, не меньше, – и вдруг на обломке балкона, прямо над головами немцев, показался наш незнакомый солдат. Я просто ахнул. Еще какая-то минута – солдат поднимается во весь рост и замахивается.

За танком взрыв, другой!.. Бежим туда. А там уже все аккуратно сработано. Солдат стоит и шатается. «Я, – говорит, – тут им... закончил войну...» – говорит и падает.

– Вот и вся история, – усмехается Данилов, – хотя не совсем вся, потому что, когда я этого солдата провожал в санбат, произошел один интересный разговор, но об этом как-нибудь потом.

– Правильно, – облегченно вздыхает Вошин.

Несколько секунд они с Даниловым глядят в глаза друг другу, потом разом перемигиваются и уж совсем дружелюбно хохочут.

А где-то уже за Барабинском маленький сержант вдруг поднялся ночью, беспокоино потоптался среди узлов и чемоданов, потом присел рядом с Вошиным.

– Ты понимаешь, друг, – заговорил он вполголоса. – Душа раздваивается. Если в Новосибирске остаться, так что я там буду делать? Ни родных, ни друзей. Голову приткнуть негде. Специальность тоже – знаешь, какая, – парикмахер. Не помирюсь теперь с этим.

– Бывает, – словно сквозь дремоту, но в то же время настороженно промямлил Вошин.

– Во-во! – оживился сержант. – А что если мне податься в Кузбасс? Как думаешь?

– В Кузбасс? – Вошин привстал.

– Ну, конечно, вот чудак!

– Отчего же, можно и в Кузбасс... Только ты же не шахтер, не металлург?

Данилов отмахнулся:

– Это неважно! Кто же шахтером родится?

Разговор заметно обеспокоил Вошина. Он минут пятнадцать поворочался с боку на бок, но так и не заснув, вышел в тамбур.

Звездная широкая ночь неслась за окном все назад, назад... Перелески темными гуртами то подбегали к самому поезду, то стремительно отскакивали прочь. А сквозь грохот колес был отчетливо слышен миллионноголосый стрекот кузнечиков. Казалось, весь мир населен куз-

нечиками, что-то старательно, почти неистово кующими под каждой былинкой, под каждым листочком.

Надышавшись вволю упругим ветром, Вошин отошел в глубь тамбура. Может, он неправ, обманывая Данилова? Может быть, следовало сделать как-то по-другому? Рассказать ему всю правду?

Вошин вспомнил сейчас, как в первую же встречу с Даниловым в Берлине они разговорились по пути в санбат.

– Сибиряки, земляки! – обрадовался Данилов. – Эх, Сибирь, Сибирь... Далеко матушка!

Но Сибирь велика – уточнять стали: откуда? Оказалось, рядом живут – один в Новосибирске, другой в Кузбассе.

– Так ты из Кузбасса? С Березовского рудника? – удивился сержант. – Ну, дорогой, за такой удачей мне нужно всю жизнь гоняться. А ну, подожди, садись. Вот так. А теперь выкладывай: Тоню Липилину знаешь? Есть, есть там такая, не крутись! Знаешь? Я тоже. На Брянском встречались. Ранена там была дважды, потом опять воевала, потом мы потеряли друг друга. Адреса домашнего не имею. Вот горе! Ну?..

– Может, на перевязку сначала? – попробовал увильнуть Вошин.

– Ладно, ладно! – запротестовал Данилов. – Не умрем. Все равно через час в бой. Выкладывай.

Пришлось выкладывать. Тоню Липилину Вошин, конечно, знает, потому что она ему приходится двоюродной сестрой. Известно ему, что девушка воевала, а теперь...

– Адрес? – перебил Данилов.

– Вот и с адресом тоже. Не известен адрес... Скорее всего, переменила она место жительства... – Вошин густо покраснел под неотступным взглядом сержанта.

Разговора по душам не получилось. А когда они возвращались из санбата, Данилов, криво усмехаясь, сказал:

– Значит, сестра? А что ж ты так крутишься, будто тебя припекают? Имей в виду, я ведь все равно после демобилизации съезжу на этот рудник... Такое мое решение.

Трудно пришлось тогда Вошину, да и потом не легче было. Но что он мог сделать? Сказать

всю правду? Сказать, что да, Тоня на руднике, вернее, в соседнем городе, в госпитале, что «не видят ее глазыньки свету белого», как написала однажды тетка Мария?

Нет, это он не мог сделать – нестерпимо жалко было и сестру, и солдата-товарища, невмочь было бы смотреть на то, как в глазах Данилова погаснут теплые огоньки... Пусть уж это как-нибудь по-другому произойдет.

– А может быть, все образуется? – вслух спросил Вошин и, выбросив окуроч в окно, оглянулся.

В двух шагах от него стоял Данилов. Хотел обойти его стороной, но тот только шире расставил ноги.

– Степан, ты твердо решил в Кузбасс? – Сержант даже головой крутнул.

– Твердо. Мне надоело ходить вокруг этого. Давай разом договоримся. Я хочу видеть Тоню, и пусть она сама скажет окончательное слово. Это она скажет, будь уверен. Но еще не в этом вся суть, не потому только еду именно на тот же рудник, что и ты. Есть там такой человек, единственный для меня на всей земле... Гвардии капитан Рогов... – Данилов помолчал, а потом уже тише закончил: – Роднее брата мне этот человек. Расстались еще на Одере. Я должен видеть его. А тебе не буду надоедать, ночевки не попрошу. Вошин гневно надулся.

– Ну-ну! – примирительно толкнул его Данилов. – Знаю, что солдаты порядочная публика. Я хотел только выяснить обстановку.

Едва ли им принес удовлетворение и этот разговор. Но Данилов вновь ожил, бегал на станциях за кипятком, без усталости наигрывал русские, хватающие за сердце, песни и приобрел в вагоне немало почитателей.

От Новосибирска в соседнем купе ехала молодая женщина с шестилетним шустреньким сыночком. Мальчуган сразу же пошел по вагону, с живейшим любопытством прислушиваясь к разговору взрослых и сам охотно завязывая беседы. Но где бы он ни был, чем бы ни занимался, а с первой же минуты не выпускал из виду Данилова с аккордеоном. Чудесный перламутровый инструмент заворожил его. Наконец он осмелился и мимоходом тронул одним только пальцем серебряный клавиш инструмента.

Данилов подмигнул товарищам:

– Серьезный мужик!

Через минуту они познакомились, а через пять подружились. Поэтому довольно легко удалось выяснить, что Валерий очень обстоятельный человек. Во-первых, у него необыкновенная мать, – горный инженер; во-вторых, едут они сейчас из отпуска к себе на рудник, где живет бабушка и где Валерий думает заняться рыбной ловлей. Между прочим, рыбная ловля – это только так, для потехи, а вообще-то он твердо решил тоже стать горным инженером.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что и бабушка у Валерия тоже не такая, как у всех соседских ребятшек.

– Н-е-е-т! – мальчуган машет рукой по адресу всех остальных бабушек и пренебрежительно выпячивает нижнюю губу. Собственная бабушка Валерия – мать-героиня называется. – Только... – Валерий подмигивает и с видом глубочайшей доверительности громко шепчет на ухо Данилову: – Только если по правде, на честное слово, то она никакая не мать, а бабушка.

Это он точно знает. Потому что если мать, то обязательно молодая, красивая, как вот у него.

– Ишь ты! – удивляется Вошин. – А где же твой папка? Тоже на руднике?

От окна быстро повертывается мать Валерия. Глаза у нее большие, испуганные. Сердце Данилова тревожно сжимается. Привстав, он энергично подмигивает Вошину.

– А он воевал с фашистами, он сильный! – охотно восклицает мальчуган. – Ты тоже воевал? А почему папу не видел?

Солдаты переглядываются, лица их словно бы сереют. А Валерий все настойчивее спрашивает:

– Он большой – мой папа... Ты видел его?

– Вот что, дорогой, – спокойно перебивает мальчугана Данилов, – приедешь домой, отправляйся сразу же на рыбалку. А потом учись на инженера. Папа твой вернется – это я точно знаю.

– Ты его видел?

– Видел, родной! – голос сержанта чуть заметно дрогнул, глаза стали пустыми, невидящими. Но он сейчас не глазами, а занывшим сердцем видел тысячи безыменных могил на полях родины, на берегах Буга, Вислы, Одера... Падают дожди на неприметные холмики, поднима-

ются буйные травы вокруг, колосятся необъятные хлебные нивы... – Играй, родной! – Данилов ставит огромный аккордеон Валерию на колени и, заметив благодарную улыбку на лице его матери, отвертывается и долго не может зажечь спичку.

– Да ты не тем концом чиркаешь, – замечает Вошин.

– Оставь! – сурово обрывает сержант.

В Белове, выглянув из окна, Валерий кричит на весь вагон так, что в ушах звенит:

– Мама! За нас трамвай зацепился! Бо-ольшущий!

– Не трамвай, деточка, а электровоз, – тихо объясняет женщина.

Слушая звон детского голоса, Вошин смущенно говорит Данилову:

– Умное дите.

Попетляв на Салаирских горных отрогах, поезд миновал маленькую станцию Артышта. Назад, в ясный предвечерний зной, все быстрее катились зеленые холмы. В открытые окна врывался тугой чистый ветер. Изредка сквозь железную скороговорку колес слышались короткие певучие сигналы электровозов. С грохотом обвала проносились мимо встречные поезда.

– Уголек... – коротко бросал Вошин и с довольным видом поглаживал колено, словно сам добывал этот уголек. – А это металл, с Кузнецкого. И алюминий теперь там делают, и машины, и эти... как их, ферросплавы. Кузбасс!

Светлые тени скользят по лицам солдат, на губах улыбки то появляются, то исчезают, а глаза сосредоточенно-строги.

Каким недостижимо далеким казался родной край, когда в январе 1943 года Вошин мерз трое суток на безыменном снежном увале, в 90 километрах от Орла, когда, не замечая ни обжигающего мороза, ни частых минометных ударов, он ожесточенно долбил каменно-твердую землю, чтобы было за что зацепиться. Далеко был Кузбасс, а ведь даже в самые страшные минуты не покидала надежда снова увидеть эту суровую землю с ее скуповатой, но такой близкой сердцу красотой. Распустив чистые легкие паруса, летит над дальними холмами белое облако. Белые домики, выравняваясь по решетчатым оградкам, поднимаются в гору, ближе к солнцу.

– Новый поселок, до войны не было, – замечает Моисеев и начинает торопливо собираться. – Мне пора, – говорит он, взволнованно покашливая. – Понимаете, как-то вдруг: ехал, ехал, – ждал, ждал, целых пять лет ждал!

На перроне прокопьевского вокзала задушевно простились с этим солдатом. Поезд тронулся дальше. Смеркалось. Народу в вагоне становилось все меньше. В соседнем купе капризничал Валерий и все спрашивал: – А он не уйдет? А он даст поиграть на гармошке? Данилов стоял у окна, медленно приглаживая волосы. Летела мимо смуглая вечерняя земля, взмывали и падали телеграфные провода, ворчали колеса под вагоном: скоро... скоро...

ГЛАВА I

Когда они поднялись на-гора через запасный ходок, с чистого неба падали последние дождевые капли. Упираясь в далекие горы двумя косями столбами ливня, на восток уходило седое облако в розовой шапке.

Закурив, Дробот оглянулся на Рогова

– Чувствуешь, инженер, как землица кузнечка пахнет? Умыло матушку.

С горы виден весь рудник – прямые зеленые улицы, многоэтажные белые дома, квадраты усадеб, вогнутая желтоватая ладонь стадиона и, в двух-трех километрах друг от друга, конусы черных породных отвалов. Отвалы тлеют, над ними стелются сизоватые дымки.

Дробот идет впереди, осторожно ступая по крутой скользкой тропинке. У него неприятная стариковская манера говорить себе под нос. Ему уже за пятьдесят. Приходится до крайности напрягать слух. Очень важно узнать, что он, как начальник шахты, скажет после осмотра трех участков, образующих второй район. Рогов старается не отставать. Но Дробот как будто забыл о деле, идет и принюхивается к винному кислотому запаху прелой сосновой коры, к тонким, еле различимым, ароматам осенних трав, улыбается, распустив мелкие морщинки по широкому костистому лицу. Его седые брови растут прямо вверх, поэтому кажется, что он постоянно чему-то удивляется.

Махнув в сторону рудника, Дробот спрашивает:

– Видишь, выстроились шахтеночки, как на параде? На днях читал в газете стих: «И в царство черных пирамид въезжает, как в Египет!» Насчет царства это хорошо, а про Египет зря: там же пустыня, а у нас не только на земле, а и под землей люди действуют.

Посмотрев на конусообразные терриконики соседних шахт, он лукаво подмигнул:

– Конкуренты! В прошлом году, когда тебя еще не было, договор подписывали. Пыль столбом! Обогнать обещали. Однако дудки! – почти выкрикнул он и круто остановился, вполоборота, одним глазом, уткнувшись в лицо Рогова. – Это я не для лирики. Не люблю порожных слов. Это я для тебя. Дельный ты человек, хотя и беспокойный. Второй месяц приглядываюсь. Может, и придеешься ко двору.

Рогов поморщился. Но Дробот предостерегающе поднял руку.

– Беспокойный, говорю! За все сразу хватаешься. Тут у тебя и цикличность, и крепление, и щиты Чинакала, а про добычу за текущую смену забываешь. Нельзя так. Советую утвердиться на одной мысли: чтоб план был, уголь таскай хоть шапками, хоть горстями.

– И так всю жизнь? – не сдержался Рогов. Дробот, занятый рассуждениями, не обратил внимания на реплику.

– У нашей шахты традиции. Когда в мае чуть не дотянули программу, я выгнал на добычу всю конторскую братию, всех дамочек и кавалеров, – и выпрыгнул ведь! А с цикличностью, со щитами мы, дорогой, успеем. Соседи ведь тоже ничего еще не делают.

Дробот гордился тем, что умеет держать шахту в кулаке, не допуская даже и мысли, чтобы кто-нибудь, без его ведома, что-то переустраивал, что-то перемещал. Так Рогову и было сказано, когда он пришел сюда с назначением на должность районного инженера.

...Вслед за Дроботом и Роговым в кабинет вошел остроглазый чернявенький парень – старший статистик. Не глядя на него, начальник открыл форточку, переставил по-своему, немного наискосок, кресло за столом и, отвернув-

шись к этажерке с пыльными книгами, спросил угрожающе:

– Ну?

– Не виноват, Петр Михайлович... – голос у парня сорвался, как у молодого петуха.

Дробот медленно оглянулся и подвигал бровями.

– Не виноват? Ты у меня эту десятую процента в пригоршнях будешь таскать из шахты! Из самого поганого забоя! Слышишь? В пригоршнях!

Рогов понял, что разговор идет все о той же утренней истории. Старший статистик, передавая сведения о добыче в трест, назвал фактическую цифру. А Дробот, посмотрев сводки с других шахт, обнаружил, что «его хозяйство» фактически отстало на одну десятую процента от соседней. Немедленно же было приказано недостающую дробь дополнительно передать в трест. Но там заартачились, пожаловались управляющему. Дробот взбеленился и обвинил в ошибке «кавалеров из конторы».

– Молчишь?

Парень растерянно переступил с ноги на ногу.

– Я эти несчастные крохи возьму из добычи за сегодняшние сутки, – отчеканил Дробот. – Я вывернусь, а ты запомни: в другой раз кашлянуть вздумаешь – оглянись на меня. Взяли тоже моду: перед государством в ответе я, а командовать каждый лезет. – Дробот махнул рукой. – Отправляйся на место.

Он тут же повернулся к Рогову:

– Забои твои мне понравились. Культурно.

Рогов поймал себя на том, что рад похвале, однако тут же и забыл об этом. Момент был благоприятный, чтобы осуществить мысль, с которой он носился последнее время. Заговорил же с запинкой, словно только сейчас, на ходу, обдумывая предложение:

– Петр Михайлович... что если второму району немного увеличить план?

Дробот недоверчиво фыркнул.

– Это почему такое?

– Вы же видели: две новые лавы нарезаны досрочно – хоть сейчас пускать,

– Ну и пускай! – добродушно усмехается начальник. – Твои лавы нам будут давать пять – шесть процентов...

– Правильно, даже больше!

– Подожди! – Дробот нетерпеливо пожевал сухими губами. – Я говорю: пять – шесть процентов сверх плана. Понимаешь, какой это капитал? Соседи позеленеют! Мы их обязательно обставим, и, может быть, первую скрипку в этом сыграют твои внеплановые лавы. Значит, держи язык за зубами! – Дробот внезапно подмигнул и, захохотав, похлопал Рогова по плечу.

Несколько обескураженный такой беззащитной откровенностью, Рогов с минуту не знал, что сказать. Но, вспомнив, что до завтра едва ли придется с Дроботом встретиться, спросил:

– Петр Михайлович, вы смотрели мою докладную записку? Я считаю дело совершенно неотложным.

– Записку?... – Дробот сделал неопределенный жест. Лицо его потускнело. – Ах да, записку! Не читал, извини, некогда, я же человек дела, солдат, так сказать. Но я передал все это Филенкову. Зайди к нему.

Пока Рогов ждал главного инженера, ему невольно заново припомнился сегодняшний обход участков вместе с начальником шахты. Хорошо все же Дробот знает свое дело, даже завидно! За это, пожалуй, можно простить и его грубоватость, и безапелляционность суждений, и то, как он круто, почти не думая, принимает решения. Только очень уж часто он подчеркивает, выгораживает доброе имя коллектива. Дело тут, по мнению Рогова, было не столько в коллективе, сколько в «добром имени» самого Дробота. А сегодняшняя история с процентами!

Как-то в мимолетном разговоре с Роговым районный инженер Нефедов рассказал, что Дробот попал на «Капитальную» в самом конце войны. Работал он до этого на одной из новостроящихся шахт и, по всему видно, работал неплохо, по крайней мере, слух был, что командовал круто.

– Черт его знает, что с ним случилось – или не сумел перестроиться на мирную созидательную работу, или захотел поспокойней пожить, – Нефедов неприязненно посопел. – В общем, не знаю, как у него получилось, но только дело на «Капитальной» не пошло. Не пошло и только. По-моему, он и здесь все решил

взять одной командой. Понимаете, Павел Гордеевич, как это плохо даже со стороны выглядит?

Несколько раз Дробота «выправляли» и в тресте, и в горкоме, но заметного улучшения не наступало. А время шло, время выдвигало перед шахтой все более трудные, сложные задачи, их нужно было решать по-новому, новыми средствами. Дробот же по-прежнему только командовал и назойливо ссылался на старые добрые традиции шахты, из которых он принимал только одну: во что бы то ни стало выполнять план.

Но и план выполнять становилось все труднее.

— Да в чем же дело? — резко спросил на одном из последних собраний Нефедов. — Давайте разберемся, наконец, в чем же дело! Силы-то у нас те же самые, механизмов больше...

— План на триста тонн увеличили, — ворчливо отозвался Дробот.

— Вопросов мы задаем очень много, а работаем, прямо сказать, вразвалочку, — сказал кто-то из инженеров.

Рассказывая об этом, Нефедов невольно разводит руками:

— Я просто не нашелся что сказать... А сказать нужно было одно — что коллектив по-прежнему самоотверженно бьется за план, но кое-кто из командиров, слишком положившись на Дробота, перестал ясно себе представлять, как надо работать для нового наступления, для решения не только сегодняшних, но и завтрашних задач. Вот в чем дело!

На шахте все чаще назначались ДПД — «дни повышения добычи». В такие дни план действительно перевыполнялся, но для этого сзывали всех вниз, закрывали подсобные цехи. Даже повара шли в забой.

Предлогов для организации ДПД изобреталось множество: то в начале месяца требовался «рывок», то в конце декады «дотягивали», «дожимали». Но эти своеобразные припарки мало помогали делу. Вслед за рывком почти обязательно наступал спад, забои расстраивались, шахту лихорадило.

— Баш на баш выходит, — услышал как-то Рогов замечание пожилого забойщика.

А районный инженер Нефедов однажды пожаловался:

— Суетимся, как сто чертей, — спать некогда. Все есть — и люди, и механизмы, а поразмыслить над работой не умеем.

Рогов попытался сделать первый практический шаг, изложив в своей записке основные, по его мнению, задачи шахты. Задачи, по существу, сводились к одному — увеличить добычу. Средство — цикличность. Но для достижения цикличности необходимо осуществить массу сложных мероприятий. Выискать среди них главное — дело текущего дня.

Дробот, значит, отмахнулся. Ну, что ж, придется заглянуть в душу главного инженера.

В начале беседы с главным инженером Рогов даже усмехнулся — так Филенков был похож на Дробота интонациями, словами. А может быть, он только старался быть похожим? Мало ли командиров на руднике делают это! Филенков сказал:

— Насчет записки? Посмотрю как-нибудь... и, — опоздав скрыть короткую позовоту, раздраженно спросил: — Все ищите, где собака зарыта?

— Ищу, Федор Лукич.

— А вы не думаете, что это немного кустарщиной пахнет?

— Не думаю. А вы?

— Что я!.. — Филенков грузно повернулся в кресле. — Я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Мне некогда воспарять в заоблачные выси.

Рогов насупился и резко спросил:

— А цикличность — это что ж, фантазия, полет за облака?

— Я говорю о реальных возможностях... — нехотя ответил Филенков.

— Так и я тоже! Все мои выводы построены на реальных возможностях. — Рогов обошел вокруг стола и остановился рядом с главным инженером. — Федор Лукич, когда люди говорят о возможностях, которые придут сами собой, мне кажется, они забывают основное в нашей работе: равнение на лучших. Мы же наступаем, значит закрепляться должны на тех рубежах, где оказалась передовая часть.

Филенков почесал толстым мизинцем лысеющую макушку.

— Вот видите, какой вы лихой солдат. Закрепляться начинаете на участке, который — говоря

вашим военным языком – мы еще не штурмовали. Поговорите-ка с нашим Дроботом, сразу встопорщится: «Что? Цикличность? А где возьмем забойщиков? А как транспорт?»

– Но ведь вы главный инженер.

– Знаю... – Филенков усмехнулся. – Этакую новость вы мне преподносите...

Он еще что-то хотел сказать, но тут зазвонили сразу два телефона, и разговор на время прервался.

Главный инженер был лет на десять моложе Дробота: по-видимому, хорошо знал свое дело, но Рогова бесила его малоподвижность, какое-то сонное равнодушие, с которым он относился ко всему, что выходило за рамки так называемой «производственной текучки», что не было предусмотрено дневным рабочим регламентом. Правда, иногда что-то вдруг словно бы вспыхивало в этом неповоротливом, замкнутом человеке, маленькие серые глазки его некоторое время начинали излучать живые искорки, однако тотчас он снова уходил в себя, снова лицо его расслабленно обвисало, и только нижняя прямая губа неизменно и упрямо подпирала верхнюю.

И все же что-то своеобразное было в Филенкове, и это-то и привлекало Рогова. Может быть, богатый практический опыт, к которому с такой жадностью тянулся Рогов. Хотя что стоит этот практический опыт, если он не обогащает людей!

– По существу цикл – простая вещь, особенно если разложить его на элементы, – говорит Рогов, – В сутках три смены. В одну из них лава готовится к добыче: если пласт горизонтальный или полого падающий, он подрубаются врубовкой, в нем бурятся скважины, потом придвигается или, вернее, переносится конвейерный став, кровля подхватывается креплением. Наконец производится отпалка. Следующие две смены качают уголь. Так должно быть.

– Правильно, так должно быть! – охотно согласился Филенков с Роговым. – Но существует мнение, старое и прочное, – его не легко преодолеть, – что «шахта – это не завод, не кондитерская фабрика, здесь место рабочее постоянно передвигается. Следовательно, изменяются условия. Всего не предусмотрить: один раз лаву

готовишь восемь часов, в другой – шестнадцать; один раз уголь «качаешь» две смены, а в другой и в три не управишься».

– Однако вы же не можете так рассуждать! – Рогов требовательно глянул в лицо главного инженера. – Это же вакханалия!

Филенков предостерегающе поднял руку:

– Без громких слов, Павел Гордеевич! Я на «Капитальной» не первый год. За это время мы не меньше десяти раз приступали к забоям с цикличностью.

– И что же? – удивился Рогов.

– Как видите, ничего! – главный инженер почти приветливо улыбнулся. – Правда... – он на минуту задумался, при этом лицо его преобразилось, стало строже, даже чуточку посветлело, – правда, – медленно повторил он, – было у нас гораздо лучше, сильнее... Но это еще при покойном Николае Ильиче... – Филенков снова вздохнул и заметно потускнел. – Положим, «Капитальная» и сейчас тянется, уголек даем не хуже других и без цикла. А для цикличности требуется хороший забойщик. И не один, не десять, а двести шестьдесят... Приходится каждые сутки, каждую смену кроить, изворачиваться.

– И долго придется так изворачиваться?

Филенков развел руками:

– А это уже дело комбината.

– Нет! – Рогов встал. – Нет, Федор Лукич, это наше дело! Люди на шахте есть, их нужно расшевелить. Неужели мы для этого будем ждать каких-то особых указаний?

Филенков вздохнул, оттянул пальцем тугой ворот сорочки, выпятив подбородок, поворачивая шеей, еще раз вздохнул и наконец нехотя согласился:

– Посидите минутку, я при вас прочту докладную. Вначале он читал ее, бегло пробегая глазами, затем, видимо заинтересовавшись, уже медленно и внимательно прочел ее до конца.

– Хорошо, – сказал главный инженер, – своей властью я вам утверждаю один график. Но имейте в виду: за успех не ручаюсь, а перед Дроботом отвечать будете вы...

– Вот ручательств мне как раз и не нужно, – усмехнулся Рогов. – А за график спасибо.

Его обрадовала эта первая маленькая победа.

Начались переговоры с лесным складом, с транспортом. Но если на лесном складе без всяких проволочек согласились давать стандартный крепежник точно по графику, то с подачей порожняка, с откаткой груза дело застопорилось. Тут разговор даже с Дроботом не помог. Пришлось целых два дня ждать возвращения из комбината начальника транспорта Стародубцева.

Со Стародубцевым Рогов был знаком давно. Когда-то они вместе учились в Томском институте. Семен был отличным студентом, веселым товарищем. Вместе защищали дипломные проекты, вместе мечтали о будущем Кузбассе, старались представить, каким он будет через пять, через десять лет. С увлечением занимались разработкой планов сплошной механизации шахт – от забоя до самой последней транспортной операции. Но через два месяца после того как они стали инженерами и приступили к работе, их разлучила война. Когда Рогов возвратился на рудник, он в первую очередь пошел к Стародубцеву.

– Молодец! – обрадовался тот. – Значит, жив? И орденов дай бог каждому! На то ты ведь и шахтер бывший!

– Почему же бывший?

– Ну как же, у вас ведь там была совсем другая наука, от шахты-то она отучила. А вообще не теряйся, мы тут тебя быстро подтянем. Заходи вечерком потолковать и, кстати, благополучное возвращение вспрыснуть.

В тот же вечер Рогов наведлся к однокашнику. Семен Стародубцев успел, оказывается, обзавестись семьей.

– А как же, – басом говорил он, улыбаясь и потирая руки. – Мы хотя и ночей недосыпали, уголек добывая, но и на личном участке не зевали. Имею двух дочерей. Аллочка – годик скоро исполнится – спит. – Семен кивнул в сторону соседней комнаты. – А Верочка – три годика – в гостях у бабушки. Ну и, как ты, очевидно, догадываешься, имею жену. Да я тебя сейчас познакомлю с ней! – спохватился он и негромко окликнул: – Клабочка, ты бы сообразила нам с Павлом Гордеевичем полграфинчика... А, Клабочка?

– Опять за графинчик? Боже мой, когда же конец этому будет? – отозвался из кухни сонный голос.

Семен виновато усмехнулся:

– Строговата она у меня... Извини, брат...

Вспомнили старых знакомых.

– Колька Семенцов? – переспросил Стародубцев и с досадой махнул рукой: – Э, брат, хватилась! Его теперь не достанешь, второй, год трестом заведует. Встретились недавно на совещании и поговорить не смогли.

– Зазнался?

– Да незаметно как будто... Дело, по-моему, в масштабах. У него четыре шахты, а у меня всего подземный транспорт на одной. Слава в этом, сам знаешь, не велика. – Семен лукаво подмигнул. – А ты не крути головой, думаешь – я за славой гонюсь, за орденами? Где уж там! У меня сейчас в чем главная задача? Работать так, чтобы от других не отстать да семью вот обеспечить всем необходимым.

Вспоминая эти сентенции, Рогов невольно приходил к выводу, что он или не знал Стародубцева в студенческие годы, или человек на самом деле неузнаваемо изменился.

Сейчас Рогов прошел в кабинет Стародубцева. Начальник транспорта, не подавая руки, кивнул небрежно.

– Здравствуй. Подожди, я вот разделаюсь с этим партизаном.

«Партизан» – низенький паренек, курносый, с выпуклыми смышленными глазами – стоял перед столом и в упор, но без всякого интереса разглядывал начальника.

– Ну что ты на меня уставился? – крикнул Стародубцев.

Паренек свел губы трубочкой:

– А что мне... Время свободное, вот и уставился.

– Отвечай по существу! Слышишь?

– Слышу.

– Под суд тебя, мальчишку, надо...

– Чего вы меня пугаете? Суд-то советский...

– Видел? – Стародубцев оглянулся на Рогова. – Какой грамотный! Да ты понимаешь... – закричал он, снова обращаясь к парню: – Ты понимаешь, чем это пахнет? Ты знаешь,

в какое время мы работаем? Видишь вон лозунг: «Все силы на выполнение послевоенной пятилетки!» Все силы! А ты что делаешь? Ты не выполняешь приказа...

— Потому что незаконно, — тихо возразил парень. — Мало ли что... Меня учили на забойщика, а вы суετε куда ни попало.

— Тебя государство имеет право послать куда угодно!

— Так то ж государство, а то вы...

Стародубцев вскочил, растерянно потоптался и, наконец, трагическим жестом показав на дверь, прошептал:

— Выйди!

Забойщик степенно пожал плечами и вышел. Начальник транспорта торопливо закурил и начал жаловаться на слабую дисциплину.

— Семен, у меня неотложное дело, — прервал его Рогов.

— С вагонами? — взъерошился Стародубцев. — Не дам! Шахту и так лихорадит — ни днем, ни ночью покоя нет, а тут еще ты со всякими экспериментами.

— Но цикличность не эксперимент!

— Все равно! Не дам! Я и так уж собирался жаловаться на твое самоуправство. Хватаешь порожняк направо и налево, дежурный диспетчер то и дело кричит по телефону: «Опять Рогов!»

— Значит, не дашь?

— И не проси.

Не простившись, Рогов вышел.

ГЛАВА II

Из-за порожняка пришлось все-таки повоевать на следующий день.

— Начальнику пожалуюсь! — крикнул вслед ему транспортный десятник.

— Хоть черту! — добродушно отозвался Рогов, довольный тем, что уголь сегодня пойдет без задержки.

И тут же он услышал доносившийся из полевого штрека сердитый крик Стародубцева. Второй голос принадлежал пожилому, обыкновенно спокойному проходчику Вошину.

— Какое вы начальство? — гудел проходчик. — Какое вы начальство, если в вас сообщения ни на копейку!

— Об этом государству известно, какое я начальство! — кричал Стародубцев. — Поэтому я не позволю...

— Где же государству усмотреть за такими...

— Не позволю! — внезапно взвизгнул Семен, но, увидев Рогова, плюнул. — Вот полюбуюсь: плоды твоего руководства. Этот тип крадет из квершлага четыре рельсовых звена и приспособливает здесь разминовку. Для чего, спрашивается, если в наряде этого не значится?

— Для того чтобы груз не катать за двести метров, — спокойно возразил Вошин и ожесточенно стал вколачивать костыль в шпалу.

— А кто разрешил?

— Это я приказал взять рельсы, — вмешался Рогов и не торопясь начал расспрашивать проходчика о смене.

— Будьте покойны, — отозвался тот, — костыли не хитрое дело заколачивать. По мне, поскорее бы к забою.

— Ну, ладно... — медленно, с угрожающими нотками в голосе проговорил начальник транспорта. — Я, Павел, терпеливо сносил твои фокусы, а теперь хватит! Для меня интересы производства дороже товарищеских отношений. Мы будем говорить где следует!

— Знаешь что... — Рогов так быстро повернулся к Стародубцеву, что луч лампы молнией пробежал по стойкам.

Может быть, и не сдержался бы он сейчас, и поговорили бы они очень крупно, если бы в этот момент из штрека не вывернулся горный мастер.

— Павел Гордеевич, в лаве беда! — еще издали закричал он. — Кровля поползла начисто!

— Ты слышишь? — почему-то обрадовался Стародубцев. — Я же тебя предупреждал, что все твои затеи с цикличностью при кашей кровле — рискованное дело.

Рогов мельком провел лучом по сухому рябоватому лицу Семена, словно вычеркнул его из разговора, и отрывисто стал выспрашивать мастера про обстановку в забое.

Мастер доложил.

— А кто это разрешил вам нарушать технологию? — сдерживая закипевшую ярость, сказал Рогов. — Почему вы... не посадили лаву?

– Что же я могу? – удивился мастер. – Начальник участка приказал, делать еще две отпалки. Я ему говорю: «Поползет кровля», а он свое: «Пали»! Вот и... – мастер махнул рукой.

Участок этот в район Рогова был передан только на прошлой неделе. Кое-что за это время успели сделать – например, восстановили обрушенную лаву, о которой только что доложил мастер. Тем досаднее был этот случай.

В просеке Рогов слышал, как в аварийном забое кто-то спокойно тюкает топором.

– Забойщик, наверное, – ответил мастер на молчаливый вопрос инженера.

– А вы куда смотрите?

– Так он же сам...

Рогов чертыхнулся и трубно крикнул в лаву:

– Эй, кто там? Быстро вниз!

Зашуршала по скату угольная крошка, и через минуту в узкую арочку протиснулся щупленький пожилой человек. Аккуратно отряхнув колени, он присел у стенки, весело поблескивая глазами. Это еще более взбесило Рогова.

– Кто такой?

Забойщик кашлянул.

– По фамилии Некрасов.

– Что делаете в аварийном забое? Кто за вас должен отвечать? – закричал Рогов, чувствуя, как кровь прилила к лицу.

Забойщик снова кашлянул.

– Не надо за меня отвечать. Я там больное место клетками подхватил. Лава, пожалуй, уgomонится...

Спокойные слова и ясный веселый взгляд забойщика охладили гнев Рогова. Уже спокойно он спросил:

– Коммунист?

– Состою.

– Передайте группаторгу, чтобы зашел ко мне. Скажите, что районный инженер просил,

– А когда зайти?

– А это уж он выберет время.

Забойщик выпрямился.

– Группаторгом я буду... Так что не сомневайтесь.

Рогов невольно потупился под его прямым, отечески снисходительным взглядом, в котором так и сквозило: «Эх, сынок!»

...Через два часа они встретились в мойке. Рогоз умышленно стал под душ рядом с забойщиком. Тот, очевидно, понял его внутреннее движение, может быть поэтому спросил:

– Мыла не требуется?

А заговорили по-настоящему уже в раздевалке.

– Покричать, оно, конечно, можно, – сказал он, надевая аккуратно разглаженный костюм. – Это вроде как отдушина для сердца. Я сам иной раз покомандую над старухой и сплю после того, как дух свят. Только ведь бывает, что и бестолку криком исходят.

Прощаясь, Рогов с удовольствием пожал руку забойщику.

– Нет, ничего, – успокоил тот, – я к вам с большим уважением. Давненько приглядываюсь.

ГЛАВА III

Надвигался вечер. Меркнул розоватый холодный свет на дальних приречных холмах. А с востока, из-за горы, медленно ползла серая угловатая туча.

Сегодня суббота, – на улицах оживление, народ идет в клуб и просто погулять, подышать последним летним теплом. Вот прямо против окна остановилась группа шахтеров с «Капитальной». Не слышно, о чем разговаривают, но разговор, очевидно, очень горячий и дружеский.

И вдруг острая тоска охватывает Рогова. Ему вот не с кем сегодня поговорить. Сам, конечно, виноват, что до сих пор не смог прочно врасти в человеческий коллектив.

Как не хватает Вали! Взял бы ее сейчас за руку, заглянул бы в глаза и сказал всего одно слово...

Рогов повертывается от окна, идет к вешалке, берет кепку и, ступив через порог, плотно захлопывает за собой дверь. Какую глупость спорол, что не спросил у забойщика Некрасова адреса – сходил бы к нему, чего лучше. А тут вот приходится искать себе места в этом вечере.

В клубе не оказалось никого знакомых, и он уже собирался уходить, когда столкнулся с техником Аннушкой Ермолаевой. С ней он уже много раз встречался в техническом отделе шахтоуправления.

– Мне жалко вас стало, – приветливо улыбаясь, призналась она. – Стоит такой большущий... Наверно, думаю, потому и стоит на месте, не двигается, что боится наступить на кого-нибудь.

– Это почти правильно! – засмеялся Рогов. – Если судить по вас – народ здесь некрупный.

Девушка смотрела на него снизу вверх, и от этого лицо ее, чистой матовой белизны, казалось немного торжественным.

Даже вот так, вблизи, она походила на девочку. Фигурка тоненькая, перехваченная в талии цветным пояском, светлые глаза, затененные густыми ресницами, широко открыты, в них веселое любопытство; пышные каштановые волосы заплетены в тугую косу. Но стоило присмотреться к этой слабой на вид девушке, к тому, как смело развернуты ее плечи, как иногда упрямо сжимаются ее губы, как она независимо вскидывает свою маленькую голову, стоило присмотреться – и сразу перед вами вставал взрослый сложившийся человек.

Услышав звонок, она заторопилась.

– Дайте руку, Павел Гордеевич, я вас проведу в зал.

Когда сеанс окончился и они вышли из клуба, Аннушка была молчалива. Они остановились на деревянном мостике через речушку.

– Как это хорошо! – вздохнула девушка.

– О чем это вы?

– Да вот, есть такие кинокартины: когда смотришь – смеешься, а потом думаешь как о большой правде... А как вы себя чувствуете после войны? – неожиданно спросила она. – Я слышала разговоры на шахте: один за вас, другой против. Одни говорят – дельный, другие – беспокойный. А на самом деле какой вы?

– Какой я? – Рогов помедлил. – Такой же, как все.

– Как Дробот?

Рогов невольно рассмеялся.

– Ну, это, знаете, довольно зло! Не знаю, хуже или лучше, но не такой, как Дробот.

– А скажите, вам не скучно на руднике?

– А если скажу, что скучно?

– Я не поверю.

– Почему?

Аннушка вздохнула, поправила на плечах косынку, огляделась вокруг и заговорила быстро, полушепотом:

– Потому что нет лучше места на земле, чем наш рудник! Понимаете? Нет! Все здесь новое, молодое, сильное... И люди, и работа, и даже песни как-то лучше поются.

– А еще почему?

– И еще... я здесь жить начала по-настоящему, по-взрослому.

Рогов полюбопытствовал:

– Сколько же взрослому человеку лет?

– Девятнадцать! Видите? Но разговор о вас...

– Точнее, о руднике, – поправил Рогов и замолчал.

Речка сонно болтала с прибрежными камнями. Ночь летела над теплой землей. Большая оранжевая луна висела над гребнем невысокой горы. Гудели моторы на эстакадах ближней шахты. На путях трудолюбиво пыхтел маневровый паровозик. В нагорных улицах девичий хор выводил проголосную песню. От всего этого повеяло таким покоем, таким миром, что Рогов невольно затаил дыхание. И даже не заметил, как заговорил, медленно, убежденно:

– Аннушка... хорошие вы слова сказали, но я сказал бы их иначе: нет лучше места в мире, чем наша большая земля... Своя земля. На тысячи верст своя земля. Вот в чем главное. Поэтому и рудник дорог, и шахта, и люди. Вот сейчас ночь, тишина... А вдруг бы мы с вами совершили сейчас невозможное – ухватились бы за край кузбасской земли у подножья Алатау и приподняли бы его... А? Посмотрите-ка, что мы увидели бы! Ночь, а сразу над землей стало светло. Видите, сколько забоев, сколько людей, слышите, какой грохот поднимается к самому небу?

Рогов вздохнул, ссутулил плечи и закончил немного будничным тоном:

– А вот эти огни слева – это наш рудник. Но что это там делается на «Капитальной»? Посмотрите! В некоторых лавах темно. Почему там не работают? А недалеко от рудничного двора стоит целый состав, груженный углем. Почему он стоит? Почему машинист не торопится? Ну как тут не поругаться с начальником подземного транспорта?

Аннушка засмеялась негромко.

– Начали вы стихами...

– А кончил прозой? – подхватил Рогов. – Вот вам и сказ весь – почему я беспокойный.

– Это хорошо... – девушка зябко повела плечами. – Верно вы сказали... Значит, вам не может быть скучно!

Рогов отшутился:

– Давайте о чем-нибудь другом.

– О чем же? О звездах я не умею.

– Я тоже.

– Тогда помолчим, хотя Коля Дубинцев часто мне говорит, что я не умею молчать.

– Коля Дубинцев?

– Да... техник... Теперь на вашем пятом участке работает горным мастером. Разве вы не знаете? Это... – она на секунду замялась, а потом, решительно приподняв личико, добавила: – Это мой близкий друг.

– Знаю! – вспомнил Рогов. – Такой невысокий, физкультурник. И глаза... В глазах у него так же светит, как в камешке на вашем кольце?

– Вот-вот! – обрадовалась Аннушка. – Хороший ведь, правда?

И оттого, что вопрос этот прозвучал как признание, она смутилась и тут же попросила:

– Проводите меня, Павел Гордеевич.

Пошли по зыбкому дощатому тротуару в пятнистой лунной тени. Рогов вдруг вспомнил, что послал Дубинцева в шахту не по графику, а вне очереди. Дело было совершенно неотложное, но, подумав сейчас об этом, он даже плечами передернул: выходит так, что он заслал парня в шахту, а сам разгуливает с его девушкой, на луну вздыхает. Смена кончается в двенадцать ночи, еще, чего доброго, встретится этот Коля – совсем красиво получится.

Он наскоро простился, прошел немного по улице и вдруг затосковал. Отчего бы это? Тридцать лет? Чепуха! Может быть, оттого сосет под сердцем, что не все благополучно с работой? На такой вопрос трудно ответить – шахта не оранжерея: ее не выровняешь под линейку. Да и нужно ли её выравнивать? Разве в этом дело? А начинать нужно. И чем скорее, тем лучше!

Быстро дошел до своего дома, но тут заметил свет в окнах маркшейдера Хомякова и постучался к нему. Соседи чаевничали. У них были

гости – районный инженер Нефедов и племянница хозяйки Оленька Позднякова.

Маркшейдер отложил в сторону газету, вздернул очки на загорелый узкий лоб и пригласил к столу.

– Вот, извольте-ка, с вареньем... – пододвинул он граненую синюю вазочку. – Собственноручное Марии Дмитриевны...

Рогов и сам не понимал, что его привлекало в супружеской чете Хомяковых. Старики жили тихо и незаметно. Маркшейдер увлеклся международной политикой, часто целыми часами рассуждая по самому, казалось бы, незначительному поводу. Жена его, Мария Дмитриевна, слушая пространные речи мужа, обыкновенно во всем соглашалась с ним и шумно вздыхала.

Инженера Нефедова Рогов застал здесь впервые. Это был человек страстной приверженности к своему делу, стремительный, запальчивый в речах, когда защищал в чем-нибудь «свой район», «свой план», «свои бригады». Немного грузноватый, коротконогий, он день и ночь носился по шахте, что-то разыскивая, устраивая, перемещая. На лице его постоянно можно было видеть и радость, и удивление, и тревогу, словно он только что совершил потрясающее открытие и не знает, куда с этим деться. Рогов с ним часто встречался, но разговора по душам до сих пор не случилось.

Оленька Позднякова – стенографистка местной газеты – всегда имела в запасе самые свежие, самые разнообразные новости, но на изложение их у нее обыкновенно не доставало терпения и последовательности, от этого новости выглядели немного встрепанно. Вот и сегодня за каких-нибудь пять минут Оленька успела сообщить об итогах сессии Генеральной Ассамблеи, о том, что Украина успешно заканчивает уборку хлебов, что на экраны вышел новый фильм, что железная дорога Барнаул – Сталинск – Абакан будет проложена в десяти километрах от рудника, что мотористка девятой шахты Есаулова родила тройню, что редактор городской газеты заболел гриппом, а господин Черчилль разразился очередной антисоветской речью.

Выпалив все это одним духом, Оленька с меньшим вдохновением принялась жевать до-

машный коржик, а Герасим Петрович пустился в пространные рассуждения по поводу новостей племянницы. Нефедов улыбался, заложив руки за спинку стула, прижав подбородок к плечу, словно разглядывал что-то диковинное.

Рогов обыкновенно ограничивался скухими замечаниями, но сегодня была какая-то внутренняя потребность выговориться. Едва маркшейдер коснулся поведения англо-американских союзников на Генеральной Ассамблее, как он прервал его, сказав, что наших советских дипломатов нужно поддерживать в их нелегкой борьбе настоящими большими делами.

– Совершенно правильно! – быстро согласился Хомяков. – За нашими дипломатами двухсотмиллионный народ!

– Во-во! – почему-то обрадовался Нефедов.

– Я говорю не вообще о народе, а о руднике! – Глухо перебил Рогов и положил на край стола крупные кулаки. – Я говорю даже не о руднике, а о нас, о том, как мы работаем и как должны работать... Скажите откровенно, Герасим Петрович, неужели вы не видите, как неважно действуют даже те шахты, которые выполняют план?

– О! О! – воскликнул Хомяков, словно в испуге. – Я знаю, Павел Гордеевич, что мы неважно работаем! У меня у самого иной раз кулаки чешутся – так повоевать хочется. Только я не знаю, против чего воевать!

– Против рутины! – почти выкрикнул Рогов, от чего хозяйка вздрогнула, а Оленька удивленно посмотрела на гневное лицо гостя.

– Во-во! – снова обрадовался Нефедов и необычайно быстро, как-то всем телом, повернулся к Рогову.

– Рутинка – это не конкретно, – уже спокойно заметил Хомяков.

Рогов отодвинул стул и крупным шагом прошелся по комнате.

– Разве так можно дальше? – спросил он и рубанул ладонью. – Нельзя! Все это время я доискивался причин: почему производительность труда на шахтах растет так медленно и даже кое-где падает...

– Надо бы с шахтерами посоветоваться, – вставил Герасим Петрович.

Рогов остановился, развел руками.

– Так я же советовался! Понимаете? С десятками людей переговорил. Они-то меня и натолкнули на выводы, которые теперь не дают спать.

– А что же все-таки основное в ваших выводах? – Нефедов взглянул на Рогова осторожно, словно заранее сомневаясь в его правоте.

– Что? Цикл – вот основное! Порядок железный – вот что! Простор для осуществления самых широких замыслов.

– Все придет в свое время, – коротко заметил Хомяков.

– Придет? – глаза у Рогова как будто даже позеленели. – Ну, нет! Пусть кто-нибудь другой спокойно въезжает в коммунизм – нам с такими не по пути. Да и не позволит никто нам быть пассажирами. В случае чего не постесняются – попросят: «Подождите, граждане, есть грузы поважнее!» Вот как!

– Черт! А ведь правильно! – громко рассмеялся Нефедов. – Но цикл-то, цикл, Павел Гордеевич?..

– Что? – не понял Рогов.

– Как, что... сами же знаете, как у нас трудно с этим. Забойщиков не хватает...

– Сказки! – резко перебил Рогов. – Сказки, Василий Васильевич! Уж кому-кому, а вам-то это лучше других известно. Подождите... – вытянув из кармана потертый блокнот и раскрыв его, он раздельно прочел: – Всего забойщиков сто два, должно выходить на смену семьдесят шесть, выходят – шестьдесят три – шестьдесят четыре. Это данные...

– По моему району! – торопливо вставил Нефедов.

– А куда у вас пропадает двенадцать-тринадцать забойщиков ежемесячно?

– Настоящее производственное совещание, – ухмыльнулся Хомяков и весело подмигнул сразу заскучавшей Оленьке.

Рогов и Нефедов не расслышали этого. Они теперь стояли друг против друга. Рогов говорил не двигаясь, слегка наклонив голову, зато Нефедов ходуном ходил, руками размахивал, а широко расставленные карие глаза его то гневались, то смеялись.

– Вы немного академик! – настойчиво повторял он. – Честное слово, не отпирайтесь, вы ака-

демик! Вы утверждаете только одно: «как должно быть». Так кто же не знает таких прописных истин, как нормы выхода забойщиков? Но ведь это же шахта. Я отправил на участок десять забойщиков – прямо в лаву, а тут, как на грех, штрек давануло – где взять рабочих?

– Из забойщиков? – удивился Рогов.

– Конечно. Один-два человека с угля неизбежно снимаются.

Рогов покачал головой.

– Василий Васильевич, за какой срок, по-вашему, наша шахта выполнит пятилетку?

Нефедов недоуменно поднял взгляд на собеседника.

– Не понимаю, какая здесь связь с забойщиками? И как это – за какой срок? За пятилетку, конечно.

Рогов повеселел, потянул себя за нос и отрицательно покачал головой.

– Инженер районный! А если за четыре года? А если за три с половиной?

Нефедов хотел что-то возразить, потом оглянулся на маркшейдера и пожал плечами.

– С этим я вас отсылаю к Дроботу. Знаете, что он скажет?

– Знаю. Он скажет: «Но ведь на соседних шахтах не ломают над этим голову?»

– Значит?

– Все то же: воевать!

На шахте загудел одиннадцатичасовой. Нефедов заторопился на дежурство. Прощаясь, еще раз переспросил:

– Значит, воевать? А добровольцы потребуются? – Он помолчал и вдруг сказал шепотом: – Я, Павел Гордеевич, сегодня ведь с умыслом зашел сюда на огонек, знал, что бываете у соседей. Вот вы меня и зачислите в эту армию.

После ухода Нефедова немного помолчали. Рогов допил чай и, поблагодарив хозяев, вышел на балкон.

– Слышала, о чем кричали? – спросил Хомяков жену и нетерпеливо потеревил жиденький хохолок над своим высоким лбом.

– Слышала, – добродушно отозвалась старушка, – сам-то хорош, что ни день – то новость: и то не так и это не по тебе... А тут еще со своей машиной покоя не даешь...

– Тсс!.. – Герасим Петрович испуганно оглянулся в сторону Рогова. – Ты с ума сошла, матушка! Нельзя же смешивать старикивскую затею с этим... ну, с настоящей жизнью.

– А ну тебя! – отмахнулась Мария Дмитриевна. – Воз бумаги перепортил на одни чертежи.

Герасим Петрович коротко вздохнул.

– Куда мне с молодыми... Ты посмотри на Рогова, мамочка, какие люди у нас: ставь такого министром – не ошибешься!

– Красивый мужчина, – неожиданно сказала Мария Дмитриевна.

А Оленька засмеялась,

– Ну уж!

– А ты не крути носом, – строго сказала старушка, – ему ведь тоже не легко, одинокому-то.

Рогов стоял у балконного столбика. Опять беспокоится сердце, спешит куда-то... Куда же? Только не за синие моря, не за высокие горы, не за дальние земли, по которым столько вышагал за годы войны.

На мгновение показалось, что он все еще стоит у вагонного окна и со щемящей тоской ищет взглядом очертания знакомых гор, видит зеленые сумерки в падах и изогнутую, как древний гигантский меч, излучину Кондомы. Так ведь вот же все это, вот! И горы, и пади, и Кондома, – стоит только протянуть руку – и притронешься к земле, которая подняла на ноги, сделала человеком, толкнула первый раз сердце.

Внизу, в садике, остановились двое. Ночь такая светлая, что и с балкона видно бледное сияние на их лицах. Парень кладет руку на плечо девушки и говорит нерешительно.

– Знаешь что, Аннушка?

Рогову кажется, что даже он совершенно отчетливо видит лицо девушки, нет, не все лицо, а только округлость щеки и маленький подбородок. Она стоит, полуотвернувшись, словно ждет, что ей сейчас скажут, а может быть, просто задумчиво смотрит вверх шахтных огней.

– Ты знаешь, Аннушка?.. – еще тише повторяет парень.

– Не надо... – чуть внятно отвечает девушка. – Не надо, не говори, я все знаю...

Видно, как она поднимает его руку и прижимается к ней щекой, а потом говорит неразборчиво,

очевидно, очень ласковые слова, потому что они счастливо смеются и, обнявшись, выходят из сада. У самой калитки парень вдруг останавливается и громко, будто забыв обо всем на свете, говорит:

– Если бы ты знала, Аннушка, как я буду теперь работать!

Рогов усмехается; только сейчас он понял, что техник Дубинцев нашел все же Аннушку.

– Природой любуетесь, Павел Гордеевич? – окликнула от двери Оленька.

– Нет, – не оборачиваясь, ответил Рогов, – просто шахтеру положен воздух по первой категории.

Прямо с балкона он прошел в свою большую комнату. Включив свет, постоял у стены, потирая виски. Вот ведь какой крутой вечер! Ни кино, ни разговор с Аннушкой, ни беседа у Хомякова – ничего не помогло. Нужно, очевидно, чем-то заняться. Порылся на этажерке среди книг. Почитал с полчаса, но повесть оказалась до того легко сделанной, что, стоило только закрыть страницу, сразу забывалось все, о чем шла речь.

И вдруг в дверь постучали. Открыл, неторопливо принял телеграмму, но как только посылка вышла, рванулся к свету.

«Диплом защитила. Осенью буду проездом. Валя».

Рогов сел у стола и, положив голову на ладони, плотно закрыл глаза.

ГЛАВА IV

Преддипломную практику в 1944 году Валя проходила в одной из геологических экспедиций западносибирского филиала Академии наук. Наступала осень, работы свертывались, и вдруг пришла эта страшная весть о смерти матери. Пришибленная ею, Валя торопливо собралась, но когда приехала в город, все уже было закончено. Маленький потемневший домик на Иркутской хмурился из-за голых акаций заплаканными по-осеннему окнами. Дочь соседей, Нина Сорокина, временно жила в тихих, опустевших комнатах.

Валя приехала вечером. Уставшая и опустошенная, не раздеваясь, она часа два просидела

в полутемной спальне. Ни о чем не расспрашивала, да и некому было бы, кроме Нины, рассказывать о последних днях Екатерины Михайловны. Но Нина тоже молчала, не зная, нужно ли к этому приступить. Наконец она несмело заглянула в дверь.

– Валя, если вам что-нибудь...

– Нет, благодарю вас... Я вот умоюсь... – Валя хотела сказать: «и лягу спать», но вдруг ужаснулась своей черствости, растерянно оглянулась и только сейчас с беспощадной ясностью представила себе, что никогда больше к ней не придет и не сядет рядом мама.

Утром она прибрала квартиру и пошла в Геологоуправление, чтобы поговорить о работе, решив затем попросить в институте годичную отсрочку по дипломному проекту. Старший геолог управления, шестидесятилетний седенький Вакшин, внимательно выслушал Валу и предложил пока обрабатывать некоторые материалы прошлогодних экспедиций.

Работа почти не занимала ее, но давала возможность немного отойти от себя, от своего горя. Однажды в геологическом музее она познакомилась с профессором Скитским Василием Пантелеевичем, неутомимым исследователем западносибирской низменности. Близко знавшие его говорили, что это «работяга и умница». Человек лет тридцати пяти, одинокий, Скитский сразу нравился людям и внешностью, и откровенной ясностью суждений.

Шли холодные дожди вперемешку со снегом. Валя засиживалась на работе допоздна. Скитский как-то проводил ее до дому, потом еще раза два они оказались попутчиками. Однажды Валя пригласила профессора зайти обогреться. Пока она хлопотала на кухне, готовя ужин, Скитский ходил по комнате, с удовольствием растирая озябшее лицо, и рассказывал Вале о последних фронтовых новостях, только что слышанных по радио.

После чая он курил и, чуть прищутив глаза, поглаживая короткими сильными пальцами подбородок, делился с Валею обширными планами исследовательских работ на лето. Руды Салаирского края, полиметаллы Горной Шории, чугунашский марганец... Не сегодня-завтра, и в пер-

вую очередь с геологов, спросят, почему до сих пор Кузбасс пользуется чиатурской марганцевой рудой?

– У нас спросят! – на минуту лицо Скитского стало неузнаваемо жестоким, он поглядел на Валю и глухо выговорил: – Извините, вам скучно от этих геологических излияний...

– Василий Пантелеевич! – Валя невольно выпрямилась. – Почему?

– Лицо у вас...

Валя медленно покачала головой

– У меня было большое несчастье, Василий Пантелеевич.

Несколько секунд он смотрел на ее вдруг задрожавшие руки, потом поднял взгляд, хотел, очевидно, спросить о чем-то, но спросил только уже перед уходом: что ей дает работа, надолго ли она оставила институт?

– Что мне дает работа?.. – Валя помедлила. – Она меня успокаивает... – еще помедлила и вдруг насторожилась. – А что?

Скитский криво усмехнулся.

– Читал я вашу записку по итогам Томь-Усинской экспедиции: ни одной взволнованной мысли, ни одного страстного утверждения... – резко закончил: – холодная ученая тарабарщина!

После ухода профессора она долго сидела, захватив холодными пальцами шею, прислушиваясь к своим беспокойным мыслям. Уже недели полторы от Павла не было писем. Случалось это и раньше, но такой тревоги никогда не было. Неужели навсегда замолчал? Павел?

Резко встала. Боже мой, как она может раскисать до такой степени!

«Холодная ученая тарабарщина!»

Валя невольно оглянулась, словно только сейчас услышав эти слова: «Холодная тарабарщина...» Как это стыдно!

Утром попросила вернуть ей записку о Томь-Усе, пересмотрела ее, вчиталась в каждую строчку. Сколько чужих, нехороших слов: «Нужно полагать»... «Едва ли справедливо утверждение»... «Вызывают сомнение несколько основных положений»...

А люди мучились в таежных дебрях верхней Томи боролись с непогодой, с гнусом, радовались маленьким открытиям, за которыми им

уже виделись почти сказочные богатства нового угленосного района. И вот к этим горячим мечтам прикасаются чьи-то равнодушные руки, и краски меркнут...

С какой-то радостной болью Валя уничтожила свою записку и в несколько ночей написала все заново. А потом, когда начальник партии хвалил ее за смелые выводы и радовался новой союзнице, она не знала, куда деться от горького смущения.

Скитский, очевидно, обо всем знал, но больше и словом не обмолвился по этому поводу.

Несколько раз они вместе ходили в театр. Валя осуждала себя за то, что ей доставляло удовольствие видеть, как этот большой умный человек, обращаясь к ней, все больше робеет, как легкий румянец вспыхивает при этом на его смуглых щеках. Он ухаживал за Валею, но делал это так неловко, по-мальчишески, что она не могла ни обидеться, ни выговорить ему за это. С ним было спокойно, по крайней мере Валя не замечала, чтобы присутствие Скитского мешало ей думать о Рогове.

В январе Советская Армия шагнула к Одеру. Стояли морозы. Валя была напряжена до предела. Сердце рвалось за каждым письмом к Павлу. Работала лихорадочно, целыми днями не отрываясь от геологических карт, от записок, от обрывков геологических пород.

После двухнедельного перерыва осенью Рогов снова писал очень часто, но кто же мог поручиться, что непрочная цепочка писем не оборвется? В скупых сводках Совинформбюро сообщалось о стремительном продвижении на запад тысячекилометрового фронта, о тяжелых боях, о многочисленных трофеях и пленных. Рогов писал:

«Сегодня ночью отдыхали в одном польском фольварке. Свободных помещений не оказалось – спали на сеновале. А ночью обнаружили, что под нами, в сене, тоже отдыхает целое отделение гитлеровских автоматчиков. Пришлось немного повозиться, недоспали».

Прочитав этот лаконичный рассказ, Валя почувствовала, как у нее похолодели плечи.

В феврале писем не стало. Однажды Валя пришла к Вакшину Попросила:

– Хотела бы еще какую-нибудь работу.

Вакшин фыркнул.

– У вас же и без того по трем отделам?

– Я хотела бы еще что-нибудь делать! – повторила она.

Старый геолог раздраженно повертелся на стуле, несколько раз мельком глянул в лицо девушки и, выхватив из стола папку с бумагами, перелистал их. Валя склонилась рядом. Но Вакшин спросил вполголоса:

– Он в Польше? Молчит?

Она кивнула. Светлое, солнечное окно перед ее глазами затуманилось, изломалось.

– Молчит... Месяц уже молчит.

Вакшин прикоснулся сухонькой ладонью к ее плечу.

– Сын у меня тоже... молчит. Валя, вы стисните зубы... А работы сколько угодно.

Она по-прежнему аккуратно через день писала письма Рогову и так же аккуратно получала их обратно с пометкой: «Адресат выбыл».

Иногда забегала Ниночка Сорокина, осторожно спрашивала:

– Валя, все еще нет? – и вздыхала: – Мой тоже целую неделю молчит...

В серебряную пору снеготаяния даже дышать стало трудно – так велико было внутреннее напряжение. Боялась каждой свободной минуты. В дополнение к основной работе взялась готовить материалы еще по двум смежным отделам. С утра и до самого позднего часа сотрудники видели ее гладко зачесанную светлую голову, склоненную то над столом, то над чертежной доской или в геологическом музее над образцами пород.

И в тот майский золотистый день она, как обычно, очень устала. Привычным движением повернула ключ в замочной скважине, осторожно открыла бесшумную дверь, глянула на маленький коврик у входа – письма снова не оказалось. Поглядела на часы – без пяти шесть. Торопливо включила радио, присела к окну и мучительно напряглась.

Внешне все как будто было так, как год и два года назад, но в душе росло что-то большое, копившееся уже давно, что нельзя было назвать точным словом. Сердце отстукивало последние часы перед победой.

Из окна не видно, как солнце все ниже опускается к дальним землям, только розовый свет на крышах соседних домов делается всё тоньше, прозрачнее, поднимается и плывет в недостижимой высоте.

Позывные в репродукторе оборвались. Секундная пауза, а потом привычный голос сказал в вечерние сумерки:

– Говорит Москва!

Валя комкает косынку на груди. Да, все идет, как должно. Занят Дрезден. «При выходе на Эльбу наши войска...» Сколько еще рек в Германии?

Больше не было сил сидеть неподвижно. Толкнула створку окна. Не видно еще ни цветов, ни травы, но легкие теплые запахи тревожат сердце.

Без стука вошла Ниночка Сорокина, тихонько присела рядом, смиренно сложила руки на коленях, потупилась, чтобы скрыть покрасневшие веки.

– Я, наверное, самая несчастная, Валя... Целую неделю ни строчки...

Дрогнули пальцы ее рук, лежавших на коленях.

Потом Валя включила свет, Нина развернула два последних письма и прочитала вслух, прислушиваясь к каждому слову. По маленькой карте проследили далекий и трудный путь солдата и согласились, что некогда было ему писать в последнее время. Помолчали.

– А у тебя как? – Нина несмело заглянула в глаза. – Валя?..

Ответила тихо, втянув голову в плечи;

– Устаю очень...

– Все еще ждешь?

Валя помедлила немного, потом выпрямилась, упрямо приподняв лицо.

– А как же иначе жить? – резко дернула штепсель из розетки.

Нина первой не вынесла тишины. Заторопилась.

– Ты прости, Валя... Я всегда такая неосторожная... Я пойду. Иногда ведь письма по вечерам приносят.

Валя снова включила радио. Эфир молчал в шорохах, в свистах. Но и само молчание и шорох несли в комнату волны высочайшего напряжения.

Сегодня все равно не уснуть, как почти все эти ночи после падения Берлина. Долго ходила от окна до двери, а памятью шла по строчкам давно заученного письма:

«Так жалко, что не увидел тебя. Когда поезд повернул от Юрги на запад, а ты осталась на востоке, в Томске, сердце у меня как будто оборвалось. Встречу ли снова? А потом мне было очень некогда. Десятки боев, гибель товарищей, истерзанная земля... Во мне что-то обуглилось. Мне тогда казалось, что я редко вспоминаю о тебе, но теперь-то знаю, что ты всегда была со мной».

И совсем недавно он писал:

«До Берлина осталось 68 километров. Одер – мутная чужая река. Очень много работы. А какое ты платье носишь?»

Неужели это письмо в феврале писано? Как давно...

Или сон смежил веки, или просто какое-то бессилье опустилось на память. Вскинулась на тихий стук в дверь.

Вошел старичок почтальон, подал квадратик свернутой телеграммы. Испугавшись, что сейчас же неудержимо, в голос, расплчется, Валя негнушима пальцами приняла телеграмму и, не распечатывая, положила ее на уголок стола. Почтальон долго копался в сумке, отыскивая потерянную квитанцию. Потом он ушел.

Думала, что не хватит сил притронуться к телеграмме. Но это продолжалось всего секунду. Между двумя короткими вздохами развернула бумажный квадратик и прочитала: «Был тяжело контужен. Теперь все хорошо. Не унывай. Павел».

Плохо помнила, как подошла к окну, как долго стояла, прислонившись щекой к стеклу. Незаметно села. В опущенных кистях рук тяжело билась кровь. Уже синело над черепицей ближнего дома. Положив голову на подоконник, так и уснула с лицом, обращенным в рассвет.

Солнце пригрело веки. Золотой квадратный столб косо ложился на разноцветный половичок. Радужный зайчик от зеркала вздрагивал на непомятой подушке. В руке Валя по-прежнему сжимала помятый листочек телеграммы. Каким легким было это раннее пробуждение!

Совсем близко, по ту сторону окна, смеялось мокрое от слез личико Нины.

– Чудная!.. Какая чудная ты, Валя! Четыре года ждали и все в одно утро проспали... Сердце... Что с моим сердцем делается, Валя! А на улице!.. Посмотри, даже земля поет!..

Сколько было народу на улице в эту синюю солнечную рань! Какие звонкие песни! Напротив, прямо на кирпичной ограде, двое мальчуганов писали известью, огромными буквами:

«Победа!»

Валя прождала весь май. Скитский сразу же после дня победы принес ей букет душистых подснежников и с доверчивой улыбкой положил на стол.

Валя призналась:

– Василий Пантелеевич, я очень счастлива... я так счастлива!..

– Рад за вас, Валентина Сергеевна, – Скитский бережно пожал ей руку.

Рогов приехал неожиданно, как раз в тот день, когда Скитский вылетал самолетом в Кузбасс.

ГЛАВА V

Что ярче, всего запомнилось из событий в те весенние дни? Может быть, древняя крепость в Кузнецке, ослепительный, как начищенная сталь, разлив двуречья, ветер, скупое на тепло, но очень молодое солнышко, голубые далекие горы и снова ветер, ветер... И еще неизбывная радость в милых глазах?

Да, но со всей силой это захватило еще раньше, когда он впервые после долгой разлуки сошел на перрон новосибирского вокзала.

Поезд прибыл утром. Рогов выбежал на широченную привокзальную площадь и удивился: ого, как здесь земляки размахнулись! Колоссальное здание вокзала, насквозь пронизанное утренним солнцем, кажется, плывет в синеватом мареве.

Но Рогову уже не стоялось. Нетерпение повлекло его в тихие боковые улицы, все еще не мощенные, с акацией, черемухой в палисадниках, со шпалерами старых комолых тополей. Посмотрел на дощечку: «Иркутская». Легкий холодок радости коснулся груди; Слева, в зеле-

ни палисадника, увидел два небольших оконца, похожих на лесные озера. Одернул гимнастерку, шагнул к калитке, но тут же заметил, что по тротуару уходят двое. Мужчина среднего роста, помахивая шляпой, ведет под руку высокую девушку.

Сердце так рванулось, а глазам стало до того жарко, что он не выдержал, шумно выдохнул, как после подъема на гору:

– Валя!

Круто обернувшись, девушка быстро шагнула навстречу Рогову и на мгновение заплакала. Но и в этом мгновенном плаче и в том, как судорожно, до боли, сомкнулись ее руки на шее Рогова, было столько скорби и радости, что сразу остались позади годы тоски и ожидания.

– Ну, что ты, Валя? – Рогов то целовал ее теплое, мокрое от слез лицо, то пристально, долгие секунды, смотрел в ее большие лучистые глаза...

Потом она словно очнулась, заговорила, заторопилась:

– А ты?... Ты не плачешь от счастья? Ты... какой-то совсем другой... От тебя ветром, солнцем пахнет, слышишь? – И, повернувшись к забытому спутнику, сказала вполголоса: – Вы видите, профессор, какая я счастливая... Счастливая! Это же мой Рогов!

Через день они уехали в Кузбасс. Так решил Рогов. Валя пробовала отговаривать,

– Нет-нет, – сказал он с веселым упрямством. – Что нам сейчас эти комнатки! Давай походим, подышим ветром... А?

Побывали в Старо-Кузнецке на крепости. На серую каменную стену взобрались в полуденный солнцеворот. Внизу, между берегом Томи и горой, раскинулись тысячи небольших деревянных домиков старого города.

За реку и направо убегала ровная лента шоссе и линия трамвайных столбов. В пяти километрах поднимались каменные громады Сталинска. Дымил гигантский завод. Вверх по Томи, за Старо-Кузнецком, видны еще два завода, длинные корпуса которых издавна похожи на корабли, пустившиеся в дальнее плавание. Древняя крепостная стена из серого песчаника вздымается над широчайшим простором двуречья.

В синем небе стояло весеннее солнце. Шумели травы. Тело было легким, казалось: раскинь руки в стороны – и полетишь.

Долго стояли рядом.

Потом Рогов взобрался на окраинный выступ стены и стал там, заложив руки в карманы. Упрямый ветер заносил на сторону его темные волосы, летучие тени мелькали у него перед глазами.

– Вот это да! – говорит он, расправляя плечи, словно принаравливая свою силу к зеленым горным просторам. – Вот это да!.. – повторяет он медленнее и сейчас же хмурится: – А вот что мост через Томь до сих пор не перестроили, ни к черту не годится! И ты понимаешь, Валюша, я сегодня только узнал, что управление Кузнецким трестом все ещё находится в городе, а шахты вон где, – видишь конус терриконника? Это Байдаевка, до нее девять километров, а за нею Абашево, Зыряновка... Не понимаю, как же они руководят работами? По телефону?

Спрыгнув к Вале, он вдруг предложил:

– Знаешь что, поплывем вверх по Томи! Я сегодня же достану катер.

Четверо суток плыли вверх по Томи. Где-то недалеко от устья Мрас-су дневали на берегу. Утром Рогов купался в ледяной весенней воде. Вымахав на середину реки, кричал оттуда по-мальчишески звонко:

– Валюша, ну что ж ты? Плыви сюда скорее!

Она зябко поднимала плечи и, улыбаясь, смотрела, как Рогов рассекал синее серебро воды.

Днем ловили рыбу, загорали и о чем только не разговаривали. Безбожно фальшивя, он пел и часто просил:

– Ну помоги же мне, я все слова забыл.

Вечером сидели у костра, ели уху и хвалили, хотя Рогов пересолил варево. Потом молчали, глядя на догорающие головешки, на золотые огоньки где-то внутри углей.

В этот час Валя впервые спросила:

– Ты разве не устал на войне? Тебе не хочется тишины и хотя бы маленького покоя?

– Устал? – удивился Рогов. – Вот этим не грешен, честное слово, не хвастаюсь!

Она незаметно отстранилась и заговорила как будто о другом:

– Павел, подумай все же об аспирантуре. Очень советую. Ведь творческая, научная работа –

это такая ширь неоглядная... Подумай, Павел. А потом мы же вместе будем. Я так хочу этого... Я не могу больше... без тебя!

Теплое короткое дыхание коснулось лица Рогова, он сжал ладонями щеки девушки, заглянул как только мог поглубже в ее глаза, в которых теплились золотые тени от догорающего костра.

– Родненькая моя! Мы же вместе, ты и так рядом со мной. Нам еще столько жить!

Вскочив, он бросил в костер беремья сухого хвороста и, подняв лицо, долго смотрел, как искры огненным смерчем взвивались к черному небу.

– Вот подожди, Валя, – сказал он после раздумья, – мы еще будем строить шахты здесь, где ночуем сегодня. И какие шахты! Тут, поблизости, удивительный Томь-Усинский бассейн. Закрой глаза и представь себе, как все здесь будет... Тайги нет, болота осушены, море огней, шум великой работы, сады, жилища человеческие. И... по секрету тебе скажу: наши детишки будут бегать в здешние школы!

Валя опустила темные вздрагивающие ресницы.

Легли спать в маленьком шалаше из сосновых ветвей. Укутывая девушку, Рогов спросил:

– Тебе тепло? Ты не боишься?

Через несколько минут, когда он затих в своем углу, она вполголоса окликнула:

– Павлик? Ты меня любишь?

– Валя! – Рогов приподнялся. – Родненькая моя, как я тебя люблю!

– Ну скажи еще раз об этом!..

Сквозь сосновые ветки, прямо над их головами светилась синяя теплая звезда, и где-то совсем близко призывно кричала ночная птица. А ночь была темная, неслышная, земля казалась бесконечно широкой и ласковой.

...Рогову не сиделось на месте ни одного дня. Он часто повторял: «Я хочу посмотреть, как земляки развернулись, хочу поучиться жить». Или, сжимая руку Вале, перебивал себя на полуслове: «Посмотри, как земля молодеет, как застраивается! Просто руки чешутся!»

В Горной Шории, в Таштаголе, прямо со станции они побежали на рудник. Валя и оглянуться не успела, как они перезнакомились с доброй

дюжиной горняков. Осмотр поверхностных работ был прерван сигналом к отпалке. Пока гремели взрывы, они сидели под дощатым навесом. Отдыхая, Валя смотрела вниз, на узкую крутую излучину Кондомы. А Рогов уже успел ввязаться в горячий спор с каким-то инженером.

– Извините, извините, вы ересь городите! – незлобиво перебивал он собеседника. – Коэффициент полезного действия врубовки на пластовых месторождениях равен... – он быстро выхватил из кармана записную книжку, отыскал что-то и, подчеркнув, показал инженеру. – Видите?

Валя невольно рассмеялась про себя, вспомнив, что и в вагоне он также напал на одного из спутников с вопросами, выкладками – обо всем забыл. А когда она его о чем-то спросила, оглянулся рассеянно: «Извините...» – и опять за разговор.

В короткие часы отдыха бывал ласково-задумчив, привык убирать прядку волос с виска Вали. Она наклоняла голову и, прикрыв глаза, просила:

– Не смотри на меня так! Слышишь?

От Таштагола до приискательского поселка Спасск нужно было подниматься на перевал по петляющему шоссе. Когда долина Кондомы осталась далеко внизу, а прямо на востоке встала голубоватым конусом гора Шерегешь, Валя вдруг присела на скате придорожной канавы и, пожевав кудрявый липкий листочек малины, сказала сквозь смех:

– Честное слово, я устала, Павел. Ну что ты все время бежишь и бежишь? У меня и дыхания уже не хватает. Вот упаду где-нибудь, отвечать будешь.

– Но ты же геолог, землепроходец, – отшутился Рогов и медленнее, уже серьезным тоном добавил: – Это же нас и разлучает сейчас с тобой.

– Разлучает... – повторила Валя и, качнув головой, прикрыла глаза.

Случилось так, что через неделю, уже в Сталинске, они снова говорили об этом, хотя тот и другой бессознательно откладывали разговор «на потом».

Один из последних вечеров провели у инженера-металлурга – Ивана Сергеевича Домбицко-

го. Старый кузнецкстроевец, страстный последователь знаменитого доменщика Курако, Домбицкий никогда не упускал случая порассказать о славных днях, когда на пустырях, на болотах зачинался огромный завод и красавец город.

В первую же минуту, залучив Рогова, Домбицкий с чувством продекламировал:

*Я знаю –
 город
 будет,
Я знаю –
 саду
 цветь,
Когда
 такие люди
в стране
 в советской
 есть!*

Потом подмигнул и со смехом сообщил:

– Понимаете, был недавно в Магнитогорске, так тамошние старожилы набрались смелости утверждать, что это стихотворение Владимир Владимирович написал об их городе! Большого самомнения нельзя вообразить. Строки эти написаны о Кузнецкстрое, о кузнецкстроевцах! Вы как думаете?

Рогов пожал плечами.

– Эти строки написаны о Кузнецке, но, я думаю, и магнитогорцы правы.

– Вот как! – Домбицкий недоверчиво улыбнулся. В дом к хозяину собрались хорошие, веселые люди: два артиста из городского театра, профессор Скитский из Новосибирска – ученый с телосложением лесоруба, с умными веселыми глазами под широким лбом, две студентки-педагогички, родственницы Домбицкого. Одна из них – светленькая, в строгом вечернем костюме – задумчиво спела несколько песен, страшно робея при этом, за что и была награждена горячими аплодисментами.

Профессор рассказывал о своей последней экспедиции на Томь-Усинское угольное месторождение. Рогов заметил, как Валя непроизвольно придвинулась к рассказчику, как на ее лице вспыхнул неровный румянец. О планах исследовательских работ она расспрашивала жадно, порывисто, казалось, забыв обо всем, кроме этого.

Рогов отошел к окну и постарался еще раз во всем разобраться. Что же произошло и чего он, собственно, хотел? Чтобы Валя была рядом? Да, это желание никакие силы не вытравят. Но сейчас этого нельзя сделать. А потом?

Словно угадав его состояние, подошла Валя и оперлась о широкий мраморный подоконник. Как видно, ей хотелось что-то сказать, да не находилось нужного слова.

Внизу, в синих сумерках, терялась узкая перспектива улицы. Налево, по ту сторону площади, поднимался огромный семиэтажный куб жилого дома. И оттого, что в каждом его окне сиял одинаково бледный свет, дом казался созданным целиком из светящегося стекла. Валя чему-то улыбнулась и открыто глянула в лицо Рогова.

– Павлик, ты грустишь?

– Это другое, – качает он головой

– А ты говори правду.

– Хорошо. Говорю правду. Да, мне грустно немного и... Я не знаю, как будет дальше...

– Что ты имеешь в виду?

Он нетерпеливо шевельнул плечами.

– Я имею в виду нашу жизнь! Будем мы когда-нибудь вместе? Почему ты не говоришь прямо?

Валя удивилась.

– Разве нужны еще какие-то особые слова? – она прижала к себе локтем ладонь Рогова. – Я же знаю теперь, что тебя никакие силы не оторвут от Кузбасса, от твоего дела... Насмотрелась на тебя за эти недели. Но ведь я таким тебя и люблю, в этом твое и мое счастье!.. – она замолчала, оглянулась на профессора.

Рогов без труда понял, что ею было не сказано, или, может быть, она хотела только спросить: «А ты за что меня любишь? Какой ты меня видишь?»

– Ладно, Валюта, будем жить... Ты слышишь, как жизнь стучится?

Он положил ее ладонь к себе на грудь.

В Новосибирск Валя уезжала утром. Перед отходом поезда они постояли с Роговым в тесном тамбуре. На прощание хотелось сказать друг другу что-нибудь значительное, чтобы запомнилось, кто знает на какое время. Но слов просто не было, – не находилось нужных слов.

Поезд тронулся, колеса под вагоном отстукивали первый раз: «вот-так»... Валя устало опустилась на лавку. Что-то непонятное, трудное осталось на сердце после встречи с Роговым. Но чего же тогда она ждала несколько долгих лет? Покоя, безмятежной любви? Но разве такая любовь бывает?

Глазанышки, глазанышки, синие глазанышки... – пела когда-то мама о синих глазаньках, в которых нет ничего, кроме любви. Почему-то раньше при мысли о Рогове у нее в памяти всегда возникала милая давняя песенка о синих глазаньках. Это до последней встречи. А тут оказалось, что глаза у Рогова совсем не синими стали, и не было в них никакого покоя. Да и был ли в них когда-нибудь этот покой? Не сказка ли это, сочиненная про себя в долгие вечера одиночества?

ГЛАВА VI

Разговор, очевидно, был о Рогове, потому что, когда он вошел, Дробот умолк и торопливо вытянул из папки четвертушку бумаги.

– Заявление тут на тебя, – сказал он нарочито спокойным, даже безразличным тоном и почему-то вопросительно посмотрел на Филенкова и Стародубцева. – Группа забойщиков жалуется на незаконные удержания.

– Какая группа? – Рогов устало присел на стул.

– Ты не беспокойся, – заторопился Дробот, – я тут подумал и решил, что все можно уладить.

– Если есть заявление, – возразил Рогов, – его нужно разобрать и виноватого взгреть. Так, по моему, делается?

Опустив глаза, Дробот иронически усмехнулся:

– С тобой говорить – терпенье нужно воловье... Неужели ты не понимаешь, что виновен ты? Люди жалуются, что районный инженер Рогов огулом, оптом бракует работу... Я же не могу оставить этого без внимания – я же начальник шахты! А ну, как дойдет все это до горкома партии?

Рогов всерьез заинтересовался:

– Кто же эти жалобщики?

Дробот отмахнулся.

– Какая разница – Сидоров, Иванов или Петров, – важно, что правильно жалуются... По существу, разумеется, а не формально.

Рогов рассердился:

– Как вы можете брать под защиту бракоделов? За смену они дали тридцать процентов золы!

– Это в какой лаве?

– В двадцать восьмой.

– А почему?

– А потому, что работают спустя рукава...

– Подожди! – перебил Дробот и, встав, раздраженно потоптался, не выходя из-за стола. – Я сам скажу, почему... В двадцать восьмой, несмотря на слабую кровлю, ты все еще экспериментируешь, все еще не установил точно ни шага посадки, ни паспорта крепления.

Рогов медленно покачал головой.

– Установил, Петр Михайлович, неделю тому назад. Жду, когда подпишет главный инженер.

– Подписал! Уже! – быстро отозвался Филенков. – Передано начальнику шахты.

Дробот напряженно подвигал бровями, вспоминая что-то, потом сказал:

– Я не отнимаю у тебя право думать над работой, Но еще раз повторяю, не забывай основное: сегодняшний день. А то, понимаете, творить все мастера, а за добычу я один отвечаю. Творцы!

«Да, Дробот деловит, – подумал Рогов, – знает до тонкости производство. Но ведь и только!» За его внешним оживлением, за профессиональной начальнической крикливостью Рогов совершенно отчетливо чувствовал такую невозмутимую, такую устоявшуюся заводу, что просто руки перед ней опускались. Но время идет, и нельзя же топтаться на месте. Основные-то оперативные вопросы решает Дробот? Конечно, он. Послушать только, какая у человека хватка: кричит кому-то по телефону, что он знает в новой лаве каждую стойку по имени-отчеству, что в верхней части лавы можно картошку сажать и спокойно ждать урожая – такая там кровля устойчивая.

И ведь правильно всё это – знает Дробот лаву как свои пять пальцев, как свой письменный стол. Ну и что же?

«Как что? – Рогов даже удивился этому своему вопросу. – Очень даже просто. Именно тем начальник и держится, тем и держит шахту, хотя правильнее, пожалуй, сказать – сдерживает шахту».

Но все это пока вопросы академические, как сказал бы сам Дробот, а тут дело требует немедленного решения.

Не далее как прошлой ночью, пользуясь данными маркшейдерского замера, Рогов долго и придирчиво анализировал обстановку с подготовительными работами. Он попытался заглянуть на три-четыре месяца вперед, попытался узнать, в каком положении окажется шахта. Результаты просто испугали. Если фронт для выемки угля будет готовиться такими же темпами и дальше, запасов хватит самое большее на полгода. А потом?

Едва дождавшись утра, пошел в партбюро, но там сказали, что парторг в горкоме и едва ли скоро будет: оформляет путевку на учебу. Ждут нового работника.

Однако нужно было немедленно что-то предпринимать. Подумал, подумал и наконец, вызвав Дубинцева, приказал подобрать две хорошие бригады для скоростной проходки штреков.

– Пробовали у нас это, – скептически заметил техник.

Рогов холодно глянул в его глаза и резко произнес:

– Я вас не пробовать заставляю, дегустатор! Задача понятна?

– Понятна! – встрепенулся Дубинцев и побежал выполнять распоряжение.

Через час списки бригад были составлены, но заместитель главного инженера Харламов отказался их утвердить.

– Вы оголяете остальные участки, дорогой Павел Гордеевич! – сказал он.

– Я ставлю основные силы на направление главного удара, – возразил Рогов.

– Батенька мой, – поморщился Харламов, – не вводите меня в заблуждение пышной терминологией, вы лучше в суть дела посмотрите. Два штрека у вас будут продвигаться на двести метров в месяц, а остальные поползут черепахой.

Но доводы Рогова в пользу скоростной проходки были так убедительны, на необходимости ее он так страстно настаивал, что Харламов наконец сдался.

– Согласен, согласен! – поднял он руки. – С вашим напором, да города брать. Вот вам подпись!

Благословляю. А теперь идите к властям предержащим.

...Дождавшись следующей паузы в разговоре и заметив вопросительный взгляд Дробота, Рогов положил перед ним списки бригад. Дробот мельком просмотрел их и передвинул Филенкову.

– Покумекай, это по твоей части.

– Ну что ж... – главный инженер подумал, вздыхал, – я считаю дело это вполне своевременным, хотя... не без риска.

– Риск? – перехватил слово Дробот. – Гм... Давайте тогда так: делать будем, но огласки этому делу никакой. Если не получится, чтоб не кудахтали.

– Это неправильно! – почти выкрикнул Рогов. – Неправильно! По-моему, огласка как раз и необходима, пусть бригады скоростников почувствуют, как важен их труд. А риск... Что ж, всякое новое дело таит в себе элемент риска. Но в данном случае это почти исключено. Кстати, чтобы было поменьше риска, я прошу сразу же утвердить исполнительный график по забоям и проект приказа по транспорту.

– Опять транспорт? – Стародубцев перегнулся через стол. – Я прошу тебя, Павел: оставь наконец меня в покое!

Рогов нехотя усмехнулся.

– При чем здесь твой покой? Я говорю о необходимости обеспечить порожняком скоростные забои.

– Спокойно, товарищи, – остановил Дробот. – Одну бригаду и график на нее я утверждаю. Это даже хорошо, потому что вчера из комбината прислали в трест директиву об организации скоростных забоев. Директива придет на шахту, а у нас уже дело на мази, – он с довольным видом пощелкал пальцами, но сразу же потускнел. – Только я тебя прошу, Павел Гордеевич, будь благоразумен, всего, так сказать, в меру! И насчет огласки, насчет всякой там кампании вокруг этого категорически заявляю: без шума! Тут дело еще в зародыше, а на карту ставится честь коллектива. Иди хоть в партбюро или еще куда, – запрещаю.

Молчавший все время Филенков подал голос:

– Оно, скажем, и лучше, как говорит Петр Михайлович. В случае успеха вдруг по всей шахте узнают, потом в тресте, в горкоме... – Филенков

вздохнул и, как-то подбирая слова, закончил: – Это, так сказать, большой политический эффект должно иметь... Впечатление произведет.

Семен Стародубцев сейчас же подвинулся к столу, сначала громко потянул носом, словно принюхиваясь, потом сказал с усмешкой:

– Впечатление произведет. Как же! В тресте немедленно набросят к плану несколько тысяч. Закваска, можно сказать, подходящая... Только едва ли вовремя.

– Видишь? – Дробот поглядел на Рогова, точно уличил его в непростительной ошибке. – Значит, условие одно: чтобы тишь и гладь.

Рогов поднялся. Ему было тяжело и неприятно продолжать разговор, который становился похожим на торговлю. Взяв у Филенкова список бригады, он пошел к двери, но Дробот вдруг окликнул:

– Павел Гордеевич! Чуть не забыл... Вчера в тресте решили передать тебе и седьмой участок. Бери, брат, и хозяйствуй.

– Но это же северное крыло? – удивился Рогов и еле сдержал себя, чтобы наотрез не отказаться: сегодня семнадцатое, участок самый запущенный, и район, значит, снова не выполнит месячный план. Как будто умышленно все так подстраивается, чтобы отнять у него какую бы то ни было возможность заняться осуществлением своих замыслов.

– Какая разница – северное или южное? – примирительно сказал Дробот. – Пласт-то один. И, между прочим, не забудь: завтра в шесть вечера слет стахановцев. Получаем знамя!

Разыскивая Дубинцева, Рогов прошел по многочисленным помещениям конторы, мойки. Был час дневного наряда. Из верхних окон на цементный пол раскомандировочного зала падали косые солнечные столбы. В них клубились мириады золотых пылинок. Говор многих голосов, приглушенный смех, обрывки торопливых фраз – все сливалось в сплошной гул, и сотни шахтеров отчетливее, чем когда бы то ни было, представлялись большой работающей семьей.

Дубинцева он так и не отыскал. Хотел уже пойти на материальный склад, как вдруг его окликнули.

Оглянулся и заметил, что в группе рабочих приветственно вскинул руку старый проходчик Вошин. Поздоровались.

– Я слышал про скоростной забой, – сказал Вошин. – В случае чего, об мне не забудьте.

– Нет, на этот счет у меня память хорошая, – успокоил Рогов. – Вас в первую очередь записал. Я даже больше скажу: придется вам, Афанасий Петрович, командовать бригадой.

– Ну что ж, можно и покомандовать, раз такая нужда пришла, – согласился Вошин.

– Очень хочу, чтобы все было хорошо! – Рогов с доверчивой улыбкой пожал тяжелую, почти квадратную руку проходчика.

Тот нерешительно переступил с ноги на ногу и сказал:

– Павел Гордеевич... Вы меня, конечно, извините, если что не так. У меня сын-фронтовик приезжает и дочка вернулась. Приходите как-нибудь вечером, поговорим, посмотрите на мое жительство-бытие.

Рогов пообещал прийти.

ГЛАВА VII

На следующий день с утра Рогов решил принять новый участок, чтобы уже сразу было известно, с чем и с кем придется иметь дело.

Начальником седьмого оказался вихрастый, средних лет человек, с маленьким личиком, усеянным зеленоватыми веснушками.

– Очередько, – отрекомендовался он и тут же зачистил: – Значит, так, товарищ инженер, кривая добычи на участке...

– А вы проще, – прервал его Рогов, – без кривых...

Очередько запнулся, а потом путано стал докладывать о состоянии дел, упоминая все же о кривой, которая «имеет тенденцию» падать.

Рогову очень не понравился этот доклад, хотя он и изобиловал многочисленными подробностями. Насчет запасов угля, годного к выемке, Очередько не мог ничего сказать, зато о рабочем пополнении распространялся подробно, плаксииво передергивая губами:

– Так это же смех, а не рабочие, товарищ районный инженер. Называется трудовой резерв, ну пусть бы он и был в резерве! Зеленые

же все! Уцепятся за одну стойку, ну, истинно, как муравьи, а толку чуть. Вот скажу я вам, во время войны работалось!

Рогов проговорил сквозь зубы:

– Имейте в виду, я вам не дам спокойно жить! Не трудитесь со мной ходить, я сам осмотрю участок.

Забои на участке не понравились Рогову так же, как и доклад начальника. В нижней параллельной просеке он застал группу забойщиков. Кто-то из них посветил ему в лицо и сказал:

– Ну, работка: сидишь и зеваешь, аж за ушами ноет, – лесу, видишь ли, не хватило.

Думая, что его не узнали, Рогов присел в сторонке. Но один из шахтеров вдруг обратился к нему:

– Может, вы нам разъясните, когда волынка на нашем участке кончится? У всех работа как работа, а у нас что ни день, то коловорот: или без леса, или без порожняка.

Выяснилось, что на участке работают две бригады, причем одна, с которой он сейчас говорил, состоит целиком из старых кадровых забойщиков, а другая – из выпускников школы ФЗО. Кадровики не зря ворчат. Им постоянно приходится подбирать «хвосты за трудовыми резервами», – как выразился Очердько.

Рогов прошел в лаву. Врубовка стояла. Машинист при тусклом свете лампочки чинил брезентовую рукавицу. Глянув мельком на инженера, он равнодушно буркнул:

– Кабель надо менять, а слесаря черт с квасом слопал.

– А самому зазорно этим заняться?

– При чем тут зазорно? Мне же не дадут кабель на складе.

Спустившись через печь и прыгнув с расшатанной лесенки, Рогов увяз обеими ногами в грязи. Вода и грязь затопили рельсы. Штрек похож был на длинное стоячее болото. Тоненько пел вентилятор, вытягивая невидимую воздушную нить, в сторонке теплился огонек лампочки, люковой дремал, привалившись к стойке.

– А что же мне делать? – обиделся он на замечание Рогова. – Порожняк на месте, а угля в спусковой печи пока нет.

– Запомни, – тихо, но настойчиво сказал Рогов, – штрек на сто метров в ту и в другую сто-

рону – твоё хозяйство. Вернусь сюда к концу смены, и если участок будет по-прежнему по уши в грязи, я назову тебя лодырем... При свидетелях назову! Понял?

С тяжелым чувством досады поднялся Рогов наверх. Был поздний вечер. На ступеньках железного виадука теплились огоньки папирос.

– Ну, хватит вам про девчат! Скука! – сказал кто-то ломким басом. – Давайте споем лучше. Люблю песни.

Поднявшись на виадук, Рогов подошел к сидевшим и спросил:

– Покурить найдется?

– Найдется, товарищ Рогов, садитесь, – предложил любитель пения.

– Откуда знаешь меня? – спросил Рогов, принимая папироску.

– Ну еще бы, – усмехнулся парень. – Вас сегодня так в газете разделили – теперь весь рудник знает.

– В газете?

– Ну конечно. А вы что, не знаете? Так вас же там на все корки и даже стишок внизу приписали.

– Придется почитать на досуге, – присаживаясь на ступеньку, сказал Рогов.

– Да уж придется, если не читали! – несколько человек коротко рассмеялись.

Минуты две сидели в неловком молчании, потом один из парней, очевидно самый разговорчивый, нетерпеливо встал.

– Скукота! В клуб, что ли, сходить...

– Вот что... – Рогов спокойно взял его за руку и усадил рядом с собой. – Можно ведь и так жить чтобы скукота не мучила.

– Да я к слову, – замялся парень и настороженно затих.

– Вот и я тоже к слову. Мне кажется, вы все на седьмом участке работаете? Бригада Черепанова? А ты – Черепанов, так, что ли?

– Ну, так... – ответил кто-то с верхней ступеньки и тут же невесело вздохнул. – Начнется сейчас проработка.

– Какая проработка?

– Ну, ругань. Нас Очердько и утром, и вечером лает.

– Не нравится? – засмеялся Рогов.

– Вас же самого в газете... Разве нравится? – коротко хохотнул паренек, сидевший рядом.

Рогов вспомнил о непечатой пачке папирос, распечатал ее и угостил собеседников.

У него был план поговорить с молодыми забойщиками начистоту, спросить прямо, есть ли у них желание работать, что их вообще заставляло пойти в шахту, если это так трудно, и, наконец, какая им помощь нужна. Он уже мысленно прикидывал, с чего и какими словами начать... Но вдруг, по какой-то непонятной связи, ему представилось, что он сидит в кругу молодых солдат где-нибудь недалеко от переднего края. Сколько таких встреч было за годы войны и как мало было сказано слов при этом... Да и много ли нужно было слов людям, которые пришли защищать родную землю! И все же слова большой человеческой правды иной раз сами рождались, поднимая в людях то гнев к врагам, то нежную сыновнюю любовь к отечеству. Но это было на фронте, в необычной обстановке, далеко от родимого крова, а что же такое особенное сказать этим молодым шахтерам?... Как же им сказать, чтобы они вдруг увидели, что самой жизнью поставлены у настоящего дела? Рогов еще думал над этим, но слова уже сами рвались, просились на волю...

И вдруг неожиданно для себя сказал задумчиво:

– Хорошую жизнь начинаете... – Потом подумал и, вдруг двинув нетерпеливо плечами, повторил громко: – Хорошую, удивительную жизнь! Слышите, шахтеры? А начинаете вы ее вразброд, неумело, потому что не знаете, сколько сил в каждом из вас... Мне почему-то очень хотелось бы видеть, как рядом с вами ходит, работает, песни поет Степан Данилов. Был у меня такой парень в роте на Брянском фронте. В трудное время довелось ему воевать...

Говорил Рогов спокойно, временами умолкал, глубоко затягиваясь папироской, и тогда золотой огонек слабо освещал его припухшие губы, коротковатый нос и крутые надбровные дуги. Земля дремала вокруг, словно прислушиваясь к его неторопливому рассказу; звезды как будто спустились ниже; совсем близко шумно вздыхала шахта... А перед слушателями одна за другой возникали далекие фронтовые картины.

– ...Ненастная осень раскачивала редкий, вырубленный огнем осинник. Оползали глиняные стенки траншей. Липкая грязь сочилась через порог блиндажа. Темно и сыро. На земляных нарах сидят и лежат солдаты. Тихо в блиндаже. Но вот кто-то стучится в дверь. «Войдите», – недовольно отзывается старшина.

Дверь открылась. На пороге вытянулся совсем небольшого роста солдат и доложил: «Красноармеец Данилов. Из госпиталя. Военная специальность – разведчик и снайпер. Прибыл с маршевой ротой, прошу зачислить на все виды довольствия».

Передохнув секунду, он вдруг прыснул в кулак: «Бомбили меня сейчас».

В блиндаже расхохотались: «Наверняка сам Геринг прилетал... А мы тут гадаем: почему на участке затишье?...» – «Так ведь Гитлер все силы и стянул против этого снайпера!»

«Расскажи толком», – попросил старшина. «Так я же толком, – весело откликнулся парень. – Ехал на попутной кухне с поваром. Во-первых – тепло, во-вторых – сытно. Повар лихой, врал всю дорогу, как он при помощи черпака захватил в плен венгерского генерала. И вдруг самолеты. ...Этот кулинар пополз на четвереньках в кусты. Я тоже хотел прыгнуть в какую-нибудь ямку, но жалко стало кухню. Схватил вожжи и давай гонять по полю. От гоньбы этой, что ли, дрова в кухне разгорелись, дым, как от парохода, а самолет пристал и пристал... Ну и взял он меня потом в работу: «Самому, – говорит, – старшине доложу!» – «Кто, немец, что ли?» – «Да нет, повар. Это когда немец улетел. Надо сначала, – говорит, – кухню завинтить герметически, а потом сражение принимать. Половину, – говорит, – щей расплескал, растяпа!»

«Повар у нас действительно строгий, – заметил старшина. – Но если со щами на самом деле неустойка, не миновать вам обоим по два наряда вне очереди».

В блиндаже снова расхохотались. А потом каждому вдруг захотелось иметь своим соседом маленького новичка. К нему сразу потянулись с несколькими кисетами, но старшина взял инициативу в свои руки и поместил Данилова рядом с собой.

Через полчаса снайпер завладел ротной гармошкой и пленил солдатские сердца родными мелодиями. Через месяц на его счету было уже одиннадцать немцев, а через три месяца – семьдесят шесть и две правительственные награды. По всему фронту разнеслась слава о молодом снайпере. Его вызвал к себе генерал и вручил именное оружие. У Данилова оказались десятки последователей и учеников.

Примерно в это же время прославилась своими подвигами снайпер соседнего батальона – Тоня Липилина. Общительный и покладистый Данилов почему-то равнодушно обходил девушку. Они часто встречались, работали в соседних секторах, а душевной близости у них почему-то не возникало, хотя это было бы вполне естественно между людьми, которые обеспечивали друг другу боевые фланги.

«Девчонка, чего с нее взять», – пренебрежительно замечал Данилов, когда речь заходила о Липилиной.

Это было явно несправедливо, потому что Тоня мало в чем отставала от самого Данилова.

Уже перед весенним наступлением Данилов привел в неопишемую ярость немцев, сняв удачным выстрелом представителя гитлеровского верховного командования, когда тот совершал инспекторский смотр своих передовых укреплений. Немцы забросали наши траншеи листовками, в которых категорически утверждали что русский гросс-снайпер Данилофф будет уничтожен не позднее, чем через пять дней, самым что ни на есть выдающимся гросс-снайпером имперских вооруженных сил, майором СО Гансом фон-Ульприхт.

«Хвастаются, стервецы, – весело заметил Данилов, когда ему показали эту листовку. Но перед выходом в очередную засаду в разговоре с командиром роты он, словно между прочим, попросил: – Вы бы, товарищ лейтенант, предупредили соседних снайперов, чтобы не зевали».

Так прошло два дня. И вдруг вражеский снайпер дал знать о себе целой серией очень дерзких вылазок. Был убит веселый повар Котов, с которым когда-то Данилов прибыл на передний край, ранило старшину Неупокоева, и его заменил толстяк Чистяков. Почти в один и тот

же час из соседней роты унесли в полевой госпиталь сразу трех солдат. Данилов потемнел лицом. Вечером сообщили, что немецким снайпером ранен адъютант командира полка. Гармоника в руках Данилова басовито вскрикнула. Он отставил ее и, зажав ладони между коленями, минут десять сидел потупившись.

Зная его неровный характер, товарищи помолчали, потом заговорили о посторонних вещах. Только пожилой уралец Гурьев не выдержал и ворчливо сказал: «Расшевелить врага смогли, а вот ухлопать толку не хватает».

Минут через пять Данилов ушел. Вернулся только на следующий вечер. Молчком вычистив винтовку, лег спать. В блиндаже по возможности говорили шепотом; солдаты знали, какая в обороне важная фигура снайпер. Передавали в разговорах, что Данилов за сутки убрал семейных гитлеровцев.

Ночью немцы несколько раз обстреливали ураганным минометным огнем «ничейную» полосу. Из штаба батальона было приказано иметь максимальное количество людей на переднем крае. Час от часу обстановка на участке все больше накалялась.

Утром старшина Чистяков несмело потянул Данилова за ногу и сказал: «Степан, ты спишь? Послушай, что говорить буду...» – «Говори», – глухо отозвался снайпер. «Тоню Липилину немец стрелил... жалко девчонку. Только что унесли в санроту».

Шинель стремительно слетела с Данилова. Он сел, вцепившись железными пальцами в плечи старшины. Его припухшие от сна веки вздрагивали, губы приоткрылись, обнажив два ряда белых острых зубов.

«Что ты сказал? – прошептал он. – Тоню?» – «Да ты... это... – забормотал Чистяков, – говорят, что не насовсем». – «Не насовсем!»

Данилов метнул на Чистякова гневный взгляд, но тут же встал и, вытянувшись по форме, попросил: «Разрешите на пятнадцать минут отлучиться в санроту?»

Тоню готовили к эвакуации в тыл. Подтянутый, строгий Данилов стал у ее изголовья. Она увидела его и сквозь гримасу боли виновато улыбнулась: «Проморгала, Степа... Мне кажется, он у двух осин, что в твоём секторе...» – «Тоня... –

Данилов наклонился к девушке и неумело коснулся ладонью ее щеки, — Я убью его... Тоня!»

Вечером в блиндаже не слышно было гармошки. Уходили на посты солдаты. В желтом свете коптилки медленно колебались тени на стенах. Данилов поздно вернулся от командира роты и сейчас же стал неторопливо и особенно обстоятельно готовиться к выходу. Проверил оптический прицел, заново осмотрел и протер патроны, переобулся, сунул за пазуху два сухаря и ушел.

Уралец Гурьев стоял у амбразуры на правом фланге ротного участка. Снайпер пробыл у него до того часа, когда на востоке забрезжил голубоватый свет. Несколько раз до этого к ним заглядывал командир роты и тихо спрашивал: «Сидишь? Ну сиди!»

Наконец Данилов поднялся.

«Тронулся? — встревоженно спросил Гурьев. — Может, отдохнешь еще?» — «После войны. В Сочи-Магеста», — буркнул Данилов и бесшумно скользнул через бруствер, точно растаял в струящейся полумгле.

Гурьеву показалось, что еле приметный холмик, до которого от бруствера было метров сто, расступился и поглотил маленького солдата. Но если бы уралец мог выйти вперед, он заметил бы, как между кустиками прошлогодней травы медленно и настороженно живут серые строгие глаза. Пока поднималось утро, эти глаза ощупывали каждую кочку, каждую ложбинку перед передним краем немцев. Место привычное, знакомое: справа две тонкие осины, слева чистое поле, перепаханное воронками. Как будто ничего нового. Но за комлем осины видна еще приметная выпуклость каски, прикрытой маскировочной сеткой. Вот каска чуть заметно перемещается. Данилов кривит губы: дурак этот немец, если хочет поймать на такую тощую приманку!

Но где же все-таки «рыболов»? Не обращая внимания на плохо замаскированную каску, снайпер переводит взгляд чуть левее. Догадка обжигает его в ту же секунду. Он даже прикрывает глаза от волнения, но тут же успокаивается и сжимает шейку приклада, словно уже самого немца держит за горло.

Для того чтобы средняя, самая неприметная кочка попала в перекрестье прицела, нужно

было повернуться всего градусов на двадцать. Едва он повернулся, как над головой просвистела пуля. Можно было бы, конечно, еще подождать, но Данилов, чуть покривив уголки сухих, обветренных губ, нажал спуск, и кочка, словно рассеченная хлестким ударом, распалась надвое. Из-под нее судорожно вскинулась рука, плоская немецкая каска покатилась в сторону...

— Мы потом еще долго воевали со Степаном Даниловым, до самого Одера дошли, — говорит Рогов, раскуривая потухшую папиросу.

— А вы рассказывайте, Павел Гордеевич! — просит Черепанов. — Его, что ж, убили потом?

— Его наградили званием Героя Советского Союза, и я уверен, что он остался жив! — Рогов поднимается со ступеньки. — Такие не умирают. Если хотите, я вам еще расскажу о нем много интересного, но это как-нибудь потом, а сейчас дело у меня к вам. Слушайте-ка...

Еще не менее часа после этого со ступенек виадука слышался то ровный голос Рогова, то ломкий басок Черепанова, то вдруг разгорался общий оживленный разговор. Потом бригада забойщиков в полном составе провожала инженера до самого дома. Пожимая на прощанье руку, Черепанов сказал, кивнув в сторону почти молчаливых товарищей:

— Павел Гордеевич, надейтесь... Не подведем.

ГЛАВА VIII

Солнце еще не показалось из-за горы, но синий свет уже поднялся во всю небесную ширь. В недостигаемой высоте курчавилось одинокое розовое облако, возвещая всему утреннему миру, что день идет.

Когда Рогов в сопровождении Очередыко пришел на материальный склад, где предполагалось произвести пробный монтаж нового скребкового транспортера, бригада Черепанова была уже на месте. Приход инженера и начальника участка остался незамеченным. Забойщики внимательно слушали бригадира. Черепанов говорил что-то вполголоса, часто перебивая свою речь одним и тем же словом: «Понимаете?» Рогов только сейчас по-настоящему разглядел этого рослого парня с юношески чистым, красивым лицом и плавными, округлыми движениями.

– Я ставлю на голосование: кто за? – спросил Черепанов.

Не замечая Рогова, пятеро молодых шахтеров дружно подняли руки.

– А теперь заметьте, – Черепанов медленно опустил крупные кулаки в карманы брезентовых брюк. – Теперь заметьте, – это политический поступок. Если провалимся – опозорим имя Героя, и тут нам никакие начальники не помогут.

– Вы слышите, Павел Гордеевич? – зашептал за плечом Рогова Очередько. – Честное слово, сомневаюсь, будет ли толк из парней. Очень уж на язык бойкие, не по-шахтерски.

Не ответив, Рогов подошел к забойщикам.

– Собрание провели маленькое, – застенчившись, доложил Черепанов. – Жизненный вопрос. Но пока это секрет.

Рогов подробно рассказал Черепанову, как надо подготовиться к монтажу транспортера и, пообещав прислать техника Дубинцева, пошел в комбинат. Сбоку поспешал Очередько. Ободренный молчанием районного инженера, он развивал какие-то туманные планы.

– А то как же! – удивленно восклицал он, полемизируя неизвестно с кем. – Конечно, участок длительное время отставал. Но, если хотите знать, все это время накапливались силы, кое-какие порывы приходилось даже сдерживать.

– Что-о? – Рогов замедлил шаг.

– Не умышленно, конечно, – поспешно поправился Очередько. – Не хотелось разбрасываться, мелочиться. Зато на днях я развернусь. Честное слово! Весь рудник ахнет. Да что рудник, – мероприятие всекузбасского масштаба! Рекорд организую. Есть у меня на участке один такой забойщик – ручищи, грудь, мощный человек! Уже договорились. Придется подбросить ему отрез на костюм или еще какую-нибудь малость.

– Как это подбросить?

– Обыкновенно. Пообещать премию. Будете спокойны, все окупится. Верные три тысячи процентов.

– Кто же это такой? – заинтересовался Рогов.

– А вы что же, не знаете нашего Деренкова? – удивился Очередько. – Павел Гордеевич, для пользы дела советую: изучайте людей! Я этого Деренкова вдоль и поперек знаю. Норовист му-

жик, в войну еще сюда прибыл. Не знаю, по какому случаю, да и знать не хочу: ведь важно, чтобы он уголь давал. А он умеет это, если, конечно, захочет или если его подмажешь. У меня простой расчет: чем возиться с десятью зелеными хлопцами, вроде этих фезеошников, лучше держать под рукой такого, как мой Деренков. Я все это к тому, что прошу вашей санкции на рекорд.

– Вот что... – Рогов подумал и проговорил медленно, подчеркивая каждое слово. – Никакой санкции, никакого разрешения вы от меня не получите на эти цирковые номера. Учитесь думать над тем, что делаете. А сейчас вернитесь к бригаде Черепанова и помогите ребятам.

Очередько беззвучно подвигал губами, торопливо поправил кепку и ушел. Рогов позвонил начальнику шахты.

– Нет, нет, – запротестовал тот, – в шахту не ходи, сегодня целая серия совещаний.

К досаде Рогова, совещаний последовала действительно целая серия. Сначала разговаривали с начальниками участков, районными инженерами, и Дробот без особой нужды раскричался по адресу «некоторых молодых руководителей, не желающих считаться с крепкими традициями шахты». При этом Рогов встретился взглядом со Стародубцевым.

«Что, попало?» – одними глазами спросил начальник транспорта. «Привыкаю», – тоже глазами отозвался Рогов. Потом совещались с горными мастерами и, наконец, утомительно долго обсуждали вопросы техники безопасности и изобретательства. Об изобретательстве очень невнятно и общо докладывал сам Дробот.

Дубинцев бросил Рогову через стол записку. «П. Г., есть новость: женюсь. А в отпуске Дробот отказал. Походатайствуйте! А еще обратите внимание на Хомякова, старик что-то мрачен».

Рогов размашисто написал на обороте: «Поздравляю! Она чудесная девушка. Походатайствую». И осторожно глянул в тот угол кабинета, где сидел Хомяков. Старый маркшейдер, очевидно, не слушал докладчика, лицо его ничего не выражало, кроме болезненного томления. Рогов написал на газетном клочке: «Что с вами?» и, не обращая внимания на косой взгляд Дробота, бросил записку маркшейдеру.

Тот прочел и, обрадовавшись вниманию, быстро закивал головой, словно говоря: «Да, да, мне очень плохо».

– Что же все-таки конкретно можно сказать о работе с изобретателями? – нетерпеливо прервал докладчика лобастый человек с карими веселыми глазами.

– Новый парторг, – одними губами ответил Дубинцев на молчаливый вопрос Рогова.

– Мало изобретают! – отчеканил Дробот.

– Действительно! – пробормотал Рогов.

До слета оставалось всего часа три, и спуститься в шахту уже не было смысла. В коридоре Рогов остановил Хомякова.

– И не говорите, – сокрушенно сказал тот, – страшнейшая неприятность на работе!

– И что же это – секрет? – осторожно спросил Рогов.

– Как сказать... Оно, может быть, и секрет... Но вам я могу довериться.

Волнуясь и потому часто сбиваясь с мысли, Хомяков вполголоса рассказал, что на днях произвел обычный месячный замер угля в штабелях и при этом обнаружил недостачу четырнадцати тысяч тонн.

– Это меня так... так потрясло, – Хомяков поднял на Рогова маленькие, близорукие и оттого беспомощные глаза.

– Какой же здесь секрет? – насупился Рогов. Ему неприятно было сейчас растерянное и даже испуганное лицо старого маркшейдера.

– Надо немедленно доложить обо всем Дроботу.

– В том-то и дело, голубчик, – вздохнул Герасим Петрович, – докладывал, пять раз докладывал. Написал даже рапорт, а результаты трагикомические. Сказали, что я на старости лет забыл арифметику.

– И вы что же, таблицу умножения зубрите?

– Павел Гордеевич! – Хомяков выпрямился, на щеках у него появился склеротический румянец.

Как раз в этот момент к ним приблизился новый парторг.

– Здравствуйте, товарищ Рогов, – заговорил он, пожимая инженеру руку. – Бондарчук. Парторгом к вам назначен. Хотел поговорить сегодня

с вами, а тут как раз слет, перенесем этот разговор на завтра. Хорошо?

Они прошли вместе до раскомандировочного зала.

– Я, правда, себя пока что гостем чувствую, – улыбаясь, сказал Бондарчук, – но хорошо, что приходится начинать с такого приятного события, как получение знамени.

– Вам повезло, – согласился Рогов.

– Случайность? – Бондарчук мельком, но очень зорко глянул в лицо инженера.

– Нет, почему же...

– Ну, хорошо, – кивнул парторг, – значит, до завтра?

Рогов утвердительно кивнул и пристально, твердо поглядел в карие веселые глаза Бондарчука.

ГЛАВА IX

Рогову всегда казалось, что на стахановских слетах он попадал в неоглядный простор, где вот-вот должно было нагрянуть что-то необыкновенное, могучее. Но сегодня ощущалась еще и досадная неловкость, как будто он явился не вместе со всеми, а по специальному приглашению: людей от его района было на слете очень мало.

Сотни стахановцев заполнили просторный вестибюль клуба. Лица у всех были немного торжественные и в то же время деловитые. Собрались свои люди, не год и не два знавшие друг друга в буднях, в труде, в надеждах и победах. Слитный гул голосов, встречные улыбки, короткие приветствия и какое-то особое приподнятое настроение, как перед праздником или торжественным событием, – все это наполняло каждого несокрушимой верой в общую силу, в мощь коллектива.

Очень многих Рогов не знал вовсе, но с тем большим интересом вглядывался в них, как если бы ему обещали, что завтра они будут его лучшими друзьями.

Вот идут двое, заложив руки за спину, чуть откинув головы, оба такие плотные, что кажется – поскрипывает коричневый дубовый паркет под их ногами. Одному лет пятьдесят, другому – двадцать, не больше. Отец и сын? Не по-

хоже, но это представители двух шахтерских поколений. Старший, очевидно, долбил уголек еще в Анжерских михельсоновских штольнях, а младший не больше двух лет гонит забой где-нибудь на «Капитальной». И нечего даже гадать – здорово гонит. Они останавливаются почти рядом с Роговым. Пожилой говорит:

– Шахт в Кузбассе множество... Я вот ехал с курорта и все смотрел. Много ли из вагона увидишь, и то! Какая сила поднимается – дух захватывает!

– Митрич, – пробует парень и свое слово вставить. – Так я же по какому вопросу...

– Ты слушай, – Митрич слегка притопывает носком сапога. – Ты слушай, «по вопросу»! Я тебе толкую о том, что нужно жить сила в силу со всеми. Тебя вызывают с «Физкультурника» из Анжерки, с «Бутовки» из Кемерова, с «Журинки» из Ленинска – вот ты и откликнись.

– Так ведь боязно, столько народу...

– Боязно! Ты что, чужой, что ли? С неба упал? В Кузбассе – и боязно!

...Где-то в толпе мелькнули Дубинцев и Аннушка. У них были такие счастливые лица, как будто весь слет собран специально для них, а может быть, и весь мир существует только, чтобы их радовать. Девушка помахала рукой Рогову, и он потерял их из виду. В ту же минуту кто-то потянул Рогова за рукав.

– А, Черепанов! – обрадовался он. – Ну, как успехи?

– Опять лаялся Очередько... – на чистом смуглом лбу забойщика обозначились две тонкие морщинки. Он показал глазами на дверь и пожаловался: – Не пустили сегодня мою бригаду на слет, потому что не стахановцы. А ребята обиделись, прямо страшно. Я вот кое-как пробрался. Можно сказать, зайцем! А за ребят обидно.

– А что же говорят? – заинтересовался Рогов.

– Да что говорят... Добьемся, говорят, что в следующий раз со знаменами и музыкой встречать будут, весь рудник ахнет. Обиделись, прямо страшно!

От дверей к Рогову проталкивался заведующий клубом.

– Уймите, пожалуйста, свою молодежь! – кричал он инженеру, показывая рукой на дверь. – На вас ссылаются.

У входа в полном составе митинговала бригада Черепанова.

– Бюрократы! – петушился светленький крепыш, фамилию которого Рогов не упомянул. – Примите меры, Павел Гордеевич! Говорят, что мы не стахановцы, понимаете?

Митинг этот немного рассмешил Рогова, но он довольно легко уговорил молодежь вернуться в общежитие, сославшись при этом на то, что здесь Черепанов, а клуб все равно не вместит всех желающих.

– Скандалят? – с тревогой спросил Черепанов, когда они усаживались рядом в большом зале.

– Обиделись страшно! – повторил Рогов слова самого же бригадира... – И я тоже.

– И вы?

– Конечно. На вас. Вам бы можно было, знаете, какой почет заслужить? В президиум могли выбрать. А тут и на порог не пускают. Обидно! Ну да ладно, послушаем, что умные люди скажут.

Первым выступил знаменитый забойщик третьего района Хмельченко.

– Мне письмо с соседнего района прислали! – сказал он. – Забойщик Деренков прислал. Давай, говорит, товарищ Хмельченко, соревноваться. Ну что ж, думаю, давай, товарищ Деренков! А потом почитал письмо, подумал и заскучал.

– Нельзя ли яснее? – кричит кто-то из зала.

– Можно яснее, – соглашается Хмельченко. Он выходит из-за трибуны, опирается на нее и сразу становится виден притихшему собранию во всей своей сорокалетней стати.

Глядя на крутой разворот плеч, на то, как ладно несет он небольшую голову с квадратным лбом, каким умом светятся из-под темноватых бровей его глаза, можно было не сомневаться: это настоящий шахтер, и сказать он может о своем деле ясно и твердо.

– Я скажу, – повторяет забойщик. – Для этого и встал перед вами. Во-первых, что такое есть стахановец? Стахановец – это, по-моему, тот человек, у которого душа постоянно тревожится о своем деле – вот что такое стахановец!

– Общие слова! – прерывает оратора Очердько.

– Я извиняюсь! – Хмельченко выставляет перед собой ладонь, как щит. – Я извиняюсь, прошу не путать меня.

– Не мешайте ему! – раздался многоголосый крик.

Бондарчук постучал карандашом по графину.

– Продолжайте, товарищ Хмельченко.

– А этой душевной тревоги в письме Деренкова нет! – медленно и тяжело, точно гвозди заколачивая, говорит Хмельченко. – Что он мне пишет: «Выполнять ежесуточно норму не меньше ста процентов и давать в месяц по три выдающихся рекорда». Так ведь это же цирк получается! Как же мы с такой работой о пятилетке в четыре года говорить будем?

Рогов осторожно оглядывается, чтобы узнать, какое впечатление производит речь Хмельченко на слушателей. Совершенно неожиданно над его ухом раздается требовательный крик Черепанова:

– Прошу слова!

– Как фамилия? – спрашивает Бондарчук.

– Черепанов моя фамилия! – привстав, отвечает молодой бригадир и снова усаживается.

И Рогов слышит, как он шумно дышит.

Собрание гудит глухо, настороженно. Хмельченко на трибуне широко разводит руками:

– Не буду я, товарищи, с таким человеком соревноваться, что хотите... Вот и вся моя речь.

Пока он медленно, словно по узкой незнакомой выработке, пробирается сквозь тесноту президиума на свое место, в зале то в одном углу, то в другом вспыхивают разрозненные аплодисменты. Но вот Хмельченко сел, и собрание на какое-то мгновение будто рванулось к нему, загремело:

– Правильно-о!

Бондарчук встал, наклонив голову, выжидая, пока уляжется шум, потом позвал:

– Черепанов!

Бригадир быстро поднимается на сцену и с усилием произносит:

– Я от имени бригады..., – ему не хватает дыхания, он косо застегивает коротенький зеленый пиджачок и уже спокойно добавляет: – Шесть человек нас... Из ФЗО недавно. На седьмом участке работаем. Мы понимаем – выполнение пятилетки в четыре, а то и в три года – это тоже фронт... А мы будем учиться... Здорово учиться, без усталости, – у своего командира, ин-

женера Рогова! Бригада поручила мне вызвать на соревнование самого выдающегося мастера, Это, значит, вас, товарищ Хмельченко! – Черепанов вежливо наклоняет голову в сторону президиума, где Хмельченко усиленно растирает ладонью покрасневшее лицо. – И еще мы хотим, чтобы на следующем слете присутствовала вся наша бригада. Так мы решили.

– Ох, отчаянный! – слышится чей-то грудной женский голос.

Хмельченко ожесточенно бьет в ладоши, бурные аплодисменты прокатываются по всему залу. В это время из-за кулис выходит Дробот. Он тоже неторопливо аплодирует и наклоняется с каким-то вопросом к Филенкову. Главный инженер улыбается и кивает в сторону Черепанова. А забойщик, ободренный всеобщей поддержкой, уже заканчивает свою короткую речь:

– А еще вот что: объявляем себя комсомольской бригадой имени Героя Советского Союза Степана Данилова!

И снова загремели аплодисменты, снова теплые, ласковые улыбки засветились на лицах. В президиуме поднимается Бондарчук.

– Какие будут предложения?

– Пусть работают!

– Поддержать хлопцев!

– Завтра зайду к тебе в лаву, – обещает Черепанову Хмельченко и тянется через стол для рукопожатия.

Вслед за Черепановым выступили еще трое, в том числе Очередыко, который очень длинно и невнятно пытался что-то объяснить слету, часто заглядывая в бумажку и покашливая.

После перерыва представитель комбината вручил шахте переходящее знамя. Дробот ответил речью, в которой всего было точно в меру: и гордости за общий успех, и обещаний не успокаиваться на достигнутом, и упреков по адресу отстающих.

Рогов послал в президиум записку и следил за тем, как она прошла по рядам и наконец попала к Бондарчуку; партторг прочел ее и одобрительно улыбнулся, а потом, пока инженер шагал к трибуне, внимательно следил за ним.

– Не хотелось бы мне портить праздничного настроения собравшихся... – начал Рогов.

– Так сказать, ложка дегтя в бочку меда! – настороженно покривил губы Дробот.

– Пусть будет не ложка, а целый ковш дегтя! – еле сдерживая гнев, сказал Рогов и сразу почувствовал, как на него повеяло холодком от примолкшего зала.

Развернув большой лист ватмана, он приколот его на передней стенке трибуны.

– Вот, товарищи, здесь, в этих разноцветных столбиках, я попытался отразить не только сегодняшний, но и завтрашний день нашей шахты. Если дело пойдет с подготовительными работами так же, как оно идет сегодня, то знамя у нас будет отобрано через месяц, а остатки славы мы растеряем через два-три месяца.

– Не нравится мне эта демагогия! – отчетливо произносит Дробот, демонстративно громыхнув стулом. Зал загудел.

– Дайте человеку сказать! – резко крикнул Хмельченко.

Бондарчук спокойно переждал шум и кивнул инженеру:

– Продолжайте.

– Это, конечно, может кое-кому не понравиться, – чуть повысив голос, проговорил Рогов. – Но мне кажется, что сегодняшнее собрание, несмотря на всю его торжественность, является продолжением нашей общей работы, поэтому я имею право сказать правду, какой бы тяжелой она ни была. Вы знаете, что на шахте триста двадцать забойщиков, а нормы выполняют только двести двадцать один. Стахановскую же выработку дают всего семьдесят три человека. Но значит ли это, что такие люди, как Хмельченко, Воцин и десятки других, вырабатывая по полторы и две нормы, умножают богатства нашего государства? К сожалению, нет. Они, передовые люди, просто работают за тех, кто живет по пословице: «День проводить – пень колотить». Давайте разберемся, почему так происходит.

Теперь Рогов уже чувствует, как зал насторожился, видит, как сотни глаз спрашивают у него нетерпеливо: «Почему так происходит?»

Но тут, в самый напряженный момент, кто-то кричит из зала:

– Послушайте... инженер... Это о вас на днях в газете писали?

– Да, в газете писали обо мне... – Рогов попытался отыскать взглядом спросившего. – Но разговор сейчас идет не об этой корреспонденции...

– Вы как раз такой разговор и навязали собранию! – перебил все тот же голос.

– Говорите лучше о судьбе своего отстающего района – это конкретнее! – крикнул кто-то из глубины зала.

– За шахту без вас найдутся ответчики!

Почувствовав, как снова рвется его невидимая связь с аудиторией, Рогов изо всей силы стиснул полированные края трибуны, наклонил голову, ссутулился. Стремительно бежали секунды, а он все не мог одолеть гневную спазму. Оглянулся на парторга. Тот приподнялся, сказал:

– Одну минуту, товарищ Рогов... – потом он посмотрел в зал, отчеркнул что-то ногтем на красном бархате скатерти и без всякого нажима, но очень отчетливо сказал: – Это неправильно. Мы все здесь ответчики за шахту, так же, как за свой район, за свой участок, забой. Нельзя инженеру Рогову, так же, как любому из нас, навязывать тему для выступления. Поэтому я попрошу его продолжать. Товарищ Рогов...

Эта разрядка была как глоток свежего воздуха в душный зной. Рогов выпрямился, глаза у него посветлели, заговорил он ровно, может быть немного суше и медленнее обычного;

– О втором районе я скажу позже. А сейчас мне хочется заглянуть в завтрашний день. Давайте сделаем это вместе.

Голос Рогова дрогнул, когда он спросил негромко:

– Видите ли вы в судьбе «Капитальной» большую судьбу нашей родины? Все ли видите?..

Да, каждый из нас отвечает за свой забой, участок, за свою шахту – так же, как за всю родину! Чем же тогда мерить нашу силу, нашу волю, когда нам надо брать приступом новые крепости знаний, когда приходится решать задачи, которые выдвигает перед нами партия, жизнь? Нет такой меры, как не было ее, когда мы защищали советскую землю, когда мы заслонили собой от врага целый мир. Нет такой меры! Мы получили знамя – это хорошо, но это наш

вчерашний день, а мы глядим в завтра. Если же мы с прежней сноровкой, с прежней организацией двинемся в это завтра, значит мы попробуем вычерпать море ложкой. Чем наша шахта пока держалась? Не такая уж это хитрая механика. Там, где в забое должны стоять двое, мы ставили трех...

– И даже поболе будет! – поддержал кто-то из зала.

– Но так не может продолжаться! Это неправильная, это антигосударственная дорога. К концу пятилетки шахтеры должны давать двести пятьдесят миллионов тонн, через пятнадцать, двадцать лет – полмиллиарда. Что же нам тогда делать? Сколько народу потребуется, чтобы эти цифры осилить? И вот встает вопрос: с чего нам начинать? А начнем мы с того, что в корне изменим наши взгляды на шахту. Это уже не та шахта, где все держалось на авось: не обрушится забой – проработаю смену, обрушится – в другой перейду. Нельзя, чтобы забой командовал нашим человеком, должно быть наоборот. Шахта – это завод, очень сложный, очень гибкий, где каждый забой – отдельный цех со своими особенностями, которые ежедневно изменяются, значит наш завод требует от командиров высоких знаний, от наших рабочих – большого умения. Но завод наш и каждый его цех – забой – нужно немедленно запрыгать в железный план, в цикл – без этого невозможно биться, без этого, сколько ни бейся, толку не будет.

Рогов теперь уже не торопился, он чувствовал, что каждое его слово падает на благодатную почву. Вот где-то в дальних рядах смуглеет внимательное лицо Черепанова, а вот совсем близко, полуприкрыв глаза и слегка покачивая головой, слушает Некрасов, рядом с ним Афанасий Вошин захватил колено в ладони и, склонив голову к плечу, как будто приглядывается к чему-то вдали. В завтрашний великий день смотрят люди.

Рогов говорит:

– Всю тяжесть труда мы должны переложить на машины!

И, переждав шум, повторяет:

– На машины, товарищи, иначе отстанем, запутаемся, задохнемся! Смотрите, что получается: откатка у нас механизирована почти на

сто процентов, а навалка угля на конвейеры, погрузка породы на проходке – это сплошь ручной труд. От нас ждут света, тепла сотни городов, тысячи сел, разрушенных гитлеровцами... как же упиваться нам вчерашними успехами?

Теперь в зале не было ни спокойных, ни равнодушных – сотни человеческих сердец колотились напряженно, казалось, собрание смотрело на Рогова всего одной парой огромных требовательных глаз. Бондарчук что-то быстро писал в блокноте, Черепанов незаметно для себя и для соседей встал и подошел к эстраде. Афанасий Петрович сжимал теперь короткими железными пальцами подлокотники стула.

– Товарищи... – оглянувшись еще раз в президиум и с удивлением отметив, как необычайно, празднично светятся глаза у Филенкова, Рогов продолжает: – Товарищи, я вас не пугаю, это было бы нехорошо и бесполезно – люди вы с крепкими нервами, – я обращаюсь к вашим сердцам и спрашиваю: чего мы ждем?

Рогов еще раз обернулся к президиуму и, прямо глядя Дроботу в лицо, повысил голос:

– Не верю я в вашу сегодняшнюю юбилейную речь, товарищ начальник шахты. Не верю! Вы или не видите, или не желаете видеть, что силы коллектива заперты пробкой, имя которой – рутина! Говорят, что на «Капитальной» больше механизмов, чем на всем остальном руднике. Правильно. Но механизмы горами лежат на складе – это замороженная сила, это воровство! Почему только в этом месяце у нас выведено из строя девять насосов, два электровоза, шесть приводных конвейерных головок? Почему в журнале регистрации аварий об этом стыдливо умалчивается? Что это – игра в прятки с собственной совестью? Нам говорят: «Чтобы план был. Уголь таскайте хоть шапками, хоть горстями». Нет, не будем так таскать! Шапочных планов наше государство не может составлять, ему не нужна дорогая и медленная шапочная продукция.

Рогов хотел продолжать, но тут словно дверь распахнули в шумный морской простор. Всколыхнулось, закричало, заговорило собрание:

– Правильно-о! Инженер... Рогов! Правильно-о!

Кто-то тянулся обеими руками к президиуму.

– Слова! Прошу, председатель, слова! Бондарчук быстро кивнул Рогову:

– Продолжайте.

От волнения во рту пересохло, но он боялся протянуть руку к стакану, боялся оторвать взгляд от слушателей хотя бы на секунду.

– Значит, два звена должны мы вытягивать всеми силами: механизацию от забоя до бункеров и нерушимую цикличность. Нет больше на шахте места «святому авось». Человек должен знать, что он сделает и как сделает за смену. Это трудный, крутой, но самый короткий путь. На пути этом наша угольная промышленность высвободит десятки тысяч рабочих, которые будут строить дороги, города, рыть каналы в пустынях, сеять хлеб... Родине нужна каждая пара умелых рук, родине!

Рогов перевел дыхание, оглянулся на Бондарчука и снова заговорил:

– Теперь я хочу о своем втором районе. Скоростная проходка, механизация, цикличность – ко всему этому мы уже приступили. Мешкать не будем ни одного часа... Знаете Афанасия Петровича Вошина?

– Знаем! –дохнуло в ответ всем собранием.

– Коммуниста Некрасова знаете?

– Знаем!

– Они на втором районе не одиноки... Верите им? Коротким раскатистым громом аплодисментов ответил зал. Рогов наклонил голову.

– Спасибо, товарищи. Второй район не обидит вас ни одной плохой сменой.

Как в тумане, как на чужих ногах, прошел он за кулисы и чуть не столкнулся с начальником шахты.

– Здорово! – Дробот стал вполоборота к Рогову, медленно протянул руку. – Здорово, инженер, у тебя получается... Распял ты сегодня меня, как на кресте. Век буду помнить.

Рогов не успел ответить, как подошел Бондарчук. Закуривая, приподнял спичку, посветил в лицо инженеру, усмехнулся, опустив взгляд на огонек папиросы. – Считаю, Павел Гордеевич, что разговор наш с тобой... предварительный состоялся. Рад.

ГЛАВА X

Еще на прошлой неделе, прочитав в городской газете резкую статью о себе: «Инженер экспериментирует», Рогов, правда, подосадовал, но и не подумал пойти в редакцию с протестом. А сегодня утром его остановил в раскомандировке забойщик Некрасов и, молча развернув «В бой за уголь», ткнул коротким пальцем в маленькую заметку: «На втором районе производительность снизилась».

Читая двадцатистрочную корреспонденцию, Рогов даже не пытался отвернуться, чтобы скрыть гневный румянец. Автор самым бессовестным образом исковеркал совершенно очевидные факты. Речь шла как раз о бригаде Некрасова, чьей стахановской работой теперь на районе по праву гордились.

– Хулиганство! – Рогов рывком сунул газеты в руки забойщика.

А тот, не торопясь свернув козью ножку, спокойно заметил:

– Надо бы разобраться, Павел Гордеевич. Вроде как неудобно получается.

Было очень некогда, но Рогов решил сходить в редакцию.

Заглянул в одну комнатку, в другую – ни живой души. Где-то стучала машинка. Наконец в третьей, совсем крошечной комнатке ему повезло. Маленький белобрысый человек кричал в трубку и тут же писал, и тут же курил, и тут же сдувал пепел со стола. Кивнув Рогову, он ухитрился подать для рукопожатия локоть и снова закричал:

– Не морочь, не морочь голову! Я знаю положение на твоей шахте. Тебе за «Капитальной» все равно не угнаться... Вот чудак, да ты делай, а мы поддержим!

Ловким движением бросив трубку на рычаг и одновременно загасив окуроч, он невидяще поглядел на Рогова и начал говорить так, как будто они уже неделю как не расставались.

– Ты понимаешь, хвастается этот Ременников с десятой: «Что мне, – кричит, – «Капитальная», когда у меня уже восемь скоростных забоев! Вы, – кричит, – конъюнктурщики, проглядели ростки нового!» Это он мне кричит, понимаешь?

Это я – конъюнктурщик, я проглядел ростки! А у меня сердце разрывается!

– Да... – вежливо поддержал разговор Рогов, хотя не понимал, отчего у человека сердце разрывается.

– Конечно! – заторопился тот и перевернул на столе кучу рукописей. – Всю ночь висел на телефоне. На «Черной горе» Михайлов вышел сразу в четыре забоя, на три-три-бис... Пстой, что же на три-три-бис? Да! Николаенко, конечно, знаешь? Так он что удумал: самонавалку на транспортер, прямо от взрыва. Это черт знает что, даже у меня руки чешутся! А потом на «Капитальной»... этот Рогов опять загадку загадал – перевел три лавы на двухцикличный график. Два цикла в сутки! Хоть убей, не могу раскусить парня – то у него удача, то целая серия заковык. Я у Дробота спрашиваю: как? А он: «Цыплят по осени считают». Извольте! А я не могу ждать до осени! Мне нужно людей немедленно поддержать.

– Так Рогова же только на днях в газете ругнули! – прервал негромко Рогов.

– Ругнули? – изумился газетчик и тут же расхохотался. – А ты что, не знаешь, как нас за это в горькое... – парень запнулся. – Пстой, пстой... – и уже медленнее добавил: – Пстойте, мне показалось ваше лицо знакомым... А теперь...

Рогов кивнул.

– Действительно, не встречались. Я Рогов.

– Рогов! – парень подскочил на стуле, пробормотал: «черт, ошибка», обошел стол, пожал инженеру руку и, еще раз чертыхнувшись, попытожил: – На грани фантастики!

Рогов рассказал о заметке.

– Да не может быть! Подождите... Кто это делал? Вспомнил! Чернов! Вот черт...

– Тогда, может быть, можно поговорить с этим Черновым? – спросил Рогов.

– Поговорить? А чего же, я устрою это, – с готовностью согласился парень. – Только вот что... Как бы это выразиться...

– Попроще, – посоветовал Рогов.

– Вот именно... В общем меру пресечения этому Чернову вы уж сами придумайте. А если не удовлетворит, я, как заведующий отделом...

Рогов попросил не беспокоиться и вызвать Чернова.

Вскоре круглоголовый, ясноглазый юноша неловко пожал руку инженеру и отрекомендовался:

– Чернов.

– Вот что, Чернов, – заторопился заведующий отделом, – поговори с товарищем Роговым по поводу своего материала. Только начистоту!

Чернов хотел, очевидно, что-то возразить, но его патрон с расстановкой повторил:

– Поговори с товарищем инженером! Понятно?

– Сходим на шахту, надо вам самому разобраться, – предложил Рогов. И уже дорогой полюбопытствовал: – Давно в газете?

– Полтора года! – охотно сообщил Чернов и, хлопнув себя по шее, добавил: – Она у меня вот где, эта газета!

– А что?

– Так я же немного поэт, а какие же могут быть стихи, когда все силы уходят на информацию?

– Вот как! – удивился Рогов. – Значит, газета не по душе?

– Я не сказал, что не по душе...

– Следовательно, внутренний конфликт?

– Всякое бывает, – согласился молодой журналист. – Иной раз глаза не глядели бы, а все равно нет сил оторваться. Живое же дело!

– Получается у вас не плохо, – насмешливо заметил инженер. – Хлестко получается!

– Правда, а что именно?

– А вот в сегодняшнем номере о бригаде Некрасова.

– Ах, это... – Чернов разочарованно отмахнулся.

– Неудачный пример?

– Действительно. Но тут особое дело...

На шахту они пришли в час наряда. Помавив за собой журналиста, Рогов прошел прямо в комнату пятого участка.

Бригада Некрасова оказалась в сборе, не было только самого бригадира.

– А он вас, товарищ начальник, на участке ждет, – сообщил молодой забойщик. – Там такое придумано! Сам Некрасов... Вы только посмотрите!

– Да что ты! – удивился Рогов. – Хорошо, я сейчас как раз туда наладился. А вы, между тем, познакомьтесь... – Он оглянулся на журналиста. – Это товарищ, который писал о вашей бригаде. Чернов. Поговорите здесь по душам.

Перемигнувшись с шахтерами, он вышел, услышав, как за спиной у него кто-то нарочито громко вздохнул, кто-то многообещающе молвил:

– Так-так...

Через полчаса Рогов уже был на участке.

После стахановского слета он все время чувствовал какую-то внутреннюю озаренность, теплоту коллектива, словно своим выступлением он расчистил людям дорогу. «Но ведь это, мягко выражаясь, самонадеянность?» – спрашивал он себя. – От хороших слов на трибуне до хорошо организованного забоя путь еще велик!»

Некрасовцы работали теперь в новой, только что нарезанной лаве – пологопадающей, сыроватой, с двумя породными прослойками. Условия были трудные, и бригадир хотя и не падал духом, но беспокоился.

В этом состоянии беспокойства он и встретил инженера.

– Хотите – казните, хотите – милуйте, – говорил он, поспешая за Роговым. – Ну, только наслушался я хороших слов на слете, и вот схватило меня за сердце, схватило – и не отпускает. Вот и попробовал я одну рационализацию провести.

– Всерьез, схватило? – слегка наклонившись, Рогов взглянул в лицо забойщику.

– Всерьез, Павел Гордеевич! – Некрасов еще более оживился. – Я вот прошлую ночь со своей старухой планы плановал. Она говорит: «И чего тебе не сидится, не ложится, чего ты, как ужаленный, привскакиваешь?» Я тогда и давай! Больше, конечно, для себя. «Вот, – говорю, – представь себе, мать, в Кузбассе многие тыщи забойщиков. Сейчас ночь, кто-то из них работает, кто-то отдыхает. И ведь, наверняка, все они думают о своем деле, мучаются, можно сказать; у одного получается, у другого кругом ничего не выходит. Вот ты и поразмысли: какая каждому из нас преобладающая ночь дана!»

Некрасов помолчал, повздыхал, потом признался, что все приготовил к эксперименту, но

немного робеет. Не поможет ли Павел Гордеевич? Если не получится, то хотя объяснит, почему.

– Ну рассказывайте, что такое изобрели, – сказал Рогов.

– Сейчас, Павел Гордеевич... Сейчас вы сами увидите и все поймете. Пойдемте, – волнуясь и суетясь, говорил Некрасов.

Они пошли к лаве. Некрасов крикнул в глубь забоя:

– Филя, у тебя все готово?

Метрах в десяти от них кто-то крикнул, заворочался, еще раз крикнул, и, наконец, через минуту появился сам Филя. Рогову показалось, что человек этот загромоздил собой все двухметровое пространство от стоек до стенки забоя. Но лицо у него оказалось небольшое, круглое, с веселым задорным носиком-пуговкой.

– Вот комплекция, – покачал головой Некрасов. – Новичок. Я уж и то ему говорю: «Не дай бог, Филя, заденешь меня ненароком – осиротеет старуха».

– Будет вам, дядя Гаврила! – попросил новичок. – А то я, чес-слово, рассержусь.

– Ничего, ничего... Ну, как у тебя, порядок?

Оказалось, что скважины верхней угольной пачки уже заряжены.

– Давай, давай! – торопил взрывника бригадир. Все вышли в конвейерный штрек.

Сколько раз Рогов наблюдал запальных дел мастеров за работой. Были среди них люди своеобразной профессиональной хватки – одни отличались лихостью приемов, другие – педантичной аккуратностью, но всех делал похожими самый последний момент перед взрывом. Вот и этот, так же, как и десятки других, привычным движением надвинул шапку на брови, вставил ключ в скважину запальной машинки и, вдруг пронзительно закричав: «Береги-ись!», повернул ключ.

Грохнуло. Взрывная волна толкнула в спину, в грудь, посыпалась с кровли породная крошка.

Покашливая от сладковатого чада, Некрасов сказал:

– Уж вы сами, Павел Гордеевич, включите привод.

Рогов взялся за рукоятку пускателя и слегка повернул ее.

Сиренным нарастающим воем ответил мотор, и тотчас под грудой отпаленного угля заскрежетало, угольный сброс зашевелился, будто кто-то могучий захотел освободиться из-под него. Медленно осыпаясь, угольная масса тронулась вдоль забоя.

Рогов сразу же оценил простое и вместе с тем мудрое использование скребкового транспорта. Некрасов вытер вспотевший лоб.

– Вот вам, Павел Гордеевич, и вся недолга, – произнес он нарочито спокойным голосом. – Значит, цикл будет. А то без механизации в этой лаве наличными силами управиться было никак невозможно. Видите – две прослойки, из-за них приходится уголь брать тремя пачками...

Он остановился, видно стесняясь долго задерживать инженера. Однако желание рассказать о своей удаче превозмогло, и он заторопился:

– Тут главное ведь в чем, Павел Гордеевич? Не в том, что я скребковый транспортер у себя приспособил, а в том, что скребок и весь став лежат на самой почве, никакая холера их не возьмет. Я пригоняю конвейер к самой груди забоя, я его, как пригоршню, под запальный участок подставляю, а потом палю. Уголь от взрыва сам падает на ленту. Не меньше тридцати процентов всего сброса. Ну, а все остальное вы видите сами, – и Некрасов развернул руку в сторону текущей угольной реки.

Рогов передвинул шлем от одного уха к другому. Он почувствовал, что взволнован не меньше, чем бригадир.

Техническая идея Некрасова была проста. Может быть, ее применяли и на других шахтах, но то, что этот человек так решительно и так точно осуществил свою мысль, не побоялся пойти на риск, тронуло Рогова, наполнило его гордостью.

Однако, невольно попадая в тон Некрасову, он тем же нарочито спокойным голосом сказал:

– Правильно все, Гаврила Семенович, правильно! Теперь сделаем, чтобы у вашего дела было продолжение. Завтра же организую на районе собрание горных мастеров, бригадиров, а вы расскажете им про самонавалку.

– Значит, в докладчики меня метите? – спросил Некрасов, но, подумав, тут же согласился. – Давайте, коли на пользу!

ГЛАВА XI

Ни одного дня не мог обойтись Рогов без того, чтобы не зайти в забой к Вошину. Не то чтобы его беспокоили какие-нибудь неполадки у проходчика или он сомневался в его успехе – просто тянуло в этот забой, как на солнечную горку, откуда дальше и яснее видно.

До двух метров штрека в смену проходил Афанасий Петрович да, к тому же, обучал четырех проходчиков, чтобы потом перейти на круглосуточную скоростную работу. А чему обучал? «Не глядя на часы, уметь считать минуты», – так он формулировал свою задачу. А в остальном забой как забой. Правда, действует механический перегружатель, разделку леса перенесли на поверхность, усилили вентиляцию, но все это можно применить в любом забое, дело – за желанием, за сноровкой. А в сноровке Афанасию Петровичу отказать нельзя, это у него получается здорово. И главное, все молча – с подручным он почти не разговаривает и лишних людей у своего дела не терпит.

А вот сегодня Рогов немного удивился, еще издали услышав в забое раскатистый смех и восклицание Филенкова:

– Ах старик, старик! Песни про тебя петь будут.

Заметив Рогова, Филенков подтолкнул его к забою:

– Посмотрите-ка, что вытворяет Афанасий Петрович! Как это просто и чертовски умно.

Рогов догадался, почему так возбужден Филенков. Вошин еще позавчера предложил очень оригинальное крепление для стационарного колонкового сверла. Он решил крепить его не вертикально, как это обычно делалось, а горизонтально. При этом можно было бурить не одну, не две, а полный ряд скважин. Очень много времени сокращалось на этой трудоемкой операции.

– Умно, умно! – подтвердил еще раз Филенков. Рогов не удержался, перебил:

– Федор Лукич, но ведь и сейчас кое-кто утверждает, что в породном забое нужно надеяться в первую очередь на обушок, на лопату. По-моему, и вы недалеко от этого...

— Что-о? — Филенков оглянулся и сейчас же подмигнул понимающе. — Не злитесь, Павел Гордеевич, я ведь не совсем скверный мужик.

Рогов резко заметил:

— А я пока не сказал этого. Вы совсем не скверный мужик, когда... не в кабинете у Дробота!

Последние слова прозвучали резче, чем это хотелось бы, но Рогов не пожалел об этом, заметив, как при имени Дробота Филенков сделал еле уловимое движение, как будто хотел оглянуться.

В общем, разговора с главным инженером опять не получилось. Филенков неловко потоптался, несколько раз глянул на Рогова, похлопал для чего-то ладошкой по стойке и ушел, пообещав немедленно заказать в мастерской новое крепление для сверла.

Афанасий Петрович, как будто пожалев его, кивнул вслед:

— А он ничего... Только не всегда.

Такое несвойственное Вошину половинчатое определение развеселило Рогова, но слова у него снова были резкими, а голос сухим, когда он заговорил:

— Действительно, не всегда! А жить половинками нельзя, Афанасий Петрович! Нельзя. Советский человек, да еще инженер, должен знать, что он может и что он должен. Но откуда же известно, что может и чего хочет Филенков и, если он что-нибудь решил утром, не передумает ли к вечеру: вдруг Дробот скажет свое «нет»?

Проходчик распрямился, внимательно глянул на инженера и, приподняв пальцем кончик вислых усов, покачал головой,

— Круто вы забираете, Павел Гордеевич! Если, допустим, с лесиной или с железом каким, тут действительно жми в полную силу, а в человека надо вникнуть.

— В такого, как Филенков?

— Именно. — Вошин кашлянул. — Извините, такое мое мнение. Вы говорите, что он без стержня, без своей точки? А, по-моему, точка есть, только вокруг нее Дробот таких препинаний поставил — не разберешь, что к чему. Перед тем, как вам прийти, мы с Федором Лукичем разговор имели вот об этом аппарате. — Вошин показал на породопогрузочную машину. — Я ему го-

ворю: чего лучше, если бы в каждом забое такая штука стояла, только вот надо придумать что-то на головной барабан, а то забивается мелкой породной крошкой — заштыбовывается. Говорю это я, а сам смотрю на Федора Лукича. И что вы думаете? Светится человек, пишет в книжечку, даже ногой притопывает... И так, я думаю, Павел Гордеевич: есть у него в груди жар-уголек, только пеплом подернулся. А если на ветерок — непременно вспыхнет!

Рогов не стал продолжать разговора, зная, что сейчас здесь каждая минута на счету.

Вошин с помощником пробивали основной штрек — длинную выработку, похожую на коридор, с плавными поворотами по простиранию угольного пласта. В забое еще сладковато пахло недавно сгоревшей взрывчаткой, но два колонковых сверла уже снова были установлены и даже половина скважин отбурена. Вообще несловоохотливый Вошин в этот час совсем не разговаривал. Помощник его, тоже пожилой человек, нагрузив последний вагончик, откатил его до недалекой разлиновки.

— Где же Димка? — забеспокоился бригадир. — У тебя, Михайлович, много еще?

— С вагончик наберется, — отозвался Михайлович. — Может, пойти крикнуть этого сорванца?

— Не надо, — отмахнулся Вошин, — парень знает дело, порожняк не проворонит.

Не прошло и пяти минут, как из-за поворота выскочила юркая фигурка Димки.

— Дядя Афанасий, — сообщил он, — транспортный десятник весь порожняк перегоняет на девятый участок.

— Тьфу, язви их! — разозлился Вошин. — И как это наш транспорт норовит все на особицу! Придется самому идти воевать.

— Не надо, — сказал Рогов. — Мне как раз по пути. Я все улажу.

Но уладить дело с порожняком оказалось не так легко.

В квершлагге оставалась небольшая партия вагончиков, которую уже прицепили к электровозу.

— Э, нет, не выйдет! — отмахнулся десятник. — Мне приказано в первую очередь обеспечить третий район.

– Но у Вошина скоростной забой! Порожняк сюда подается вне очереди! – попробовал настоять Рогов.

– Отойдите вы от греха! – повысил голос десятник. – Отойдите!

– Хорошо. – Рогов почувствовал себя словно в атаке, когда ясную мысль опережает стремительное движение. – Хорошо! – Он вдруг встал перед электровозом и, махнув лампочкой Димке, приказал: – Отцепляй три вагончика!

Десятник метнулся было по штреку, но его сразу же настиг окрик инженера:

– Стоять на месте!

Димка расторопно отцепил вагончики и, повернув их на плите, толкнул в штрек.

Девушка-машинист, все это время восторженно смотревшая на Рогова из своей кабинки, неистово зазвонила и тронула машину в темный провал квершлага. А десятник стоял в стороне, растопырив руки и беззвучно шевеля губами.

Остывая от гнева, Рогов уже готов был подосадовать на себя, что не может удержаться от вспышки даже по таким пустякам, как нехватка трех вагончиков. Но тут же радостное чувство охватило его; лед тронулся, за новые трудные дела на шахте взялись хорошие люди! Значит, не даром выступал на слете, не даром провел бессонные ночи над графиками цикличности, не даром буквально выдирали механизмы, где только можно.

В кабинет Бондарчука Рогов вошел в самом веселом настроении.

ГЛАВА XII

Коммунистам на шахте надолго запомнилось собрание, на котором познакомились с новым парторгом и избирали его в состав бюро. Собрание это впоследствии кто-то назвал «поворотным».

После голосования выступил Дробот. Он произнес короткую и снисходительную речь, в которой по-отечески посоветовал новому парторгу думать прежде всего о выполнении плана добычи.

– О вас будут судить по тому, как идет уголь! Вы человек новый, многое может показаться вам в диковинку, – повернулся Дробот к Бон-

дарчуку. – Прошу в любое время ко мне, чем смогу – посодействую. Важно только смелее браться за дело. Глядишь, недельки через две все образуется.

Из-за стола вышел парторг. Его уже разглядели, когда он рассказывал свою биографию. Среднего роста, по-военному подобранный, в ладно сшитом штатском костюме. Хорошая крупная голова. Лицо почти оливковое, а глаза темные, внимательные и очень спокойные. Но когда смотришь в эти глаза, все время почему-то кажется, что парторг может каждую минуту задать совершенно неожиданный вопрос, на который не сумеешь ответить.

– Спасибо за прием, – сказал Бондарчук и мельком одними губами улыбнулся. – Только вы очень снисходительны, товарищи, предоставляя мне две недели для ознакомления. Я у вас уже четыре дня. – Он оглядел собрание и широко развел руками. – Вот видите, сколько нас – сто шестьдесят восемь большевиков, – это, знаете, сила. Меня смущает лишь одно обстоятельство... Ведь получается, что только половина коммунистов работает, собственно, в шахте, а остальные? А остальные...

– Обеспечивают добычу на поверхности, – твердо выговорил Дробот и для чего-то постучал пальцем по столу.

Но Бондарчук даже не повернулся к нему.

– А остальные обеспечивают добычу на поверхности. Но, товарищи, не лучше ли обеспечивать добычу прямо в шахте, в забое? Как думаете?

Собрание уже давно насторожилось. А сейчас кто-то выкрикнул:

– Товарищ Бондарчук, по-вашему, коммунисты сами из шахты разбежались?

Глаза у парторга мгновенно утратили свой влажный блеск, и не то чтобы он пристукнул, а просто быстро опустил костяшки пальцев на крышку трибуны. Выпрямился.

– Я не сказал и не имею права сказать это! Раз коммунисты оказались на поверхности, значит их перевели решением организации.

– Так, – наклонил голову Дробот.

– А если так, значит есть настоящая необходимость немедленно же решить вопрос об

укреплении подземных партийных групп, о возвращении коммунистов в забой. Это я предлагаю.

От простого знакомства с новым парторгом собрание вдруг круто повернулось к делам шахты. Как ни настаивал Дробот, что решать такое важное дело сейчас преждевременно, что парторг просто не знает истинного положения, — когда все же стали голосовать, предложение Бондарчука прошло. Сам он встретил это как должное, невозмутимо оглядел собрание и сказал:

— А теперь, товарищи, прошу звонить мне в любое время и заходить не стесняясь.

После этого Рогов почти каждый день бывал у парторга. Вот и сегодня зашел не потому, что нужно было решить какое-то неотложное дело, а просто захотелось подышать, как он выражался про себя.

В небольшой комнатке партбюро народу оказалось много. Сдержанно гудели человеческие голоса, часто звонил телефон, и кто-то у окна настойчиво допрашивал собеседника:

— Ты мне скажи: он коммунист или нет? Я тебя спрашиваю: коммунист он или нет? Так почему же он не может организовать свою жизнь по коммунистически? Имеем право мы у него спросить об этом? Имеем право, и спросим!

Против Бондарчука сидел Дубинцев и что-то старательно записывал в блокнот, иногда останавливался и сосредоточенно смотрел в солнечное окно.

Кивнув приветственно Рогову, Бондарчук снова повернулся к технике и, по привычке отчеркивая что-то ногтем на скатерти, медленно, раздумчиво проговорил:

— Я рад, что коммунисты выбрали тебя партгруппоргом. Значит, и я не ошибался в тебе. Рад.

— А я удивился! — Николай сдвинул светлые брови. — Понимаете, Виктор Петрович, никак не ожидал!

Бондарчук раскрыл перед собой смуглые ладони и, глядя на них, усмехнулся: — Ну что ж, это хорошее свойство: жить и удивляться, глядя на то, что сам творишь жизнь... Только ты должен запомнить, что партийный работник — это общевоинской командир, и не просто общевоинской, а командир, который в первую очередь

имеет дело с человеческими душами, воздействует на них, делает их сильнее! Видишь как. А на первое время я тебя прошу внимательно присмотреться к забойщику Алексееву. Что-то не ладится работа у человека. Установи точно, какая помощь ему нужна, загляни на дом к нему... Сделай это пристрастно, по-партийному. Потом еще вот что: на участке выписывают мало газет...

— Так это же простое дело, — Дубинцев пожал плечами. — Один день — и все будет в порядке.

— Ты подожди... — парторг чуть приметно поморщился. — Я тебе потому и говорю об этом, что это не простое дело. Надо еще, Николай Викторович, знать, что человеку нужно от газеты. Ты помнишь Наденьку Кныш, мотористку из третьей смены? Так вот, она каждый день приходит сюда и разыскивает в газетах последние музыкальные новости. Припомни-ка, какой у нее голос, даже когда она просто говорит. Подумай, может ей учиться надо. А Сергей Копылов, крепильщик, этот в особую папочку собирает все международные обзоры. Так что посоветоваться с человеком о подписке на газету — это не простое, а глубоко партийное дело.

Бондарчук приподнялся и, подавая Дубинцеву руку, закончил:

— Иди, партгруппорг, тебя неотложные дела ждут. Да не забывай почаще бывать у меня. А теперь, Павел Гордеевич, подсаживайся поближе и рассказывай, как дела, — обратился он к Рогову. — Подожди, подожди, вижу, что хорошо, но зачем же торопиться? Ты, значит, доволен? Порадовали Некрасов и Вошин? Хорошо. Только ты не забывай, что это всего лишь первый шаг.

Бондарчук говорил весело, однако Рогов чувствовал, что это не все, что хочет сказать парторг. Он вообще чувствовал превосходство Бондарчука над собой в том, как тот умел точно и вовремя подсказывать людям нужные и верные мысли. Самому Рогову темперамент иногда мешал так расчетливо вести разговор, так спокойно направлять сознание собеседника.

Рогов знал, что у Бондарчука всегда есть своя твердая точка зрения, которую он и будет отстаивать.

— А теперь расскажи о газетной истории, — сказал парторг.

– Вообще-то смешная история, – отозвался Рогов. – По-моему, автору статьи трудновато досталась беседа с некрасовцами.

– Значит, смешная история? – переспросил Бондарчук. – И кто же больше всех смеялся?

– Во всяком случае, не Некрасов.

– То-то! Ну, а как насчет порожняка в забое у Вощина?

Рогов вспомнил свою атаку на вагончики и невольно расхохотался.

– Тоже смешная история? – Бондарчук улыбнулся, потом глаза его настороженно сузились, он сказал: – Хорошо, но мне не до смеха, особенно сейчас. Мне это веселье твое не нравится.

Зазвонил телефон, и парторг быстро поднялся со стула.

– Товарищ Хомяков? – спросил он в трубку. – Как дела с вашей арифметикой? По телефону неудобно? Тогда прошу ко мне, жду.

Хомяков вошел запыхавшийся.

– Вот... – он перевел дух. – Бежал, как на пожар... Новость у меня насчет арифметики... – он усмехнулся невесело. – Комиссия приехала... из комбината. Обследовали угольные отвалы. Знаете, что сказали? «С арифметикой, говорят, у вас, товарищ маркшейдер, все в порядке. Остается выяснить, куда делся уголь из отвалов?»

Известие это, как личная обида, хлестнуло Рогова.

– Мерзавцы! – выпалил он, не зная еще по чьему адресу. – Кого обманывают?

Бондарчук пристально посмотрел на Рогова и отчеркнул что-то ногтем на столе.

– А я думал, что ты и тут развеселишься, – сказал он значительно. – Ведь это тоже довольно смешная история: тысячи тонн угля словно испарились на солнышке, а деньги за них от государства получены, премии выданы... Видишь, как! – он вдруг встал и, протянув инженеру руку, круто оборвал разговор: – Смотри на вещи и события по-партийному! А теперь иди, тебя как будто начальство ждет.

В приемной Дробота к Рогову подошла Аннушка. Они оба были рады встрече и стали вспоминать, как вместе побывали в кино.

– Но я случайно видел, как вы закончили этот лунный вечер. – хитро сощурился Рогов. – Не забыли? Скверик у дома, серебристый свет

на тополях, а один физкультурник говорит своей девушке: «Знаешь что, Аннушка...»

– Ох вы какой! – лицо Аннушки вспыхивает прозрачным румянцем.

– Когда же свадьба?

– Вот я вас для этого и ждала. Приходите в следующее воскресенье к шести вечера. Сам Коленька все не осмелится пригласить вас. Он ведь робкий! – глаза Аннушки становятся матерински ласковыми.

– Робкий? – удивился Рогов. – Вот уж этого я за ним что-то не замечал: воюет он на участке, как настоящий солдат.

– Нет, он робкий! – Аннушка строго сдвинула брови.

– Верю, верю, – поспешно согласился Рогов и сейчас же насторожился, забыв погасить на лице приветливую улыбку.

За кабинетной дверью послышался приглушенный крик Стародубцева:

– Это демагог и дезорганизатор, а вы цацкаетесь с ним! Надо немедленно поставить вопрос на бюро. Я добьюсь этого!

Что-то неразборчивое прогудел чей-то голос, пожалуй, – Филенкова.

И опять голос Стародубцева:

– Последний случай с порожняком. Это – верх безобразия. И я прошу вас решить: или я, или он!

Рогов с силой распахнул дверь.

– Занят, занят! – поднял руку начальник шахты.

– Я тоже занят! Сейчас ровно три – вы мне назначили на это время.

Рогов садится и ставит перед собой коробку аккумулятора, всем своим видом как будто говоря: «Ну, что ж, продолжайте!»

Проходят секунды натянутого молчания. Рогов смотрит в глаза Дробота и еле сдерживается, чтобы не крикнуть: «Трус! Что ж ты молчишь?» Дробот прячет глаза, потом говорит:

– Получены накладные на скребковые транспортеры, можно было бы приступить к установке.

– Я немедленно и приступлю! – облегченно, вздыхает Рогов.

– Да, но... это, очевидно, уже придется делать другому.

– Другому? Не понимаю... – Рогов проводит пальцами по щеке. Нехорошо, что к такому разговору у него не хватило времени побриться.

Дробот пожимает плечами.

– Тут, собственно, и понимать нечего. Только что сообщили из треста, что инженер Рогов переводится на десятую шахту, помощником главного инженера, а на его место временно назначается опытный практик Очерedyкo. Так что тебе необходимо немедленно же явиться в трест. За назначением.

– Не может быть! – Рогов до боли в пальцах сжал головку аккумулятора и, глядя на то, как бледная синева разливается под ногтями, заговорил спокойнее: – То есть все может быть... И Очерedyкo, очевидно, станет районным инженером, если этого так желает Дробот. Хотя вместо Очерedyкo и с таким же успехом районным инженером можно было бы назначить какую-нибудь египетскую пирамиду... Исключается только одно: мой уход с шахты! Понимаете? Я не могу уйти именно сейчас, когда поступают транспортеры, разворачивается скоростная проходка... Вы понимаете, я не могу оторваться сейчас от начатого дела!

Бросив украдкой взгляд в его сторону, Стародубцев невольно ссутулился – до того лицо районного инженера побледнело. Или это только показалось, потому что уже через мгновение на скулах Рогова выступила густая краска.

– Очень сочувствую... – приподняв одно плечо, Дробот уткнулся в бумаги. – Очень сочувствую, но все это решается в тресте.

– Подождите, – вступил в разговор Стародубцев и быстро повернулся к Рогову: – Мне кажется, Павел Гордеевич, что мы сможем понять друг друга, если будем говорить прямо.

Рогов молчал. Дробот потянулся было к телефонной трубке, но раздумал; Филенков настойчиво застыл у оконной занавески. Стародубцев продолжал:

– Я как раз и хочу прямо обо всем сказать – это не лишнее, потому что тебе придется и на десятой работать с людьми, которые ничем не лучше и не хуже нас. Напрасно ты представляешь таких, как Дробот и я, консерваторами и рутинерами. Во-первых, это слишком элементарно, во-вторых...

Рогов рассмеялся.

– Это что же, продолжение стахановского слета или просто комментарии к моему выступлению там?

– Это не комментарии, но и не так это весело, – сухо оборвал Дробот.

– Чудесно! – Сжав губы, Рогов вырвал из лежавшего на столе блокнота листок и, набросав несколько слов, подал Дроботу. – Прошу предоставить мне отпуск на десять дней. На это я имею право. Район сдаю сегодня. А с шахты не уйду. Слышите? Не уйду! – он стремительно вышел из кабинета.

Аннушка все еще сидела в приемной и встретила Рогова приветным взмахом ресниц.

– Значит, свадьба, Аннушка? – спросил он и невольно прислушался к своему изменившемуся голосу. – Свадьба... Хорошее дело! И я у вас обязательно буду.

– Павел Гордеевич!.. – или слышала Аннушка разговор в кабинете, или поняла по глазам Рогова, что случилось нехорошее, потянулась к нему: – Павел Гордеевич, вы и потом будете к нам приходить?

А когда вечернее солнце коснулось оранжевым краем далеких фиолетовых гор и Рогов вышел из комбината, он вдруг без всяких, казалось бы, причин ощутил необычайную легкость во всем теле, свежую ясность в мыслях. Давно у него не было такого чувства – с самой войны. Тогда, во время войны, это случалось с ним обычно после того, как решение об операции прекращало томительную неопределенность ожидания. Это случалось перед атакой.

На тротуаре сидели несколько незнакомых шахтеров; видать, только что поднялись на-гора. Они поглядели вслед Рогову, кто-то сказал:

– Боевой парень.

Он рассмеялся про себя: «Ну, конечно, боевой!» И тут же столкнулся лицом к лицу с Черновым.

– А-а, журналист! – обрадовался Рогов. – Ну, как разговор с бригадой?

– Павел Гордеевич... – Чернов по-мальчишески смутился. – Честное слово, спасибо! Такие люди у Некрасова... Я у них полсмены в забое пробыл. Очерк хочу писать.

– Вот видишь! – подхватил Рогов. – А у меня еще одна чудесная тема есть. Написать нужно о бригаде Черепанова, да так написать, чтоб дух захватывало! Только ты мне все-таки скажи, как это получилось с заметкой о некрасовцах?

– Как? Да очень просто – заведующий отделом вызвал и говорит, что звонил товарищ Дробот, сообщил факты, сказал – написать нужно. А бежать на шахту, чтобы проверить, некогда было. А потом – ведь сообщил-то все же начальник?

– И ты, значит, ошельмовал людей, даже не поглядев на них?

Чернов на секунду отвернулся, потом сжал локоть Рогова.

– Не случится больше такого, Павел Гордеевич!

– Не верю! – Рогов покрутил головой. – Вот если будешь чаще бывать на районе да разговаривать с людьми, да писать о них, об их живом опыте...

– Даже стихи! – воскликнул Чернов и влюбленно оглядел инженера. – Я столько наслушался сегодня о вас, Павел Гордеевич... Некрасов меня, как щенка, тыкал носом в дела на районе и все приговаривал: «Это Рогов! В этом нас тоже подержал Рогов».

Рогов с досадой отмахнулся.

– И опять ошибка, опять ты увлекаешься! Не во мне дело, а в таких, как Некрасов, Вошин, Черепанов, – вот куда внимательнее смотри.

С шахты они шли через стадион, по узким извилистым аллеям. На волейбольной площадке тренировалась какая-то команда, слышались тугие удары в мяч, короткие возгласы.

Медленно смеркалось, и все постепенно приобретало легкий, голубоватый оттенок.

– Ох, какие они мне слова говорили! – снова сказал Чернов и неожиданно присвистнул.

ГЛАВА XIII

Очерк Чернова об истории рудника Рогову очень понравился. Сделал из него несколько выписок для своего доклада о пятилетке шахты. После этого просмотрел свежий номер толстого журнала, потом разложил чертеж нового угольного поля, но тут же поспешно свернул.

Все-таки, как он ни хотел казаться спокойным, ему это не удалось. Ну что как будто особенного в том, что его перебрасывают с одного места на другое? Случается ведь это с десятками инженеров, многие даже радуются перемене обстановки. И в то же время не верилось, не хотелось верить, что кому-то удастся оторвать его от только что начатых дел. Позвонил дежурному по шахте, чтобы справиться, как идет смена на участках района.

– Часовую добычу я передал районному инженеру Очердько, – ответил дежурный.

В трубке звонко щелкнуло.

Рогов невесело усмехнулся, походил по комнате. Потом поставил на письменный стол портрет Вали, сел и долго смотрел на него, положив подбородок на ладони. Наконец сказал:

– Ладно, Валюша, ты не думай, что я раскис. Только мне очень не хватает тебя, девочка, очень...

Зазвонил телефон. Взял трубку и услышал голос Бондарчука.

– Как самочувствие? – спрашивал парторг. – Хорошее? Не лукавишь? Ну, это самое главное. А я задержался на бюро горкома и о скоропальном решении треста узнал поздно. Все это не серьезно. А потом эта недостача угля в штабелях. Теперь тебе ясно, что все это одно к одному? Черт-те что, как только люди докатились до этого! Горком уже принял справедливое решение, а тебе надо продолжать работу. Понятно? Вот и хорошо. Да, еще вот что: сегодня ночью я выезжаю в комбинат, дня на два. И, кстати, у тебя там есть листок по учету кадров? Есть? Значит, все хорошо. Привет.

В телефоне пискнуло, и девушка со станции спросила:

– Вы закончили?

– Закончили, закончили! – Рогов вскочил, бросил трубку. «Как это хорошо, что есть на свете Бондарчук, Валя, товарищи!»

Почти смешным показалось минутное чувство одиночества. Какое тут к черту одиночество! Вот хотя бы вчерашний вечер: к нему пришли сразу три гостя – Хмельченко, Некрасов и Вошин, сели рядом на диванчике, попросили разрешения закурить; завели беседу, и все четверо

хитрили. Рогов не показал виду, как глубоко тронуло его это посещение, хотя он знал причину, вызвавшую его, а шахтеры тоже вели себя так, словно с инженером ничего не случилось.

– Мы от секретаря горкома, – сообщил Хмельченко. – Разговор был о всяких житейских делах.

– Хорошо поговорили, – подтвердил Вошин.

Рогов не стал выпрашивать, о чем они разговаривали в горкоме, и тут же попросил Некрасова, который был старшиной на курсах горных мастеров, чтобы на завтра отменили его занятие.

– Что так? – спросил Некрасов.

– Тоже всякие житейские дела.

Некрасов опустил взгляд на свою маленькую круглую ладонь, потом поглядел на товарищей. А когда встретился глазами с Роговым, лицо у него было не улыбочливое, почти суровое.

– Зря, Павел Гордеевич, – сказал он сухо. – Останавливаться нельзя. Мы, наоборот, попросить хотели тебя еще об одном деле... Соберутся завтра все три наши бригады, а ты бы лекцию провел или просто беседу: «Что такое работа по циклу». Надо, чтобы люди до конца дело поняли...

– И черепановцев нужно пригласить. Так мы решили, – вставил Хмельченко.

Припомнив сейчас еще раз этот разговор, Рогов нетерпеливо прошелся по комнате, словно опаздывая куда-то, потом включил электроплитку, поставил чайник, вытащил из тумбочки непечатую бутылку коньяка и налил рюмку. Валя на портрете улыбалась явно с хитрецей, одними уголками глаз.

– А ты не суди строго, – возразил Рогов, поднимая рюмку, – это я за твоё здоровье...

Но он не успел пригубить вино. В коридоре кто-то тихо поскребся, отыскивая в темноте ручку, потом раза два тихонько стукнул. Рогов повернул ключ, открыл дверь. На площадке, почти невидимый в темноте, стоял человек в военной форме.

– Войдите! – сказал Рогов.

Человек стоял, словно боясь ступить через порог.

– Ну, входите же, что вы? – повторил Рогов.

Человек сделал шаг вперед и, остановившись у косяка, вытянул руки по швам. Еще не пони-

мая, что это значит, еще не услышав голоса вошедшего, Рогов почувствовал, как кровь горячей волной хлынула от сердца к лицу.

– Гвардии сержант?

– Так точно, товарищ гвардии капитан! – у парня так и брызнул из глаз лучистый свет, но он еще строже вытянулся и особенно твердо отчеканил: – Разрешите доложить, товарищ гвардии капитан, до Берлина дошли! Жарко Берлину было!

Рогов порывисто шагнул вперед и раскрыл объятия.

– Солдат ты мой дорогой! Каким ветром тебя?..

– Товарищ гвардии капитан!.. Товарищ! – не закрывая глаз, сержант плачет, даже не замечая этого.

Рогова тоже душит горячий комок в горле, но он смеется.

– Степа, оставь капитана... до следующего раза. Меня же Павлом зовут.

– Непривычно же...

Обнялись до хруста в костях, потом долго глядели друг другу в глаза и опять обнялись. Данилов доверчиво, по-братски прижался лбом к плечу Рогова и негромко признался:

– Ехал, ехал и думаю: дай загляну, какой он теперь? А ведь хороший был... грозный!

– Не забыл?

– На всю жизнь!

– А ведь я как будто знал! – Рогов подхватил Данилова за талию и подвел к столу. – Смотри, одна рюмка на взводе, а вторую мы сейчас зарядим.

– По сто наркомовских? Помните, как в Познани?

– А у Згежа?

– А помните, как старшина Чистяков на минах картошку варил?

– А этот... Как его?.. Ну, который отказывался трофейные продукты есть?

– Гулевич. Убили его.

– Многие не вернулись... – Рогов задумчиво переставил портрет на столе.

– Ваша девушка? – показал глазами Данилов.

Инженер улыбнулся.

– Ну, что ж, давай выпьем за встречу, за возвращение!

– За жизнь, товарищ гвардии капитан!

...Просидели почти до утра, близко сдвинув стулья. И столько переговорили за эту ночь, столько вспомнили!..

– А как же вы меня тогда откопали? Я так и не знаю толком, – спохватился под утро Данилов. – Вас же назавтра самого...

– А черт его знает! Помню одно: воронка большая, я ее всю по краям перекопал и вдруг вижу твой памятный котелок боком торчит. По котелку почему-то и определил, что жив мой снайпер.

– А вот сам не поберегся... – незаметно переходит на «ты» Данилов.

– Нельзя было. До Зееловских высот оставалось километра полтора, а от этих высот до Берлина – рукой подать... А что бы ты сказал, Степа, – перебивает вдруг себя Рогов, – что бы ты сказал, если бы меня тогда, в самый горячий час, отстранили от командования?

– Значит, это был бы не ты, – не задумываясь, отвечает Данилов. – И я бы ничего не сказал или бы сказал, что правильно сделали.

Рогов смеется.

– Хитер, солдат!

Под утро от усталости и выпитого коньяка сержант заметно охмелел.

– Ну, а планы на жизнь какие? – спросил Рогов. Данилов помедлил и отмахнулся.

– Мутно у меня с планами, товарищ гвардии капитан. Проще простого было бы снова под твою команду, но кто ж его знает, какая она из себя... шахта-то?

ГЛАВА XIV

Проснувшись утром на диване под чистой полотняной простыней и не обнаружив в комнате Рогова, Данилов долго трудился над запиской, которую, усмехаясь, так и озаглавил: «Объяснительная записка».

«Прошу извинить, если чего лишнего наговорил, – писал он нетвердым ученическим почерком. – Крутят меня сейчас всякие мысли. Война кончилась, и я, не переставая, думаю о жизни. На фронте я был снайпером и разведчиком – очень нужные специальности. Как бы мне не проворонить и в мирной жизни самое нужное.

Будет время – посоветуйте, товарищ гвардии капитан».

Потом долго и с явным предубеждением разглядывал фотографию русской большеглазой девушки и наконец, резко повернув портрет лицом к стене, неприязненно буркнул:

– Нежная.

И уже только после всего этого обнаружил на самом видном месте, у зеркала, записку Рогова, в которой значилось: «Без приказа с занимаемых позиций не отходить. Продукты питания в тумбочке. Кровать и постельные принадлежности пришлю с шахты. Устраиваться и ждать дальнейших указаний».

Данилов впервые по-настоящему разглядел комнату. Узкая железная кровать, письменный стол, тумбочка с радиоприемником, на стене зеркало, второй стол, поменьше, в углу с плиткой и чайником, три стула, диван, широкое окно и стеклянная дверь на балкон. По правде говоря, с таких позиций можно было бы и не отходить, но еще во сне его подмывало какое-то сладостное беспокойство: как будто кто-то звал поскорее распахнуть двери и бежать в золотой сентябрьский простор.

Он вышел на балкон. В лицо пахнуло легким утренним заморозком. Солнце вставало где-то по ту сторону дома. На железных перильцах лежал голубоватый прозрачный иней. Совсем неподалеку, в устье глубокого лога, поднимались шахтные здания. До этого Данилов не видел шахт на таком близком расстоянии. «Вот они какие», – сказал он себе.

Из соседних дверей на балкон вышла смуглая девушка в пестром халатике, розовая после сна. Заметив Данилова, она строго сдвинула брови, словно уличила его в чем-то неблаговидном. «Чудная», – мысленно усмехнулся сержант и, галантно поклонившись, спросил как можно мягче:

– Вы, значит, соседкой мне приходиться?

– А вот уж не знаю, – равнодушно ответила девушка, но, еще раз глянув на маленького военного с белым непокорным вихорком у виска и заметив золотую звездочку у него на груди, невольно улыбнулась простоватому любопытству на его лице.

Это была Оленька Позднякова, племянница Хомяковых.

Слово за слово завязался разговор. Данилов не удержался и рассказал о своей встрече с Роговым, о том, что на радостях они « всю ночь перевертывали мировую политику ». Наконец, с трудом скрывая волнение, он спросил, не знает ли соседка Тоню Липилину.

– Тоню Липилину? – удивилась Оленька. – Была на фронте? Ранена? Нет, лично я не знаю Тоню, но слышала о ней много, далее в газете что-то такое печатали.

Между ними стояла бочка, ящик, ведро с известкой. Данилов и не заметил, как одолел это препятствие. Девушка испуганно отступила, решив в первое мгновение, что военный, очевидно, немного не в себе, но с чисто женским тактом сделала вид, что не заметила ни стремительного прыжка сержанта, ни того, как побледнело его лицо и как вспыхнули небольшие, с медным отливом глаза, как он свистящим шепотом переспросил:

– Тоня!.. Вы знаете ее адрес?

Нет, адреса она не знает, но если товарищ будет дома, она часа через два сможет ему сообщить адрес Тони по телефону. Да, часа через два, не позднее, как только дойдет до редакции, где работает стенографисткой.

Осторожно тронув Данилова за рукав и пожелав ему доброго здоровья, Оленька ушла с балкона, забыв, зачем, собственно, она вышла, но зато втайне обрадованная, что сможет сегодня ошеломить Сашу Чернова такой сенсационной новостью, как прибытие на рудник Героя Советского Союза. Этот Чернов – в общем, хороший, душевный парень – всегда опережал ее по части всесторонней осведомленности обо всех событиях на свете и на шахтах. Обыкновенно он по всякому поводу более или менее пренебрежительно восклицал:

– Ах, только-то? Так я же об этом еще вчера знал!

Неизвестно, ошеломила ли Оленька Сашу Чернова этой сенсационной новостью, но часа через два к Данилову настойчиво постучались. Открыв дверь, он впустил в комнату круглого рослого парня с сияющим и тоже круглым лицом и совершенно прозрачными глазами. Па-

рень прямо от двери осведомился, не Героя ли Советского Союза он видит перед собой, а получив утвердительный, хотя и мало любезный ответ, сообщил профессиональной скороговоркой, что он, Чернов, сотрудник местной газеты, что редакция поручила ему побеседовать с товарищем Даниловым, узнать о его впечатлениях после осмотра города, а также намерен ли товарищ Данилов остаться на руднике или у него другие планы.

– Ей-богу, я пока без всякого плана, – чистосердечно признался Данилов, на что Чернов понимающе улыбнулся.

– А скажите, товарищ Герой Советского Союза...

– Степан Георгиевич.

– Скажите, Степан Георгиевич, вам инженер Рогов ничего не сообщал о рудничных новостях, в частности о комсомольской бригаде Черепанова?

– Как же, гвардии капитан Рогов очень много рассказывал о руднике, но о бригаде Черепанова что-то не упоминал, – охотно ответил Данилов.

«Ага, не упоминал, – подумал Чернов, – значит, не пришло еще время говорить об этом».

– Товарищ корреспондент, – прервал его размышления Данилов, – у вас в редакции работает такая чернявенькая... Оленькой звать?

– Работает. А что? – насторожился Чернов.

– Да так. Обходительная девушка. Я ведь здесь мало кого знаю. Ну, познакомились сегодня. Приятная такая.

«Ах, вон оно что! – удивился про себя Чернов. – То-то она сегодня была такая ласковая со мной. Даже Сашенькой назвала. Ох, женщины!»

Они беседовали еще не меньше часа. Данилов рассказал о своем пребывании в побежденной Германии, о том, как в июне прошлого года вскоре после победы он ездил в Тюрингию, из которой ушли американцы.

– Говорят, американцы очень вежливо обращаются с фашистами? – насмешливо заметил Чернов.

– До удивления вежливы, – иронически усмехнулся Данилов. И тут же он снова поинтересовался: – А Оленька ничего, надежная?

– То есть как?

– Ну, если что пообещает – выполнит?

Чернов не успел ответить. Зазвонил телефон.

– Да, да, я слушаю! – Данилов обеими руками ухватился за трубку. – Как, как? Повторите... Зеленый лог? Сто тридцать? Благодарю вас, благодарю!

Он повесил трубку и твердо сказал:

– Хорошая девушка – Оленька, надежная. В общем, тронулись, товарищ корреспондент. Мне тут нужно в одно место сходить...

...День уже совсем разгулялся, и только на теневой стороне железных крыш видны были сизоватые пятна – следы растаявшего инея. Шахтерский город узкой полосой уходил от берегов полноводной реки на восток, к густозеленым высоким холмам.

По склонам холмов разбежались редкие березки, над ними поднималась прозрачная синь. На главной, широкой улице былолюдно. В золотистых по-осеннему сквериках резвилась звонкоголосая детвора.

Чернов показал, где находится редакция, и пригласил заходить, великодушно упомянув, что Оленька Позднякова работает с двенадцати до восьми вечера. Данилов рассеянно кивнул и зашагал дальше. Воздух был то неподвижен, то вдруг упруго толкал в лицо. Данилов убыстрял шаг, но ему казалось, что двигается он очень медленно. У железнодорожного переезда из глубокого кювета на него глянули три чумазые мальчишеские мордочки. Данилов в шутку погрозил им, услышав, как один из мальчуганов восторженно крикнул:

– Митяй! Ванятка! Герой идет, честное пионерское!

А вот и улица Зеленый лог. Только непонятно, почему лог? Улица широкая, ровная, с огородами, с палисадниками, со светлыми аккуратными домиками. Правда, начинается она в логу, но потом поднимается в гору. Легкий ветер доносит с огорохов горьковатый дымок, напоминающий чем-то детство. Все примечает Данилов: и то, что с середины улицы открывается широчайший вид на рудник и что небо с горы кажется еще глубже и чище. А вот номер углового дома он почему-то боится отыскать взглядом: вдруг это сто тридцатый и кто-нибудь уже глядит из окна и

ждет, не свернет ли чужой солдат к решетчатой калитке.

Нет, это только семьдесят первый, – значит, тот дальше и по правую сторону. Квартал, еще квартал, я вот он подходит к самому обыкновенному, ничем не примечательному дому. Но сам-то он теперь точно знает, что время настало, что это тот самый дом, та самая минута, которую он так долго ждал. Поднялся по двум чисто выскобленным ступенькам и вошел в сени. Навстречу выскочило несколько голенастых цыплят. На жердочке, в полумраке, висят березовые венники, связки золотых луковиц, пучки красной, веселой рябины. Пахнет мятой. На дощатой скамеечке лежат две желто-зеленые щекастые тыквы и стоит ведро, до краев наполненное прозрачной, почти невидимой водой. Во рту Данилова как-то мгновенно пересохло, он приник к холодной кромке ведра и, дробно стучая зубами о жезь, торопливо напился.

– Молодой человек, у нас ведь и кружка есть! – слышит он за спиной грудной женский голос.

– Извините... – Данилов в замешательстве вытирает губы рукавом гимнастерки, снимает пилотку и хрипловато говорит:

– Мне бы увидеть Тоню Липилину... Женщина молчит и строго смотрит на него. Почему-то он сейчас видит только одни её строгие, осуждающие глаза, хотя после этой минуты он и во сне смог бы нарисовать ее всю – незнакомую, но давно родную. Статная, сильная фигура, гордо посаженная голова, продолговатое молоджавое лицо с сухим, плотно сжатым ртом и черные брови вразлет под низко повязанной выцветшей косынкой.

Воспитанный в детдоме и потому особенно близко принимавший к сердцу слово «мать», он сейчас вдруг как-то потянулся навстречу этой женщине, инстинктивно угадав в ее облике что-то сокровенно материнское.

– Кого вам нужно? – холодно переспрашивает женщина.

– Кто там, мама? – почти сейчас же слышится из комнаты слабый голос.

Данилов с застывшей неловкой улыбкой на лице идет мимо матери, проходит небольшую

кухню, откидывает легкую занавеску на дверях комнаты и, все так же странно, непривычно улыбаясь, останавливается.

Тоня лежит под голубеньким байковым одеялом, приподняв голову с примятых подушек, и не взглядом, а как-то всем худеньким телом обращена к двери. Вот у нее чуть приметно дрогнула левая, совсем прямая бровь, но она не открывает глаз, веки у нее прозрачны до голубизны. Узкая легкая кисть руки беспокойно скользит по кромке одеяла и застывает на секунду. Неожиданно спокойным тоном она спрашивает:

– Степа, ты?

Тогда он садится на край кровати, берет ее узкие прохладные ладони и, прижав их к обветренным щекам, медленно качается из стороны в сторону. Качается и слушает голос, к которому тянулся через тысячи верст.

– А я знала, что ты придешь... – говорит Тоня. – Все думала, думала об этом... И все время видела во сне две осинки в твоём секторе и этот мертвый немецкий танк... И тебя видела. Только я больна, Степа, почти не сплю. Совсем недавно из госпиталя, после второй операции. Сейчас почти ничего не вижу. Говорят, что все будет хорошо. А мне так бы хотелось посмотреть на тебя сейчас... Такое горе!

Данилов опускает ладони девушки, слушает и медленно дышит.

– А ведь ты еще ничего не сказал... – Рука Тони беспокойно пробегает по одеялу и задерживается на солнечном пятнышке, потом легко вскидывается на грудь, на лицо Данилова. – Скажи что-нибудь, Степа.

– Что ж я тебе скажу?... – он прижимает губами к ее теплой щеке. – Что же я тебе скажу, родная моя, белая ласточка? Приехал к тебе. Рядом с тобой буду...

...Когда он шел обратно, солнце уже стояло низко и, задернутое молочной дымкой, светило тускло.

В комнате он увидел вторую кровать, а на столе нашел новую записку Рогова: «Попытку ознакомиться с рудником одобряю. На ночь с шахты, пожалуй, не вернусь. Будь здоров. Твой капитан».

ГЛАВА XV

Когда-то еще в детстве между Михаилом Черепановым и Савоськой Емельяновым, совершенно незаметно для обоих, началось ожесточенное соперничество. В причинах этого они не пробовали разбираться, но при случае один кивал в сторону другого:

– А что я сделаю, раз у него характер такой?.. Ни в чем спуска не дает.

На том и стояли оба. Уже вытянулись, повзрослели, голоса у них ломались по-петушиному, а они все не позволяли один другому взять хотя бы в чем-нибудь перевес. Если отличники в учебе – то оба, если лыжники – то лучшие, если танцоры – хоть под руки выводил того и другого из круга.

Однажды, на летних каникулах, они встретились у реки и договорились лечь под воду на спор – «кто дольше». Легли. И едва ли кончилось бы благополучно это состязание, если бы какой-то пожилой мужчина, гревшийся на песочке, не выдернул их за волосы на берег.

В предпоследний учебный год они влюбились в одноклассницу Любочку. Девочка была худенькая, тихая, болезненная и больше всего в жизни боялась Черепанова с Емельяновым. У соперников же просто не было охоты ломать себе голову над такими сложностями, как отношение девочки к ним. После уроков они обыкновенно провожали Любочку, следуя за нею метрах в ста позади: Черепанов по одну сторону улицы, Емельянов – по другую.

Закончился последний учебный год. Состоялся выпускной вечер. Уже после торжественного заседания, трогательного и душевного, какие бывают, очевидно, в жизни каждого оканчивающего школу, Севастьян с Михаилом встретились в коридоре. Обоим только что были вручены похвальные грамоты и аттестаты с абсолютно одинаковым количеством пятерок. Столкнулись в коридоре они нечаянно, не успев даже приготовить соответствующего выражения на лицах, но оглядели друг друга довольно холодно.

– Еще увидимся, – сказал Черепанов.

– Конечно, о чем разговор, – кивнул Емельянов и зачастил вниз по ступенькам, на ходу

бросив: – Между прочим, отец сообщил, что его орденом Красной Звезды наградили.

– Видел ты, какое совпадение, – явно изумился Михаил. – Моего тоже.

Он прошел по коридору и, толкнув створчатую стеклянную дверь, ступил на балкон. Где-то позади, в классах, шумели выпускники, настраивался оркестр, чей-то очень знакомый голос зачинал песню:

Широка страна моя родная...

А внизу, в тополевом садике, и дальше, в полях за Старо-Кузнецком, была ночь. Пахло черемухой, молодыми травами, и сердце почему-то билось часто и гулко.

Школа, уроки, привычные учебники в потертых обложках – все это осталось во вчерашнем дне. А что завтра?

Недалеко от Старо-Кузнецка поднялись в последние годы еще два крупных завода – алюминиевый и ферросплавный. Можно было бы пойти на один из них – пока отец воевал, Михаил в семье оставался за старшего мужчину. Но его тянуло на уголь, может быть, потому, что это было труднее и казалось ему почетнее. Мать же в разговорах с соседками объяснила это просто:

– В нем еще дяди Митрия кровь говорит. Крепок батюшка был, почитай до девяноста годов шахту хаживал. И как сейчас помню, вернулся в остатный разок со смены, вымылся, лег под божницу да, ни слова не говоря, и умер.

...Налегке уходил Михаил на соседний рудник – чемоданчик в одной руке, связка книг в другой.

В школе ФЗО ему предложили учиться на машиниста шахтных установок. Он отказался, попросившись на уголь.

– Ну что ж, можно будет и на уголь, – согласился директор. – Парень ты сильный, а механизмы всё равно изучать придется, без этого сейчас в шахте делать нечего.

Черепанов так именно и рассудил. Во-первых, силенок занимать действительно не придется, во-вторых, забойщик – все же главная фигура в шахте, в-третьих, было еще одно обстоятельство, о котором он не мог ничего сказать директору.

А заключалось это обстоятельство в том, что в первый же день по прибытии в школу ФЗО Черепанов встретился, к своему удивлению, с Севастьяном Емельяновым.

Севастьян на месяц раньше Черепанова поступил учиться в группу забойщиков. Увиделись они в тот момент, когда Емельянов, как нарочно, стоял в самой небрежной позе у доски почета, на которой красовался его собственный портрет.

Один другого опередил на месяц. Один отличник, а другой еще нет. К тому времени от мальчишеского соперничества у них ничего не осталось, на смену ему пришел молодой, порывистый задор.

– Если жить, так чтоб дух захватывало! – любил теперь повторять Емельянов.

Михаил взволновался, ему нужно было наверстывать. А тут еще отец из-под города Брестлау запрашивал: «Как дела, сынок?»

Курс обучения они закончили одновременно и тогда впервые обстоятельно побеседовали.

– На днях разговаривал с одним инженером, – важно сказал Емельянов. – Тут знаешь какие перспективы?

– А ты на какую шахту?

– А ты?

– На «Капитальную».

– А я пока решил на десятой поработать.

– И правильно, – согласился Черепанов.

– А что?

– Как что? На одной-то нам, пожалуй, тесновато будет.

Молча согласившись с этим и поглаживая двумя пальцами воображаемые усы, Емельянов вскользь заметил, что подумывает жениться, не сейчас, конечно, а так через годик, полтора...

– Опасно, наобум-то... – усомнился Михаил.

– А я подумаю. Меня ведь не припекает.

– Ну, если подумаешь... – Черепанов снисходительно оглядел товарища.

А через какой-нибудь год после этого разговора произошла совершенно удивительная встреча. Михаил застал Емельянова на рынке за странным занятием. Подняв над головой детскую ванночку, тот рассматривал на солнце ее днище.

Черепанов расхохотался.

– Ты куда плыть, что ли, налаживаешься в этой посудине?

Севастьян испуганно оглянулся и покраснел.

– Тут, понимаешь, какое дело... – он стукнул твердым ногтем в дно ванночки. – Шахтоуправление отгрохало мне индивидуальный домик...

– Что же ты в этом тереме делать будешь? – снова удивился Черепанов, с любопытством разглядывая окончательно повзрослевшего, раздавшегося в плечах приятеля.

– Ну как что? – усмехнулся тот. – Жить, конечно... Жду сына, понимаешь, вот и посудина пригодится. – Повернувшись, он крикнул в рыночную толпу: – Катя!

Подошла Катя. Когда-то, одновременно с молодыми забойщиками, она училась в школе ФЗО на отделении мотористов. Черепанов отметил про себя, что ее круглое смугловатое личико подурнело: над бровями, на верхней губе и на подбородке проступили темные пятна.

– Здравствуйте, Миша, – сказала Катя и смущенно улынулась.

Так по крайней мере показалось Черепанову.

Всю дорогу до общежития он презрительно хмыкал:

– Ха, ванночки покупают!

И тут же твердо решил, что Савоська мало выиграл, обогнав его в таком деле, как женитьба. Это было от Черепанова где-то еще за тридцать земель.

Но, странное дело, после этой встречи общежитие показалось Михаилу почему-то неуютным, неудобным. Черепанов раздраженно обошел Митеньку, который, ползая на четвереньках, прямо на некрашеном полу углем вычерчивал что-то хитроумное, в то время как четверо остальных бригадников сидели вокруг на корточках и глубокомысленно кивали после каждого восклицания товарища. Речь шла, очевидно, все о той же системе разработки угля, которую Митенька изобретал вот уже второй месяц и которая, по мнению автора, должна была произвести революцию в горной технике.

– Понятно? – строго спрашивает изобретатель. – Целики эти убираем, и что получается? Отсюда даванет, отсюда тоже, а с этого конца – знай бери, знай гони порожняк!

– Да... – с сомнением говорит Юрий Саенко. – Если уж она даванет, то тут не порожняк, а гроб потребуется.

– Гроб? – Митенька с презрением глядит на критика. – Эх, ты! Для кого гроб-то? Уголек ведь самосильно идет, его кровля выпирает. Соображаешь неизвестно чем.

Черепанов лег на кровать и, отвернувшись к стенке, сделал вид, что уснул. Но только закрыл глаза, как перед ним опять встал Савоська со своей ванночкой.

Ну и пусть! Что, в конце концов, – подумаешь, велика картина! Каждому свое в жизни назначено – одному ванночки, другому, как вот Черепанову, целая бригада забойщиков.

Это еще не известно, что запел бы Савоська, доведись ему хотя бы денек побыть на месте Черепанова. Люди, правда, собрались в бригаду хорошие, но, пока привыкали друг к другу, все ершились, все против шерсти друг друга задевали, чуть что, и уже, глядишь, как петухи, в позицию становятся. Пойдешь в комсомольский комитет, а там говорят:

– Ты бригадир, нажимай на воспитательную работу!

Воспитательная работа! Санька Лукин тоже постоянно жужжит над ухом:

– Будут нас наконец воспитывать или нет?

– Тебя же сегодня Василий Очередыко целый час воспитывал, – отозвался как-то за бригадира Митенька.

Вот, действительно, думай здесь о воспитательной работе, когда тебя в забое, у коренного дела, всерьез часто не принимают. С одной стороны, трудновато было втягиваться, с другой – смотрят на тебя как на мальчишку, сомневаются: дескать, будет ли толк? Остальные-то еще туда-сюда, а вот от начальника участка натерпелись. Забросит крепежнику на три-четыре уступа, а чуть заикнешься, кричит:

– Что? Опять лес нужен? Да вы что, с ума посходили? Я настоящих шахтеров не успеваю обеспечивать, а тут еще вы с баловством.

Вот и поговори с таким, как будто серьезные люди сами собой вырастают.

Были, конечно, некоторые эксцессы, как выражается комендант общежития, так это же не на работе. Однажды, например, Митеньку по-

слали в магазин за продуктами для общежития, а он принес каждому по шляпе, потому что дорогой, видите ли, вспомнил, что на днях состоится молодежный вечер, на котором бригада должна быть представлена в лучшем виде.

Насадив шляпы одну на другую, Черепанов тихо спросил:

– А эти... как их... ну, с хвостами... Фраки ты не купил?

– Фраки? – Митенька смутился. – Честное слово, не видел, может их завмаг по благу дает – знаешь, какая это публика.

Узнав потом про историю со шляпами, Очередько язвил:

– Ничего, ничего, можно сказать – в гору идете!

Гораздо лучше стало после того, как седьмой участок отошел к району Рогова. После первой же беседы Павел Гордеевич стал настойчиво, сурово, но по-настоящему заботливо подталкивать бригаду: «Смелее, смелее!»

Конечно, не обходилось и без неприятностей. Как-то получили задание работать в давно оставленной лаве. Даже мимолетный осмотр убедил Черепанова, что сменный наряд едва ли удастся выполнить. Две породные прослойки наискосок пересекали полутораметровый пласт, крепление нарушено, спусковая печь забита разным хламом. Бригада вознегодовала.

– Сообщите немедленно Павлу Гордеевичу! – решительно выпалил Митенька. – Что в самом деле! Павел Гордеевич такую ижицу пропишет за эту лаву...

На этом и порешили. К телефону командировали все того же Митеньку.

– Скверная лава? – переспросил Рогов.

– Это же безобразие, Павел Гордеевич! – заторопился Митенька. – Комсомольскую бригаду засылают в такую невозможную дыру! Прямо сплошной подрыв. Мы уже полтора часа болтаемся.

– Болтаетесь?.. – Рогов помолчал. – Ну, болтайте на здоровье. Завтра под суд отдам.

Митеньку эти слова просто по голове ударили. Он испуганно поглядел в телефонную трубку, осторожненько повесил ее на рычаг и бесшумно выскользнул из диспетчерской. На участок бежал, запинаясь и даже всхлипывая.

– Расселись! – закричал он еще издали. – Растележились! Пушкин за вас будет работать? Да? Эх, вы!

Он больше ничего не мог сказать от горя и гнева, да его и расспрашивать не стали. Кинулись в лаву, побежали за лесом, за порожняком.

К концу смены заглянул Рогов. Прошел по уступам. Комсомольцы насторожились: поругает за жалобу или похвалит за смену? Потому что лава буквально преобразилась. Не поругал и не похвалил. Остановившись около Черепанова, сказал:

– Остался час. Подкрепите верхние уступы по-хозяйски, с затяжками.

Когда шли домой, Санька Лукин вдруг захохотал:

– А мы расплакались: «Пожалейте нас, товарищ Рогов!»

– Мы бедные комсомольцы! – подхватил Черепанов. – Нас чужой дядя обидел!..

Все дружно расхохотались. После таких вот случаев было не обидно, а стыдновато, но дышалось свободнее, хотелось работать особенно хорошо. Работа стала доставлять радость, а настоящая человеческая дружба согревала.

Взять того же Хмельченко. Он явился в общежитие вместе с комсоргом Аней Ермолаевой на второй же день после памятного стахановского слета. Поздоровался, постоял у порога и неожиданно спросил:

– Здесь и живете?

– Здесь и живем, – ответили ему хором.

– Здорово! – без особого энтузиазма отметил Хмельченко. – Ничего не скажешь, грязновато живете... С такой культурой наш Кузбасс далеко не ускачет.

Повернувшись к Ермолаевой, он поднял короткий толстый палец и сказал негромко, но веско:

– Тебе даны почетные обязанности от комсомола, так куда же ты смотришь? Да ну вас на самом деле! – махнул он вдруг рукой. – Не буду я сегодня разговаривать с вами, зайду завтра.

Назавтра комнату побелили, белье на постелях засияло снежной чистотой, Юрий Саенко уже не валялся на кровати в брезентовых штанах...

Хмельченко пришел и улыбнулся в реденькие усы.

– Смотри-ка ты, перевоспитались! – не то похвалил, не то съязвил он.

В бригаде ожидали, что забойщик немедленно же приступит к оформлению договора на социалистическое соревнование.

– Он же такой дотошный! – уверял Санька Лукин, паренек из местных. – Он даже свою выработку записывает каждую смену.

Но Хмельченко ничего оформлять не стал, а просто побыл часа два и поговорил обо всяких разностях. Молодежь быстро освоилась с ним. Митенька с Санькой заспорили о том, кто является главной фигурой на шахте.

– Забойщик! – утверждал Митенька.

– Хватил тоже – забойщик! – презрительно сплюнул Лукин. – Инженер – самая главная фигура.

– Ну-ну, фигуры! – примирительно заметил Хмельченко. – Главный тот, кто лучше работает.

– В-вот... В-вот! – подхватил заикавшийся Юрий Саенко. – В-в-в-озьми О-очередько. Т-тоже итэ-эр, а что у него к чему – н-не разберешь.

– Пустяк-человек, – согласился Хмельченко, – пыжится, пыжится, думаешь – гору родит, а поскреби такого сверху самую малость – останется одна голая сущность.

С легкой руки Хмельченко в бригаде начальника участка так и прозвали: «голая сущность».

Как-то утром Черепанов вдруг открыл глаза и повернулся на спину. Черт! Какая нескладница получается: Очередько, эта «голая сущность», теперь уже не начальник участка, а «исполняющий обязанности районного инженера». А Рогов, рядом с которым так хорошо работалось в последнее время, Рогов почему-то уходит на десятую. В бригаде слышали про это и долго молчали. Потом Санька Лукин начал издали, что вот у него на десятой тетка живет, она, может быть, и не тетка, а просто родственница, но очень уж хорошая женщина и давно приглашает его, Саньку, переехать к ней. Следует, пожалуй, подумать об этом всерьез.

– А она, случаем, всю бригаду не поселит к себе? – простовато спросил Митенька и тем выдал общую тайную думку: хорошо бы всем на десятую, поближе к Павлу Гордеевичу.

Пришлось бригадиру самому вмещаться и сказать, чтобы бросили эти пустые разговоры: не об этом думать нужно. Думы-то эти и мешают сейчас уснуть, да и поздно, скоро на смену. Михаил прислушался к новому спору товарищей. Речь шла о вывеске – тоже изобретении Митеньки.

Вчера в городской газете был напечатан очерк Чернова об их бригаде – «Молодые силы». Душевный очерк получился, но Митенька его посвоему продолжил, написав на входных дверях в общежитии: «Здесь живут молодые силы».

Саенко сейчас решительно возражает:

– Убрать! Смех один для прохожих.

– Правильно, мы же шахтеры, – гудит Сибирцев. – Какие тут «молодые силы», мы бригада имени Героя Степана Данилова!

– Может, проголосуем? – предлагает Лукин.

Но Черепанов в это время встает, смотрит на часы, и спор моментально прекращается. Пора на смену.

Работалось в этот раз неплохо. Пришлось немного повоевать из-за порожняка, из-за леса, а вообще получилось здорово, даже в костях слегка гудело. Зачистив свой пай, Черепанов прошел по всей лаве и убедился, что все делается по-настоящему, надежно. Только почему-то Митеньки нет в верхних уступах.

– А где Голдобин? – обратился Михаил к Сибирцеву.

Георгий не торопясь приладил клин между стойкой и кровлей, одним ударом загнал его намертво и только тогда отозвался:

– Кто ж его знает, где он... Часа два как закончил уступы.

На вопрос Черепанова табельщица тоже ответила, что «такого не видела». Немного обеспокоенные, пришли в общежитие. А Митенька, оказывается, был дома и, уже умытый, розовый, кипятил чай.

– Ты что же это? – набросился на него Саенко и осекся, заметив сидевшего у окна Дубинцева.

– Пейте чаек, стахановцы и ударники Кузбасса, – заюлил Митенька, перетаскивая ведерный чайник на стол, – я захватил в магазине сахарок, хлебушко...

Бригадники никак не выразили своего удовольствия по этому поводу, а Черепанов мол-

ча снял бушлат, взял чайник и вылил кипяток в умывальник.

– И чего вы в самом деле? Норму-то я выполнил, – попробовал улыбнуться Митенька, но, не отыскав на лицах товарищей и следа сочувствия, он потоптался на месте и растерянно, бочком присел на кровать.

– По какой линии будем – по административной или по комсомольской? – обратился к бригадиру Лукин, исполнявший обязанности группкомсорга.

– По всем сразу, – решил Черепанов.

– А в чем дело? – удивился Дубинцев, который зашел для того, чтобы провести по поручению парткома беседу о пятилетнем плане бригады.

– П-прогулял! Д-два часа! – разъярил Саенко.

Первым выступил Черепанов. Сдерживая обиду, готовую прорваться в грубом слове, он объяснил, в какое положение попала бригада в связи с прогулом Митеньки. На днях нужно подводить итоги по соревнованию с Хмельченко. Но какие же это итоги, когда в бригаде прогул? Этого же не скроешь! Да и от кого скрывать? От государства?

К тому же вчера поступил вызов на соревнование от молодежной бригады Севастьяна Емельянова. Чтобы ответить на это, нужна тоже чистая совесть. Черепанов постучал кружкой о стол.

– Всем это понятно?

– В-выгнать! – категорическим тоном заявил Саенко.

– И опубликовать! – поддержал Лукин.

– Присоединяюсь, – осторожно привстал Георгий Сибирцев и так же осторожно сел, потому что редкий стул выдерживал его тяжеловесную фигуру.

– Давайте все же разберемся, – предложил Дубинцев. – Мне непонятно: зачем было Дмитрию позорить бригаду?

Страсти немного улеглись. Стали разбираться по порядку. Попросили объяснений от самого Митеньки.

– Я, конечно, виноват... – сказал забойщик и беспомощно оглянулся.

– В чем же? – спросил Дубинцев.

– Ну... что ушел раньше... Думаю: вскипачу чаек, все приготовлю... Придут да еще и похвалят: удалой, скажут...

– А норму, значит, выполнил?

– Вот насчет нормы! – ожил внезапно Митенька. – Я больше не согласен на это. Нас шесть человек, а уступов в лаве двенадцать, выходит по два на пай. Я не согласен на это... Скучно.

– Это правда, – быстро согласился Сибирцев, – получается какое-то баловство...

– Т-тесновато, к-конечно, – согласился и Саенко.

– В тесноте, да не в обиде! – попробовал выйти из положения Лукин.

– Кто не в обиде: шахта или ты? – нахмурился Черепанов и вопросительно оглянулся на Дубинцева.

Самый молчаливый в бригаде Алеша Алешков или попросту «цыганенок», как его звали, недоуменно почесал смоляные кудри.

– Что ж теперь – разбежаться кто куда?

Над этим всерьез задумались, забыв временно о Митеньке. В самом деле, что же делать? Пока работа налаживалась, пока душой и сердцем входили в дело, учились, завоевывали право называться шахтерами, все было ладно, привыкли чувствовать рядом друг друга, так теплее жилось. Но незаметно для себя они выросли, и им действительно стало тесновато в лаве.

Дубинцев, сам вступивший только что в большую жизнь, с удовольствием смотрел сейчас на молодых забойщиков, занятых поисками ответа: как же работать дальше, как устроить, чтобы и вместе быть, и не мешать друг другу? Дубинцеву пришлось признаться себе, что он проглядел, как недавние ученики выросли в настоящих шахтеров.

Вывод напрашивался простой: тесно в двух уступах – пусть берут по четыре. Но так как лава невелика, бригада должна из односменной превратиться в суточную. Дубинцев стал прикидывать вслух, где бы взять еще трех забойщиков, чтобы на каждую смену выходило по три.

– Не надо, не надо, – запротестовал Черепанов и возбужденно прошелся по комнате. – Мы будем по двое выходить в лаву.

– По шесть уступов на пай? – удивился Дубинцев.

– Честное слово! – подхватил Сибирцев и, неосторожно повернувшись, выжал из стула та-

кой жалобный скрип, что все укоризненно оглянулись.

– Вот только Очердько... – усомнился Черепанов и подсадовал: – Эх, нет Павла Гордеевича! И зачем только его погнали на десятую шахту, ведь при деле был человек?

– Это особый разговор, – заметил начальник участка и, заразившись общим нетерпением, спросил, подзадоривая: – Значит, по два человека на смену?

– А как же со мной? – робко подал голос Митенька.

К нему повернулись шесть сразу поскучевших лиц.

– Вот загвоздка, – сказал Черепанов озадаченно, но уже без особой неприязни. – Если выгнать ир бригады, душа не поворачивается.

– Ты скажи лучше, как мимо табельщицы улизнул? – поинтересовался Лукин.

– Как?.. – Митенька поморгал белыми ресницами. – В старой лаве есть лазейка... в брошенный шурф проникнуть можно, если на животе...

– И ты, значит, проник? – без видимой надобности переспросил Сибирцев.

– Честное слово! – взмолился Митенька. – Ну куда я без вас денусь?

– Влепить выговор, – несмело предложил Саенг.

На этом и порешили. Собираясь уходить, Дубинцев заметил, как тот же Саенг, загнав Митеньку в угол, крутил у него под носом пальцами и угрожающе предупреждал:

– Это официально, понимаешь, официально! А в рабочем п-порядке... п-позднее, мы еще поговорим!

Черепанов был прав, когда высказал опасение, что Очердько заартачится. Не успел Дубинцев заикнуться о переводе молодежной бригады на суточный график, как Очердько замахал руками.

– Что ты, молодой человек, с ума сошел? Мы и так с добычей по самому краешку ходим. Затея наверняка провалится, и тогда на чью голову pozor? Не желаю!

Дубинцев пожал плечами, как это делала Аннушка, и пошел в партком. После этого Бондарчук беседовал с Очердько минут пятнадцать.

Выскочив из кабинета парторга, Очердько удивил подвернувшегося ему Черепанова тем, что вначале довольно вежливо поздоровался, а потом вдруг свирепо крикнул:

– Жаловаться?

Бригада все же была переведена на суточный график.

ГЛАВА XVI

Весь этот день Рогов провел в техническом отделе. «Смутное время», как он называл дни своего вынужденного отпуска, он решил посвятить подготовке документов по новому угольному полю.

Это была кропотливая работа, она требовала большого внимания и зачастую не отличалась разнообразием. С тем большей радостью позволял себе инженер в короткие перерывы – за папироской или просто шагая по коридору – обращаться к мысли, которая возникла у него недавно.

И в воображении, и на бумаге набрасывал он схему работы забойного щита с необычайно длинным ходом по простиранию пласта.

По замыслу Рогова, щит должен был проходить не восемь – десять метров, как это принято на прокопьевских шахтах, а сто шестьдесят – сто восемьдесят, непосредственно с первого на третий горизонт, делая, таким образом, промежуточный второй горизонт ненужным. Трудно пока было представить, какую огромную экономию средств это могло принести.

Слева от Рогова, у чертежной доски, трудилась Аннушка; напротив, за широким столом, ежеминутно крутил ручку телефона начальник отдела Севастьянов.

– Честное слово, эти участки меня зарежут! – воздевал он руки над головой после каждой телефонной перепалки. – Без ножа зарежут!

Слушая его, можно было и на самом деле подумать, что люди на участках только о том и думают, как бы зарезать начальника технического отдела. А вообще-то это был дельный инженер, немного замотавшийся от производственной текучки, но жадно хватающийся за все новое.

– Как ты сказал? – кричит он в трубку. – Я этого и слышать не хочу, понимаешь? Инженер Рогов

пока что жив, я вот сейчас гляжу на его шевелюру и говорю тебе: скоростную проходку при тормозить не позволю! Что главный инженер? Ну попробуй, поговори с главным инженером – он тебе устроит баню... Очередько реформами занимается, – коротко сообщил он не то Рогову, не то Аннушке. – Не понимаю, о чем Дробот думал, когда выдвигал это чучело.

Севастьянов несколько раз останавливался за стулом Рогова и что-то неопределенно хмыкал, потом не выдержал и ткнул пальцем в карандашный эскиз щитового забоя.

– Что это?

Рогов нехотя и довольно общо рассказал о своем замысле, думая, что начальник отдела не примет его всерьез. Но тот вдруг загорелся, поскреб розовую лысину и навалился Рогову на плечи, разглядывая эскиз.

Они проговорили до вечера. Севастьянов совсем вошел в азарт и наконец отобрал у Рогова перечеркнутый, переправленный чертежик, сказав, что будет тоже думать над этим. А через минуту спросил:

– Не ревнуешь?

Они расстались друзьями, и, выходя в ночную темень, прорезанную светом из окон шахтоуправления, Рогов отметил про себя: «Нашего полку прибыло».

Домой идти не хотелось. Он чувствовал, что мысли о Вале снова охватят его, как это часто случалось в последние дни, а мыслям этим поддаваться было нельзя, особенно сейчас, – тоска заест.

Только он вошел в раскомандировку, на него налетел Дубинцев.

– Павел Гордеевич, что Очередько черт знает что вытворяет. Приказал рассовать бригаду Черепанова по мелким нарезкам.

– Что-о?.. – Рогов зло посмотрел на техника. – Значит, черепановцев расформировали? И ты согласился?

– Не думайте, что я ребенок! – Дубинцев выпрямился, встретил взгляд Рогова прямо, открыто, повторил строго: – Не думайте, что я ребенок! Я понимаю, что Очередько фактически расформировал черепановцев – это особый разговор...

– Но для чего? – перебил его Рогов.

– Неотложное дело... – Дубинцев скупно усмехнулся. – Назначил на сегодня районный инженер рекорд. В лаву ставит одного Деренкова. А я не могу разрешить этого, понимаете, Павел Гордеевич, не могу! Это же штурмовщина! Вы же сами часто говорите о рутине. Я считаю такой скоропалительный рекорд тоже рутинной! Это... хулиганство!

– Точнее!

– Что точнее? Разве вы не знаете тридцать первую лаву? Она не готова к такой работе! Я с нее уже и глаз не спускаю: ее на посадку пора. Но командует-то сегодня Очередько!

Рогов и сам знал, что тридцать первую пора пускать «на посадку».

В зависимости от устойчивости кровли существует технологическая норма – «шаг посадки», при которой угольный пласт по всей ширине лавы вырабатывается на строго определенную длину. После этого в непосредственной близости от «груди забоя», то есть недалеко от целика, ставится «комплект» – два сплошных ряда стоек. Вся кровля, оставшаяся позади «комплекта» в выработанном пространстве, искусственно обрушивается. Таким образом давление верхних породных толщ у самого забоя сводится до минимума, а работа становится безопасной.

– Кровля в тридцать первой очень капризная. При большой осторожности можно было бы проработать еще одну-две смены, но рекорд в таких условиях... – продолжал взволнованно убеждать Дубинцев.

Рогов тревожно посмотрел на техника.

– Дроботу говорил? Что он?

– Сначала заругался: вот, говорит, остолоп, а потом усмехнулся и руками развел.

– Делай наряд по старому графику, – посоветовал Рогов. – А если Очередько все же вмешается, позвони Дроботу и объясни, что в бригаду имени Героя Советского Союза Данилова завтра придет сам Данилов, – зачем же, мол, вы сегодня молодежь разгоняете?

– Павел Гордеевич! – у Дубинцева глаза стали совсем круглые. – Неужели сам герой?

– Конечно, сам. И передай Черепанову, чтобы ребята подтянулись: Степан – мужик строгий!

Рогов протиснулся через толпу шахтеров, загородивших вход в раскомандировочный зал. Шла обычная производственная летучка. С подмостков, на которых во время собрания обычно размещался президиум, держал речь Афанасий Петрович Вошин. Рогов заинтересовался, потому что выступал проходчик редко, да и вид у него был сейчас необычный, взволнованный.

– Пятилетка-то идет, – возбужденно и быстро говорил он. – Одну смену прохлопаешь и ее уже не вернешь. А у нас что? Удивительные дела происходят! С большим трудом, но держали первое место по тресту, даже знамя получили, а теперь вторую неделю работаем косолапо. Что такое случилось? Почему такие куцые цифры стали писать: то девяносто процентов, то семьдесят? Не знаю, как вам, а мне стыдно!

– А ты не колдуй, все про свой стыд выкладывай! – поторопил кто-то недружелюбно.

– И выложу! – рассердился Вошин. – Выложу, будьте спокойны. Тут кое-кто так решил: война кончилась, от Гитлера одни ошметки остались, куда же теперь торопиться, можно и отдохнуть! Есть и такие, которые норовят бочком мимо работы.

– Персонально указывай.

– Вот и персонально... Правильно говорил инженер Рогов на прошлом слете: у нас на некоторых участках такие порядки – один с сошкой, а семеро с ложкой – на одного забойщика приходится по десять человек подсобников. Какая же здесь может быть выработка? Что же у нас может получиться со стоимостью угля? Технологию запустили, забойщиков, которые покрепче, по разным куткам рассовали: в ламповой – забойщик, в проходной – забойщик, коням хвосты крутят на транспорте – тоже забойщики. На днях заглянул в квасной киоск, и даже дух сперло – мой прежний сменщик Никанор Ожгихин газовой водичкой торгует, по пятаку за литр. «Ты, – спрашиваю, – что, в уме ли?» – «А чего? – говорит. – Ничего, слава богу, – вот воду из кра-на добываю».

Переждав легкий смешок, проходчик вытирает потное лицо и продолжает:

– А наш уважаемый начальник шахты одно свое гнет: «У нас традиции. Мы были первы-

ми». Были да сплыли, дорогой товарищ Дробот. Не мне бы вас учить, что на давешний капиталец долго не проживешь.

– Что же теперь, ложись да помирай? – спрашивает кто-то оратора.

– Ни в жизнь! – Афанасий Петрович задорным движением сдвигает каску на затылок, отчего лицо его сразу молодеет. – Я вот что скажу: есть у нас сталинская пятилетка, значит есть у каждого своя доля в этой пятилетке.

Он умолкает и потом продолжает – медленно, отрубая каждое слово ударом руки:

– Попрошу, чтобы инженеры подсчитали, сколько угля на мою долю приходится за пять лет, и заранее обязуюсь нарубить его за три года. А для начала иду в лаву и дам... – он не торопясь шагает к доске показателей, укрепленной у задней переборки стены, и, размахнувшись, выводит крупными кривыми цифрами: «250 %», потом, немного помедлив, ставит восклицательный знак.

– Ну, что же... – язвительно тянет подошедший к подмосткам Очередько. – Восклицание, можно сказать, приличное, только знак-то нужно бы после смены ставить...

– После смены знак-то нужно тебе на кой-какое место ставить! – обрывает районного инженера мальчишеский голос.

Раскомандировка качнулась от громового хохота.

В тот же момент на подмостки взбежал плечистый высокий парень в военном, с рыжеватыми коротко стриженными волосами.

Рогов невольно подался вперед – до такой степени показалось ему знакомым широкое доброе, лицо этого человека, лицо, на котором ясно запечатлелись и простодушная уверенность, и в то же время какая-то крестьянская осмотрительность. Всем своим видом он словно бы говорил: «А я знаю, что нам с вами нужно!» Он и речь начал обычным, не ораторским тоном, сказав буднично и просто, как будто продолжал начатый дома разговор:

– Тут меня должен кое-кто знать. Когда-то вместе начинали работать на «Капитальной».

Большинство шахтеров недоуменно переглянулись, по Рогов заметил, что некоторые обо-

дряюще кивнули новому оратору: знаем, мол, продолжай! Но оратор вдруг круто повернулся к доске и пониже первой цифры уверенно вывел: «400».

– Ого! Замашисто! – громко удивились в толпе шахтеров.

Вокруг оживленно заговорили:

– Это же сынок Вощина, Гришка, с войны вернулся.

– Отца на поединок вызывает!

– Этот наступит кое-кому на пятки, только оглядывайся!

Рогов вспомнил, что давно уже хотел побывать у Вощинных, и тут же твердо решил при первой возможности заглянуть в их шахтерскую семью.

Спустившись в шахту, он прошел сразу на седьмой участок. В основном штреке вокруг Очередыко и Дубинцева стояла большая группа шахтеров. Рогов не думал ни во что вмешиваться, просто хотелось убедиться, что все идет хорошо. Может быть, он себя немного обманывал, боясь признаться, что его исподтишка точит ревнивое чувство зависти даже к люковому, который в этот момент наполнял вагончики углем. Остановился в сторонке, прислушиваясь к раздраженному голосу Вощина.

– Мы уже вторую смену болтаемся, когда же порожняк будет? – спрашивает проходчик. – Это же не шутка – скоростной забой. А потом вы сами видели: со мной на первую смену вышел сын Григорий. Не могу же я моргать перед ним!

– Я все знаю! – отмахнулся Очередыко. – Знаю, как важен твой забой, но порожняк мне сегодня на другое нужен. У меня рекорд!

Как только проходчик отошел, шепотом поминая зловредную бабушку нового районного инженера, тот нетерпеливо повернулся к Дубинцеву:

– Ну? Как дела у Деренкова?

– Товарищ Очередыко, за лаву отвечаю я, – медленно выговорил Дубинцев. – Мы уже восемь лент взяли – риск большой!

– Риск? А ты что думаешь, в шахте можно без риска? – удивился Очередыко и, явно рассчитывая уязвить молодого начальника участка, добавил: – У тебя что, сердце слабоватое?

Дубинцев сдержался, ответил очень спокойно:

– Я не трус, но есть определенные технологические нормы.

Очередыко почему-то обрадовался.

– Нормы? Но это же не мертвое дело? Нормы людьми создаются! Ты техник и должен знать, что горное дело наполовину наука, наполовину искусство. И потом не тебе меня учить технологии. Я шестнадцать лет в шахте – состояние лавы могу определить без твоей помощи!

Дубинцев упрямо наклонил голову.

– В верхней лаве работать нельзя.

– А я приказываю!

– Все равно нельзя. Я отвечаю за участок.

– А я... я сниму тебя! – Очередыко даже пригнулся, выставив подбородок. – Ты трус! Слышишь?

– А я...

Рогов положил руку на плечо Дубинцева.

– Не волнуйся,

Очередыко приподнял аккумулятор.

– Кто это?

– Я считаю, что начальник участка прав, – сказал Рогов, следя за мгновенными переменами в лице Очередыко.

На этом лице отразилось вначале замешательство, потом глухое раздражение и, наконец, удовлетворение, которое можно было понять так: «Эге, явился! Ну, что теперь скажешь? Районом-то командует Очередыко!» Сказал же он очень спокойно, пощупав пуговицу на воротнике:

– В общем, посторонним нельзя ходить по району.

Рогова рассмешило это фанфаронство, но Очередыко вдруг озлился.

– Я запрещаю вам, инженер Рогов, ходить по району и расстраивать мне... организацию. Довольно вы мне мешали. Теперь настал мой час!

Можно было не отвечать на это. Рогов поинтересовался, где работают черепановцы. Лицо Дубинцева посветлело.

– У меня душа с этими парнями отдыхает, – признался он. – Отвоевал им сегодня старую лаву. Обещали полтора цикла дать. И дадут! Может, к ним пройдете, Павел Гордеевич?

Рогов поднялся в лаву.

Черепанов сразу пожаловался Рогову на Хмельченко, которого он вызвал на соревнование.

— Он у меня прямо инициативу из рук выхватывает — до всего ему дело. Сегодня пришел — вижу, недоволен. Покрутил головой и целую лекцию закатил. «Косолапые, — говорит, — вы стригунки! Я вас как учил скважины бурить? Чтобы после отпалки уголек аккуратно ложился у забоя, а не выстреливал черт-те куда!» А потом насчет крепления, а потом за инструмент опять ругал. Наказал всей бригаде после смены прийти к нему на квартиру — сам покажет, как топоры и пилы заправлять.

Черепанов рассказал все это немного недовольным тоном, но Рогову сразу стало ясно, что парень совершенно спокоен и за бригаду, и за работу. Люди нашли свое место. Черепанов же не мог остановиться и все обличал Хмельченко:

— Вчера явился к нам в общежитие. Сидел, сидел. Мы собрались в клуб сходить, а он говорит: «Ладно, успеете». Вытащил из кармана книжку про одного летчика, как он был в тылу у немцев, и подает мне. «Хотел, — говорит, — про шахтеров принести, да не нашел. Читай это». А ребятам наказал: «Не дышите!» Ну, я читал часа два, а хлопцы, и верно, не дышали. Потом поругались.

— С кем? — удивился Рогов.

— Да с ним же, с Хмельченко. Прочитали половину, а он встал и требует книжку обратно. Мы просим ее на ночь, а он уперся: «При мне, — говорит, — будете читать, так вернее».

Черепанов вдруг обернулся и крикнул по направлению к верхним уступам:

— Юрка, вы скоро там?

— Кончаем, — отозвался Юрка. — Сейчас палить будем!

Рогова порадовал порядок в лаве: ни суетни, ни криков, лес запасен, полочки из горбылей настланы, печь порожняя — все подготовлено к приему угля.

Черепанов, очевидно, все время ждал, что скажет обо всем этом инженер, но Рогов смолчал и только, прощаясь, крепче обычного пожал руку бригадиру.

Около диспетчерской Рогов опять встретился с Дубинцевым.

— Все хорошо идет, Павел Гордеевич, — сообщил он торопливо. — Беспокоит меня только тридцать первая, где Деренков. Пришлось подчиниться Очередько — может, сойдет?

Рогов не успел ответить, потому что из диспетчерской его окликнул дежурный. Оказывается, парторг уже несколько раз звонил в шахту, разыскивая инженера.

— Ну вот, нашлась бабушкина потеря, — засмеялся в телефон Бондарчук и неожиданно сухим тоном добавил: — Явись немедленно!

Через четверть часа Рогов уже входил в кабинет парторга. Там сидели Дробот и Филенков. Бондарчук подал ладонь корытцем и насмешливо, как показалось Рогову, спросил:

— Чем занимаешься?

— На экскурсии в шахте был, — невесело отшутился Рогов и, заметив, как Дробот нахмурился, а Филенков неловко повернулся на стуле, с досадой подумал: «Нажаловались, что не подчиняюсь приказу».

— Читай! — Бондарчук пододвинул четвертушку папиросной бумаги.

Текст был бледный, а руки у Рогова дрожали. Пришлось положить листочек на стол.

«...По комбинату «Кузбассуголь»... «Об отстранении от должности начальника шахты «Капитальная» П. М. Дробота». «Впредь до расследования фактов приписки и других причин, по которым в штабелях не хватило 15491 тонны угля, отстранить...»

А в последнем параграфе:

«Временно исполняющим обязанности начальника шахты назначить...»

Рогов невольно пожал плечами и бессознательно отметил множество мелких морщин на лице Дробота.

— Почему именно меня?

— Не знаю, не знаю! — нетерпеливо перебил Бондарчук. — Здесь не совещание по поводу приказа, давай принимайся за дело. Доложи тресту и комбинату, а завтра сделаешь сообщение на бюро горкома об организационно-технических мероприятиях на четвертый квартал. К зиме шахту нужно готовить. Действуй, товарищ временный начальник!

Рогов заметил веселые искорки в глазах Бондарчука и сам с трудом сдержал улыбку, которая сейчас была бы совсем некстати.

— Ну... — парторг, очевидно, хотел пожать руку, но вместо этого на лету подхватил трубку зазвеневшего телефона. Несколько секунд

он слушал, а на его скулах медленно вспухали желваки, и смуглая кожа над бровями бледнела. – Кто на районе? Где Очеретько? Давно? – выпалил он и, бросив трубку, крикнул: – Дубинцева завалило в лаве... Слышите? – Глаза его остановились на Рогове. – Действуй! Я следом за тобой.

Дробот и Филенков одновременно вскочили. Рогов выбежал, крикнув им с лестницы:

– Будьте у телефонов!

Потом он никак не мог припомнить, у кого выхватил на ходу аккумулятор. Вскочил в клеть, крикнул рукоятчице:

– Аварийный!

Бьет частый сигнал, потом наступает тревожная тишина, клеть чуть вздрагивает и падает в холодную глубь ствола. В последнюю секунду Рогов заметил, что рядом с рукоятчицей стоит Аннушка с совершенно окаменевшим лицом. Руки ее торопливо рвали у горла узел косынки.

– Коля! Коля же! – вдруг закричала она страшно и запрокинула голову...

...Пока порожний электровоз с недозволенной скоростью мчался на аварийный участок, Рогов пытался восстановить в памяти схему нарушенной выработки и почему-то не мог этого сделать. Мысли прыгали от разговора с Бондарчуком к спору Дубинцева с Очеретько.

И все время перед его глазами стоял Николай, как он его запомнил во время последней встречи. Упрямо наклонив голову, сдерживая гневную дрожь бровей, он говорит: «В верхней лаве работать нельзя!» – и поднимает глаза на Очеретько.

Рогов сжал кулаки – разве не дико, что этот безграмотный, самовлюбленный болтун по прихоти Дробота был назначен районным инженером!

Он представил себе, как в эту минуту сотни горняков, разделенные мощными толщами пород и угля, продолжают работу – долбят, бурят, грузят, бегут от взрывов в укрытия, толкают вагончики, прокладывают новые откаточные пути, но во всем этом неустанном движении все они, даже в самых отдаленных и глухих выработках, думают только о том, что делается в тридцать первой лаве: как тот молодой парень, фамилию которого даже не все знают, – живой ли он?

На крутых поворотах казалось, что электровоз вот-вот ударится о стойки, стремительно летящие навстречу. Но Рогов почти не замечал этого, поминутно торопил машиниста:

– Нажимай, нажимай!

Сквозь лязганье железа взывали моторы. Еще один поворот. Налево конно-откаточный штрек седьмого участка. Рогов взмахнул лампочкой.

– Стой!

Пиликнули тормоза, на уши тяжело спустилась глухая тишина.

Сразу же наткнулся на большую группу рабочих, окруживших Деренкова.

Приподняв лампочку так, чтобы видеть лицо забойщика, спросил, как все случилось.

– А вы что тут следствие наводите? – закричал Деренков. – Вот еще... прокурор нашелся!

– Молчать! – тихо остановил его Рогов и спросил у окружающих, где Очеретько.

– Я здесь, – необычайно смиренно отозвался тот из-за чьей-то спины. – Я побегу сейчас... к начальнику шахты... лично доложу...

– Лично вы нужны здесь, – сказал Рогов и внимательно оглядел собравшихся.

Полтора десятка шахтеров настороженно молчали. Сверху, со стороны аварийной лавы, доносились частые сдвоенные удары.

– Кто там? – удивился Рогов.

– Воцин с сыном, – ответил Черепанов.

– А, бесполезно все это... – махнул рукой Деренков, – такая махина рухнула – в месяц не откапашь.

– Как все это случилось? – оборвал его Рогов.

– Как?... – забойщик замаялся на секунду. – Я ему, то есть начальнику, говорю: «Не ходите!», а он мне; «Какое твое десятое дело? Кто есть ты и кто есть я?» Ну и пошел, ну и давануло, значит, как ножом...

– А где он был в это время: в просеке или еще в лаве?

– А я откуда знаю? – снова распалился Деренков. – Она как сыпанет, я и глазом не успел моргнуть, меня оттуда одним духом шибануло!

Рогов решил, что во время обвала Деренкова не было в самой лаве. Дубинцев, может быть, успел подняться к промежуточной просеке, значит нужно немедленно пробиваться к этой про-

секе со стороны лесоспускного ходка, что впереди лавы, и одновременно идти снизу, заново разрезая целик и разбирая завал. Но как много все это отнимет времени! Выдержит ли Дубинцев, есть ли к нему доступ воздуха, можно ли с ним установить хоть какую-нибудь связь?

«Все можно, — решительно тряхнул головой Рогов. — Все можно, если там человек!»

Приказав следовать за собой Черепанову и Очередько, он поспешно поднялся в ходовую печь.

ГЛАВА XVII

...Бились вторые сутки. Черепанов впервые разозлился на Рогова, когда тот предложил его бригаде уступить место тем, кто не устал, кто быстрее поведет дело.

— Не тревожьте нас! — огрызнулся бригадир. — Не имеете права!

Завал разбирали от груди забоя и поднялись уже метров на десять. Работали по двое, остальные отдыхали тут же в просеке. Четверо лесогонов непрерывно подавали крепезник — стойки приходилось ставить так часто, чтобы только можно было между ними проползти: нарушенная кровля совсем не держалась.

Лица у комсомольцев осунулись, глаза поблескивали настороженно, голоса охрипли; прямо к забою им приносили пищу, меняли аккумуляторы, инструмент. Усталость сказывалась только в том, что стали чаще меняться, беспокойнее дремали, отрывистее, лаконичнее разговаривали. Попробовал в лаву сунуться Деренков, но сидевший внизу, в просеке, Саенко решительно заявил:

— Т-тут нужны ч-чистые р-руки! П-проваливай, т-тип!

Однажды, когда Лукин и Черепанов уже собрались меняться местами, кто-то негромко охнул:

— Аннушка!

Черепанов не повернулся, только задышал чаще. Аннушка присела в сторонке, настороженно приподняв лицо. Бригадир почувствовал, как у него моментально пересохло во рту. Девушка пришла удивительно не вовремя: только что, убрав небольшую плиту песчаника, обнаружил

в образовавшемся углублении полу брезентовой тужурки. Попробовал слегка потянуть — не подавалась, в пальцах осталась раздавленная костяная пуговица,

В голове у Черепанова зашумело, руки ослабли. Негромко кашлянув, чтобы привлечь внимание Лукина, он показал глазами на пуговицу в ладони и на Аннушку. Санька понял.

— Ты бы шла, Аннушка, в просеку, — осторожно попросил он, — крепить придется, тесновато будет.

Она кивнула и, спустившись метра на три вниз, притаилась, не замеченная забойщиками, за группой стоек.

— Давай! — заторопился Черепанов.

Обламывая ногти, почти задыхаясь от усталости, они стали выдирать, разбрасывать куски породы, не в силах отвести глаз от клочка брезента. Очень осторожно отвалили большую синеватую глыбу — под ней обнаружился рукав, а минут через десять вытащили всю тужурку.

— Это не его, — сказала у них за плечами Аннушка.

Черепанов с Луниным оглянулись и вздохнули.

Брезентовая тужурка, брошенная в лаве Деренковым, словно навела на правильный след, удвоила силы.

На смену Черепанову и Лунину к завалу поднялся Сибирцев с незнакомым парнем в новой шахтерской спецовке. Бригадир нахмурился. Но новичок спокойно отрекомендовался:

— Данилов моя фамилия.

Черепанов не нашелся, что сказать, и только обменялся со Степаном крепким рукопожатием. Так незаметно на крутом повороте Степан Данилов вошел в жизнь бригады. Когда через несколько часов Бондарчук осведомился: «Как новичок?», Митенька деловито кивнул в глубь просеки:

— Степан Георгиевич отдыхает.

— А сам ты куда наладился?

— Ни дела, ни работы! — отмахнулся забойщик. — Послал Черепанов инструмент заправлять. Можно было постороннего послать... Я же у дела, в забое, — обеспокоенно, но солидным тоном добавил Митенька и заспешил на-гора.

Утро, легкий морозец, розоватые тени на небосклоне – от всего этого даже голова закружилась. Как хорошо на земле! Так бы и постоял, подышал, но надо в кузницу.

– Подождешь часок, не велика птица! – отвернулся кузнец. – Я за смену-то намаялся...

– Инструмент из тридцать первой лавы, – тихо сообщил забойщик.

– Откуда? – кузнец шагнул к Митеньке, потом суетливо смахнул окалину с наковальни. – Из тридцать первой? Так что ж ты крадешься ко мне? Мигом давай!

Ожидая инструмент, Митенька снова вышел на улицу. Хорошо! Чистый воздух, простор, голоса... «А вот Николай Викторович... Что-то с ним? Или он уже?... – Митя потряс головой. – Не может быть этого!»

В первый же день спасательных работ во время часового отдыха Митенька кинулся к старому шурфу, которым когда-то воспользовался, чтобы незаметно ускользнуть из лавы. Его постигло горькое разочарование. Осенние дожди сделали свое дело – шурф окончательно обвалился. Там, где был узенький лаз, нагромодило не меньше десяти метров пустой породы, да еще сверху привалило огромным глиняным оползнем.

Сейчас Митенька снова глядит на рыжую гору, на линию старых шурфов, и новая гневная волна нетерпения захлестывает его. «Как же так, человек задыхается где-то совсем рядом и невозможно ничего сделать?» Но ведь делают же! От переднего действующего шурфа пробивается горноспасательная команда, снизу бригада. Старый шурф и без Митеньки несколько раз обследовали.

«А если все же еще раз посмотреть? Даже никто и знать об этом не будет!» Заглянув в кузницу и схватив одно уже заправленное кайло, Митенька опрометью кинулся на гору. Пока добежал – дух захватило. Заглянул в глубокую воронку и невольно опустил руки. Нет, тут ничего не сделаешь! Оглянулся вокруг. В нескольких десятках метров поднимался бурый холм еще более старого шурфа, который, наверное, совсем погребен осыпью. Нехотя подошел к нему, нагнулся, потом еще ниже нагнулся, наконец лег грудью на самый край. Внизу, несомненно, что-

то чернеет. «Неужели ходок? А если даже ходок, то ведь передний шурф все равно преградил доступ в обрушенную лаву. Да едва ли и верхняя просека сохранилась – угольный целик не оставляли... – Митенька зло сплюнул: – Лежит человек и гадает: чет или нечет? А тут нужно действовать, пытаться!»

Стал поспешно спускаться почти по отвесным стенкам шурфа. В одном месте зазевался. Не успел перехватиться руками, ноги сорвались, синий квадратик неба наверху повернулся, и... хорошо, что упал на мягкое, но в голове все же загудело, сердце застучало. Отдышался, сказал с досадой:

– Черт! Вот это грохнул!..

Из темного бокового провала несло затхлой сыростью. Митенька принялся, потом быстро стал на четвереньки и, даже не подумав о том, сможет ли выбраться обратно, нырнул в черную дыру.

ГЛАВА XVIII

Накануне Аннушка с Николаем целый день провели в хозяйственных хлопотах и даже немного поспорили.

Жить решили на квартире Дубинцева, в небольшой продолговатой комнатке, сообщавшейся темным коридорчиком с кухней, которой пользовалась также семья начальника подземного транспорта Стародубцева.

Все необходимые покупки уже произвели. Мебели было хотя и немного, но жаловаться на первое время не приходилось. Каждую вещь Аннушка собственными руками по несколько раз передвигала по комнате, пока все не оказалось размещено самым наилучшим образом.

Аннушка забегала после работы и занималась «своим хозяйством» часа два-три, после чего уходила «до завтра». Как-то, словно нечаянно, к ним заглянула Клавдия Степановна, жена Стародубцева, женщина с большим животом и худеньким плоским личиком, на котором был очень заметен сухой длинный нос. Клавдия Степановна вприщурочку, но очень доброжелательно оглядела квартирку, потрогала пальцем новый пружинный матрац и что-то шеп-

нула Аннушке, от чего та до слез покраснела. Потом Клавдия Степановна тяжело вздохнула и сказала:

– Боже мой, мы с Семеном Константиновичем тоже вот так начинали, ничегошеньки не было. Только нам ведь легче пришлось! Как ни говорите, а Семен Константинович все же не техник, а инженер, – Клавдия Степановна повела подмалеванной бровью в сторону Николая и еще раз, неизвестно почему, вздохнув, вышла.

Аннушка помолчала, а потом вздернула плечиком.

– Ну и что ж? Вот новость, что же, что техник! Инженером-то всегда можно быть. Ты умница, ты самый хороший!

А поспорили накануне по двум причинам: во-первых, под новенькой белоснежной кроватью Аннушка вдруг обнаружила грязные рабочие сапоги.

– Что это такое? – спросила она страшным шепотом. – Что это такое, Николай Викторович?

Николай Викторович хотел все обратить в шутку, но, встретившись взглядом с Аннушкой, смешался, покраснел, бормотнул что-то по адресу сапог и поспешно перетащил их в коридор, потом в кухню и, наконец, преследуемый все теми же строгими глазами, бросил заскорузлые сапоги в кладовку. Вернувшись, он нахмурился и попробовал заговорить басом.

– Не понимаю тебя, – сказал он, – что ты поднимаешь панику из-за пустяков?

– Ко-оля! – Аннушка выпрямилась, надменно приподняв носик, как это она одна, по мнению Дубинцева, могла делать. – Ко-оля! – повторила она и еще больше выпрямилась, но тут же потянулась к нему, обняла, тихонько засмеялась и предложила заняться списком приглашенных на свадебный вечер.

Тут они снова чуть не поспорили. По самым скромным подсчетам гостей должно было собраться что-то около сорока человек, если не считать случайных, «набеглых», без которых тоже не обойдешься. Прикидывали и так и этак, а все выходило, что даже при мобилизации всей мебели у соседей за столами разместится не больше двадцати пяти человек.

– А остальные? – требовательно нахмурилась Аннушка.

– Подождут! – решительно объявил Дубинцев. – Что, в самом деле, не ресторан же у нас.

– Нет, это не годится! Ты должен что-нибудь придумать.

– Чудная, ну что ж я могу?

– Нет, ты можешь. И я не чудная. А ты можешь, но не хочешь.

Заметив, что нижняя губа у нее стала подрагивать, Дубинцев поспешно сдался, сказав, что придумает что-нибудь, хотя бы пришлось для этого столы ставить в два этажа.

Аннушка благодарно улыбнулась, при этом ее милое личико с крошечной родинкой у левого виска озарилось совершенно безмятежным счастьем. Заторопившись, она ушла, но тотчас же, как школьница, постучала из коридора и, чуть приоткрыв дверь, так, что был виден только один ее лукавый глаз, шепнула:

– Ты у меня гений!

В четыре часа он должен был закончить все дела на шахте, а к восьми ожидался гости. К двум часам он почти успокоился за участь тридцать первой лавы, где работал Деренков, и даже похвастался этим перед Роговым, но тут в полевом штреке его догнал десятник и, заикаясь, сообщил, что лава «чего-то постанывает».

– А Деренков? – круто повернулся Дубинцев.

– Да он уже в штреке! – отмахнулся десятник. – «Не пойду, говорит, в эту пропасть, мне своя жизнь дороже. Забой, говорит, как живой ворочается».

– Как вам не стыдно! – возмутился Дубинцев. – Как вы могли оставить лаву в таком состоянии, вы же у меня упустите ее!..

Дубинцев совсем недавно командовал участком и, сам не замечая того, очень часто употреблял такие выражения, как «мой участок», «моя лава», «мои бригады», подчеркивая этим свою ответственность за общий успех.

Деренков действительно оказался в штреке. Он спокойно разговаривал с девушкой-откатчицей, картинно опершись локтем о борт вагончика. Дубинцев даже вспотел от мгновенного гнева при виде этой «телячьей», как он сказал забойщику, беспечности.

– А что ж, плечами я буду держать вашу лаву? – удивился Деренков. – Если уж она, матушка, тронулась, ее никакими помочами не удержишь!

– Свинство! – крикнул Дубинцев, проворно поднимаясь в ходовую печь. – Свинство, которого я не потерплю!

Но последние слова уже никто не услышал, потому что ни Деренков, ни десятник в лаву не пошли. Поэтому-то из них никто не видел, как развернулись дальнейшие события.

А развернулись они так.

Внимательно оглядывая выработку, Дубинцев постепенно поднялся к верхним уступам, которые, как он и предполагал, оказались некрепленными. Это еще больше распалило его. «Ах, какое же свинство! Какая преступная беспечность! Скажи на милость! – повторял про себя Дубинцев. – Ну, подождите, мы разберем вечером вашу работу! Ведь наказывал же дураку, чтобы крепь ставил сразу же после разборки угля. Нет, за рекордом погнался, за длинным рублем!»

Именно в верхних некрепленых уступах кровля заметно оседала, несколько стоек лопнуло, расщепилось. Но общая картина как будто была не так-то уж плоха, положение, пожалуй, можно было еще исправить, если немедленно же подхватить больные места «кострами» – группами из нескольких стоек.

Дубинцев хотел крикнуть людям, но, вспомнив, что лес должен быть в верхней заброшенной лаве, полез через узкую арочку вправо. Он действительно обнаружил десятка два стоек, полузасыпанных породой и угольной крошкой. Облегченно распрямил онемевшую спину. Именно в это мгновение на него тяжелодохнуло. На какую-то секунду воздух стал непроницаемо плотным. Дубинцев не удержался на ногах и упал, ударившись подбородком о лесину, ободрав колени и ладони о колючую породную крошку. В уши, глаза и рот набилась мельчайшая угольная пыль. Шахту сотрясал страшный грохот.

– Попал! – охнул Дубинцев и стал отплеиваться, моментально забыв об ушибе.

В следующую секунду он непроизвольно кинулся к входной арке, но оттуда острым пальцем предостерегающе торчала расщепленная стойка и темно-бурые комья аргелита.

– Попал! – охнул Дубинцев снова и, еще плохо соображая, на четвереньках быстро пополз в противоположный конец брошенной выработки.

Наткнувшись через три-четыре метра на завал, он сел и растерянно покривил губы: «Как слепой кутенок тычусь...»

Где-то недалеко опять глухо и тяжело зарокотало, звук накатывался откуда-то снизу и воспринимался не слухом, а всем телом. Решив, что это разрушается нижняя часть лавы, Дубинцев бессильно опустил на покатую почву, почувствовав себя вконец опустошенным.

«И сам пропал, и лава пропала! Хоть головой бейся о глухую стену, хоть зубами ее грызи – ничем не поможешь! А кто виноват?» Только он, прежде всего он! Разве на его месте какой другой начальник участка уступил бы этому Очередь-ко? Разве человек со здравым смыслом допустил бы такое хулиганское нарушение элементарных правил эксплуатации? А ведь он имел за собой поддержку со стороны Рогова, который прямо заявил, что он, Дубинцев, прав!

– Прав! – Дубинцев презрительно фыркнул. – Высказать правильную мысль, занять правильную позицию – это даже меньше, чем полдела, а основное – это отстоять правду. А вот попробуй теперь отстоять!

Николай опускает голову к самым камням и мучительно старается представить себе выход из страшного положения. Что же делать?

Идут минуты, кажется – часы. Не один и не два раза прополз он вдоль глухих стенок завала и снова возвращался на старое место. Не было выхода. Обессилен.

И вдруг в тихом, давящем сумраке перед ним встало милое маленькое лицо Аннушки, согретое неизъяснимым счастьем.

«Ты у меня умница, гений!»

– Гений! – попробовал он снова съязвить, но волна острой жалости захлестнула его сердце, жалости к себе, к Аннушке, чье счастье оборвалось на самом взлете, к товарищам, которые теперь грудью бросаются на завал, которым теперь труднее, чем ему, потому что они не знают, где он, жив ли он. Они его будут искать в самой лаве, но для этого надо перебраться тысячи тонн породы, пройти сотни метров бесполезных нарезов.

«Как-то они приняли весть об аварии, о гибели одного из членов своей большой семьи?»

И сколько прошло времени, как лава рухнула? Деренков, конечно, уже сообщил о случившемся в диспетчерскую...»

Дубинцев откидывается на спину. Он пытается представить себе Аннушку – и не может.

В причудливых сочетаниях перед ним мелькают события его жизни. На далеком Карельском перешейке только что закончилась война с белофиннами. Вдвоем с однокашником Гошкой Дубинцев решает весной ехать на север. Это чепуха, что им только по четырнадцать: если уж начинать большую жизнь, то как можно раньше. Кто знает, какими открытиями порадуют они родину? (Как хохотала Аннушка, когда он ей рассказывал об этой своей попытке прославиться). Из экспедиции на север ничего не получилось, потому что денег хватило только до первой узловой станции.

Зимой 1942 года он недели три ходил в военкомат, но, несмотря на многочисленные заявления и устные просьбы, на фронт его не отправили. Вместо этого он попал в Кузбасс, в школу ФЗО, а потом оказался студентом горного техникума в Прокопьевске. «Держай!» – сказал ему отец, агроном райзо.

С этого и началась сознательная жизнь: он почувствовал себя вдруг нужным человеком среди шахтеров.

Вот он первый раз на шахте. Сперва дали ему обушок. Уголь долбили вручную.

– Трудно, зато полезно, уголек-то на зубок испробуешь, – сказал десятник.

Через полчаса он отмахал руки и, пристроившись спиной к шершавой стенке уступа, задремал. Проснулся от толчка в плечо. Рядом сидел пожилой шахтер. Потом Дубинцев всегда краснел, вспоминая об этой минуте.

– Ты кто? – спросил у него шахтер, а потом зло пожевал губами и стал неистово ругаться. – Ты кто, студент? Нужный в государстве человек! Какие же твои права, передо мной, стариком? Я тридцать лет уголь долбаю, а ты на первой полсмене зачах. Как же ты придешь через год в лаву и будешь меня учить? А ну, будь любезен, зайди сегодня ко мне на квартиру, потолкуем.

Дубинцев две смены проработал в шахте, пока не выполнил норму, а вернувшись в общежитие,

на правах старшего по комнате, стал распекать двух однокашников-практикантов, не ходивших на смену, потому что у них «чего-то животы разболелись». Потом почистился, приделался и тронулся к дяде Егору, как звали сердитого шахтера.

В низких сенях его встретила тоненькая девушка,

– Аннушка, – протянула она руку.

– Познакомились? – спросил дядя Егор, выйдя из комнаты, и насмешливо распушил усы. – Эх вы, техники!

На следующий год Николай стал учиться вместе с Аннушкой. Она была единственной девушкой в группе, к ней все относились хорошо за ее веселый, прямой характер.

Всегда подвижная, как капелька ртути, гибкая, звонкоголосая!

Когда они полюбили друг друга? Наверное, с первых же дней, как встретились. По крайней мере, так было у него, Дубинцева. А когда он об этом ей сказал? Совсем недавно. Но тяжело ли было молчать? Нет, он не замечал этого, потому что был счастлив.

Дубинцев вдруг спохватился: лампа не выключена... Надо сохранить заряд в аккумуляторе как можно дольше.

Вместе с абсолютной темнотой, плотно подступившей к глазам, как будто окончательно остановилось время. На зубах все еще похрустывал угольный порошок. Мучительно хотелось пить. Он гнал от себя это желание, часто повторяя: «Блажь!» Но блажь не проходила. Несколько раз чудилось ему журчание ручья, удары капель. Будучи не в силах удержаться, он включал аккумулятор и полз на коленях по лаве, чтобы еще и еще убедиться в отсутствии хотя бы намека на влагу.

Почему-то казалось, что мрак с каждым часом делается непроницаемее, а тишина все сильнее давит на плечи, на сердце. Но сколько же часов, минут, суток прошло с момента аварии?

Он решил было простым счетом определять минуты: «двадцать один... двадцать два...», но сейчас же махнул рукой: для чего? Кому нужно это время? Не все ли равно: час, сутки или год сидит он в этой дыре? Хочется пить, есть, очень замерз, так это же все пройдет.

А потом Дубинцев, наверное, уснул, потому что долго ничего не слышал, не чувствовал, не двигался. В брошенной полузавалившейся лаве по-прежнему было тихо и глухо. Иногда сверху катились кусочки породы или коротко и сухо щелкала стойка.

ГЛАВА XIX

Некоторое время постояли на повороте в квершлаг, Бондарчук вздохнул, покачал лампой и, почесав переносицу, сказал:

– Ладно... Ты... иди к себе, работай, а я побуду здесь. Надо будет – позвоню.

– Хорошо, я пойду, – согласился Рогов и вдруг спросил: – Как думаешь, живой?

– Искать надо, – неопределенно отозвался Бондарчук.

Вернувшись в кабинет, Рогов постоял у стола. Он боялся, что сразу же уснет, если сядет в кресло. В голове шумело от двух бессонных ночей.

Вошла Полина Ивановна – секретарь-машинистка. Рогов почему-то безотчетно побаивался строгих, грустных глаз этой пожилой тихой женщины. Ему казалось, что за неисходной печалью в глазах Полины Ивановны таится трудный вопрос, ответить на который никто не может. Было известно, что у нее на фронте погибли муж-инженер и сын, окончивший перед войной Иркутский университет.

Полина Ивановна просто не понимала, почему у нее вызывает такое тревожное и вместе с тем теплое материнское чувство угловатый, не умеющий опускать глаза Рогов. Может быть, потому, что она нечаянно посмотрела, как он, появившись вчера в кабинете уже в качестве начальника шахты, долго стоял у окна, словно стараясь вспомнить что-то давно забытое. Она еще подумала: «Как трудно, должно быть, придется ему на первых порах. А тут еще случай с Дубинцевым... Вот и плечи у Рогова то поднимаются, то опускаются, точно давит на них непривычный груз».

– Из треста звонили? – спросил Рогов, сдерживая зевоту, отчего уголки его губ горько опустились.

– Звонили, просили в шесть часов быть на совещании, – ответила Полина Ивановна и,

чуть помедлив, добавила: – Заходил Дробот, но ничего не сказал. Районные инженеры Охрименко и Нефедов просили назначить время для приема – у них какие-то неотложные дела.

Рогов составил список, распорядившись вызывать людей по очереди. А когда Полина Ивановна вышла, он сказал себе: «Наверное, я усну сейчас», но не уснул, потому что пришел старший табельщик и доложил, что с выходами рабочих подземной группы неблагополучно. Набросали проект приказа о жетонной системе. Потом появился Локтев, начальник поверхности, и пожаловался на острую нехватку рабочих.

– Роскошно живете! – резко перебил его Рогов. – Я как раз хотел с вами поговорить об этом.

Потерев красные утомленные глаза, он отыскал в блокноте нужную запись.

– Завтра к вечеру из тысячи трехсот двадцати семи человек, имеющих у вас, двести тридцать передадите подземным участкам, в том числе весь квалифицированный горный надзор и всех забойщиков.

Начальник поверхности, немного одутловатый, но еще молодой человек, улыбнулся.

– Павел Гордеевич, вы меня не поняли... Мне нужно не сокращать, а увеличивать штат минимум на сто пятьдесят человек!

Приподняв телефонную трубку, Рогов осторожно опустил ее обратно на рычаг.

– Я вас понял. Хочу, чтобы вы тоже меня поняли: завтра к вечеру двести тридцать человек должны быть переданы на эксплуатацию.

Лицо Локтева заметно вытянулось, он подобрал ноги под стул.

– Вынужден заявить, что снимаю с себя всякую ответственность.

– Хорошо, – согласился Рогов. – Сегодня к восьми часам доложите о сдаче дел десятнику по погрузке, Екатерине Сербиной. А теперь идите!

Локтев на носках прошел до дверей. Надел кожаную фуражку и только тогда, повернувшись, сказал примирительно:

– Человек полтора я завтра к вечеру подброшу участкам... Павел Гордеевич!

Коротким взмахом руки Рогов подозвал его и, когда он с растерянной улыбкой снова сел, спросил:

– Испугался?

– Даже спина похолодела! – признался Локтев.

– Вот это хорошо! – Рогов засмеялся. – А теперь давай разберемся, что к чему, и впредь, пожалуйста, без фокусов.

Через полчаса позвонил Бондарчук. Он считал необходимым поставить еще одну бригаду на разборку завала.

– Как бы это поскорее сообразить? – добавил он. – И потом вот еще что: черепановцы решительно отказались оставить забой и уступить свое место.

По мнению Бондарчука, комсомольцев не следовало обижать, пусть работают, нужно только прислать им что-нибудь из столовой.

– Сорок восемь часов, – сказал Рогов. – Медленно двигаемся. Уморим парня... – немного помолчав, он опять, как недавно в штреке, спросил: – Ты как думаешь, живой?

Бондарчук подул в трубку.

– Вот насчет этого я тебя хочу спросить.

– Ладно, – прервал его Рогов. – Я подошлю бригаду с третьего района.

В кабинет вошел Филенков. Рогов ждал его, ждал этой минуты, чтобы заглянуть в глаза человеку, спросить у него о самом главном: «Как же дальше, Федор Лукич?» Без этого их совместная работа немислима.

Но Филенков вошел как-то странно: долго закрывал дверь, потом носком сапога отогнул уголок ковровой дорожки, и все это очень сосредоточенно, почти насупившись и совсем не глядя на Рогова.

Зато он очень быстро подошел к столу, раскрыл папку и выложил перед начальником бумаги, потом оперся растопыренными пальцами о край стола и словно бы исчез. На лице у него было такое выражение, как будто он хотел сказать: «Меня здесь нет. Перед вами бумаги, требующие подписи».

Рогов видел, что Филенков, приучившись почти на все глядеть глазами Дробота, вдруг потерялся. И Рогов понял главного инженера. Подписывая бумаги, подумал невесело: «Ты хочешь показать, что если здесь нет Дробота, то нет и Рогова, а восседает просто некое отвлеченное единоначалие, подписывающее бумаги. И тебе оно безразлично. Ты трусоват и наивен, главный

инженер!» Посадив кляксу на последней бумажке, Рогов поднял глаза на Филенкова.

– Федор Лукич, у меня к вам дело...

– Я слушаю. – Филенков убрал руки со стола.

– Здесь вот график различных совещаний – громоздкий. Не запланированы только совещания с уборщицами. Нельзя ли все это сократить минимум наполовину?

– Павел Гордеевич! – Филенков как-то весь подобрался и долго подыскивал слова, даже губами шевелил. – Павел Гордеевич, но это же утверждено горкомом и трестом.

Он проговорил «утверждено» почти шепотом. Рогов быстро спросил:

– А вы сможете собственное мнение составить по этому поводу? Только незамедлительно! Можете? Вот и отлично!

В лице главного инженера как будто что-то прояснилось, даже веселые огоньки сверкнули под седеющими бровями. Почти свободно опустившись в кресло, он сказал:

– Знаете что, Павел Гордеевич, завидую вам, ей-богу!

Рогов насупился.

– Вот это мне не нравится! Решительно...

Главный инженер замахал руками.

– Не подумайте чего-нибудь... Я ведь от чистого сердца. Мне жалко Дробота, неплохой он мужик был когда-то... Но с вами мне, честное слово, легче дышится. Вы вот вчера говорили: «В шахту никаких комиссий без моего разрешения не пускать!» – это у вас, по-моему, от Дробота, а когда вы добавили: «Трест считает состояние выработок на «Капитальной» удовлетворительным? Плюньте на это, – ничего нет хуже самообмана!» – это у вас свое, настоящее. Вот такое настоящее мне и нравится. А вообще...

Рогов перебил:

– А вообще, Федор Лукич, вам очень дорого то, что вы делаете? Работа... завтрашний день... Я имею в виду...

– Завтрашний день? Видите. .. Приходишь с утра, а к вечеру так закрутишься...

– Что забываешь про завтрашний день?

– Ей-богу, часто забываешь!

– Тогда, может быть, отдых устроить? Отпуск, курорт...

Филенков почти испуганно глянул на Рогова.

– Что вы, Павел Гордеевич! Только этим не обижайте. Вы увидите, что я могу работать... Увидите.

Лицо его сразу как-то осунулось, огоньки в глазах погасли, а когда уходил, руки у него тяжело повисли.

И вдруг Рогову вспомнились слова Афанасия Вощина:

«Вы что думаете, Павел Гордеевич, у него ведь есть в груди жар-уголек, только пеплом подернулся. На ветерок бы его – непременно вспыхнет».

Рогов хотел уже вернуть Филенкова, но тут в кабинет по-медвежьи ввалился Нефедов.

– Вы что, Павел Гордеевич, шутите? – закричал он еще от порога. – У меня лучшую бригаду забирают! Да я...

– Парня ведь надо выручать? – хмуро возразил Рогов.

И Нефедов сразу же успокоился.

– Это я так, для порядка... Бригада уже ушла... Но... – Нефедов снова повысил тон. – Скажите мне, Павел Гордеевич, по совести, почему отдел главного механика косо смотрит на мой район? Сегодня опять зажилили у меня сто двадцать метров транспортной ленты, а разнарядка еще в прошлом месяце подписана.

– Я скажу, чтобы выдали, – согласился Рогов. – Но... при одном условии: механический перегружатель на втором участке завтра же будет введен в дело. Согласны?

– Завтра? – Нефедов вдруг улыбнулся, отчего лицо его приобрело то обычное, мягкое и немного простоватое выражение, которое было ему более свойственно, нежели напускная суровая непримиримость.

Слегка облокотившись на стол, он с явным сочувствием спросил: – Ну, как, Павел Гордеевич, трудновато на новом поприще?

– Поприще-то одно...

– Да, но обязанности...

Рогов и сам точно не знал, трудно ему или нет. Он не успел еще в этом разобраться: все силы его души поглощались сейчас заботами о Дубинцеве. При одной только мысли, что в спешке или просто по неопытности он мог упустить что-нибудь, не принять каких-то

неотложных мер, не указать кратчайшего пути к спасению товарища, при одной мысли об этом он весь содрогался. Мало утешало его и то, что приезжавший на шахту управляющий трестом одобрил все, что делалось в аварийной лаве. Он упрямо спрашивал себя, что еще можно предпринять для спасения Дубинцева, и не находил ответа. Может быть, поэтому он так обрадовался, когда услышал в телефонной трубке голос Данилова. Не дав ему и слова сказать, Рогов настойчиво потребовал, чтобы Данилов сейчас же пришел на шахту.

– А я и так собираюсь на шахту. С обидой! – глухо отозвался Степан.

С обиды он и начал, когда вошел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь.

– У тебя же здесь жизнь-то какая, Павел Гордеевич? – торопливо проговорил он, усаживаясь против Рогова. – Мне тут в одном месте рассказали, что ты в наступление идешь, а меня целую неделю нахлебником держишь, в обозе. Это как-то не по-гвардейски выходит. Оказывается, на шахте есть целая бригада имени... это...

– Данилова? – подсказал Рогов

– Вот это самое... А ты мне ни полслова! Что-то нехорошо получается!

– Подожди! – остановил его Рогов. – Я тебе вот что хочу предложить: мне нужен в отдел кадров боевой парень.

– Это я, что ли? – вспыхнул Данилов. – В контору? Вот уж не ожидал, Павел Гордеевич, что ты меня в конторщики будешь прочить!

– Постой, постой!

– Нет, не постою! Где моя бригада?

Рогов помолчал, заранее согласный со всеми доводами боевого товарища.

– Бригада, Степан, на аварии. Засыпало одного молодого техника. Надо выручать парня.

– Засыпало? И бригада там бьется? – глаза Данилова повлажнели от волнения, он порывисто вскочил, чтобы бежать куда-то, но вместо этого попросил почти шепотом: – Павел Гордеевич, отдай приказ обо мне в эту бригаду... имени...

– «Имени»... Иди, иди. Начинай. Приказ будет!

Когда он ушел обмундировываться, Рогов позвонил на аварийный участок Бондарчуку.

– Помнишь, я тебе рассказывал о Данилове? Он сейчас будет в бригаде Черепанова. Работать

будет. Ловко? Это из тех, которые шли до Берлина. Помоги ему там.

Часа полтора Рогов пробыл на раскомандировке второй смены, а вернувшись, застал у себя Аннушку. Он боялся этой встречи и в то же время желал ее, чтобы утешить, ободрить девушку. Он искал ее по телефону, и ему ответили, что Аннушка в тресте, готовит документацию по проходке вспомогательного ствола.

Готовит документацию! Это даже озадачило Рогова.

«Молодчина, хорошо держится», — подумал он.

Сейчас Аннушка сидела в синеватом проеме окна, немного приподняв острые плечи. Поздоровались. Заговорили о том, что выгоднее: ждать ли, пока шахтостроители начнут проходку вспомогательного ствола, или приниматься за это хозяйственным способом самим? Но откуда для этого выкроить рабочую силу?

Аннушка замолчала. Рогов ждал тоже, не в состоянии говорить о чем-либо еще.

— Я ведь техник... — сказала наконец девушка, — я ведь техник, Павел Гордеевич!..

— Да? — не понял он.

— Горный техник! — настойчиво повторила Аннушка. — А работаю чертежником. Надоело мне это, Павел Гордеевич...

— Я понимаю...

— Вы бы меня на проходку вспомогательного ствола послали... А?

— Аннушка, какую мысль вы...

Рогов поспешно вышел из-за стола, но тут же остановился: безмерное, глубокое горе глядело на него из глаз девушки. Она отвернулась, прижав трясущийся подбородок к плечу, потом встала, но вместо того, чтобы кинуться к двери, спрятала лицо на груди Рогова. Несколько минут он стоял, не смея пошевелиться — так близко и так горько было это несчастье.

ГЛАВА XX

Заканчивались вторые сутки спасательных работ. После раскомандировки, после того, как рапорт о смене был принят и передан в трест, Рогов задержался немного в кабинете.

Минут пять молча сидели с Бондарчуком друг против друга. Потом парторг порывисто встал и уже в который раз за эти двое суток склонился над планом аварийного участка. Через минуту ударил ладонью о стол. Рогов насторожился.

— Ты что?

— Неповоротливы мы с тобой, вот что! — Бондарчук сломал спичку, чиркая о коробок. — Неповоротливы. Позови-ка сюда кадровиков, тех, кто знает верхний горизонт. Только быстрее.

— Снова совет?

— Да, снова! А если нужно будет, еще двадцать раз созовем.

Рогов ничего не сказал, но кадровиков на два часа вызвал. Пришли Вошин, Хмельченко, Некрасов и еще человек шесть.

Коротко сообщив о состоянии спасательных работ, Рогов спросил, что об этом думают товарищи, какие, по их мнению, меры следовало бы принять сверх того, что уже делается.

Некоторое время в кабинете стояла тишина. Кто-то вздохнул, кто-то негромко кашлянул.

— Старый шурф прошлый раз осмотрели, — подал наконец голос Хмельченко. — Там так забутило, что одной вертикальной проходки хватит на неделю.

В приемной послышался шум. В дверь заглянула Полина Ивановна.

— Что у вас? — спросил Рогоз.

— Забойщик просит принять... Срочное что-то.

— К дежурному по шахте. Я же говорил вам!

Но в ту же минуту из-под локтя Полины Ивановны вывернулся Митенька. Видно было, что парень спешил, но и в спешке успел где-то помыться. Помылся небрежно, ополоснув только нос, толстые губы и щеки — вся остальная часть лица была покрыта слоем угольной пыли.

От многолюдья Митенька растерялся. Шагнул было к столу, но, встретившись взглядом с Роговым, остановился, стащил с головы порывевшую каску, пригладил светлые скатавшиеся волосы.

— У меня совещание, — сказал Рогов,

— Я, Павел Гордеевич, тоже на это... на совещание...

Митенька попятился к стулу и, чтобы не запахнуть его обивку, присел на самый краешек.

В глазах Бондарчука вспыхнули задорные искорки, когда он поглядел на забойщика, потом на начальника шахты.

– Тогда рассказывай! – сказал Рогов.

– Меня инструмент послали заправлять. – Митенька встал. – Кайлушки послали заправлять...

– Дальше.

– Не тяни! – Хмельченко нетерпеливо крикнул и поглядел на присутствующих, словно сам был виноват в нескладной речи парня.

– Не тяну, – забойщик сглотнул какое-то слово. – Заглядываю туда, а там дирочка, вот этакая! – он развел руками, показывая, какая именно была «дирочка». – Я туда... Что такое, вчера не было, а нынче образовалась!.. Нырнул. Так и есть...

– Постой, постой! – Рогов и Бондарчук разом встали.

Кто-то из шахтеров потянул Митеньку к столу. Все вдруг заговорили в один голос. Рогов поднял руку.

– Тише, товарищи! – и к Митеньке: – А теперь снова, по порядку.

Митенька облизнул пересохшие от волнения губы и стал снова по порядку рассказывать о своем случайном открытии.

Через полчаса Хмельченко, Вошин и Некрасов вместе с Роговым и Митенькой были у старого шурфа. Спасательные работы были немедленно же организованы на этом новом участке.

К концу вторых суток Дубинцев совсем потерял счет времени и только по тому, как постепенно убывали силы, по тому, как движения делались все медленнее, понимал – прошло много времени. Жалко, что потерял в самом начале несколько часов на какой-то дурацкий сон. Да и сон ли это был? Неизвестно. Некогда в таких пустяках разбираться. Если бы у него спросили, трудно ли ему приходится, он, пожалуй, не нашел бы что ответить. Что такое трудно, когда он бьется за возможность жить, ходить по земле, быть вместе со всеми, чувствовать, что необходим людям!

Дубинцев приучил себя работать в кромешной тьме, зажигая лампу только на короткое время, чтобы осмотреться.

Кроме решимости пробиться к свету, к жизни, у него ничего не было. Была решимость, и были руки.

Он приспособил обломок стойки, чтобы разрыхлять слежавшуюся в завале породу. Пробивался вверх по еле приметной струе воздуха. Несколько раз сбивался с этой невидимой воздушной тропки, но снова находил ее. Очень долго бился, пока обходил сторонкой «ножку» – небольшой угольный целичок. Болели ободранные руки, ныло все тело, избитое в темноте об острые углы породных плит, но стоило ему хотя бы на пять минут остановиться, как он почти со стоном вскакивал и опять бросался на завал. Метра два от «ножки» пробивал породу почти легко – в этом месте кровля еще держалась. А потом опять стало хуже. Однажды даже забился, уткнувшись лицом в больные руки. И сквозь забытие услышал, что совсем рядом кто-то стонет – то коротко, словно вздохнет, то длинно, тоненько. Прислушался – нет, тихо. Но как только закрыл глаза – опять стон... Оказывается, сам и стонал.

Фуфайку и брезентовую тужурку давно уже бросил. Теперь покался. Чем больше уставал, тем сильнее мерз – все тело сотрясал острый озноб. Решил спуститься по своему лазу обратно, разыскать одежду. Миновал уже «ножку» и метра через три уперся вдруг в завал, пощупал в темноте – нет хода, засветил лампочку – нет хода! Значит, от лавы тоже отрезало начисто. Посидел, подышал себе за расстегнутый ворот рубашки. Теперь в его распоряжении осталось всего несколько метров извилистой узкой норы и неизвестно сколько метров завала впереди. А руки болят. Голова какая-то неестественно легкая. Все вертится и плывет кругом...

Очевидно, в полубреду Дубинцев дополз в верхнюю часть норы, потому что когда очнулся – лежал головой в узкой щели, а в руках крепко держал обломок стойки.

Головокружение прошло. Что-то в нем словно выпрямилось, окрепло, повзрослело – он теперь уже не бросался безрассудно вперед, не ударялся грудью в завал. Нет! Спокойствие охватило его. В спокойствии этом было все, чему научил Дубинцева короткий жизненный опыт, чему на-

учила его великая партия: бороться! Рассчитывать! Знать!

Движения его стали скупыми, он словно видел в темноте руками. И когда дело снова пошло быстрее, не кинулся безрассудно вверх, а все так же неторопливо, осмотрительно продвинулся еще на несколько метров.

Впереди была мягкая сыпучая глина – она легко раздавалась. Если бы только не болели так руки... Бедные руки – они совсем отказывались двигаться! Нет, они просто не могли двигаться! Тогда Дубинцев стал разгребать глину локтями, даже подбородком и все чаще останавливался, забывался. Перед его открытыми глазами в крошечной тьме проходили видения.

– Ну, иди же! – говорила Аннушка. – Иди, уже половина восьмого!

Но она и сама идет с ним и всю дорогу держит его руку в своих маленьких горячих ладонях, а у входа в партбюро тревожно спрашивает:

– Ты спокоен? У тебя чистое сердце?

Да, у него чистое сердце, и он почти спокоен. Только что-то бьется часто и сильно у горла и теплые волны приливают к лицу.

Вот он выходит из партбюро, и опять Аннушка берет его руку:

– Ну, что, что? Скорее говори! Дубинцев смотрит на светлые окна партбюро, на звездно-синее небо, на Аннушку, вздыхает счастливо:

– Приняли! «Иди, – сказали, – трудись, учись – ты коммунист!»

...И опять, опять он лез сквозь глину, через куски породы. В одном месте непрочная кровля слегка осела, придавив ему ноги. Он усмехнулся злобно: «Врешь, ног я здесь не оставлю!»

Прошли часы, длинные и изнурительные, прежде чем он выручил онемевшие ноги. Отдохнул или показалось, что отдохнул. Всем телом подался вперед... Вдруг лицо, грудь, руки умыла свежая воздушная струя. В первое мгновение не сумел оценить случившегося, но когда глина перед ним легко подалась и с тихим ропотом осыпалась в какой-то провал, все его тело потрясло глубокое, облегчающее рыдание.

Он еще и двух раз не вздохнул свободно, как в глаза ему ударил до боли слепящий свет, а за шею, за плечи ухватились несколько сильных рук.

– Николай Викторович! Дышишь? – Рогов приподнял ослабевшее тело Дубинцева.

Кто-то светил ему в лицо, кто-то осторожно пожимал руку. Казалось, сотни людей столпились в узкой выработке.

Николай беззвучно пошевелил губами, но, так и не сумев ничего сказать, припал головой к груди Рогова.

А когда поднялись на-гора, он вдруг открыл глаза, пошатываясь встал на ноги, выпрямился, сделал один шаг, другой.

Митенька не удержался, радостно засмеялся:

– Ходит! Смотрите!

Весть о том, что Дубинцева спасли, с невероятной быстротой облетела всю шахту. Все свободные от работы сбежались к конторе. А Дубинцев, ожидая врача, еще минут пятнадцать сидел в кабинете Рогова.

Несколько раз туда заглядывала Полина Ивановна и осторожно прикрывала дверь. Она хотела уже в третий раз позвонить в амбулаторию, как вдруг в приемную ворвалась Аннушка – молчаливая, с удивленно раскрытыми, невидящими глазами. Пальто у нее распахнуто, голова не покрыта, дыхания не хватает. Отдернула пальцы от дверной ручки, словно обожглась, и сказала вполголоса:

– Живой!

...Уже на следующий день, под вечер, Аннушка вела Дубинцева из больницы домой. Кое-где в тени лежал чистый, легкий снежок. Рука у Николая была все еще слабой, горячей. Молчали. Аннушка один только раз тихо сказала:

– Коля, ты со мной!

А на квартире быстро сияла пальто и забеспокоилась:

– У тебя жар. Я сейчас позову доктора.

– Аннушка, мне будет плохо без тебя... – несмело попросил Николай.

– А я никуда не пойду больше! – решила вдруг она. – Ты слышишь? Не пойду!

– Значит...

– Ничего не значит! – Аннушка отвернулась, спрятав порозовевшее лицо. – Немедленно ложись и не двигайся. И... вообще! Если ты такой...

Утонув головой в подушке, Николай закрыл глаза. Аннушка присела рядом и провела паль-

цами по его бровям. Он почти мгновенно заснул. Проснулся уже в сумерках. Огня не было. Аннушка по-прежнему была рядом, а у стенки, на стульях, на сундучке и просто на полу сидели все черепановцы. В ответ на взгляд Николая разом кивнули и замахали руками:

– Молчи, молчи!

– Мне так жить захотелось, – сказал Николай, словно продолжая прерванный разговор. – Совсем умирать собирался, потом очнулся: темно, тихо, душно – могила заживо, а я еще ничего для людей не сделал, и ты одна осталась. Обидно. О ребятах вот стал думать... А какие ребята! Шахтеры какие! Подойди, Дмитрий, садись рядом.

Митенька подошел к кровати, сел на край ее.

– Друг ты мой... Я ведь знаю, как ты... – Дубинцев замолчал. Потом, не открывая глаз, отыскал руку Аннушки, подышал ей в ладошку, сказал медленно: – Ох, как я соскучился по тебе!

Потом он замолчал, положил голову на ладонь Аннушки и снова уснул.

ГЛАВА XXI

Приезжая на шахту, секретарь горкома Воронов обыкновенно предупреждал об этом заранее. А сегодня он нагрязнул нечаянно.

Рогов с Филенковым только что принялись за просмотр новых рабочих графиков, как дежурный сообщил: секретарь горкома в шахте, был только что на семнадцатом, теперь неизвестно куда делся.

А семнадцатый – это самое больное место на шахте: уголь – высшей марки, но боковые породы – кисель, и снизу и сверху «пучит», и мокреть страшная... Семнадцатым приходилось заниматься почти столько же, сколько всеми остальными участками, вместе взятыми.

Сказав, чтобы Филенков один заканчивал работу, Рогов поспешно спустился на нижний горизонт.

Иван Леонидович Воронов был коренным сибиряком, окончил горный институт, несколько лет работал на Дальнем Востоке, руководил одним из угольных трестов, потом был переведен в Кузбасс, уже в качестве парработника.

– Иван Леонидович? – переспросил начальник семнадцатого. – Минут пять как ушел. Рогов недовольно выговорил:

– По-моему, секретаря горкома можно бы и проводить...

– Пробовал я, – засмеялся техник. – Так ведь он здесь, как в своем кабинете, только рукой махнул.

– Он у диспетчера был, – сообщил транспортный десятник.

А диспетчер только плечами пожал.

– Иван Леонидович оставил нам сегодняшнюю газету. Посоветовал сообщить начальнику шахты, что перекрепку на третьем основном делают неправильно, и тут же вышел.

Рогов уже и надежду потерял найти секретаря. Завернул в забой к Вошину. Тут они и встретились. Афанасий Петрович что-то копался у транспортера породопогрузочной машины, рядом стоял Воронов.

Увидев Рогова, он сразу спросил:

– Ты знаешь, Павел Гордеевич, сколько экземпляров «Правды» выписывается на «Капитальной»?

– «Правды»? – Рогов немного удивился вопросу. – Это надо у Бондарчука спросить, Иван Леонидович, у него сведения...

– Ага... – Воронов обошел вокруг машины и, снова став рядом с инженером, повторил: – Ага, значит функции у вас точно разграничены? Ну, что ж... А я ведь для чего этот разговор затеял? Хожу вот и спрашиваю: «Читали письмо карагандинцев товарищу Сталину?» Одни говорят – читали, но большинство только краем уха слышали. Может, и ты не читал?

– Нет, я читал.

– Ну и это уже неплохо, – заметил Воронов и обернулся к проходчику. – Капризничает? – спросил он Вошина,

– Есть такой грех. – Вошин вздохнул, – Хороший аппарат, но, по-моему, на заводе кое-чего не дотянули. Прикидываю вот, что бы такое на большую передачу приспособить, а то заштыбовывается. – И тут же, зорко глянув на Воронова, спросил: – Товарищ Воронов, не пора ли нам самим написать Иосифу Виссарионовичу?

– Думаешь, есть о чем? – Воронов оглянулся на Рогова.

— Как не быть, все же в Кузбассе работаем, — сказал Воцин. — Он, конечно, доподлинно знает, как и что у нас, но ведь и простое слово ему сказать хорошо: так и так, мол, всяко в нашей Сибири бывает, а все больше вширь, в гору!..

— Хорошая мысль, — согласился секретарь. — Только крепко нужно подумать над этим и решить сообща.

Когда вышли в квершлаг, Воронов сказал Рогову:

— Слышал? Воцин — простой шахтер, а какие думы его обуревают: он и за инженеров мучается — что-то там, видишь, не дотянули, ему и с вождем хочется мыслями, надеждами поделиться. Ты учись у таких.

— Учусь... и учу, — подтвердил Рогов

— И это правильно, — согласился Иван Леонидович. — Но должен тебе заметить, что учиться у народа не легко, для этого нужно быть настоящим большевиком. Только большевики без ложного умиления черпают из народной мудрости самое нужное, необходимое и возвращают эту же мудрость народу, обогащенную великим революционным учением. Ты не забывай об этом.

И уже когда они пришли в шахтоуправление и Воронов посидел несколько минут в углу на диванчике, Рогов сказал:

— А я не забываю об этом, Иван Леонидович!

— Да что ты! — деланно удивился Воронов. И пошел по кабинету, беззвучно пошевеливая губами, прикасаясь мимоходом то к телефону, то к спинке стула, то к переплетам книг на этажерке, точно проверяя, прочно ли, надежно ли все это сделано. Потом остановился у окна, и, взглядевшись сквозь сетку моросившего осеннего дождика в туманную панораму рудничных строений, спросил: — Что это за отвалами у тебя народ делает?

— Ограду возводим вокруг шахты, — ответил Рогов.

— Не высока ли будет?

— Почему высока? — Рогов недоуменно посмотрел на Воронова. — Обыкновенная трехметровая ограда, надо же хозяйство шахты огородить.

— А ты не думаешь, что эта ограда заслонит от тебя Кузбасс?

— Кузбасс? — инженер рассмеялся. — Этого не может быть, Иван Леонидович, Кузбасс я даже из-за крутых прикондомских гор вижу.

— Подожди, не горячись, — остановил Воронов и, опустившись в кресло, продолжал: — Не думай, пожалуйста, что это легкий урок географии. Я тебя спросил о Кузбассе в прямой связи с разговором об умении учиться у народа.

Рогов внимательно посмотрел на Воронова.

— Да, именно об этом речь, — подчеркнул секретарь. — Воцин у вас začínает хорошее дело: скоростной метод проходки. Что ж вы его не выпускаете на широкий простор, что ж вы сиднем сидите на его опыте?

Рогов вскочил.

— Сиди, сиди, — снова остановил Воронов. — Ты хочешь сказать, что Афанасий Петрович и так днюет и ночует по чужим забоям? Хорошо. А об остальных шахтах рудника, о всем Кузбассе ты думал? Неужели? Странно. Слушай, чтобы тебе не грешно было, немедленно пиши статью в областную газету — это раз, во-вторых, проконсультируй своего профессора скоростной проходки — старшего Воцина, обеспечь транспортом, пусть побывает на всех трестовских шахтах да расскажет там о своем умении. Только смотри без проволочек.

Рогов подумал и согласился, что это, пожалуй, правильно, — так и придется сделать, — и спросил:

— Иван Леонидович, а какое у вас впечатление вообще о делах на шахте?

— А вот посмотрел сегодня, как вы тут расставили силы на направлении главного удара. Ведь ты как будто именно так формулируешь свою задачу?

— Так.

— Вот. Значит, цикличность. Но ведь цикличность — это и комплексная механизация, и новая, более совершенная организация труда? Понимаю. Смотрел на пятом и седьмом участках — понравилось, это по-настоящему, по-деловому. Но... Тут опять «но». Не забываешь ли ты о том, что, поднимая шахту на новую ступень, ты это делаешь вместе с коллективом? Ведь механизуя забой, ты механизуешь труд людей, и тут одним административным напором, одни-

ми знаниями инженера мало что можно сделать. А? Подумай.

В это время вошел Бондарчук, и Рогов не успел ответить.

— Садитесь-ка оба против меня, — пригласил Воронов. — Вот так. А теперь слушайте. Думаете, чего я вас сегодня от работы отрываю? Не догадываетесь?

Бондарчук с Роговым переглянулись. Воронов внимательно посмотрел на них, глаза у него стали строгими, черты лица отвердели, когда он сказал негромко:

— Мне сообщили сегодня решение всесоюзного жюри по итогам соревнования угольщиков... Знамя министерства у вас отбирают, передают в Прокопьевск ворошиловцам. Вот что.

Парторг медленным, упрямым движением поднял голову, посмотрел на секретаря, потом вдруг на Рогова. Воронов спросил в упор:

— Скажите мне, можно было удержать знамя?

— Нельзя! — отрезал Бондарчук, Рогов возразил:

— Почему же? Если бы мы действовали подробно, знамя еще на месяц удержать можно было.

— А если яснее? — Воронов чуть приметно двинул темными прямыми бровями.

— Я буду говорить ясно. — Рогов уперся кулаками в подлокотники кресла. — «Капитальная», ее коллектив могут, должны быть образцовыми, сильными, способными уже завтра, сегодня, если хотите, решать задачи, поставленные в конце пятилетки. Но для этого нам нужно было упорядочить горные выработки, отремонтировать механизмы, развернуть учебу. Да, мы должны были бросить все силы, все средства на направление главного удара. Мы загадывали далеко вперед!

— И прогадали в настоящем! — в тон Рогову заговорил Воронов. — Вы не маленькие, уверен, что подумаете и сами во всем разберетесь. Только перед коллективом не мудрите. Расскажите шахтерам коротко, толково, почему не удержали знамя, несмотря на то, что такая пробка, как Дробот, вышиблена, несмотря на то, что люди шахты могут теперь выйти на простор.

Воронов встал и, уже прощаясь, добавил:

— Подумайте, да честно подумайте. И не ждите — за ручку для объяснений с коллективом не поведу.

Секретарь ушел. Бондарчук через минуту медленно поднял взгляд на Рогова; тот выпрямился и сказал:

— Хорошо, давай честно думать!

ГЛАВА XXII

Увидеться и поговорить Рогову с Бондарчуком удалось только на следующий день. Рогов до вечера был занят с Филенковым, уточняя графики работ, Бондарчук провел день в тресте.

Приехав оттуда, парторг сразу прошел в кабинет начальника шахты. Остановившись посреди комнаты, он кольнул Рогова сердитым взглядом и сказал:

— Знаешь, что мне сегодня трестовский начтехотдела сказал? «Иногда, — говорит, — лучше синица в руках, чем журавль в небе».

— А ты?

— Что я? Я сказал, что мне обе эти птицы в его должности не нравятся. Поругались.

Бондарчук потер открытый выпуклый лоб, спросил:

— Как думаешь, на что вчера Иван Леонидович намекнул, сказав: «Подумайте и не ждите — за ручку не поведу»?

Рогов пожал плечами.

— Он на многое намекал...

— Нет. Видишь: свет из окна по всей комнате, а солнечный луч падает только на стол. Так вот и здесь — намекал секретарь на многое, но имел в виду прежде всего одно конкретное положение. Он хотел сказать, что работать с коллективом — значит, советоваться с ним, держать все козыри на виду, а мы с некоторого времени горячку порем, нам, видишь ли, все некогда. Оторвались немного. А не оторвались бы — выдюжили.

— Что правильно, то правильно, — сказал Рогов. — Но уже только потому, что мы знаем теперь об этом...

— Траурных мелодий исполнять не будем? — подхватил Бондарчук. — Конечно, не будем. И все же скребет на сердце, словно от него живой кусок отрываешь. Я вон сейчас иду мимо

красного уголка, а там шахтеры толпятся. Не успел спросить, в чем дело, как один забойщик приглашает: «Проходите, – говорит, – товарищ парторг, вам тоже полезно запомнить этот момент».

Оказывается, люди молча наблюдают, как профорг семнадцатого участка осторожно снимает чехол с переходящего знамени. Мне больно и радостно стало.

– Радостно? – усомнился Рогов.

– Да! Именно так! Больно потому, что мы с тобой не сумели вывести коллектив из дроботовских закоулков без такого крупного срыва, как потеря знамени, и радостно, что рядом с нами работают такие люди... Такие люди!..

– Советские люди!

– Именно! – поддержал Бондарчук и уже спокойнее посоветовал: – Вот ты сейчас и подумай, как будешь держать ответ перед этими людьми. Только без этого... без жалоб. С первых же слов наступи на горло всем синицам и журавлям, всем «теориям» дальнего и ближнего прицела – все это макулатура. У нас есть ясные указания партии: безусловно выполнять план и этим выполнением готовить завтрашний размах строительства. Не иначе!

Рогов кивнул. Ему почему-то захотелось сейчас рассказать взволнованному Бондарчуку, сколько передумано им за последние недели, сколько бессонных ночей проведено, рассказать, что полнее, чище он себя никогда не чувствовал. Бывает трудно? Конечно, бывает!

Почти каждый раз засыпая с мыслью: «Не успел сегодня что-то очень важное сделать...» Ну и пусть будет трудно, пусть крутят беспокойные мысли, лишь бы знать, что ты всегда вместе с шахтерами, что сердцем, мыслями живешь в завтрашнем дне. Вчера дежурный статистик выписал на щит показателей цифры суточной добычи. Обыкновенная цифра – 102,1 процента. Но позавчера было только 102, а одной десятой не было. Ожившей предстала эта дробь в сознании Рогова, он знал, как она появилась, сколько за нею труда, горячих исканий. Комсомольцы на участке Дубинцева за сутки вырубили в три раза больше, чем полагалось, а потом Черепанов прибежал и стал жаловаться, что ему не дают развернуться.

Приходил сын Вощина – Григорий и, стесняясь, попросил, чтобы для него выделили сразу пять подготовительных забоев, обещал принести исполнительный график, разработанный им на основе многозабойного метода. Конечно, прав был вчера Иван Леонидович, хотя и не сказал этого ясно: Рогов и Бондарчук виноваты перед шахтерами, что не сумели организовать одновременной и решительной перестройки и перевыполнения плана. А силы для этого есть, они пробиваются на шахте всюду, как свежие родники. Надо, значит, так организовать жизнь, чтобы эти родники слились в могучий поток, которому на пути ничего не страшно. Не потому ли часто засыпая с мыслью, что не успел за день сделать что-то очень важное?

Но ничего этого Рогов сейчас не сказал, он внутренне подтягивался для выступления перед шахтерами. Вот и Бондарчук все ходит и ходит, то руками разведет, то за ухом с досадой почешет и все повторяет:

– Такой, значит, разговор состоялся о птичках.

– Оставь ты, пожалуйста, этих перелетных птичек, – отмахнулся наконец Рогов. – Дались они тебе...

– Да, но объективно одна из птичек чуть не зазимовала у нас на шахте.

– Журавль?

– Именно.

– Ну что ж... – Рогов встал, согнал под ремнем складки гимнастерки назад и уже на выходе из кабинета закончил: – Мы должны радоваться, что нет в нашей жизни места для таких «чуть». Одернули, поправили – здоровее будем.

...Через полчаса вышли в раскомандировочный зал. Рогова необычайно взволновала многолюдность собрания: в зале не только сесть – стать негде.

«Всем больно, – подумал Рогов, – но зато сила какая!»

И, глядя на десятки, на сотни родных ему по духу людей, на их суровые в этот час лица, угадывая в глазах каждого величавое достоинство и решимость, Рогов вдруг с новой ясностью почувствовал свою вину перед ними в том, что он как будто усомнился в их силах, в их готовности к трудовому подвигу и вздумал с обидной для них осторожностью, исподволь

готовить их к полной механизации. Они уже были способны и механизмы освоить и выдать на-гора столько, сколько давали всегда...

«Сила какая!» – еще раз повторил он про себя.

– Начинай, – поторопил парторг, когда они усаживались в президиуме, и тут же еще раз напомнил: – Только не плачься.

Рогов и не думал плакаться. Превозмогая какую-то непонятную тяжесть во всем теле, подошел к трибуне.

– Есть такой суровый, но справедливый закон на войне, – начал он спокойно.

– А вы не про войну, чего зубы заговаривать! – обрывает его кто-то неприязненно. – Проворонили знамя!

– Дохозяйствовались!

– Есть такой закон на войне, – немного медленнее, но так же спокойно повторил Рогов: – Если войсковая часть теряет в бою свое знамя, ее расформируют. Мы тоже в битве за план потеряли знамя. Но мы не на войне. Не посчитайте, товарищи, что все это для красного словца, но я много думал, прежде чем выступить сегодня перед вами и сказать: хорошо, что есть у нас в Кузбассе шахтеры сильнее нас, есть, значит, на кого опереться, шагая в завтрашний день, есть на кого равняться. Равняться на них должны мы все, а в первую очередь – я, все руководство шахты. Плохо, если шахтеры не уважают руководителей, еще хуже, если руководители не учатся у рабочих. Учиться у рабочих – значит верить в силы коллектива, а силы эти – огромны.

Рогов оглядел собрание и повторил:

– Огромны!

Он услышал, как двинулся народ и затих. Это было похоже, как если бы все разом сказали тихо:

– Да!

– Сегодняшнее соревнование, – продолжал Рогов, – имеет свои особые нормы и законы. Вот послушайте, что нам пишут с шахты имени Ворошилова, которая отвоевала у нас знамя: «Рады, что побороли такого сильного «противника», как вы, товарищи. Но мы слышали, что у вас пока плоховато с комплексной механизацией, – это нас беспокоит. Потому решили мы послать к вам на недельку бригаду из

инженеров и стахановцев – пусть покажут, как у нас это дело настраивается. Не обессудьте – чем богаты, тем и рады. Дружнее, товарищи, второй год пятилетки идет! Кузбасс набирает новую скорость, следите за соседями, помогайте им, иначе не одолеем задач!»

Дружнее, товарищи! – Рогов внимательно оглядел притихшее собрание. – Вот оно, новое, бесценное в нашей жизни! И называется это новое – коммунизм!

Совсем тихо, напряженно, торжественно стало в зале. В первом ряду, тесно прижавшись друг к другу, сидят черепановцы. Приподняв круглое румяное лицо, Митенька не мигая смотрит на Рогова и шевелит губами, повторяя про себя слова инженера; Сибирцев, наклонив квадратную, коротко стриженную голову, чертит что-то прутиком на цементном полу.

– Да, много нужно сделать для того, чтобы коллектив «Капитальной» мог решительно вырваться вперед. Кто этого не знает! И в то же время никогда мы не чувствовали себя так уверенно, никогда яснее не представляли себе свою связь с судьбами всего Кузбасса, всей родины, как в этот момент!

То, что Рогову хотелось сказать за полчаса перед этим только Бондарчуку, он сказал неожиданно для себя сейчас всему коллективу. Для этого нашлись и хорошие слова, припомнились, словно сами собой, необходимые факты.

– Значит, знамя будет снова на шахте! Пусть заранее извинят товарищи делегаты из Прокопьевска, пусть сегодня на шахте-победительнице не думают, что коллектив «Капитальной» опустил руки.

Саенг толкает локтем Сибирцева, тот косит выпуклым карим глазом и кивает. «Конечно! – думает он. – Если завтра с шахты уйдут десять лишних вагонов угля, к весне на полях родной Сибирцеву Кулунды заговорит еще один трактор, в землю лягут тяжелые зерна, заколосятся неоглядные нивы, побегут по ним легкими синими тенями ветры. А может быть, уголь, добытый сверх плана Сибирцевым, обернется теплом в квартире ученого, мягким светом в одной из комнат Кремля, где работает, думает о судьбах родины Сталин».

Вместе со всеми Сибирцев ожесточенно аплодирует и почти вызывающе смотрит на маленького седого старичка – делегата с шахты-победительницы.

Слегка побледневший, Рогов садится рядом с Бондарчуком и, словно извиняясь, шепчет:

– Разговорился я...

Лицо у парторга ласковое, в глазах пристальное внимание.

– Есть в тебе огонек... – говорит он. – Быть тебе парработником, Павел!

Недоумевая, Рогов кивает головой.

– Я всегда чувствую себя парработником.

На сцену поднялся со знаменем старик Вошин. Колнуче оглядев собрание, он кивнул, очевидно, каким-то своим мыслям и заговорил глуховато, слегка расставив ноги и подавшись вперед.

– Я хотел речь произнести, – сказал он и вздохнул, – а теперь не буду. Меня опередил Павел Гордеевич. Только смотрите! – повысил он голос и снова сердито оглядел собрание. Потом, наклонившись, бережно поцеловал краешек бархатного знамени и рывком сунул крашеное древко в руки маленькому седому прокопчану: – Возьми, товарищ. Уважаю работающих!

ГЛАВА XXIII

Рогов понимал, что подготовка кандидатской диссертации отнимает у Вали все время, все силы, но от этого нисколько не было легче. Иногда ему казалось, что в ее письмах невольно прорывается смутная тревога, словно она все еще решает: «Ну, хорошо, диссертация. А потом? К тебе на рудник? Что же я там буду делать, если меня неудержимо тянет в просторы Сибири, к новым открытиям? Как же быть?»

А сегодня утром он не сдержался и написал ей: «В твоём отношении ко мне больше рассуждений, чем горячего чувства. Неужели не понимаешь, как ты необходима мне?»

Написал и целый день каялся. Очень уж по-мальчишески вышло. И вообще нехорошо попусту изводить себя. Все в свое время решится. Целый день думал над этим и даже обрадовался, когда позвали на бюро горкома.

Бюро должно было начаться в шесть, но Рогов пришел значительно раньше. В маленький

зеленоватый кабинет Воронова люди приносили с собой могучее дыхание рудника – спокойную народную мудрость, шахтерскую сноровку, командирский опыт. Здесь решалось самое трудное, самое жгучее, что выдвигала жизнь на шахтах. Какой бы вопрос ни обсуждало бюро – все равно, сердцем, мыслями каждый из его участников невольно оказывался в стремительном широчайшем потоке самой неотложной работы.

Но в этот раз Рогов трудно входит в жизнь бюро, Бондарчук даже подтолкнул его локтем.

– Ты что, не слышишь? Тебя спрашивают.

Рогов оглянулся на секретаря, тот смотрел на него внимательно, выжидающе, потом повторил вопрос:

– Разговор идет о том, как лучше наладить обмен опытом среди младшего горного надзора, и о соревновании по профессиям.

– О соревновании... – Рогов подумал. – Что могу сказать о соревновании?.. Передали вот знамя прокопчанам.

Ременников, начальник с десятой, рассмеялся.

– Не хвастай, Рогов, этот опыт тебе не зачтется.

Рогов возразил:

– Нет, этот опыт как раз в первую очередь зачтется. Я хочу сказать о том, что в своей работе мы сегодня будем равняться не только на ворошиловцев, победивших нас, – этот рубеж мы почти перешагнули, – в будущем году мы будем решать задачи на два года вперед. Так, помоему? – он повернулся к Бондарчуку. – А с горным надзором... В первом квартале решили всех горных мастеров пропустить через курсовую сеть. Нельзя больше терпеть, чтобы командир смены не имел права ответственности. Опыт с Очередько красноречивее слов. Довывдвигали человека на свою голову. А теперь судить будем. Вот откровенные пункты, Иван Леонидович...

Воронов утвердительно кивнул, потом обратился к представителям четвертой шахты, а через минуту уже с пристрастием допрашивал главного инженера девятой.

Рогов невольно заслушался, залюбовался, как секретарь легко, умело находит в речах выступавших какое-нибудь одно – самое нужное, са-

мое главное слово или одной-двумя репликами очищает стержневую мысль от словесной шелухи. Потом Воронов умолкает и сидит, чуть потупившись, глубоко вдвинув свое угловатое массивное тело в кресло, сидит, как будто бюро идет само собой, без его участия. Люди выступают, спорят, настаивают, и плывет маленький зеленоватый кабинет в ночи по точно заданному курсу. Но вот... что это? Крен? Ага, Ременников что-то слишком уж разошелся. Чудак, ну чего горячится, сказал бы спокойно, что для выполнения квартального плана ему требуется еще сорок забойщиков, обосновал бы это цифрами, фактами.

Внезапно Рогов гасит на лице благожелательную улыбку – этот Ременников не только чудак! Ведь совсем недавно он хвастался по телефону, что у него в резерве на подсобных работах есть около двух десятков навалотбойщиков, чего же он сейчас ерепенится?

Воронов слегка двинул широкой бровью, повел взглядом на начальника планового отдела треста.

– Ты что скажешь?

Начальник откашлялся, подумал и сказал, что из последней партии новых рабочих на десятую будет передано только двадцать человек, остальные двести распределяются примерно так же по всем шахтам, исключая «Капитальную», которая получит шестьдесят пять.

Сначала Рогов подумал, что ослышался, но инженер из треста еще раз повторил:

– На «Капитальную» пока что передаем шестьдесят пять.

Заметив резкое нетерпеливое движение Рогова, Воронов слегка выдвинулся из кресла, кивнул:

– Говори.

Бондарчук рядом даже не шевельнулся, как сидел, сомкнув пальцы на колене, слегка наклонив к плечу голову, так и продолжал сидеть.

– Ничего не понимаю!.. – Рогов недоуменно раскрыл перед собой ладони. – Откуда и зачем такая благодать на «Капитальную»?

Начальник планового отдела тоже развел короткими ручками.

– Тогда я тоже ничего не понимаю: человек отказывается!

– Не человек, не человек! – перебил Рогов. – Не путайте, государственное предприятие – целый коллектив вам говорит: ради истинного, обойдите нас этой своей заботой.

– Яснее! – потребовал Воронов.

Рогов раздельно выговорил:

– «Капитальной» не нужны сейчас рабочие.

– А завтра?

– Тем более! Лишние люди – это груз, который будет давить на производительность труда, на зарплату.

– Позволь! – это подал голос Черкашин, главный инженер треста и он же временно исполнявший обязанности управляющего. – Позволь, Рогов, я думаю, ты не из тех, кому нравится красивый жест. Чем же вызвано это твое фанфаронство? Ты же сам полтора месяца твердишь: «Уклон, уклон! Нужно форсировать уклон!» Вот и форсируй! К тому же, к весне необходимо развернуться с жилищным строительством.

Скулы у Рогова порозовели, и, когда Черкашин закончил, он почти выкрикнул:

– Не нужны «Капитальной» рабочие! Не возьму!

Бондарчук покачал головой: «Спокойнее!»

– Не возьму, – медленнее повторил Рогов. – В тресте не могут не знать, что мы механизировали полностью лесной склад, сократили раздутые штаты в коммунальном, в орсе и получили от этого около ста рабочих. Есть и еще резервы. Я уже не говорю о коренной механизации подземных работ.

– Та-ак... – Воронов очень медленно, но зорко оглядел собрание.

Ременников сидел потупившись, Рогов все еще стоял. Черкашин что-то медлил, обдумывал. Потом тоном окончательного решения проговорил:

– А рабочих придется взять.

– Нет! – Рогов потряс головой.

– Возьмешь! С трестовской каланчи виднее.

– Я не знаю, что вам видится с вашей каланчи, товарищ Черкашин! – Рогов оглядел притихшее бюро. – И сама ваша каланча мне не нравится.

Черкашин и начальник планового отдела гневно замахали руками, но Иван Леонидович негромко кашлянул и, словно не замечая разгоревшихся страстей, подытожил, постукивая карандашом о пресс-папье:

– Очень интересно... и принципиально! Прощу, товарищи, запомнить позицию Рогова. Решать пока ничего не будем, а завтра... с утра... с утра ты, Черкашин, зайдешь ко мне с планом по кадрам. Очень интересно!

Заканчивая бюро, Воронов все посматривал на Рогова, при этом лицо его трогала добрая усмешка.

И Рогов не удивился, когда через день Черкашин не без иронии сообщил ему по телефону:

– Ваше желание, товарищ начальник шахты, трест удовлетворил – рабочих вы не получите. Изворачивайтесь.

ГЛАВА XXIV

Назначение Рогова начальником шахты Семён Стародубцев принял спокойно, как событие, которое он предвидел и чуть ли не предсказал. Он как-то даже подмигнул Рогову доверительно:

– Наш курс удачливый!

Но в остальном начальник транспорта держался просто, не заискивал, в разговорах был подчеркнуто деловит, казался исполнительным. Между тем подземный транспорт по-прежнему оставался самым неблагополучным участком на шахте. Рогов последние дни сам занимался всеми транспортными делами. Семен не удивился этому и, как показалось, даже обрадовался. Вместе осматривали путевое хозяйство, подвижной состав, электровозный парк, депо. Часто, предупреждая замечания Рогова, Стародубцев здесь же, на ходу, устраивал трескучий разнос подчиненным, а потом пожимал узкими плечами:

– Ты же видишь, Павел, какой народ? Неучи. Долби такому хоть сутки, а он все по-своему.

«Неуч» – машинист, высокий парень, с узким лицом и насупленными бровями, слушая начальника транспорта, медленно поглаживает корпус электровоза, остановившегося по неизвестной причине на перегоне.

– Ну что ты его оглаживаешь? – шагнул к нему Стародубцев. – Нашел сивку-бурку!

– Что ж мне, бить его? – возразил машинист. – Бить других полагается.

– Ты без намеков! – озлился внезапно Стародубцев. – И почему стоишь? Немедленно вызывай аварийную машину!

Парень выпрямился и, смотря почему-то на Рогова, заговорил чистым, звенящим голосом:

– Не кричите! Не виноват. Предупреждал механика. «Езжай, – говорит, – не разговаривай!» – Машинист коротко передохнул и, сжав губы, ударил по корпусу машины. – Пять месяцев без ремонта ходила, загоняли. Все на живульках держалось. А мне больно. Понятно?

Рогов еще несколько раз встречался с этим машинистом, приглядывался к нему, расспрашивал, как он работает.

– Это вы про Анатолия Костылева? – отвечали транспортники. – Ну, это такой машинист – на одном свисте может поехать, были бы только колеса!

Вызванный Роговым, Костылев явился точно в назначенное время, подтянутый, выбритый, в хорошо сшитом костюме, ослепительной сорочке и аккуратно, умело завязанном галстуке. Весь он был воплощением аккуратности и порядка, даже вещи вокруг него становились, казалось, нужнее, красивее.

– Три года на машине, – коротко сообщил он. – А насчет разговора с начальником транспорта вы не сомневайтесь, Павел Гордеевич, я тогда... очень взволнованный был.

Рогов попросил его рассказать, что он думает о своем транспортном цехе, о своей работе, о людях. Рогов слушал его с удовольствием – такая ясная голова оказалась у этого парня.

Переключившись с сосредоточенным видом мерлушковую шапку с одного колена на другое, Костылев обстоятельно сообщил, откуда, по его мнению, навалились беды на транспортников:

– Во-первых, путевые бригады не укомплектованы, текущий ремонт пытаются организовать субботниками; во-вторых, вагончики давно пора заменить на большегрузные, в крайнем случае следует нарастить борты у тех, которыми приходится пользоваться; в-третьих, – и это основное, – электровозы. Нужен срочный и капитальный ремонт. Говорят, что нет запасных машин, чтобы заменить для ремонта действующие. Ерунда. На линии их каждый день работает двенадцать, а можно обходиться восемью. Что для этого нужно? Пусть дежурные диспетчеры круче поворачиваются, пусть на участках организуют погрузку по-человечески.

– Все это очень серьезно, – сказал Рогов. – Вот и беритесь за транспорт. Завтра Стародубцев сдаст вам дела. Справитесь?

– Справлюсь, Павел Гордеевич, – ничуть не удивившись, сказал Костылев, и глаза у него были строгие и спокойные. – У нас сто двадцать комсомольцев! Показать им, что и как, организовать учебу.

– Сами-то учитесь? Машинист даже удивился:

– Я? Обязательно, только заочно.

– Трудно вам будет... – подсадовал Рогов. – Но ничего не поделаешь, учиться ни в коем случае не бросайте, а то завтра вам нечего будет делать на шахте. Учитесь! Завтра я вас вызову. Поговорим еще.

И вот теперь настал срок поговорить со Стародубцевым. Семен вошел чрезвычайно оживленный, улыбающийся.

– Ничего не знаешь? – спросил он загадочно. – Все хозяйством занят? Подвижник ты. А у меня, Павел, радость: Клавочка третью дочь подарила.

Рогов поздравил его, стараясь скрыть невольное смущение, но Стародубцев ничего не заметил и тут же посетовал:

– Да, растет семейка, придется жать на работенку – денег потребуется мешок. Между прочим, попрошу у тебя внеочередной аванс, через недельку сварганим вечерок, на котором твое присутствие как крестного совершенно необходимо!

Рогов нетерпеливо встал.

– А ты не отказывайся! – потянулся через стол Семен. – Это Клавочкино желание, сам понимаешь – женщина. К тому же, ты довольно популярная личность на руднике. Идут суды-пересуды, когда и на ком женишься, даже кандидатуры называются.

Рогов рассмеялся.

– Трепатня, конечно, – согласился Стародубцев. – А ты что вызывал? Что-нибудь срочное?

– Срочное, – подтвердил Рогов. – Но я тебя скоро отпущу.

– Неполадки какие-нибудь? Я ведь с утра все с дочурками...

– Ничего особенного, ни шатко, ни валко, – успокоил Рогов. – Но я как раз и хотел поговорить об этом. Приказ-то, Семен Константинович, не выполняется, ремонт так и не организован...

– Ну, знаешь... – обиделся Стародубцев. – Стоило пороть горячку. Завтра могли бы утрясти.

– Нельзя! – Рогов сжал кулаки. – Нельзя завтра, нужно сейчас! Ты пойми, вся шахта спотыкается о транспорт, мы же идем на преступление, задерживая добычу.

Болезненная гримаса исказила лицо Стародубцева, он поднял обе руки.

– Помилуй, Павел, не говори громких слов – «преступление, наказание»... Это же обыкновенная жизнь, со всеми ее взлетами и неудачами...

– На всякую жизнь я не согласен. Не всякую жизнь наши люди принимают!

– Это тебе так кажется...

Рогов остановился, удивленно заглянул в небольшие бесцветные глаза однокашника и спросил:

– Почему ты остыл? Как ты мог забыть, чему нас учили?

Стародубцев снова приподнял руку.

– Я почти наизусть помню даже лекции доцента Ваньчугова, самые неинтересные...

– Помнишь? – Рогов устало отмахнулся. – Может быть. Но я не об этом. Ты сердцем забыл, чему нас учила партия!

– Будь осторожен, Павел, не путай сюда партию.

– Хорошо, – согласился Рогов. – Я буду осторожен. Ты устал? Может быть, отдохнешь немного? Курорт устроим, а там...

– Снимаешь? – шепотом спросил Семен и передернулся всем телом. На его остром побледневшем носу проступили мелкие капельки пота. – Меня снимаешь? Забыл, как одни штаны в институте носили, как черный хлеб пополам делили? Снимаешь, когда мне особенно, невозможно трудно?

– Снимаю, Семен! – Рогов прижал ладонью листок свежеставленного приказа. – Не мешай, Семен, работать. Сдашь завтра хозяйство Костылеву.

Потом он упорно смотрел, как Стародубцев застегивал негнушимися пальцами кожаное пальто, натягивал шапку, заправляя оттопыренные уши, как он шел по узенькой ковровой дорожке, прижав локти к бокам, как оглянулся из-за плеча, взявшись за дверную ручку.

А дома Рогова ждала совершенно необычайная новость. Не успел он раздеться, как в комнату вошел старик Вошин и, сухо поздоровавшись, спросил:

– А где будет ваш сродственник или кто он вам доводится?

– Данилов? – вначале не удивился вопросу Рогов. – Ей-богу, не знаю, Афанасий Петрович, сам вижу его раз в неделю, – такой непоседа этот родственник. Присаживайтесь, Афанасий Петрович.

Но Вошин наотрез отказался от предложенного ему стула, сказав, что он просит извинить за беспокойство, но пришел с жалобой на Данилова.

Совершенно сбитый с толку, Рогов обошел вокруг проходчика, а тот, глуховато покашливая, излагал жалобу.

У него есть племянница, Тоня Липилина, инвалид Отечественной войны, тяжело больна. Временами почти не видит. Этот Данилов как будто встречал ее на фронте и по молодому делу влюбился. Какой в этом грех, совсем даже наоборот, очень естественно. Вошин так и сказал, пошевелив соломенными бровями:

– Очень даже естественно. Но на фронте девушка была полным человеком, а теперь инвалид. Может быть, последние дни доживает, ей покой нужен. Данилов же ничего понимать не желает. Пробовала мать Тони сделать укорот парню, но он, как оглашенный, просто на рожон лезет!

Надо, чтобы Павел Гордеевич сам поговорил со своим сродственником или кто он ему доводится.

Оставшись один, Рогов в отчаянии ударил ладонью по лбу: «Черт, какая слепота. И ведь рядом все это творится. Вот откуда у Степана рассеянность, усталость в глазах».

Еще вчера, когда он поздно вернулся домой, Рогов так нехорошо пошутил:

– Веселишься? Крепок. А я думал ни рукой, ни ногой не двинешь после смены – работнули неплохо. Уж не Оленька ли Позднякова тебя тревожит?

Степан, как-то растерянно двигая губами, попробовал улыбнуться,

– Не Оленька, Павел Гордеевич. Был тут в одном месте... Хочу, Павел Гордеевич, переключать в общежитие к черепановцам.

– Не выдумывай! – запротестовал Рогов. – У меня и так живым не пахнет. Не разрешаю, как хочешь.

– Павел Гордеевич... – Данилов показал глазами на портрет Вали, – она же приедет?..

– Валя? – по лицу Рогова скользнула еле приметная тень. – Это, Степан, длинная история...

Должно быть, что-то в его голосе, в выражении глаз, в том, как он осторожно приподнял и резко поставил портрет девушки, что-то такое, чему не подберешь названия, приоткрыло для Данилова еще одну сторону в жизни товарища. Это их как-то по-новому сблизило, хотя Рогов и не понимал, почему Степан притих, а глаза у него засветились мягко, ласково.

Через минуту они заговорили о делах на шахте. И опять-таки у Рогова в этом не было ничего от желания забыть о Вале, разговор о деле был органическим продолжением его мыслей о девушке.

Но это было свое, годами выношенное. А вот в близкое горе, в крутые горькие думы товарища он не сумел проникнуть...

Тоня Липилина? Но Рогов и Тоню помнит. Помнит сильной, здоровой, беззаветно храброй. Как же он мог просмотреть, что где-то совсем рядом угасает этот светлый человек?

Позвонил на шахту и, не переодеваясь, стал ждать машину. За окном была глубокая ночь, по черному стеклу неслышно скользили крупные хлопья снега. Несмотря на поздний час, на тяжелую усталость, Рогов решил сегодня же разыскать Тоню Липилину и, разузнав обо всем, еще раз, гораздо обстоятельнее поговорить и с Афанасием Петровичем, и с Даниловым.

Тоня привстала навстречу, протянула обе руки.

– Павел Гордеевич!.. Вспомнили обо мне? Да?

Лицо ее лучилось счастьем, и вся она, худенькая, напряженная, вот-вот готова была вскочить.

Горькая спазма схватила за горло Рогова, С трудом подыскивая слова, он сказал, присаживаясь рядом.

– Я не забыл о тебе, Тоня... Я не знал, что ты здесь. Прости солдата.

– Ой, конечно, прощаю! – она засмеялась и очень быстро успокоилась.

Рассказывая о себе, о своих надеждах, она несколько раз восклицала:

– Ох, и трудно, должно быть, Степе! Он хотя и ловкий, и сильный, но непривычно же ему. Разве я не вижу?.. Вы доглядывайте за ним, Павел Гордеевич, а то у него гордое сердце, помощи он не попросит. – Потом пообещала: – Вот вырвусь с этой постылой перины – глаз с него не буду спускать...

ГЛАВА XXV

Наезжая друг на друга, быстро скатились по крутой печи в штрек и пошли на выход.

– Зайдешь сегодня в общежитие, Степан Георгиевич? – спросил Черепанов, когда они уже раздевались в мойке.

– Обязательно, – пообещал Данилов, – только схожу вот в одно место.

Митенька тайком подмигнул бригадиру: что-то частенько их новый товарищ заглядывает в это «одно место». Просто интересно.

Данилов сегодня говорил мало – боялся чем-нибудь выдать свою предельную усталость. Колени дрожали, руки необычайно отяжелели, ладони распухли, а когда смыл грязь, на них проступили багровые мозоли – стыдился своих рук, старался не показывать их бригадникам. И напрасно – комсомольцы давно наперечет знали все его мозоли. Вот и сейчас, заметив, как он взял кусок мыла и сморщился, Черепанов покачал головой, Сибирцев вздохнул. Митенька тоже постарался принять в этом посильное участие, сказав невпопад:

– Обыкновенно. Непривычка.

Черепанов грозно шевельнул бровью.

Да, товарищам можно от чистого сердца позавидовать: после утомительного труда они на глазах наливаются новыми силами. Саенг вон что-то уже насвистывает, Митенька размечтался о походе в кино, Сибирцев беззлобно ругает какого-то расчетчика, забывшего ему начислить «прогрессивку»; прыгая на одной ноге под душем, Санька Лукин выкрикивает:

– Ну и хвастун! Она, говорит, у меня королевна-царевна! Это он про свою Оленьку, Сашка-то

Чернов. Волосы, говорит, у нее, как воронье крыло, глаза – прожекторы. И еще какие-то показатели называл, не помню.

Работали эту смену все вместе, так нужно было – рассекали новую лаву. Особенно трудно Данилову достались последние два-три часа. Вместе с Сибирцевым он менял в нижней параллельной просеке порушенное крепление. Черепанов несколько раз за смену подзывал к себе Сибирцева и жарко дышал ему в лицо, выговаривая:

– Еще раз предупреждаю: не наваливай ты на Степана Георгиевича что несподручно! Имеешь какое-нибудь соображение?

Сибирцев смущенно оправдывался:

– Соображение имею, но ты ж видишь, какой он – из рук работу выхватывает, а скажешь слово, только глазом поведет. Какое уж тут мое руководство?

Узнай Данилов о таких разговорах, без греха бы не обошлось. Но у него просто ни времени, ни сил не было следить за чем-то, кроме своей работы. В минуты передышки, приглядываясь к ловким, легким движениям своего напарника, он с горечью думал: «Но ведь я четыре года окопы рыл, по шестьдесят километров ходил с полной выкладкой, а потом в бой. Почему же мне так трудно дается шахта?» Непонятно все это было и тревожно.

Нельзя было не заметить, как бригадники очень осторожно, стараясь делать незаметно, подпирают его своими плечами. Но если вначале это радовало, согревало, то теперь он уже едва сдерживал раздражение. И на самом деле, чем он слабее того же Митеньки? Стоит только посмотреть, как тот, слегка присвистнув, подхватывает лесину, меряет взглядом, потом удар, второй! И вот уже это не лесина, а стойка-свечка. Не работа – выставка. А чем он хуже?

...По пути из мойки, в коридоре, бригаду встретил Рогов. Свет из окна упал на его скуластое лицо, зажег в глазах веселые искорки. Расставив руки от стены до стены, словно хотел обнять разом всех, спросил взволнованно:

– Как лава, друзья? Закончили?

– Взыграла лава! – басом доложил Лукин.

– Вот видите! Еще пятьдесят метров фронта прибавилось, а там, глядишь, еще сотню на-

берем – будет, где развернуться. Он обратился к Данилову: – Ну, а ты что же, гвардии сержант, не докладываешь?

Данилов против воли невесело улыбнулся.

– Боюсь, как бы не пришлось к обороне переходить, товарищ гвардии капитан...

– О!.. – Рогов всерьез удивился. – К обороне? Когда все летят вперед? Ну, хорошо, мы еще поговорим об этом, а сейчас марш в столовую! Питайтесь!

В столовой бригаду обслуживал весь наличный штат, включая шеф-повара, который необычайно быстро катался на своих коротких ножках и еще в самом начале пиршества смутил забойщиков, пообещав угостить каким-то «де-воляй». Парни с сомнением усмехнулись, и только Санька Лукин благосклонно разрешил:

– Валяй! Тебе виднее!

Пожилая повариха все свое внимание сосредоточила на Митеньке, самом низкорослом и самом курносом в бригаде. Подав ему кружку пахучего кофе, она остановилась рядом и подперла щеку ладонью.

– Кушай, соколик, тебе расти...

– И умнеть!.. – мимоходом заметил бригадир.

Митенька кушал, краснел, косо поглядывая на повариху, а когда она особенно шумно вздохнула, взмолился:

– И что вы, тетенька, на самом деле! ..

А у Данилова ложка из рук валилась, только усилием воли заставил себя есть. Когда же пришел домой, почти не сгибаясь, упал на кровать. А потом долго не мог найти место ноющим рукам. Почти со страхом думал, что ведь и завтра и послезавтра нужно будет идти на смену, снова долбить, перекидывать уголь, заколачивать стойки, бурить. И тут впервые в душе его шевельнулось что-то похожее на зависть к настоящим шахтерам, и труд их представился сейчас сплошным подвигом. Мелькнула тревожная мысль: «Выйдет ли из меня что-нибудь?» И хотя он тут же решил, что выйдет, что он во что бы то ни стало будет шахтером, успокоиться все же не мог. И сна не было. Когда в окно заглянуло багровое солнце, он встал и, морщась от боли в руках, оделся.

Конечно, он сейчас пойдет к Тоне, потому что какой же отдых без этого? Острое беспокойство

охватило его. Он заторопился. По улицам почти бежал. Только ступил в знакомый узенький переулок, как из огорода окликнули:

– Молодой человек!

Это была мать Тони – Мария Тихоновна. Она подошла с явной неохотой и, положив на сухой плетень смуглые руки, тяжело оглядела Данилова. На ней была все та же старенькая козыночка, надвинутая к самым бровям.

Данилов порывисто шагнул ей навстречу.

– Мария Тихоновна! Как Тоня?.. Я ведь не мог вчера... Понимаете, такая работа...

– Не тревожьте доченьку, – глухо перебила женщина, лицо ее на секунду потеплело, но сейчас же снова стало замкнутым. Договорила она жестко, полуприкрыв глаза: – Заказана вам дорога к Тоне... – Она убрала руки с плетня, поправила косынку и устало повторила: – Заказана вам дорога к Тоне... Не тревожьте доченьку. – И пошла, сгорбившись, в дом.

Данилов проводил ее долгим, сразу затосковавшим взглядом и прислонился к плетню. Над землей тлели бесцветные сумерки, прямые дымочки поднимались над улицами. Густели сумерки, а Данилов, не отрываясь, смотрел на домик Липилиных. Давно уже за крестообразным переплетом Тониных окон вспыхнул зеленоватый свет. Прикрыв на минуту глаза, припомнил обстановку в ее комнате, каждую вещичку, к которой она прикасается. Как он привык ко всему этому! Да, он приходил сюда каждый вечер в течение этих коротких недель. Сидел часами, пока Тоня, засыпая, не говорила:

– До свидания, Степа... Я тебя увижу во сне.

Темные крылышки ее ресниц коротко вздрагивали, как после полета, и успокоение ложились на чистую белизну щек. Иногда он сразу же уходил, но чаще оставался у постели девушки, прислушивался к её дыханию, к осторожным шагам Марии Тихоновны за перегородкой. Временами в такие минуты он чувствовал глухую неприязнь к матери за ее постоянную к нему настороженность, за настойчивые попытки разгородить собой его и Тонину жизни.

Бывали дни, когда Тоня чувствовала себя бодро, когда боль в глазах не донимала ее. Тогда она вставала с постели и, опираясь горячей слабенькой рукой о плечо друга, выходила на ули-

цу. Как-то ей захотелось побывать на пригорке: «Поближе к солнцу», – сказала она. Он взял ее за руки, и они медленно прошли по улице. Степан видел только ее сияющие глаза и какое-то притихшее лицо. У него гулко стучало сердце. Он даже не заметил, как несколько встречных шахтеров почтительно уступили им дорогу, не слышал, как один из них сказал:

– Вот счастье!

А Тоня услышала это и весь день была задумчива.

Они долго сидели на пригорке. Над их головами, в хрустальной глубине, плыли, неведь куда, тысячи серебряных паутинок с белыми узелками. Внизу раскинулся городок, обласканный полуденным теплом и свежим дыханием ветра из горных долин, поднявший в густо-синее небо вышки копров, конусы породных отвалов.

Данилов вслух читал городскую газету, потом рассказывал о неудачах Рогова на производстве и наконец спросил у Тони, хорошо ли ей. Она ответила коротко;

– Нет. Мне всегда хочется ходить рядом с тобой. – А через минуту пылливо глянула на него: – А тебе?

– Мне? – Данилов удивился. – Зачем ты спрашиваешь? Я же здоров, как... не знаю кто, и ты со мной.

– Ты счастлив?

– Тоня!..

– Ты счастлив?

Он подумал с минуту и, не опуская глаз под ее строгим, требовательным взглядом, сказал:

– У меня счастье наполовину... И хорошо мне, что я с тобой, и тяжело, что ты... За тебя тяжело. Тоня покачала головой.

– Это неправда, Степа. Счастье не может греть с одной стороны.

– Тоня...

– Не может! – голос у нее зазвенел и оборвался, она словно угасла и тут же попросила несмело: – Прости, Степа, я не буду об этом...

А через час она снова слегла в постель, снова слепящая боль отуманила ее память. Данилов сидел допоздна, а когда собрался уходить, на крыльце его остановила Мария Тихоновна и впервые наговорила ему много тяжелого, неожиданного.

Не думает ли он, что его частые посещения вредно отражаются на здоровье доченьки. Ей ведь покой нужен, абсолютный покой. А он что делает? Он зовет ее на какие-то просторы, он поднимает в ее сердце невесть какие желания. И к чему все это? Чтобы окончательно обессилить человека? Но ведь у Тони есть мать, и она ни перед чем не остановится, чтобы огрadyть свое дитя.

– Не топчитесь вы на чужом горе! – сказала Мария Тихоновна.

С минуту Данилов стоял тогда, согнувшись под тяжестью этой неожиданной беды, а когда молчание стало невыносимым, спросил внешне спокойно, только шепотом:

– А как же мне жить... без Тони?

Мария Тихоновна хотела, наверное, ответить: «Живите. Нас это не касается», но голос у нее перехватил – такая беспредельная тоска глянула на нее с лица Данилова.

Он и на завтра пришел и опять стал бывать каждый день, словно и не было у него разговора с матерью. Тоне становилось то хуже, то лучше. Навещали врачи. Их было двое – маленькая, с острым личиком, Антонина Сергеевна, терапевт, и хирург Ткаченко. Данилов заметил, что руки у Антонины Сергеевны были ласковые, чуткие, что прикосновение этих крошечных, с виду некрасивых рук успокаивало девушку. Ткаченко был шумлив, дотошен и интересовался не только состоянием пациентки, но и тем, что и кто ее окружает.

Врачи недолюбливали друг друга. Это не бросалось сразу в глаза, но стоило только прислушаться к тому, что каждый из них говорил, как относились они к недугу девушки, – становилось ясно, что эти два разных по характеру человека совершенно по-разному подходят к своим задачам.

Антонина Сергеевна двигалась бесшумно, словно плавала над землей. Когда являлся Данилов, она смотрела на него строгими, немигающими глазами и часто повторяла шепотом:

– Ти-ише! Не топайте так сапожищами!

А Тоню упрасивала:

– Голубушка, самое главное: абсолютный покой, самое главное в вашем положении – умение выключить себя из всех забот.

Данилов проникся к Антонине Сергеевне благоговейным уважением, в ее присутствии ходил на носках, кашлял в ладошку и даже дышал вполсилы.

Однажды он застал у постели больной Ткаченко; был он какой-то порывистый, с угловатыми движениями – этот не кашлял в ладошку, не просил тишины. Познакомившись с Даниловым, он почему-то обрадовался и тотчас устроил ему форменный допрос.

– Тоже снайпер? И какой счет, позвольте? – А услышав, что у Данилова на счету триста девять гитлеровцев, встопорщился: – И все напывал?

– Как правило, – подтвердил снайпер,

– Нет, вы знаете что-нибудь о таком правиле? – Ткаченко суматошно оглянулся на Тоню, но та лежала, полуотвернувшись к стене.

Когда шли от нее, Данилов осторожно спросил:

– Как, доктор, дела?

– А вы кто ей будете? – неожиданно отозвался тот.

– Я? – Степан заглянул в его строгие в эту минуту глаза. – Я люблю ее, доктор, она мне дороже жизни!

Ткаченко неопределенно помахал перед собой рукой, потом сжал кулак и почти закричал:

– Правильно делаете! Любите ее да не втихомолку, а чтобы все люди об этом знали! Вы же солдат, шахтер, у вас молодое, сильное сердце, ну и зовите ее в жизнь – в этом все дело. – Он помолчал и заругался: – Черт, не прощу себе, что немного опоздал, а потом проглядел, как эта Антонина Сергеевна опутала, оплела девчонку своей тишиной, шепотом. И мамаша вот, глядя на нее, свихнулась, готова отгородить свою дочь перинами даже от солнца, Вот глупистика!

Прощаясь, он еще раз напомнил:

– Степан Данилов, вы тут сейчас можете сделать больше, чем десять профессоров. Слышите? Вы приходите к Тоне из большой жизни, от таких людей, которым весь мир завидует. Ну и тащите ее в эту жизнь, расправляйте ее силенки! Надейтесь, – в вас должен быть такой талант.

– Такого таланта у меня на батальон! – пошутил Данилов и с тех пор стал «тащить» Тоню

в жизнь. В этом не было ничего нарочитого, надуманного, все шло от сердца.

А на шахте с каждым днем становилось все труднее.

Часто Данилов злился на себя: когда же придет привычка к необычному для него труду, когда же вместо мучительного нытья, в руках, в каждой косточке он будет чувствовать просто приятную усталость, удовлетворение?

Тоня иногда спрашивала:

– Ну, как у тебя, Степа? Ты привыкаешь?

– Привыкаю, – торопливо соглашался он, – а то как же!

– Тебя хвалят шахтеры? А я, знаешь, во сне видела, что тебя комдив вызывал и хвалил перед строем за то, что ты хороший, знаменитый шахтер. А я думаю: «Какой же он шахтер? Он же снайпер».

– Насчет того, чтобы хвалили, – слабовато... – признавался Данилов. – А мне нельзя больше так работать, понимаешь? Бригада-то моего имени! И знаешь, какие люди? Горячие, добрейшие парни. Вчера вон собрание было. Президиум избрали. Такой-то стахановец, такой-то, а потом: Герой Советского Союза Данилов. Не сказали, что стахановец, а я хочу как раз этого – уже не могу иначе! Потом сидел в президиуме и думал: вот встанет скоро Тоня, вместе будем ходить на такие собрания, – пусть слышит, как обо мне говорят.

Щеки у Тони розовели, она вздыхала и медленно выговаривала:

– Хорошо, Степа, с народом, тепло. Ты ведь веришь, что я буду с тобой, вместе со всеми?

Он верил в это и вот до чего дожил: «Не тревожьте доченьку... Не топчитесь на чужом горе!»

Это Степан Данилов топчется на чужом горе? «Эх, мама, мама, как только у вас язык повертывается...»

ГЛАВА XXVI

Данилов подождал с полчаса Рогова и лег спать. Но и тут постигла неудача – сна не было. Пришлось встать, уже второй раз после смены. Вскипятит чай, все приготовил к ужину, но и ужинать расхотелось. Постоял у окна, глядя

сквозь заснеженное стекло. «Что-то сейчас Тоня делает? Плохо, Тоня, с твоим солдатом, ой, как плохо!»

Где-то за скользящей сеткой крупных снежинок мелькнули шахтные огни. Шахта... Данилов вдруг круто повернулся и, торопливо одевшись, выскочил на улицу.

Шахта! В первый раз за эти недели он идет к шахте за помощью, за советом. Какая-то будет она в эти минуты? Такая же суровая, требовательная, как и в часы труда?

По дороге увидел огонек в окне у секретаря. Решил зайти к Бондарчуку, поговорить с ним по душам.

Бондарчук был один. Медленно поднял крутолобую голову от книги, устало улыбнулся.

— Читаю и прислушиваюсь к тому, что в шахте делается. Садись, Степан.

Данилов разделся, сел и сказал:

— Извини, Виктор Петрович, решил зайти к тебе, что-то туманно у меня на душе. Хотел поговорить... — Помолчал и вдруг спросил: — Как думаешь, Виктор Петрович, что такое счастье?

— Счастье?... — Бондарчук заложил книгу линейкой, закрыл, быстро перепустив страницы, потом прошелся вокруг стола, следя за своей угловатой тенью на стене. — Трудный ты мне вопрос задаешь, Степан. Может быть, подумаешь и сам ответишь?

— Я думаю, я все время думаю.

— И все ищешь это счастье?

Степан тряхнул головой.

— Чего мне искать, я хочу понять его.

— Ну, что ж... Счастье ведь всякое бывает.

— На всякое не согласен.

Глаза у Бондарчука прищурились.

— Но ведь счастье это у тебя в руках. Неужели не испытываешь?

— Испытываю. — Степан лег грудью на стол. — Трудное оно, Виктор Петрович. Иной раз даже и в лицо не узнаешь.

— Трудное... Это ты правильно сказал. Настоящее счастье — трудное счастье. Но еще труднее бывает его увидеть во весь рост. Счастье, по моему, в единстве с народом, в борьбе за народ... И еще в том, чтобы рассмотреть сквозь будни

великое завтра, чтобы носить это завтра в своем сердце, в крови. Понимаешь, Степан? Вот мы шли на запад, и почти у каждого было такое чувство: прошел километр — и позади на этом километре теперь можно и любить, и родить, и хлеб сеять — все можно. И самое главное — жить по-человечески. Вот что! Жить! А теперь? Теперь мы и сердцем, и хваткой солдаты!

Степан подхватил:

— Я солдат — это так. Но мне все кажется, что за главное-то я и не ухватился в жизни. Вот шахта... Ну, что такое я для шахты? По-моему, человек должен быть там, где нет ему в эту минуту замены. А я... смотри! — он рывком выбросил перед собой руки — на ладонях багровые пятна мозолей.

Бондарчук мягко улыбнулся.

— Значит, шахта не по душе?

— Скорее, не по рукам. Ты говоришь: «Счастье у тебя в руках», а мне приходится держаться за него зубами: такими руками сейчас ничего не удержишь!

Не спуская с парня испытующего взгляда, но тоном обыденным, безразличным Бондарчук сказал:

— Был у меня сегодня такой разговор о тебе... Вижу, что трудно. Но ты сам-то как думаешь, есть для тебя замена у черепановцев?

— Замена?

— Да, ты же сказал: «Человек должен быть там, где его трудно заменить».

— Не-ет... — Степан медленно выпрямился, потом быстро встал. — Об этом мне и думать заказано, если бы даже пришлось стоять насмерть... Как в бою! И сейчас я не о себе хочу сказать.

Он пересел поближе к парторгу и, очень волнуясь, рассказал о своем и Тонином горе. Но хотя там и стала поперек пути мать, Тоня все равно должна слышать голос живой жизни. Только как это сделать, чтобы по-хорошему, по-человечески?

За все время, пока Степан сбивчиво рассказывал обо всем этом, Бондарчук и словом не обмолвился. Лицо его оставалось спокойным. Только в карих глазах мелькало то удивление, то горячая заинтересованность.

— Дальше. Не волнуйся.

– Чтобы по-хорошему, по-человечески! – настойчиво повторил Степан.

Бондарчук молчал с минуту, потом будто нашел нужную мысль, откинул голову и поглядел на Данилова повеселевшими глазами.

– Степан, тебе очень тяжело доставалась работа в забое?

– Очень.

– Но ты преодолеваешь?

– Преодолеу уже.

– Ну, а если бы ты один под землей копался и не было бы никого кругом, ты бы стал преодолевать?

– Ради чего же? Ради мозолей, что ли?

– Вот то-то и оно! Ты был с народом, ради него ты и кровянил себе ладони. А ей одной каково преодолеть болезнь? Так что – поправка маленькая, Степан: Тоню нужно вырвать в нашу большую жизнь! Не ходи, Степан, вокруг да около – женись на Тоне!

– Жениться?

Степан удивленно глянул на парторга, задышал часто и, тут же поспешно собравшись, вышел. А минут через двадцать, как-то незаметно для себя, оказался у домика Тони. Постоял немного, потом оглянулся, словно заново услышал слова Бондарчука: «Женись на Тоне!»

Ночь, снег падает крупными хлопьями. Зеленовато светятся окна в знакомом домике. И вдруг из бесшумного снегопада вынырнул Григорий Вошин. Степан съежился, стараясь остаться незамеченным, но Вошин остановился и, подавая в темноте папиросы, спросил буднично:

– Вечеруешь? Закуривай, Степа.

Данилов торопливо затаился и, чтобы поддержать разговор, сказал что-то такое о погоде.

– Сегодня тетка Мария опять жаловалась моему отцу, – перебил его Григорий, – а тот рассердился и побежал к Рогову, говорит: людям насмешка.

– Насмешка? – не то съязвил, не то переспросил Данилов. Резко выпрямившись, он почувствовал себя по-прежнему сильным, самостоятельным человеком. Оглянувшись на окна Липилиных, он скороговоркой, приглушенно сказал: – Мне отсюда до Тони рукой подать... В случае чего...

Григорий постоял молча, потом как-то коротко передохнул, сильно стиснул руку Степану и признался:

– Я ведь все понимаю... Помнишь, тогда еще в поезде – боялся я тебе эту правду сказать. А теперь что ж, болит за вас сердце. Но вы же оба сильные люди – выберетесь. А если нужна будет помощь – зови меня.

Шел десятый час вечера, а собранию все конца не было видно. Двенадцать ораторов выступило, точнее – двенадцать выступлений было выслушано, при шести присутствующих, в том числе один раз говорил Рогов и три раза Митенька на правах председателя. Председатель измотался, вид у него был осовелый. Регламент давно расхватали, все надбавки тоже – осталось только поглядывать на часы.

С первым пунктом повестки разобрались быстро, туг двух мнений не было – бригада должна быть записана в письмо Иосифу Виссарионовичу, на подписи имеют права все – в этом никто не может сомневаться. Черепанов перелистал блокнот и, называя фамилии, перечислил, сколько каждый из них сделал за последние три месяца: Сибирцев, Лукин, Алешков – двести десять процентов, Черепанов – двести восемьдесят, у Голдобина немного слабее, всего сто семьдесят, так ведь такой характер у человека – это нужно принять во внимание. И дальше...

А дальше бригадир сделал паузу, и как-то сразу все догадались – почему,

– Ну, что ж ты? – поторопил Рогов. – Продолжай! Дальше у тебя Степан Данилов.

– Дальше Степан Георгиевич... – Черепанов запустил ладони в темную шевелюру.

– Ну и сколько же у него? – спросил снова Рогов, хотя наперечет знал почти все смены Данилова.

– У него уже к ста двадцати подходит.

– Только-то! – начальник шахты неприметно улыбнулся. – И почему «уже», если это самая малая выработка в бригаде?

– Вишь чего! – негодуяще выкрикнул Митенька. – Самая малая!

И все разом заговорили, замахали руками. Как это Павел Гордеевич не поймет, что Данилов всего второй месяц в шахте, как же он может

равняться с тем же Черепановым, который целый год самостоятельно ходит в забой? Потом, кто же не видит, как Степан Георгиевич тянется изо всех сил, не дает себе ослабнуть ни на один день и от этого ему еще труднее?

Черепанов рассказал про один случай в конторе: – Расчетчик посмотрел на замеры, потом на Степана Георгиевича и спрашивает: «Какой вам смысл, товарищ Герой, в забое мотаться, у вас же определенные заслуги перед родиной?» Степан Георгиевич посмотрел на него, как на пустое место, отвернулся и пошел. Конечно, не будь я в шахтерском звании, вытащил бы это чучело из окошечка и написал бы на его шкуре, сколько он стоит.

Сибирцев трубно откашлялся, что у него означало высшую степень взволнованности, и сказал:

– Не дам в обиду. Сам учу, все вижу. Не дам!

Трудное дело взвалил на свои плечи Сибирцев, вызвавшись обучить такого новичка, как Степан Данилов. На шахте они были очень заметной парой. Рядом с гибким, по-солдатски подтянутым Даниловым, непокорный белый вихор которого часто теперь был вымазан углем, Сибирцев выглядел особенно тяжеловесным, угловатым и непомерно рослым. Однако, несмотря на это, он с первых же дней побаивался солдата и, вместо того, чтобы распорядиться по праву старшего в забое или коротко разъяснить что-нибудь, нерешительно мялся:

– Степан Георгиевич... как бы это проверить?..

Данилов вначале не догадывался, в чем дело, а поняв – рассердился и выговорил забойщику напрямик, чтобы он не мудрил, не сватался.

– Ты эти штучки брось, – сказал он, – я ведь не девица, чтобы вокруг меня увиваться! Понятно?

Сибирцев мало-помалу освоился, заговорил в полный голос. Правда, его еще и сейчас охватывала некоторая оторопь, если Данилов вдруг прикрикивал:

– Слушай-ка, начальство, что ж ты от меня всю работу загораживаешь?

Но на остальных членов бригады Сибирцев поглядывал свысока: как-никак, а единственный

на весь рудник Герой ходит у него в помощниках. Наконец он до того окреп в самомнении, что однажды наотрез отказался присутствовать на комсомольском собрании бригады, сославшись на то, что он со Степаном Георгиевичем условился обсудить какие-то неотложные вопросы.

– Ладно... – зловеще согласился Черепанов, – Мы еще просветим ваши вопросы!

Отозвав назавтра Данилова в сторону, он коротко изложил существо дела.

– Вопросы? – удивился Степан и, вспомнив, что вчера, как обычно, пробыл целый вечер у Тони, сказал: – Ничего, кое-какие вопросы мы с ним все же обсудим!

В забое же спросил у напарника:

– Как у тебя... с враньем?

– С каким враньем? – удивился Сибирцев.

Но тут же угадав по тону помощника, что разговор на такую скользкую тему ничего доброго не предвещает, выкрикнул:

– Я же велел крепь ставить в нижнем уступе, а вы!..

Данилов смолчал и в течение всей смены прилежно обрубал и заколачивал стойки, даже тихонько насвистывая, с удовольствием отмечая про себя, что у него не так-то уж плохо получается. Но зато в мойке, с глазу на глаз с Сибирцевым, он отвел душу, начав напрямик:

– Так вот, насчет вранья!..

Он долго говорил, развивая вопрос о вранье в различных, довольно неожиданных положениях, говорил до тех пор, пока Сибирцев не завопил, вспугнув старушку-уборщицу, мирно дремавшую на табуретке:

– Невозможно это, Степан Георгиевич!

– Что невозможно?

– Чтобы вы ушли от меня! Опозорили чтобы!

Данилов холодно оглядел напарника.

– Я еще подумаю...

После этого случая в бригаде тихонько подсмеивались над Сибирцевым:

– Ну, как, Гоша, обсудили некоторые вопросы?

Забойщик виновато улыбался, но к Данилову проникся еще большим уважением и если сейчас говорил: «Не дам в обиду!» – говорил искренне.

– Значит, будем просить шахтеров, чтобы нам разрешили всей бригадой подписать письмо? – спросил Черепанов и покосился на Митеньку.

Тот спохватился, постучал большим плотничьим карандашом по графику.

– Кто «за»?

«За» были все.

– Не курить! – прикрикнул Митенька на Саньку Лунина, заметив, что тот дымит в кулак, и тут же огорченно посетовал: – Придется, товарищи, закрыть собрание, докладчик по второму вопросу не явился.

Речь шла о Хмельченко, которого внезапно вызвали в горком и, очевидно, задержали. Собрание действительно можно было закрывать, но тут снова подал голос бригадир. Председателю пришлось только руками развести – как ни крути, а заговорило начальство.

Черепанов начал с того, что разобрал последнюю смену, когда работали сообща. Ему не понравилась смена, по крайней мере некоторые существенные детали. На деталях бригадир сделал ударение и, заметив, как Алешков суетливо отвернулся, потребовал:

– Ты не вилай, смотри мне прямо в глаза, как подобает комсомольцу! Смотри в глаза и отвечай: кто это тебя учил так безобразно крепь ставить? Молчишь? Тогда я отвечу: лень-матушка. И я не понимаю... – Черепанов повернулся к Рогову, – не понимаю, Павел Гордеевич, как это мы позволяем себе такие упущения? Говорим каждый день, пишем в газетах: «Стахановский опыт», «Нужно наладить обмен стахановским опытом», но это же вообще, а стахановский опыт – целая куча таких мелочей, которые сразу и не заметишь. По-моему, и у нас в бригаде кое-кто заноситься стал: как же, мы, мол, стахановцы, нам все нипочем? Враки все это. Смотрю сегодня, как Саенко пластается в просеке, – и смех и грех! Нет, чтобы уголь постепенно перепускать, он нарубил его столько, что целая гора позади образовалась, сам еле выбрался из забоя и кряхтел целый час. Нет соображения, нет этой... плановости, о которой прошлый раз говорил Павел Гордеевич. Если бы Саенко чаще перепускал уголь, он бы на только очищал рабочее место, но и менял бы положение

своего тела в забое, тело бы отдыхало, силы сохранялись...

Или из верхней просеки лесогонны кричат: «Принесли крепежник!», а уважаемый Митенька отвечает: «Оставьте там, понадобится – возьмем». Это где же там, я спрашиваю? Там – это нигде. Митенька в добрые вошел к лесогонам: «Хорошие, – скажут, – эти комсомольцы, покладистые!» Только такая доброта боком для работы вышла. Я заметил, что мы на перепуск крепежника затратили не меньше часа. Нерентабельно!..

Черепанов сказал это непривычное для себя слово и вопросительно глянул на Рогова: «Может, не то слово?»

Рогов торопливо закурил. Взволновал его весь этот вечер у комсомольцев и особенно последнее выступление бригадира. Праздничный вечер! С высоты такого вечера проглядывались удивительные дали, о которых месяцев шесть тому назад даже и не мечталось. Что-то нужно было сказать молодым шахтерам, чтобы согреть их прямые светлые души. Но в этот момент вошел Данилов, стряхнул у порога снег с шапки, разделся.

– Садись, Степан Георгиевич, – пригласил Черепанов и строго добавил: – Подзапоздал малость, заканчиваем.

Степан присел рядом с Роговым, поглядел на него» на забойщиков, и теплые токи тронулись в его сердце. По взглядам Рогова, Черепанова, по глухому покашливанию Сибирцева, по умным веселым искоркам в глазах Митеньки он понял, что вся его простая, нелегкая жизнь как на ладони перед товарищами. Рогов положил крупную горячую руку ему на колени, сказал вполголоса:

– Надо поговорить, Степа. Вечером потолкуем.

Рогов ушел – его ждали дела в шахте. Митенька быстро приготовил ужин, что, по его мнению, тоже входило в обязанности председателя, потом принялись за чаепитие.

Глядя на лица товарищей, которые стали ему так же близки, как когда-то друзья на войне, Степан видел, что все сочувствуют его беде, только не знают, как помочь. Они даже ждут от него

слова о том, что делать, готовы поддержать, ободрить.

И неожиданно для себя, оставив стакан с чаем, Данилов сказал:

– Товарищи, хочу рассказать вам про один случай. Тут кое в чем разобраться вместе требуется. Я тогда еще не снайпером, а разведчиком был.

Вцепились мы тогда в левый берег речушки и ни шагу назад. До боев были на этой земле сады, деревни с белыми избами, а потом ничего не стало. Огонь фашистов все пожег. Но наши люди так крепко встали – ничем не отдерешь. Трудно было...

Степан пригладил волосы, рассеянно оглядел комсомольцев и на секунду плотно сжал губы.

– Наш полк стоял на длинном крутом увале – вокруг ни дерева, ни кустика. Позади нас, в четырех километрах, река, перед нами болото, за ним снова рыжий увал и поперек его, устьем к нам, узкий овраг. Бывало накопятся немецкие танки или самоходки где-то в излучине оврага, а потом выскочат в устье, развернутся веером. Житья никакого не было. Мы же на виду, а бьют они прямой наводкой. Десяток НП сменили, но от огня не ушли.

Как-то утром, после беспокойной ночи, вызывает меня комбат Павел Гордеевич. Глянул я на него и прямо ахнул: вот уж кого действительно измотал этот плацдарм. Вы же знаете, что Павел Гордеевич – человек крепкий, а тогда, за эти три недели, лицо у него ссохлось, задубело, глаза щурит, как будто глядит против солнца. А так спокоен, голосом ровный. Когда шли по ходу сообщения, он сорвал на бровке желтый цвет люпина, помял в пальцах, понюхал и вроде как усмехнулся. Я еще подумал: «Не иначе, письмо получил». Получал он эти письма чуть не каждую неделю, а от кого – только теперь я узнал.

Степан вздохнул мечтательно.

– Эх, ребятки, знали бы вы, как хорошо письмо на войне получить. Мне вот никто не писал. Но один раз старшина дает кисет – подарок от земляков. А в кисете записка: «Дорогой товарищ, мы помним о тебе. Желаем здоровья и скорой победы. Оля и Вера». Я ту записку вместе с комсомольским билетом носил.

Во-от... Вышли в тот раз до боевого охранения. Попыхал комбат самокруткой, пощурился на немецкую горку, а потом показывает на устье оврага: «Знаешь эту щель?» – «Знаю, – говорю, – как же... На свету оттуда вернулся».

Павел Гордеевич кивает: «Хорошо. Приказал хозяин запечатать эту дыру. Поведешь сегодня туда минеров. Только чтобы наверняка, наглухо». Когда будет заминировано, проберись к мертвому танку и разведай положение у противника.

Часа четыре пролежал я у амбразуры – заново подступы к оврагу изучал. Насчет работы на войне у меня всегда нюх был верный, – так вот и в тот день, вижу, попыхтеть придется. Принесли ужин. Выпил я свои сорок шесть граммов спирта. Выпил, закусил и лег спать тут же, под низким накатом из жердочек. Уснул, и словно бы через минуту будят меня, но это только показалось, что через минуту, а на самом деле была уже ночь. И такая теплая, в звездах и без стрельбы. Ветерком умыло меня, и от потайного костра нанесло горький березовый дым. Моих саперов я нашел в развилке траншеи. Сидят у стеночки, в рукава курят.

Спрашиваю: «Дышите?» – «Дышим». – «Ну, дышите, – говорю, – потом некогда будет. Да показывайтесь, сколько вас, какие вы?» – «Дюжина», – отвечает кто-то тоненько, а второй возражает: «А товарища санинструктора забыл?» – «И то правда. Тринадцать, выходит».

Командовал саперами старшина. Наскоро познакомились. Как следует, конечно, не видать, но когда всмотрелся, вижу – народ крепкий, с такими воевать веселей. Рассказал про путь-дорогу. Старшина поторопил: «Все ясно, сержант. Давай трогаться».

На ничейную землю выползли в боевом охранении. Обошли свое минное поле и потом в низину. Двигались не очень скоро – каждый сапер тащил по шесть противотанковых мин. Да я и не торопил – ночи в августе длинные. Осталось уже совсем недалеко от устья оврага, когда над нами щелкнуло и повис первый фонарь. До смерти не любил я эти фонари – свет от них как будто на плечи давит, к земле прижимает. Большая тренировка нужна, чтобы при таком свете

двигаться. Правда, мы со старшиной пользу от этого получили – определились точнее, прикинули, как ловчее пробраться к нужному месту. А немцы словно почуяли нас – пулеметами догонять стали. Шальные очереди так и буравят, землю вокруг нас щупают. Старшина всего один раз пожаловался, когда его забрызгало болотной грязью: «Черт их возьми... У них нервы, а я вот ползай арап-арапом».

С самого начала я нацелился к трем подбитым немецким «тиграм» – это их здесь наши пушкари настигли. За их броней нам была обеспечена некоторая свобода маневра. Саперы отдохнули, но немного. И успел только сползть к оврагу, а они уже за «посев» принялись. Работали тихо, без стука, без звяка, но очень быстро. Наконец старшина говорит: «Разведчик, играй отбой. Сейчас вот Антон Федорович Помилуйко вернется, и тронемся. Он в самом овраге нескольких «попрыгунчиков» поставил – сами же немцы их делали, вот и пусть нюхают, чем это пахнет».

Прошло несколько минут, и наконец недалеко показался солдат. «Антон Федорович, – шепотом позвал старшина, – поторапливайся!»

И только он успел позвать, как черт дернул какого-то нервного немца пустить ракету над самыми мертвыми танками – я различил даже купол небольшого парашюта, на котором она повисла. Не знаю, увидели немцы Помилуйко или нет, только цветная пулеметная очередь ударила как раз по нему. Солдат охнул, потом еще раз и тут же протяжно закричал. Каждый, кто воевал, знает, что так кричать может только тот, кого смерть настигла.

«Антон Федорович!..» – старшина рванулся вперед, но я прижал его к земле.

Он мне шепчет: «Что ты? Человек смерть принимает...»

Разве я хуже старшины это знал? Но толку-то что, если и второго на том же кругу ударит? А немцы всполошились по-настоящему. Услышали, видно, голос солдата. Поднялось сразу до десятка ракет, мины взвыли. Наши услышали эту музыку и тоже – такого огонька дали! Уму непостижимо, сколько полетело железа над нашими головами. Но товарищ умирал совсем рядом, и мы не могли помочь ему в эту минуту.

А надо было помочь, и не было у меня никаких сроков, чтобы подумать.

Старшина не вытерпел, спрашивает: «Что ж ты?»

Я только рукой махнул. Толчком выскочил из-за танка и в один вздох проскочил сорок метров до раненого. Упал рядом. Очень плохо у мужика: запрокинул он голову между кочками и тихонько стонет. Поправил его, он вскрикнул. Рука у меня липкой стала. Такая обида сдавила меня, дышать нечем. Человек свет белый видел, за жизнь дрался и вот упал среди поля. И гордость во мне поднялась, что я рядом с ним, что никуда не уйду. Такое решение принял. Позвал его: «Антон Федорович...»

А он шепчет: «Пи-ить...»

Я его попросил потерпеть, а сам тороплю себя. Ну, как тут быть? Тронуть солдата нельзя – закричит в беспамятстве. А на мне тринадцать человек. Но и оставить его тоже нельзя, об этом даже и не думалось...

Потом у меня мысль мелькнула. Горькая мысль, но тут уж приходилось изворачиваться. Рванулся снова к саперам. Дохнул поглубже и говорю старшине: «Плохо, друг. Тело не вынесешь. Видел, как я сигал? Не дают черти шевельнуться. А ждать невозможно. По-моему, нас обходят. Веди взвод обратно. Да торопись».

Но сапер только головой замотал. Тогда я официально нажал на него: «У меня, – говорю, – другая статья. У меня с вами только полдела, я дальше пойду. А ты теперь знаешь дорогу. Торопись!»

Старшина решил, за руку тронул: «Счастливого тебе. А за телом Антона Федоровича мы придем! Ох, пусть поберегутся, сволочи!»

Я выждал, пока саперы скрылись в кочкарнике, и только тогда вздохнул свободнее. Сбросил всю лишнюю амуницию под танки, осторожно добрался к раненому. Он уже, наверно, всю кровь потерял, но слышал, что кто-то живой рядом, забеспокоился, зашептал: «Умру... по-пить...»

Сколько трудов принял, чтобы положить его на себя и особо не потревожить. Но еще в самом начале он охнул и весь ослаб. Минут десять полз я с ним к танкам. Вымок весь. Устроил его под машину. Тянусь за гусеницу к вещемешку,

и... что такое? Попадает мне под руку чья-то нога в сапоге. Живая нога. Сперва просто удивился, но тут же догадка полоснула: немец! Перекатываюсь в сторону, дергаю автоматом и кричу тихо: «Хальт! Нишкни, стервец!» – «Да это я, Тоня Липилина...» – отвечает женский голос.

Я оторопел: «Что-о? – говорю. – Тоня? Какая еще к чертям Тоня? Что за штучки? Не шевелись!» – «Да я не шевелюсь... – говорит эта новоявленная Тоня. – Я же санинструктор, вместе с саперами была, вы меня не заметили...» – «Ах, была! – Мне казалось, что я готов разорвать этого санинструктора. – Но почему приказ нарушила? Почему с разведчиками не отошла? А если там кого подранят?»

Она отвечает резонно: «Там, может, и не подранят,, а здесь вот случилось... Разрешите, я осмотрю его?»

Я только рукой махнул. Нехорошо получилось, нескладно. Но я не успел раскинуть мыслями, как Тоня опять зовет: «Товарищ сержант... Вы слышите?» – и всхлипывает.

Кольнуло сердце: Антон Федорович! Припал ухом к его груди. Слышу, что бьется солдатское сердце слабо, но бьется. Значит, спасать надо. А санинструктор шепотом вскрикивает: «Ой, немец!»

Снова ракета вспыхнула. Оглядываюсь. На самом деле: живой немец, и совсем близко. Выполз из-за кусточка и вытягивает по-гусиному шею, высматривает, а самое главное, появился он с нашей стороны – значит, путь отрезан. Мой одиночный автоматный выстрел почти и не слышен был в общем гуле. Гитлеровец сунулся в кочку, а девушка шепчет: «Ужас, что делается». Я хотел ответить, что это еще не ужас, но тут Антон Федорович вдруг вскинулся, застонал тоненько, землю стал щупать вокруг.

«Что ты? – спрашиваю. – Успокойся, ложись...» И он как будто услышал. Лег, бросил руки вдоль тела и больше не шелохнулся. Не стало на земле еще одного нашего человека.

«Опять! – подала голос Тоня. – Сержант, опять идут!...»

Но я уже и сам видел, что опять идут. Не идут, конечно, а ползут, и много. Теперь приходилось круто поворачиваться. Танк, под который

нас случай забросил, стоял передом на запад, а враг надвигался с юго-востока. Наскоро осмотрел машину. Передний люк открыт. Я щучкой нырнул в него. Щупаю. Рычаги, сидения, еще что-то такое, но помещение – лучше не надо. Да и выбирать-то не из чего. Зову девушку: «Устраивайся, – шепчу, – да ни-ни, и духу чтоб не слышно».

Прикрыл люк, заложился. Осторожно, в тьме кромешной переполз в боевое отделение танка. Там и расстояние-то метр какой, а сколько понакручено – того и гляди, шею свернешь. Умогнулся к орудийному казеннику. Нашупал задвижки верхнего люка и тоже завернул. Потом курить захотелось, но об этом приходилось только мечтать, – какой уж тут перекур, когда все так обернулось! Слушаю. Где-то вдалеке ударила пушка, застонал и охнул снаряд. Это наши тяжелые бьют... Стреляйте, – думаю, – только в своих не жажните. А вот немцы снова ракету бросили – в смотровой щелке свет закачался. Слушаю. Ага, шорох где-то за железной стенкой. И сейчас же говор послышался. Значит, немцы осмотрелись и теперь совещаются. Через минуту покарабкалась какая-то язва на броню. На сердце у меня теснота, но я пробую для собственного успокоения так с собой рассуждать: что ж вы, думаю, будете делать – постучитесь ко мне вежливо или косяки постараетесь вышибить? Или, может, подумаете, что этот дом совсем пустой? Однако все пока обошлось благополучно. Пошебаршил немец еще немного и скатился с брони. Тихо стало у танка. Сижу. Руки раскинул и как-то ослаб весь. Сижу и слушаю частый стук в груди. Мысли какие-то хозяйственные. Вспомнилась землянка, где отдыхал, плащ-накидка, у входа узенькая полочка под самым накатом и на ней котелок. А котелок прогорел, прохудился, заменить же как-то руки не доходят. Обязательно надо заменить...

И вдруг я спохватился: делать же что-то нужно, не погибать же? Ведь кругом немцы, если не сейчас, то утром обязательно стукнут. Прикидываю: а может быть, есть еще выход? Постепенно злость во мне поднимается, а уже через какую-нибудь минуту чуть не кричу: да ну ее к черту – смерть-то! Не буду я умирать и дев-

чонке этого не позволю. Пока гитлеровцы соображают против меня какой-нибудь блицкриг, время идет, и не может быть, чтобы я не извернулся. На том и решил. Припал к смотровой щелке. Но сколько ни смотрел, ничего разобрать не мог – темень и мелькание какое-то. Чувствую, трогают меня за ногу. Шепчу строго: «Что случилось?» – «Я думала, вам нехорошо, – отвечает девушка. – Может, вас зашибло?» – «Спасибо, – говорю, – мне очень хорошо».

Замолчали. И уже, наверное, на самом свету скрутила меня дремота. Я себя и так и этак уговаривал, даже пугал всякими разностями – нет, крутит, ломает сон да и только, и уломал. Вздрыгнул, как от толчка, и вижу: свет пробился в щелки, да ясный-ясный. Пора, – думаю, – что-то делать. Спускаюсь я в отделение механика, вижу: сидит моя незнакомая Тоня справа, в уголке, и не шелохнется. Спрашиваю: «Как чувствуете себя?» – «Ничего... – она пересела удобнее. – Пить очень хочется...»

Тут я нехорошо пошутил, чего никогда себе не прощу: «Придется, – говорю, – потерпеть, не имеется в помещении водопровода». – «Да нет, – отвечает, – это я так... Я потерплю».

Отодвигаю стальной щиток с триплекса. Он только наполовину отошел и дальше ни в какую. «Если можете, помогите мне», – попросил я.

Она выдвинулась из своего уголка, толкнула одной рукой рычаг, но толку чуть.

«А вы и второй ручкой». – «Не могу, – говорит, – я однорукая...» – «Однорукая?» – у меня даже сердце похолодело. – «То есть не однорукая... левую чем-то зашибло». – «Чем зашибло?» Она вздохнула: «Пулей, наверное... я не видела».

От этой неожиданности, что ли, силы у меня вдруг окрепли, и щиток отошел. Яркий свет брызнул в нашу железную клетку. Глянул я впервые на девушку и даже зажмурился. Лицо у нее как из камня из белого выточено, и на нем большие темные глаза. Пододвинулся к ней, тронул забинтованную руку. Тоня сморщилась и шепчет: «Ужас как больно. И... пить хочется».

«Пить!» – схватился за свою фляжку, в которой приберег для нее же немного воды на обратный путь. – «Пейте, – говорю, – все, нужно будет – еще достану». Напилась она, передает мне по-

суду и головой качает: «Так вкусно, что и не придумаешь».

Посмотрел я на нее еще раз, и меня вдруг догадка осенила: «Постойте-ка, – говорю, – так вы остались после того, как вас пуля ударила?» – «После...» – она попыталась улыбнуться. «Так что же вы молчали?» – «Я боялась помешать вам». – «Ох, – говорю, – как у нас вежливо все получается! Ну, ничего, потерпи, девушка, может, недолго».

Уже несколько дней назад ваши подтянули на плацдарм артиллерию разных калибров. С утра начиналась методическая гвоздежка по глубине противника, а часов так в десять пушки наваливались таким огнем на вражеский передний край – все прахом летело. Что если воспользоваться этой передерягой? Сквозь триплекс видно всякую мелочь. И так мне все запоминается, словно впервые смотрю на военную землю. Серой щербатой глыбой поднимается немецкий увал, и по нему пятнами разбрызганы копанины и черепашьи спины блиндажей. Досада меня разбирает: впереди всякие пейзажи наблюдаю, а то, что делается рядом, даже за танком – не вижу. А ведь для нас сейчас в этом была вся суть. Я же понимал: немцы не могли уйти, они ждут, на всякий случай. Я тоже ждал. И вот пошел первый снаряд, за ним второй взял высокую ноту...

Глянул на девушку, а она все по моему лицу угадала, вытягивает из кобуры маленький пистолет. Смешно с таким оружием воевать, «Подожди, товарищ, тут, я сигнал дам, тогда вылезешь». Падаю из люка и сразу же рядом: тюк, тюк! И снова: тюк, тюк! А еще одна – вжик! – шмелем ушла в сторону. Значит, правильно я думал, что караулят. Но сколько же их? Успею ли увидеть, прежде чем зашибут? Ощупываю взглядом каждую былинку, каждую кочку вокруг. Ага, один есть! Не иначе какой-нибудь лавочник. Голову спрятал за кустик, а зад как на ладони, – я его и задел по этому задку. Ох, как он взвился да заорал, и тогда я его совсем успокоил. Но сейчас же около меня еще два раза тюкнуло, а от третьей я головой мотнул – висок обожгло.

Меняю позицию, но разглядеть ничего не могу. Второй, видать, хитрее попался. Но я уже

вошел в азарт: все вижу, все слышу, о многом догадываюсь. Нельзя было медлить, потому что бог советской войны завопил в это время таким голосом – земля вздыбилась, и самая была бы пора уходить. Решил просто прорваться, но только приподнялся на локте, слышу – шуршат снаряды и прямо ко мне. Ошиблись ли наши пушки или еще что, но два стальных чувала ахнули метрах в пятидесяти. Скребнули осколки по танку, в голове у меня завихрение и колокольный звон. Еле очухался. Дал девушке сигнал. Стукнул в днище машины. Тоня в момент рядом со мной очутилась. Поползли мимо двух свежих воронок, и когда я увидел торчащие из черной земли ноги в коротких брезентовых гетрах, понял, что путь на самом деле свободен. Нужно было спешить, но я не торопил девушку. Ей было очень неловко с одной рукой. Она все медленнее и труднее ползла. В сырой ложбинке отдыхать стали. Тоня легла на правый бок и, покусывая былинку, как-то нехорошо смотрела перед собой. Я набрал между кочками коричневой водицы во фляжку, дал ей напиток, она глотнула разочек и головой покачала: «Не хочу».

Я считал, что мы уже дома, так как были почти у самого минного поля. Стали выползать в побитый кустарник. И тут Тоня прижалась щекой к жесткой травке и сникла. Я ее и спрашивать ни о чем не стал. Легкую, слабую вынес на позицию третьей роты. Тут ребята наши почти поссорились: каждый тянулся со своей фляжкой, со своей плащ-накидкой. Советов надавали целую кучу...

Вот и все... – Степан сжал в ладонях остывший стакан. – А потом мы еще несколько раз встречались... когда я снайпером был... Теперь Тоня на руднике. Плохо с ней...

Он оглядел комсомольцев, выпил залпом холодный чай и вдруг поведал о последних встречах с девушкой. Едва сказал, что Бондарчук советовал не весть подавать Тоне, а вырвать ее в большую жизнь, как Лукин перебил:

– Знаю! Разрешите... – он отмахнулся от Митеньки, который предостерегающе поднял свой председательский карандаш. – Не мешай! Давайте напишем Тоне, как мы живем. Можно через газету, а может, кто-нибудь из нас передаст, вроде как делегация...

Митенька даже подскочил.

– Я, конечно, могу сходить, что тут особенно-го... массовая работа.

Черепанов рассердился:

– Сиди! Массовая работа... к каждой бочке затычка! – Повернулся к Степану: – Лукин правильно говорит. Так и сделаем. А ты что думаешь?

– Я? – Степан глубоко передохнул и сказал просто, как о давно решенном: – Я женюсь на ней. Лечить буду.

ГЛАВА XXVII

У Воиных ждали гостей. Екатерина Тихонова захотела отпраздновать возвращение детей. Она хлопотала с Галей в столовой, откуда поминутно слышалось позванивание посуды и тихий говор. Девятилетнему Павлушке, уличенному в похищении некоторой части лакомств, категорически запретили являться к столу. Подогнув ноги калачиком и надувая пузырем щеки, он сидел на сундучке между шкафом и печкой, изредка восклицая:

– Вот это мысль!

Афанасий Петрович, украдкой поглядывая на сына, усмехался. Сам он и сегодня не нарушил давно установившегося порядка, который неукоснительно соблюдал, если вечерами удавалось быть дома. обстоятельно поужинав, около часа читал газету от передовицы до объявлений, и в это время шуметь в квартире не полагалось. Отложив газету, раскрыл свою долголетнюю памятную книжку и что-то медленно, с нажимом записал.

Григория все не было. Павлушка опять воскликнул:

– Вот это мысль!

– Иди-ка включи аппарат, мыслитель... – предложил Афанасий Петрович, из глубокого почтения к технике вообще называвший аппаратом все – от паровоза до электрического утюга.

Павлушка просиял, быстро перебежал кухню, бесшумно приоткрыл дверь в столовую и, хотя мать и сестра даже не заметили его, сказал обиженно:

– Я же только приемник включу!

Послышались электрические хрипы, коротко свистнуло, и Гремин запел: «И жизнь, и молодость, да молодость, и сча-а-а-астье!»

– И сча-а-астье! – подтянул «басом» Павлушка, выходя снова в кухню с чернильницей и школьным дневником. Для него наступил час «отпущения дневных грехов».

– Ну, садись, – пригласил отец, упираясь широкой грудью в стол.

– Я уже сажусь, папа.

– Что же это у тебя за мысль?

– А, ерунда, – отмахнулся Павлушка. – У меня теперь уже другая.

– Это интересно! – Афанасий Петрович приподнял кончики усов согнутым указательным пальцем. – В один вечер столько мыслей.

– А что?

– Неплохо. Расскажи толком.

– На заслуженного артиста решил выучиться! – выпалил Павлушка.

– На кого? – удивился отец.

– На артиста, на заслуженного, чтобы петь по радио, – повторил мальчуган и, подумав, задорно шмыгнул носом: – Наверняка выучусь.

– Смотри-ка... Придется подумать, – согласился Афанасий Петрович и, не сдержав озорного блеска в глазах, крикнул в столовую: – Катерина, ты слышишь, что товарищ Вошин надумал?

Не будь Павлушки, в 1941 году Екатерина Тихоновна и Афанасий Петрович остались бы совсем одни. Еще осенью, накануне войны, в институт уехала Галя. В июне ушел на фронт Григорий – надежда и гордость отца. Тихо стало в просторном домике Вошиных, тревожно. Вести с фронта «царапали сердце», – как говорил Афанасий Петрович; он по две-три смены не уходил из шахты. В ту грозовую пору и прогремела по всему Кузбассу слава о проходчике Вошине. В газетах, в приветственных телеграммах его называли «гвардейцем тыла». Афанасий Петрович тогда уже тридцатый год работал в шахте, начав этот трудный путь еще на штольнях-закопушках Михельсона. Когда доводилось быть дома, брал на руки трехлетнего Павлушку и подолгу ходил с ним у оградки, не чувствуя тяжести ребячьего тела. Особенно глухо было ночами. Баюкая сына, Екатерина Тихоновна ложилась обычно

венно рано, Афанасий Петрович, захватив голову большими жесткими ладонями, часами просиживал у репродуктора и, казалось, дремал, но сразу же распрямлялся, как только слышал позывные Москвы. А потом на носках шел к кровати и, осторожно трогая жену за руку, шептал:

– Слышь, Катерина? Опять обломали немца.

Когда-то, еще в молодости, он любил говаривать:

– У человека должна быть на сердце радость. Без этого человек темнее ночи.

В первый год войны Афанасий Петрович сам был темнее ночи, собственное его сердце ожесточилось от ненависти к фашистским убийцам. Посадив себе на колени Павлушку, он часто рассказывал ему мрачную сказку-быль про душную, тесную шахту-нору, в каких ему довелось работать в давние-давние годы.

– Господи, и чего ты пугаешь мальчонку? – протестовала не раз Екатерина Тихоновна. – Сказал бы ласковое, приветное слово.

– Откуда же я возьму это слово? – хмурился Афанасий Петрович.

Немецко-фашистские войска рвались к Сталинграду. От Григория вестей не было. Галя писала редко.

Собираясь однажды на смену, Афанасий Петрович сказал решительно:

– Ну, мать, настало и твое время. Пошли в шахту!

С тех пор они почти три года ходили в один забой. Ни разу Екатерина Тихоновна не жаловалась мужу на тяжелую боль в руках, как будто всю жизнь ходила в шахту, грузила уголь, толкала вагончики. И только уже после того, как от Григория пришло письмо из Берлина и было прочитано даже всеми соседями, Афанасий Петрович однажды одернул рубаху под узким вязаным поясом и сказал жене:

– Спасибо, мать, за все... Теперь я один справлюсь.

Екатерина Тихоновна промолчала, прикрыв кончиком платка дрогнувшие обветренные губы.

Привычная, размеренная жизнь вошла в просторный шахтерский дом Вошиных. Разве что с Павлушкой пришлось повоевать на первых порах. Мальчонка как-то неожиданно вырос,

вытянулся и, может быть, потому, что часто до этого оставался один, вел себя теперь очень независимо, озорно, чувствуя свою незаменимость в сердцах родителей. Он ходил в школу и каждый день делал какое-нибудь новое необычайное открытие; Екатерине Тихоновне очень трудно было с ним разговаривать, всю жизнь она была заботливой, надежной подругой мужа-шахтера и всю жизнь, как помнит себя рядом с Афанасием Петровичем, неутомимо воевала с углем, выметая его из комнат, вытряхивая из карманов. Всю жизнь она ругала этот уголь, но стоило мужу прихворнуть, как сразу же бежала на шахту и возвращалась с самыми верными, самыми нужными новостями. Не замечала Екатерина Тихоновна, что и для нее жизнь без шахты была бы пустой и скучной.

После войны больше года ждали детей домой. Григорий должен был демобилизоваться, а Галя заканчивала институт в Свердловске.

Покупая что-нибудь, Екатерина Тихоновна говорила:

– Оставим Галочке, она любит это.

Или, прибирая днем в сундуках, сообщала мужу:

– Переглядила нынче сорочки Гришеньке...

Афанасий Петрович отмалчивался, но за последнее время как-то распрямился, голову понес выше, часто шутил с Павлушкой, неустанно возился по хозяйству, отремонтировал дом, подправил крыльцо, покрасил кровать дочери и, любуясь делом рук своих, говорил вертевшемуся рядом сынишке:

– Смотри-ка ты, уже инженер!

Первой приехала Галя, а через два дня, в воскресенье, – Григорий.

Когда встречали их, стояли рядышком, праздничные, со строгими, просветленными лицами.

Дети!

С Галиной было немного труднее, чем с сыном. Афанасий Петрович спросил ее в первый же день:

– Ну как, дочка, с жизнью будем?

На это она коротко объявила, что имеет направление в трест, но едва ли останется в самом управлении, вероятнее всего, пойдет на шахту, поближе к делу. А вообще же будет работать и продолжать учиться.

Афанасий Петрович удивленно приподнял брови, но ничего не сказал. Глядя на эту красивую, немного бледную девушку, слушая ее спокойный, глубокий голос, он чувствовал, как теплеет у него на сердце, забывал о своей трудной молодости, ясно видел, что неплохую жизнь прожил, вырастив такую дочь. Хотелось прикоснуться ладонью к ее светлым пушистым волосам, заглянуть поближе в ее зеленоватые большие глаза и спросить: «О чем ты думаешь, доченька?» Но Галя в это время сидела у окна, слегка наклонив голову, губы ее трогала легкая улыбка. Афанасий Петрович погасил в себе порывистую ласку, подумав с досадой: «Стареешь, шахтер».

С Григорием же вышло вначале по-другому и легче.

Характером, привычкой крепко стоять на обеих ногах сын был ярким повторением отца. Так же круто обрывал речь, такие же у него были густые, соломенного цвета брови, и если что-нибудь было ему не по душе, глаза у него так же, как у Афанасия Петровича, моментально темнели.

Но дышалось рядом с ним свободно. Он сноровисто брался за любое дело, несмотря на крупную ширококостную фигуру был подвижен, до слез смешил Павлушку какими-то бесхитростными шутками, с отцом и матерью обходился подчеркнуто мягко, осторожно и в то же время, казалось, готов был заслонить их от любой невзгоды.

– Отдохнул бы месяц-два, – добродушно предложил Афанасий Петрович. – Чего торопиться?

Екатерина Тихоновна поминутно подходила к сыну, гладила его плечо, заглядывала в глаза, брала за руки, с боязливой жалостью прикасалась к свежему шраму на подбородке. Она тоже посоветовала:

– Отдохни, Гришенька, пусть отойдет сердце. Григорий покачал головой.

– Сердце у меня не отойдет.

И хотя об отдыхе он ничего не сказал, отец с матерью поняли: отдыхать сын не будет.

По отношению к сестре Григорий был предупредителен, разглядывал ее как будто со

стороны. Зашел к ней в маленькую угловую комнату, на расспросы о войне ответил коротко:

– Что ж, воевали... – и попросил что-нибудь почитать.

Галя предложила «Войну и мир». Он вопросительно поглядел на сестру, но книгу взял и, вернув через неделю, сказал неопределенно:

– Какая, оказывается, тогда война была... И люди тоже. – Тут же поинтересовался: – Ты не знаешь, почему этого Наполеона не повесили?

Галя стала объяснять, что победой после освободительной войны 1812 года, в тех исторических условиях, воспользовались только правящие классы, что русский император Александр не уничтожил бывшего императора Наполеона, так как опасался подать этим плохой пример для своего народа. Но все равно, после разгрома в России Наполеон не мог больше подняться.

Григорий усмехнулся.

– Походы в Россию всегда кончались крахом для иноземцев.

...Снимая цветной фартучек, из столовой выглянула Галя и укоризненно покачала головой:

– Папка, хватит тебе допрашивать Павла. Уже восемь, а ты еще не переоделся.

Нужно было, конечно, торопиться, а то не ровен час нагрянет какой-нибудь из особо аккуратных гостей. Но только успели пошутить, как в сенях скрипнули половицы и Хмельченко закричал из-за дверей:

– Я не опоздал? Самое главное, чтобы водку не выпили да хозяйку первому облобызать!

– Милости просим, проходи! – пригласил хозяин. – А очередь я тебе все равно не уступлю.

Оттирая озябшее ухо, Хмельченко грузно прошел по кухне и кивнул Павлушке:

– Здорово, Вошин! Скоро, что ли, на шахту к нам? Жаждались!

– Была нужда! – ответил младший Вошин, пренебрежительно выпятив нижнюю губу.

– Ты что ж, сразу в министры? – изумился шахтер.

Афанасий Петрович засмеялся.

– Хватай выше!

– Да выше-то, по-моему, и некуда?

– В артисты он наладился у меня...

– А, ерунда! – прервал Павлушка отца. – У меня уже другая мысль. Я лучше летчиком...

Вошин и Хмельченко переглянулись и громко захохотали. Потом гость спохватился:

– Да, хотел вам рассказать: видел сегодня Хомякова, только что приехал из санатория. Бежит навстречу, а глаза малоохольные, в руках какое-то сооружение, бежит и кричит направо-налево: «Революция!» Что бы такое со стариком?

Вошин подумал.

– Ушибла его эта недостача в штабелях. Я тоже замечал – не в себе он.

Прошмыгнув незаметно в столовую, Павлушка включил приемник на полную мощность, и сейчас же, словно возвещая начало праздника, комнаты потряс мощный бас Шаляпина: «Эй, у-ухнем!»

Хмельченко взялся за голову, подмигнул Афанасию Петровичу и пошел здороваться с хозяйкой.

Вскоре явились муж и жена Мухины – люди молодые, скромные, принесли какой-то подарок, завернутый в газету, и, стеснясь, сунули его за кадку с фикусом. Наконец Григорий почти за руку привел Николая с Аннушкой.

Дубинцевы долго прихорашивались у небольшого настенного зеркала. Аннушка поправляла мужу галстук, приказала причесаться, но тут же взялась за это сама, вздохнув с деланной скорбью.

– Вечно за тобой смотреть нужно, как за маленьким.

Николай молчал, умоляюще гримасничал, потел от смущения, показывая глазами на Павлушку, который определенно осуждающе смотрел на них из-за кухонного стола.

– Скоро вы? – любопытствовал Григорий.

Счастливо улыбнувшись, Дубинцев пожаловался:

– Выручай, милый, замучила!

Аннушка легко впорхнула в столовую на своих высоких каблучках, но, увидев впервые Галю, почему-то построжела и чинно поздоровалась со всеми за руку. Впрочем, это не помешало ей через пять минут рассказывать доверительно, с многочисленными подробностями той же

Гале, как она сегодня измоталась, устанавливая в двух забоях спаренные колонковые сверла, а потом собирая на вечер мужа: такой он у нее невозможный и...

– Очень хороший! – неожиданно закончила Аннушка.

Пришел баянист, приглашенный самой Екатериной Тихоновной, которая сказала: «Какой же это праздник, если без гармошки?» Очень причесанный и очень выглаженный, словно только что с парикмахерской витрины, этот парень по-хозяйски расположился в переднем углу, критически оглядел закуски на столе, бутылки на подоконнике, пренебрежительно кивнул на радиоприемник: «Прекратите чепуху» и развернул засиявший перламутром инструмент.

Гости зашевелились, заговорили бойчее. Афанасий Петрович обеспокоенно поглядел на часы и, перехватив вопросительный взгляд Григория, неприметно двинул плечом: «Не понимаю, где они?»

На вечер ждали Рогова и Бондарчука.

Сыграв «В лесу прифронтовом», баянист еще раз глянул на подоконник и мечтательно облизнулся. В это время из спальни вышла смущенно улыбающаяся Екатерина Тихоновна. Ее встретили приветственными возгласами.

ГЛАВА XXVIII

– Ночью на шахте достаточно и одного старшего командира, – наказывал постоянно Рогов своим помощникам. – Зачем всем сразу изматывать силы в неурочное время, если завтра эти силы можно израсходовать с большей пользой?

А сегодня он сам задержался. Проект, с которым Хомяков свалился к нему на голову, представился настолько ошеломляюще простым, настолько принципиально новым в горной технике, что хотелось немедленно же отодвинуть все дела и сесть за чертежи, выкладки, расчеты основных узлов механизма.

Уже и Хомяков давно ушел, сам словно пьяный, с побелевшими от счастья, по-детски растерянными глазами; давно тишина воцарилась за стенами кабинета и зимняя декабрьская ночь прильнула к окнам, а Рогов все еще то сидел,

то ходил, расталкивая плечами сизые космы табачного дыма. «Ах, старик, старик! Умница старик!»

Рогов садится, разглядывает чертежи и вдруг ясно представляет себе первую лаву, оснащенную новым комбайном. Во всю пятидесятиметровую длину забоя тянется приземистая станина с узкой транспортерной лентой. Челнок – полутораметровый бар необычайной конструкции, похожий на вертикально поставленную пилу, – плотно прижат пневматиками к груди забоя, пирамидальные зубья из победита вонзились в пласт. Возле комбайна всего три-четыре человека – забойщики и они же механики. Кто-то из них поворачивает рукоятку пускателя. Басисто охают и сейчас же переходят на тонкий свист моторы, раздается скрежет, огромная зубастая челюсть бара ползет вдоль лавы, распиливая, сокрушая пласт на всю длину. Уголь падает на транспортерную ленту и нескончаемым черным ручьем течет в штрек, к вагончикам. А челнок ползет уже обратно, не убыстряя и не замедляя своего сокрушительного движения.

В сутки с шахты уходит не четыре, а семь, восемь эшелонов угля! А сколько со всех шахт, со всего Кузбасса! Через два-три года сама земля родины потеплеет, люди станут красивее, добрее, неизмеримо сильнее!

Рогов нетерпеливо хватается телефонную трубку, но девушка на коммутаторе отвечает, что Бондарчука в кабинете нет.

– Филенкова!

Филенкова тоже нет. «Вот бы кого расшевелить на этом деле! Бывает теперь минутами, когда прорывается в нем что-то живое, глаза загораются, когда он начинает бегать, тормозить людей. Надо обязательно поговорить с ним о новой машине. Но где же он?»

Позвонил дежурному по шахте Севастьянову.

– А, Павел Гордеевич! – обрадовался тот. – Только что обзвонил участки. Смена на полном ходу – душа радуется. Если так дело пойдет – с планом выскочим дней на пять раньше. – Он спохватился: – Да, а вы что ж не пошли к Вошину? Я уже думал...

«Воцин! – Рогов бросил трубку, не дослушав. – Вот досада какая! Неудобно. И как я за-

был? Обидится старик – раза три заходил, звал. Сколько сейчас? Десять. На два часа опоздал».

Уже у самого дома Воиных он внезапно замедлил шаг. «Почему, собственно, такая спешка? – Потом усмехнулся: – Ладно. Просто передохнуть нужно. И... люди хорошие. Понятно?»

Его заметили, когда он уже разделся в кухне. Кто-то выглянул из столовой, раздалось удивленное восклицание, потом голоса и баян смолкли, стулья задвигались. Навстречу вышел сам Афанасий Петрович.

– Ну, спасибо, сынок, думал, забудешь, – расстроганно пожимая руку, радостно приветствовал хозяин.

Выскочил Хмельченко.

– А, начальник! К массам поближе!

Григорий поздоровался сдержанно, негромко сообщив, что Виктор Петрович уже здесь.

Рогов и сам заметил, что на диванчике, в тени от фикуса, сидит Бондарчук и что-то возбужденно рассказывает девушке со светлой пепельной прической. Девушка тихо смеется, кивает Рогову и, подавая ему руку, говорит:

– Садитесь, Павел Гордеевич. Дайте возможность рассмотреть вас как следует.

– Это неинтересно, – ответил Рогов. – Человек я немного черствый.

Бондарчук засмеялся.

– Не верьте, Галя, заводится инженер. У него нежное сердце. Садись, Павел Гордеевич.

Всего на мгновение Рогов встретился взглядом с девушкой и удивился про себя – так хорошо было смотреть на ее лицо.

Парторг деловито осведомился:

– С шахты? Ну что там?

Рогов вспомнил Хомякова и, не замечая, что притихшая компания за столом слушает его, что баянист, выпятив нижнюю губу, нетерпеливо пощелкивает клавишами, стал отрывисто рассказывать об изобретении маркшейдера.

– Да что ты говоришь?! – щеки у Бондарчука зарозовели. – Но это же и есть недостающее звено для механизированного цикла!

А Рогов продолжал горячо:

– Оказывается, старик уже год работает над этим. – Выхватив блокнот, он стал что-то вычерчивать. – Смотри, единственный недоста-

ток в его блестящем проекте – это крепление. Я сегодня уже не говорил Герасиму Петровичу, – сразу-то неудобно. Но если ко всему еще передвижное крепление – знаешь, какой комплекс получится? И ведь это уже не фантазия, даже не мечта, а практическое дело.

– Да, да! – Бондарчук быстро поднялся, хотел еще что-то сказать.

Но в этот момент Григорий мигнул отцу, и тот немедленно же разлучил собеседников, встав между ними.

– Хватит, хватит! – поднял он руки. – Столько новостей, что можно подумать – вы целый месяц не виделись. Давайте, товарищи с «Капитальной», начнем капитально. Праздник – так праздник! Просим!

И по дирижерскому мановению хозяина все двинулись к столу.

Шумно усаживались под замысловатые переборы баяниста. Галя против Рогова, смотрит то на него, то на Бондарчука, лицо ее светится ласково. И Аннушка, прижавшись плечом к Николаю, смотрит на Рогова. Заметив, что ее губы смешливо подрагивают, он погрозил пальцем:

– Аня, не смотрите так, ухаживать буду...

Николай сейчас же воинственно выпятил грудь. Все засмеялись и подняли рюмки. Хмельченко встал, и, оглядевшись, провозгласил:

– За мать, вырастившую таких хороших коммунистов! Жить тебе, Екатерина Тихоновна, счастливо и долго! Жить тебе, дорогой ты наш человек, да еще внучат и правнуков нянчить.

– Ну, уж и правнуков! – Екатерина Тихоновна прикрыла кондом платка счастливую улыбку.

– Минуточку! – поднялся Григорий. – Одну минуточку.

– Гриша! – Афанасий Петрович постучал вилкой о стакан.

– Нет, нет! – Григорий упрямо наклонил голову. – Мы с Галинкой не согласны на такой секрет. Товарищи... – он оглядел гостей, – товарищи, сегодня еще одна хорошая дата. Исполнилось двадцать пять лет, как мама и отец поженились. Я горд... – Григорий запнулся, потом закончил под аплодисменты: – Я горд, что довожусь им сыном!

Сидят в красном углу Афанасий Петрович и Екатерина Тихоновна, потупились: видно, вспо-

минают жизнь свою. Счастливы ли прожили, трудно ли было?... Детей подняли на ноги и всякое видели.

Рассказал бы сейчас Афанасий Петрович этим сердечным людям про жизнь свою, и дети вот чтобы послушали... Нет, не про всю жизнь рассказать хочется, а вот про то, что сейчас вспомнилось, только про одну смену.

...Лес тогда задержали где-то, а забой крепить нужно, и срочно. Подсадовал, побряхтел и, наказав жене посматривать, не уходить никуда, тронулся сам разыскивать лесогонов. Возвращаясь через полчаса, издалека услышал, что в забое неладно. Ноги под секлись, ударило нехорошее в голову. Закричал:

– Катерина! Катерина!

А в ответ только шум.

Подбежал и видит: кровля тронулась, пудовые камни падают, а жена в самом забое, трехметровую стойку пытается упереть в «огниво». Еле выдернул ее за руку и в горячах заругался:

– Что ж ты думаешь, бедовая?

– Бог с тобой, – вздохнула жена, – сам же наказывал не уходить. Хотела остановить беду, да стара, моченьки нет... – Катерина Тихоновна утерла потное испуганное лицо и вдруг всхлинула.

Ничего этого не рассказал сейчас Афанасий Петрович. Прикоснулся к натруженной руке жены и пошутил:

– Одна она у меня в семье беспартийная... Давайте за блок коммунистов и беспартийных!

– И за пионеров! – крикнул из кухни Павлушка.

Предложение это встретили хохотом. Рогов чокнулся с Галей.

– За пионеров!

Очень хорошо чувствовал себя в этот вечер Павел Гордеевич. Дышалось легко. Часто поглядывая на Бондарчука, с удовольствием видел и у того в глазах влажный праздничный блеск. Предложил тост за шахтеров, которые в этот час штурмуют забои, и, одновременно заметив, как парторг кивнул в ответ на молчаливый вопрос Гали, мельком подумал: «Может, они давно знают друг друга?»

Дубинцев заговорил что-то о Филенкове. Григорий отмахнулся:

– Он добрый, но сыроватый какой-то!

– Не сплетничать о начальстве! – шутливо прикрикнула Галя и, немного прикрыв глаза, тихо запела.

Все притихли. Пела Галина знакомую всем песню, а за песней вставали суровые скалы, шумела тайга, раскрывал свои просторы древний Байкал, и в синеватой тени утеса торопливо скользила утлая рыбацья лодчонка.

Бондарчук толкнул Рогова локтем:

– Как поет! Поможем?

Перепели много песен, а все не уставалось. Потом Афанасий Петрович «произнес речь» – немного нескладную, немного пьяную, смысл которой заключался в том, что хорошо жить на родной земле, если дело твое согревает людей, если вместе с тобой идут взрослые дети.

– Если вместе! – подчеркнул Афанасий Петрович, строго посмотрев на Григория.

Но тот сделал вид, что это его не касается.

Екатерина Тихоновна счастливо вздыхала и даже несколько раз тайком прослезилась.

– Хорошо жить, если недаром живешь!

Благодарили хозяев поздно. Рогов сошел с крыльца на белую тропинку и, ожидая Бондарчука, подставил разгоряченное лицо медленным снежным хлопьям. Постоял и почему-то решил немедленно послать телеграмму Вале. Терпение у нее удивительное – молчит и молчит.

Вместе с Бондарчуком вышел Григорий. Пожимая Рогову руку, спросил:

– Значит, будем начинать?

– Да, непременно! – подтвердил Павел Гордеевич. – С отцом говорил?

– Говорил... – Григорий смущенно кашлянул, – Он же, знаете, какой... Но я думаю, все утрясется.

Когда шли по улице и совсем недалеко засияли огни «Капитальной», Рогов развел руками:

– Что же делать?... Может, на шахту зайдем? Модельку, чертежи хомяковские посмотришь?

– Это ты оставь! – засмеялся Бондарчук. – Начальник шахты, знаешь, как не любит ночных сидений... Давай, брат, с утра.

Начальник шахты вздохнул:

– Ну что ж сделаешь... Придется с утра.

ГЛАВА XXIX

Начав работать после своего приезда с отцом, Григорий первые смены держался в забое неуверенно и, словно новичок, даже голову пригибал там, где можно ходить в полный рост. Стараясь, очевидно, скрыть собственную неловкость, все порывался вперед. Замечая это, Афанасий Петрович только покашливал.

Но о людях шахты Григорий сразу же высказывался по-хозяйски, метко сортируя их. Как-то, выслушав на собрании выступление Очередыко, он пренебрежительно заметил:

– Обозник.

После речи Рогова отец показал на инженера:

– А этот?

– Заходил я к нему с одним разговором... – подумав, ответил Григорий. – С Роговым, наверное, воевалось надежно.

– Что за разговор? – удивился отец.

Но тут как раз собрание закончилось. Уже на пути домой Григорий сообщил:

– Попросился я у него на участок капитальных работ.

– Это зачем?

– Мысль у меня... Хочу попытать проходку сразу в нескольких забоях. Понимаешь – многозабойный метод. Ты же сам часто жалуешься на задержки из-за проветривания, переброски вагончиков, леса. Нужно же как-то использовать это пустое время.

– Значит, так себе, за здорово живешь, встал и пошел, даже со мной не посоветовался?

– Чему же ты меня учил несколько лет? – удивился сын.

Но Афанасий Петрович и на этот раз не сдался, съязвил:

– Тебе, конечно, виднее, в Европах побывал. Глаза у Григория мгновенно потемнели, и от этого он еще больше стал похож на отца.

– Зря говоришь... – выдавил он сквозь зубы. – Ни к чему. Из Европы грязь приходилось вышибать. Сама Европа теперь к нам идет учиться.

Но Афанасий Петрович не дослушал, обошел сына и, не оглядываясь, быстро зашагал вперед, в горку, по-стариковски ступая на пятки.

Несколько дней Григорий не упоминал о своем плане, но отец чувствовал, что он упорно вына-

шивает проект и выжидает, пока все само собой утрясется. Здравый смысл сразу же подсказал Афанасию Петровичу, что сын прав, что он сам на его месте поступил бы так же, но сердцем он никак не мог принять его самостоятельности. Очень уж долго он ждал Григория и лелеял мечту, как они еще много лет поработают в одном забое, так что и заметно даже не будет, что силы Афанасия Вощина убывают, словно переливаясь в крепнущую статью и сноровку Григория. А вот жизнь повернула иначе. И нельзя препятствовать. Знает об этом Афанасий Петрович и все же ворчит, может быть, от глухого беспокойства за успех дела, и часто повторяет про себя: «Ну ворчи, ворчи, такое твое старческое дело...»

Полдень. Свежий розоватый свет рвется в двойные рамы. На стуле пестрый котенок пригрелся, умывается. Павлушка сидит на полу в солнечном квадрате, раскладывает в двух пеналах всякие школьные принадлежности – перья, карандаши, циркуль, всего набралось столько, что впору еще два пенала заводить. Пожал плечами и высыпал все снова в сумку.

– Чего ты там шебаршишь? – строго спрашивает Афанасий Петрович.

– Шебаршишь... – Павлушка иронически усмехается. – Слово выдумали! Неизвестно покаковски.

Афанасий Петрович почесал мизинцем рыжеватый выцветший ус, ничего не сказал, только мельком поглядел на Григория.

Скоро на смену, а пока вот каждый занят своим делом. Григорий чертит что-то в ученическом альбоме для рисования. Пальцы плохо слушаются. Он кусает кончик карандаша и плотно сжимает губы. Через минуту говорит:

– Соврал этот инженер из треста. Как я буду такие расчеты показывать Павлу Гордеевичу? Скажет: «А куда ты целых сорок минут дел в третьем забое?»

Афанасий Петрович откладывает газету и, с боку рассматривая сына, спрашивает:

– Ты твердо решил с этим... многозабойным?

Григорий ответил вопросом:

– А ты меня учил как решать? Не твердо?

Афанасий Петрович мнет пальцами подбородок, ссутулится.

– Значит, я снова один? – что-то стариковское, усталое мелькает в его глазах.

Сын тянется к нему через стол.

– Слушай меня, отец! Я знаю, что ты сам не простишь мне, если я не испробую на деле своей мысли. И как это ты говоришь, что один? А ты где? Без твоего скоростного графика у меня ничего не получится. Вот письмо пишем... А что, если еще и об этом придется рассказать?

– В письмо с этим рано соваться! – Афанасий Петрович крупно шагает по комнате. – Видишь, что выдумал... Я, например, вписываю свою строчку, так я же ее сколько месяцев перед этим обтачивал! Думаешь, как Иосиф Виссарионович сделает? Он прочтет письмо, потом вызовет инженеров и скажет: «Давайте подумаем, что такое мне из Кузбасса пишут, и особо с «Капитальной». О проходке. Не перехватили случаем: триста метров в месяц?» Он, конечно, спросит, а сам-то уже давно прикинул, где и что в планах изменить, на кого нажать, потому что верное это дело! – Афанасий Петрович вытянул перед собой руки: – Вот этими испробовано! А у тебя что, одни проекты?

Григорий насупился.

– Вот я и не хочу, чтобы одни проекты. Сегодня... иду.

– Сегодня? В эту смену? – Афанасий Петрович тряхнул кудлатой головой и, наступив на Павлушкин карандаш, вышел из горницы.

Через час сели обедать. Галя запаздывала. Екатерина Тихоновна с беспокойством поглядывала в окно. Наклонив голову к самой тарелке, Павлушка тихонько прыскал: котенок под столом терся о его босые ступни. Пододвинув пирог Григорию, Афанасий Петрович спросил:

– Ты все приготовил? Или думаешь – трах-бах и проценты сами посыплются?

– Трах-бах... – Григорий обиженно покривился. – Ты же сам не веришь в то, что говоришь. Или не видел, сколько я мотался по забоям с Павлом Гордеевичем, сколько пересчитали, перекроили? Да я, может, и отрекся бы, так ведь Рогов-то, знаешь, какой? Ухватился за это зубами.

Теперь обиделся отец.

– Как это отрекся бы? Ты что?... – он торопливо вытер усы и, поманив за собой Григория, вышел

в кухню. Вытащил из кармана пальто небольшой сверток и долго с загадочным лицом раскручивал его, откладывая в сторону обрывки газет.

И вот у него на ладони оказалось что-то похожее на полураскрывшуюся коробочку водяной лилии, со спокойным синеватым закалом.

– Коронка? – удивился Григорий. – Покажи-ка!

Да, это была буровая коронка с победитовым наваром, но совершенно необычайной, овальной формы. Таких Григорий еще не видел. Те, которыми он привык пользоваться, были с ровным круглым срезом, а эта действительно напоминала раскрывающийся цветок. Но дело не в красоте, а в обтекаемости – это прежде всего Григорий понял. Зажав коронку в кулак, он поднял благодарный взгляд на отца.

– Ты придумал?

Афанасий Петрович смущенно засопел, потом мотнул головой.

– Стар я на такое... Мишуха Черепанов придумал, его должны благодарить шахтеры. А ты испробуй, раз в руки дается.

Григорий подумал, подумал и с явным сожалением разжал кулак.

– Сомневаешься? – изумился старый проходчик. – Нет, не сомневаюсь. – Григорий не торопясь закурил и, щурясь сквозь дымок, твердо закончил: – В такой штуке нельзя сомневаться. Но испытывать будешь ты, – тебе доверил парень, у тебя сноровки больше. А я еще... запороть могу.

– Я тебе запорю! – закричал вдруг Афанасий Петрович. – Я тебе запорю! Видишь ты, нашел отговорку. Бери, тебе говорят, и делай, а то скажу Рогову про эти... деликатности.

Екатерина Тихоновна слышала, как, спускаясь с крыльца, он все еще сердито выкрикивал:

– Деликатности! Видишь ты!

– Расходился старик, – заметил Павлушка и тотчас получил за это строгий выговор от матери.

С удивлением, даже тревогой Григорий услышал от Полины Ивановны, что Рогов с утра где-то в рабочих общежитиях. Ушел вместе с Бондарчуком.

Значит, нет Рогова. Но чего, собственно, хочет Григорий? Чтобы начальник взял и повел его за

ручку к забоям? Нет, этого он не хочет. И все же как-то диковато, что вдруг остался без такого советчика. Еще вчера, после смены, они с Роговым добрых три часа ходили по забоям. Ходил-то, положим, сам Григорий, а Рогов только следовал по пятам и хотя ничего не записывал, но видно было, что фотографирует в памяти каждый расчет проходчика. Всего один раз заглянул через плечо Григория в исполнительный график и заметил:

– Почему это во втором забое ты куда-то дел тридцать минут? – А потом сказал: – Соображай сам, не маленький.

Как же это забыл инженер, что сегодня у Григория первое настоящее испытание сил? Так или иначе, а неприятный час пережил молодой проходчик до тех пор, пока его не опажнуло в забое ветерком из вентилятора. На минуту даже показалось, что он перепутал весь план, весь порядок, что все это только на бумаге гладко получалось, а теперь пойдешь реши-ка это на деле...

Но такое состояние продолжалось только до четырех часов. Не успела стрелка коснуться заветной черты, как Григорий Вошин насадил черепановскую коронку на штангу и включил мотор колонкового сверла. И, может быть, потому, что не все получалось гладко, по крайней мере немного не по графику, он собрал, скрутил всю свою волю в узел и пошел напролом.

Работал поочередно в двух основных штреках и в одном сбоечном. Основные пробивались наполовину через породу, сбоечный – по углю. В первых двух действовали механические перегружатели. Здесь силы и внимание были сосредоточены на правильной закладке скважин, на зачистке забоя и креплении, в третьем же приходилось и уголь грузить вручную.

В пятом, основном, где начал смену, все обошлось благополучно, но в соседнем, восьмом, горный мастер предупредил, что на дополнительный вытяжной вентилятор надежды мало, барахлит что-то. На это Григорий заметил мимоходом:

– Не вентилятор, а ты, дорогой товарищ, барахлишь.

Заложив скважины в восьмом, а потом и в сбоечном, он вернулся через час снова в пятый.

Запальщика уже не было. Но по всему видно, поработал он здесь удачно – лобовой крепежный круг даже не потревожен, зато гора взорванной породы легла точно в захваты механического перегружателя. Не видно только, как подорвана сама почва, особенно у бортов.

Григорий пустил машину. В это время прибежал районный инженер Нефедов. Посветил в лицо проходчику, ободряюще улыбнулся и, пересиливая шум, закричал:

– Тронулся? Молодец! Нажимай! Я тебе двух подсобных рабочих пришлю на всякий случай! Мало будет, скажешь.

Проходчик с досадой притормозил машину и повернулся к инженеру.

– Я не мешаю, давай-давай! – поторопил тот. Григорий поморщился, отмахнулся:

– Нет, ты мне мешаешь! Какие еще рабочие? Я, может, сегодня на всю жизнь к этой работе приноравливаюсь, зачем же мне подпорки? Как хочешь, но здесь чтобы и духу лишнего не было.

Нефедов громко захохотал и, убегая, крикнул.

– Орел, орел!

– Орел... – вздохнул Григорий. По его мнению, орел этот совсем неважно управляется с машиной. Неизвестно почему, головной валик конвейера то и дело забивается породной крошкой. «Отец тоже на это жалуется. Надо будет как-нибудь выбрать время да заглянуть в самую душу машины».

Руки немного дрожали – не от усталости, от волнения, оттого, что дело идет, как было загадано, как рассчитано. Приступая ко второму циклу, Григорий вдруг позвал к себе горного мастера и, затаив в глазах летучий огонек, попросил вполголоса:

– Достань мне трехметровую штангу... Только быстро!

Мастер покачал головой с сомнением.

– Смотри, Григорий Афанасьевич, как бы греха не было. Кровля в таком забое не любит подвисать сверх положенного срока. Неровен час – накрыть может.

– Пусть попробует! – Григорий отмахнулся, – Я считаю, я и пересчитывать буду. Раз пошел, значит пошел напролом. Давай штангу!

Григорий не мог не понимать, что вся шахта интересуется сменой, пробой его метода, но он и не предполагал, до какой степени к вечеру возросло всеобщее нетерпение. В восемь часов, разговаривая по телефону с Емельяновым, Михаил Черепанов хвастался:

– У нас сегодня многозабойный... Воцин вышел! Да нет, не Афанасий Петрович, а Григорий. Что? Не получится? Вот чудной, как же не получится, если на «Капитальной»!

Звонили непрерывно телефоны у дежурного по шахте, у диспетчера, из треста спрашивали, как идет дело, из горкома партии; даже руководитель клубной художественной самодеятельности несколько раз дотошно выпытывал, нельзя ли сведения о работе Воцина включить в сегодняшнюю программу.

Начальник следил за работой издали, но внимательно. В три часа он справился у дежурного.

– Все готово? – А ровно в четыре: – Приступили? – Еще через час, у Нефедова: – Как идет у Григория?

Услышав, что Нефедов предложил проходчику двух подсобных рабочих, а тот отказался, не засмеялся, как ожидал районный инженер, а резко выговорил:

– Вот что я скажу: нянька из тебя все равно не получится, а в данном случае это еще и вредно. Ты думаешь, я случайно отсутствовал? Ну, вот. А тебе советую, не выключаясь, держаться точно в пределах необходимого. Особенно сегодня Григорий должен чувствовать себя полным хозяином. В этом настоящая цена опыта. Следи за графиком на порожняк, на лес, чтобы забои не подвисали ни одной лишней минуты.

К девяти часам стало известно, что проходчик дал уже две нормы в каждом штреке, то есть шесть полных производственных циклов. Распространению этих известий способствовал член партийного бюро Некрасов, дежуривший в шахте по поручению Бондарчука. Григория он ни о чем не расспрашивал. Постоит минут десять где-нибудь поблизости и, ни к чему не прикасаясь, ни слова не говоря, тронется прочь. Зайдет по пути к комсомольцам, где как раз работали Митенька с Луниным, скажет, между прочим, что многозабойный, по его мне-

нию, в гору пошел, потом заглянет к Афанасию Петровичу. Старый проходчик уже два раза спрашивал:

– Что тебе не спится? С утра же на смену.

Некрасов присядет на запасный рельс, разведет руками:

– Ясно – на смену... Только какой же сон в наши с тобой годы? Хожу вот, смотрю, сердце тешу... Был сейчас у твоего Григория...

Афанасий Петрович с минуту сосредоточенно заколачивает стойку, но лицо у него напряженное, слушающее.

Видит все это Некрасов, усмехается про себя и заканчивает:

– Второй цикл распочал Григорий... Ничего, планово у него получается.

Афанасий Петрович крикает, прилаживая конец «огнива» в замок стойки. Бежать бы ему сейчас, старику, в забой к сыну, тронуть бы того за потное плечо, самому все прикинуть и посоветовать. Но нельзя этого сделать, у самого смена в разгаре, да и Григорий обидится, скажет: «Чего ты мне заглядываешь под руку?» Афанасий Петрович говорит:

– Он у меня сызмальства такой вдумчивый...

В десять или в половине одиннадцатого Некрасов снова заглянул и сказал, как в первый раз:

– Ничего, ничего...

Но старый проходчик насторожился: что за тон, как будто его успокаивают? Нельзя ли как-нибудь яснее?

Некрасов подумал, потом изложил свои соображения. Оказывается, на третьем кругу породные забои что-то закапризничали, кровля «бунит», пустотой отдает...

Больше Некрасов не заходил. Афанасий Петрович особенно аккуратно подчистил забой, нарастил одно рельсовое звено узкоколейки и уже у главного подъема, встретив горного мастера с участка Григория, спросил словно между прочим:

– Как работнули?

Горный мастер махнул рукой.

– А, грех один... Против естества поперли.

Зашел в раскомандировочный зал. У стены стояли четверо черепановцев, причем Митенька возмущенно размахивал руками, наблюдая,

как дежурный табельщик снимает большой транспарант: «Шахтерский привет Григорию Вошину – знатному...».

Глаза у Афанасия Петровича потемнели, он круто повернулся, но опять сдержал себя. Тщательно вымылся в душевой, потом в конторе участка просмотрел сменный рапорт, и так как все было сделано, тронулся домой, хотя мыслями, сердцем давно там был.

На стук в сени вышла Екатерина Тихоновна, открыла и так же бесшумно, почти на носках, вернулась в кухню. Спросил у нее одним взглядом:

– Ну что?

Она кивнула в сторону комнаты Григория.

– Спит?

– Какое там спит... за голову держится.

Афанасий Петрович сердито громыхнул, сбрасывая резиновые сапоги.

– За голову держится!.. За нее нечего держаться, головой думать надо!

ГЛАВА XXX

С утра они ходили по рабочим общежитиям, при этом Рогов час от часу мрачнел, а Бондарчук все беспокойнее покашливал, передвигая шапку с одного уха на другое. Бытовые условия никак нельзя было назвать блестящими, особенно неважно оказалось у вновь прибывших. По свидетельству председателя шахтного комитета, в жилищном отделе окопались любители тихой жизни и просто надутые дураки.

К одному из общежитий двое суток не подвозили угля, в комнатах было холодно. Десятник жилкомхоза пролепетал что-то по поводу перерасходованных лимитов на топливо, но, встретившись с побелевшими от злости глазами Рогова, почти закричал:

– Затоплю, затоплю, товарищ начальник! Разве же я не понимаю!

– Затопите и шагайте в отдел кадров, – распорядился Рогов. – Под суд!

Уже на крыльце, по выходе из общежития, Бондарчук крикнул в великой досаде:

– Ну и житье!

– Шею намылить за такое житье! – отозвался Рогов.

– Это кому же?

– Я о себе говорю, но, очевидно, и тебя это касается...

– Забавно! – парторг почесал широкую переносицу. – Унтер-офицерская вдова когда-то сама себя...

– Знаешь что! – Рогов замедлил шаг. – Я попрошу тебя без исторических справок.

– Да, но в том, что угля в шахтерском общежитии нет, виноват в первую очередь ты! Лошадей-то на вывозку леса кто отобрал в коммунальном отделе?

У подъезда каменного двухэтажного здания их встретил комендант – бравый парень в полувоенной форме. Кончики его черных закрученных усов задорно топорщились по сторонам грушевидного носа, придавая глуповатому лицу выражение бесшабашной лихости. Не ожидая вопросов, комендант попробовал закатить витиеватый рапорт,

– Есть, конечно, некоторые паразиты! – сказал он и угрожающе поиграл глазами. – Но откуда, допустим, вытекает таракан или тот же клоп?

– Откуда же? – заинтересовался Бондарчук.

– Товарищу коменданту самому неизвестно! – подхватил чей-то озорной голос из сеней. – Откуда текет, зачем текет, на чью голову капает – это же научная теория, а товарищ комендант – человек темный по причине пьяной жизни.

Из сеней показалось веселое сухонькое личико пожилого забойщика Мишихина. Этого человека любили на шахте за легкое словцо, за умение говорить с подковырочкой, за улыбчивый, неунывающий характер. Поздоровавшись с начальством, он показал забинтованную ногу.

– Лягнула меня невзначай техника безопасности!

Рогов знал об этой истории и сейчас осведомился, долго ли продлится лечение.

Забойщик пожал узенькими покатыми плечами.

– Кто ж его знает... Срок от кости зависит...

– Вот его и назначу комендантом, а того, с усиками, – на уголь, – решил Рогов и тут же обратился к начальнику орска. – Веди теперь ты в свои оранжереи, хвастайся.

Рогова и Бондарчука искренне порадовал этот кусочек знойного лета, приютившийся в небольшом снежном распадке. Работницы собирали в круглые корзиночки зеленые огурцы, на стеллажах зрели золотистые помидоры, к электрическим солнцам тянулись узкие прозрачные перышки лука, — ко всему этому боязно было даже прикасаться, не верилось в эту декабрьскую плодоносную благодать. Аппетитно хрумкая огурец, начальник орсa рассказывал, как он первым на руднике добился всего этого. А то ли еще будет! Сейчас вот плоховато со стеклом, но месяца через два-три все утрясется, Иван Павлович из Прокопьевска обещает десяток ящиков подбросить да в Кузнецовском сельпо можно кое-что получить.

В это время к ним подошла молоденькая круглолицая работница в полотняном фартучке. Рогов заметил, что глаза у нее заплаканы, пухлые губы обиженно вздрагивают.

— Опять? — повернулся к ней начальник орсa. — Я же сказал: выговор тебе обеспечен. Решений не меняю.

— Товарищ начальник... — тихо говорит работница, а сама почему-то смотрит то на Рогова, то на Бондарчука. — Товарищ начальник, я же какую мысль имела...

— Меня мысли твои не интересуют, — перебивает начальник орсa и обращается к Рогову: — Понимаете, Павел Гордеевич, имеем в теплице каких-то сто двадцать квадратных метров, тут нужно каждый сантиметр использовать по-стахановски, чтобы за зиму снять два урожая, не меньше. А эта фантазерка, несмотря на категорическое запрещение, засеяла чуть не пять метров цветами. Цветы, видите ли, понадобились. Тут нужно бороться за то, чтобы в борщ шахтеру почаще закладывали зеленый лук, а она ему поднесет всякие георгины и эти... «колокольчики мои, цветики степные!» Попадет человеку блажь в голову...

Рогов ничего не сказал, только метнул украдкой взгляд на Бондарчука, но когда вышли из теплицы, неожиданно распорядился:

— Вот что, я не знаю, как ты будешь с выговором этой девушке, хотя она обратного заслуживает, но чтоб через месяц «колокольчики мои,

цветики степные» были. Это не исключает лук, помидоры и огурцы. Мы вот с тобой не додумались, а работница, очевидно, знает, что такое букетик живых цветов для забойщика после настоящей смены. Побольше цветов — они понадобятся на «Капитальной»!

Простившись с обескураженным начальником орсa, Рогов пригласил парторга к себе домой, сказав, что уже сутки там не был.

— Оно и видно... — Бондарчук с неудовольствием оглядел большую неуютную комнату. Пока хозяин готовил чай, он прошелся из угла в угол, покрутил носом и невзначай заметил:

— Женился бы ты, что ли...

— Что-о? — удивился Рогов.

— Жениться тебе нужно! — раздраженно повторил парторг.

Рогов нахохлился.

— Вот уж действительно... пальцем в небо!

— Не подберешь по сердцу?

— Это просто не подлежит твоей юрисдикции. — Бондарчук остановился на полшаге.

— Ишь ты, прыткий! — но лицо его сейчас же подобрело, усмехнулся он по-своему, медленно опустив взгляд и несколько раз двинув широкой бровью. — Я ведь между прочим о женитьбе, а основное-то все-таки в том, что жить кое-кто из нас не умеет.

— Это обо мне?

— Отчасти и о себе...

— Пей-ка лучше чай, наставник! — сердито сказал Рогов. — Тебя не переслушаешь.

Бондарчук обжег губы об алюминиевую кружку, громко разгрыз кусочек сахара и улыбнулся.

— Что ты ухмыляешься? — рассердился Рогов. — Смешно с цветами получилось? Считаешь, что можно до лета погодить?

Бондарчук развел руками:

— Не понимаю, почему тебя раздражает моя улыбка? Вот вспомнил один случай и улыбаюсь...

— Нет, ты это все про цветы! — не унимался Рогов. — Да, я считаю: пора нам под рукой иметь цветы. Покажи мне сейчас участок, который бы хоть немного не перевыполнял план? Это одним словом называется: тронулось! Смотри... — он быстро развернул статистическую таблицу. —

Смотри, Виктор, на эксплуатации девяносто восемь процентов рабочих выполняют нормы, шестьдесят три процента стахановцы! А? Как это называется? Знаешь?

Бондарчук рассмеялся.

— Знаю, знаю! Что ты расхотелся? Я же не с неба упал... — С удовольствием оглядев ладную фигуру Рогова, он сдержал улыбку и осторожно спросил: — Ты не думаешь, что нам скоро придется делать еще один крутой поворот?

— Поворот? — Рогов подумал. — Поворотов у нас впереди сколько угодно. Но что ты имеешь в виду?

Сев напротив и медленно разглаживая сухими пальцами бархат скатерти, парторг высказал свою мысль.

«Капитальная» дает всего пятьдесят три процента коксующегося угля марки «ПЖ», остальной — энергетический. Районы и участки шахты норовят дать побольше энергетического и поменьше коксующегося. Это почти никого не удивляет: марка «ПЖ» идет в основном с нижнего, более трудного горизонта, вот и решают: «Если с ней к концу месяца немного не дотянуть, зато нажать на энергетический, который ближе, сподручнее, — план оказывается в порядке...»

Рогов нетерпеливо двинул стулом.

— Зачем ты мне говоришь это? Я же на прошлой неделе приказ подписал — прежде всего кокс! По коксу будем расценивать работу.

— Правильно, — Бондарчук чуть прикрыл глаза, точно вспоминая что-то. — Правильно, Павел. Но давай рассуждать логично. Для нас борьба за «ПЖ» — это борьба за самое важное в общегосударственном плане. Не пора ли нам так повернуть дело, чтобы «ПЖ» поднималось на-гора не пятьдесят три процента, а семьдесят, девяносто? Не пора ли?

Рогов пожал плечами.

— Так скоропалительно этого не решишь! Считая, что вопрос исчерпан, он взялся было за телефон, но Бондарчук твердо придержал его руку.

— А ты подумай.

Рогов отодвинул аппарат, встал, прошелся по комнате и сказал:

— Ведь это же не простая передвижка внутри плана, — сказал он. — Чтобы перенести центр тяжести всех эксплуатационных работ на нижний

горизонт, нужно всесторонне подготовиться, пересмотреть технологию. Ты же знаешь, что нижняя Полкаштинская свита пластов — пологападающая, более мощная; нужно решительно перестроить всю транспортировку: если с верхнего горизонта уголь качают еще и двумя уклонами, то для нижнего — это не выход из положения, тут нужен еще один ствол. А потом все это предусмотрено планом развертывания горных работ. Процесс естественный и потому неизбежный.

Бондарчук кивнул, но, как видно, остался при своем мнении.

В дверь постучали, и вошел Данилов.

— Не помешаю? — сказал он.

Торопливо раздевшись, он налил себе кружку чая и выпил его залпом, мелкими быстрыми глотками. Глаза у парня поблескивали весело и чуть-чуть настороженно.

— Угощайся еще, — предложил Рогов, — погрей душеньку, повеселись.

— А сами-то что же не веселые?

— Государственный разговор...

Бондарчук постучал в дно порожней кружки.

— И не меньше! Без шуток.

— Знаю! — Рогов насутился. — Все знаю. Но для того чтобы шагать дальше, нужно учитывать конкретные производственные условия...

— А по-моему, конкретные производственные задачи! — с нажимом выговорил парторг. — И, разумеется, условия, обстановку. Но обстановка-то и толкает на это. Смотри, в Сталинске поднимают шестую коксовую, в Кемерове старые печи заменяют более мощными — и это только в Кузбассе! А с кого же в первую очередь спросят коксующийся уголь?

Рогов вдруг вскочил и, пошевеливая руками в карманах, выпалил:

— Пусть у себя это в первую очередь спросят!

— Это почему? — парторг высоко вздернул брови. — Уголь-то мы даем?

— Даем! — ответил Рогов. — Но мы даем коксовикам бесценное золото, а они тут занимают очень странную позицию. Ты подумай, что делается во всех звеньях нашего народного хозяйства: куда ни повернись, всюду лезет в жизнь новое, более совершенное, а коксовики при поддержке ме-

таллургов в святая святых своей деятельности вдруг заартачились!

Как всегда в минуты большого напряжения, лицо Рогова чуть побледнело, осунулось, говорил он почти без жестов, бессознательно действуя на слушателей своеобразными интонациями, при которых слова приобретали совершенно неожиданную окраску. Так говорить может только человек, глубоко убежденный в своей правоте.

— Необходимо, — продолжал он, — немедленно ломать устаревший взгляд на вещи, будто добротный металлургический кокс получается, если только в шихте на восемьдесят пять — девяносто процентов содержатся такие дефицитные марки углей, как «ПЖ», «К» и «КО». Но это же технический абсурд, это значит, что процесс коксования по существу не управляем, словно его создали не люди, а ее величество природа. Нужно воздействовать на внутренние свойства углей, нужно громить, перекраивать их, а не заглядывать им в личико: «Ах, вам это не по нутру?» Это не смешно. Гамму коксующихся углей необходимо расширять — это наш кровный долг перед судьбами родной промышленности. И кто хотя бы раз открыто, честно сказал, что это невозможно? Ведь сама жизнь опрокидывает такие «установки». За последние десять лет в коксовую шихту брали все больше газовых углей, а ведь кокс-то не ухудшался. Еще до войны в Магнитогорске академик Павлов доказал возможность привлекать для коксования до сорока процентов газовых углей. Вот как обстоят дела!

Бондарчук опустил взгляд на раскрытые ладони, потом крепко зажмурился — так, что короткие густые ресницы вдавились в тонкую кожу глазниц. А когда посмотрел на Рогова, глаза его смеялись и голос чуть вздрагивал.

— Знаешь что, Павел Гордеевич, — он подмигнул Степану, — поедem на областную партийно-техническую конференцию — вот тебе тема для выступления.

— Видишь! — оживился Рогов. — Ты сам понимаешь...

— Что это только один путь! — перебил Бондарчук. — Он не исключает, а только подтверждает

необходимость увеличить добычу нашей дефицитной марки. Ты-то понимаешь это?

Рогов устало вздохнул.

— Конечно, понимаю. Но в наших условиях... мало надежды на успех.

— Ты же сам говоришь, что шахта тронулась в гору, что сейчас в дело впряжены все силы? — снова начал Бондарчук.

...Уже бледные зимние сумерки подбирались к широким окнам, Степан в третий раз кипятил чайник, а парторг с начальником шахты все еще то сидели друг против друга, почти соприкасаясь взъерошенными шевелюрами, наклоняясь к листку с вычислениями, то одновременно ходили по комнате, встречались нечаянно где-нибудь в углу или на середине и говорили, говорили.

Несколько раз то Рогов, то Бондарчук нетерпеливо обращались к Степану:

— Что ты молчишь? Ты-то как думаешь?

— Как я думаю? — Степан разводил руками. — Я о многом думаю, но пока помолчу. Рассуждайте.

Степан отходил то к плитке — доливать чайник, то к приемнику — подкрутить регулятор, но делал он все это невнимательно, вполглаза. За весь вечер он не пропустил ни одного слова, сказанного Бондарчуком и Роговым.

Рогов говорил:

— Да, для перехода на нижний горизонт недостаточно одного желания, одной необходимости. Под все это надо подвести прочный технический расчет. А все расчеты нужно делать, исходя из конкретных государственных планов, которыми мы связаны со всем Кузбассом, со всем народным хозяйством...

— План — как вериги? — насмешливо перебил парторг.

— Не чуди! Это основа хозяйственной дисциплины. Повторяю, не в этом еще загвоздка. Можно перенести весь фронт подготовительных работ на нижний горизонт, можно нарезать лавы — с этим мы обойдемся. Но ведь сразу же потребуются еще два внутришахтных уклона. Два! Где для этого взять людей? Где? Ты же понимаешь, если я прошлый раз на бюро горкома отказался принять шестьдесят человек, я же действовал из прямого хозяйственного расчета.

Бондарчук крутит пуговицу на гимнастерке Рогова.

– Правильно. Трудно. Но категорически необходимо. Немедленно ставь в известность трест, комбинат, министерство – кого угодно...

– Немедленно едва ли удастся это сделать.

Бондарчук кривит губы.

– Почему?

Рогов круто повертывается, берет Степана за плечи и, поставив его перед собой, спрашивает Бондарчука:

– Ты видишь его? Это наш рабочий, их на «Капитальной» почти три тысячи. Должны мы посоветоваться с ними? Должен сам коллектив взвесить собственные силы? Это же твоя мысль – помнишь, когда знамя отдавали?

– Хорошо. – Лицо у Бондарчука посветлело. – Хорошо. Будем советовать. И ты, Степан, тоже это запомни.

Он берет трубку и, вызвав партбюро, спокойно говорит:

– Вера? Обзвони быстренько членов бюро, пусть явятся к восьми. На повестке: квартальный план.

Уже собравшись уходить с Бондарчуком, Рогов вдруг снова взмахнул руками и заговорил:

– Вы понимаете? Я начал чувствовать шахту как завод с единой поточной линией, как хорошо налаженный механизм. Черт! Не работы боюсь – давай работу. Но не во мне дело. Люди попадают в другие условия. Возьмите черепановцев – пригноравливались на крутопадающих, а как развернуться на пологих пластах, на горизонтальных?

Данилов слышал, как, захлопнув дверь и спускаясь по лестнице, он еще несколько раз воскликнул:

– Круто поворачиваете! Круто!

ГЛАВА XXXI

Оставшись один, Данилов некоторое время занимался обычными вечерними делами: прибрал в комнате – не нравилось, как это делала уборщица, почитал газеты, покрутил регулятор приемника, но делал это уже невнимательно, скорее, для порядка, так же, как во время спора Бондарчука с Роговым.

«Та-ак... Значит, товарищ начальник шахты сомневается! Хорошо! Очень хорошо...»

Данилов передернул плечами и решительно шагнул к телефону.

– Срочное дело? – переспросил Черепанов на другом конце провода. – Ну, что ж, приходи... Мы, правда, на концерт собрались, но если срочное... Приходи.

В общежитии были Черепанов, Сибирцев, Аннушка, Санька Лукин. Аннушка ходила по комнате, заложив покрасневшие на морозе руки в крохотные карманы жакетки. В углу сидел Саша Чернов, вычерчивая что-то в блокноте.

Лицо у Черепанова утомленное – несколько последних суток, кроме своей смены, он ходил на два-три часа в две другие. Это были беспокойные смены не только для него, но и для всех членов бригады. Друг у друга учились, проверяли приемы, готовились к решительному шагу вперед.

Не успел Степан перемолвиться и одним словом с товарищами, как у крыльца кто-то закричал зычным голосом:

– Тпру-у! Приехали. Выгружайся, товарищ музыкант!

Все бросились к окнам и невольно ахнули, Черепанов – так тот даже за голову взялся.

– Мамочки, такого еще не было...

У подъезда стояли огромные комхозовские розвальни, груженные разлапистым фикусом и блестящим, лакированным пианино. Из-за лошади вывернулся сияющий, возбужденный Митенька. Новенький полушубок на нем распахнут, шапка чудом держится на затылке, взбитый чуб заиндевел. Улыбчиво оглядев поклажу на санях, он хлопнул себя по бокам рукавицами и, одним махом одолев пять ступенек, крикнул в двери:

– Живые? Помогите. Срочно. Это ж музыка!

И во все время, пока товарищи молча заносили в комнату разлапистый фикус, а потом громоздкое пианино, он прыгал вокруг и, словно не замечая натянутого молчания, все покрикивал:

– Да не так, не так, левее надо! Вот чудной, зачем ты за эту лапку цапаешь, ломаешь!.. Не соображаешь!..

Выгрузили. Посидели вокруг покупок, отдышались. Потом Лукин щелкнул пальцем по запотевшему листку фикуса и молвил:

– Росла, между прочим, греха не знала...

– А атмосфера была вредная, – начал Митенька.

– Это почему?

– По хозяйке сужу, у которой покупал. Такая сквалыга, все норовила с меня содрать лишнюю сотню.

– А сколько содрала?

Митенька потрянул головой.

– Так я же увертливый, три тысячи дал и ни в какую.

Сибирцев кашлянул в ладошку.

– Значит, плакала твоя сберкнижка? Товарищи только вздохнули. Но Санька тут же снова спросил:

– Что же мы теперь, танцевать будем? Тра-ля-ля?

– Как это тра-ля-ля? – обиделся Митенька, – Выдумал! Это для Тони Липилиной!

– Да, да, это для Тони! – подхватил Черепанов. – Мы же советовались, что бы такое ей купить. Завтра тронемся. Пианино Митенька в кармашек сунет, фикус этот в платочек завяжем, Санька вон по пути прихватит маневровый паровоз. Вполне торжественно получится. – Он с сожалением посмотрел на покупателя и сразу переменил тон: – Эх ты! Человек же больной. Слышал, что Степан Георгиевич рассказывал? А ты с целым оркестром, да еще этакий телеграфный столб!

Взмахнув косами, Аннушка круто остановилась и недоуменно развела руками.

– Вообще, Митенька, характер у тебя безобразный, все с какими-то заскоками. Что нам делать с твоим характером – ума не приложу. Тебя доброта распирает, у тебя хорошее сердце, – так ты иди вперед, показывай пример остальным, не допускай, чтобы тебя постоянно в сторону заносило. Ну хоть бы посоветовался!

– Главное не по-человечески получается! – воскликнул Лукин. – Это же не подарок, а как бы сказать?.. Оборудование!

Митенька сидел все время, упершись грудью в стол, но вдруг выпрямился, убрал маленькие вздрагивающие руки с клеенки, почти испуганно оглядел товарищей и спросил:

– Чего вы со мной делаете? – Потом заговорил бессвязно, глотая звуки: – Я это Тоне... Она вое-

вала. Я учился. Матка у меня, сестренки... Здоровые все. Может, потому, что Тоня была там... Я бы кровь ей отдал, а вы!..

Стало очень тихо. Было слышно, как стучат часы на стене.

Щеки у Аннушки зарозовели, она растерянно оглянулась на бригадира, на Чернова, точно спрашивая: «Что ж вы молчите?» Но в это время к Митеньке подошел Данилов, взял за плечи, заглянул в лицо и крепко прижался губами к его щеке.

Решили, что пианино и фикус пока постоят в общежитии, а там можно с самой Тоней посоветоваться, как быть. А потом, в течение всей остальной беседы, Митенька как-то невольно оказывался в центре внимания товарищей – то Степан вне очереди подливал ему горячего чая, то Сибирцев тянулся с только что распечатанной пачкой папирос. Митеньку сегодня словно заново увидели.

Прежде чем Данилов сообщил о причине нечаянного собрания, Черепанов сказал, что завтра, пожалуй, можно начать основной жим по всем трем сменам. Только дружно и не задыхаться – расчет не на один день. А то на шахте будет кое-кто сомневаться, скажут, что рвут ребятки...

– Уже сомневаются! – перебил Степан.

На него недоверчиво посмотрели, но он повторил:

– Честно говорю, сомневаются. За этим и пришел.

Это был хороший, памятный вечер для комсомольцев.

Передал Степан по-своему, как ему на сердце легло, весь разговор Бондарчука с Роговым. О коксе рассказал, о нижнем горизонте... О крутом повороте, перед которым встала сейчас шахта. Что же, правильный это поворот. Рогов ведь тоже знает это и, по правде сказать, не в силах людей сомневается, а боится он, что очень уж трудно придется первое время таким, как вот они.

– Непременно трудно, – подтвердил Черепанов.

– Ну и что же? – удивился Сибирцев.

Аннушка пытливо всматривалась в задумчивые лица товарищей. Чернов что-то быстро

писал в блокноте. За окном, в далеких ночных сумерках, хлопотливо покрикивал маневровый паровичок.

Изменился какой-то отрезок на их пути – так это все почувствовали и приняли. Но самое главное – они и по новой дороге идут опять все вместе.

– Как же решаем? – спросил Черепанов. Данилов, а за ним Лукин даже плечами пожали.

– Какой может быть разговор...

– Степан Георгиевич... – бригадир невольно опустил взгляд, но через секунду уже прямо посмотрел в глаза Данилову. – Степан Георгиевич, на нижнем горизонте лавы пологие – мы будем уже не забойщиками, а навалотбойщиками. Там весь уголек на ленту лопатой приходится...

– Ну?

– Трудновато это, Степан Георгиевич...

Данилов понял, глаза его с медным отливом метнули искорки.

– Что ж ты мне предлагаешь? В парикмахерскую?

Черепанов покраснел, но глаз опять не опустил.

– Нет, я не об этом. Чтоб ты надеялся на бригаду.

Данилов задумчиво покачал головой, улыбнулся.

– А я надеюсь, Миша. И на себя тоже. – Он обратился к Ермолаевой: – Слушай, Аннушка, сегодня мне записали сто шестьдесят пять процентов, но я обрадовался не этим процентам, а тому, что они мне легче дались, чем первые сто. Не знаю, как у меня будет на нижнем горизонте, плохо, наверно, но я выберусь! Вчера Тоня мне прямо сказала. – Степан осекся, быстро оглядел товарищей и спросил упавшим голосом: – А вы что, сомневаетесь?

Сибирцев трубно откашлялся; потом в разговор вступила Аннушка.

– По-моему, мы не тем занимаемся, – сказала она, – обхаживаем друг друга, будто впервые встретились. Давайте решать: переходим на нижний горизонт?

Сибирцев предложил:

– Немедленно заявить об этом Павлу Гордеевичу и Виктору Петровичу!

Аннушка запротестовала:

– Нет, это не годится, мы не имеем права заскакивать вперед, пока поворот на шахте не начался. Когда управление и партбюро обратятся к коллективу за советом, мы будем готовы. Правильно? А сейчас...

– Начинать, к чему готовились! – подытожил Черепанов.

И всем сразу стало как-то легче.

Заговорили о вещах, как будто не имеющих прямого отношения к работе. Санька Лукин, как обычно, стал жаловаться на плохую воспитательную работу.

– Что такое?.. – Он широко разводил руками. – Куда ни посмотришь – никакой воспитательной работы.

Но к жалобам Лукина о воспитании давно привыкли и прощали ему эту маленькую слабость. Любил Санька, чтобы с ним не просто говорили, а чтобы его именно воспитывали. В этом, по его мнению, было что-то чистое, человеческое. Ему казалось, что люди-воспитатели приподымают его над землей, согревают своим дыханием, открывают в его собственном сердце такие родники силы, о которых он и не подозревал. В представлении Саньки люди вообще делились на две категории: на тех, кто учит, и тех, кто учится. Но и к учителям жизни, к воспитателям, молодой шахтер предъявлял очень высокие требования. Об одном он говорил:

– Да-а... этот воспитывать может.

О другом наоборот:

– Так себе... Все понятно, но он больше на вчерашнюю газету нажимает.

Сегодня Лукин почему-то вспомнил о докладе, который слышал еще на прошлой неделе. Во-первых, докладчик был неправильный. Зачем таких присылает горком комсомола? Говорил он о любви, о дружбе, а сам, наверно, никогда не дружил и не любил – говорит, а сам в ладошку зеваает.

Аннушка кивнула. Она уже скандалила в горкоме по поводу этого доклада. Вот позавидовать можно Саньке Чернову – как действуют на людей его простенькие корреспонденции. Это, конечно, потому, что слова у него доходчивые, от сердца. Как-то еще по случаю первой победы

Черепановцев он написал даже поэму «Молодой Кузбасс». А так как редактор отказался печатать этот литературный труд, сославшись на то, что у него газета, а не художественный альманах, то автор просто переписал поэму и повесил над кроватью Черепанова, чем бригада очень гордилась, выучив наизусть бесхитростные стихи.

Сибирцеву с Даниловым нужно было с утра на смену, они отошли в сторонку посоветоваться.

– Может, завтра и двинем первый разок? – спросил Степан.

Сибирцев подумал.

– Кто его знает, как с лесом...

– Предупредим Дубинцева, это же горячий парень.

– Всю лаву, пожалуй, многолько... – Густые брови Георгия расползлись в усмешке. – Как бы жила не лопнула...

– Нет, всю! – Степан выпрямился и даже выше ростом стал.

Они встретились взглядами, но ничего не успели сказать друг другу: перебил телефонный звонок.

Однако прежде чем кто-нибудь взял телефонную трубку, в коридоре загремело, и в комнату ошалело ворвался Алешков.

– Провалился, – сказал он и глотнул воздух, потом еще раз глотнул и добавил: – Григорий Вошин! Два забоя закумполило.

Снова зазвонил телефон. Степан машинально потянулся к телефонной трубке, послушал и вдруг уронил в тишину:

– Товарищи... с Тоней плохо!

А через несколько секунд все они почти молча бросились к выходу, загрохотали по лестнице. Взвизгнув блоками, с треском захлопнулась дверь в подъезде.

ГЛАВА XXXII

Из-за горы Елбань поднимался день-бокогрей, шахтерский город поклонился ему сотнями розовых дымочков.

На широкое каменное крыльцо из больницы вышли Аннушка, Чернов, за ними Черепанов, Сибирцев и последним Данилов. Стукнула дверь, и сейчас же гулкое эхо прокатилось в крутых логах, по синим нагорным снегам, под ко-

торыми никогда не умолкают светлые родинки.

Всего минутой раньше, спустившись из верхних палат, доктор Ткаченко оглядел утомленные лица комсомольцев, торопливо протер очки и негромко молвил:

– Уснула. Слышите? Говорю, уснула! И хватит вам...

Сибирцев не дал ему досказать, обхватил неожиданно своими могучими ручищами, прижался небритой щекой к его лысине.

Ткаченко сердито отшатнулся, потом коротко хмыкнул и, наконец, бочком отошел к рассветному окну, махнув комсомольцам.

– Уходите! Надоели.

Постояли на припорошенных снегом ступенях, вгляделись пристально в город, в прозрачный горный простор вокруг, потом Черепанов сказал задумчиво:

– Хороший день будет.

Где-то за горой протяжно и чисто запел гудок «Капитальной», скликаая первую смену. Сибирцев оглянулся на Степана, а тот на Аннушку. Она сейчас же кивнула:

– Иди, Степан, я обо всем узнаю и, как только проснется, сообщу.

Черепанов тоже простился. На крыльце долго еще стояли Чернов с Аннушкой.

Повзрослели они за эту длинную тревожную ночь. Все было передумано и как будто обо всем переговорено в те часы и минуты, пока ждали вестей от Ткаченко. А он скуп был на вести. Глянет через перила лестницы вниз и спросит коротко:

– Сидите?

Да больше, пожалуй, ничего и не нужно было – одним своим видом, голосом доктор успокаивал. Значит, все идет так, как должно. Один только раз позвали Степана в палату, и не Ткаченко, а мать Тони, Мария Тихоновна. Какая-то удивительно отчужденная, в белом больничном халате, она медленно сошла вниз по лестнице, постояла посреди вестибюля, словно забыв, зачем оставила дочь, потом подошла близко к Степану, и голос ее дрогнул, когда она сказала:

– Иди, Степан, тебя кличет.

Степан вернулся минут через десять и сел рядом с Аннушкой. Его ни о чем не спросили, хотя глаза у каждого кричали: «Не молчи! Что с То-

ней?» И он заговорил, приподняв руки и сжав их в кулаки:

– Она говорит, что свет перед глазами... Как будто молнии. Больно. А доктор одно свое: у нее затяжной кризис, сейчас все решается... Решается! – повторил Степан и строго заглянул в лицо Ермолаевой. – Вот, Аннушка, что я думаю: мне довелось разными способами убивать врагов – из винтовки, даже из пушки палил... Но если еще кто-нибудь к нам придет, я потребую такое оружие, чтобы, как молотом, тысячами разило... Будь они прокляты, кто живую кровь пьет!..

Степан крепко зажал глаза кулаками.

...И вот поднимается утро.

Проводив взглядом Степана, Сибирцева, Черепанова, потом поглядев на трепетный малиновый занавес над восточной горной грядой, Чернов стесненно вздохнул:

– Песню написать хочется!

– Песню? – Аннушка оглянулась на журналиста. – А ты попробуй.

– Нельзя пробовать, – писать нужно! Рвется это из меня, сладу нет! Написать нужно так, как вижу все...

– Что же ты видишь?

– А вот Тоню в палате, наш город, как ты всю ночь в углу проплакала, а Степан с Георгием ушли на смену только что... Какими словами написать об этом?

– Пиши, Саша! – задумчиво отозвалась Аннушка и медленно сошла по ступенькам.

Постояла еще немного и вдруг заторопилась: необходимо сейчас же встретиться с Бондарчуком и Роговым. Что там случилось в забоях у Вощина, – с этим так и не успели ночью разобраться.

Главный инженер треста Черкашин встретил Рогова новостью:

– Можешь радоваться, Павел Гордеевич: план комбинатом на новый месяц тебе утвержден прежний, если не считать увеличения на два-три процента за счет энергетических углей.

– Утвержден, – не сдержал Рогов досады. – Очень что-то прытко на этот раз, обычно контрольные цифры приходят на шахту в первых числах месяца.

Черкашин улыбнулся.

– Обычно на аккуратность не принято жаловаться.

– Я о другом, – возразил Рогов. – Меня удивляет некоторая близорукость в местном планировании. Скажите, почему это, имея в хозяйственном активе такую единицу, как наша шахта, в планах все время нажимают на окисленный, энергетический уголь? Но ведь «Капитальная» заложена и действует как коксовая – в этом она должна играть первую скрипку.

Черкашин опять улыбнулся, разгладил пальцами складки на щеках.

– Не порите горячку, Павел Гордеевич, все очень закономерно. Марка «ПЖ» необходима народному хозяйству, значит в свое время она займет подобающее место в добыче «Капитальной».

– Нет! – Рогов быстро выпрямился. – Я не верю в эту закономерность. Извините. Все кругом так стремительно набирает скорость, а тут эти «эволюционные» теории.

Он заговорил опять без жестов, глядя прямо в лицо собеседника:

– Не дальше как через полгода трест и комбинат спохватятся, и начнется нездоровая гонка. Почему? Очень просто. Нижний горизонт не развивается, даже проходка главнейших выработок – этого станового хребта для очистного фронта – занимает в планах капитальных работ очень незначительное место. Поэтому вчера мы на партбюро приняли специальное решение. Будем просить горком и трест, чтобы они ходатайствовали о пересмотре производственных планов «Капитальной». А пока суд да дело, начнем понемногу стягивать силы на нижний горизонт.

– Значит, не сомневаетесь в пересмотре планов?

– В этом не сомневаемся.

Рогов собрался уходить, и Черкашин уже в последнюю минуту сообщил:

– Направил сегодня в ваше распоряжение инженера Галину Вощину. Здесь ее хвалят. Подумайте, куда определить.

Это известие почему-то испортило настроение Рогову. После вечера у Вошиных он встретился с Галей всего один раз на квартире Тони Липилиной. Поговорили как давние знакомые.

Но ему опять безотчетно хорошо было от близости девушки, от того, что так мягко, немного насмешливо лучились ее глаза. Когда шли от Тони, он постарался даже стряхнуть это очарование, заговорил о шахте, о людях, о новой работе, в которую они с Бондарчуком впрягают сейчас всех средних и младших командиров.

– Вы как будто давно нашего парторга знаете? – перебил себя Рогов.

– Да, Виктора Петровича я знаю, – не сразу отозвалась Галя. – А что?

– Я вам завидую и жалею, что сам недавно знаю его. За короткое время он стал на шахте как-то незаметно незаменимым. Понимаете? Он не бегает, не кричит, не требует, даже как будто не тормозит людей, но куда бы вы ни заглянули, к чему бы ни присмотрелись, без труда угадаете: здесь был, над этим думал парторг. Богатый человек!

Галя задумчиво сказала:

– Красивая, сильная душа у Виктора Петровича.

Это был обыкновенный разговор, но Рогов почему-то часто вспоминал о нем. Вспоминал лучистый, чуть насмешливый взгляд девушки, ее хорошую, открытую улыбку, когда она смотрит на собеседника и словно бы говорит: «Как хорошо жить!»

«Ну и что же? – спрашивал себя Рогов. – Какое мне, собственно, дело до всего этого?»

Давно уже сжился он с образом Вали, выносил его в своем сердце, не разлучался с ним ни в горе, ни в радости. Когда еще на фронте наизусть читал солдатам «Жди меня», – это он Вале читал, думал о далекой Сибири, думал о Вале.

А теперь вот все чаще круто обрывал фразы в своих письмах к ней, все чаще спрашивал: «Скоро ли?»

«Я все понимаю, – отвечала она недавно, – и я тоже немного устала от всех этих проволочек. Но, мне кажется, мы ни в чем не виноваты друг перед другом. Сознаюсь, Рогова я немного ревную, – нет, не к шахте, а к тем людям, которых он видит каждый день, которые любят его. А Рогова ведь нельзя не любить?»

И вдруг эти нечаянные встречи с Галей. Он чувствовал, что в чем-то уже виноват перед Валей.

Вернувшись на шахту, Рогов около часа просматривал штатные списки, стараясь выкроить что-нибудь на проходку уклона. Потом пришел Григорий Вошин. Веки у него припухли от бессонницы, но глаза темноватые, взгляд нацеленный, словно проходчик держит что-то особо важное в памяти и боится упустить это из виду.

После того как вчера вечером сообщили о неудаче Григория, о том, что он ушел со смены даже не помывшись, Рогов сразу же поехал на дом к Вошиным. Открыла Екатерина Тихоновна и, увидев инженера, словно бы испугалась. Он шепотом осведомился, дома ли мужчины. Екатерина Тихоновна молча показала на двери горницы и снова посмотрела так, что он без труда понял: боится она за сына.

Раздеваясь, услышал за стенкой раскатистый бас старого проходчика:

– Это называется шахтерская наука. Другой раз не подкумполит. И нечего тут кисели разводить, садись-ка за стол, да посчитаем оба-два, что к чему.

Перешагнув порог горницы, Рогов с облегчением подумал: «А ведь обошлись бы и без меня!»

Пробыл он у Вошиных недолго, ограничился только коротким расспросом о том, что же произошло на смене, как это получилось, что Григорий упустил кровлю сразу в двух забоях?

Григорий ответил коротко, что не удержался и, когда смена пошла полным ходом, рванул, решив на деле исправить собственные расчеты.

– Значит, рванул? – переспросил сейчас снова Рогов.

В ответ Григорий на минуту плотно сжал губы, глянул на инженера открыто и заговорил глуховато, как будто впервые за день:

– Я все думаю, Павел Гордеевич: чего же мне не хватило? Ведь считали мы правильно, изъяна в графике нет, забои обыкновенные – все честь-честью. Как же так получилось, что я рванул? Ведь я у отца не один год учился. Чего же мне не хватило?

– Мудрости нам не хватило! – Рогов медленно вышел из-за стола и, остановившись против проходчика, повторил: – Мудрости Афанасия Петровича! Мы с тобой в эту неизведанную дорогу запаслись инженерными расчетами, не-

плохой сноровкой, великим желанием добиться цели, а вот мудрой трезвости у нас не хватило. Виноват тут, конечно, и я, но в первую очередь виноват ты. Я понимаю, что у тебя была, может быть, неясная, но была мысль доказать отцу, что он не зря учил своего сына. Поэтому ты и не подпустил его даже близко к своему многозабойному методу. Это, Гриша, и не сыновний поступок, и не партийный! Вот что.

– Я ему так и сказал сегодня, – ответил Григорий после раздумья и опять открыто, с облегчением глянул в глаза Рогова,

– Что же дальше?

– Дальше? – Григорий развернул тетрадь. – Вот новый график, Павел Гордеевич, хотя и старый был не плохой. Но тут немного другой принцип... Отец помог.

Слушая проходчика, Рогов удовлетворенно кивал. Да, добавить к новому графику что-нибудь трудно, все выглядит и стройнее, и проще. Многозабойный метод осуществляют не проходчик с помощником и несколькими подсобными рабочими, конкретно ни за что не отвечающими, а комплексная бригада проходчиков, в которой каждый знает свое место, свое дело и время для него. Осуществляется поточная линия, своеобразный конвейер с целым рядом последовательных операций. Рогов не согласился с Григорием только в одном пункте. В обрешном штреке по-прежнему много времени отнимала ручная перекидка угля – это притормаживало всю систему.

– Вычеркни! – распорядился Рогов. – Я передумал. Подтянем сюда ленточный транспортер. На машину, Гриша, и... к черту этот потогонный участок.

– Ну, Павел Гордеевич, – Григорий откинулся на спинку кресла, – втянули вы меня по уши в этом дело! Рогов рассмеялся.

– Сам втянулся, и нечего здесь хвастать. Отправляйся и разговаривай со своей комплексной бригадой. Только предупреждаю! – он хитро, как-то мужиковато прищурился. – Предупреждаю, Гриша: домой из шахты неумытым не ходить.

Прощаясь, Григорий признался:

– Нескладно вчера у меня получилось, мать захворала.

ГЛАВА XXXIII

«Крутым шестидесяти градусным взмахом широкая подземная выработка – лава на пятьдесят метров уходит вверх. Кровлю поддерживают толстые стойки. Грудь забоя – угольный целик представляет симметричную зигзагообразную линию «уступов», похожую на перевернутую гигантскую лестницу с трехметровыми ступенями. Лава – передний край трудного шахтерского наступления, в лаве рождается угольный поток и течет, течет отсюда по шахтным дорогам – штрекам и квершлагам, выносятся главным подъемом на-гора, подхватывается транспортерными лентами, падает в бездонные бункера, наполняет вагоны и мчится дни и ночи за тысячи километров и где-то на заводах, электростанциях превращается в пар, свет, тепло. Тепло и свет трудами забойщика-светоносца рождаются в лаве!»

– Ты слышишь, светоносец, как тебя Сашка расписал? – с усмешкой спрашивал Данилов, свертывая листок городской газеты.

...Это началось утром, после напряженной ночи в больнице. Наряд раздавал не помощник, как они опасались, а сам Дубинцев. Поговорили с ним недолго и даже не поговорили, а только коротко предложили выдать из длинной лавы эшелон угля за смену. Николай стремительно выпрямился и тут же заговорщически оглянулся.

– Тсс! Не звоните...

Оказывается, он давно уже носится с этой мыслью, расписал график, подготовил инструмент, разговаривал с новым начальником транспорта – тот обнадежил. И лава – как раз после посадки. Все готово и ждет только счастливого случая.

– Это не случай! – обиделся Данилов. – Не думай, что у нас тяп-ляп – встали утром, и взбрело в голову.

– Терпения нет, – добавил Сибирцев и поглядел на Степана.

И снова встали перед их глазами, снова ожили в сердцах короткое совещание вечером, длинная ночь в Тониной больнице, и снова великое нетерпение охватило их обоих. Перебивая друг друга, рассказали об этом Дубинцеву.

Николай крепко встряхнул Сибирцева за плечи, не сказал, а выдохнул:

– Давайте!

И прав он потом был, когда кричал по телефону Рогову, что в лаве у него светопреставление. Да, в лаве все восемь часов стоял непрерывный грохот, уголь лавиной катился вниз, к спусковым печам. А тут еще, как на грех, из-за аварии в энергосистеме выключили энергию. Когда электровозы застыли на перегонах, в подсобных бригадах словно искра проскочила: люди бросились к соседним участкам, хватали порожняк, где только можно, и вручную гнали его к длинной лаве.

Первые два часа дались Данилову нелегко, но потом он вдруг сразу окреп, вошел в темп. С Сибирцевым они почти не разговаривали, работа захватила, как песня, и чудилось, что слушают ее сотни шахтеров.

Часов около двенадцати в лаве случилась беда. Только что отпалили восемь средних уступов. Подтянув силовые кабели, забойщики бросились вверх, и вдруг Сибирцев осел.

– Ну, что ты? – подсадовал Степан. – Скорее!

Но тот молча крутнул головой и, подавшись в сторону от забоя, приглушенно крикнул:

– Уходи! Булка!

Степан тоже невольно отпрянул. Кто ожидал такой напасти, пласт до сих пор был чист, как стеклышке!

«Булки», включенные в угольный пласт, – это круглые булыжники весом иногда до нескольких центнеров. Встречались они редко, и, тем не менее, шахтеры их не любили. Грохнет такая машина вниз по лаве – с треском летят перебитые стойки, закупоривается спусковая печь, – возни на целую смену, а угля нет.

– Ну? – Степан нетерпеливо повернулся к товарищу. – Что ж теперь, молиться на нее?

Заметив, что Сибирцев все еще нерешительно мнется, он первым приблизился к опасному месту, посветил и снова против воли подался на шаг в глубь забоя.

– Ого, какая чертовщина! Даже во сне такое трудно увидеть.

Оголенный силой взрыва валун или, как его еще называют, «колчедан» держался за пласт,

примерно, одной третью своего круглого яйцеобразного тела. Степан еще подумал, что этот «колчедан» похож издали на мутно-серый выпуклый глаз, тупо, бессмысленно глядящий из черного угольного массива.

Подошел Сибирцев.

– Фокус? – спросил Степан.

– Фокус-мокус, – Георгий сплюнул. – Знаешь, каких шишек может наставить?

– Шишкам замер потом сделаем. Ты думай, как вышибить это бельмо.

– Как?.. Взрывать надо. Пропала смена!

– Не говори ерунды! Как это пропала?

– А так, пока скважины пробьешь, время-то убежит.

– Убежит! – Степан торопливо сбросил брезентовую куртку. – А ну, давай!

Всю смену они, по выражению Дубинцева, работали, как сто чертей, а для следующих двадцати минут и слова нельзя было подобрать. Ниже больного уступа настлали полог из горбылей, укосиной в глубь породного завала, чтобы куски булыжника при взрыве отнесло в сторону. Бурить не стали – долго и опасно. Взрывчатку пристроили на «булку» внашлепку. Взрывник, ходивший вокруг на цыпочках, с сомнением крикнул.

– Ничего, дядя, – успокаивал Степан, – по закону газы во все стороны свищут.

– То-то и беда, что во все стороны, – погоревал дядя, – а мне нужно, чтобы они по камню ударили.

Втайне Данилов и сам опасался, что толку от взрыва не получится, но что ж было делать, не сидеть же сложа руки, к тому же, снизу подсобники кричали:

– Эй, рекордисты, запарились? Давай уголь!

Хорошо, если булыжник держится в угольном массиве достаточно прочно, тогда взрывом его действительно разнесет на куски, а если нет, если этот треклятый «колчедан» ждет только малейшего толчка? Тогда...

Степан даже зажмурился. Тогда камень с удесятеренной силой, как пушечное ядро, прочешет лаву до самого низа.

Вышли в нижнюю просеку и невольно прислушались к тишине.

– Так как прикажете? – взрывник нерешительно вставил ключ в замок запальной машинки. – Я, конечно, могу крутнуть.

Сибирцев вопросительно посмотрел на Данилова, тоже что-то хотел сказать, но Степан только плотнее прижался спиной к стойке, зажал лампу между коленями и круто оборвал разговор:

– Крути, товарищ, а то я и сам могу!

Угловато двинув плечом, товарищ крутнул.

Сквозь взрыв прислушались, затаив дыхание: не загрохочет ли сверху каменная громада?.. Нет, снова тихо. Значит...

– Порядок, – подытожил запальщик.

И снова пошло, загрохотало. Данилов на лету подхватывал очередную стойку, а через минуту она уже упиралась обоими концами в древние породные толщи – тронь такую обухом топора, зазвенит басовитой струной. Молоток Сибирцева изнывал в бешеной скороговорке, как автомат в руках опытного солдата.

В лаву все время заглядывал Дубинцев, он уже еле на ногах держался: не столько темп забойщиков, сколько перебои на транспорте вымотали его. Наконец пришлось все-таки рассекретиться. Он соединился по селектору с начальником шахты.

Не успел Рогов проводить Вощина, как в селекторном репродукторе кашлянуло, и Дубинцев шепотом сказал:

– Павел Гордеевич, меня режут!.. – потом сквозь короткий рыдающий смешок добавил: – Сибирцев с Даниловым режут!

– Что-о? – в шутку удивился Рогов. – Лучшего начальника на участке! Немедленно звоню в милицию.

– Нет! – перебил Дубинцев и тут же почти закричал: – Нет, Павел Гордеевич! Гоните транспорт! Гоните во всю мочь. Я на коленях стою. Тут у меня светопреставление! В длинной лаве сплошной гром и молнии, все печи забиты углем, на погрузке десять человек, крепежник таскают две бригады... До смены еще три часа, – понимаете, три часа! – а они уже наскребли четыреста семьдесят тонн! Это же не люди, а комбайны!

Рогов вскочил, отбросив кресло.

– Что за сказки? Какие комбайны? Кто?

– Данилов с Сибирцевым! Неужели не понимаете?

– Данилов с Сибирцевым? – Рогов еле перевел дух, для чего-то быстро перебрал бумаги на столе, потом счастливо расхохотался. – В шахту! Немедленно! Родные мои богатыри!.. Я в шахту! – крикнул он Полине Ивановне, пробегая через приемную.

Но легкий взглас заставил его оглянуться: Галя! И будто ждал ее, будто к ней навстречу бежал. Крепко стиснул ей руку, проводил в кабинет.

Галя села лицом к солнечному свету, быстро глянула в смеющееся открытое лицо Рогова и почему-то впервые за все их встречи смутилась. С запинкой произнесла:

– Я к вам... Павел Гордеевич. Направление из треста... – и спросила одним взглядом: «Может, не вовремя?»

Чуть подумав, он слегка наклонился к ней, тронул за руку.

– Ждал, Галина Афанасьевна. Очень. Пойдете на уклон, я так думаю.

Галя волновалась: это было заметно по быстрому взлету ее ресниц, по тому, как она то защищала ладонью глаза от солнца, то забывала об этом.

Он отошел и задернул штору.

– Значит, на уклон, Галина Афанасьевна.

– Павел Гордеевич, а это очень важно: уклон?

– Важно? – Рогов вышел на середину кабинета. – Уклоном мы раскупорим тридцать процентов производственной мощности шахты, но, кроме этого, раскупориваем коксовые угли! Понимаете? Это наш завтрашний день, вот что это такое!

– А вы уверены, что я справлюсь? – Галя поглядела на него уже спокойнее, и опять ее глаза лучились ласково, с чуть приметной смешинкой. – Вы уверены?

Рогов отвернулся, словно для того, чтобы подумать, а на самом деле ему просто немного не по себе было от этих зеленоватых глаз, которые все время о чем-то спрашивали. Как-то невольно ответил почти официальным тоном:

– Это я хочу слышать от вас... Четыреста тысяч – стоимость всех работ, в нашем же распоряжении полтора года. Рабочих нет, будем выкраи-

вать где только можно. Вся техническая сторона дела у главного инженера. Вот все, Галина Афанасьевна.

Она слегка погладила край полированной столешницы, потом приподняла ладонь и опустила.

– Хорошо, я согласна. Приступаю. Только предупреждаю: я беспокойная.

– Ого! – Рогов сразу повеселел. – Ищу беспокойных. А теперь оглядитесь, познакомьтесь с людьми... У меня душа горит... В шахту нужно!

Через двадцать минут он уже был на участке Дубинцева. Присел поодаль от забойщиков. Степан не выдержал, похвастался:

– Узнаешь гвардию, капитан?

– Радуюсь, гвардии сержант! Горжусь! Звонил сейчас только в больницу...

В это время молоток в руках Сибирцева дал такую длинную очередь, что Степан услышал только конец фразы:

– «...Привезите или приведите, – говорит, – его. Все глазаньки проглядела...»

Степан даже зажмурился и в каком-то несказанном порыве всем телом двинул головку молотка.

А в следующую короткую паузу Рогов опять выкрикнул:

– Собрание после смены. Письмо Сталину подписываем!

Он побыл еще немного, осмотрел крепь и, спускаясь в штрек, встретил Дубинцева. Тот посветил в лицо начальнику и даже отступил удивленно.

– Что такое, Павел Гордеевич, вы недовольны работой? Уже за шестьсот перевалило!

– В лаве все хорошо, – отозвался Рогов. – А вот как у тебя?

– У меня? В нитку вытянулся, всем обеспечил: и лес, и порожняк, и две смены взрывников. Замотался...

– Замотался!.. – Рогов неприязненно хмыкнул. – Не велико достоинство командира, если он умеет только мотаться. У тебя необыкновенная смена. Надо научить сотни других людей так же организовывать свой труд. Но, чтобы научить, нужно иметь точную, осмысленную фотографию всего, что здесь делается. Я завтра же

заставлю тебя выступить с докладом перед шахтерами. О чем будешь рассказывать, о том, как измотался за смену? А я заставлю, имей в виду!

– Ах, вот что! – Дубинцев успокоился и помахал перед собой записной книжкой. – Все здесь – до единой операции, до единой минуты! Заставляйте!

– Значит, с самого начала понял задачу?

– С самого начала.

А в верхних уступах в эту минуту Данилов отключил молоток от силового кабеля и оглянулся на поджидавшего рядом Сибирцева. Встретились взглядами, прислушались к внезапной тишине в лаве, улыбнулись друг другу так, как будто, только что взобравшись на крутую гору, увидели за ее снежным хребтом великий зеленый простор, осиянный жарким солнцем.

– Ну вот! – Степан поглядел на свои руки, вздохнул облегченно. – А теперь мы с тобой имеем право и письмо подписывать Иосифу Виссарионовичу.

ГЛАВА XXXIV

Первое апреля. По календарю весна, но тепло стоит где-то еще за снежным хребтом Алатау, а в крутых распадах Кондомского водораздела утрами повисает морозная дымка, багровое солнце поднимается в алмазной короне – говорят, не миновать буранов. И все равно – весна неслышно раскидывает свои синие крылья над землей кузнецкой, весна стучится наконец и в самую сибирскую Сибирь.

Даже в шахте, если выйти на свежую воздушную струю, словно чуются запахи подтаявшего в полдень снега, пригретой солнышком моховой кочки. Весна!

– А то как же, конечно, весна! – Рогов распахнул обе форточки в широком окне, подышал рванувшимся в кабинет холодным воздухом, а когда оглянулся на Хомякова, в темно-серых глазах его светилось озорное веселье.

– Что вы сказали, Павел Гордеевич? – маркшейдер оторвал на минуту взгляд от бумаг.

– Я говорю: весна! – повторил Рогов. – Весна, Герасим Петрович, стучится к нам в шахту... В сердце!

— В сердце? — Хомяков близоруко всмотрелся в лицо начальника шахты. — В сердце, Павел Гордеевич, впускайте весну без опаски, а насчет шахты советовал бы подумать.

— Да, да! — Рогов встряхнулся и прошел на место. — Думаю, думаю! Из головы не идет эта весна в шахте... Нет, лучше сказать над шахтой. Собственно, в шахте все готово: водостоки, дренаж, помойницы, водоотлив, специальное наблюдение на угрожаемых направлениях, и все же немного тревожно.

Сегодня засиделись дольше обычного, скоро дневной наряд, а они все не могут прервать беседы. Встречи эти вошли уже в привычку, и трудно сказать, кто из них с большим нетерпением ожидал разговора с глазу на глаз, когда сидели вот так, друг против друга, когда трезвые расчеты маркшейдера перемежались яркими вспышками роговской мысли, когда они то спорили о какой-нибудь одной детали хомяковского комбайна, то откладывали чертежи и мечтали об удивительных, но совершенно реальных вещах. Обоим зримо представлялся завтрашний день, когда вооруженные новой чудесной машиной шахтеры пойдут в еще невиданную атаку на угольную целину.

Если не считать бара — основной режущей части комбайна, которая изготавлилась на Киселевском машиностроительном заводе, то все уже было готово для первых опытов в настоящих производственных условиях. Даже подготовили специальный фронт — тридцатиметровый угольный целик на одном из действующих участков. Основная станина с транспортером и пневматической системой давно смонтирована в мастерских и привлекает целые толпы любопытных.

— Все готово, Павел Гордеевич, — Хомяков старательно завязывает тесемки на папке с чертежами и почему-то вздыхает: — сердце только не готово, сжимается, как перед прыжком!

Рогов нетерпеливо ударяет ладонью о стол.

— Черт возьми! Ну чего они там возятся на Киселевском? Вот что, Герасим Петрович, поезжайте туда еще разок, садитесь на директора и не слезайте, пока бар не отгрузят. Передайте ему при случае, что мне, как инженеру, стыдно за него. Разве так можно работать? Скажите ему, что нельзя так работать!

Хомяков улыбнулся.

— Значит, мне сегодня опять за свой комбайновый чемоданчик?

— За какой комбайновый?

— Да с которым я вот уже три месяца в разъездах и в расходах. Мария Дмитриевна так окрестила мой баул. «Скорей бы, — говорит, — ты заканчивал свою машину, а то опасаясь, день ото дня все молодеешь, искры из тебя так и скачут — далеко ли до греха...»

— Искры! — Рогов прошелся по кабинету, пошевеливая плечами, словно китель стал тесноват. — Искры! — повторил он. — Хорошо Мария Дмитриевна сказала. Не стареющая наша молодость! Не устающая! Только торопиться нужно...

Хомяков непонимающе посмотрел на Рогова и тут же встал.

— Я пойду, Павел Гордеевич. На четыре часа договорились встретиться с главным инженером.

— Ну, как он? — живо откликнулся Рогов. — Как дышит около этого дела?

— Вы знаете... — скулы у маркшейдера порозовели от удовольствия. — Мне кажется, что у него уже и дыхания не хватает. Сегодня в три часа ночи... — Хомяков понизил голос до шепота, словно боясь, что его услышат посторонние. — Понимаете, в три часа является ко мне на квартиру. «Вы, — говорит, — спите? Ну, это пустяк». — «Какой же это пустяк? — заворчала Мария Дмитриевна. — Добрые люди давно почивать изволят». А Федор Лукич даже глазом не моргнул, и глаза-то у него какие-то хмельные. «Нет, — говорит, — это действительно пустяк по сравнению с тем, что мне пришло в голову, пока я заново просматривал пневматическую систему Герасима Петровича. Удивительная идея!» Вот он мне и предложил автомат — регулятор скорости в зависимости от глубины вруба.

Оставшись один, Рогов сидел несколько минут не шевелясь, чувствуя, как апрельское солнышко пригревает затылок. «Да, все хорошо, почти все хорошо! До нижнего горизонта коллектив добирается. Только вот с главным подъемом трудно, даже очень трудно, но это дело пока потерпит. Надо будет сегодня обязательно заглянуть: что там делает Галья?»

Рогов недовольно поморщился: опять Сколько раз он себе запрещал называть так девушку, – что за глупая фамильярность? Мысленно махнул рукой: «Ну, хорошо, допустим, не Галя, а Галина Афанасьевна. Но посмотреть, тем не менее, нужно, как там люди развертываются. Сроки, сроки!»

И самое главное – уже действуют три поточные механизированные линии – гордость шахты. Три участка механизированы полностью, от забоя до бункеров. В двух длинных лавах действуют комбайны Абакумова, третью Некрасов ведет методом самонавалки. «А теперь бы хомяковскую машину побыстрее закончить и в лаву – не в одну, а во все, где только возможно!»

Рогов даже оглянулся, показалось, что он сказал эти слова вслух.

В ту же минуту заглянул в кабинет Севастьянов и сообщил:

– Народ готов, Павел Гордеевич, можно начинать.

Рогов выждал, пока шум в зале уляжется, потом подошел к задней стенке эстрады и медленно раздвинул голубоватый занавес.

– Вот она! – сказал кто-то из шахтеров. – Красавица наша...

Сотни пытливых взглядов остановились на схематическом чертеже подземных горизонтов «Капитальной». Запоминались три зигзагообразные красные линии, пересекающие рабочее поле и сходящиеся в одной точке у главного подъема. И еще до десятка синих линий извивались по штрекам и квершлагам на пути к рудничному двору.

Рогов вышел на край эстрады и коротким взмахом показал на план.

– Красные линии, товарищи.

– Машинная добыча! – подхватил кто-то.

– Да, это линии машинной добычи и транспортировки. У нас с вами хватило сноровки и настойчивости сделать этот первый шаг. А синие – это те участки, где мы должны впрягаться в работу конвейер машин завтра, послезавтра, через месяц, не останавливаясь, не поступаясь ни одной возможностью.

Значит, сегодня у нас безотказно действуют три поточные линии. Они механизированы

полностью – от забоя до бункеров. Мы могли бы пустить сейчас еще не меньше десятка, но, сами знаете, дело в забоях за навалкой, дело за комбайнами. Могу сообщить, что в наш адрес отгружен один комбайн Макарова, значит буквально с завтрашнего дня можно приступить к организации еще одного механизированного потока. Только где в первую очередь...

Шахтеры в зале невольно подались к трибуне.

– Я уже советовался с товарищами... – продолжает Рогов.

Но его сейчас же прерывает стоголосый крик:

– К нам!..

– У нас!

– Павел Гордеевич, на двадцатый!

– На двенадцатый! – почти пропело несколько голосов.

Рогов услышал их в общем хоре, повернулся к ним.

– На двенадцатый?

– Да, да! – дружно закивали черепановцы.

– Надо подумать...

Рогов невольно улыбнулся, услышав, как совсем близко кто-то вздохнул;

– Везет комсомолу!

Митенька сейчас же бойко отпарировал:

– Везет, если сам везешь!

Рогов поднял руку.

– Я думаю, что участок Дубинцева, его коллектив достоин такого внимания. Посмотрите: четыре знамени держат в своих руках, ни одного шахтера, не выполняющего нормы, и должен с удовольствием отметить: у Дубинцева добывается самый дешевый на шахте уголь!

– Что там говорить, работают любо-дорого! – решительно объявил Афанасий Петрович. – Им и карты в руки...

Выходя из зала после собрания, Аннушка слегка приподнялась на носках, пытаясь увидеть старого проходчика.

– Здравствуйте, Анна Максимовна! – сказали у нее за спиной.

Она оглянулась и вскрикнула:

– Коля! – и тут же невольно покраснела; не узнала голос мужа и еще от радости, что наконец видит его после долгих восьми часов. Поджав смешливо дрогнувшие губы, сказала церемонно:

но: – Здравствуйте, Николай Викторович! – хотела руку подать, но больше не могла сдерживаться, притянула его к себе и зашептала: – Грязный ты, грязный мой, хороший мой! Одни глаза и светятся. Есть хочешь? Пойдем я тебя накормлю... Только в столовой! Ты не обижаешься на жену?

Николай тряхнул головой.

– Жена, я счастливый, как черт! Он повторял до самой столовой: «Счастливый, как черт!», пока Аннушка не попросила:

– Ну перестань, я и в счастливых чертей не верю!

За столиком сидели рядом. Пока Николай ел, Аннушка чуть не каждую ложку щей, чуть не каждый кусок котлеты провожала заботливым взглядом и все спрашивала:

– Вкусно? Николай усмехался:

– А ты не знаешь, какие бывают щи после шахты? И если бы после всего, что я здесь съел, где-нибудь пообедать...

ГЛАВА XXXV

В общем, после того как вечером Стародубцевы повторили приглашение, пойти к ним пришлось. Клавдия Степановна, жена Стародубцева, к тому же, несколько раз повторяла:

– Как можно, вы же совсем не бываете в людях.

Может быть, не сознавая этого ясно, Аннушка шла даже с удовольствием – интересно все-таки: как это выглядит, когда «бывают в людях». А потом приятно иногда слышать, если Николай при посторонних называет ее женой. «Мещанство? Ну что ж тут поделаешь – приятно да и только».

Пришлось на всякий случай тщательно проинструктировать Николая: во-первых, пусть не выкидывает на стол свои узловатые ручки, во-вторых, нельзя закидывать нога на ногу так, что носок ботинка небрежно раскачивается где-то у подбородка собеседника; и пусть хотя бы на один вечер оставит свою привычку зевать до слез, когда ему становится скучно. Мало ли что, скука скукой, а уважение к хозяевам своим чередом.

Неизвестно, какую пользу извлек из всего этого Николай, но перспективы предстали перед ним настолько неутешительными, что он начал украдкой зевать еще дома. Заметив это, Аннушка только вздохнула.

Стародубцевы приняли гостей хорошо, по-соседски. Семен Константинович даже засуетился, усаживая их в столовой.

– Давно бы так, – заметил он, опускаясь на диван рядом с Николаем, – а то, понимаете, живем через коридор, а контакта совершенно никакого.

– Что правда, то правда, – согласился Николай. – Живем – как будто китайской стеной разгорожены. Хотя, с одной стороны, это и понятно: массу времени отнимает работа. Сами знаете, «Капитальная» не любит, когда ей уделяют только половину внимания.

– «Капитальная»? – Стародубцев понимающе улыбнулся. – Говорите уж, соседushко, прямо; не «Капитальная», а Павел Рогов. Вот действительно на кого уему нет. Ему бы городской милицией командовать...

Дубинцев покачал головой, глаза у него стали ласковыми.

– Командовать он умеет, и крутоват частенько бывает, но ведь зато с ним рядом сильнее себя чувствуешь. И посмотрите, как шахта вышагивает! На пленуме обкома, в резолюции, так и записано: передовая шахта!

– Так это же очень просто! – Семен Константинович пожал плечами и выпятил нижнюю губу. – Как же может быть иначе? У «Капитальной» колоссальные запасы производственных мощностей...

Щеки у Дубинцева порозовели, он хотел что-то возразить, но тут решительно запротестовала Клавдия Степановна.

– Хватит, Семен, – сказала она. – Я же тебя предупреждала, чтобы ты не устраивал на квартире производственных совещаний. – Она повернулась к Аннушке: – Действительно, можно подумать, что весь мир, вся земля – это одна огромная шахта. Скучища невозможная.

Перед ужином немного выпили. Потом Стародубцев рассказал о своей работе, о последней поездке в Новосибирск.

Не поладив с Роговым, он, по его мнению, очень удачно устроился в тресте помощником главного инженера по капитальному строительству.

– Оно хотя и неденежно, зато спокойно, не мотаешься день и ночь по шахте; вес в делах солидный, а ответственности... – Семен Константинович даже рукой махнул, – ответственности почти никакой. И потом сама обстановка облагораживает.

Клавдия Степановна несколько раз вынуждена была признать, что он теперь выглядит значительно интеллигентнее. А всему причиной среда.

– Взять последнюю поездку в Новосибирск. Пришлось встречаться с умнейшими людьми. В Гипроугле консультировался по вопросам нового шахтного строительства у профессора Скитского. Вот голова, вот умище! И помощница у него подстать своему патрону: умна, молода и красива – совершенно исключительное сочетание.

Заметив осуждающий взгляд жены, Стародубцев снисходительно улыбнулся, прикрыл глаза и нараспев повторил:

– Ах, и красавица, черт возьми! Просто вся изнутри светится. Пойдите, как бишь ее зовут?.. Да! Валентина Сергеевна Евтюхова.

– Валя Евтюхова? – радостно подхватила Аннушка. – Так ведь это невеста Павла Гордеевича! Неужели не знаете?

– Что-о? – Стародубцев даже поперхнулся. – Валентина Сергеевна – невеста Рогова? Вам не поместилось?

– Да нет же, нет! – Аннушка даже потянула Николая за рукав. – Это же давно известно на шахте, и я рада от вас слышать, что она такая... достойная Павла Гордеевича.

– Достойная?.. – Глядя на жену, Семен что-то соображал секунду, потом в глазах его метнулись веселые искорки, и он оглушительно рассмеялся. – Невеста!.. Вот это я вам скажу, сюрприз... для Пашеньки! Ой, не могу, честное слово... Прямо умора!

Николай строго посмотрел на Аннушку, Стародубцева, на Клавдию Семеновну, которая, почуввав, очевидно, пикантную новость, надменно

приподняла брови и даже попробовала лениво урезонить мужа, сказав:

– Семен, ты вечно выдумываешь...

– Выдумываю? – Семена одолел новый приступ смеха. – Вот уж на этот раз не выдумываю, не грешен! – Он почти торжественно оглядел присутствующих и медленно отчеканил: – Было бы вам известно, что эта умная, красивая Валя, эта бывшая невеста Павла Рогова выходит замуж за профессора Скитского!

– Ой!.. – невольный стон вырвался у Аннушки. Захватив щеки мгновенно похолодевшими пальцами, она испуганно глянула на Николая.

А тот сидел насупившись, не в силах поднять глаз на хозяев.

Стародубцев же словно ничего не заметил, откинулся на спинку стула, покрутил перед собой вилкой и значительным тоном повторил:

– Да-с, уважаемые, замуж за профессора Скитского. И должен вам сказать, натянув нос Рогову, Валентина Сергеевна ничего не прогадала: пара у них с профессором будет во всех отношениях удивительная. Да-с!..

Как это случилось, что он узнал о предстоящей свадьбе? Одну минутку, сейчас припомнит.

Да, он был у профессора. Беседовали по поводу эксплуатационных полей второй «Капитальной». Профессор слушал очень внимательно, сделал несколько заметок в блокноте, и, тем не менее, он несколько раз прерывал беседу и, вызывая секретаря, спрашивал:

– Валентина Сергеевна не вернулась? Вы узнавали, как ее здоровье?

А один раз, извинившись перед Семеном Константиновичем, он позвонил какому-то Вакшину и строго наказал ни в коем случае не передавать корректуру книги Валентине Сергеевне – это сделает сам Скитский. И вообще, не пора ли разгрузить аспиранта Евтюхову от второстепенной работы? Неужели в Геологоуправлении не известно, что Валентина Сергеевна вот уже второй месяц недомогает?

Потом профессор на несколько минут вышел, и Семен в полуоткрытую дверь слышал чей-то разговор в приемной:

– С тех пор, как Валентина Сергеевна прихварывает, профессор места себе не находит, – посетовала секретарша.

– Ты думаешь, у них что-нибудь серьезное? – спросил второй голос.

– Серьезное? – удивилась секретарша. – Ты, Ирина, просто наивная. Неужели ты думаешь, что такой солидный человек, как Василий Пантелеевич, может расточать ухаживания направо и налево? Или ты думаешь, их предстоящая совместная поездка в Москву преследует только одни служебные цели? Нет, все это так же очевидно, как то, что профессор получил новую квартиру на Серебряниковской и вот уже второй месяц занят ее благоустройством. Дело это решенное, можешь поверить мне на слово, я достаточно наблюдательный человек.

А на завтра Стародубцев имел честь не только встретиться, но и познакомиться с самой Валентиной Сергеевной. И теперь-то ему понятны некоторые оттенки их разговора, которым он тогда не придал значения.

– Вы с Березовского? – переспросила Валентина Сергеевна и тут же заметила, что у нее некоторое удивление вызывает неповоротливость командиров их рудника, а заодно и управления комбинатом «Кузбасс-уголь», до сих пор не обративших серьезного внимания на промышленное развитие закондомского шусталепского месторождения. Ведь это же свита из двадцати четырех пластов, это же преимущественно дешевые; штольневые разработки! – Не может быть, чтобы у вас не было горячих думающих голов, на вашем Березовском руднике. На Березовском... – повторила машинально Валентина Сергеевна и тут же как-то странно, очень взволнованно посмотрела на Стародубцева. – Послушайте, так вы на том самом Березовском... – она быстро отошла к окну.

– Что вы хотите сказать? – не понял Стародубцев.

– Нет, нет, это я так... – Валентина Сергеевна вернулась к столу, но, прежде чем сесть, несколько раз повторила: – Боже мой, какая я глупая, какая глупая, даже и не подумала сразу...

– А теперь-то я понимаю, в чем дело! – Семен Константинович засунул руки в карманы и вытянул под столом ноги. – Теперь я понимаю, девушку немного совесть мучает. Ну, это, знаете, пройдет!

Во все время этого ненужного, самодовольного рассказа Дубинцевы сидели как в воду опущенные. И если у Николая хватило выдержки сохранить хотя бы относительное спокойствие, то Аннушка просто задыхалась от горя, от омерзения и все повторяла про себя: «Бедный Павел Гордеевич. Бедный Павел Гордеевич».

Словно не замечая ничего, Клавдия Степановна стала жаловаться на скуку, на трудности со снабжением, на то, что ее очень беспокоит близкая отмена карточек.

– Лучше бы не надо, – страдальчески заметила она, – тут все же литер, сухой паек, все заранее известно, все рассчитываешь. А отмени все это – еще натерпишься.

Стародубцев философски отмахнулся:

– Жизнюха!

«Это он о нашей жизни! – похолодела Аннушка. – Фу, мерзость какая!» Она вскочила и, не слушая, что там говорит на прощание Николай, почти выбежала из квартиры Стародубцевых. Щеки пылали, как от пощечин, и не было на памяти такого гневного, тяжелого слова, которым бы можно было зачеркнуть, выбросить из сердца только что пережитое оскорбление.

Когда вошел Николай, она сидела на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Он тронул ее за плечо.

– Ну что ты, Аннушка?

Аннушка резко выпрямилась, на глазах у нее были слезы.

– А ты? – спросила она. – Ты спокоен? А если бы при Рогове говорили такие гадости о тебе, о нашей жизни? Я только сегодня поняла, что это грязные сплетники, ползучие обыватели! И... и меня тошнит, я ненавижу себя, что не нашла мужества сказать им это в лицо. А Рогов сказал бы!

– Успокойся, прошу тебя, – Николай присел рядом. – Я знаю, что Рогов, не заметив, перешагнул бы через все это хозяйство – так себе: кучка дряни. А в отношении Валентины Сергеевны... ну, что ж, поживем – увидим; в конце концов, это их дело.

Глаза у Аннушки зло блеснули, и вся она на минуту стала чужой и колючей, когда сказала вполголоса:

– Не смей так говорить! Слышишь? Это наши люди! Их горе, их ошибки – это наше горе... – Потом она, как всегда жалобно, попросила: – Коля, я тебя умоляю, не будь таким, не смей так думать... Только представь себе, что перенесет Павел Гордеевич, если это несчастье случится...

– Вот что, – Николай твердо, по-мужски взял руку жены. – Слушай меня: здесь есть два «или». Или эта девушка не такая хорошая, как думает Павел Гордеевич, или Стародубцев врет! Третьего «или» не может быть.

Лицо Аннушки посветлело, и вся она ожила, ухватившись за эту спасительную мысль. Именно третьего «или» не может быть!

Договорились держать себя с Роговым так, словно ничего не знают, ничего не случилось.

Но назавтра, беседуя с Роговым, Дубинцев, против своей воли, до того пристально смотрел на него, что инженер даже спросил удивленно:

– Ты что меня разглядываешь? Первый раз видишь?

Пришлось сказать, что Павел Гордеевич за последнее время заметно похудел, глаза у него даже какими-то зеленоватыми стали.

– Оставь ты, пожалуйста! – отмахнулся Рогов. – Весна на дворе – соловьи в сердце, вот и худею, вот тебе и зелень в глазах. Не отвлекайся, что еще у тебя?

– Вот и все, пожалуй. Если за пятидневку заменим крепь в седьмом сбоечном и пустим по нему аккумуляторный электровоз, то макаровский комбайн выгоднее ставить в двадцать седьмую лаву.

– Значит, двенадцатую, черепановскую, не сможем подключить к этому механизированному потоку?

– Подключить можно, только она же...

– С ручной навалкой? – нетерпеливо спросил Рогов. – Хорошо, сделаем как говоришь, а комсомольцы подождут хомяковскую машину.

– Конечно, подождут, – подтвердил Дубинцев. – И даже не заметят со своим новым графиком. Я уже докладывал вам...

– Да, да, я разбирался. – Рогов на минуту задумался, – С этим графиком много пока нерешенного, но много также удивительно дельных мыслей. Ты пока не пробовал Черепанова отговаривать?

– Пробовал, сказал, что подумать как следует надо... – Николай смущенно потупился.

– Ну?

– Как ерш, с хвоста до головы ошетинился, пообещал даже вместе с Даниловым пойти к Бондарчуку.

– И уже были, были! – весело подтвердил Рогов. – Нажаловались! Ах, хорошо, черт возьми!

Лицо у Николая вытянулось.

– Что ж тут хорошего? – недовольно заметил он. – Не миновать мне трепки от Виктора Петровича.

– Трепки!.. – Рогов рассмеялся. – Ты слушай, какую мысль подает парторг. Черепанов составил свой односменный рабочий график для стосорокаметровой лавы; ему советуют еще раз все пересмотреть, пересчитать, чтобы не было ни одного белого пятна, а он настаивает на немедленной реализации своего плана, говорит, что уже советовался-пересовещивался и со своим опытом, и со своим сердцем. Что ж можно возразить против таких советчиков? Сделаем тогда так: через недельку соберем всех командиров шахты, и пусть бригадир выступит перед ними не как-нибудь, а с лекцией о своем графике, пусть трезво и с жаром докажет его преимущество. А? – Открытое скуластое лицо Рогова стало юношески простоватым, ласковым, когда он вполголоса переспросил: – Понимаешь, Коля, что это значит: забойщик делает доклад инженеру?..

ГЛАВА XXXVI

Аннушка только что прибрала в комнате и, приподняв занавеску, засмотрелась на улицу с ее звонкой апрельской капелью. На звук приоткрываемой двери обернулась.

У порога стояла высокая дородная женщина с чемоданчиком, стояла и тихо, загадочно улыбалась. Аннушка растерялась от неожиданности. Хотела спросить: «Вы ко мне?» Но доброе полное лицо женщины показалось таким знакомым и даже родным. Хотела сказать: «Здравствуйте», но и этого не сказала. Выручила сама незнакомая гостья.

Кивнув слегка головой, она молча разделась, повесила пальто, откинула на плечи пуховую шаль и, присев на низенький сундучок у стенки, попросила:

– Кажись-ка мне, доченька!

Аннушка немного замешкалась, может быть оттого, что, сразу угадав в госте свекровь, не придумала еще, как и для чего нужно показываться. Но свекровь не стала ждать, а запросто, бесцеремонно притянула ее к себе за руки, заглянула в глаза, искренне удивилась:

– Чего ж ты такая крохотная, шахтерова жена? – И наконец, с удовольствием чмокнув невестку в обе щеки и в губы, спросила; – Колька не обижает?

Через полчаса они были уже дружны. Зинаида Ивановна распаковала гостинцы, пересмотрела небольшую библиотечку в угловом шкафу и осталась недовольна – книг мало, подобраны случайно, что же читают эти два ребенка и читают ли вообще? В этом придется как следует разобраться. Зато незамысловатая электрокухня была найдена почти в полном порядке. В общем, с первой же минуты знакомства со свекровью Аннушка попала под ее высокое руководство.

Вернувшись домой после разговора с Роговым, Николай еще в коридоре услышал смех и звонкое восклицание жены:

– Мама! Это же не понравится Коленьке!

В комнате выглядело все особенно домовито, на плитке что-то шипело и побулькивало и пахло очень вкусно. В белом фартучке, розовая, возбужденная Аннушка приколачивала новый настенный коврик у кровати, Зинаида Ивановна только что передвинула поближе к окну письменный стол. И мать, и жену заслонял от Николая золотистый столб солнечного света.

Оглянувшись на сына, Зинаида Ивановна всплеснула руками:

– Батюшки, вот шахтерище вымахал!

А уже за обедом мать с пристрастием допрашивала:

– Скажи-ка, дружок, почему по восемнадцать часов крутишься на шахте? Что это за отсебятина?

– Какая отсебятина?.. – Николай заметно смутился. – Есть же государственный план...

– Который нужно выполнять? Ну и выполняй, как положено коммунисту, а ты словно торгаш в собственной лавочке: каждую копейку сам норовишь сунуть в кассу. Но ведь есть же у тебя на участке люди заботливые, советские, – тоже болеют за дело, думают о нем, зачем же им заглядывать под руку? Так ведь нет, такие начальники, как ты – из молодых да ранние, – мельтешат перед глазами, суются в каждую мелочь: «Ах, как бы чего не вышло!»

– За себя я восемь часов на шахте, – возразил сын, – могу и меньше. Но нужно же что-то делать и за тех, кто не успевает, – я не виноват, что не все одинаково трудятся...

– Золотой ты мой! – полное лицо Зинаиды Ивановны затряслось от сдержанного смеха. – Что это за теория: «за себя, да еще за других?» Кто тебя этому учит, кто тобой командует? Рогов?

Она долго и придирчиво выпрашивала: кто такой Рогов?

– Я рядом с ним научился мечтать! – выпалил неожиданно Николай.

– А он рядом с тобой чему научился? – строго спросила Зинаида Ивановна. – Скажу по-своему: это меня тоже интересует. Не знаешь? Ну, тогда вот что: позови-ка его на чашку чая, скажи, что я хочу ему в глаза заглянуть.

– Занят он... – замялся Николай. – Такую махину на плечах держит.

– Не говори глупостей! – прикрикнула Зинаида Ивановна. – Вот еще богатыри подобрались – один чуть не за десятерых работает, другой целую шахту на плечах держит. Занят! А ты попробуй.

Николай назавтра же попробовал, пригласил.

– Часов в восемь вечера, говоришь? – только и переспросил Рогов, потом подумал, посмотрел в свой дневной план, вычеркнул что-то и ровно в восемь вечера пришел. И не один, а со Степаном Даниловым.

Степан же притащил свой фронтонный аккордеон, и получилось совсем хорошо.

Аннушка, наверное, никогда не забудет этот удивительный вечер. Легкий ночной морозец разрисовал серебряными перьями лунные квадраты оконных стекол; зеленовато светилась затемненная абажуром настольная лампа, в даль-

них углах затаились легкие тени. От лунной ночи за окном, от тишины, изредка нарушаемой голосами собеседников, почему-то казалось, что плывет маленькая комнатка в далекое далеко.

Аннушка думала, что мать будет выспрашивать Рогова, кто он да что он, а тот взъерошится — и найдет коса на камень. Но Зинаида Ивановна только глянула на его сильную подбрюшную фигуру, на открытое, немного утомленное лицо и, встав навстречу, сказала просто:

— Вот вы какой...

Степан Данилов только что вернулся из поездки в Сталинск, где долечивалась Тоня Липилина, и был весь какой-то летящий, песенный, говорил с хрипотцой, но когда запел под аккордеон, какой проникновенной силы, какой покоряющей теплоты оказался у него голос!

Случилось это просто, как будто песня только и ждала этого вечера, этого часа. Вначале выпили по стакану чая, потом поговорили о чем-то незначительном, и вдруг Рогов попросил:

— Спой, Степа!

И Данилов запел, приподняв лицо, легко прикасаясь пальцами к прохладным перламутровым клавишам инструмента:

*Снега, как перья лебедей,
Покрыли все вокруг...
Но сразу на душе теплей,
Когда приходит друг.*

*Добро не в том,
Кто за столом
Дружить поклялся вдруг,
А друг в труде,
А друг в беде —
Мой настоящий друг.*

*Он улыбнется, и светлей
Мне станет среди вьюг,
Верней не знаю я людей,
Чем он, мой верный друг.*

*Не тот мне мил,
Кто с нами пил,
Назвался другом вдруг,
А друг в труде,
А друг в беде —
Мой настоящий друг.*

*Мы с ним за партой за одной
Сидели десять лет.
И нашей дружбы фронтовой
На свете крепче нет.*

*Не тот хорош,
Кто, словно грош,
Вкатился в братский круг,
А друг в труде,
А друг в беде —
Мой настоящий друг.*

*Теперь на новые дела
Нас дружба подняла,
Мы с другом — будто два крыла
Летящего орла...¹*

Степан умолк, чуть наклонив голову к плечу, словно прислушиваясь к улетающим звукам. Рогов повторил вполголоса, нараспев:

— Мы с другом — будто два крыла летящего орла... Хорошо, когда песня от сердца!

— Как живешь, так и поешь, — заметила Зинаида Ивановна, потом оглядела всех по очереди, обняла за плечи Аннушку и кивнула инженеру: — Рассказывайте, Павел Гордеевич, как живете, как суетитесь?

Рогов пожал плечами и, понимающе глянув на смутившегося Николая, улыбнулся.

— Живем так, Зинаида Ивановна, что и суетиться некогда.

— Как в сказке?

— Нет! — Рогов глянул открыто, в глазах у него мелькнула строгая тень. — Нет, Зинаида Ивановна, в сказке скучно: там человек становится счастлив по щучьему велению, а мы счастье своими руками трогаем.

— Хвастаетесь! — добродушно подзадоривала Зинаида Ивановна.

— Нет, честное слово! — Рогов вскочил. — Посмотрите на нас, на сына, на дочь, послушайте, как у Степана сердце бьется! И все потому, что никогда люди не чувствовали себя нужнее, необходимого в жизни, чем наши люди — советские!

— Все без исключения?

¹ Слова Ал. Косаря.

— Да исключений так мало, что о них даже не думается.

Зинаида Ивановна с сомнением, пожала плечами.

— Это шапкозакидательство. Почему вы исключаете основное в нашей жизни — борьбу за лучшее, борьбу с косностью, рутинной?..

— Не исключаю! — перебил Рогов. — Борьба эта для нас так же необходима и незаметна, как собственное дыхание. Я не делаю из этого сердцеприщипательных трагедий, борьба эта наших людей не раздваивает. Да, я знаю, вижу, что есть у нас и такие, которые... как бы вам сказать... у которых весь мир умещается в четырех стенах квартиры.

Зинаида Ивановна рассмеялась и тут же погрозила Николаю с Аннушкой:

— Вы у меня смотрите!

— Ну, нет... — Николай обиженно выпрямился.

— Вот видите? — подмигнул в его сторону Рогов. — В этом наше счастье? Посмотрите! вокруг, как буйно поднимаются к жизни ростки нового, невиданного. Счастье наше в том, что, например, через несколько дней на «Капитальной» выступит с докладом перед инженерами молодой забойщик, я не говорю: простой забойщик, потому что он не простой, а советский! Родные мои! — Рогов остановился, раскрыв перед собой ладони. — Но ведь это же наша большущая жизнь?

— Жизнь... — мать задумчиво прошлась по комнате, потом остановилась перед Аннушкой, закрутила ей косы на шее золотым обручем. — Ты смотри, доченька, думай над этим: тебе детей воспитывать в новую, хорошую пору!

— Ну, а вы... — Рогов мягко, одними глазами улыбнулся. — Кто вы? Николай говорит: депутат!

— Кто я? — Зинаида Ивановна улыбнулась. — Я, наверное, одна из тех, кому шахтеры дают свет и тепло, и прямо скажу: жаловаться не имею права... По крайней мере, сегодня.

— Не жалуетесь? — быстро переспросил Рогов и почти торжествующе оглядел присутствующих.

— Нет, не жалуюсь! — Зинаида Ивановна медленно прошлась, по комнате, потом останови-

лась около сына и, положив ему руку на плечо, сказала вполголоса: — Я, Павел Гордеевич, мать! Мать таких вот, как Коля, Степан, вы... Я хочу видеть вас умными, работающими и счастливыми. Живыми. Все матери на земле хотят этого.

Зинаида Ивановна села рядом с Аннушкой, и та сейчас же доверчиво, по-дочернему, взяла ее за руки. Зеленоватый свет настольной лампы освещал ласковое лицо Аннушки, полураскрытые губы; Рогов стоял у окна, задумчиво перебирая пальцами бахрому занавески; Николай со Степаном сидели плечом к плечу, навалившись грудью на стол, и все они сейчас очень напоминали большую дружную семью, которая слушает рассказ своей матери, боясь пропустить даже слово.

— Учить бы мне сейчас ребятшек в школе, — с легкой грустью говорит Зинаида Ивановна, — ходить бы мне, депутату, по кулундинским колхозам, радоваться удачам, журить неповоротливых... Ведь весна на дворе! Эх, дети, какие неоглядные весны в Кулундинских степях, какие там хлеба поднимаются!

Черты лица Зинаиды Ивановны твердеют, взгляд делается строгим, когда она через минуту продолжает:

— А вместо того зовут меня из Москвы, из Антифашистского комитета: «Поезжайте, — говорят, — с делегацией в Англию, поговорите с простыми английскими женщинами, что пора защищать мир!»

Рогов у окна выпрямился, Степан с Николаем убрали руки со стола, Аннушка медленно опустила голову. Зинаида Ивановна заговорила громче, и была в ее голосе гневная скорбь:

— Два года еще не минуло, как война кончилась, еще работают госпитали по долечиванию инвалидов, еще ноют сердца от недавних потерь, а нам снова нужно изо всех сил защищать мир!

Рогов подышал на голубоватое перышко на стекле и, подождав, пока оно, поголубев, растаяло, спросил взволнованно:

— Значит, в Англию?

— Да... и надолго, — Зинаида Ивановна вздохнула. — Робею не перед границей — перед тоской по родине, впервые ведь отрываюсь...

– Передайте английским матерям, мама... – начал Николай и вопросительно посмотрел на инженера.

– Да, да! – подхватил Рогов. – Передайте им, между прочим, что есть на великих сибирских просторах земля кузнецкая, в просторечье Кузбасс; что живут на земле кузнецкой шахтеры и металлурги, что нет для них большего счастья, завиднее доли, чем их трудовая советская доля! И передайте еще им, что нет такой силы в мире, которая бы смогла отнять у них то, что они по праву называют своим!

Степан, повернувшись вдруг к Дубинцевой, наказал:

– А хозяевам нынешней Англии скажите: если потребуется, мы не разучились воевать! Только еще страшнее будем!

Помолчали. За окном, как будто в бесконечной дали, прокричал паровоз – пять раз и потом еще два. Деловито стучали ходики на стене.

– Ну, а ты что молчишь, Аннушка? – спрашивает Зинаида Ивановна.

– Я? – Аннушка подняла голову. – Я думаю, мама... Как это правильно было сделано: фашистской Германии уже два года нет, а вот антифашистские комитеты все еще действуют. Значит, знала партия, что они будут нужны!

Рогов, а за ним и все остальные проследили за взглядом Аннушки. С большого настенного портрета, слегка затененный зеленоватым абажуром, в комнатку, в мир спокойно и мудро смотрел Сталин.

ГЛАВА XXXVII

Черепанов открыл глаза и сразу зажмурился. Прямо в окно из синего бездонного океана плыло громадное белое облако. Вот это весна! Хотя так верти, хоть эдак – все равно весна. И где еще такую весну сыщешь, кроме Сибири, – она наступает вдруг. словно солнце вспомнит однажды утром: «Стой, есть ведь еще у меня работающая Сибирь! Что же это она до сих пор укутана в снега? Нехорошо... А ну-ка!»

И пошло! Загремят ручьи, осядут, подернутся звонкой глянцевицей корки снежные сугробы, зачернеют проталины на лесных полянах, и,

глядь, не успела просохнуть первая немудрящая кочка, а на ней уже две медуницы синеоко оглядывают окрестные дали. Здесь же, рядышком, раскрывает белые прозрачные лепестки подснежник, а в логах и распадах гремят новорожденные речки.

Послушайте в час голубой зари, когда бархатные тени лежат под нижними ветками пихтача, и – слышите? – издали несет глухое бормотание тетеревов, а поближе будто серебряный рог запел – идет лось по тайной тропе; над болотными мочажинами завели хоромы сороки-хлопотуньи, частую дробь выбивает дятел, и где-то стороной просвистели в быстром лете две пары уток.

А день поднимается, вширь раздается, и, кажется, не будет ему предела, и воздух, как молодое вино: глотнешь разок – сердцу жарко.

Почувствовав, как приятно заныло в суставах, Черепанов потянулся к часам на тумбочке. Ровно два. «Ого, так и царство небесное продрыхнешь!»

Повернулся на спину, солнце ударило прямо в нос. Чихнул. Еще раз! Рассмеялся. Тело легкое, мысли свежие, светлые... «Стой, стой, что-то такое нужно вспомнить?»

Да, неужели Алешков все еще не вернулся с десятой шахты? Ну и делегат!»

Алешкова направили в бригаду Емельянова с наказом проверить, почему это в последние две-три недели «противник» как будто присмилел? А ведь было время, месяца два назад, Савоська шумел даже через газету, что у него в бригаде такие дела имеются про запас – мир ахнет.

Черепанов язвительно кривит губы: ахнуть, конечно, недолго. Втайне Михаил надеется, что Алешков принесет известие о значительном отставании емельяновцев. А хотя бы и нет, пусть попробуют угнаться за ними после того, как здесь уже все готово для перехода на новый график. По крайней мере до первого мая можно не оборачиваться, на пятки не наступят.

Черепанов немного успокаивается и с удовольствием оглядывает просторную высокую комнату. У стен – две никелированные кровати, при них маленькие столики, в углу зеркало, гар-

дероб со всякими блестящими нашлепочками и точеными шишечками, окно от потолка до самого пола – того и гляди, выпадешь.

Переехали сюда только на прошлой неделе, а уже привыкли, словно всю жизнь здесь прожили. Это все Павел Гордеевич устроил для бригады. Новое, гостиничного типа, общежитие только отделали, и начальник шахты вспомнил в первую очередь о комсомольцах. Вызвал в кабинет, прочитал приказ о переселении, потом построил в шутку по ранжиру и скомандовал:

– Смирно! По порядку номеров...

– Первый! – выскочил Митенька с левого фланга.

Конфуз, конечно. Да и откуда было им почерпнуть военной науки? В Великую Отечественную они годами не вышли. Это вот сам Рогов – другое дело – глянешь на три ряда орденских ленточек у него на груди – сердце щемит. Или Данилов – Герой!

Вспомнив Данилова, бригадир быстро оперся на локоть. Мысли стали как будто резвее. Степан Георгиевич и Сибирцев на смене. «Как-то они сегодня? Позвонить разве?»

Но Черепанову сейчас трудно поднять отдохнувшее тело с чистой теплой постели. «Успею», – думает он и, вытянувшись, с наслаждением закрывает глаза.

Дверь в соседнюю комнату прикрыта не плотно, слышны голоса, кто-то смеется. Митенька, конечно, колобродит. Вот на кого нет уговону. «О чем это они?»

– Ну что ты врешь? – кричит Санька Лукин. – Мыслимое ли дело застеклить сверху всю шахту!

– А что, ничего хитрого, – сквозь смех настаивает Митенька. – Доживем до этого времени. «Хватит, – скажут шахтеры, – помотались в крошечной тьме! Электричества тоже не желаем, давай в шахту солнышко!» – «Ах, солнышко? С удовольствием, сделайте, пожалуйста, одолжение, получайте солнышко!»

И вот снимаются сверху дикие породы, до самого угольного горизонта, на борты кладутся стропила, на них застекленные рамы – и, пожалуйста, гуляй, шахтер...

– Руки в брюки! – язвит Лукин. – Голова у тебя, Дмитрий, прямо министерская. Шахты застеклил, шахтеры твои через левое плечо поплевают, а уголек, выходит, самосильно бежит на-гора?

– Чего самосильно? – теперь уже горячится Митенька. – Про стекло это я так, для фантазии... А машины зачем? За ними только доглядывать, они тебе и нарубят и нагрузят, да еще и выберут где получше. .. Не забывай про машины! На «Капитальной»-то у нас вот что делается – не только забойщики, а все люковые учатся. Думаешь, зря?

Черепанов с досадой крикает: «Если бы у Митеньки все так же гладко получалось на деле, как в речах, – был бы золотой человек. А то только вчера отхватил «тройку» на курсах горных комбайнеров, а речи, видишь, какие произносит... Украсил учебный аттестат бригады тройкой и в ус не дует! Надо будет поговорить с этим студентом по душам...»

Черепанов хотел уже вставать, но тут явился наконец долгожданный делегат.

Разговаривать с этим Алешей Алешковым тоже греха не оберешься. Вот и сейчас на требование бригадира немедленно же выкладывать новости – он и ухом не повел. Не торопясь разделся, причесал перед зеркалом смоляные кудри, пристально рассмотрел прыщик на щеке и, наконец, нехотя сообщил, что совершенно случайно побывал на новоселье у одного забойщика.

– Ну, конечно! – Михаил саркастически усмехнулся. – Ты же у нас специалист по новосельям.

– Нет, серьезно! – оживился Алешков. – Помнишь, на слете все выкрикивал: «А ну, кто со мной на соревнование? А ну!» Рябой такой, один глаз туда, другой сюда. Ох, веселый мужчина! Хвастался, хвастался новым домом, показал чуть не каждый гвоздь, вколоченный собственноручно.

Черепанов только вздохнул.

– И, между прочим, этот новосел все отговаривал меня; «Не суйся ты к этим емеляновцам, какой прок? Работают – просто сердцу надрыв смотреть». Я уже и сам не хотел идти... – Алешков подумал, потом скучным официальным тоном протянул: – Но раз вы меня облекли...

– В последний раз! – поспешил успокоить Черепанов.

– Раз вы меня облекли, – и ухом не повел делегат, – я пошел.

Побывал он, оказывается, в первую очередь на дому у Севастьяна, где помог распилить чурочку на дрова, за что был потчеван кружкой холодного молока, а молоко это не то, что в столовой.

– Ну, ну... – невольно поморщился Черепанов. – У них же, наверняка, телок есть, что ж ты про него ни словечка? У телка, что ж, звездочка на лбу, хвостик с кисточкой? Может, он это... человеческим голосом говорит?

Алешков явно обиделся, но выдержал характер и дальше продолжал столь же спокойно.

Был он и в бригаде и в комитете комсомола. В комитете – новый паренек и уже за голову держится: начальник шахты вчера пообещал расформировать молодежную бригаду, сказав, что толку в ней не видит, выработка день ото дня падает: зазнались, дескать, парни.

– А они не зазнались... – Алешков придвинулся к бригадиру. – Они мучаются.

– Мучаются?... – Черепанов помолчал с минутой. Целую бурю противоречивых чувств вызвало в нем это сообщение. Да, он очень хотел настоящей, большой победы для своей бригады. Все, что он делал сейчас, над чем думал, – все было освещено ожиданием этой победы. И вот победа как будто пришла. Но странно, почему же нет в сердце радости?

Емельяновцы мучаются...

Черепанов решительно сбросил с себя одеяло, но, прежде чем встать, спросил:

– А Савоська что ж, тоже за голову держится?

– Савоська? – удивился Алешков, – Так он же болен.

Черепанов сел в постели. – Что у него?

– Аппендицит! – Алешков простодушно улыбнулся.

– Ка-акой аппендицит?

– Какой?... Я почему знаю? Обыкновенный, наверное.

Это равнодушие к судьбе товарища бригадиру показалось настолько возмутительным, что он даже прикрикнул:

– Путаешь ты все,.. милое создание!

Теперь Алешков всерьез обиделся.

– Ничего не путаю, мне его молодуха сказывала: «У Севастьяна срочная болезнь – аппендицит».

Жизнь, правда, у него ничего, полная чаша, а работа – это ж мука! Лава новая, полмесяца как нарезали, пласт три метра, на каком они еще не работали, скважины закладывают вразброс – получается сплошная стрельба, а угля... жалко смотреть.

– Ты, значит, им ни полслова о нашем опыте?

Алешков усмехнулся.

– Для какой же надобности? Чтоб они нас в два счета обставили? По-моему, на это у меня хватит соображения.

– Соображение у тебя государственное, – скупом заметил бригадир и, натянув наконец сапог, выпрямился.

Оказывается, пока он обувался, в комнату неслышно вошли Санька с Митенькой. Сидят рядом на стульях и выжидающе поводят глазами с делегата на бригадира и обратно.

«Что же делать?» Черепанов посмотрел в окно – из-за горы все еще наплывало огромное белое облако.

– Что же делать? – повернулся он к товарищам. – Выходит, победы добились? Можно крикнуть по телефону Чернову, чтоб пропечатал в газете два слова: черепановцы победили!

Митенька скучно улыбнулся.

– Конечно. И про аппендицит чтоб ввернул.

– Тоща победа, – промолвил Лукин.

– Именно! – подтвердил Черепанов и, вздохнув, быстро стащил с ног новые хромовые сапоги. А когда он надел свои рабочие резиновые «бахилы», бригадники переглянулись.

Митенька раскрыл было рот для какого-то замечания, но бригадир распорядился:

– Дмитрий, подай из тумбочки две буровые коронки. Быстро!

Когда Михаил ушел, в комнате некоторое время молчали, потом Лукин сказал многозначительно:

– М-да...

– М-да! – подхватил Митенька. – Одним словом, тронулся бригадир разоблачать наш опыт!

– А как же иначе? – быстро спросил Санька. – Как?

– Иначе никак, – согласился Голдобин. – Только это же самодержавие!

– Что такое? – изумился Лукин,

– Самодержавие, вот что! Опыт-то общий, соревнуемся-то мы все с емельяновцами, Михаил должен посоветоваться в таком деле с бригадой, как и что. Может, и я бы что-нибудь дельное присоветовал!

Санька медленно критически оглядел товарища и на этот раз с сомнением протянул:

– М-м-да!...

ГЛАВА XXXVIII

Еще вечером, поручив все дела по управлению Филенкову, Рогов с утра решил пойти на несколько часов в шахту, на поток к Дубинцеву, но только переоделся, позвонила Галя и немного запальчиво сообщила, что «в тресте с ума сошли» – прекратили финансирование работ на уклоне, даже в выдаче насосов и транспортной ленты отказали. Может быть, Павел Гордеевич возьмется за это сам?

– Павел Гордеевич, может быть, возьмется! Но Павел Гордеевич немного удивляется, куда до сих пор смотрела Галина Афанасьевна, – не удержался от выговора Рогов. – Неужели Галина Афанасьевна – инженер, командир целого производственного участка – не понимает, как ей не пристала роль купеческого приказчика, который только и знал, что делал «от сих и до сих».

Пришлось все же поехать в трест. Управляющего на месте не оказалось, неприятный разговор состоялся с главным инженером.

– Нечего особенно горячиться, – пожал плечами Черкашин и пустился в длинный рассказ о сверхлимитных и нижелимитных ассигнованиях. – Неужели такие прописные истины не известны начальнику шахты? Все идет своим чередом. Дополнительная смета комбинатом утверждена и направлена в министерство. На днях нужно ждать санкции. А вообще кто же не понимает, как важен уклон для «Капитальной»?

– Вы в первую очередь не понимаете! – перебил резко Рогов. – Вы! Мне необходимо сто метров ленты и два насоса – забой захлебывается от воды! Прошу немедленно подписать этот грошовый наряд.

– Не могу. Каждый килограмм оборудования распределен по шахтам. – Черкашин выпрямился в кресле, сделал официальное лицо. – А насчет того, кто понимает и не понимает, товарищ Рогов...

Рогов встал и, не простившись, вышел. Вернувшись к себе, часа два выявлял с главным механиком внутренние резервы, но резервы не выявлялись, потому что их просто не было. А тут еще дежурный по шахте сообщил, что за прошлые сутки на уклоне, всего прошли полтора метра: вода задавила, и с транспортировкой неважно, разрыв в пятьдесят метров.

Рогов спросил, где Вощина.

– Она третью смену в забое, – ответил дежурный и вздохнул, – злая, даже разговаривать с ней страшновата.

– Злая... – Рогов опустил трубку на рычаг. – Было бы смешно, если бы она была добрая. Глянув на механика, распорядился:

– Возьмите на складе сто пятьдесят метров ленты и перебросьте на уклон.

– Эту ленту? – удивился механик. – Но она же идет на хомяковский комбайн! Не сегодня-завтра приступаем к монтажу.

– Перебросьте ленту на уклон! – повторил Рогов. – И не старайтесь меня разжалобить. Позвонил Дубинцеву.

– Все готово! – торопливо доложил техник. – Жду вас, Павел Гордеевич. Комбайн и транспортеры опробованы, в третью смену поток пускаем. Немного давит водичка, но насосы справляются...

– Вот что... – Рогов невольно замаялся, но тут же, нетерпеливо двинув плечом, закончил: – Торжество, Николай Викторович, отменяется. С потоком придется подождать полторы-две недели, а сейчас необходимо немедленно же передать два насоса на уклон.

– Что-о?... – у Дубинцева даже голос перехватало. – Я не понял, Павел Гордеевич, повторите!

Отнимая трубку от уха, Рогов слышал, как техник все еще испуганно кричал:

– Вы же под самый корень! Павел Гордеевич!..

«Ничего, корни у нас глубокие, – невольно подумал Рогов, – Не такой ветерок выдержат».

Хотел немедленно же отправиться на уклон и даже с удовольствием представил себе встречу с Галей, со злой Галей, но, пока перечитывал последние трестовские приказы, нагрянул Филенков. Именно нагрянул, чего за ним до сих пор не водилось. Невольно припомнилось на минуту, как он входил в кабинет первое время после назначения Рогова – бочком, с отсутствующим видом. А сейчас...

Филенков вбежал стремительно и, вприщурочку зло глянув на Рогова, плюхнулся в кресло. Однако тотчас же вскочил и, торопливо обыскав нагрудные карманы кителя, выбросил на стол красный тисненый квадратик удостоверения.

Внимательно посмотрев на него, Рогов сделал непонимающее лицо.

– Что это такое, Федор Лукич?

– Это? – Филенков поднял руку над головой и вполголоса отчеканил: – Это удостоверение главного инженера шахты «Капитальная». К чертовой матери!

– Кого? – изумился Рогов. – Шахту или главного инженера?

– Да, главного инженера, если он барахло и с ним не желают считаться.

– Хорошо. – Рогов спокойно выдвинул ящик стола и нарочито осторожно, двумя пальцами опустил туда удостоверение. – Еще что?

– Еще?.. – Филенков даже зажмурился от возмущения, но тут же постарался взять себя в руки. – И вы спрашиваете, что еще, после того, как натворили за один час столько безобразий? Извольте немедленно отменить свое приказание о транспортной ленте и насосах! Я категорически настаиваю, требую!

– А уклон? Пускать под воду?

Рогов был спокоен, и это несколько обескураживало главного инженера; он попробовал еще раз повысить тон:

– Скажите на милость: с самого начала этой своей партизанской деятельности вы понимали,

что выкраиваете тришкин кафтан? Надеюсь, такие простые вещи вы не разучились понимать?

– Не разучился, слава богу, – подтвердил Рогов.

– Так как же у вас рука поднялась на такую операцию?

– Очень просто. Положение безвыходное. Я взял часть живой ткани и пересадил на участок, где начинается загнивание.

Филенков даже всплеснул руками, но сейчас же успокоился, заговорил медленнее:

– Павел Гордеевич, слушайте... Только с тех пор, как мы стали по-настоящему впрягать в работу машины, я почувствовал себя инженером. Понимаете, инженером, у которого есть свое кровное дело! К каждому мотору, к каждому приводу словно протянулась от сердца живая нить, каждым винтиком на шахте я переболел, как корью. Неужели вы думаете, что мне трудно было бы найти то, что вы сегодня с такой болью выломали из дела?

Рогов уже не думал о том, прав он или нет, скорее всего – неправ, в эту минуту он во все глаза, любовно, почти восторженно смотрел на главного инженера: «Вспыхнул жар-уголек, вспыхнул!»

– Павел Гордеевич! – Филенков нетерпеливо встал. – Я жду вашего слова, я... верю в вас!

Договорились о том, что транспортной лентой идет на уклон из хомяковских запасов, потом можно будет как-нибудь обернуться, а насосы снимаются с двух дренажных канав, так как работают почти вхолостую.

– И мне легче, – запросто признался Рогов. – А то вспомню, какие должны быть глаза у Дубинцева, – мороз по коже!

Собравшись уходить, Филенков нерешительно попросил:

– Верните-ка мне, Павел Гордеевич...

– Что?

– Удостоверение.

– Главного инженера шахты «Капитальная»? Пожалуйста! – деланно обрадовался Рогов и, затаив улыбку, с минуту наблюдал, как Филенков, твердо ступая, шагал к двери, как он вдруг обернулся, погрозил пальцем и, уже переступив порог, громко расхохотался.

Уже на выходе из комбината настиг Бондарчук. Прошли немного рядом по солнечным лужицам подтаявшего снега.

– Может, пройдешь со мной на уклон? – спросил Рогов.

Парторг покачал головой.

– Не могу. А хотелось бы. Через полчаса собираются группаторги. Ты мне скажи: доклад подготовил?

– Зачем же спрашиваешь? – удивился Рогов. – Как договорились, так и будет. Доклад готов, и завтра я его сделаю.

– Не сделаешь, вот в чем вопрос, как говорит Иван Леонидович.

– То есть как не сделаю?

– Очень просто, некогда будет. Придется тебе сегодня ночью в обком, Павел Гордеевич.

– Да что ты? – почти крикнул Рогов и в одну, секунду преобразился: словно выше стал, в плечах раздался. – Значит, поставили на бюро нашу механизацию? А, что я тебе говорил?

– А что ты мне говорил? – засмеялся парторг.

– Ну как же... Помнишь, когда подписывали последние сведения о производительности труда, я сказал, что это самый живой, самый беспокойный раздел нашей шахтной статистики. А разве не правда? – Рогов подмигнул и стал взбираться на гору.

– А ты почему не через шахту? – крикнул вслед Бондарчук. – Это же ближе вдвое.

– А я через горку. – Рогов широко развел руками.

ГЛАВА XXXIX

Восемь километров до десятой Черепанов не шел, а бежал. Жесткие полы куртки крыльями хлопали по бокам. Пот слепил глаза. Встречные – кто сочувственно, кто насмешливо – оглядывались вслед.

Шахту он знал. Еще из школы ФЗО ходил сюда на производственную практику. Но когда клеть, мягко вспружинив, остановилась, все ему с непривычки показалось не так и нехорошо. В свете нескольких «пятисоток» янтарно поблескивали две огромные лужи. У бетонной арки квершлага черными тушами пристыли два по-

рожных овальных вагона. Сквозь частую дождевую капель из глубины горизонта слышались вздохи компрессора, словно кто-то рубил по мягкому, в изогнутой металлической магистрали тонко попискивал сжатый воздух.

Хотел сразу же тронуться на участок, мысленно прикидывая дорогу, но тут же в сторонке заметил на перевернутом коробе вагончика черненького парнишку, коротенького, непомерно толстого, в больших сапогах, в ватных штанах и фуфайке. Из-под шапки вызывающе поблескивали большущие глаза, синие, удивительные на темном узком личике. Паренек что-то старательно пережевывает, покачивая головой, и ударяет пяткой в борт вагончика.

«Смена только началась, а он уже жует!» – раздраженно подумал Черепанов и тут же спросил:

– Голодуешь?

– Приходится. А что? – голос у этого паренька тоже удивительный: звенит, как струнка.

– Нет, ничего... – почему-то смутился бригадир. – На здоровье... – Потоптался нерешительно и, вспомнив о срочности своего дела, осведомился, как бы поскорее попасть на третий участок.

Паренек захохотал, закашлялся и махнул рукой:

– А как прицелишься, так и попадешь! – а через секунду, пристально глянув на незнакомого шахтера, полубопытствовал: – Тебе к кому же на третьем участке?

Услышав, что товарищу нужно в молодежную бригаду, он быстро сглотнул непрожеванный кусочек и уже всерьез насторожился:

– Да ты не из комиссии ли?

– Я? – Черепанов как-то не подготовился к такому вопросу и соврал: – Я из комиссии...

В ту же секунду паренька словно ветром сдуло с вагончика, обежав вокруг него и нагнувшись, он затормошил кого-то:

– Гриш! Генька! Вставайте! Слышите? Комиссия!

Когда из-за вагончика поднялись два крупных парня с помятыми, растерянными лицами, Черепанов сначала удивился, но самозванные обязанности члена комиссии пробудили его к действиям, он съязвил:

– Это что, односменный дом отдыха?

Тот, что был покрупнее и лицом посмышленнее, для чего-то растопырил коротенькие пальцы на обеих руках и, не зная, что с ними делать, сунул в карманы брюк. Оказывается, бригадир у них болен, а его заместитель, товарищ Андрей Гуща, взял сегодня лаву на рекорд.

– Так... так... – зловеще подытожил «член комиссии». – А вы что ж, приставлены аплодисментами ублажать рекордиста?

Нет, почему? Им просто не достало соответствующего фронта для работы. Парень опять стеснительно посмотрел на свои растопыренные пальцы.

– А вы кто такие будете по фамилии? – спросил черненький паренек.

– Цыть! – повернулся к нему Черепанов и, чтобы не раскричаться от горького гнева, сказал медленно, с расстановкой: – Я Черепанов. Стыдно соревноваться с вами. Ведите меня! – и пошел под бетонные своды квершлага.

Парни переглянулись, черненький мальчонка присвистнул, а тот, что беседовал с Черепановым, унял его вполголоса:

– Не блажи, Сашка...

Черепанов думал, что товарищ Андрей Гуща встретит его если не в штыки, то во всяком случае очень нелюбезно, и даже приготовил целую речь со ссылками на личный опыт и на авторитет своей бригады. Ошибся и все же не пожалел, что всю дорогу на участок торопился и взбадривался. Отложив бурильный молоток и устало улыбнувшись, Гуща крепко стиснул руку гостю:

– Извини, друг, неважно живем...

Рассказ его был длинным и потому немного напоминал жалобу, а жалоб бригадир терпеть не мог – в этом было что-то унижительное, оскорбляющее человеческое достоинство. «Раскисли», – думал он и морщился, но слушал внимательно.

Емельяновцы и сами думали: как это получилось, что они подрастеряли авторитет? Дело, конечно, не в желании работать – этого хоть отбавляй. И не в том дело, что бригадир прихворнул. В основном, подействовала резкая перемена в обстановке. Все время работали в лаве с малой мощностью пласта, а тут вдруг – трах! – пере-

брасывают сюда. Сначала обрадовались: пластище три метра с лишним, уголь сам поползет, а на поверку вышла осечка и нормы перестали наскребать. И так кумекали и так – ничего не выходит, хоть зубами грызи. Вчера Емельянов вызвал своего заместителя прямо в больницу, вытащил из-под подушки городскую газету, ткнул пальцем в красивый заголовок: «Слава!», сказал, что это о бригаде Мишки Черепанова, и вдруг круто потребовал:

– А ну, глянь на меня!

Вспомнив сейчас этот неприятный момент, Гуща смущенно почесал в затылке.

– Чудак, что мне трудно глянуть на него? Не велика картина.

Договорились же они с Севастьяном твердо о том, что бригаду нужно взбодрить. Гуща должен был или умереть, или показать пример, причем не позднее, чем сегодня.

– И как?

– Слабовато... – признался Гуща. – Вот прострелил уступ в трех местах, а уголек стоит стена, стеной...

– И будет стоять! – проворчал Черепанов. – У вас как – запальщик дельный?

– Запальщик-то дельный... во-он, видишь, фигурка? – Гуща кивнул вниз лавы.

Разглядев в сумраке настороженно приподнятое личико злоязыкого мальчугана, Черепанов, однако, ничего не сказал. Вытащив из кармана две буровые коронки своей конструкции, он сунул одну в руки удивленному Гуще, другую посадил на штангу свободного перфоратора и тут же подозвал наблюдавших со стороны за его действиями Генку с Григорием.

– Вот что, – сказал он тоном окончательного решения: – Я здесь за Емельянова. Я – бригадир. Никаких рекордов делать не будем, – будем давать уголь. Планово. Вы крепите, – Михаил кивнул двум забойщикам, – мы с Андреем в забое. Лаву берем всю на прогон. Палить будем снизу по три уступа, после отпалки вдвоем разбираем уголь, потом на зачистке остается один, а второй – это я, – снова бурит скважины.

Только так... – Черепанов помолчал немного. – Только так: действовать без толкотни, быстро – это самое важное. Как только забой

защищен, в нем немедленно должна встать крепь. Немедленно. Сами знаете, кровля не любит висеть вхолостую – устает, особенно в таком сарае, как ваш... Ну... – он посветил на стенку забоя, на лица товарищей, – тронулись!

...Когда в лаве в первый раз грохнуло, проходивший по штреку горный мастер равнодушно проворчал:

– Наконец-то распочали рекорд...

Но вслед за этим раздалось еще несколько взрывов, потом еще. Мастер забеспокоился: «Что они, чертя, с ума сошли, взрывчатку жгут!» Однако ему не удалось побывать в лаве: встретил Генка и запальчиво потребовал лес.

– Немедленно! – выкрикнул он. – Или... – но, не досказав, что последует за этим «или», повернулся и убежал.

Может быть, эта стремительность и подействовала на командира смены – лес он немедленно же доставил. Тут же потребовался порожняк, пришлось добавить одного люкового, потом еще лесу, еще порожняку – замотался мужик и повеселел. В конце смены крикнул в ходовую печь:

– Эй вы, удивительные! Скоро выдохнетесь?

Но в ответ хотя бы кашлянул кто, по-прежнему вперебой трескали молотки, звенел топор и шумела угольная лавина, низвергавшаяся откуда-то с верхних уступов.

...Черепанов отключил молоток и прислушался. Внизу в порожний люк глухо стукнули последние куски угля. Присев рядом, Гуца отер потный лоб и, глянув из-под руки на Михаила, засветился улыбкой.

– Тяжеленько! А ведь прямо как праздник, честное слово! Севастьян обрадуется!

Бригадир спохватился:

– Слушай, а куда делась эта черненькая фигурка? Вот работает: загляденье! А посмотреть на него со стороны – и не подумаешь...

– Я же тебе говорил! – подхватил польщенный Гуца. – Народ у нас боевой на работу.

После горячего душа они присели покурить в коридорчике мойки. Черепанову нужно было идти – дорога не ближняя, но на сердце у него легко, поговорить хочется. Он наказывает:

– Во-первых, закладывайте скважины по-человечески – «елочкой». Но и с «елочкой» тоже

надо уметь обращаться. Крайние заряжайте на полную мощность, а две средних слегка, чтобы только потревожило уголек. Ты передай это запальщику...

– Да вот она сама! – перебивает Гуца.

– Сама? – Черепанов оглядывается. – Как... сама?

К ним подходит девушка. По двум смешным косичкам, по тоненькой фигуре, по задорно поднятому личику – самая настоящая девушка, а глаза – синие фонарики – чумазого парнишки-запальщика, которого бригадир даже обозвал в лаве «косолапым стригунком».

Чувствуя, что медленно, но жарко краснеет, Черепанов беспокойно передвинулся на лавке и прикрыл ладошкой порванные на коленке штаны. Он так и не сказал больше ничего в тот раз, и про «елочку» не упомянул. В ответ на предложение Гуцы забегать почаще в бригаду беспричинно раскашлялся и промычал что-то неразборчивое.

Собственно, и через полчаса, когда они шли вдвоем с Шурой, укрытые черной и теплой апрельской ночью, он тоже не отличался особой говорливостью, все больше слушал, стараясь не ступать по звонкому льду. И наконец оставшись один, он оглянулся на маленький домик, в котором скрылась девушка, посмотрел на ладонь, которой она коснулась теплыми шершавыми пальцами, и чуть слышно засмеялся.

ГЛАВА XL

По давней ли привычке ласково, с жарким любопытством разглядывать людей-товарищей, потому ли, что так ладно и чисто работалось в эту смену, но Митеньку вдруг охватило страстное желание сделать что-то доброе, что-то такое теплое и свежее, как весна.

Вышел с Лукиным из шахты, подивовался щедрому солнышку над горой Елбанью; у крыльца подставил лицо нескольким крупным каплям с крыши, одну даже на язык поймал; потом остановился и стал смотреть, как встречает Степана Данилова мать Тони Липилиной, Мария Тихоновна.

– Степа, ты устал, наверное, – сказала Мария Тихоновна. – Письмо от доченьки. Пойдем скорее!

– Мама!.. Да я как на крыльях! – Степан взял женщину под руку. – Пойдемте, мама.

Плохо, что они мало поговорили, и Митеньке не удалось вставить в их беседу ни одного своего слова. А слово так и рвалось от сердца, так и теснилось, его просто необходимо было сказать. Но не идти же для этого в общежитие, где Черепанов не приминет напомнить чуть ли не о прошлогодней зачетной «удочке» на курсах механизаторов. Нет, в общежитие Митенька сейчас не пойдет.

С часок ходил по конторе, поздоровался чуть не с сотней знакомых и после каждого рукопожатия чувствовал себя просто счастливее. Потом внимательно пересмотрел все щиты показателей и решил про себя, что положение на шахте совершенно никакого беспокойства не внушает и самое главное – близкий Первомай чувствуется. Однако плохо, что двум таким бригадам, как черепановская и некрасовская, до сих пор не выписали на щиты выработку за вчерашние сутки. Надо как-то подтянуть статистику. Митенька так долго и внимательно смотрел в полукруглое окошечко на старшего статистика, что тот, наконец, сдернул очки с переносицы и взмолился:

– Дмитрий, не мути душу, выкладывай сразу, чем недоволен!..

– Чем я недоволен, Филипп Филиппыч? – Митенька задумчиво почесал конопатый нос. – У меня, Филипп Филиппыч, образование, конечно, ниже среднего, не дотянул по молодости... но в математику вникаю. Вот я сейчас и думаю: сколько времени требуется, чтобы шахтерская смена превратилась в математику, и сколько еще нужно, чтобы эта математика заговорила со всем народом? Теоретический вопрос, Филипп Филиппыч...

Статистик хлопнул себя ладошками по бокам и крикнул в глубь комнаты:

– Настенька, вы все бригадные показатели вынесли на щиты? Нет? Тогда имейте в виду, в следующий раз я к вам направлю Дмитрия Голдобина. Для теоретического разговора.

Через полчаса Митенька обедал, а пообедав, попросил книгу «Жалоб и предложений», в которой записал, что, по его мнению, нужно поощрять такую отличную поварскую смену, как сегодняшняя, и что официантка ему, Дмитрию Голдобину, тоже понравилась – очень вежливая и на каждом столике цветы. Дух от цветов радует человека.

Зашел в сберкасса, но она оказалась закрытой; это уже явный непорядок. Кто его знает, может быть не одному Голдобину понадобилось сейчас оформить свое дело, а тут, извольте, по неизвестной причине замок висит. Непорядок. Пришлось зайти в амбулаторию. Не то, чтобы Митеньку донимал какой-нибудь недуг, а просто любопытно, чем люди занимаются.

Сначала прошел по коридорам молча, потом не выдержал, заговорил с одним, с другим, словно с родней. У старушки спросил заботливо.

– Мамаша, что ж вы не входите к доктору? Дайте-ка я за вас постучу.

Девушке с завязанной щекой посоветовал:

– Сестренка, вам же трудно стоять. Садитесь вот здесь, товарищи подвинутся.

Товарищи действительно подвинулись, и место освободилось.

В конце коридора заплакал ребенок. Митенька сейчас же двинулся на этот залиvistый крик. И, наверное, такие уж у него ласковые выпуклые, в крапинку, глаза, такое широкое ушастое лицо с рыжеватым пушком на губе, что годовалый карапуз вдруг замолчал, пустил слюну и как-то интересно взмахнул ручонками.

Наступал вечер. Можно было бы трогаться в общежитие. Но тут Митенька вдруг решил, что зайдет прежде к Данилову, возьмет у него аккордеон, а при случае и самого прихватит – надо же какое-то удовольствие доставить товарищам.

И, только поднявшись на второй этаж, вспомнил, Данилов же ушел после смены к Марии Тихоновне, и они наверняка до утра проговорят о Тоне. Рогова тоже нет – вчера он уехал в Кемерово. С досадой махнул рукой: не вышло с аккордеоном, придется крутить радио, ничего не поделаешь.

Вернулся и прямо в дверях встретил девушку в темной шляпке, с чемоданчиком. С любопыт-

ством оглядел ее, – все же явно новый человек па руднике. Хотел обойти стороной, но девушка вдруг спросила:

– Простите, товарищ, вы в этом подъезде живете?

Нет, он не живет в этом подъезде, но если требуется справка какая-нибудь – с удовольствием.

– Да, именно справка. Я ищу квартиру Рогова.

– Рогова? – Митенька даже подскочил от удовольствия. – Так он же здесь живет, честное слово! На втором этаже направо. Только вам придется зайти в другое время – нет Павла Гордеевича, в обком вызвали.

Девушка невесело рассмеялась:

– Я не могу в другое время... Я только что с поезда, из Новосибирска, и завтра чуть свет уезжаю.

Митенька пристально всмотрелся в лицо собеседницы, слегка затененное полями шляпки, и вдруг спросил:

– Вы... Валя Евтюхова?

– А вы меня откуда знаете? – удивилась она.

– Стороной... – Митенька смутился, но тут же искренне погоревал: – Скажи на милость, как у вас неорганизованно все получается! Прямо глядеть обидно!

– Что, что? Неорганизованно? – рассмеялась Валя. – Вас как зовут? Дмитрий? Значит, Митя. Вот что, Митя, помогите мне попасть в квартиру к Павлу Гордеевичу. Во что бы то ни стало!

...В общежитие Митенька возвращался совершенно счастливым. Доброе дело, которого он искал полдня, неожиданно само на него свалилось.

Валя не успела раздеться, как в квартиру вошла маленькая старушка, – та, что передала по просьбе Митеньки ключи от квартиры. Хомякова – ее фамилия, Мария Дмитриевна Хомякова.

Спрятав сейчас маленькие сухие ручки под фартук, Мария Дмитриевна сказала матерински ворчливым тоном:

– Ну, вот, давно бы так...

Валя смутилась и сейчас же подсадовала, что держит себя как школьница, которую застали на свиданье.

– Слава богу, говорю, что приехали, – повторила Мария Дмитриевна. – А то ведь извести можно даже такого, как Павел Гордеевич.

– Вы думаете, он извелся? – Валя рассмеялась и сразу почувствовала, что смех у нее нехороший, искусственный.

– А кто ж его знает, – заметила старушка, – мужика не вдруг разгадаешь. Только Павел Гордеевич все у меня на глазах, пригляделась. И радостно с ним, и горько иной раз. Любит людей он, а над ним самим некому подышать... Ну, я не буду досаждать вам, – спохватилась Мария Дмитриевна. – Располагайтесь. А если нужно, заходите ко мне. Все равно соседями будем теперь. А то ведь я тоже одна, по вине Павла Гордеевича, – угнал моего старика на другой край Кузбасса.

«Соседями будем!» – Валя сжала холодные щеки ладонями.

Потом включила свет и увидела просторную комнату, две кровати. «Почему две? Ах да, Павел же писал, что с ним живет боевой товарищ. А где же этот товарищ? – Валя сейчас испытывала почти мучительную потребность слышать что-нибудь о Рогове. – Какой живет? В письмах его только шахта, изредка новая книга, еще реже фильм. А в остальном шахта, шахта... И о стольких людях рассказывает».

На широком столе между пачкой газет и стопкой толстых журналов узнала свой портрет – увеличенная фотография еще институтских времен. Поверх журналов записка: «Павел Гордеевич, завтра я снова еду в Сталинск. Будь здоров. Ст. Дан.». Она припомнила по письмам Рогова: Степан Данилов.

На кровати развернутая книга: Юлиус Фучик «Слово перед казнью». Прочитала подчеркнутые красным карандашом заключительные строки: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!»

«Ну вот, только прикоснись к вещам, взгляни в книги Павла – и уже слышишь, как бьется его сердце, как глубоко и сильно он дышит. «Люди, я любил вас!»

Неожиданно за спиной у нее сказали:

– Здравствуйте... Извините, я увидела свет и подумала, что Павел Гордеевич дома...

Она не тотчас обернулась, а успела еще подумать, что такой голос может принадлежать только очень красивой женщине, очень красивой и молодой. А в следующую секунду ей стало и

смешно и немного досадно, что она так правильно угадала.

Глаза вошедшей мгновенно перебежали с лица Вали на ее портрет и тут же спрятались в густых ресницах.

– Да, Павла... Гордеевича нет дома и Данилова тоже.

Валя усмехнулась про себя и, уже смелее разглядывая девушку, чистосердечно призналась:

– Понимаете, я тоже просто обескуражена, что хозяев нет. Вы не можете мне скоротать часок? Познакомимся?

Познакомились, мельком взглянули в глаза друг другу. Валя повторила про себя: «Галина Вощина» и тут же подумала, что Павел об этой девушке почему-то ничего не писал.

Все еще чувствуя себя немного стесненной, Валя с преувеличенной хлопотливостью заглянула в шкаф, в тумбочку, отыскиала чай, сахар, банку консервов. Налила воды в круглый чайничек, но плитка почему-то не действовала, пришлось просить помощи у новой знакомой. Невольно залюбовалась на то, с какой ловкостью девушка управлялась с контактами, как быстро она развинтила и вновь собрала штепсельную вилку. Глядя на ее пепельные волосы, на еле приметный золотистый пушок на щеках, вспомнила шуточные слова еще из осеннего письма Павла: «Имей в виду: ты со своей диссертацией проворонишь Рогова».

Валя невольно подумала, что в чем-то они очень похожи одна на другую, но в чем – было трудно объяснить. Скорее всего сходство ограничивалось только некоторыми чертами во внешнем облике.

Ростом они одинаковы, может быть Валя немного повыше. У Вощиной было тоже открытое, чистое лицо с мягкими линиями рта, светлые пепельные волосы ее закручены в тугий узел на затылке (Валя почему-то невольно перебросила свои косы за плечи). А вот в больших, немного удивленных глазах Галины часто вспыхивают веселые насмешливые искорки.

Валю же Рогов когда-то часто упрекал за удивительную, по его мнению, уравновешенность.

– Ты словно айсберг, – говорил он, – как ледяная гора в море, которая на девять десятых скрыта под водой, – все у тебя где-то внутри. Когда я рядом с тобой, мне хочется сесть, опустить взгляд долу и получить пятерку за поведение.

Вспоминая это, Валя усмехается про себя: «Павлу так никогда и не удавалось получить этой пятерки!»

Через двадцать минут они пили чай. Валя рассказывала о комплексной экспедиции профессора Скитского, с которой она направляется теперь в верховья Томи.

– Вы думаете, мы так уж много знаем о земле кузнецкой? – спрашивает Валя. Галя кивает.

– Думаю, что много, но далеко не все... Думаю, что времена, о которых мечтали люди земли кузнецкой, наступили. Помните, как еще в тысяча восемьсот сорок первом году участник одной из первых геологических экспедиций в Кузбассе писал: «Какая умная, вольготная жизнь раскинется в этих ныне глухих местах!»

– Вольготная жизнь!.. Далеко уходили русские землепроходцы в поисках этой жизни. Землепроходцы!.. – Валя запнулась на мгновение. – Простите, что я декламирую, тема эта... моя всегдашняя слабость... – И, уже хитренько скосив глаза на Галю, попытала: – Такие, как Павел, вам не напоминают первых сибирских землепроходцев?

Галя не ответила. Только слегка наклонила голову. А через минуту они снова увлеклись разговором о масштабах геологоразведочных работ на лето. Уголь, бокситы, железная руда, марганец, золото... Горные кручи и долины с неоглядным луговым разливом, леса, стремительная голубая энергия рек.

– Масштабы... – Галя вдруг строго сдвинула брови. – Ничего нельзя возразить против наших масштабов. Но геологи пока что только вперед идут, столбят богатейшие залежи... А давно пора забираться вглубь! – Поглядела на Валю, подумала. – Я не знаю вашей геологической специальности, Валентина Сергеевна, но знаю, что геологическая служба у нас в тресте, то есть оперативная и необходимая для горняков как воздух, поставлена из рук вон плохо. Это же Кузбасс, это же уникальные месторождения

углей! Пласты то падают под прямым углом, то крутым веером развертываются почти на выходе к дневной поверхности. Чтобы вынимать пласт, нужно знать от начала до конца все особенности эксплуатационного поля, все его «пережимы», «сбросы», «породные включения». В прямой зависимости от этого находятся наши технические прогнозы, наша производственная экономика.

Неважно мы иногда составляем эти прогнозы... – Галя виновато улыбнулась, – даже на «Капитальной». Переходим сейчас на нижние горизонты, а пластов, вот так, чтобы как на ладони, не видим.

– Правильно, я уже думала об этом, – согласилась Валя. – По материалам Геологического управления я знакомилась с вашим месторождением. Вызывает удивление, например, робость в отношении шушталепской свиты пластов... Но я не знаю, смогу ли помочь чем-нибудь.

– А вы переходите к нам! – Галя смело заглянула в лицо собеседницы. – Если это... совпадает с вашими жизненными планами...

– Если я выхожу замуж за Павла? – просто спросила Валя и тут же сухо оборвала себя: – Этого я не знаю.

Глаза у Гали стали очень серьезными, почти настороженными, но она промолчала.

Через минуту Валя спросила, часто ли бывает Павел на людях, разумеется в нерабочее время. Галя подумала, улыбнулась.

– Что-то не замечала у него такого времени. Но один раз он был у нас в гостях, и я даже пела ему... Это... моя слабость.

– Павел ведь тоже поет, – заметила Валя, – только при этом, как говорят сибиряки, ревет.

Засмеялись обе. Пробило полночь. Окна вздрогнули под напором ураганного ветра. Галя стала прощаться, сказав, что ей на работу к шести часам. Валя посетовала.

– И мне в ранний путь-дорогу.

– Разве вы... не дождетесь?

– На этот раз нет. – Валя быстро встала и, не сумев сдержать резких нетерпеливых ноток в голосе, добавила: – А мне нужно его видеть всего на минуту... Он должен... понять меня!

Галя как-то по-новому прислушалась к голосу собеседницы, пристально заглянула в ее глаза и

незаметно для себя неприязненно сжала губы. Простились коротко, словно и не разговаривали перед этим как хорошие знакомые.

...Прежде чем уснуть под солдатским одеялом Рогова, Валя еще раз перечитала подчеркнутые красным карандашом слова Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас!»

Засыпала и слышала словно бы далекий голос Павла:

– Люди, я люблю вас!

ГЛАВА XLI

Вернувшись из Кемерово, Рогов прямо со станции решил проехать на шахту.

– Может, на квартиру завернуть, Павел Гордеевич? – спросил шофер.

Рогов отмахнулся.

– Правь, куда совесть велит.

– Совесть велит на шахту, – усмехнулся шофер. – Вот она! Получайте!

– А мы ждем! – в один голос сказали парторг с главным инженером, когда Рогов вошел к себе в кабинет.

Он зорко взгляделся в их лица и, решив, что на шахте все хорошо, облегченно вздохнул.

– Ну? – поторопил Бондарчук. – Выкладывай все начистоту. Через полчаса на участок. Ждет Хомяков.

– Нет, все сразу не могу, – Рогов обнял парторга за плечи. – Не могу, потому что соскучился о вас и потому, что жду известий об уклоне. Как?

Филенков сейчас же развернул на столе новую схему выработки.

– Вот! Извольте! Водичку взнуздали и оседлали, пошла ровненьким шагом и точно куда нам нужно.

– Ага, пошла! – Рогов не торопясь разделся, сел на свое место и, упершись ладонями в колени, сказал. – Ну что ж вам рассказать? Был в обкоме, посмотрел оттуда на Кузбасс, на родину...

– Далеко видно? – почти с завистью спросил Бондарчук.

– Далеко, даже дух захватывает.

– Хорошо! – решил вдруг парторг. – Завидую, но больше не слушаю. Завтра ты обо всем расскажешь на слете. Идет?

Уже совсем приготовились к выходу, как вдруг из коммутатора сообщили, что начальника шахты вызывают к аппарату. Рогов торопливо перешел к телефонному пульту.

Голос министра доносился издалека, заглушался электрическим треском, иногда слабел, словно относимый крепким весенним ветром.

– Да, да, слет назначен на завтра, – спокойно отвечает Рогов. – Коллектив благодарит за высокую честь, товарищ министр. Можете надеяться: зная теперь в крепких руках... Да, товарищ министр, трезво оцениваю положение. Я только по достоинству оцениваю шахтеров, работающих рядом со мной. Спасибо, товарищ министр. Приезжайте, будем рады... До свиданья!

Рогов положил трубку и вдруг круто повернулся к Бондарчуку с Филенковым, взъерошил волосы обеими руками и крикнул:

– Слышали? Министр приедет! А через десять минут, когда они уже выходили из рудничного двора в квершлаг, Рогов вдруг спросил у спутников:

– Знаете, какую табличку в обкоме показывали? Зная, которым нас наградили, оспаривали шестнадцать шахт! Шестнадцать! А через месяц их будет двадцать пять, тридцать! Вот как нужно работать, чтобы не сдать позиций.

На участке, где сегодня испытывался комбайн Хомякова, поджидали уже Севастьянов и трое забойщиков. Вслед за начальником шахты и парторгом прибежал запыхавшийся суетливый маркшейдер. Увидев начальство, всплеснул руками. У него отказала пневматика, бегал на склад, чтобы заменить золотниковый коллектор, кладовщика не застал.

– Как же теперь? Столько месяцев, столько трудов!

Герасим Петрович сдернул очки с носа. Филенков прогудел:

– Станину можно пока подвигать вручную, важно решить все в принципе. Хронометраж проведем позднее.

Пока по тридцатиметровой станине челнок заводили в дальний конец лавы, пока пилы прижимали клиньями к груди забоя, Рогов с Бондарчуком прилегли на кучу угля, прислушались.

В лаве кто-то кричал:

– Заводи, заводи дальше! Равняйся на машину!

Вот дело, ради которого хотелось бы жить сорок восемь часов в сутки. Мысленно каждый из них окидывает взглядом целые поколения шахтеров, изо дня в день сгибавшихся в мучительных усилиях у груди забоя. Из истории шахт известно, что почти половину рабочего времени шахтер проводил лежа на боку или на коленях. И вот теперь сотни совершенных машин пришли на помощь горняку. Пласт подрубается врубовкой, дробится силою взрыва, электрическими и пневматическими молотками, уголь уносится из забоя транспортерами, конвейерами различных систем. Но есть еще одно место, где остался разрыв в стройной системе подземных машин: грузится уголь на транспортеры руками шахтера, обыкновенной лопатой. Пришло время связать, скрепить механический поток в этом разрыве. Инженерная мысль уже работает над тем, чтобы решить и эту задачу, создать простую в управлении, верткую, по-шахтерски выносливую машину.

Наметанным глазом, еще при монтаже хомяковского комбайна, Рогов видел слабые узлы его. Но основная мысль, воплощенная в оригинальных конструкциях, была захватывающе интересной. Ради того чтобы эта мысль окончательно определилась, стоило не спать ночей, как маркшейдер, неистово работать.

Они теперь стояли в конвейерном штреке у приводного мотора. Слесарь что-то подкручивал, позванивая инструментом.

– Павел Гордеевич! Начали! – кричит Хомяков.

Вот он и сам, выпачканный, помятый, несчастный и счастливый, живущий каждым ударом сердца, – маленький старичок с молодой мыслью.

Не говоря ни слова, Рогов медленным движением заправил маркшейдеру галстук-«селедочку», выбившийся из-под синего комбинезона. Герасим Петрович на секунду прижался лбом к плечу инженера и что-то сказал неразборчивое – «боюсь» как будто.

Еще раз все осмотрели. Рогов распорядился, чтобы все, включая забойщиков, вышли в конвейерный штрек. В лаве они остались вдвоем с Хомяковым. У пускателя дежурил Филенков.

– Пожалуйста, осторожно! – простонал ему Герасим Петрович и виновато глянул на Рогова. Тот поднял лампочку: сигнал приготовиться,

– Тронулись!

Поворот рукоятки... В конвейерном коротко охнул и слабо запел мотор. Рогов затаил дыхание. Еще мгновение – и узкая транспортерная лента бесшумно тронулась вдоль забоя. Еще поворот рукоятки... Запел второй, более мощный мотор. И тогда черную тишину лавы изорвал сухой скрежет. Челнок работал! Металлические пилы, вонзаясь конусными зубьями в пласт, крошили его, подсекали. Вот на транспортерной ленте появился тонкий слой мелкого угольного крошева... Слой увеличивается. Он вспухает, как весенний поток. Спотыкаясь, из штрека бегут люди, кто-то неистово машет лампочкой, кто-то кричит упоенно:

– Поше-ел!

А в лаве скрежещет бар и по-комариному поют моторы.

Оглянувшись на мгновение, Рогов видит, что маркшейдер с остановившимися глазами сидит спиной к стойке, за стариковское сердце держится. Хотел вернуться к нему, но в этот момент на челноке что-то стеклянно хрустнуло, моторы взвыли на холостом ходу, и замолкли.

Вместе с Филенковым и механиком Рогов тщательно осмотрел место аварии. Оказалось, не выдержали динамического напряжения две металлические петли, к которым крепится режущая часть. И не расчет подвел, нет, – просто на заводе небрежно подобрали материал.

Рогов вдруг сел прямо на транспортер, посветил на Филенкова и глуховато, взволнованно сказал:

– Федор Лукич... садитесь... Зовите сюда Бондарчука, Хомякова... Быстрее!

А когда подошли остальные, он, категорическим жестом подтверждая слова, сказал:

– Машина, товарищи, родилась!

– Ах, Павел Гордеевич! – Хомяков почти всхлипнул. – Роды не состоялись...

– Не говорите чепухи! – остановил Рогов маркшейдера. – Не вам жаловаться, не нам слушать. Машина есть, но толку мало. И не в аварии дело. Смотрите! – он быстро встал и пошу-

пал лучом лампочки стенку забоя. – Смотрите: всего три захода сделал челнок, еще три, и... мы должны были бы остановить комбайн. Уже пришлось бы крепить кровлю. В таком случае коэффициент полезного действия комбайна будет равен всего десяти-пятнадцати процентам. Понимаете, крепь будет держать машину, как тяжелые кандалы. К черту крепь, к черту эти кандалы! Вы же знаете, что управлением кровлей в угольной промышленности заняты тысячи людей. А эти тысячи шахтеров буквально завтра могут освоить, поднять к жизни целый угольный район. Значит, к черту крепь!

– А дальше? – Филенков часто дышал в лицо начальнику шахты. – Дальше?

– Дальше? – лицо Рогова в сумерках забоя стало вдруг добрым, мечтательным. – А дальше – пусть комбайн Герасима Петровича шагает на собственном передвижном секционном креплении! Принцип гидравлики! Слышите? Но все равно, Герасим Петрович, на завтрашнем нашем празднике вы будете самым дорогим гостем. Земным поклоном отблагодарят вас шахтеры!

– Тогда так! – Филенков необычайно легко вскочил и нетерпеливо потянул за собой Хомякова: – Герасим Петрович, Павел Гордеевич, пошли в контору! Сейчас же сделаем предварительные расчеты. Скорее!

Рогов остался не надолго в лаве. Нужно было распорядиться демонтажем комбайна. Здесь его и нашел Данилов.

– Что уж это такое, я прямо не знаю, – заворчал Степан. – Который час, а его все нет. Звоню на шахту, говорят – приехал, но куда делся – неизвестно. А она утром наказала, под мою личную ответственность: «Как, говорит, вернется, в первую же минуту вручи ему, Степан, это письмо».

– Кто? Кто? – перебил испуганно Рогов.

– Как кто? – удивился Степан. – Валя, конечно. Это она, когда в Таштагол поехала, наказала мне: «В первую же, говорит, минуту вручи!» А тут уже не только минута, часы прошли. – Степан вздохнул: – Вообще, неорганизованность у вас с ней сплошная. Я уж и то просил ее, чтобы она прибрала тебя, Павел Гордеевич, к рукам.

А Рогов смеялся: сначала тихо, потом громче и наконец не выдержал, прижал Данилова к себе так, что у того кости заныли, дыхание остановилось.

– Степа! – торопливо разрывая конверт, Рогов присел на обрубок стойки. – Степа, ты даже и подумать не можешь, какая она у меня! Слышишь?

С минуту он читал письмо, потом резко убрал его из-под луча лампочки, поглядел на Данилова и снова с первой строки стал читать. Прошло еще две-три минуты. Степан не вытерпел, посветил в лицо инженеру и тут же отдернул лампочку в сторону: глаза у Рогова были плотно закрыты.

Степан хотел присесть рядом, хотел спросить осторожно: «Павел Гордеевич, родной, что случилось?», но вместо этого тронул товарища за плечи и позвал:

– Пойдем, Павел Гордеевич, отдохнешь. Голос у Рогова оказался твердым, когда он откликнулся:

– Нет, Степа, ты иди один, а я загляну на уклон. Потом через горку тронусь... С весной побеседую. Иди, Степа.

ГЛАВА XLII

Аннушка круто отвернулась, задев косами Николая. Он боязливо заглянул ей через плечо, увидел быстрый взмах ресниц, дрогнувшую пухлую губу и на минуту отошел к окну. Постоял, пошевелил плечами и вдруг сделал вольт на одной ноге: «Тра-та-там!» Подбежал к жене, крутнул ее вокруг себя и упал на колени.

– Аня!

Она клонила, клонила голову к нему и, когда коснулась губами его теплого уха, шепнула:

– Страшно... Я хочу, чтобы он был такой же, как ты!

Ребенок! Вот что придет в их жизнь! Кто это будет? Сын? А то как же! И все узнают, все будут знать, что у них сын! Сынище!

– Аннушка, в день его рождения... Она зажала ему рот ладонью.

– Сумасшедший, еще до рождения, знаешь, сколько?

– А когда же, когда?

Он пристал и пристал: и когда, и что, и как... На шахту шли, взявшись за руки, чуть не на каждом шагу нечаянно встречались взглядами.

– Ты что?

– А ты?

– Ветер такой, хоть лети!

Она погрозила:

– Лети, только домой возвращайся пораньше.

Расстались уже у железного виадука. Аннушка стала подниматься по извилистой тропке в гору, к уклону, где на высоком пирамидальном копре полоскалось красное полотнище флага. Оглянулась на шахту – и там флаги, транспаранты; свежий ветер донес мелодию из репродуктора. «Капитальная» готовилась к своему большому празднику.

На самой горе, не доходя до уклона, остановилась. Горы и горы, желтоватые, в зеленых пятнах, без конца и края горы, накрытые синим небом. У самого горизонта клубятся бело-розовые громады облаков, неподвижные, величественные. Земля кузнецкая, какие ласковые ветры летят над тобой в весеннюю пору, каким обилием первозданных красок цветут твои просторы!

Опустив руки ладонями вниз, словно опираясь ими на всю землю, Аннушка закрыла глаза. И вот уже несет ее ветер, несет, качает... Хорошо жить! Хорошо! Пусть скорее приходит в этот мир ее большой, умный сын!

– Или больна, Анна Максимовна?..

От неожиданности вздрогнула и тут же рассмеялась. Это старший Вошин. Подошел неслышно и смотрит ласково из-под широченных ржанных бровей.

– А почему вы подумали, Афанасий Петрович?

– Гляжу – стоит девка одна и зажмурилась. Чего же хорошего?

– Нет, Афанасий Петрович, это я так... Пе-еть хочется!

– Петь? – старик не удивился. – Какие вы нынче все песенные. Куда путь держишь?

Аннушка показала на далекую седловину.

– На уклон, Афанасий Петрович.

– Гм... – Вошин усмехнулся. – Я бы тебе посоветовал оставить уклон. С часу на час должны прокопчане приехать. Хорошо бы организовать

встречу, не митинг, конечно, – это завтра, а просто чтоб народу побольше было: пусть полюбятся, как знамя на шахту возвращается. А?

– Знамя? – Аннушка даже руки к груди прижала. – Как же мне Бондарчук не сказал? Афанасий Петрович... Я бегу!

Обязанности связанных исправно выполняли Санька Лукин и Митенька. Черепанов призвал их к этой беспокойной должности, как только доктор Ткаченко, осмотрев его, отрицательно покачал головой.

– Нет, нет, пока никаких прогулок. Лежи, батенька, лежи и дыши. Грипп – коварная штука.

Неприятно и самое главное – обидно: такие дни шумят за стенами общежития, столько событий. Вообще-то Санька с Митенькой достаточно точно освещали шахтную и даже рудничную жизнь. Но это была не сама жизнь, в которой чувствуешь себя так просторно, а потом поди угадай по рассказам товарищей, что главное, что второстепенное.

Вчера вечером пришел Санька и прямо ошеломил:

– Комбайн хомяковский будут испытывать!

«Комбайн? Ох и досада же! Ну что тут одни-ми расспросами узнаешь?» – Черепанов так и рванулся с кровати. Но Лукин только присвистнул и, проворно выскочив из комнаты, повернул ключ в замке.

«Разве это жизнь? Лежишь, солнышко по тебе ползает, в открытое окно весна рвется, на волю зовет: выйди, погляди, подыши, возьми что-нибудь в руки, поработай!»

Стучают секунды в больших настенных часах, поблескивает перламутром аккордеон на тумбочке – Данилов оставил. Черепанов вспоминает ночь на десятой шахте, Андрея Гуцу, Шуру и невольно смотрит на свою ладонь – к ней прикоснулась сильная теплая рука девушки.

Придвинув стул с радиоприемником, он долго и старательно крутит регулятор. Из репродуктора рвутся обрывки музыки, треск, drobный стук. А вот Москва. Что говорит Москва? Последние известия. Короткие рассказы о празднике буден, и о шахтерах есть, о Кузбассе: досрочно выполнен план пяти месяцев. Черепанов тоже приложился к этому рукам, и Данилов, и Митенька...

Митенька легок на помине. Принес обед и захопотал. А уж там, где он захопотал, все вверх дном. Борщ разлил, попытался отдернуть занавеску и оборвал шнур, полез привязать шнур, наступил на блюдце и раздавил. Устав от всего этого, вспомнил:

– Иду, понимаешь, мимо пятого корпуса, смотрю: Галина Афанасьевна голову вот так наклонила, а лицо белое-белое. Я говорю: «Здравствуйте, Галина Афанасьевна», а она поглядела на меня вот так, насквозь поглядела и спрашивает: «Как твоя фамилия, мальчик?» Это я – мальчик! – Митенька слегка выпятил грудь и, чтобы скрыть обиду, захохотал: – Понимаешь, я – мальчик!

Потом ему, очевидно, и вправду стало смешно, он захохотал громче и, наконец, упал на кровать, приговаривая:

– Понимаешь, мальчик?

– Ничего смешного, – остановил Черепанов. – Ты подумал о Галине Афанасьевне? Почему это она белая?

– Ну белая-белая.

– Вот видишь, как дитё, заладил одно. А причина какая? Может, случилось что на уклоне? Узнай непременно.

Не успели переговорить, как в дверь стукнули и вошла Аннушка. Не вошла, а вбежала. Митенька – так тот даже на всякий случай к окну попятился.

– Дома? – коротко выдохнула Аннушка. – Лежите! А на шахту... знамя везут!

И все. Сказала и сразу исчезла, как будто ее и не бывало.

Митенька посмотрел на бригадира. А когда тот стремительно вскочил на ноги, равнодушно спросил, больше для порядка:

– А режим?

– Что?

– Ну, этот... грипп?

– Помоги одеться! – почти выкрикнул Черепанов. – Грипп... Придумали издевательство над шахтером!

Официально не было объявлено, что ровно в четыре на шахту приезжает делегация прокопчан, но весть об этом еще с утра распространилась по всем участкам, цехам и общежитиям.

К трем у шахтоуправления стал собираться народ. Пожилые рассаживались на скамьях, на бетонных закраинах, фонтана, молодежь группами: толпилась на дорожках небольшого сквера. Отец и сын Вощины медленно прохаживались вокруг фонтана. Афанасий Петрович сосредоточенно слушал, как Григорий что-то, не торопясь, рассказывал. В толпе молодых шахтеров ораторствовал Митенька, – вид у него такой, словно он всю жизнь только тем и занимался, что проносил речи.

Подошел Данилов, озабоченно огляделся.

Аннушка тронула его за рукав.

– Что-нибудь случилось, Степан Георгиевич?

– Случилось... – Степан сердито отвернулся. – Ты не видела Рогова?

– Нет... – Ермолаева насторожилась: – А что?

– Я в двенадцать отыскал его на участке, письмо передал... Потом он исчез. Горе у него...

– Горе... – Глаза у Аннушки стали матерински глубокими, грустными. Она проговорила негромко: – Значит, он узнал обо всем.

– Узнал... – отозвался Степан. – Сама она ему написала... Так я теперь думаю. И думаю, что хорошо сделала. Только трудно ему переболеть этим, ох трудно! Я же знаю, Павел Гордеевич ни в чем половинок не терпит – ни в работе, ни... в этой... в любви, ни в горе. Помочь бы ему как-нибудь...

Степан, а за ним Аннушка оглянулись на толпы шахтеров, на белые здания «Капитальной».

Слышится несмолкаемый говор людей, часто и тяжело дышит компрессорная, гулко ударяют сигналы на главном подъеме: «На-гора». А над всем этим, над праздничным возбужденным говором, над рабочим дыханием шахты на ажурном копре плещется алое длинное полотнище флага. Степан сказал:

– Тяжело Павлу Гордеевичу, но он непременно пересилит это. Не первый год знаю его.

В это время поблизости старший Вошин окликнул:

– Герасим Петрович, куда же вы? Присоединяйтесь!

Па голос проходчика шахтеры оглянулись и увидели у конторских дверей Хомякова. Маркшейдер близоруко присмотрелся к собравшимся,

приветственно поднял руку и мелкими шажками приблизился к Вошину.

– Значит, пойдет наш кузбассовский шахтерский комбайн? – Афанасий Петрович внимательно, ободряюще заглянул в лицо Хомякова. – Ну, спасибо вам, инженер.

Хомяков смущенно переступил с ноги на ногу и развел руками.

– Дотягивать, товарищи, многое нужно, вот в чем дело.

– Было бы что дотягивать, – откликнулся Некрасов. – Только вы не падайте духом: раз машина сделана, работать ее заставим.

В разговор вступили еще несколько человек. Вспомнили дореволюционную шахтерскую старину, когда не только о комбайне – о простом решетчатом конвейере не мечтали.

– Что «вольная» шахтерская жизнь, что казенная каторга – разницы-то никакой не было, – хмуро заметил Вошин.

Солнце все ниже клонилось к западу, свет его словно бы притухал, а делегации из Прокопьевска все не было. Часть людей ушла на вторую смену, кое-кто тронулся по домам, торжественной встречи как будто не получилось.

В это время из-за угла конторы на рысях вывернулся Митенька и, взмахнув обеими руками, оповестил:

– Едут!

Толпа ожидавших на секунду притихла, потом дрогнула и, разрастаясь на ходу, тронулась навстречу гостям.

Первым из машины бойко выскочил старик Ходыкин, – тот, что увозил осенью знамя с «Капитальной», – а за ним вышли еще два делегата. Ходыкин торопливо поклонился и тут же, усмехнувшись, развел руками.

– Видите, хозяева, в какую должность определили к старости: увозил знамя, теперь привез, потом опять придется...

– Ишь ты! – перебил кто-то задорно. – Приткий! какой! С нынешнего дня должность твоя отменяется!

Поздоровались, разглядели друг друга, похвалили погоду. Ходыкин стал было рассказывать что-то о Прокопьевске, но Афанасий Петрович нетерпеливо кивнул:

– Давай-ка, товарищ, покороче. Где оно у вас?
Ходыкин понимающе присмотрелся к победителям, сгрудившимся вокруг машины, и сказал с веселой завистью:

– Это можно, раз так получилось...

Он подошел к машине и осторожно вытянул из кузова красное древко со знаменем в белом полотняном чехле, слегка приподнял его, так, чтобы все видели.

– Вот оно. Куда прикажете?

– Подожди-ка, товарищ Ходыкин, – остановил Вошин. – Ты прямо скажи: ваши ворошиловцы не опустили руки? Настроение не кислое?

Делегат вздернул седенький клинышек бороды.

– Это почему? Что знамя отдали?

– Об этом речь...

– Так ведь у нас народ скроен из того же материала, что и на «Капитальной»!

– Ладно, – согласился Афанасий Петрович, – только все равно, столько сил, как у нас, едва ли где сыщешь. А награду давай сюда, мы ей сами место найдем.

Оглянувшись, он жестом позвал Данилова и негромко, посреди общего почтительного молчания, сказал:

– Бери, Степан Георгиевич, ты из самых молодых и верных. Неси!

В глазах Степана метнулись жаркие искорки благодарности. Не торопясь сняв чехол, он распахнул над головой красное шелковое полотнище и, взглядом позвав за собой шахтеров, пошел в клуб.

ГЛАВА XLIII

Оставив Степана в штреке, Рогов вышел на-гора через запасный ходок. Приблизившись к устью уклона, совершенно неожиданно застал там Семена Стародубцева. Насилу сообразил, что Семен ведь является в некотором роде одним из трестовских руководителей по капитальному строительству, значит забрел в такую даль не случайно. Галя что-то горячо доказывала ему. Рогов услышал, как она несколько раз настойчиво повторила:

– Это возмутительно, товарищ Стародубцев! Возмутительно!

– А, сам начальник шахты пожаловал! – повернулся Семен к Рогову. – Здравствуй, Павел. Извини, не было времени предупредить о своем появлении. Услышал, что на уклоне было туговато, вот и решил заглянуть.

– Ты лучше делаешься, – заметил Рогов.

– Почему?

– Да вот услышал, на уклоне неблагополучно, и летишь сломя голову. Раньше этого за тобой не водилось.

Семен примирительно улыбнулся и обратился к Гале:

– А он все такой же колючий. Помню его вот уж десять лет таким.

– Не изменяюсь, грешен, – сознался Рогов.

– Кто из нас без греха, – согласился Стародубцев. – В грехах иной раз, как в репейниках...

Рогов выслушал Галя о положении в забое, о том, что дело теперь только за мелкими доделками.

– Ну, спасибо! – он еще раз оглядел верхнюю плиту и улыбнулся, заметив, как покраснело лицо Гали. – Спасибо, Галина Афанасьевна, от всей шахты. У меня гора с плеч... Теперь движнем уголек...

– Вот я и безработная, Павел Гордеевич, – сказала Галя. – Что ж мне теперь прикажете – брать направление в отдел кадров?

– Как это в отдел кадров? – удивился Рогов. – А два внутренних уклона кто будет пробивать? А новый скиповый ствол? Вы что, Галина Афанасьевна! – Он приблизил свое лицо к ней и, не обращая внимания на Стародубцева, заговорил вполголоса: – Понимаете, Галя, я был почти спокоен за уклон, потому что вы здесь. Вы отличный инженер... Давайте договоримся, что поработаем вместе еще очень долго! А?

– Очень долго?... – в глазах у Гали мелькнуло что-то похожее на испуг, но она тут же спокойно сказала: – Мне все равно, Павел Гордеевич, на какой шахте работать, но... лучше, если рядом с вами. Надежнее.

– Очень хорошо! – отозвался Рогов и, по привычке глядя в глаза то Вошиной, то Стародуб-

цеву, быстро заговорил: – Чтобы нас в следующий раз не давила вода, воспользуемся буросблочной машиной Могилевского. Понимаете? Нарезаем рудничный двор, ставим машину на нижней плите и... бьем вверх по угольной пачке! Тут вода не страшна будет.

Стародубцев скромно потупился, но сейчас же заметил:

– Вообще-то работа на буросблочной потребует филигранная: сечение скважины девяносто сантиметров, а угольная пачка всего метр двадцать – тридцать. Ошибка всего на одну десятую градуса... Это, знаете, немного напоминает игру: человек закрывает глаза, покрутит перед собой указательными пальцами, потом сводит их – сойдутся или нет? Так и здесь...

Рогов фыркнул:

– Хиромантия! Не от инженера бы слышать. Нам некогда крутить перед собой этими твоими пальцами. Слышите, Галина Афанасьевна: не принимать во внимание «предсказаний» Стародубцева! – Рогов улыбнулся. – А... помощью его мы воспользуемся.

Семен обратил все в шутку.

– Ты, Павел, не изменяешься, – вздохнул он. – Таким тебя люди и запоминают, даже те, с кем ты всего один-два раза встречался. Недавно в Новосибирске, беседуя с видным ученым, не успел я упомянуть о тебе, как он вдруг перебил меня: «Ах, позвольте, позвольте! Так я же знаю инженера Рогова, как же!»

– Что за ученый? – поллюбопытствовал Рогов.

– Скитский Василий Пантелеевич.

– Скитский? – Рогов кивнул. – Хороший мужик, светлый!

– Умный! – подхватил Семен. – Жалко, мало с ним пришлось побеседовать – дело ограничилось моим скудным докладом и несколькими его замечаниями. Знаешь ведь, как он занят? А тут еще, понимаешь, весну человек переживает, так что и здесь у него можно кое-чему поучиться... – Семен сделал шутливый полупоклон в сторону Гали и, тут же немигающе глядя в лицо Рогова, небрежно закончил: – Женится профессор Скитский на своей аспирантке... Евтюховой.

– Вот как... – без всякого выражения отметил Рогов, потом посмотрел на ручные часы, на Вошину.

Галя инстинктивно сжалась, словно на нее замахнулись. Ни разу она не видела у Рогова таких пустых, обмелевших глаз, словно в одно мгновение перегорела в них влажная синь.

Он сказал:

– Хорошо, Галина Афанасьевна, значит, мы... договорились. А теперь я пойду.

Семен сделал было шаг за ним, но Рогов только чиркнул по его лицу взглядом и пошел сквозь кусты напролом.

– Вот так, Галина Афанасьевна... – начал Стародубцев в замешательстве.

– Оставьте! – резко оборвала Галя. – Оставьте! Вы сейчас сказали Рогову... Как это стыдно!..

Она быстро обежала бурый породный отвал, спустилась в ложок, прямо по воде перебежала ручей и, хватаясь за кусты противоположного ската, взобралась наверх. Только ступила на тропинку, как впереди показался Рогов. Шел он обыкновенным своим размашистым шагом, только необычно беспокойно двигались его руки, то отстегивая все три петельки на фуфайке, то вновь застегивая. Вот он остановился у золотистой сосны, придерживая кепку, поглядел на ее вершину и снова пошел. А когда увидел Галю на тропе, ни одним движением не выдал удивления, словно ждал этого.

– Павел Гордеевич... – Галя посторонилась с тропы, давая ему возможность пройти. – Извините меня... но я хотела спросить...

– А спрашивать как раз и не нужно, – Рогов дружески сжал ей локоть. – Не нужно, Галя, спрашивать. Просто Стародубцев притронулся к тому, что очень болит. Спасибо, Галя.

И пошел в гору все таким же ровным размашистым шагом... В этот час с горки можно было беседовать и с весной, и со всем миром, если, конечно, тебе понятен многоголосый, разноязыкий говор апрельского полудня.

Круто, широкими петлями дорога поднимается к верховой рыжеватой седловине. На западном склоне почти нет леса – он дальше, за водоразделом. Изредка попадаются красно-

ватые кустики молодой березовой поросли да справа от дороги, над крутой каменистой осыпью, стоит одинокая мачтовая сосна, – стоит и задумчиво качает зелеными лапами веток, в дальнюю даль смотрит, словно и грустно ей, что еще одна весна мимо проходит, и легко, что под золотистой корой тронулись густые прохладные соки.

На одном из поворотов Рогов остановился, прищурившись от ярко-синего света, огляделся вокруг и, вдруг затаив дыхание, почти на носках подошел к невысокой годовалой березке и шагах в двух от нее остановился. Где-то здесь, – наступить можно, – опустилась маленькая пичужка. «Но где же она, неужели пешком ушла?» Рогов даже пригнулся, в нем внезапно пробудился давний мальчишеский азарт.

– Ха!.. – сказал он удивленно, когда у него из-под ног выпорхнула быстроскрылая птица и с тихими вскриками: «Чьи вы! Чьи вы!» закружилась вокруг. – Ах, вот что! – Рогов усмехнулся. – Вас интересует, чьи мы? Не беспокойтесь, мы свои, тутошние.

И, все еще смеясь над своим ребячеством, он присел на корточки и осторожно раздвинул кустики прошлогодней жухлой травы. В маленьком углублении лежало гнездо – круглое, аккуратное, с загнутыми внутрь краями, выстланное тонкими былинками и молочно-голубым растительным пухом. Опустил пальцы внутрь и как будто тепло почувствовал или показалось это, но сердцу действительно почему-то тепло стало. А над головой звенело все беспокойнее, все жалобнее; «Чьи вы?.. Чьи вы?..»

– Ну, ладно, ладно, – поднимаясь, примирительно говорит Рогов. – Что уж ты на самом деле? Неужели не понимаю?

В другом месте он присел на пенек, пощупал на солнечной стороне его шершавую кожу. Да, здесь по-настоящему тепло.

Тепло... Рогов сильно трет лоб, как будто стараясь вспомнить что-то трудное и давно-давно забытое:

«Ох, Валя, Валя!..»

Нашел в кармане помятый листок письма и, разгладив его на колене, стал читать заново, от слова до слова:

«Если бы я могла оградить тебя хотя бы от минутного горя... Павел! – писала Валя. – Я это могла бы сделать, но я ненавижу ложь. И ты, разве ты можешь...»

Нет, все не то!

В последнее время я очень часто бывала мыслями и душой с Василием Пантелеевичем Скитским. Я изо всех сил боролась против этого, но он как-то незаметно вошел в мою жизнь. Я приезжала сказать тебе это. Хочу, чтобы тебе стало легче, надеюсь на это, верю в тебя. Прости, Павел.

Валя».

Еще и еще раз перечитывает Рогов письмо, потом опускает его между коленями. «Ну разве так можно? – спрашивает он себя. – Разве можно, чтобы так трудно было?»

Потом он встает и снова начинает подниматься в гору. Дорога крутая, но сердце бьется уже спокойнее, мысли не мечутся, в голове ясно.

А вот и верховая седловина. Рогов выпрямился, медленно расстегнул фуфайку, снял кепку. О, как же далеко видно отсюда! Родимый край...

Внизу глубокая падь – Черная Тайжина, а чуть подымешь взгляд – видишь бесконечную гряду то желтоватых, то лесом укрытых гор. Прямо на востоке глаз еле различает далекое розовое полыхание вечных снегов на хребтах Алтая, на севере поднимается дымное облако над городом Сталинском.

А если бы подняться еще выше... Рогов на минуту закрывает глаза, потом снова всматривается в неоглядный весенний мир. Кузбасс! Но ведь это с лишком тысяча километров с юга на север, почти от Телецкого озера на Алтае, через поймы многочисленных горно-шорских рек, до Мариинской тайги у великой сибирской магистрали, вот он – Кузбасс!

Кузбасс, выросший, как рабочий, возмужавший, как солдат, чистый и строгий в своих простых одеждах...

Кузбасс – это шахты, заводы, электростанции, колхозные пашни. Кузбасс! Сколько же нужно прожить, не старея, не уставая, чтобы переде-

лать хотя бы часть твоей великой, твоей нужной работы! И сколько тепла необходимо освободить из твоих щедрых глубин!

Рогов смотрит на снежные хребты, обрамляющие южный Кузбасс с востока, потом делает такое широкое движение, как будто кладет ладонь на острое плечо одного из горных отрогов.

— Подожди, — говорит он тихо, — подожди немного, и до тебя доберемся, и в твои недра придем. А сейчас... просто рук не хватает, ничего не попишешь...

Свежим воздушным током со стороны Черной Тайжины донесло звонкий перестук топоров. Глянул вниз — словно на крыльях с горных высот спустился. В снегах и желтых проталинах, в темной зелени пирамидальных пихт, в вербном цветении кустарников падь Черная Тайжина до краев наполнена серебристо-синим светом.

Даже руками развел, так не хотелось отрываться от всего, что глаза видят.

А пора, нужно еще пройти к новым шурфам. Рогов оглядывается на северный склон, по которому поднимался, и вдруг видит, что по извилюстой тропе кто-то идет. Пристально всмотрелся и угадал Бондарчука. Парторг шел, широко махая руками, и по всему видать — торопился.

— Ты что ж это? — закричал он из-за кустов. — Ищу целый час, а он, извольте, разгуливает, Кузбассом любитесь!

— Правильно, люблюсь... — признался Рогов. — Жалел, что тебя не хватает рядом.

Бондарчук присел на соседний сухой бугорок, вытер вспотевшее лицо и устало передохнул.

— Уморился...

— А что случилось?

— Да ничего особенного... Знамя привезли прокопчане, тебя вот ищу — вот и все. Что могло случиться?

Потом им стало, очевидно, немного не по себе: сидят два взрослых человека друг против друга и в прятки играют. Рогов пригладил носком сапога кустик сухой травы и машинально вытащил коробку папирос.

Бондарчук смахнул пот с бровей и, внимательно глянув из-под ладони на товарища, спросил:

— Что-нибудь очень трудное?

— Очень. — Рогов подал конверт с письмом. — Почитай. Я не жалею, — это, чтобы ты понял.

Несколько минут Бондарчук читал и перечитывал письмо Евтюховой. Временами под глазами у него набегали морщинки. Потом он аккуратно свернул письмо вчетверо, вложил его в конверт и, ударив о ладонь, сказал:

— Понимаю. Тяжело. В таком деле трудно словами помочь... Но жизнь-то, Павел, ни на одну секунду остановки не сделала. Наша большущая жизнь!

— Я тоже над этим думаю... — отозвался Рогов.

— Думаешь!.. А ты это чувствуешь?

— Стараюсь... — Рогов улыбнулся и тряхнул головой. — Знаешь что, Виктор, пройдем к дальним шурфам. Беспокоит меня что-то монтаж подстанции.

— А на шахту?

— Так я же это еще и для того, чтоб соскучиться по ней.

Бондарчук поднялся.

— Тогда пойдем!

А где-то уже в пути Рогов осторожно спросил:

— А ты что искал-то меня? Сердце весть подает?

— Подает, конечно, — подтвердил Бондарчук. — Была у меня Галина Вощина, рассказала о своей встрече с Валентиной, о твоём разговоре со Стародубцевым...

— Ага... — Рогов невольно ускорил шаг.

Возвращались они уже в поздние сумерки. На одном из крутых поворотов тропы остановились. Бондарчук положил руку на плечо Рогова, слегка притянул его к себе.

Внизу по цепочкам и созвездиям огней угадывались линии рудничных улиц, контуры кварталов. В серебристых сумерках на противоположном скате не видно было домов, и оттого светлые квадратики окон казались вделанными прямо в гору.

Земля дремала. Над горизонтом неслышно ступала негасимая синеватая зорька, на севере, по ту сторону гор, полыхали зарева огней над городами и рудниками. Неподалеку в темных зарослях пихтача кричала птица-невидимка, и почему-то казалось, что дышит земля кузнечка — земля сильная, молодая.

Зинаида Волошина



Волошина Зинаида Ивановна (в девичестве Кукушкина) родилась 9 мая 1927 года в городе Кемерово. Была двенадцатым ребенком в семье Ивана Андреевича и Анны Васильевны Кукушкиных. В 1942 году окончила кемеровскую среднюю школу № 17 и поступила в Кемеровский горный техникум, где проучилась полтора года. В связи с гибелью трех старших братьев и смертью отца в ноябре 1943 года начала работать в редакции газеты «Кузбасс». В 1945 году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1947 году вышла замуж за писателя Александра Никитича Волошина. Родила троих детей: Владимира (умер в младенчестве), Павла (1950–2004) и Наталью (1953). С 1990 года живет в городе Костроме.

ВРЕМЯ ЛЮБВИ И НАДЕЖД

В 1942 году я окончила школу и поступила в Горный техникум. В то время в Кемерово не было высших учебных заведений, а только два техникума: строительный и горный.

Строительный был на левом берегу Томи, а Горный – на правом, в Рудничном районе. Мы жили на Подгорной улице. Это было очень далеко. Транспорта практически не было, если не считать товарного вагона, битком набитого пассажирами. Нужно было идти пешком от дома до техникума через Томь (моста тогда не было, зимой ходили по льду, летом – по понтонной переправе), а там еще почти до шахты «Северная».

Я проучилась полтора года, и пришлось по семейным обстоятельствам оставить учебу. 19 апреля 42-го года после того, как мы получили третью похоронку, отец умер от инфаркта. В это время мой брат Георгий (Гоша – младший из четырех братьев) был еще дома. Он окончил строительный техникум, но пошел работать на военный завод.

Во время войны в Кемерово из центральной России были эвакуированы заводы, работавшие на оборону. У брата была бронь, но после смерти отца он добровольцем ушел на фронт – мстить за отца и старших братьев. Мы остались без кормильца: я, мама и больная сестра. За троих погибших сыновей маме платили пенсию – 15 рублей. Жить было не на что, и в сорок третьем я пошла работать в типографию «Кузбасс». Тогда типография и редакция газеты были одним предприятием.

Сначала я работала в корректорской подчищицей (помощницей корректора), но там совсем мало платили, и я перешла в переплетный цех, где проработала почти год. Затем меня взяли секретарем в редакцию газеты. Там я проработала недолго и попросила перевести меня в маш-

бюро. Мне нравилось там – живая атмосфера редакции, интересные люди, чувство своей причастности к рождению газеты, послушная работа пишущей машинки.

Тогда в редакции было всего 7 кабинетов, с фанерными перегородками, на втором этаже типографии. А типография находилась на улице Сталина (потом переименованной в Ноградскую), сразу за деревянным зданием почтамта, перед кинотеатром «Москва».

Сотрудников было немного. Ответственным секретарем, когда я начинала работать, был Василий Иванович Целобанов, редактором – Арсен Арсенович Бабаянц. Основной костяк редакции сложился во время войны из журналистов, эвакуированных с оккупированных территорий.

Газета печатала материалы о жизни только что народившейся Кемеровской области, о трудовых подвигах шахтеров, кузнечных рабочих, сталеваров, о строительстве сибирского металлургического комбината.

Машбюро было строго привязано к работе главного редактора и его заместителя. Передовая статья писалась ими вечером, сдавалась в последнюю очередь. И дежурная машинистка не могла уйти, пока не перепечатает передовицу. Коллектив был небольшой, но дружный.

Шел 1946-й год. Стали возвращаться фронтовики-газетчики: Иван Балибалов, Николай Дубинин, Михаил Небогатов, Петр Рыжов, Юрий Баландин и другие. Вскоре по редакции пронесся слух, что в Новокузнецке появились два новых корреспондента: Александр Волошин и Николай Зеленин. Они как-то выделялись из всех районных и городских корреспондентов.

В это время в редакции начала формироваться литературная группа: Алексей Косарь, поэт, работал литсотрудником в отделе культуры; Таня Полозова, поэтесса, работала на Азотно-туковом заводе; Миша Небогатов, поэт, работал в промышленном отделе; Алексеев и другие сотрудники редакции. Во главе этой группы был Волошин. Еще до войны он, работая ответственным секретарем осинниковской городской газеты «За уголь», печатал свои рассказы. Первый опубликованный его рассказ назывался «Первая смена».

И вот однажды в очередной свой приезд – Волошин уже работал корреспондентом по Новокузнецку (тогда Сталинску) – он зашел в машбюро и почему-то не оставил свой материал на столике, а подсел ко мне и стал диктовать.

Я смутилась: он мне очень понравился. Можно сказать, я при первой же встрече влюбилась. Он предложил мне прогуляться после работы. Мы гуляли по набережной Томи, по старой набережной, еще не ухоженной, но по-своему романтической.

Не помню, о чем мы тогда говорили, но нам было хорошо вместе. Говорил, конечно, больше он, а я просто шла рядом и смотрела на него влюбленными глазами. Потом он проводил меня домой. С тех пор мы начали встречаться.

А как встречаться?.. Он в Новокузнецке, я – в Кемерово. Саша все чаще искал повод появиться в редакции, хотя в то время работали стенографистки и корреспонденты передавали информации через них. Если он диктовал им, непременно в конце разговора они приглашали меня к телефону, и мы общались.

Он все чаще стал появляться в редакции, и однажды Арсен Арсенович, редактор, ему сказал: «Я вас не вызывал». Он ответил: «А я без повода – повод есть». И повод, действительно, был. Ближайшим его другом в литературной группе, которая называлась «Литературная среда», был Николай Зеленин. Зеленину тоже захотелось меня проводить. Друзья тогда сильно поссорились, хотя совершенно напрасно. Саша, конечно, стал для меня самым главным человеком, он покорила меня своим мужским и человеческим обаянием. Рядом с ним другие поклонники безнадежно проигрывали.

И вот как-то осенью, помню, мне приносят записку. Кажется, пришел с запиской Алексей Косарь. В ней было написано: «Любимая, я сижу на вокзале, на чемодане, и жду тебя – забери меня. Если ты не придешь, я не знаю, что со мной будет».

Я, конечно, бросилась на вокзал и, действительно, увидела его, такого несчастного: сидит на деревянном чемоданчике...

Мы пошли ко мне домой. В это время уже вернулся из армии мой брат, женился. Я при-

вела Сашу домой, познакомила его с самыми близкими людьми – мамой Анной Васильевной и братом Гошей.

Саша попросился к нам квартирантом. Сказал, что не женат, показал паспорт. В нем не было штампа о браке.

Это было и так, и не так: он не сказал, что ушел от жены. Мама поверила ему, и он стал жить у нас. Я уступила ему свою кровать, а сама спала с мамой.

Потом уже выяснилось, что привело его на вокзал. Его жена в Новокузнецке подала заявление с жалобой на него в горком КПСС. Его вызвали и пригрозили исключить из партии. Тогда он и решил к ней не возвращаться. Это был сентябрь 1947 года, а 7 ноября мы сыграли скромную свадьбу.

Только через пятнадцать лет мы смогли зарегистрировать брак, так как разрешение на развод он так и не получил. Он пришел в наш дом с деревянным чемоданчиком, в котором были рубашка, пара кальсон и куча рукописей. После шумного скандала в горкоме, его уволили из редакции, и мы остались с одной моей зарплатой в 350 рублей. Невеликие тогда были деньги...

Но в это время он уже писал свой роман «Земля Кузнецкая». Это стало для него главным. Когда мы поженились, родные отдали нам маленькую комнату. В ней стояла кровать, столик и два стула. Он писал целыми сутками – у него все получалось. Иногда какие-то отрывочки удавалось отдать на радио. Утром я уходила на работу, а он был уже за столом, с чернильницей, ручкой и бумагой. Вскоре и мне пришлось оставить работу в редакции – все по той же причине. Я устроилась машинисткой в Облкинопрокат, который находился в кинотеатре «Москва».

В августе 48-го года у нас родился сын, но прожил только 25 дней и умер. Горе-горем, а надо было жить дальше. После смерти сына я ушла с работы, чтобы быстрее перепечатывать растущую рукопись романа.

Пишущей машинки у нас не было, и мы по вечерам ходили в радиокомитет: там Саша диктовал мне свои записи. Жили трудно, бедно, на случайные заработки, но были счастливы, не смотря ни на что. У нас был роман – и в прямом, и в переносном смысле.

К октябрю сорок восьмого года роман был закончен. Саша искал издательство, где можно было бы его опубликовать. В Кемерово не было книжного издательства, и он послал рукопись в Новосибирск, в журнал «Сибирские огни». Его редактором был Савва Елизарович Кожевников – светлая ему память!

Роман был одобрен на редколлегии, и Сашу вызвали в Новосибирск для работы с редактором. Мы поехали в Новосибирск. Но где было жить нам, практически нищим? К счастью, в Новосибирске нашлась двоюродная сестра Пелагеи Афанасьевны, Сашиной мамы. Мы ее звали тетя Поля. Она жила с мужем в небольшом уютном домике далеко от центра, за Каменкой. И сейчас вспоминаю с благодарностью этих милых людей, пригrevших нас той холодной сибирской зимой.

Помню, как сейчас, большую русскую печку, на которую я забиралась по вечерам, а Саша с дядей Колей садились рядом с печкой на пол, в рубахах и кальсонах, и вели душевные разговоры обо всем на свете, а потом с наслаждением пели песни. Мы опять ходили после рабочего дня в Новосибирский радиокомитет и там работали с рукописью: он диктовал, я печатала. Зима, холодно, а идти было далеко. Но нам было хорошо, ведь мы были вместе. Наконец рукопись была сдана, и мы вернулись в Кемерово.

В январе сорок девятого в Кемерово приехал из Москвы писатель Михаил Никитин. Он остановился в гостинице «Томь». Ему сказали, что вот, мол, у нас появился молодой начинающий писатель Волошин с романом «Земля Кузнецкая». Никитин заинтересовался и пригласил Сашу в гостиницу побеседовать.

Саша принес ему рукопись. Роман понравился, и Никитин попросил рукопись, чтобы показать ее в Москве, в журнале «Новый мир». Редактором «Нового мира» был Константин Симонов. Вскоре мы получили телеграмму от Симонова «Роман одобрен приезжайте Москву срочно». Конечно, Саша немедленно уехал в Москву.

Из Москвы он писал мне милые нежные письма, но чаще мы разговаривали по телефону. У нас-то телефона, конечно, не было. Я получила телеграмму: «Сегодня 10 часов Саша» – и

бежала к Женечке Харловой, жене моего погибшего на войне брата: она была уже директором издательства, и у нее был домашний телефон.

Мы обсуждали важные новости. Роман не был опубликован в «Новом мире», поскольку номер «Сибирских огней» был уже сверстан. Тогда Симонов во время встречи с Волошиным посоветовал опубликовать роман отдельной книгой в издательстве «Советский писатель» и пообещал дать рекомендацию.

В издательстве роман приняли и назначили редактором Бориса Николаевича Агапова, писателя, очеркиста, сценариста, бывшего в то время лауреатом уже двух сталинских премий. Предстояла большая работа.

Я и радовалась, и тосковала в разлуке. Но наша разлука была недолгой. В марте Саша прислал моему брату письмо, в котором слезно просил купить мне билет и отправить меня к нему. «А я потом отплачу вам сторицей», – писал он. И надо сказать, что и к брату моему, и к маме, этой тихой, заботливой женщине, принявшей его как сына, мой муж относился с благодарностью и любовью.

И вот я еду в Москву. Тогда из Кемерово в Москву раз в неделю ходил один вагон, который цепляли в Новосибирске к московскому составу. Вагон, в который брат купил мне билет, оказался особенным, класса люкс. Я предполагаю, что среди ехавших моих попутчиков были большие начальники. Так я оказалась в мягком вагоне и в роскошном двухместном купе.

Смутившись, я попросила проводника никого ко мне не подсаживать. Он так и сделал, но за эту просьбу я и поплатилась: проводник взял с меня доплату, оставив совсем без денег. Все трое суток дороги я могла позволить себе только чай. Долго-долго потом меня тошнило при виде чая.

Измученная голодом, я прибыла в Москву, с мечтой увидеть столицу и, наконец, поесть. И вот уже все мои попутчики-пассажиры вышли на перрон, а я сижу и не знаю, что мне делать. В кармане нет и пятак на метро.

Вдруг слышу, как проводник говорит: «А вам кого?» И голос Саши: «Здесь должна была приехать моя жена». Я вышла, а он уже спешит мне навстречу.

Увидев его, я так и ахнула: на нем зимнее полупальто «москвичка», зимняя шапка, а на дворе 8 апреля, тепло и ни одной снежинки. Он весь обросший, в болячках. От истощения и авитаминоза у него начался фурункулез. Сердце сжалось от жалости: таким я еще не видела моего красавца. Но, помню, первое, что я спросила: «У тебя есть что-нибудь поесть?» Он ответил: «Да, конечно!»

Мы спустились в метро, доехали до Охотного ряда, а потом на автобусе до площади Восстания. С площади повернули на улицу Воровского и через один дом свернули во двор Союза писателей. Там в подвале Саша снимал угол у дочери дворника.

Спускаемся в полуподвал: окна в подвале были на уровне тротуара. Совсем как в комнате булгаковского Мастера, только куда беднее. Проходим по темному коридору, и вот наши «апартаменты»: у входа в хозяйкину комнату отгороженный шкафом и тряпкой угол. За тряпкой – старый матрац с клопами, тумбочка и один стул. Вся эта роскошь стоила 300 рублей в месяц.

Саша достал из-под дивана чемодан, откуда извлек чекушку, батон и кусок колбасы. Так мы отпраздновали встречу. Мы опять были вместе, а значит – счастливы. И опять была напряженная работа над книгой, день и ночь.

Агапов правил рукопись, писал на полях замечания в течение недели, а Саша переписывал рукопись с исправлениями за одну ночь.

Была хроническая бессонница. Спать было не только некогда, но и практически невозможно. Во-первых, клопы заедали, а, во-вторых, над нашим матрацем висел звонок от входной двери. Ночные звонки случались часто, поскольку в соседней комнатке жила дочь хозяйки, особа, судя по всему, общительная и любвеобильная.

Пока мой муж работал, не поднимая головы, я, как могла, его лечила. Каждый вечер я смазывала нарывы и бинтовала. Хорошо помогли пивные дрожжи, которые я по совету хозяйки привезла в бидончике прямо с пивзавода.

Но жизнь без солнечного света и нормального питания, психологическое напряжение, связанное с непрерывной лихорадочной работой, давали себя знать: фурункулы проходили,

но появилась экзема. А тут еще незадача: я приехала 8 апреля, а 27-го апреля закончился срок паспорта, его необходимо было срочно менять. И, как назло, вечером явился участковый с проверкой документов. Мне было строго предписано обратиться в 24 часа.

Слава Богу, в Москве, в Столешниковом переулке, жила моя двоюродная сестра. Комнатка у нее была маленькая. О том, чтобы переехать туда вдвоем, нечего было и думать. Мне одной нашелся уголок: крохотный деревянный диванчик. Тело помещалось, а ноги висели. Я радовалась и этому – все-таки крыша над головой. Днем мы бывали вместе, а вечером, часов в десять, Саша провожал меня в Столешников.

В конце апреля, измученный, он обратился в Литературный фонд со справкой от врача и рекомендацией курортного лечения. К нашей огромной радости, ему выделили путевку в дом творчества «Голицино».

Второго мая, оставив мне немного денег на жизнь, он уехал. Часть из них я отдала сестре, а с остальными отправилась в Пассаж на Петровке, чтобы купить себе босоножки.

Май был солнечным и теплым, а я была любопытной, наивной и доверчивой девчонкой. В обувном отделе царил ажиотаж, какая-то женщина продавала красивые импортные босоножки. Вокруг нее собралась толпа. Мне очень захотелось посмотреть, а может быть, и купить красивую вещь.

Когда я оглянулась, удовлетворив любопытство, то увидела, что сумочка моя открыта и деньги украдены. Вечером по телефону (он звонил мне каждый вечер) я рассказала Саше о своей беде. Выслушал и только сказал: «Я так и знал, что ты пойдешь за покупками. Завтра приеду и привезу тебе деньги». Однако не приехал, а пригласил меня приехать к нему «на денек». Я подробно расспросила у сестры, как добраться в Голицино, и утром рано уже была на Белорусском вокзале.

Вот и Голицино – Дом творчества писателей. Это был небольшой двухэтажный особняк с застекленной верандой. Когда-то он принадлежал знаменитому в Москве владельцу крупнейшего частного театра Ф. А. Коршу. По наследству дом

достался внучке – Серафиме Ивановне Фонской, а она передала его Литфонду, став директором Дома творчества. Не могу поручиться за достоверность, но так мне тогда рассказывали историю этого замечательного места.

Высокая, дородная, с пучком седых волос, Серафима Ивановна была необыкновенно добра и приветлива. Мы прожили у нее счастливейшие четыре месяца и всю жизнь вспоминали ее с величайшей благодарностью.

Разыскивая сведения о ней, мы с дочерью нашли в «Новом мире» за 2010 год воспоминания Михаила Ардова, который бывал в Голицино у Серафимы Ивановны в пятидесятые годы. Он тоже отмечает особенную атмосферу домашнего тепла и заботы, которую сумела создать Серафима Ивановна. Он сравнивает тот Дом творчества с семейным пансионом. «Сам дом в Голицине был невелик, там одновременно проживали человек двенадцать. Завтракали и обедали все вместе за большим овальным столом. На нем почти всегда стояла ваза с цветами, об этом заботилась Серафима Ивановна», – пишет Ардов.

Я приехала рано утром. Все уже собрались на веранде к завтраку. Я открыла калитку и остановилась, смущенная. Вдруг Володя Замятин (имя я узнала позже) вышел на крылечко и спрашивает: «Это к кому же такая девочка?» И слышу Сашин голос: «Это моя жена».

Мы поднялись на второй этаж в его комнату, такую уютную, чистенькую. После наших московских углов это был рай: настоящий письменный стол с настольной лампой, большая кровать, шкаф и даже тумбочка для чемодана. Мы позавтракали в номере. Его завтрака нам вполне хватило на двоих. Как мне не хотелось уезжать отсюда! А ему меня отпускать. Наконец, решившись, Саша пошел поговорить с Серафимой Ивановной и вернулся радостный. Она разрешила мне остаться. Это было против правил, с женами не принято было являться, но для нас было сделано исключение.

Сашу Серафима Ивановна называла «мой сибирик» и относилась к нам с особенной симпатией. Потом, когда мы бывали в Москве, то обязательно ездили в Голицино повидаться с Серафимой Ивановной.

Сохранилась фотография, сделанная в 1954 году, когда Саша приезжал в Голицино один. На ней милейшая Серафима Ивановна в белом халате поверх платья, как она обычно одевалась, в окружении своих подопечных. В центре группы – Николай Николаевич Гусев, известный литературовед, бывший некоторое время личным секретарем Льва Толстого.

Надо сказать, что общество голицинское было замечательно. Одновременно с нами тогда там «отдыхали», то есть работали в очень благоприятной обстановке, и уже известные, и только ступившие на творческую стезю писатели и поэты: Иван Стаднюк, Константин Седых, Евгений Долматовский, Ярослав Смеляков, Михаил Луконин, Елена Благинина, Виталий Закруткин, Александр Казанцев и Владимир Немцов (оба писатели-фантасты). Фантастически интересные люди, со многими из которых сложились дружеские отношения на долгие годы.

Между тем работа с редактором подвигалась к концу. Саша почти каждый день ездил в издательство, и, наконец, в конце августа, рукопись была сдана в производство. Золотой московской осенью, в сентябре, мы уезжали из Голицино. Заканчивалась самая трудная пора нашей жизни (так нам казалось) – время больших надежд.

В Кемерово нам пришлось остановиться в гостинице «Томь». Жить было негде: дом на Подгорной был разделен на две половины, в одной жила моя сестра с двумя детьми, в другой – мама с семьей брата. Саша получил в издательстве аванс, и мы могли оплатить проживание в гостинице. Но через месяц надо было платить уже по двойному тарифу.

Алексей Косарь предложил нам временно пожить у него, и мы переехали в одну из комнат его квартиры на Притомской набережной.

В декабре 1949 года «Земля Кузнецкая» вышла из печати в издательстве «Советский писатель». Саша был опять в Москве, а я ждала его и еще одного человечка, который совсем скоро должен был появиться на свет (наш сын Павлуша родился 11 января 1950-го года).

В самом конце декабря я получила телеграмму: «Новый год будем встречать вместе».

Он был счастлив, окрылен успехом и торопился домой, хотя дома у нас еще не было.

В Новосибирске, куда он прилетел самолетом, выяснилось, что поезд на Кемерово уже ушел. И тогда вместе с еще одним кемеровчанином – Грибовских – они уговорили машиниста грузового состава взять их с собой на паровоз.

В два часа ночи раздался стук в дверь: на пороге стоял мой муж с двумя чемоданами, веселый и бодрый – как будто не было долгой дороги с приключениями. Один чемодан был полон книг, а другой – апельсинов и лимонов. Роскошь в те времена! Так мы встретили новый 1950-й год.

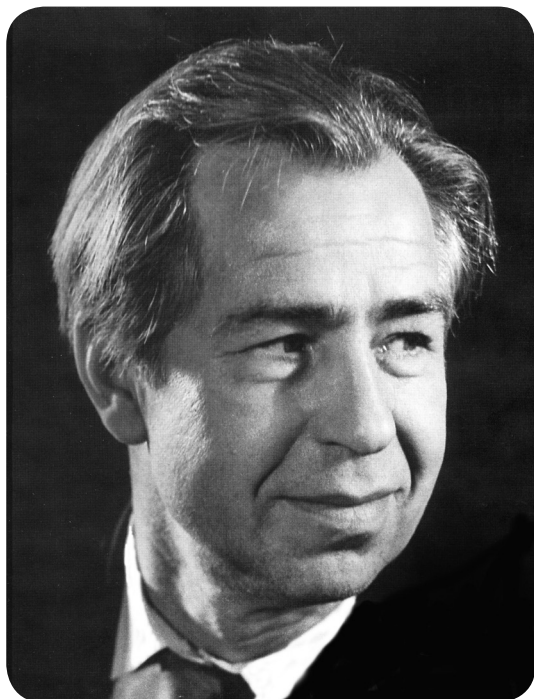
Вскоре после приезда кто-то из хороших знакомых позвонил Саше из Москвы (кажется, Ярослав Смеляков) и сказал, что Сталин одобрил отозвался о «Земле Кузнецкой»: появился молодой писатель-сибиряк, хорошо написавший о шахтерах. Роман выдвигается на премию.

Указ о присуждении премий по литературе должен был быть зачитан по радио восьмого марта. Саша мне ничего не сказал, но пошел и купил в комиссионном магазине старый радиоприемник «Нива». Я не придавала этому особого значения, потому что в феврале мы получили квартиру на улице Ермака и начали в ней обустраиваться. Купили письменный стол, книжный шкаф, буфет. Кстати, одной из наших самых первых и дорогих покупок была пишущая машинка «Рейнметалл». Она хорошо послужила почти тридцать лет и до сих пор хранится в нашей семье.

Вечерами мы стали слушать радио, и Саша порой засиживался около него до поздней ночи.

Ночью с восьмого на девятое марта он разбудил меня и сказал, что его назвали в числе писателей-лауреатов Сталинской премии. Новость мгновенно облетела город, и, не дожидаясь утра, в дом стали приходить гости: друзья, родственники, просто знакомые. Двери дома не закрывались. Саша радовался, как ребенок, был добр и щедр. К нему всегда тянулись люди. Теперь же вокруг нас было море друзей и поклонников его таланта. Никому и ни в чем не было отказа. Это была слава, ставшая большим жизненным испытанием.

Василий Федоров



Федоров Василий Дмитриевич (1918–1984) – русский советский поэт, автор многих книг. Лауреат Государственных премий СССР (1979) и РСФСР (1968). Награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Член Союза писателей СССР. Именем Василия Федорова названы Кемеровская областная научная библиотека и премия Кемеровской области, которой награждаются поэты за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Кузбасса. На родине поэта, в селе Марьевка Яйского района, открыт литературно-мемориальный музей. С 1985 года проводятся литературные праздники – «Федоровские чтения», посвященные поэту.

Поэзия

По главной сути

* * *

По главной сути
Жизнь проста:
Ее уста...
Его уста...

Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнет ко груди.

Весь смысл ее
И мудр и прост,
Как стебелька
Весенний рост.

А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?

То всё ошибки,
Всё накладки
И заблуждения
Веков.

А жизни суть,
Она проста:
Ее уста,
Его уста...

* * *

Как в чаще,
В юности тревожной,
Не глядя слишком далеко,
О жизни думается сложно,
А совершается легко.

Зато теперь,
Как в старой роще,
Просторней стало и видней.
О жизни думается проще,
А совершается трудней.

Ландыши

Ларе

Девочка кричала
В толпе шумливой:
– Ландыши! Ландыши! –
Взял букетик, подал любимой.
– На! Дыши!

Залюбовалась букетом белесым,
Лучшим из моих подношений.
– Пахнут, – сказала, –
И лугом, и лесом,
И холодком
Наших с тобой отношений.

Я об этом подумал тоже
И, подумав, взгрустнул от души.
А девочка кричала,
Кричала проходим:
– Ландыши! Ландыши!

Любка-любочка

Утром – Любкой,
Ночью – Любочкой...
Отряхнув с души золу,
С виноватою улыбкой
Проходила по селу.

Шла неспешно,
Будто с ведрами,
Выводя за шагом шаг,
И покачивала бедрами
По привычке,
Просто так.

Обзывали Любку шлюхою
Злые женщины порой.
Начинали слово буквою
Из алфавита второй.

Мужики с недоброй шуточкой
Свой дневной вершили суд.
Шла и знала:
Ночью Любочкой,
Утром Любкой назовут...

Шла отпетая, небрежная,
Под лузгу недобрых ляс,
Всю себя, нахально грешную,
Выставляла
Напоказ.

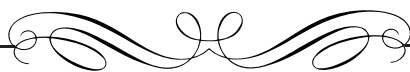
Отметая ночи ложные,
На меже вблизи села,
На другие непохожая
Ночь у Любочки была.

В играх звездного свечения,
С перепевом петухов
Ночь любви и очищения
Ото всех былых грехов.

Ночь, не сделавшая просева,
Ночь, не вспомнившая зла.
Ничего с души не сбросила,
Все с собою понесла.

Тихо, полная смирения,
Понесла в рассветный дым
Новое сердцебиение
Рядом,
Рядом со своим.

Сын приспел.
Нужны и метрики.
Вот, припав теплом к теплу,
С белым ситцевым конвертиком
Мать ступала по селу.



Мать ступала.
В знак прощения
Приподняли старики
Троеперстно, как крещение,
Лаковые козырьки.

Мать ступала.
И глумливые
Смолкли бабы у дверей,
Даже самые ревнивые
Стали к Любочке добрей.

Эти добрые и дружные
В мальчике
Из доброты
Все простили б,
Даже мужние,
Даже мужние черты...

Шла,
Впервые некоримая,
И несла, забывши все,
На судах неоспоримое
Оправдание свое.

* * *

Мой знакомый,
Захмелевши, тужит:
Говорит,
Что человек
Стал хуже.

Говорит,
Что против жизни прежней,
Той, еще не брошенной в разбег,
Человек стал
Несравненно грешней,
Стал порочней
Новый человек.

Морщась,
Заключает он устало:

– Страха божьего
В душе не стало.

Страх ему?!
Да пропади он прахом!
Средь людей,
Не знающих оков,
Праведность,
Внушаемая страхом,
Во сто крат
Позорнее грехов.

Так легко
Дойди до разделенья:
Бог – одним,
Другим – товарищ Ленин.

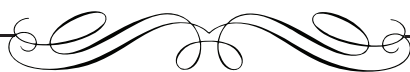
А ведь помню,
До большой удачи
В службе,
В дружбе
И в других делах,
До машины,
До богатой дачи
Был ему не нужен
Божий страх.

Видно, хочет он,
Чтоб божьи страхи
Выполняли роль
Цепной собаки.

* * *

Когда влюбляются титаны,
То начинаются раздоры, –
Они волнуют океаны
И рушат каменные горы.

Они, глашатаи эпохи,
Дерзнувшие попрасть законы, –
Вздыхнут, и пагубные вздохи
Опасны людям, как циклоны.



Бывает –
Падают титаны,
Но долго не смолкает слава:
Их раны – дымные вулканы,
А кровь их – огненная лава.

Красивым

Люблю красивых...
Жизнь их,
Быт их,
Глаза,
Улыбку,
Добрый смех
Воспринимаю как открытые
Наиглавнейшее из всех.

В них все:
И ум,
И обаянье,
И гордый жест,
И поступь их –
Мне явится как оправданье
Всех мук моих,
Всех слез моих.

Зачем прекрасными чертами
Так полно каждый наделен?
Красивые,
Они за нами
Пришли
Из будущих времен.

* * *

Отдам народу
Сердце,
Руки,
Но только пусть не говорят,
Что я слуга народа...
Слуги
Всегда с хозяином хитрят.

* * *

Ни в благодушии ленивом,
Ни в блеске славы,
Ни в тени –
Поэт не может быть счастливым
В тревожные для мира дни.

Беря пророческую лиру,
Одно он помнит
Из всего,
Что все несовершенство мира
Лежит на совести его.

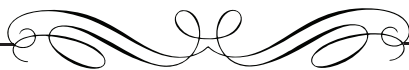
* * *

Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займет их враг,
Займет, сводя все те же счета,
Займет, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

* * *

Долго
Поклонявшийся железу,
Сделавшийся пасмурней
И злей,
К людям не тянусь,
Тянусь я к лесу.
Мне в лесу
Отрадней и теплей.

Что-то чувствую
В себе больное...
Может быть, порывисто дыша,
Обо все железное, стальное
Иступилась чуткая душа.



Люди – судьи.
Что мне пользы в судьях?
А в лесу, повеселев умом,
Буду снова думать я о людях,
О любимой,
О себе самом.

Веруя,
Что путь еще не пройден,
Сяду в затененном уголке.
Стану свою душу на природе
Править,
Как на вечном оселке.

* * *

Мы спорили
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца:
– Я за искусство левое. А ты?
– За левое...
Но не левее сердца.

* * *

Наше время такое:
Живем от борьбы
До борьбы.
Мы не знаем покоя, –
То в поту,
То в крови наши лбы.

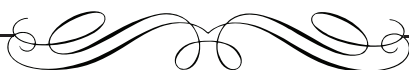
Ну, а если
Нам до ста
Не придется дожить,
Значит, было не просто
В мире
Первыми быть.

* * *

Любовь мне –
Как блистание
Звезды над миром зла.
Любовь мне –
Как признание
На добрые дела.

Чтоб мир
Отмылся дочиста,
Душа тревогу бьет.
Любовь мне –
Как пророчество,
Зовущее вперед.

Любовь –
Как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я, может быть,
Единственный,
Умеющий любить.



Евгений Буравлев



Буравлев Евгений Сергеевич (1921–1974) – русский советский поэт, автор многих книг. В 1940 году окончил Иркутское военное авиационно-техническое училище Военно-воздушных сил РККА в звании военного техника 2-го ранга. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном, Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Стихи стал публиковать в 1950-е годы в альманахе «Енисей», в журнале «Сибирские огни». В 1961 году окончил Литературный институт имени М. Горького и принят в Союз писателей СССР. Основатель Кемеровской областной организации Союза писателей.

Биография начиналась так

* * *

Моим ровесникам

Биография начиналась так:
В небе рвался багряный флаг,
Возвращались с гражданской бойцы –
Наши будущие отцы.
Нас рожали в голодный год,
Лишь бы только продолжить род.
Нас выхаживали с рожка –
Были матери без молока...
А потом у знамен отцов
Мы клялись не упасть в грязь лицом...
Биография начиналась так:
В день по восемь, по десять атак.
Биография начиналась так:
Со взрывчаткой бросались под танк,
А потом – медаль за Берлин.
А потом – цеха, корабли,
Новостройки в рабочих лесах,
Ветер поисков – в паруса...
Биография начиналась так:
Был рабочим столом верстак.
А потом – из житейских былин
Книжки тоненькой первый блин.
Мы писали стихи не для тех,
Кто живет только ради утех,
Ради модных штиблет и рубак
И усмешечки на губах.
Пусть у нас ни двора, ни кола –
Лишь бы Родина вечно жила,
Лишь бы в сердце – завет отцов,
Лишь бы встречный ветер – в лицо.
...И до самых седых волос
Мы работали на износ,
Не отсиживались в кустах:
Биография начиналась так!

* * *

Я не пишу о войне:
Трудно писать о войне.
А уж кому, как не мне,
Строчку не бросить на круг?
Летчику и стрелку,
Саперу и взрывнику,
Взводному в энском полку
Есть что сказать, мой друг.

Только не до строки
Там, где легли полки,
Там, где взята вштыки
Последняя высота.
Не срифмовать мне, друг,
Оторванных ног и рук,
Не срифмовать всех мук
И всех оставшихся там...

Хотя идти на редут –
Это ведь тоже труд.
Страшный, но все-таки труд –
Ради жизни, мой друг.
Смерти самой вопреки
Безусые пареньки
Бросали вместо строки
Сами себя на круг.

Но умели молчать
Там, где нельзя кричать,
И попадали в печать
Только посмертно, мой друг.

* * *

А вы смогли б, свободно, просто,
Без дани веяньям времен,
Свои стихи прочесть с помоста,
Где Стенька Разин был казнен?

Ведь вы ж могли, взойдя на площадь,
Что занял глыбища-поэт.
А здесь – подавно. Здесь же проще.
Здесь даже памятника нет!

Смогли б такие, чтоб от сердца –
От первой строчки до конца, –
Чтоб обратить в единоверцев
На всей святой Руси сердца?

Такие, чтобы не в угоду
Ни тем, кто судьбами вершил,
Ни тем, кто в трудный час народа
Лишь под ногами мельтешил?

Смогли б?... Добро. Но прежде
взвесьте,
Достанет ли ума и сил:
Ведь это здесь, на этом месте –
Начало правды на Руси.

Здесь в честь побед салютовали,
Скорбели в годы тяжких бед,
И здесь же тех четвертовали,
Кто был предвестником побед.

Ну, кто из вас предельно честен?
Готов ли он, как на суду,
Прочесть стихи на лобном месте,
У всей России на виду?

* * *

Кто вас выдумал, острова,
С птицей-иволгой, с ягодой кислицей,
Где Наташка-сорвиголова
Робинзоном любила числиться?

Ей, бывало, ни в чем не перечь –
Берегись языка ее острого.
Если даже заходит речь
О ее спасении с острова.

Говорила: «Мои острова!» –
Хоть, чем кончится все, знала загодя:
Расправлялись мы с нею сперва,
А потом приступали к ягоде.

Но однажды как-то весной,
Босоногая, в ситцевом платице,
Поделилась тайной со мной:
«Робинзону скучно без Пятницы...»

И, от счастья на волосок,
Я признал острова Робинзоньими,
И до зорьки, уткнувшись в песок,
Наши лодки лежали вверх доньями...

Ну, а нынче вы, острова,
Неужели необитаемы?
В рост смородинник, в пояс трава,
Да черемушник с птичьими стаями.

Вот и берег. Дробинки воды
Держат ветви листьями-ладонями.
Хода нет! – на песке следы,
И две лодки лежат кверху доньями.

* * *

Не скупись никогда на улыбку,
на шутку, на доброе слово.
Не стесняйся быть щедрым
в дружбе, в любви.
Даже если ошибся товарищ –
не спеши обойтись с ним сурово;
даже если с любимой размолвка –
прости, позови.
Не скрывай никогда
ни своей доброты,
ни любви своей к людям –
ведь они в них нуждаются так же, как ты.
От того, что глаза чьи-то станут
теплее, доверчивей, чище – тебя не
убудет.
Может, в мире как раз не хватает
твоей доброты.

* * *

Люблю осенние цветы.
Зазимки, ветры их ломали.

Но, первозданны и чисты,
Они цветут, как будто в мае.
Живут, и, кажется, вокруг
Все рядом с ними оживает,
В пожухлых листьях вспыхнет вдруг
По-майски радуга живая;
И блеск печальных паутин
На миг покажется росой,
И хмель, обвивший старый тын, –
Твоей девчоночьей косою.
И запоздалая оса
Трезвонит в колокольчик синий,
И, кажется, твои глаза
Ромашки на меня скосили...
Люблю осенние цветы
За отрешенное цветенье
Неброской грустной красоты.
В них – прожитой весны виденье
И ты, вся солнечная, ты...

* * *

Когда бы не были поэты
(Своей лишь заняты судьбой)
Душой, локатором планеты,
Ее сигнальною трубой –
На кой бы черт сдались, простите,
Со всею музыкой они,
В которой, как там ни ищите, –
Самоанализы одни?
Таких поэтов мало ныне.
Их жизнь сама сведет на нет.
Но судят «критики» иные
Нас по законам прежних лет.
Находят в строчках, опаленных
Огнем волнений вселюдских,
Намек то на богов районных,
То на всевышних городских,
И так и эдак попримерят,
И – убеждай не убеждай –
Строке болящей не поверят:
Ты пободрее строчку дай!...
Откуда знать им, как ранима

Любой бедою, ложью, злом
Душа поэта-гражданина,
Как негодует совесть в нем!
Откуда знать им, что немногим
Дано пророков ремесло,
Чтоб протрубить сигнал тревоги,
Едва затлеет где-то зло?

* * *

Тебе всей родней напророчен
С пеленок орлиный полет,
А жизнь лишь подсобным рабочим
Тебя для начала берет.
И вот ты весь день на «подхвате» –
Подай, пособи, поднеси, –
И вот ты приставлен к лопате,
Заместо мотора в сто сил.

Случится работа – до пота.
Осилишь – чудно самому.
А все вроде так – не работа –
Ни сердцу не дать, ни уму.
Случится – иная работа
Вначале захватит, а там:
«Да ну ее, – скажешь, – в болото!» –
И кончишь с грехом пополам.

Но вот невзначай, ненароком,
К примеру, ты взял мастерок –
И словно дремавший до срока
Ударит в крыло ветерок,
Еще не родивший полета,
Но властно зовущий: «Пора!»
И ты загорись: «Работы!
Работы, товарищ прораб!»

И станут земными те боги,
И мастер Федот, и Кузьмич,
Которым ты кланялся в ноги,
Весь день подавая кирпич.
И скажет из новеньких кто-то:

– Видать по полету орла! ...
Эх, мне бы такую работу,
Чтоб за душу прямо брала!

* * *

Его не назначают,
Как с прочими бывает.
Его сама бригада
На должность выбирает.
Ему по доброй воле
Вверяют люди судьбы,
И если он ошибся, –
Они ему и судьи.
Зато не облачают
Они любого кряду
Высоким полномочьем –
Доверием бригады.
И зря иной кичится
Чинами и мундиром:
Кто не был бригадиром –
Тот не был командиром.

* * *

У рыжей молоденькой матки-косули
Безмерная радость – родился телок.
А утром – в стволы свинцовые пули –
Пришел человек на охоту в тот лог.
Обильные росы упали – примета:
В долине Казыра, в долине Бельсу
Большой травостой обещает лето –
Самое важное для косуль...
Но что ему травы! Его беспокоит
Следы по росе, что ведут вдоль реки.
И, выследив матку у водопоя,
Он хладнокровно спустил курки...
Она упала сперва на колени,
Уткнувшись мордой в сырой песок.
Застыли глаза в немом удивленье:
Откуда красной смородины сок?
Еще не осень – и вроде бы рано,
И слаб, совсем еще слаб телок...

А кровь все хлещет и хлещет из раны,
И черный дым весь лог заволок.
Потом, тяжелея, свалилась на бок –
И стала розовой вдруг река...
А он все не шел и заботился: «Надо б
Прихватить и ее телка».
А он все искал: «Упрятала подлого!...»
А он, не видя предсмертной тоски
В глазах косули,
Мечтал, как о подвиге,
О том, как бросит две шкуры под ноги,
Как будет обжаривать мяса куски.

* * *

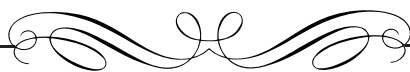
Как на шестой гряде от бани,
В Таежке либо на Терси,
Не избалованы вниманьем
Растут поэты на Руси.
Растут, как листья самосада,
И до поры – о них молчок.
Потом, когда пожухнут гряды,
Народ отметит: «Крепачок!»
И сколько раз минутой тяжкой,
Когда несладко мужикам,
Пойдет последнею затяжкой
По кругу крепкая строка.
Пойдет, как взводный тот окурок
Перед решительным броском.
...Ну, а покамест на смех курам
Торчат за баней лопушком.
Иной и двинул бы в столицу,
Но пораскинет наперед,
Что там ему не прокормиться,
А тут – картошка, огород.
Иной, махнув на все рукою,
Рискнет – и бьется на юру,
И письма шлет, и пьет с тоскою:
Мол, не пришелся ко двору...
И все же нового Кольцова
Откроют новые друзья.
А он в Таежке окольцован –
Его закрыть уже нельзя.

Баллада о сапёре

Долго по следу сапера
Крадучись смерть ходила,
Не затевала спора –
Все до поры щадила, –
Только дышала рядом
Стужей мгновений длинных
То над фугасным зарядом,
То на полях на минных,
Сердцем толовой шашки,
Черным зрачком запала,
Неосторожной промашки
От него ожидала.
А он обходил ее мимо,
К трудной привык работе:
Мина ему – не мина, –
Прокладывал путь пехоте...
Хватился только в Берлине,
Что на висках уже иней.
А было всего в ту пору
Двадцать четыре саперу...

Давно те дни отшумели,
И в прошлом году сынишке
Мать из отцовской шинели
Выкроила пальтишко.
Редко о первой бомбежке,
О том, как он нюхал порох,
Рассказывал сыну Лешке
Взрывник Никодим Егоров.
Новых дорог немало
Прошел он под гром аммонала,
И мирно ему служила
Взрывчатки страшная сила.

Он речек менял течение,
Ровнял с берегами горы.
Вставили за ним селенья,
Рождался шахтерский город.
Ни отдыха, ни привала –



Спешил туда, где синели
Невзятые перевалы,
Непройденные туннели.
Спешил, как будто боялся:
Останется сыну работа.
И к ночи в барак возвращался,
Оглохший и мокрый от пота.

Но было такое место:
Вздыхались скалы отвесно,
На речке, что билась справа, –
Временная переправа.
Замерло все на стройке
В ожидании взрыва.
Только кедровки да сойки
Звенели за дальней гривой,
Только, прощаясь с летом,
Солнце пекло нестерпимо...
Но я не думал об этом,
Встретив тогда Никодима.
Кострами багряных нарядов
Не волновала осень –
Из десяти зарядов
Сработало только восемь...
А за спиной – переправа:
Люди, рельсы и шпалы.
Только он имел право
Снова сменить запалы.

Внешне спокоен, беспечен
Перед свершением трудным,
Шагнул он к дымящимся грудам,
Расправив саженные плечи:
– Посторонись, пехота!
Побереги здоровье! –
И только капельки пота
Застряли над самой бровью.
Только стиснул мне руку
В жаркой своей ладони:
)– Если чего... Как другу...
Поприсмотри за Леней...

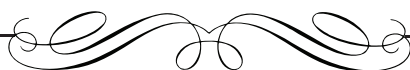
Напрасно к обеду Лешка
Принес узелок нехитрый –
Краюшку хлеба, картошки
И молока пол-литра.
С заломленными руками
Упала навзничь береза,
Казалось, что даже камни
Точили украдкой слезы.

И кто-то из старых путейцев,
Пропахший от шпал креозотом,
Вспомнил, как рота гвардейцев
Рвалась за Матросовым к дзоту...
Все было сурово и просто,
Как все, что связано с боем.
Но долго еще подросток
Сладить не мог с собою.
Тяжелое
Человечье
Горе,
Как камня глыба,
Легло на мальчишечьи плечи
На сотой версте Южсиба...

И если случится –
Мимо
Промчит тебя скорый поезд, –
Поклонись ему в пояс –
Взрывнику Никодиму.

* * *

Чем дальше ты, тем горестней стихи,
Острее мысли, обнаженной чувства.
Ясней, что в жизни – суть, что – пустяки.
Понятнее, где мели и где русла...
Как беспристрастный критик и судья,
Дотошный весовщик золотоскупки,
Вплоть до песчинки взвешиваю я
Все прежние поступки и проступки.
И удивляюсь: боже, как щедры
Мы были на взаимные ошибки



И как скупы на редкие дары
Взаимно всепрощающей улыбки.
Смешно и больно: из-за мелочей,
Из-за обид нелепых и наветов
Каких и скольких – не сочтешь – ночей
Лишились мы в одно лишь это лето!...
Чем дальше ты, тем дольше нет тебя,
Тем чище на душе, светлей тревога,
И журавли осенние трубят –
Зовут в неотвратимую дорогу.

Машинист

В. Баянову

Мелькают пихты и березы,
Черемух вьется снежный дым
И за окошком тепловоза
Бураном кажется густым.
А вот, за выемкой горбатой,
В ложок сбежавши босиком,
В сережках с головы до пяток
Стоит талинка с топольком.
Вот – за мостом – еще мосточек,
А вон – девчонка над ручьем
Сигналит нам, сорвав платочек,
Об одиночестве своем.
А вон, мыча под стук колесный,
Телята сбились вдруг гуртом,
И пастушок, сбивая росы,
Беззвучно щелкает кнутом.
Но машинист, должно, привык их
Не замечать давным-давно, –
Колотится состав на стыках.
Вминает шпалы в полотно.
Оно и верно, что с годами
Так перегон освоил он,
Что знал с закрытыми глазами,
Где – на подъеме, где – под уклон,
В каком часу на переезде
Заступит дед Матвей с рожком,

Когда рысак по кличке Резвый
Подтащит фляги с молоком;
Знал распорядок околотка
Весь по минутам наперед –
Когда обходчика молодка
С пустыми по воду пойдет,
Когда уставшие путейцы
В тени под клеткой старых шпал
С едой расстелют полотенца
И после рухнут наповал...
И все ж к дороге не привыкнуть,
Она – как жизнь: хоть век езжай,
А для раздумий, если вникнуть,
Дает все время урожай.
Вот, чин по чину сдавши смену
И отобедав, машинист
Перед собою непременно
Кладет бумаги чистый лист.
Вот беломориной попышет.
Да так, что дым столбом в дому,
И крупным почерком запишет
Все, что пригрезилось ему.
Не поспешу к нему с расспросом,
Но удержаться не могу:
Я знаю – будет там о росах,
О тальниках на берегу,
О давнем детстве, о молодке,
Что старый муж не уберег,
О легкой девичьей походке
И про глухой варначий лог...
Строка к строке – как, срезав лозы,
Плели корзины старики.
Но ни строки про тепловозы,
Про машиниста – ни строки.
Все будет – чибис, что пытается:
«Мол, чьи вы, чьей земли сыны?»
И сок березы, что питает
Мальчишек силами весны,
И просто так – о небе синем,
О том, как свищет соловей, –
А как прочтешь – все о России,
О светлой Родине моей.

Михаил Небогатов



Небогатов Михаил Александрович (1921–1990) – русский советский поэт, автор многих книг. Участник Великой Отечественной войны. Демобилизовался в 1943 году после тяжелого ранения. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Стоял у истоков Кемеровской областной писательской организации. Оказывал большую помощь начинающим литераторам области. Многие годы вел раздел «Факультет молодого литератора» на страницах областной газеты «Комсомолец Кузбасса». Был редактором Кемеровского книжного издательства. Член Союза писателей СССР.

Поэзия

Красота земли родной

* * *

Читатель! Друг мой неизвестный!
Ты стал судьей в моей судьбе.
Едва рождается в сердце песня –
Я вспоминаю о тебе.

Такой, как есть, всегда со мною
Сидишь ты рядом за столом:
С открытой, щедрою душою,
С живым, бесхитростным умом.

С любовью к людям, с вечной жаждой
Работы, нового всего...
Тебе служу я строчкой каждой,
Всей страстью слова моего.

Пусть наш союз живет и дальше!
Порви его – и между строк
Вкрадется тень невольной фальши
И равнодушья холодок.

* * *

Нестареющая, вечная
Красота земли родной –
Голубая даль заречная
С луговой тишиной...

Обнимаю взглядом ласковым
Все травинки на лугу.
Будет срок – живую сказку вам
Расскажу я, как могу...

Вон березка в пышной кофточке,
В белой юбочке своей.
Вон тальник присел на корточки,
Молча смотрится в ручей.

На жужжание знакомое
Обернулся я. Пчела!
С добрым утром, насекомое!
Как живется, как дела?

Ну, а ты о чем, безвестная,
Пригорюнилась, копна?
Ты же нашенская, местная,
Гордо выглядеть должна!

Знала б ты, как веет по лугу
Ароматом от тебя!
Под небесным ясным пологом
Ты б стояла, не скорбя...

У тропы над синей лужею
Я гляжу во все глаза:
Вертолету неуклюжему
Подражает стрекоза.

Так же кружится медлительно.
Даже в крыльях сходство есть.
Так же – просто удивительно –
Где угодно может сесть...

Мостик, заводь, куст смородины,
Паровозный крик вдали –
Это все частица Родины,
Мирный день родной земли.

* * *

Не удивлять, а удивляться
Я в этот светлый мир пришёл,
Где цвет черемух и акаций
И в блеске дня жужжанье пчел.

Смеется ль синий май в Сибири,
Сентябрь ли хмурится, скорбя –
Всё время что-то в этом мире
Я открываю для себя.

Моим открытиям нет предела.
Дивлюсь, живя среди людей,

И красоте лица и тела,
И высоте людских идей.

Всей жизни бурной, многоликой,
По-детски радуясь, дивлюсь.
И с этой радостью великой
Я с вами дружески делюсь.

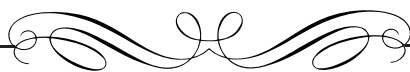
Чтоб в серебре метельной пыли
И в звоне вешнего ручья,
Вы так же крепко полюбили
Наш краткий праздник бытия.

* * *

Свой каприз
У сердца моего:
Ничего для сердца
Нет хуже,
Если в нем
Все тихо
И мертво,
Как в осенний день
В застойной
Луже...
Потому несусь я,
Как девиз,
Самое обычное,
Простое:
Смейся, плачь,
Гневись
Или дивись,
Но не знай
Сердечного застоя!

* * *

Все меньше в наши дни в России
Районных тихих городков,
Где переулочки косые
Ютятся в зелени садов.
Где возле бань, за городью
Стоят подсолнухи кружком...
Где украшает центр собою



Единственный кирпичный дом,
Где в пору летнюю утрами,
Когда листва берез в росе,
Подпаски, щелкая бичами,
Проводят стадо вдоль шоссе.
Кой для кого – медвежий угол.
Нет ни дворов, ни площадей,
Здесь огородных ветхих пугал
Едва ль не больше, чем людей...
Но как пути сюда ни долги,
Здесь жизнь кипит, свое верша...

♦ ТЩЕСЛАВЬЕ

Когда-то в детстве—
Так давно! —
Тщеславье
Было мне
Знакомо:
Чтоб мама
Видела в окно,
Я на коньках
Форсил у дома...
С тех пор прошло
Немало лет.
Привык в труде
Корпеть,
Стараться.
Но почему-то
Нынче нет
Того желанья—
Красоваться.

Июльский день

Надоело солнцу печь,
Ветру – жаром дуть.
День решил
В тени прилечь,
Отдохнуть и – в путь.
В белой облачной чалме,
Взорам всем открыт,

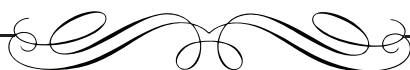
День июльский
На холме
Крепко, сладко спит.
Ничего не слышит он
Сквозь глубокий сон –
Лишь кузнечиков
Трезвон
С тишью в унисон...

ОТТЕПЕЛЬ

Опахнуло далеким
С поля южным теплом,
Осенило высоким
Неба легким крылом.
Серый ком под стеною
Потемнел и промок.
А над талой водою –
Листьев
Нежный дымок.

Взглянуть со стороны

Успехи часто
Голову нам кружат.
Мы вроде
За победным
Рубежом....
Другие, мол, пускай
Горюют, тружат,
Кто не с таким
Богатым багажом...
А надо б
Новых далей
Видеть вехи
И на себя
Взглянуть со стороны:
А вдруг да это—
Мнимые успехи,
И ты не прав,
Что нету им цены?..



Первый дождь

Не скрипит мороз.
Ушли метели.
Но в душе
Зима
Еще жива...
Вдруг
Средь ночи
Слухом овладели
Звуки,
Непонятные сперва.
Было что-то новое
В просторах...
Дождь?
Ну, точно!
Тихо к нам
Придя,
Ночь заполнил
Шелест,
Шёпот,
Шорох
Первого
Весеннего дождя.

* * *

Если ты каким-то делом,
Как фанатик, одержим,
Должен стать твоим уделом
Строгий, правильный режим.
Чтоб отбросить все помехи,
С поговоркой подружись:
Делу-время, час-потехе...
Нынче так. И так всю жизнь!

* * *

В серебристом, чистом инее —
До чего ж хорош убор! —
Смотрит вдаль, в раздолье синее
Вековой сибирский бор.

До весны, до пенья птичьего
Стих и замер мир лесной...
Сколько русского величия
В соснах, вставших тут стеной!

Своя песня

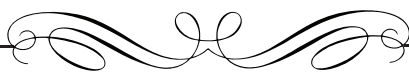
Песнь у всех
По-разному
Поется.
Иногда зачином
Неплоха.
А бывает,
Голос вдруг
Сорвется,
Даст, как говорится,
Петуха.
Пусть средь запевал
Не первый в роте,
Но за ними
Мне идти, спешить.
И на самой
Задушевной ноте
Я хотел бы
Песню
Завершить.

* * *

А вечерами тишь какая!
А за окошком за любым
Планеты нашей жизнь большая
Горит экраном голубым...

И Лукичу слегка обидно,
Что жить придется вдалеке:
Большие перемены, видно,
Начнутся скоро в городке.

Да, вскоре город
Ждет известность:
Уже разведано вполне,



Чем так богата эта местность,
Что скрыто в недрах, в глубине.

* * *

Тебе бы
Постигать еще азы.
А ты уж ставишь
Цель свою, задачу –
Громить других.
И суть
Твоей грозы–
Спесивый крик:
«Я тоже
Что-то значу!»
Работай знай.
Когда-нибудь потом
Дождешься,
Может стать,
Урожая...
Не спесью –
Добросовестным
Трудом
Возвысь себя,
Других не унижая.

* * *

Зори весен со мною,
Просыпаюсь – смотрю.
А какой-то весною
Не встречать мне зарю.

Славлю пору расцвета,
Солнце жаркого дня.
А какое-то лето
Расцветет без меня.

Славлю осени просинь,
Желтизну на лугу.
А какую-то осень
Я воспеть не смогу.

Славлю звонкий зазимок,
Белизны благодать,
А когда-то снежинок
Не смогу увидеть.

Грустно думать об этом,
В край ночной, далеко
И зимою, и летом
Уходить нелегко...

* * *

На поле пала тень,
Как дума на чело:
Что значит этот день?
Что есть добро и зло?

Зачем растет трава,
Что никнет под косой?
Зачем цветет, жива,
Под солнцем и росой?

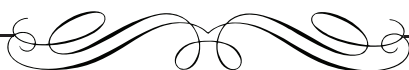
... И снова – синева,
И жаркий блеск в ответ,
Чтоб новая трава
Могла увидеть свет.

Чтоб дождь на ней блестел,
Как искорки в очах,
Кузнечик свиристел,
И лютик не зачах.

Чтоб кто-то здесь прошел,
Весь мир объять готов,
И под гуденье пчел
Нарвал букет цветов.

* * *

Бор – зеленая обитель.
Словно сосны, день высок.
– Митю видел? Митю видел? –
Звонкий птичий голосок.



Кто такой он, этот Митя?
Чей, кому товарищ, брат?
Но, как в детстве: «Видел, видел!» –
Я ответить птичке рад.

Митя – друг ее, наверно,
А иначе для чего
Ей тревожиться безмерно,
Мол, не видел ли его?

Я привез

Посетив места родные,
Что оттуда я привез?
Только сердцу дорогие
Шумы-шелесты берез,
Облаков седую пряжу,
Что, узоря синий мир,
Вдоль извилистого края
Проплывают в Салаир.

Всколыхнул мне снова память
Говорок реки Бачат,
Топелей цветущих замять,
Где ребята ждут девчат,
Черный дым на мягких лапах
Над полоскою реки,
Разнотравья пряный запах,
Незабудки островки.

Вновь увидел все дороги,
О которые в жару
Обжигал босые ноги
Мальчуганом на юру...
Край любимый, этой дани
Я не ждал, к тебе спеша,
Пусто в легком чемодане,
Но зато полна душа.

* * *

Неисчислима звездная семья.
И, как гласит народное преданье,
В том сонме звезд есть где-то и твоя,
Твоя со дня рожденья до скончанья.
Живой ее огонь, смотри, не сглазь.
Раз он горит – не даром, видно, тратится.
Узнать бы, для чего звезда зажглась,
Поверить бы, что долго не закатится.

* * *

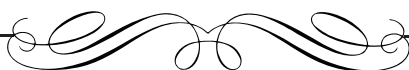
Есть видимость цветения,
А поглядишь на свет:
Красивое растение –
Обычный пустоцвет.

Есть видимость поэзии.
На острый ум, как нож,
Разрежет строчки резвые –
И в них проступит ложь.

Есть зло, добру подобное,
Но время лоск сотрет –
Увидишь только злобное,
Холодное, как лед.

И есть добро, похожее
На зло. Но жизнь и там
Проявит все хорошее,
Расставит по местам.

Советов поучительных
Не дам, не обессудь.
Я сам ищу мучительно,
Где видимость, где суть.



Виктор Баянов



Баянов Виктор Михайлович (1933–2011) – русский советский поэт, автор многих книг. Несколько лет работал главным редактором журнала «Огни Кузбасса». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружба народов», высшей наградой Кемеровской области – орденом «Доблесть Кузбасса». Лауреат премии «Молодость Кузбасса» (1968), региональной литературной премии имени В. Д. Федорова (1998). Печатался в журналах: «Москва», «Наш современник», «Октябрь» (Москва), «Смена» (Ленинград), «Сибирские Огни» (Новосибирск), «Огни Кузбасса» (Кемерово). Участвовал более чем в двух десятках коллективных сборников. Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России.

Поэзия

Я не прошу иной судьбы

* * *

Жарынь-жара.
Ни дождика, ни грома.
Пока бессилен тут любой приказ.
И раскалилась пыль аэродрома,
Как спорящая очередь у касс.

Алтайки едут с ягодною тарой.
Везет пацан в корзинке двух щенков.
А рядом песню тянет самый старый
Из молодой бригады сплавщиков.

А песня эта про тайгу да сопки,
Да про старинное жите-бытье.
Наверно, выпил после смены стопку.
А может быть, он и не пил ее.

Неподалеку женщина проходит,
Такая, если за руку возьмет –
Любую непогоду распогодит,
Любую бурю на душе уймёт.

Она светла таежным мягким светом,
И молодостью взгляд ее искрит.
Ей, может, кто-то говорит об этом,
А может, и никто не говорит.

А солнце жжет, терпенье наше мерит.
За небом люди пристально следят.
Все ждут и ждут.
И все, конечно, верят,
Что непременно нынче улетят.

* * *

Изба моя, приветь меня,
Побалуи давней лаской отчей.

Погрей у своего огня,
Чем бог послал меня попотчуй.

И над землей, и над водой,
Сквозь все удачи и оплошки,
Мне самой близкою звездой
Сиял огонь в твоём окошке.

В большой судьбе твоей теперь
Все так предпразднично, субботно.
Я в эту низенькую дверь
Когда-то проходил свободно.

Я был, как ты, и мал, и прост.
Был светом полевым просвечен.
И прибывающий мой рост
Вон на венцах твоих отмечен.

На крыше тот же дерн пока.
И с этой крыши многоцветной
Под легкий шелест ветерка
Свисает колокольчик летний.

И спорым дождиком омыт,
Трезвоном наполняя уши,
Он мне о юности гремит.
Гремит от года к году глуше.

Изба, и летом и зимой
Твой отсвет надо мной витает.
Стою, и рост отметить мой
Веников сосновых не хватает.

И не могу унять теперь
Далеких лет степного звона.
И не могу я в эту дверь
Пройти без низкого поклона.

* * *

У станции цветов – каких угодно.
Я не спеша красу земную рву

И думаю наивно, что сегодня
Я без волнений всяких проживу.

Но на перроне злак хрустящ и порист.
Но график, как всегда, неумолим.
А женщина торопится на поезд
Со стареньким баульчиком своим.

В ее глазах, невыразимо синих,
Какой-то робкий и тревожный свет.
И я спокойным быть уже не в силах
И все смотрю – успела или нет.

* * *

Поле.
Копны снежком примело.
Вербы стынут и клонятся сами.
Здесь – давно ли! – шумело село
С петухами, колодцами, псами.

Люди жили, пускай не в раю,
В закутке своем тесном и дружном.
И на северном знали краю,
Что сейчас происходит на южном.

Но бросать родовое жильё
Где-то взяли впоследствии моду.
За войну да и после нее
Пубавилось сильно народу.

Полевая дорога. По ней
Все село раскатилось в итоге.
Кто в район, кто в село послушней,
Ближе к тракту, к железной дороге.

Здесь в грядущие ночи и дни
К небу теплым дымкам не подняться.
Только вербы остались одни
В чистом поле стареть и склоняться.

Вот и все.
Лишь на ровном пути
Вдруг заставило что-то споткнуться,
Оглянуться и быстро уйти.
И вздохнуть. И еще оглянуться.

Кемерово – Москва

Как отраден вагонный режим!
Мы ему повинuemся строго –
Беззаботно лежим и лежим.
Как сурки – я, Борис и Серега.

Мы в восторге от быстрой езды,
Хоть езда и накладнее лёта –
Надо много в дорогу еды
Да опять же и выпить охота.

За вином никого не гвоздим,
В старых строчках не ищем изъяны.
Смыло, сдуло, как паловый дым,
Все вчерашние цели и планы.

И мужской наш тревожа уют,
Путь держа до Оки или Камы,
По вагону девахи снуют
И вальяжные шествуют дамы.

Ну и что!
Я совсем не жених.
А Сергей из-под встрепанной челки
С явной нежностью смотрит на них –
Ясно, что отлежался на полке.

Нас простор опьяняет, как спирт.
Но в пейзаже, для полного лада,
Нет сегодня комбайнов и скирд
И осеннего позднего стада.

Не пугая ворон с проводов,
Сонной жизни являя примету,

Встречных нет грузовых поездов,
А обгонных тем более нету.

Мимо – кочки, осока и мох.
И уже городок недалечко,
Где когда-то я в дом один мог
Постучаться, взойдя на крылечко.

В прошлом – рифмы, любовь и борьба,
За мельканием житейского сора.
Как за мутным окном Бараба
И пустые степные озера.

Вот и ночь.
Далеки, далеки
Над Сибирью, над Русью самую,
Еле-еле чадят огоньки,
Наступившей подавлены тьмою...

Константиново

Дом. Сад. Амбар. Плетневый перелаз.
Здесь жил поэт, влюбляясь и мечтая,
Здесь без него семидесятый раз
Отговорила роща золотая.

Нет в доме песен, а в амбаре – ржи.
От сада прелью тянет и золою.
И листья, словно желтые стрижи,
Мелькают над усадьбой нежилою.

Замшелый клен, состарясь под окном,
Устал клюкой ощупывать дорогу.
Он знал поэта. Он еще при нем
Однажды в стужу приморозил ногу.

И голову рябина о плетень
При нем еще разбила, будто спьяну.
И ей, совсем усохшей, по сей день
Никто бинта не наложил на рану...

Годов лавина откатила вспять –
Предстали те ж поля и перелески.
И мать поэта ждет его опять,
Раздвинув на окошках занавески.

Он строг и странен в этот свой приезд, –
Как будто от дурной какой-то вести,
Ломает брови, плохо спит и ест
И курит все,
И не сидит на месте.

Далек, далек, хоть вот он, рядом, сын.
Его судьба томит ее и ранит.
Кто знает, из каких он палестин,
Когда теперь и с кем домой нагрянет.

В глазах уж нету прежней синевы.
И кудри осеклись. Куда все делось!
Весь год в село хотелось из Москвы,
А из села скорее в Москву хотелось.

Хоть на неделю б у родни застрял,
У изб, лугов и мостиков горбатых.
Куда спешит и что он потерял
На всяких вражках, преснях и арбатах.

В холодном Питере едва ль придет
покой.
Дороги нет и к теплым южным странам.
Недаром тонкий месяц над Окой
Повис кривым персидским ятаганом...

Все явственней навязчивый мираж:
Вот он оделся с тщательностью
строгой,
Стянул шнурком суровым саквояж,
На лавочку присел перед дорогой.

Уже с крыльца – слова, обрывки фраз.
Прошел к калитке. Помахал знакомо,
Совсем не зная, что в последний раз
Перешагнул порог родного дома.

С тех пор холодный двор и ветхий сад
Хранят в глухом молчанье год от года
Последний вздох его,
Последний взгляд,
Последний шаг последнего ухода.

* * *

Богата согра в эту осень.
Глядят опята из-за пней.
На днях, наверное, под озимь
Распахан клин земли за ней.

Лес оглушен сорочьей ссорой.
И, кажется, над краем всем
До опьянения пахнет согрой,
Не пахнет пахотой совсем.

Отсюда я дровишек связки
Таскал домой, в ушибах весь.
Мои бывальщины и сказки
Отсюда вышли. Жили здесь.

На выворотне в комьях глины
Сижу земли печальный сын.

Полно рябины, тьма калины
Среди берез, промеж осин.

И я себя при этой свите
Казню, как сроду не казнил:
Ну, что ж ты, Витя,
Что ж ты, Витя,
Притих и голову склонил.

Ведь крепок был под всякой ношей
Пусть изредка, но ладно пел.
Так неужели, мой хороший,
Извел себя?
Когда успел?

Пусть хвори взяли на заметку,
Но ты сдаваться не спеши.
И не горюй, что пелось редко.
Зато – ни слова без души.

Все гуще, все drobней в низине
Накрапы нудного дождя.
Пора и к дому.
А в корзине –
Одна волнушка, два груздя.

Бреду под тучею-навесом
Промокшей пахотой и мглой.
И все слабее тянет лесом,
Все явственней – сырой землей.

* * *

Бойся, Анна,
Слушай, Анна,
И ушам своим не верь:
Кто-то громко, кто-то странно,
Незнакомо стукнул в дверь.
Твой бродяга, твой отходник
С полной сумкой за спиной,
Твой удачливый охотник
Возвращается домой.
Он твои забросит ситцы,
Он не то тебе добыл –
Для тебя в тайге лисицу
Чернобурую убил.
Только входит он сурово,
Словно кедр, высок и прям.
На щеке застыл свинцово
От медвежьей лапы шрам.
Знать, умаяла дорога
Через горы и лога.
Знать, заметил у порога
След чужого сапога.
Ох, заметил след неяркий,
Потому не ест, не пьёт,

Драгоценные подарки
Из мешка не достаёт,
Не глядит на молодую
И, натуре вопреки,
Клонит голову седую
На большие кулаки.

Матери

Устав от ветровых погудок,
Стоит береза на меже.
Еще не зимняя покуда,
Но и не летняя уже.

Ты на нее глядишь, родная,
И замечаешь, что она,
Листву пригоршнями роняя,
Почти совсем оголена.

И с летом ласковым прощаясь,
Ты пригорюнилась в избе,
Как будто гости обещались.
Да не приехали к тебе.

А рельсы, словно по ступеням
Белесый излучая свет,
Бегут, сужаясь постепенно,
И сходят вдалеке на нет.

Презрев болезни и простуды.
Ведя домашние дела,
Все реже говоришь ты «буду»,
Все чаще говоришь «была».

Под полушалок прячешь проседь
И тем лишь, кажется, жива,
Что обо мне тебе приносят
Одни хорошие слова.

Живя доверчиво и просто,
Я не прошу иной судьбы –

Лишь чаще б видеть дом у моста
С куделью дыма из трубы.

Да под горою омут синий,
Да поле в балках и буграх
С березкою еще не зимней
На обжигающих ветрах.

* * *

За рекой талиновой, за мельницей
Земляникой крашены холмы.
Век ничто, казалось, не изменится —
Ни деревья, ни земля, ни мы.

Буду проходить короткой улочкой,
Чтобы к речке выйти поскорей
С довоенной береженой удочкой,
Вечною грозою пескарей.

И на зорьке, легче одуванчика,
Будет вслед смотреть мне каждый раз

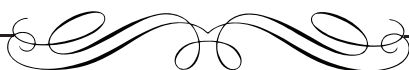
Девочка в цветастом сарафанчике
С жаркими веснушками у глаз.

Ветерок займется и уляжется
В тень под тальники да тополя...
Что ж, ничто не изменилось, кажется,
И деревья те же и земля,

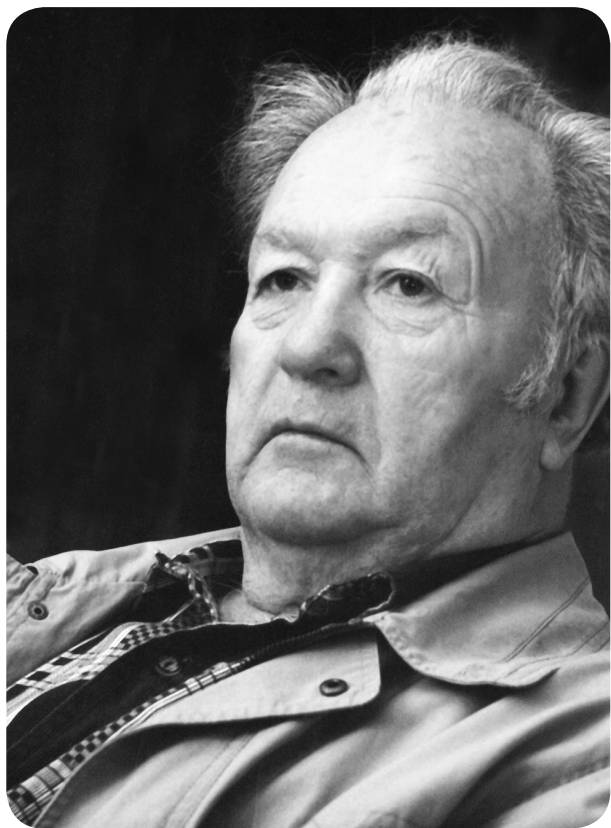
Только я бываю здесь наездами.
Покидая душный летний дом,
Ночи коротаю под навесами
На клубничном сене молодом.

Только приобрел другие удочки
Все на тех же вечных пескарей.
И спешу по той же самой улочке
К той же речке выйти поскорей.

И зарю утренней просвечена,
Там, где домик низок и угласт,
Мне вослед подолгу смотрит женщина,
С первыми морщинками у глаз.



Валентин Махалов



Махалов Валентин Васильевич (1933–2010) – русский советский поэт, прозаик, публицист, автор многих книг. Учился в фабрично-заводском училище, во Владивостокском высшем мореходном училище. Окончил Ленинградский университет, работал в газете «Кузбасс», «Строительной газете». Возглавлял областную литературную студию «Притомье». Входил в состав редколлегии журнала «Огни Кузбасса». Почётный работник культуры Кузбасса. Лауреат литературной премии имени В. Д. Фёдорова. Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России.

Поэзия

Как самое первое чудо

А. Волошину

* * *

Прибрежной сторожкой тропой,
Слегка замедляя шаги,
Под вечер пришел к водопою
Косматый хозяин тайги.

Башку тяжело опрокинув,
С потяжливym всхрипом в груди,
Нагорбив мослатую спину,
Он медленно влагу цедил.

Вздymались и вновь опускались
Худые медвежьи бока.
Кроваво глаза отражались
В закатной воде родника.

Гляжу, как в лесное затишье,
Уже не опасный теперь.
Студеного зелья испивший.
Уходит стареющий зверь...

Я в этом краю заповедном
Не раз, выбиваясь из сил,
Под вечер, подобно медведю.
На этот родник выходил

И пил запаленно, зверино,
До хрипа, до стопа в груди,
И думал счастливо и длинно,
Что вся еще жизнь впереди.

* * *

Отцы уходили,
Хмуря лицом.

Деревня им в след голосила.
И я со своим
Попрощался отцом
И слезы сдержал через силу.

Отцы уходили
На голос войны.
Печально скрипели подводы.
И в след им глядели
Тревожно сыны
Рожденья тридцатого года.

Родные мальчишки,
Погодки,
Друзья,
Мы рано тогда возмужали.
В те годы в деревне,
Наверно, не зря
Мужчинами нас называли.

Нас слабость душила,
Нас голод качал,
Недетские гнули заботы,
Но вынесли мы
На ребячьих плечах
Большую,
Мужскую работу...

Мы твердо ступаем
С тех пор по земле –
Нас верить
Война научила
В двенадцать неполных
Мальчишеских лет
В терпенье, упорство и силу.

* * *

Обрастал зеленым мохом
Старый тополь у окна.
На дворе коровьим вздохом
Пробудилась тишина.

Раскрываю окна настежь
Непричесанный, босой:
– Здравствуй, утро!
– Здравствуй, счастье,
Окропленное росой!

– Здравствуй, милая деревня!
С плеч стряхнувши сон и лень.
По твоим законам древним
Начинаю этот день.

Окачусь водой студеной,
Рушником утру лицо,
Вместе с бабушкой Матреной
Пойду-выйду на крыльцо

Провожать коровье стадо
За осевший старый тын,
Наблюдать, как в палисаде
Просыпаются цветы.

Перемножив вдох на выдох.
Дров для печки наколю,
А потом с довольным видом
Папироску раскурю.

А домой вернувшись снова,
Крынку взявши за бока.
Выпью теплого, парного,
С легкой пеной молока.

Зорька окна зарумянит,
Поползет туман с полей.
Не замечу я, как станет
На душе моей светлей.

Этот день пройдет, как чудо.
Ночь наступит, и тогда
Я усну и позабуду
Все на свете города.

* * *

На судьбу не жалуясь,
Бога не виню,
Голову усталую,
На траву клоню.

Пусть бывало разное:
Жил – не унывал.
К праздникам опаздывал,
К горю попевал.

Выпестован, вынянчен
Росною землей,
Все болезни вылечил
Ключевой водой.

Я стою, как деревце,
На крутом ветру.
И совсем не верится
В то, что я умру.

На разъезде

На разъезде Глухая Гора
У девчонок сегодня суббота.
Позабыты дневные заботы.
Собираться на танцы пора.

И куда они только спешат!
Выбивая веселые строчки,
По скрипучим дощатым мосточкам
Их модельные туфли стучат.

У Петровой Иринки опять
На сегодня назначены сборы.
И глядит на девчонок с укором
Тетя Стеша – Иринкина мать:

«Ну и девоньки ноне пошли.
Почему не сидится им дома?»
Пахнет ветер настоящим черемух
И вечерней прохладой земли.

Тетя Стеша, пойми их, прости,
Не суди о них строго и грубо.
От разъезда до ближнего клуба
Сорок пять километров пути...

Прогремит за окном товарняк,
Не сбавляя привычного хода,
Или поезд, набитый народом,
Пронесется, весельем дразня, –

И девчонки метнутся к порогу,
Хоть и знают, что, как ни спеши,
Неподвластно законам души
Расписание железной дороги.

Только затемно свой паренек –
Бедолага, пропахший бензином, –
Их примчит на веселой дрезине
В станционный ночной городок...

Полночь в клубе погасит огни.
Стихнут медные трубы оркестра.
Одному только Богу известно,
Как домой доберутся они.

Ах, как ночи июня темны –
Остановку свою не проспять бы...
Снятся девочкам сладкие сны:
Женихи и счастливые свадьбы.

Стоит девчонка, улыбается

Стоит девчонка, улыбается.
Ей нет еще и двадцати.
Ей что-то здорово понравилось,
да так, что глаз не отвести.

На солнце вешнее похожая,
в певучем платице своем.
И улыбаются прохожие,
увидев солнечность ее.

Девчонке счастье в руки валится,
ей, видно, очень повезло.
Стоит девчонка, улыбается,
вокруг нее – светлым-светло.

Прошу у жизни малости,
Прошу у жизни милости,
Не доброты, не жалости,
А просто справедливости.

Живет на свете женщина

Живет на свете женщина
Невесело и странно,
Как ветер, переменчива,
Как совесть, постоянна.

В ней боль земная смешана
С последнею надеждой.
Живет на свете женщина
Красивой и нездешней.

Свои глаза-печалины
Она несет по городу
До смелости отчаянно,
Возвышенно и гордо.

С путями этой женщины,
Задумчивой и строгой,
Случайно перекрещены
Мои пути-дороги.

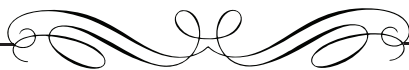
Я знал ее любимого,
Любимую, неверного,
Никем не заменимого
В душе ее, наверное.

Рассветы, весны, осени
С ним накрепко запомнены.
Куда его забросили
Дороги закольные?

Ужели его, грешного,
Ни разу не окликнула
Тревога этой женщины,
Любовь ее великая?

* * *

Женщина плачет в тихом подъезде,
Зябкая, точно осенний ветер,
Горестно плачут узкие плечи,
Плачет все молодое тело.
Наверно, ее обидел мужчина
По старой, древней, как мир, причине,
Которая носит сотни названий,
Но нет среди них одного – любви.
Я, видевший много на этом свете,
Верю в Бога и верю в черта,
Которым неплохо живется вместе
В большом общежитье людской души.
Но я в одно неизменно верю:
Если мужчина женщину любит,
Ее не может он так вот оставить
Наедине со своей любовью,
Наедине со своей бедой...
А женщина плачет горько и тихо
В пустынном безмолвье ночного
подъезда,
И я – одинокий свидетель этих
Ее обжигающих душу слез.
И я шаги замедляю невольно,
Стою, оробев перед этим горем,
Словно я во всем виноват.
Да, мне понятно, что в этом горе
Я, наверно, плохой помощник.
Хотя у меня и сильные руки,
Беды им этой не отвести.
А завтра я буду бродить по городу,
Случайно плечом задевать прохожих.
Но где-то в самых глубинах сердца
Будут тяжелыми валунами
Лежать невысказанные слова.



Я буду думать горько и глухо
О том, как холодно в этом мире
Жить деревьям, зверям и людям,
Если их не греет любовь.

* * *

Я в эту печальную осень,
На дальних дорогах устав,
Целую небесную просинь
В ее золотые уста.

Прости меня, мать природа,
Прости, голубой окаем,
За то, что так медленно всходы
Созрели на поле моем.

Крестьянскую долю приемля
И помня заветы отца,
Я милую русскую землю
Любил и люблю до конца.

Я шел через долгие будни...
И сеять учили меня
Простые хорошие люди
Любви и добра семена.

Я шел. С деревенским доверьем,
Надеждой и светом дыша,
В чужие окошки и двери
Тревожно стучалась душа.

Совсем на судьбу не в обиде
И все принимая всерьез,
Я столько на свете увидел
Горячих и радостных слез.

И было – то рано, то поздно
Решаться на праведный бой.
И тучи разлада и розни
Сгущались не раз надо мной.

Но вера в народное братство
В душе укреплялась моей.
Мне это земное богатство
Нести до скончания дней.

* * *

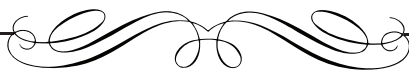
Нет-нет! Я тебя не обижу,
А тихо к тебе подойду
И солнцем закатным и рыжим
В ладони твои упаду.

И тонкие пальцы согрею
Теплом уходящего дня.
Я очень потом пожалею,
Что ты не узнаешь меня.

И слово обычное «здравствуй»,
Неслышно слетевшее с губ,
Неярко блеснет и погаснет
На дальнем твоём берегу.

Ты вздрогнешь устало плечами,
В ответ не сказав ничего,
Лишь тени забытой печали
Коснутся лица твоего.

Я помнить всю жизнь тебя буду,
Как воздух,
Как солнечный свет,
Как самое первое чудо,
Которому имени нет.



Игорь Киселев



Киселев Игорь Михайлович (1933–1981) – русский советский поэт, автор многих книг. Окончил Новосибирский педагогический институт. Работал преподавателем в школе, литсотрудником газеты, служил в армии, был редактором Новосибирской студии телевидения, Кемеровского книжного издательства. Лауреат премии журнала «Наш современник». Член Союза писателей СССР. Имя Игоря Киселева присвоено одной из библиотек города Кемерово.

*И кажутся почки,
набухая силой*

* * *

Не знаю, под каким родился знаком,
Но вот брожу по тропам и мостам
С невыразимой нежностью к собакам
И жалостью к деревьям и цветам.

Неласковым бывал я и недобрым,
Но никогда не причинял я зла
Ни псу, пусть был он жалок и ободран,
Ни лошади, что тяжкий груз везла.

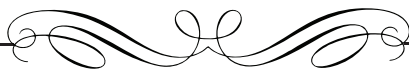
К березкам, к чуткой коже их
притронусь –
Они замрут, молчание храня.
Их беззащитность и неизреченность,
Как долг мой давний, мучают меня.

Притихли скверы, онемев от крика,
И в душу мне стучится этот крик,
Как будто бы за все, что безъязыко,
Подарен мне мой сбивчивый язык.

В лесу

Как дышится в лесу!
Как льдинки горлом льются!
Как будто пьешь росу
Из блещущего блюда.

Слеза или хрусталь,
Следы насквозь промокли.
И даль в слезах,
И даль
Сквозь слезы – как в бинокле.



Как слышится в лесу!
Заполнив чашу с верхом,
Мчит эхо на весу
По веткам, как по вехам.

Далекий скрип сосны
Доносится с опушки,
И жалобы кукушки
Прозрачны и ясны.

Как пишется в лесу! –
Лес, приглушив гуденье,
С листа прогнав осу,
Дарует вдохновение.

А луч позолотил –
И в просеках мелькнули
Обрывки паутин
Из хроники июля.

Как верится в лесу
В загаданное счастье!
Уйти в седьмом часу,
Оглядываясь часто.

Жаль, тени по лицу –
Некрепкая завеса...
Как хочется в лесу
Не уходить из леса!

* * *

Не знаю, отчего
На вид обыкновенны
У дома моего
Просвечивают стены.

Я долго строил дом,
Чтоб, не сломав традиций,
Тем домом, как щитом,
От всех отгородиться.

Как панцирь, как броню
Перед ветрами всеми,

В которой сохраню
Себя от потрясений.

Пророчу или лгу,
Смеюсь, буяню, плачу –
Я нежность и тоску
От глаз чужих упрячу!

Здесь судит мой закон
Неправого и злого.
Здесь не замкнут замком
Трепещущего слова!

И вот я у стола,
Один во всей Вселенной.
Но словно из стекла
Просвечивают стены!

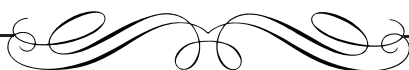
И мир, прорезав тьму,
Ликуя и стеная,
Гремит в моем доме
За четырьмя стенами.

Тревогу затая,
Быль с выдумкой мешая,
Не знаю, где моя
Беда, а где – чужая.

Быть может, оттого,
Светлы и откровенны,
Просвечивают стены
У дома моего...

Конь

Как он шел, подлец!
Как он шел!
Как заря по нему стекала!
Бронзовела
с отливом в шелк
Шея, выгнутая лекалом.



Как сверкала дуга на нем
С бубенцом из веселой стали!
По шоссе проливным дождем
Ноги тонкие грохотали.

Неприступный! –
Попробуй тронь! –
Статью хвастая незнакомо,
Подлетал к сельсовету конь
Представителя из райкома.

В сельсовете скрипела дверь.
И, столкнувшись с недобрым взглядом.
Бормотали:
– Ну, чистый зверь, –
Мужики, дымя самосадом.

Будто глазом кого ища,
Конь дышал и легко и сыто.
А деревня была нища,
Голодна была и сердита.

С опечалившихся дворов
За бесценок –
За куль ячменной –
Уводил на базар коров
Год тот первый послевоенный.

На подъеме застряв крутом,
Матерясь и едва не плача,
Люто бил водовоз кнутом
Спотыкающуюся клячу.

А у дома, у груды шпал,
Равнодушен к беде-напасти,
В нетерпении танцевал
Гордый конь золотистой масти.

И хозяин,
Дороге рад,
В ноздри дул ему.
Трогал холку,
И опять мимо наших хат
Конь играючи нес двуколку

Долго,
Пристально,
Тяжело,
Вплоть до леса за выпасами
Провожало его село
Непрощающими глазами.

* * *

Что такое стряслось с человеком?
Бьет бедой, как огнем, из-под век.
Не в ладу ни с женою, ни с веком,
Ни с собою самим человек.

Я кручину его не развею.
Горьких жалоб его не пойму.
И уходит он, хлопая дверью.
А куда он уходит? К кому?

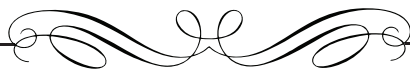
Может быть, приведет его случай
К перекрестку, где камень горючий,
На котором заметны едва
Позабывших преданий слова.

Может, пнем притворившийся леший
Путь-дорогу покажет полегче
И прокатят его с ветерком
Сивка-бурка с коньком-горбунком.

И у древней замшелой избушки,
Утонувшей в дурманном цвету,
Василисе, царевне-лягушке,
Он откроет свою маяту.

И царевна, махнув рукавами,
Пожелает – и быть по сему –
Чтоб кукушки накуковали
Долгих лет беспечальных ему.

Соловей из чащобы просвищет,
Серый волк, словно тень,
промелькнет...
Ничего он такого не ищет,
Ничего он такого не ждет.



Просто в смутном лесу за рекою.
Предрассветную слушая тьму,
Он к земле прикоснется щекою,
И земля прикоснется к нему...

* * *

От стихов, от бессонниц, от улиц,
От холодных дождей сентября
Ухожу, стариковски сутулясь,
Замыкаюсь в себе и в себя.

Как на поиск целебного средства,
Продираюсь сквозь гомон и чад
К родниковому лепету детства,
Где веселые дятлы стучат.

Там, забыв про душевную смуту,
Я прикинусь щенком молодым.
Там все беды мои – на минуту:
Минут, канут, развеются в дым.

Есть свои там невзгоды и драмы,
И обидчиков тьма на пути,
Но сильнее и ласковой мамы
Никого в той стране не найти!

Светит солнышком каждому детство,
Из немыслимой дали маня.
– Только что ж ты ударился в бегство? –
Спросит совесть моя у меня.

В клочьях ночи, в обманчивом свете,
В каждой пяди пути твоего
За тебя это время в ответе,
Как в ответе и ты за него!

И назад мои кони примчатся
Сквозь минутных сомнений напасть.
Я пойму, что ни шага, ни часа
Не могу я у времени красть.

И рванется эфир к перепонкам
Трескотней пулеметных рулад.
Как я мог притворяться ребенком
В мире, где не хватает солдат?!

И тогда, побледнев отчего-то,
Перед веком в нелегком долгу,
Я увижу: идет моя рота,
Утопая в снегу.

Эта рота не даст мне копаться
В мелкой зыби душевной волны.
В самом ближнем и нужном запасе
Я стою у любимой страны.

В клочьях ночи, в обманчивом свете,
В каждой пяди пути моего
За меня это время в ответе,
Как в ответе и я за него!

* * *

Пролетает ветер, занавески тронув,
Снова беспорядки в государстве
кленов.

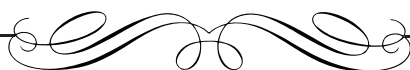
Снова в государстве легком, птичьим,
странном

День пугает снегом.
Ночь грозит обманом.

Что при всем при этом чувствуют
деревья?
По душе ль им быстрых птичьих стай
кочевья?

Может, вслед за птицей, чьи глаза
туманны,
Тянет и березку вдаль, за океаны?

Дать бы им, деревьям, оторваться
с места –
Как они рванутся птицами с насеста!



Как они покинут город мой в тумане,
Золотым отлетом больно душу рая!

Только что деревьям? Рано или поздно
Вдруг подует ветер весело и грозно,

И качнутся почки, набухая силой,
И отчизна птицам снова станет милой.

Я не перестану петь и удивляться –
Снова в тонких ветках стаи поселятся –

Только стану думать, что людской
обычай,
К счастью, совершенно не похож
на птичий...

* * *

Есть женщины, похожие на пламя,
На чуть заметный язычок свечи.
Они по свету ходят рядом с нами,
Случайным словом их не огорчи.

Прелестные, не отыскать прелестней,
Беспечны и внезапны, как стрижи,
И нежность их, и верность их –
как песня,
Где все слова прозрачны и свежи.

В них что-то есть от скорого прощанья.
Как светлый дождь, сквозят они во мгле,
В себе невозмутимо воплощая
Все лучшее, что было на земле.

Изменчивы как небо, как погода,
И душу мне догадка обожгла:
Что в них украдкой смотрится природа,
Как в созданные ею зеркала.

Во многом пронизательнее бога,
Доверчивей деревьев и детей...
Такие вот с ума сводили Блока
И вводили пленником в метель.

Я видел их не часто, этих женщин,
Далеких, как в магическом стекле.
Их, может быть, становится все меньше
На нашей слишком занятой земле.

Они мерцают капельками света,
Так не предусмотрительно хрупки...
И я боюсь, что сильный ветер века
Вот-вот погасит эти огоньки.

* * *

Вдохнешь и руками, грустя, разведешь:
– Какая плохая пошла молодежь!

Куда ни поедешь, куда ни пойдешь,
В соседней квартире и в поезде

дальнем:

– Какая плохая пошла молодежь! –
И вслед молодым поглядят
с состраданьем...

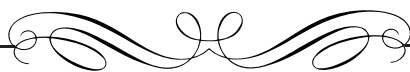
Я тоже от сверстников не отстаю.
Твержу я, что нравы испортились ныне,
И вроде бы песни иные пою,
И вроде бы книжки читаю иные.

Но все же, но все же, простите, друзья,
Я знаю, что шутки со временем плохи.
Уходит послушная память моя
В далекие страны, в былые эпохи.

Вот Трою качает жестокая дрожь,
Не выстоять Трое в бою многодневном.
– Какая плохая пошла молодежь! –
И бороду в ярости рвет Агамемнон.

Вот римский сенат начинает галдеж:
– Какая плохая пошла молодежь!

Не верю я старости, скорой на суд.
Так было всегда и повсюду на свете.



– Какая... – Монтекки негромко
вздохнут,

– Плохая... – подхватят в момент
Капулетти.

В раздумье, не зная, где правда,
где ложь,

Я улицей шел, потаенно вздыхая,
И думал о том, что пошла молодежь,
Как выше уже говорилось, плохая.

Но в этот момент мне подумалось все ж,
Что в общем-то зря мы на молодость
ропщем.

Ведь если все время плоха молодежь,
Откуда же взрослым-то браться
хорошим?

У юности, видимо, в том и вина,
Что, действуя смело и глядя лучисто,
Ошибки свои совершает она,
На наших ошибках не хочет учиться!

И грусть мягкой лапкой за сердце берет
О том, что мы так мимолетны на свете,
Но вряд ли история шла бы вперед,
Коль не были б зорче родителей дети.

И все же руками порой разведешь:
– Какая плохая пошла молодежь!

* * *

От музыки негромкой,
От снега за окном
Печаль бочком-сторонкой
Неслышно входит в дом.

Присяду, одинокий,
За краешек стола

И повторяю строки:
«Печаль моя светла...»

И, как любой и всякий
В большой моей стране,
Поверю в полумраке,
Что это – обо мне.

Летит почти без света
В снегу, как под сукном,
Огромная планета
За меркнущим окном.

А музыка все глуше.
Но в наступившей мгле
Настольной лампы грушу
Не трону на столе.

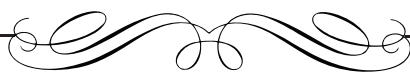
Уйду к окну ночному –
От снега даль бела.
И все слышней по дому:
«Печаль моя светла...»

И тронет сердце жалость,
Несмелая болезнь.
Ты где-то задержалась,
Ты скоро будешь здесь.

Молчат ночные ветры,
И снег висит, как шаль.
Ты и восторг мой светлый,
И светлая печаль.

И я не одинокий,
И ждут меня дела.
Но так прекрасны строки:
«Печаль моя светла»!

Неведомой дорогой
Она прокралась в дом
От музыки негромкой,
От снега за окном.



ЛЮБОВЬ НИКОНОВА



Никонова Любовь Алексеевна (1951–2012) – русская советская поэтесса, автор многих книг. Окончила факультет русского языка и литературы Новокузнецкого педагогического института. Работала учителем в селе Ваганово Промышленновского района Кемеровской области, научным сотрудником литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Новокузнецке. Долгое время руководила Новокузнецким городским литературным объединением «Гренада», литературными студиями «Фесковские литераторы», «Зернышко», «Созвездие лиры», «Берег». Почетный работник общего образования РФ. Награждена медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей». Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России.

Сердце ловит намеки на чудо

* * *

Был вечер на окраине страны.
Грачи летели в сторону Луны.
И мать следила старыми очами
За этими летящими грачами.
И было не светло и не темно.
И все вокруг почти обнажено,
Поскольку осень поздняя хотела,
Чтобы пространство странно опустело.

Лишь стоя птиц бестрепетно текла
Над кровлями пустынного села –
Расходуя намеченную силу,
К ночному шла холодному светилу.
И матушка стояла на крыльце
С невыразимой грустью на лице.
Ее оставив осенью одну,
Летела птичья стая на Луну.

Школьный сад

Каким бы я был в сорок первом году?
Я рос бы, как деревце в школьном саду.
Я был бы наивен, как в речке вода,
И в девочку Свету влюблен навсегда.
И были б для чувств моих даже тесны
Цветущие дни предвоенной весны.

Каким бы я был в сорок третьем году?
Я знал бы, за что я сражаться иду.
И школьного сада живительный шум
Пред первой атакой пришел бы на ум.
И девочки Светы распахнутый взгляд
Смотрел бы мне в душу и вёл через ад.

Каким бы я был в сорок пятом году?
Я вновь оказался бы в школьном саду.
Отвыкший от мирных созвучий солдат,
Я долго бы слушал лепечущий сад.

И робко бы трогала Света, жена,
Добытые в пекле войны ордена.

* * *

Сердце ловит намеки на чудо.
И сознания касается зов,
Приходящий почти ниоткуда,
Уходящий в глубины миров.

Или это в серебряной неге
Изливают волнуемый свет
Камни, вечно живущие в небе,
За грядой нерастроченных лет?

Или это мелодия только? —
В незапамятном отчем краю
Летней ночью свистит перепелка:
«Фить-пирю, фить-пирю, фить-пирю...»

Или память, собравшись в комочек,
Смутно слышит, как где-то вдали
«Однозвучно гремит колокольчик»
Над равнинами Русской земли?..

Дочки-матери

Твой поезд уходит в Россию все глубже.
И пристально долго вослед
Смотрю я глазами внимательной

И вижу мерцающий свет. дружбы

Все ближе святыни, все ближе твой
Север,

И там, в Вологодском краю,
К иконке прильнув нескудеющим
сердцем,
Ждет матушка дочку свою.

Как чисто пространство, как строго и
ясно...
Блещет, мерцает страна,

Любовью дочерней светла и прекрасна,
Молитв материнских полна.

А поезд мелькает под сводами радуг,
Минуя столицы и глушь...
И царствует в мире незримый порядок,
Открытый для любящих душ.

* * *

Отоспела степная полынь.
Стал прозрачным былинный ковыль.
На развалинах древних твердынь
Золотится несметная пыль.

Здесь не слышно щебечущих птиц.
Только ветер с травой говорит.
Только свет вне времен и границ
В поднебесье узоры творит.

И струятся потоки веществ,
Формирующих тонкий эфир
Для присутствия высших существ,
Полюбивших затерянный мир.

* * *

Иней теплится бисерно,
Сахарно,
Мелко,
Умывается снегом
Красивая белка.
Оснеженная пихточка,
Девочка в шубке,
Свет январский приемлет
Душою голубки.

Ожиданья прозрачны.
Предчувствия сладки.
Любит пихточка думать
Про Божьи загадки,
Каждой клеточкой юною
Знает своею:
Кто-то видит ее
И любит ее.

Кто-то дал ей наряд,
И в блистанье особом
Посетил этот лес,
И прошел по сугробам,
И сказал: «Эта местность
Не будет унылой –
Я старался для маленькой
Девочки милой».

* * *

Я слушала «Квартет» Бородина.
Как музыки таинственно устройство!
Нахлынувшая вечная весна
Имела невещественные свойства.

Она – совсем не то, что видим мы
Усталым, ко всему привыкшим
взглядом, –
Она явилась посреди зимы
И нежно расцвела под снегопадом.

Ее цветы погибнуть не могли
В кружении и холоде метели.
Она отогревала мир земли
Для достижения светозарной цели.

И тысячи звучащих лепестков,
Подсвеченных любовью золотою,
Пространство от земли до облаков
Заполнили скрипичной теплотою.

Так воцарялась вечная весна
В непостижимых переливах света.
И это был «Квартет» Бородина,
Но проступало что-то сверх
«Квартета»..

* * *

Не могу подтвердить я, что осень –
в бреду,
Не могу я сказать, что она –
в лихорадке.

Кто болезни в Божественном видит
саду,
Бьется сам зачастую в припадке.

А здоровье души – изливается вширь
Иль восходит в просторные выси,
Где бессмертные силы читают
Псалтырь
И плывут абсолютные мысли.

И оттуда приходят дожди и снега
И меняют земное убранство.
Как лампы, в рябинах горят берега.
Свет покровский вступает
в пространство.

И проникнуты свежим сознанием миры.
Принимает природа с любовью
Этот пушкинский праздник осенней
поры –
Русский холод, полезный здоровью.

Гора нерукосечная в период смуты

Стремясь физически преодолеть
простор,
Прошли мы много ровных мест и гор.
Но, совершая путь небесконечный,
Приблизились к Горе Нерукосечной.

И здесь утратили само понятие «даль» –
Была пред нами только вертикаль.
В ее столпе стояла Матерь Божья.
И бедный люд молился у подножья.

Вздыхалась гарь с ближайших
пепелищ.
Народ был жалок, голоден и нищ.
Измученный, обобранный до нитки,
Спасти он делал слабые попытки.

Воителей, ученых и вождей
Он не имел в сплошной среде своей.
Все те, кого вскормил он и вспоил,
Давно ушли под сень чужих светил.

Царило горе в плачущей толпе.
Лишь Богородица, стоящая в толпе,
Пронизанная высшими лучами,
Смотрела вниз скорбящими очами.

Могла ли что-то предпринять Она?
Не знаем. Но Она была верна
Печальному народу-сироте,
Взывавшему к небесной высоте...

Все это длилось несколько минут.
Потом открылся снова наш маршрут.
И друг сказал почти без изумленья:
«Зачем такие странные виденья?»

Прощание с 90-ми

Раскололась огромная льдина.
Мы плывем на отдельных обломках.
Вот великой реки середина –
Здесь мы вспомним о наших потомках.

Здесь решится судьба не прибывших,
Не зачатых еще, не готовых,
Наших будущих маленьких нищих,
Наших русских, по-своему новых.

Между тем стопроцентное зреньё
Наблюдает за этим исходом –
И, не веря себе, в отдаленье
Видит нимб над плывущим народом...

Холм

Жили так близко! Но виделись робко.
Время бежало, диктует свое.

Он запаял в жестяную коробку
нежные письма – признанья ее.

Странствия жизнь озарили,
как вспышки.

Смутные слухи оставил молве,
матери – слезы, зависть – братишке,
ну, а коробку зарыл на холме.

Холм и не знал, что бывает такое:
стало тревожить его день и ночь,
стало томить его горькой тоскою
чувство, которого не превозмочь.

Слышал, как в тесной закрытой коробке
солнечный дождь изливался с куста,
как, побледнев, долгожданны и кротки,
вечное слово шептали уста.

Всею своею землею дремучей
впитывал этого чувства поток
и обжигался слезою горящей,
делая слишком глубокий глоток.

Тлела коробка сильнее и сильнее:
холм разрушал постепенно металл,
небо в холме становилось синее,
солнечный дождик уже не смолкал.

Пахло сиренью сырой под землею,
пели, забыв обо всем, соловьи.
Письма сгорали, но жизнью живою
тут же вставали из пепла любви.

Что-то заставило блудного сына
годы спустя возвратиться домой.
И повела его странная сила
прямо на памятный холм дорогой.

Пал в чернобыльник, прислушался
что там теперь, в перегное, во мгле?
И закричал сумасшедше и жутко:
сердце живое стучало в холме.

Владимир Чивилихин



Чивилихин Владимир Алексеевич (1928–1984) – русский советский писатель, автор многих книг. Родился в городе Мариинске. Окончил Тайгинский железнодорожный техникум, Московский государственный университет. Лауреат Государственных премий СССР (1982) и РСФСР (1977), премии Ленинского комсомола (1966). Награжден орденом «Знак Почета». Член Союза писателей СССР. На родине писателя, в городе Мариинске, открыт литературно-мемориальный музей. В городе проводятся литературные праздники – «Чивилихинские чтения», посвященные писателю.

Как вам дышится, горожане?

Недавно я вернулся из поездки по Сибири и Дальнему Востоку. Дали пока не отпускают меня, впечатления и тамошние часовые пояса еще сбивают сон, а блокнот пополняется записями, каких в суматохе переездов и перелетов не сделаешь...

Одно из самых ярких воспоминаний – фестиваль молодежи Кузбасса. Интересно, с толком организовала его комсомолка. Мне понравилась и нестандартная программа праздника, и модная, изящная униформа многих делегаций, и культура поведения шахтеров, студенток, трактористов и доярок, их песни и пляски у костров, их образ мыслей, и то, конечно, что за все время в такой массе молодых людей не приключилось ни одного ЧП. Не эта ли славная, создающая молодежь, которая научилась хорошо, по-человечески отдыхать, должна считаться воистину современной?..

Одно омрачало умный, веселый и красивый праздник молодости – заводские дымы.

На гору, где раскинул палатки фестиваль городок, и в распадок с эстрадой катили густые серо-желтые клубы. Временами коксохимический завод на той стороне Томи скрывался в собственном чаду и газах, а вокруг него поддували другие предприятия, распускали по небу желтые хвосты. Как все же можно привыкнуть к отравленной атмосфере, каким уже малым выбором надо располагать, чтобы поселить на праздничные дни тысячи молодых людей под дымами и газами! В Кемерове говорят, что «днем-то еще туда-сюда, а вот ночью, когда ничего не видно, химики выпускают в воздух главное свое добро», но «без дымка не бывает» и «мы-то принюхались».

Наше непротивленчество к загрязнению городского воздуха встречается, к сожалению, не-

редко. Помню, года полтора назад публицисты России собрались в Челябинске на выездном секретариате Союза писателей республики.

Поднималось много интересных, живых проблем нашей жизни. И странно, и неудобно было слушать, как некоторые литераторы отрицали необходимость и право писать и говорить о растущем загрязнении воздуха. Один большой и уважаемый писатель из Магнитогорска заявил своим оппонентам следующее: «Мы живем там и ничего, дышим. Что вам за нас печалиться? Избавьте! Посчитайте стоимость улавливания отходов – дорого!»

Бывал я в Магнитке. Помнится, шла весна.

С черных склонов текли черные ручьи, а город-работяга задыхался в агломерационных газах. Заслуженный, орденосный и прочая, и прочая Магнитогорский металлургический комбинат выбрасывает в этих газах чудовищное количество сернистого ангидрида. Если, оказывается, пересчитать его на серную кислоту, то это даст пятнадцать процентов общего ее производства в стране! И этот самый магнитогорский ангидрид, разлагаясь, оседает на землю в виде чрезвычайно активных химических соединений сернистой и серной кислот, их солей. Страдают животные, растения и почвы, преждевременно разрушаются здания, портится одежда, и даже металлы не выдерживают сроков. Стекая в реки с дождями и полыми водами, соединения серы травят рыбу, уменьшают число питьевых источников, которых и без того становится мало. Но кто все это считал? И в какую, главное, цену выходят реальные потери за счет снижения работоспособности людей?

Воздух, пища и вода – вот три кита, на которых держится жизнь всех нас. Без пищи, впрочем, человек может протянуть около месяца, без воды – три дня, а без воздуха – всего несколько минут. Для окислительных процессов, протекающих в нашем организме, нужен кислород, и, чтобы добыть его, мы должны перегонять ежедневно через легкие около двадцати пяти килограммов чистого воздуха. Но что такое «чистый воздух»? Есть ли он сейчас в городах или где-либо? Ведь даже с относительно чистым возду-

хом за каждую минуту мы вдыхаем около сорока миллионов пылинок.

Твердые частицы, в которых подчас содержатся самые настоящие отравляющие вещества, оседают в легких, всасываются в кровь, постепенно ухудшают состояние здоровья, жизнестойкость, эластичность и даже цвет бронхов.

Твердые частицы, реющие в воздухе, поглощают часть солнечных лучей, жизненно необходимых для нормального формирования детского организма...

Время от времени мы узнаем о жертвах «смога».

Отравленный воздух в смеси с неподвижным туманом за несколько ноябрьских дней 1952 года убил в Лондоне около четырех тысяч человек. Задыхаются от «смога» жители Парижа, Лос-Анджелеса и Данора, долины Мааса (Бельгия) и По (Италия). И не только задыхаются. «Смог» – медленная смерть, расстрел в рассрочку. Угарный газ, непредельные углеводороды, свинец делают «смог» одним из наиболее опасных легочных ядов и канцерогенных, то есть вызывающих рак, веществ.

Смертность от рака легкого в городах США, над которыми образуется «смог», увеличилась за двадцать лет в десять раз, в Англии и Швейцарии за пятьдесят лет – в сорок раз.

Проблема загрязнения воздуха в ряде капиталистических стран приобретает значение национального бедствия.

Наше государство, конечно, никогда не допустит такого. Еще в 1949 году Совет министров СССР принял постановление «О мерах борьбы с загрязнением атмосферного воздуха и улучшения санитарно-гигиенических условий населенных мест». Создана Государственная санитарная инспекция, чистоту воздуха блюдут врачи, ученые, инженеры, юристы.

За последние годы построены и введены в действие десятки тысяч рекуперационных установок и аппаратов, улавливающих вредные газы, пыль и золу. Только в Москве, например, действует более четырех тысяч новых таких сооружений. Электрическая энергия и газ, с невиданным размахом внедряемые в наш быт и производство, помогают нам легче дышать.

Сколько удушливых дымов устранил один только бухарский газ! Лишь на Урале полностью газифицировано пятьдесят городов.

В Москве перешло на природный газ более восьмисот промышленных предприятий и около тысячи котельных.

В результате большой работы, проведенной в столице Казахстана, скажем, загрязненность алма-атинского воздуха уменьшилась в десять раз.

И все же состояние воздушного бассейна сейчас таково, что содержание вредных веществ в районах Магнитогорского, Кузнецкого, Карагандинского, Новолипецкого и иных металлургических комбинатов еще значительно.

В наш век все ускоряющегося и неостановимого развития индустрии, должно быть, невозможно полностью избежать загрязнения воздушного бассейна, но свести это загрязнение до минимума, устранить вредное влияние дымов и газов на здоровье людей мы обязаны. Гуманистические принципы нашего общества, промышленная экономика, технический и научный прогресс подсказывают пути к решению этой задачи. Вот, например, один из аспектов проблемы. В отходах, отравляющих и засоряющих наш воздух, часто содержится ценнейшее сырье, которое при умелом подходе с немалой выгодой можно обратить на пользу обществу.

Все, конечно, знают, сколько дряни выбрасывают в атмосферу цементные заводы, засыпая все вокруг себя. Но можно ли назвать «дряню» эту серую пыль, что сушит горло, оседает на легкие тысяч людей? Нет, это полноценный продукт, полубожиговое сырье. Совсем недавно наша промышленность строительных материалов распыливала в воздухе столько цемента, сколько до войны получали его все заводы страны.

Нынче электрофильтры, установленные за вращающимися печами, улавливают за год около шести миллионов тонн цементной пыли. И мы располагаем тут еще солидными резервами.

А общее количество серы, выбрасываемой нашими металлургами с отходящими газами, в несколько раз превышает потребности всей промышленности в таком дефицитном продукте.

Охрана атмосферного воздуха начинается с предприятия, даже еще раньше – с конструкторского бюро. Пришло время считать действительно современным тот технологический процесс, который исключает или сокращает до минимума выброс вредных веществ в атмосферу. В тех случаях, когда совершенно невозможно избежать вредных летучих отходов, технология должна предусматривать максимальную их очистку. Сделать эти два принципа непреложным законом – вот основная и, правду сказать, трудоемкая, сложная задача.

Пока мы очень далеки от реализации этих принципов. То тут, то там по разным, так называемым «объективным», причинам предприятия и агрегаты вводятся в эксплуатацию без очистных сооружений, а огромные средства, отпускаемые государством, не осваиваются.

Строительство и испытание опытных установок растягивается на долгие годы, еще медленно внедряются уже апробированные способы улавливания вредных газов и пыли. В течение пяти лет, скажем, не могли пройти промышленных испытаний методы извлечения сернистого ангидрида. В других случаях делу мешают примитивизм, самодельность, грубейшие конструкторские ошибки.

Моя задача заключается не в том, чтобы вывалить ворох негативных фактов, навязать свое дурное настроение читателю и оставить его без надежды. Хочу высказать ряд конкретных предложений, которые давно уже созревают в среде людей, болеющих за родную природу.

Точка зрения, высказанная писателем, выполняет обычно скромную роль первого сигнала, и я, возможно, буду в данном случае неоригинальным, если предложу для начала некоторые организационные меры.

У нас до сих пор нет солидных теоретических основ оздоровления атмосферы. Было бы правильно, если бы Академия наук СССР возглавила эту работу, объединила разрозненные исследования, устранила существующий ныне параллелизм. Явно не справляется со своими обязанностями Всесоюзное объединение по очистке газов и пылеулавливанию. Запросы промышленности в области газоочистки, напри-

мер, удовлетворяются не всегда и не полностью. И едва ли разумно дальше держать это объединение в ведении Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Было бы целесообразно создать общегосударственную межведомственную организацию, которая выполняла бы основные научно-исследовательские и проектные работы, координировала и направляла деятельность отраслевых институтов и конструкторских бюро. Необходимы нам также предприятия, специализирующиеся на изготовлении оборудования по очистке газов.

Очень важный вопрос – кадры. Часто проблемами очистки вредных летучих отходов занимаются у нас люди, не имеющие специальной подготовки. А спешная переквалификация или совместительство в такой важной отрасли современной техники выходят нам боком. Следовало бы в нескольких вузах страны создать отделения или даже факультеты для подготовки специалистов по очистке газов и аэрозольным системам.

Смысл и значение борьбы за чистый воздух трудно переоценить, и, как во всяком серьезном деле, тут необходим контроль, постоянное внимание. Между тем нет сейчас ни одного человека, который мог бы в подробностях, с итоговой статистикой обрисовать положение в стране, охарактеризовать динамику этой работы.

Наверное, Центральному статистическому управлению следует все же собирать сведения хотя бы о выполнении сроков строительства газоочистных и пылеулавливающих сооружений, а также итожить отчеты об извлечении ценных продуктов из летучих отходов. Тогда сразу станет видно, чем мы дышим.

Охрана воздуха как части родной природы – большая, многоплановая тема. Можно было бы написать отдельную статью, например, о проблеме выхлопных газов. Во многих городах, странах двигатели внутреннего сгорания становятся основным источником летучей отравы. И от этой беды тоже больше всего страдают дети. Зарубежные врачи установили, что городских детей умирает от легочных заболеваний в тридцать раз больше, чем деревенских. Они связывают этот факт с тем обстоятельством, что вы-

хлопные трубы автомашин расположены как раз на уровне верхнего бортика детских колясок...

В наших городах автомобилей пока меньше, чем на Западе, но в ближайшие годы число их резко возрастет. Сейчас у нас в стране проходят государственные испытания нейтрализаторы, снижающие токсическую силу выхлопных газов автомашин. Но пора уже хотя бы начать разработку двигателей, которые бы обеспечивали наибольшую полноту сгорания топлива, пора подумать о производстве антиоксидантных присадок, о том, чтобы обеспечить работников ОРУДа и ГАИ газоанализаторами, пора узаконить предельные нормы концентрации вредных веществ в выхлопных газах наших автомобилей.

Коснусь также более общих вопросов городского бытоустройства. Чистота воздуха, которым мы дышим, может зависеть и от архитектора, и от поворотливости работников и депутатов городского или районного Советов, и от каждого из нас, в конечном счете. Архитектор может учесть рельеф строительной площадки и микроклимат района, а может и не учесть.

Тогда вместо широких, солнечных, хорошо продуваемых улиц и кварталов встанут на века каменные коридоры и колодцы с застойным вредным воздухом. Важно также правильно, учитывая направление и силу преобладающих ветров, расположить промышленные предприятия.

Сменим, однако, тему. Нравятся ли вам подземные переходы, что появились за последние годы в Москве и других городах? Даже с трибун иногда слышатся упреки: вот, мол, людей загоняют под землю, а машины под солнышком катятся. Должен признаться, что мне лично подземные переходы очень нравятся.

Они не портят облика городов, зимой в них потеплей, а летом попрохладней, чем на улице, чисто, просторно и не озираешься – никто тут тебя не задавит и не станет изнашивать твое сердце пронзительными свистками. Но самое главное – эти переходы сокращают время стоянок автомашин у светофоров. Водители не газуют, взбадривая моторы при трогании с места, не тянут на первой передаче, когда выхлоп вредных газов резко увеличивается.

Чистота воздуха зависит еще и просто от того, любим или нет мы свой город, заботимся ли о себе и своем здоровье. Харьковчане, например, перевели весь общественный транспорт на электрическую тягу. Троллейбусы стали обслуживать центр, а трамваи – окраины, и воздух в городе заметно сделался чище. Черниговцы тоже пустили троллейбусы и, кроме того, как омичи, новокаховцы, фанатически озеленяют свой город.

О зелени надо бы сказать особо, хотя эта тема достойна целой книги. Деревья, кусты и цветники не только украшают город или поселки, но и делают огромную полезную работу.

Фильтруют воздух, собирая на листья пыль, выделяют фитонциды, убивающие вредных микробов, смягчают температурный режим города, пригашивают шумы. Деревья воспитывают и помогают думать, но главное вдругом – гектар сада или сквера поглощает в час восемь килограммов углекислого газа – столько, сколько выдыхают за этот же час двести человек, заменяют этот отравляющий газ чистым кислородом.

Сколько душевного и телесного здоровья берегло зеленое убранство киевлянам или рижанам и как неприятно выглядят многие улицы Архангельска, Перми, Иркутска! А какая красотища могла бы расти по этим городам: черемуха, береза, рябина, ели, кедры! И когда-нибудь, наверно, пригодность руководителя городского хозяйства будут оценивать по тому, насколько он смог озеленить город.

Конечно, нелегкое и недешевое это дело – прижить и вырастить дерево на городской земле. И мы подчас безумно расточительны.

Только вмешательство прессы приостановило недавно уничтожение части Тимирязевского парка в Москве. А помните, как поэт вместе со строителями Кузнецка мечтал, чтоб вырос там город-сад? К сожалению, по разным причинам города-сада не получилось: в современном Новокузнецке дымно, пыльно и голо. А этой весной на улицах города спилили под корень тополя, посаженные еще первостроителями. Деревья, видите ли, сильно пускали пух. Ну ладно, строители тогда ошиблись – посадили женские экземпляры, – но зачем было их срубать?

Обкорнать, как следует, образовались бы шаровидные кроны с крупным ярко-зеленым листом и долго бы не давали семян.

Воздух, которым мы дышим, – особая часть нашей природы. Оскудение почв, лесов или рудных ископаемых может и не коснуться тебя сию минуту, ущерб подойдет к тебе или твоим детям позже и очень сложными экономическими и социальными путями. Люди, даже обитающие в районах, где эти природные ресурсы истощаются, могут вообще лично не почувствовать, не ощутить беды. Воздух же – ежесекундная твоя потребность, и потеря его чистоты немедленно сказывается на здоровье каждого человека, живущего в отравленной или запыленной зоне. Поэтому-то мы должны добиваться повышенной ответственности за порчу этой природной среды, строгих мер к злостным нарушителям законности.

И, наконец, еще одно предложение, которое уже не раз аргументировалось в печати, и я повторю его здесь потому, что считаю вопрос безотлагательным. Борьба за чистоту воздуха, так же как за сохранение всей природы, – не кратковременная кампания, указом-приказом тут ничего не сделаешь, это только в детских сказках вдруг передвигаются горы. Для решения нашей подшефной проблемы есть в реальной жизни единственный путь – кропотливая, подчас мучительно тяжелая работа, в том числе и воспитательная, чрезвычайно необходимая нашему обществу на теперешнем этапе его развития. Пока эта работа ведется беспланово, разрозненно, с бесчисленными недоделками и ошибками. И я убежден в том, что возглавить ее должен межведомственный, вернее, надведомственный орган, обладающий большими правами. На Украине, между прочим, уже пришли к этому – недавно там принято решение о создании Государственного республиканского комитета по охране природы. Единая государственная система охранительных учреждений поможет приумножить природные богатства социалистического Отечества, сохранить его почвы, воды, леса, его воздушный бассейн.

Слово о кедре

Молодые вологодские журналисты прислали мне свою комсомольскую газету, в которой напечатана заметка «Погибающая красота». Недалеко от Вологды гибнет Чагринская роща сибирского кедра, гибнет не от старости или болезни, а от небрежения и безнадзорности. По корням кедров грохочут траками колхозные трактора, лесная подстилка вымолачивается скотом, в ствол раменного красавца загнаны по самую сердцевину кованые гвозди... Тут самое бы время подпустить слезу, повздыхать над умирающим великаном, но не будем подставлять бока демагогам всех сортов, которые пытаются изобразить защитников нашей природы такими сентиментальными чудачками, которые якобы трясутся и плачут у каждого срубленного дерева, кликушествуют над всякой сломанной веточкой. Таких блаженных «защитников» нет и никогда не было. Если зарастают ольхой луга и пашни, кто же станет этот «лес» жалеть и защищать? Когда дерево поспело, его надо рубить, как бы красиво оно ни было.

Те, кто в счет ставят себе задачей вдумчиво и объективно разобраться в наших нелегких лесных проблемах, ратуют за правильное, научное лесопользование, потому что леса, занимающие больше половины территории страны, эксплуатируются нынче плохо, временщически; мы пока не умеем разумно, дифференцированно вовлекать в хозяйственный оборот огромные резервы лесной целины, не научились быть рачительными хозяевами этого бесценного живого сырья...

Однако вернемся к «погибающей красоте» и поговорим о ней с обстоятельностью и спокойствием, необходимыми во всяком серьезном деле. Да, кедр сибирский – красивое, могучее дерево, навевающее своим видом элегическую грусть, настраивающее человека на торжественный лад. Еще полтора века назад Василий Дмитриев, один из первых радетелей кедра сибирского, писал: «Славьтесь, места, любимые солнцем, гордитесь, высоты ливанские, своими кедрами;

не видя вас в моем отечестве, на матерой земле, России принадлежащей, не смею и величать вас, но зато в глазах моих тенистый кедр богатой Сибири не уступит вам в красотах своих и мне вас заменит; какое величие в осанке сего дерева, какая священная тень в густоте лесов его!»

И русские монахи издревле завозили к нам кедр из Сибири и с Урала, чтоб посадить его вблизи своих монастырей и скитов.

Помню, приехал я несколько лет назад на строительство Котласского целлюлозно-бумажного комбината и рядом со стройкой, у стен старинного Коряжемского монастыря, увидел прекрасную кедровую рощу стволов в триста.

А однажды я случайно натолкнулся на кедровую рощицу в совсем уж неожиданном месте – на берегу озера Сенеж. Здесь, рядом с Москвой, на традиционно дачном берегу, растут три десятка кедров с великолепно развитой кроной, плодоносят почти каждый год, гремят шишками по железным крышам, и дачники даже не знают, какое редкое добро им сыплется сверху. Здравствует также куртинка кедров у Копнинских прудов под Загорском.

Еще ближе к столице, в районе станции Турист, кто-то вырастил могучий кедр-одиночку.

Я шел как-то на лыжах подмосковным лесом, задумался и вдруг остановился, почувствовал, что на меня словно бы валит туча. Необъятная густая крона кедра загораживала полнеба, темный ствол входил в снег мощной чугунной колонной, и было в облике дерева какое-то нездешнее величие, спокойствие и простота.

Я долго не мог сойти с места. Потом попробовал сосчитать на корявом стволе зарубы и поклепки лыжными палками. Числа им не было... Кстати, москвичи, никогда не выдавшие кедров, могут полюбоваться ими в Кремлевском парке. Там, как раз напротив Ивана Великого, растет несколько великолепных молодых деревьев. Стоят они осанисто, гордо, словно добры молодцы в собольих шубах.

Воистину кедр очень красив, и никогда хлебом единым не был жив человек. Сибиряки отдали должное этой красоте, создав пословицу: «В ельнике – трудиться, в березняке – веселиться, в кедряке – богу молиться». Но эти же трез-

вые и практичные мужики знали: одной красотой и молитвами сыт не будешь. Они давным-давно заметили щедрость кедра, увидели, что кедровый орех – основная предзимняя пища соболя, белки, медведя, ронжи, бурундука, другой таежной живности, что прекрасные пищевые качества кедрового семени может с успехом использовать человек. И когда-то это семя заготавливалось в невероятных количествах.

По данным Института биологии Уральского филиала Академии наук СССР, ежегодный валовой сбор кедрового ореха в дореволюционной России составлял 200–220 тысяч тонн. А мы в 1964 году собрали всего около двенадцати, в 1965-м – семь, в 1966-м – девять тысяч тонн. Пока сравнение явно не в нашу пользу, особенно если учесть, что приблизительный годовой урожай кедрового ореха в лесах Российской Федерации определяется в полтора миллиона тонн!

Между тем наука установила, что мало продуктов может потягаться с кедровым орехом по калорийности и вкусу. «Кедровые сливки», например, которые делают в домашних условиях сибиряки, чуть ли не в три раза питательнее сливок из коровьего молока! Если сравнить в сопоставимых единицах калорийность яиц, говядины, молочных сливок, шпика и «кедровых сливок», то получится следующий выразительный ряд: 158, 214, 243, 615 и 688! Поклоняясь экзотическим бобам какао, давайте не будем прибедняться: у нас есть свой, северный, русский заменитель.

Жирность ядрышек кедрового ореха (по весу) составляет шестьдесят восемьдесят процентов, но даже обезжиренный жмых – замечательный пищевой концентрат, на девять десятых состоящий из белка, крахмала, глюкозы, причем белка в нем почти в четыре раза больше, чем в пшенице. Ученые определили также, что кедровый орех содержит различные вещества в комплексе, способствующем росту человеческого организма, предупреждающем и лечащем туберкулез, «бери-бери», почечные заболевания.

О целебных свойствах сибирской ореховой соны народ знает давно, и недаром ее смолистый сок назван «живицей». Сырая кедровая живица хорошо лечит ожоги, порезы, гнойные раны,

а хвоя – ревматизм и цингу. Еще в XVIII веке об этих качествах кедра писали первые исследователи Сибири Петр Паллас и Семен Крашенинников. В годы Великой Отечественной войны врачи клинически проверили народный опыт.

Наркомздрав СССР официально признал живицу ценным лечебным препаратом, особенно эффективным при лечении тяжелых ранений голени, и это лекарство нашло широкое применение в военных госпиталях.

Кедровая живица, кроме того, – ценнейшее техническое сырье. Из нее получают «кедровый бальзам» – полноценный заменитель импортного канадского – и оптические масла, незаменимые при научных исследованиях: капля такого масла просветляет микрообъекты, увеличивает разрешающую силу приборов. Оно прозрачно, не преломляет лучей и используется также при склеивании телескопических стекол.

Прошу прощения у читателя за специальные подробности, но тема требует больше точных сведений, чем эмоций.

Кедр полон тайн. Никто не знает, почему в кедровой посуде долго не скисает молоко, почему в шкафу из кедра не заводится моль, почему клещ и комар боятся эфирных запахов, исходящих кедром, а пчелы, наоборот, лучше всего себя чувствуют именно в кедровом улье.

Кстати, единственное у нас карандашное дерево – кедр. Мягкая, красивая по текстуре, розоватая древесина кедра идет также на музыкальные инструменты, мебель, тару под мед и масло на аккумуляторный шпон.

Все же главная, наиболее очевидная ценность этого дерева, – орехи. Они используются пока только в кондитерской промышленности. И сейчас ни за какие деньги не достать даже грамма кедрового масла, хотя когда-то по декрету, подписанному В. И. Лениным, было открыто несколько заводов, вырабатывающих этот ценнейший продукт. Кедровое масло – единственный у нас полноценный заменитель валютного оливкового, столь необходимого при консервировании различных продуктов.

И нам непростительно сбрасывать со счетов наши неисчерпаемые резервы замечательного дикоросного жира...

Нет, видно, толковые это были мужики – сибирские старожилы, – которые возле своих деревень веками холили кедровые рощи, заложив начала оригинального, нигде больше в мире не встречающегося хвойного садоводства. Припоселковые кедрачи состояли в общественной собственности, и старики блюли в них строжайшие законы: не разрешали пасти скот и разводить костры, строго наказывали за преждевременный шишкобой. Как золотой сон своего детства, я вспоминаю кедросады под Томском – разреженные, чистые, без единого мертвого сучочка.

Однако не будем увлекаться. То в Сибири.

А мы, живущие на европейской территории страны, можем говорить о пользе кедра скорее теоретически. И все же мы должны ратовать за сохранение существующих у нас кедровых насаждений.

Воспоминания недалекого прошлого свидетельствуют о том, что даже скромные рощицы способны приносить немалую пользу.

В Коряжме я разыскал древнего деда. Он, ссылаясь на множество свидетелей, клялся, будто роща давала «по сто кулей шишек в год, на десяти возах отвозили». Николай Иванович Жилин, председательствовавший в свое время в колхозе «Аврора», на территории которого расположена упомянутая выше Чагринская роща, получал от продажи орехов до ста тридцати тысяч рублей старыми деньгами, причем часть урожая шла колхозникам на трудодни. А ухода за этим своеобразным северным садом никакого не требовалось.

И совершенно правильно делают местные советские работники, начавшие в последние годы заботиться о кедре. Решением Великоустюгского райисполкома на той же Вологодщине взяты под охрану рощи у деревень Елакино и Катаевская мельница, облисполком объявил заказником многострадальную Чагринскую рощу, но этого мало сейчас. Куда важнее обеспечить охрану и добиться соблюдения статуса заказника...

Мы обязаны также бороться за посадку новых кедровых рощ, хотя, возможно, и не дождемся обильных урожаев. Тут возникает один важный этический вопрос. Если мы живем лишь для себя и только сегодняшним днем, то вообще

все на свете, не говоря уже о нашем кедре, – трын-трава. Но если мы хотим серьезно думать о нашем времени, которое неразрывно связывает прошлое с будущим, если мы будем помнить, что наши дети должны жить счастливее, лучше нас, то поневоле в половодье наших больших забот маленьким ручейком втечет мысль о кедре. И вот почему.

Без леса русский народ не жил и не будет жить никогда. Культурные ландшафты даже очень отдаленного будущего непременно включают в себя оптимальные лесные площади. Это будут надежные стражи вод, почв и здоровья людей – парковые зоны вокруг городов и сел, защитные полосы по озерам, рекам и дорогам, живые заслоны на пути оползлов и селей, мощные зеленые массивы на водоразделах. И кедр – самое наше высокое, «кубатуристое» и долговечное хвойное дерево – обязательно станет основной, главной породой в таких лесах.

Посудите сами. Живет кедр в три-четыре раза дольше сосны, ели, пихты, не говоря уже об осине или березе. Будет просто экономичнее, выгоднее иметь в основе лесов будущего самое долгоживущее дерево тайги, обладающее к тому же декоративными и другими качествами.

Не все, наверное, знают, что климат и, за небольшими исключениями, почвы значительной части Европейской России чрезвычайно благоприятны для кедра, который не любит лишь сухости воздуха, черноземов и неувлажняемых песков. Причем при высокой влажности воздуха кедр прекрасно растет даже на камнях.

Никогда не забуду лесного феномена, встреченного мною однажды высоко в горах Алтая.

Кедр-исполин стоял на огромной базальтовой скале, оплел ее толстыми корнями и добывал, высасывал питательные вещества из-под своего пьедестала.

Кедр теневынослив, но с младенческих лет не боится открытого солнца. Он хорошо растет на суглинке и супеси, на сырых дренированных почвах, легко переносит временные затопления.

Морозы в пол сотни градусов ему нипочем. И не случайно почти повсюду: от районов Курска, Тулы, Горького, Ижевска, Уфы и до Полярного круга – встречается этот интересный реликт.

Иногда одиночное дерево, посаженное в незапамятные времена безвестным любителем, иногда старинные помещичьи и монастырские рощи, иногда – и это очень радует! – молодые древостои, выращенные за годы Советской власти. Больше скажу. В Кировской, Архангельской и Мурманской областях, в Карелии и Республике Коми растет кедр самородный, живущий на этих землях от века.

Тут возникает одна любопытная проблема: исчезает он или распространяется? К сожалению, исчезает, потому что старые деревья погибают, а естественное возобновление пока отмечено только в Савватеевской роще на Соловецких островах. Кедру трудно дать потомство, семя его тяжелое и не имеет крылышек. Так что кедр, пока он не укоренился у нас как следует, не выжить без человеческой заботы.

И многих уже не надо агитировать за кедр.

Сотни любителей по сю сторону Урала занимаются кедроводством в часы досуга. У меня самого в заветном уголке Подмосковья до недавнего времени жило триста кедренышей.

Большую часть их я уж пораздавал, поразвез в разные места – не жалко, лишь бы росли. И в 1966 году, когда я поехал с делегацией в Японию, то всю дальнюю дорогу берег семь семилетних кедров. С разрешения японских властей я посадил их на священной горе Фудзи, в районе пятой станции, мечтая когда-нибудь приехать снова туда и посмотреть...

Выращивают кедр многие наши писатели, ученые, садоводы, лесники и лесничие. Но кедроводство в Европе постепенно переходит из области любительства в обыденную практику лесных хозяйств. Ленинградский лесовод Михаил Игнатенко пишет мне: «Только за последние три года мы посадили в лесопарковой зоне города-героя 20 тысяч саженцев и 5,5 тысячи крупномерных экземпляров кедра сибирского.

У нас уже повелось проводить эту работу в юбилейные, дорогие нам даты. В октябре 1966 года, отмечая 25-летие Дороги жизни, которая спасла блокадный Ленинград, мы по обе стороны этой легендарной трассы посадили 1100 семилетних кедров. В честь 50-летия Советской власти недалеко от поселка Колтуши

закладываем еще одну кедровую рощу. Пусть эти кедры стоят века, символизируя могущество русской земли!»

Около миллиона молоденьких кедров воспитывается сейчас в питомниках Подмосковья, в частности на территории будущего национального парка «Русский лес». Не первый год культивируют кедр белорусские лесоводы, но все это только начало. Каждое областное управление лесного хозяйства, входящее в «кедровый пояс», располагает сейчас семенами, во многих местах создаются кедровые питомники.

Кедроводов России ждут увлекательный труд и неожиданные открытия. Очень интересной и перспективной может оказаться, например, работа по прививкам кедра. «Это еще зачем? – спросите вы. – Прививать кедр!» А затем, что ждать, пока кедры начнут плодоносить по природе своей, довольно долго.

В то же время черенок с вершины взрослого кедра, привитый на подростковое деревце, хорошо приживается, быстро ветвится и уже через три-четыре года начинает давать шишки.

Мало того, кедр охотно сживается с обыкновенной сосной, растет на этом, казалось бы, необычном подвое еще быстрее и тоже дает ореховый урожай! Вблизи станции Раздоры, под Москвой, кедровый привой 1958 года вымахал на сосне уже на четыре-пять метров и по осени сплошь осыпан крупными шишками.

Ко мне идет много писем сейчас. Люди интересуются кедром, его лечебными свойствами, условиями произрастания. И почти в каждом письме вопрос: как прививать кедр? На этот счет есть специальные инструкции, которые обобщают небольшой пока опыт – ведь дело это совсем новое. Для тех, кто хочет заняться прививками кедра, я хочу дать несколько первых советов.

Лучшее время прививок – первая половина мая, время, когда в подвое (маленьком деревце сосны или кедра) начинает гнать смолы и ростовые точки оживают. Кое-где прививают кедр «врасщип», однако наиболее эффективен другой способ – «вприклад», сердцевинной черенка на камбий подвоя. Приживление небольшой кедровой метелочки с почкой надо делать на главном верхушечном прошлогоднем побеге.

Хорошо, если его толщина будет миллиметров восемь-десять.

Приступаем. Плавню срезаем одну сторону черенка до сердцевинки. Длина среза – пять-семь сантиметров. С другой стороны привоя снимается кора на два-три сантиметра. Далее на подвое ножом отделяется кора, обнажается полоска камбия, к которой и прикладывается сердцевинной кедровый черенок, а к нему прижимается кора подвоя. Пробовали место прививки обматывать изоляционной лентой или пластырем, однако оно не дышало и часто омертвлялось. Практичнее оказались мягкие нитки, обыкновенные штопальные обрывки.

Не слишком туго, не повреждая коры, надо примотать черенок к стволу, потом обмазать место прививки садовым варом или облепить пластилином.

Верхушечные почки подвоя в первый год ни в коем случае не срезаются соки дерева хорошо пойдут вверх и не минуют кедровый черенок. Нитки потом распадутся сами, а если останется что, то осенью их можно аккуратно удалить. Этот способ очень прост и надежен, обеспечивает 95-процентную приживаемость.

Думаю, что те, кто имел когда-нибудь дело с садом, смогут успешно прививать кедр даже по моему описанию. Да и непосвященные любители, наверно, справятся с этой нехитрой операцией – все же освоить прививку кедра легче, чем, скажем, научиться по описанию завязывать галстук.

Прививки таят в себе интереснейшие возможности. Любовь кедра к влаге можно использовать не только при освоении осушенных земель лесомелиоративного фонда. Те относительно сырые низины, которые дорого или трудно осушать, можно занимать молодым кедром и прививать на него старые кедровые почки. Сухие водораздельные места в зоне достаточной влажности воздуха, неподходящие для орошения и сельскохозяйственного освоения, хорошо покрывать сосной с последующей кедровой прививкой. Этим способом можно вовлечь в полезную работу другие бросовые земли – смытые до материнской породы склоны, каменные осыпи, заовраженные места.

Корневая система кедра сибирского, обладая исключительной пластичностью, не подведет нас, сделает полезное дело, не говоря уже о том, что в перспективе мы будем иметь такое чудо природы, каким является кедровый орех.

Специалисты заметили также, что на заботу человека кедр отвечает добром. Если в естественных условиях он плодоносит раз в три-четыре года, то в культурных, например, в Мурманской области, урожаи бывают по несколько лет подряд. Ежегодное, хотя и разной интенсивности, плодоношение наблюдается в Толгской роще (Ярославская область), в Выповской (Владимирская), в Заякинской (Удмуртия).

Кроме того, кедр у нас растет значительно быстрее, чем в Сибири, и раньше достигает возмужания. В Чуприяновском и Воронцовском лесничествах Калининской области половина не привитых кедровых деревьев начала цвести с двадцатипятилетнего возраста.

Отмечаются случаи и более раннего плодоношения. Михаил Игнатенко из Ленинграда сообщил как-то в журнале «Лесное хозяйство», что семь его питомцев под Стрельной начали цвести в девятилетнем возрасте, а на десятом году жизни у одного из них образовалась шишка с вполне здоровыми семенами. Замечено также, что орехи европейских кедровников, например, в Никольске Вологодской области, в полтора раза крупнее орехов сибирского происхождения.

А сколько же можно получить этого добра с одного дерева?!

Как правило, это двадцать пять – тридцать килограммов, однако науке известны случаи, когда хорошо развитый «культурный» кедр дает до центнера чистого ореха, и тут опять открывается большой простор для экспериментирования.

Об огромных возможностях чудо-дерева говорит тот факт, что оно может давать ценный пищевой продукт до глубокой старости. Несколько лет назад я с группой друзей побывал в старейшем нашем кедровнике – Кыгинском.

Царственные кроны уходили на сорокаметровую высоту в небо, а под пологом неба стояла первозданная тишина. Чтобы обойти вокруг грузные, фундаментальные корневища, надо было сделать пятнадцать-двадцать шагов.

Около пятисот лет прожил этот кедр, однако он еще дает устойчивые и обильные урожаи.

У корней одного из гигантов мы собрали полный мешок шишек...

Совершенно очевидно, что кедр сибирский для европейских районов страны – очень перспективная лесная и, может быть, садовая порода. Разве плохо вырастить несколько кедров на приусадебном, садовом или школьном участке? Вот вспоминаю детство. Во многих сибирских рабочих поселках, в селах и маленьких городках росли на задах огородов кедры. И что интересно – в тайге, бывало, нет орехового урожая, а на огородах – осыпной. Кедровые деревья, растущие свободно, образуют шаровидную крону, плодоносят чаще, чем в лесу, в особо счастливые годы образуя по четыре-пять шишек в пучке, осыпая ими ветки до самых нижних сучьев. Причем особенно богатые, временами ежегодные урожаи давали припоселковые кедровники. И разве плохо бы иметь большие культурные насаждения кедра вблизи сел нашего Европейского Севера?

Как и все растущее, кедр требует питания и хорошо отзывается на удобрения. Михаил Игнатенко, о котором я уже упоминал, взял на учет все кедры Ленинградской области. Они растут в парках Петродворца, Гатчины, Приютино, в окрестностях поселка Рожино и на побережье Финского залива. Выяснилось, что те деревья, которые получают удобрения вместе с огородными или садовыми культурами, плодоносят чаще и обильнее. Один из подопытных кедров как-то был удобрен фекалиями. В 1962 году на нем образовалось 319 шишек, в 1963-м – 238, в 1964-м – 326.

Его сосед-ровесник, не получивший удобрений, дал соответственно всего 34, 23 и 67 шишек.

Охранять существующие кедровые рощи, закладывать новые – дело благородное, красивое, патристическое, и наша молодежь, школьники могли бы выступить инициаторами.

Как было бы интересно заложить кедровые рощицы на всех пришкольных участках «кедрового пояса»! Если первоклассник своими ручонками посадит кедренок-двулетку, в пятом классе

сделает на нем прививку, то к окончанию школы он увидит плоды своего труда.

А главное, он научится любить лес и дерево, уважать все живое, станет духовно богаче, сильнее привяжется к родной земле.

Мысленно я переношусь на десятки лет вперед, куда-то к столетнему юбилею нашего государства, и вижу по городам и весям прекрасные кедросады. Своей неповторимой красотой они будут пополнять духовный рацион наших внуков, благоухать по веснам стойкими смоляными ароматами, а каждую осень покрываться золотыми гроздьями плодов. Вот бы дожить!..

В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

Приангарскую тайгу вырубали и жгли, вокруг перемалывалась траками почва с весенними травами и цветами, а за пологом палатки кустился шиповник, цвели роскошные саранки, несравненный багульник – даурский рододендрон, жарки, а по-нашему, среднесибирскому, «огоньки», таежные орхидеи, ирисы русские...

– Друзья! – обращался к собравшимся братьянам-новоселам молодой инженер-дендролог Герман Тафинцев. – Ну почему вот это, например, чудо не должно расти на клумбах будущего нашего города? Гляньте, какие у него причудливые листья и лазурные цветы! По-ботанически оно называется довольно скучно – «дельфиниум высокий», но вы послушайте, какие имена дали ему разные народы! Наши предки, издревле употреблявшие дельфиниум в народной медицине, назвали его «живокостью», немцы – «рыцарскими шпорами», англичане – «забавными шпорами». Древние греки считали «дельфиниум высокий» цветком печали. По-своему именуют его французы – «ножка жаворонка», но, наверно, красивее всех зовут это растение буряты – «бэри с эсэг», то есть «невестин цветок»... Мы обязаны украсить город будущего здешней чарующей красотой – местными деревьями, кустарниками, цветущими дикоросами. Нам только начать, друзья, а потом пойдет! Сибирские растения со временем будут украшать и другие города!..

Идея и вправду была замечательно хороша, хотя и не очень-то нова. Выдающийся ученый XVIII века, один из первых исследователей растительности Сибири, Петр Паллас писал:

«...Россия имеет в своих восточных и южных областях, особливо в обширной Сибири, такое великое множество изрядных, отчасти только сей стране присущих природных дерев и кустов, что в состоянии насадить оными, не заимствуя иностранных родов, весьма прекрасные сады и рощи, которые красотою и переменою ни в чем Аглинским не уступят...»

Посмотрим повнимательней на деревья, кусты и цветы, на зелень, окружающую нас, и вместе подумаем о настоящем и будущем этого немаловажного участка социалистического строительства.

О пользе зеленого убранства, особенно для пыльных, дымных, шумных и тесных городов, не стоит слишком распространяться – она общеизвестна. Деревья, кусты и травы поглощают углекислоту и выделяют живительный кислород, ионизируют и фильтруют воздух, испускают фитонциды, убивающие болезнетворных микробов, выравнивают перепады микроклимата, приглушают шумы, ослабляют силу вредных излучений. И есть еще у «зеленого друга» ценности, не поддающиеся никаким подсчетам, но столь же неоспоримые, многообразные и незаменимые.

И как бы мы ни любили, как бы ни стремились сохранить «дикую» природу, похоже на то, что земля будущего почти повсеместно захорошеет культурными ландшафтами. Облагороженная разумной и доброжелательной деятельностью человека природа таит в себе новые качества и достоинства. Вспоминаю свои смутные мальчишеские ощущения, когда после девственной тайги вдруг открывается твоему взгляду просторная поскотина за околицей сибирского села, обрамленная кедросадом. Столетиями крестьяне ухаживали за этим лесом – в нем ни большого сучочка, ни валежинки, а шаровидные кроны величественных деревьев так правильны и хороши, что кажется, их подстригали какие-то умные и добрые великаны.

А в юности, помнится, не раз проезжая бесконечной железной сибирской дорогой, с нетер-

пением ждал я Петропавловска. У вокзала там – после пустых зауральских земель – было что-то вроде рая. Вяз мелколистный, кизильник и другие неизвестные мне кустарники представляли кубическими, пирамидальными, яйцевидными, ромбическими образованиями, сгруппированными в радостные по общему тону сочетания. Этот скромный, продуманный в мельчайших деталях скверик нес на себе светлую печать любви, терпения и трудолюбия; мне всегда хотелось сойти с поезда, разыскать и поблагодарить за праздничное впечатление человека, который все это затеял и осуществил. Позже я узнал такие шедевры садово-паркового искусства, как Куское и Архангельское, Тростянец и Павловск, посмотрел сказочный Версаль и великолепный Сан-Суси, побывал в польских Лазенках, шведских пейзажных парках, в древних садах Киото, поселяющих в душе человека тихую радость и умиротворение...

Озеленением у нас занимаются, можно сказать, все. В республиканских министерствах жилищно-коммунального хозяйства есть главки и отделы озеленения, а во многих областях – управления, которым, в частности, поручена и эта работа. Сельскохозяйственные ведомства имеют отделы декоративного садоводства и субтропических культур. Работники системы здравоохранения озеленяют территории больниц и поликлиник, просвещения – пришкольные участки, профессиональные союзы ведут озеленение своих санаториев и курортов, общества охраны природы поднимают на эту работу общественность. К зеленому хозяйству причастны работники строительного, железнодорожного, шоссейного, лесного и других ведомств, им занимаются комиссии исполкомов и комбинаты озеленения, районные и городские архитекторы, начальники жилищно-эксплуатационных контор и председатели уличных комитетов, комсомольцы и домохозяйки, пионеры и пенсионеры.

Проектом любого жилого района, как правило, предусматривается озеленение дворов, улиц и подъездов, намечаются скверы и газоны, хотя часто проекты эти условны, стандартны, скучно-геометричны. Но даже и такие проекты часто остаются на ватмане – строители, штурмующая сдачу объекта, заканчивая мучительную

борьбу с недоделками, не находят сил, времени, материальных и иных возможностей исполнить озеленительную часть, а ведомственный, общественный, архитектурский и всякий иной контроль оказывается бессильным, недейственным!.. Осуществленное же озеленение поджидает новые напасти.

Далек я от мысли, что вся теперешняя работа по озеленению наших городов малоэффективна. Нет, есть и хорошие примеры, когда города, поселки, рабочие и вузовские коллективы прекрасно украшают зеленью свои территории.

Сто сорок гектаров занимают насаждения на Омском нефтеперерабатывающем комбинате.

По-настоящему заботятся о «зеленом друге» череповецкие металлурги и коломенские тепловозостроители. Побывал я однажды в Новой Каховке и Черкассах. Чистые, ухоженные города утопают в зелени и цветах. В парках, на улицах, среди новых построек хорошо приживаются и благоденствуют декоративные породы деревьев и кустарников – каштан, платан, катальпа, липа, шаровидная акация, туя, можжевельник, бирючина.

Неплохо работают озеленители Омска, Калининграда, Алма-Аты, многих городов Украины, Прибалтики и Грузии. С радостью узнал из печати, что в заполярной Воркуте, где двадцать лет назад я не застал ни одного деревца, сейчас почти тридцать гектаров зеленых насаждений. Красивыми и чистыми хотят видеть свои дворы и улицы жители Инты; этот небольшой приполярный рабочий городок в Коми АССР даже выходил победителем в республиканском соревновании за лучшее благоустройство и озеленение.

Весной и осенью силами общественности в стране высаживается фантастическое количество деревьев и кустарников. Потребность такова, что питомники не успевают выращивать доброкачественные саженцы в широком ассортименте. И количественные планы посадок, как правило, выполняются. А дальше? Из-за небрежной выкопки и транспортировки саженцев, их посадки в неподготовленную почву, из-за отсутствия постоянного и умелого ухода происходит гибель растений.

Ни одна страна в мире не знает таких масштабов озеленительных работ, как Советский

Союз, – это непреложный факт. Но есть и другой факт, столь же неоспоримый, хотя он может показаться невероятным и противоестественным: в нашей стране практически нет специалистов по ландшафтной архитектуре, садово-парковому искусству, городскому зеленому строительству.

Время от времени в Министерство высшего и среднего специального образования поступают коллективные письма с просьбами учесть действительную потребность специалистов зеленого строительства и вновь открыть некогда существовавшие факультеты зеленого строительства, дававшие когда-то настоящую квалификацию.

...По роскошному парку несут в портшезе престарелого скромного человека, а Людовик XIV шагает рядом... Такой неслыханной по тогдашним временам и нравам почести был удостоен творец Версаля, выдающийся архитектор-планировщик садов Андре Ленотр.

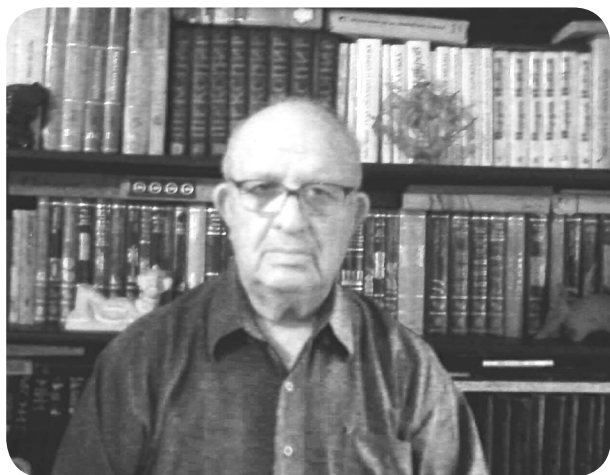
Изумительные парки были созданы в России Андреем Болотовым, Николаем Львовым, Пьетро Гонзаго, Федором Аргуновым и другими замечательными мастерами этого прекрасного старинного искусства, немало отличных парков спланировали советские специалисты...

Однако незаметно как-то, в буче дел и под давлением неотложных забот, мы подменили высокое искусство садово-парковой и ландшафтной архитектуры будничным «озеленением». И, соответственно, перестали заботиться о кадрах.

А ведь садово-парковое, ландшафтное искусство требует не только обширных специальных знаний и особой организации дела, эта профессия чрезвычайно специфическая, сугубо творческая. Давно сформулированы основные качества, которыми должен обладать ландшафтный архитектор. Но я добавил бы еще одно непременное, высшее качество, которое почему-то не упоминается в учебниках и специальных книгах по ландшафтной архитектуре: человек этой профессии должен знать и любить свой народ, родную землю, верить в будущее и уметь через свой труд воспитывать эти качества в других...

Мы хотим видеть средь советских городов, рабочих поселков и сел красивой, оздоравливающей, культурной, достойной народа, населяющей землю первого в мире социалистического государства.

Никола Инджов



Никола Инджов родился в 1935 году в Болгарии, в городе Бургасе. Поэт, беллетрист, публицист, эссеист, переводчик поэзии с испанского, португальского, русского и сербского языков. Автор нескольких десятков книг, среди которых «Избранные сочинения в 4-х томах» (2009). Лауреат многих литературных премий: Национальная Ботевская премия, Большой приз города Бургаса, награда Союза болгарских писателей за лучший роман года («Именованные Манастром»), награда Союза болгарских писателей за лучшую публицистическую книгу года («Приписки к времени»), Кавалер ордена «Кирилл и Мефодий» с ожерельем за особые заслуги в развитии болгарской культуры. Живет в Софии.

В публикуемой подборке представлены стихи в переводах известных русских поэтов и самого автора.

Поэзия

Цветочницам на память – по веточке левкоя

* * *

Гончарный круг кружится
Пред мастером. И ранью
Под утро за звездой
Роняет ночь звезду.
Девчонки украшаться
Спешат цветной геранью...
И я в рубашке белой
Планетою иду.

От ночи сохранился
Светляк. Какая малость!
И радуга на капле,
Хоть дождь прошел в саду,
И от всего на свете
Хоть что-то да осталось...
И я в рубашке белой
Планетою иду.

Цветочницам на память –
По веточке левкоя,
И звезды – астроному.
Со всеми я в ладу.
Дороге – след ботинка,
Ведь мне не до покоя...
И я в рубашке белой
Планетою иду.

Вот так уйду, быть может,
От луга, что в ометах,
От леса и от поля,
Где тлеют зеленыя...
Мой сын, мой сын далекий,
Среди поэтов мертвых
По той рубашке белой
Узнаешь ты меня.

Перевод Евгения Винокурова

Воспоминания о снеге

Он падал в марте, этот снег,
Он падал и в апреле.
И пахли пепел и вино,
Как этот тихий снег.
Я шел в безмолвье через ночь,
И свечи все горели,
Когда пришел я в дом, где был
Последний твой ночлег.

На белом кладбище тебя
Мы в землю положили.
Метель задула пламя свеч
И землю занесла.
Потом мы оглянулись – те,
Кто горько пережили
Ту душу, что на всей земле
Единственной была.

О, мама! Из далеких лет
Вернулось это имя.
И хлеб, и соль, и свет, и ты –
Вы все судьбы одной.
Тебя сейчас средь мертвых нет,
И нет тебя с живыми.
Лишь только в радужный четверг
Бываешь ты со мной.

Четверг – твой день. С рассвета он
Телег наполнен скрипом –
Плывут в них баклажаны, лук
И виноград блестит.
Над крупом куцых лошадей,
Над петушиным криком
Еще с вчерашнего дождя
Мост радуги стоит.

Сверкает осень золотым
Червонцем, самоцветом.
Спокойствие, и тишина
И ветра светлый нрав.

И ты тождественна земле,
Нам возвращенной летом.
Ты зачарованно стоишь,
Свой лучший день узнав.

В провинциальных городках
Мы стали поневоле
Неровнями самим себе,
Поскольку без конца
Толкуем мы, что где-то есть
Получше нашей доли,
И все о времени ином
Болят у нас сердца.

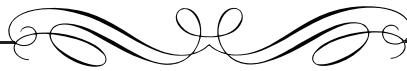
Хоть каждый радужный четверг –
Твой день среди недели,
Притушенные помню дни,
Последний твой ночлег.
Он падал в марте, этот снег,
Он падал и в апреле.
И пахли пепел и вино,
Как этот тихий снег.

Перевод Олега Дмитриева

* * *

И вот те улочки с самшитом...
Они звенят. Течет ручей
Под мостиком. Уютом, бытом
Наполнен день. Все горячей
Цветут на крышах синим цветом
Цветы, и так легко суметь
Застыть, задуматься при этом.
И превратиться в бронзу, в медь.
Но дни идут. Куда? Спокоен
Наш хлеб, и на поверке лет
Я чутко слушаю, как с воем
Летит над нами строй ракет.

Когда же, не смилив гордыни,
На камень рухнем, в пустоту,



У смерти будет цвет полыни
И будет так горчить во рту
От стронция и от сознания,
Воспламененного в тот миг,
Что есть оставшийся за гранью
Творящий мирозданье стих.

Перевод Льва Озерова

Бразильская мелодия

Под мостом Алмендарес
на мраморной площадке
бразильскую босанову
танцевали мы, и там
японцы-акробаты
и негры-трубачи
запомнили твою красную шаль.

Так начиналось все...
Рассказывали потом,
что видели твою
блуждающую красную шаль
в Кохимаре или где-то
по Кинтой авениде,
а может быть, в Санта-Фе.

«Гавана такая большая», –
отвечал я и умолкал,
потому что был с тобою везде,
даже в той комнате, где
окно предрассветное мы
закрывали красной твоей шалью.

Какое дождливое лето
с тобой мы пережили!
С тех пор твой голос
мне напоминает дождь.
Мы не были без родины,
но думали, что может
любовь быть нашей родиной.

В тропиках отчаянно
мне снились снегопады,
просыпался и видел,
как твое лицо
уходит далеко –
в цветение кофе,
в большой разлив Параны.

Там шаль твоя искрилась
как одинокое знамя,
которое снижается,
чтобы опять подняться.
Двадцатилетней
ты стала эмигранткой,
тебе снилась Бразилия рядом со мной.

Ты говорила, что она –
земля бесконечная,
сестра океана,
но в сердце моем
Бразилией для меня
была ты – такая маленькая,
укутанная в свою красную шаль.

Ушла ты... Я не знаю,
куда тебя позвали
неведомые законы
твоей борьбы.
Зеленоглазая моя,
Бразилия одинокая,
самая милая чужбина моя.

Под мостом Алмендарес
на мраморной площадке
бразильская босанова
осталась звучать.
Японцы-акробаты
и негры-трубачи,
видели ли вы ее красную шаль?

Молчат. И они не знают.
Жизнь продолжается.



Не может нам быть
родиной любовь.
Теперь на моей одежде
нежданно нахожу я
реснички бахромы
твоей красной шали.

1968

Бүдни

Все еще дикая герань вторгается
на заре в прозрачный твой сон,
и утром перед молитвой
искрится душа, искрится.

Все еще от прежней раны
по сердцу и по лицу
кровь, как молодая лошадка,
ненароком вихрем проносится.

Все еще в тебе гремит
мир – знакомый и незнакомый,
утром губит тебя зов попутный,
а вечером – женщина в пути.

Все еще... Пока наконец
из завтрашнего простора пришедшая
душа другого человека проискрится
в твоей угасавшей душе.

1996

* * *

Я узнал вкус хлеба черствого,
горечь соли
и упокойный вечерний
колокольный звон смерти.

Я видел мужчин, плачущих во сне
и радостных наяву,
когда собирался пахарь
орало на топор перековать.

Жизнь, которая мне осталась,
есть только память о войне.
Я оглох от барабанов
и в лохмотьях от знамен.

1961

Во взгляде через плечо

Еще сердце боксирует,
Людмила милая, но замирает
вселенная во взгляде через плечо...
И так, пора сказать прощай
осеннему равноденствию,
журавлям, самшиту,
собаке и сверчку,
который ручейком возрождается.

Все, что во взгляде через плечо
увидишь, превращается в руину,
пришел и мой черед истлеть,
Людмила милая, пора мне взор
обратить,
бродить по кладбище солдатскому –
то родина моя,
я – очень сумеречный
и очень синеглазый янычар.

Преображение человеческое
или Господне?
Звездная бездна.
Дерево смерти проросло
пространно к своим корням,
но и единственное чудо,
сошедшее на землю, исчезло.

А чудом, Людмила милая,
была память.
Память во взгляде через плечо.

2005

Маленькая поэма

Ты ястреба мне покажи,
а жаворонка сам я вижу.
Он взлетает от сердца
странника, но на беду
здесь осень меняет крылья –
и ястреб летит рядом
с кочевой звездой.

Здесь осенью проходит кто-то,
с ястребом избранными очами,
ветром помятой рубашкой,
голосом рассыпанным в улыбке.
Здесь бывал жаворонок –
поэтому будет и странник.
А странник – это я.

Не знаю, с каких пор иду,
не знаю и куда дорога уводит,
но будущее вижу, вижу,
что, одолевшие смуту и страх,
теперь умирают те люди,
которые переживут меня.
Так странствовал я и понял так.

Теперь умирают... Одному
отсекли руки до локтей,
с часами и компасом
разносили их по городу
его молодости. И сердце его
тиктакало в затихающем пульсе –
последний удар свободы.

А других в кратер вулкана
сбросили – и в дни, когда

подземные вихри раскрывают
землю как мавзолей,
извергаются кости обугленные
по склонам пологим,
и лава тлеет в черепах.

Кто хочет странника в друзья?
Всегда он не вовремя приходит,
всегда говорит неясными словами.
Неясными же словами и молчит.
И как мается на пороге,
не воспоминание о жаворонке,
а ястреба приносит в очах.

Вот и все о мире,
которому странник внял.
Сейчас я через осень прохожу,
улыбающийся и одинокий.
Ты покажи мне жаворонка,
а ястреба на всякий случай
я вижу вьющегося надо мной.

1985

Осень

Заржавеет ли солнце под яблонями –
значит, осень в Болгарии... Я узнаю ее
по последней молнии – призрак лета –
и по первому журавлю – сердце
крылатое.

Более ясными осенью выглядят глаза,
более обветренными – лбы...
Молчаливым и неизвестным
сохраняюсь я – тень перелета,
зимой – в метелицах, в вихрях – весной.

Не страшно, что время улетает –
и улетело...

Осень – мое отечество во времени.
Она бог за богом и сверчок за сверчком
творила меня,

подарила мне душу как сон
и как церковь – имя.
И дала мне до листопада и до ветровея
пережитую жизнь пережить снова.

...И подобен нищему в царской одежде
или старику, который прошел
под радугой,
доживаю побережья Венесуэлы,
Халеевую комету,
всемогущую и всецелую страну Утопию,
песочные бури, северное сияние,
звездоносца Юрия.

Доживаю нерожденных три вереницы
рабов,
зарезанных в материнских фракийских
утробах.
Доживаю столетье красного знамени
и песню
про Девятый день Девятого месяца.
Доживаю жизнь человека,
несломленного, негибавшего.
Мне прошлое – надежда, мне будущее –
память...

1996

Русская песня

Люсе

И у меня дом, в котором
струится свет
имени и сердца
моей жены.
С просторными словами дом и тенью
журавлиных крыльев
от взгляда светлого славянки...
И ты, небо!

Я не ищу другого крова,
Мне достаточно, чтоб ночами
наш очаг разгорался
пламенем и мечтой,
чтоб слышал я, как шумит весь мир
и поле ровное,
в доме, где не умирают...
И ты, небо!

1967

Салоникская мелодия

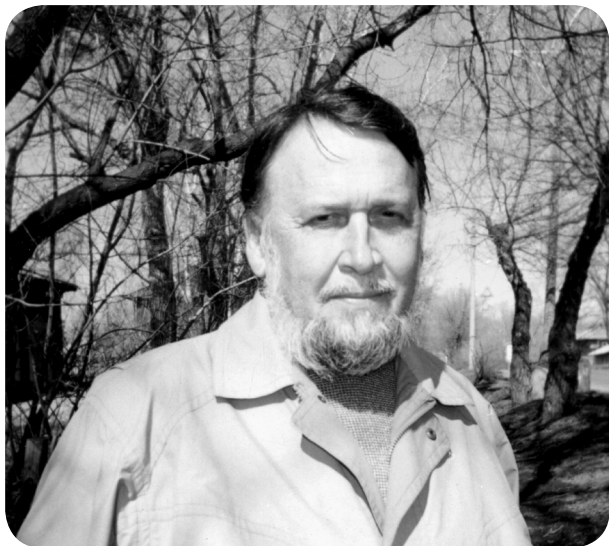
Не приезжавший из Салоник –
встречающий
приезжего из Салоник – блажен,
когда его накроют заход и сумрак
из осколков афонского дня,
когда им объемлет нега и забытие,
море, острова и город вина,
в котором отражается
в полночь – зеница, на заре – звезда...

Не знает приезжий, что приволок
на одежде и обуви город из праха,
что слова у поезда южные,
но простор уже севереет в них,
что ярмарка уже переместилась
к другой осени и к памяти другой,
что нездешние видения умирают
с аскетами и пилигриммами здесь.

Здесь, где тенистые люди шагают
к заходу солнца и приезжий замечен
по светлым глазам встречающего –
таким вот пришедшим из Салоник
глазам...

1997

Геннадий Юров



Юров Геннадий Евлампиевич родился в 1937 году. Русский советский поэт, прозаик, публицист, автор многих книг. В 1959 году окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работал в редакциях газет «Молодой ленинец» (Томск), «Комсомолец Кузбасса», «Кузбасс» (Кемерово), «Магаданская правда» (Магадан), редактором Кемеровского книжного издательства, альманаха «Огни Кузбасса», ответственным секретарем Кемеровской областной писательской организации. Автор стихов гимна Кемеровской области. Главный редактор альманаха «Красная горка». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней. Лауреат премии Кузбасса. Почетный гражданин Кемеровской области и города Кемерово. Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

Поэзия

Родина и Природа

Рабочая мелодия Кузбасса

Вы видите: горят огни в ночи,
На землю небо звездное упало.
Вы слышите: мелодия звучит,
Поет земля восточнее Урала.

Где города по берегам реки
Тепла и света создают запасы,
Ее добыли в шахте горняки –
Рабочую мелодию Кузбасса.

Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!

От пламени не прячем мы лица,
Когда металл рождается в горниле.
Натруженные руки кузнеца
Мелодию надежно закалили.

Она в пролетах заводских гремит,
И поезда несут ее по трассам.
Об отчете доме с нами говорит
Рабочая мелодия Кузбасса.

Когда в предгорьях выпадет роса,
Когда восходит солнце над долиной,
Таежный шум и птичьи голоса
В тон музыке могучей различимы.

Распахнут мир дыханию весны,
И ждет любовь назначенного часа.
Вливается в напев родной страны
Рабочая мелодия Кузбасса!

Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!

* * *

Жить желая достойно,
Говорим неспроста:
Если совесть спокойна,
Значит, совесть чиста.

Каждый совестью красен,
Постоянством ее...
Что чиста – я согласен.
Что спокойна – вранье!

Не каприз, не геройство,
Не парадная роль,
Есть у совести свойство
В нас вырачивать боль.

На планете, где войны,
Где кромешно от бед,
Если совесть спокойна,
Значит, совести нет.

Точно речка струится,
Или птица летит,
Или зреет пшеница,
Так и совесть болит.

Этой болью невольно
Рвется с губ и с листа:
Если совести больно,
Значит, совесть чиста.

Черный юмор

Когда, стыдясь восторженности юной,
Мы с родником утрачивали связь,

Наш солнечный,
Наш искрометный юмор
Переродился, черным становясь.

Застенчивость сошла смущенно с круга,
Не золото она,
Не серебро.
И чувствуешь железный локоть друга,
Особенно, когда он –
Под ребро!

Вторая природа

Декоративные породы
И рукотворный водоем
Как существа второй природы,
Которую мы создаем.

Из леса саженцы воруют,
Чтоб в скверах радовали глаз.
Природу делаем вторую –
Уходит первая от нас.

Спасибо ей, что, так рискуя,
Нас обучила ремеслу,
В свою впустила мастерскую,
Как муравья и как пчелу.

Мы потрудились без оглядки
Ее законам вопреки.
Ну, а теперь лесопосадки.
Реанимация реки...

Я верю в то, что через годы
К творениям детей своих
Вернется первая природа
Внести необходимый штрих.

Покуда нерест опекаем
И птиц сезонный перелет,

Она сыновними руками
Сама себя воссоздает.

Смотрю на медленные всходы,
Склоняясь к истине простой:
Есть Родина
И есть Природа
Исконная –
И нет второй.

Я – сын реки

Я – сын реки,
Чей берег стал жестоким.
Я говорю – чисты мои истоки.
Я говорю – светлы мои ростки.
Не нужно безысходности в укор,
От одного произрастают корня
Слова «река» и «речь».
Я – речь реки.
Я – зов к людскому разуму и воле.
Я – боль реки
И врачеватель боли,
Тоска реки
И жертва той тоски.
Живу одним из данных мне
напутствий:
Ее – форелевую –
Сохранить до устья...
Тогда отпустит боль.
Я – сын реки.

* * *

Был наивным я и юным,
Подымался на трибуны
И катал волненья ком
Петушиным голоском.

Только звонких слов орнамент
Обрывал скупой регламент –
Карандашик о стекло:
«Ваше время истекло!»

Стал я вольным и опальным,
Странствовал по весям дальним,
И моих не трогал струн
Триумфальный зов трибун.

У меня теперь седины.
Председатель без графина,
Не стучит карандашом
И нужды не видит в том.

Чтобы слов не тратил втуне,
Ныне прямо на трибуне
Загорается табло:
«Ваше время истекло!»

Истекло ли наше время?
Как с регламентом в поэме?
Ей не раз кричали зло:
«Ваше время истекло!»

Но течением русловым
На простор выносит слово –
Есть покуда родники
И притоки у реки.

* * *

Какому зову нынче внимлю?
О чем несуетная речь?
Найти неведомую землю?
Да нет –
Родимую сберечь!

А что доверю я тетради?
А что доверит мне тетрадь? –

Слов изначальных не утратить.
Мелодию не потерять.

И в перестуке новых станций
Какой удел зову судьбой?
Найти себя?
Да нет! –
Остаться
Самим собой,
Самим собой.

Романтика

Ораторы, романтику не троньте!
Святую, не сжигайте на кострах,
Уже не раз погибшую на фронте,
На стройках
И в колымских лагерях.

Ее судьба –
Не в праздничных колоннах,
А на переднем крае,
И не раз
Взамен экономических законов
Использовали наш энтузиазм.

Не отрекутся от ее гражданства
Ни Север, ни Запсиб, ни целина.
А кто позвал нас
В звездное пространство
И вывел в космос? –
Разве не она?

Когда стремительные перекрыли воды
Плотинами,
Застойное жулье
Вину за разрушение природы
Цинично возложило на нее.

А между тем
При рубках и потравах,

На полигонах, выжженных дотла,
Она прозреньем выстрадала право
В тревожные забить колокола.

Так почему на митингах и в прессе
К трибуне не допущена она,
А ввергнута
В такой режим репрессий,
Что реабилитация нужна?

Обманута? – За это мы в ответе.
Традиция, связавшая века,
Не допускает, чтобы наши дети
Духовного лишились родника.

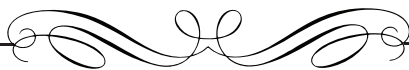
Она нужна – как крылья для полета.
А если обесценены слова,
Могучая наука хозрасчета.
Которой поклоняемся, –
Мертва.

Сквозь скепсисом отравленные годы
Пробьется к нам грунтовая струя
Из недр России,
Из души народа –
Рассветная романтика моя.

Ни мафии, ни черни, ни элите
Не докопаться до ее корней.
Она живая.
Люди, погодите,
Не воздвигайте памятника ей!

Метеорологическое

С воем, свистом и со стоном,
С океанов и небес
Потрясают мир циклоны –
«Берта», «Глория», «Инес».



Налетают ураганы,
Не щадя судов и стен,
И разбойничают в странах
Всех общественных систем.

Аномалии погоды –
Ветровые времена.
Женской логике в угоду
Им даются имена.

Ключик к тайне сокровенной
Подберут мои года.
Я свой первый шторм «Елена»
Не забуду никогда.

Для нее – каприз иль шалость,
Для меня – смертельный рок.
Подо мной земля шаталась,
Уходила из-под ног.

Помню гнев тайфуна «Зоя»,
Смех «Виктории»... Но ша!
Было дело молодое –
Бури жаждала душа.

В клочьях дыма небо стынет.
Блещут молнии во мгле.

То ли грозная богиня,
То ли ведьма на метле...

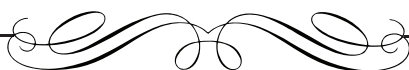
«Ольга», «Вера», «Виринея»
Проверяли на излом,
Чтоб свою судьбу с моею
Завязать морским узлом.

И не раз, в погибель веря,
От нее на волосок,
Выбирался я на берег,
Падал навзничь на песок.

Отгремели катастрофы.
Отзвучали голоса.
Наполняет память строфы,
Словно ветер – паруса.

Блики солнечные пляшут.
Только нет у них имен.
Для меня циклон «Наташа»
Перешел в антициклон.

Но под синим небосводом
Не решен один вопрос:
Я боюсь, что на погоду
Переменится прогноз.



Борис Бурмистров



Бурмистров Борис Васильевич родился в 1946 году. Русский поэт, автор многих книг. Работал бульдозеристом, механиком, заместителем директора завода. Возглавлял бюро пропаганды художественной литературы Кемеровской области. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I, II, III степеней, другими наградами Кемеровской области. Лауреат премии имени В. Д. Федорова. Директор государственного учреждения культуры «Дом литераторов Кузбасса», председатель Кемеровского областного отделения Союза писателей России. Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

Поэзия

*Свет переходит
из дальнего в ближний*

* * *

Не кличь по имени меня,
Я позабыт тобою.
Где были травы – там стерня,
Все скошено судьбою.

Так колко, холодно в душе.
И в поле одиноко...
Черным-черно, лишь на меже
Цветов осенних много.

И в ожидании огня,
Палящего, степного –
Не кличь по имени меня,
Не обжигайся снова.

* * *

Я грустить подолгу не умею,
Женский взгляд лишь чуточку кольнет –
Я уже от радости шалею
И душа срывается в полет.

Я в любовь таинственную верю,
Потому навстречу ей лечу.
Я грустить подолгу не умею,
А вернее, просто не хочу.

Радости не так уж в жизни много,
Каждый миг удачливый ловлю
И взлетаю высоко-высоко
От щемящее-нежного «люблю».

* * *

Когда застигнет ветер в поле,
Весенний гром оглушит вдруг...
Судьба немыслима без боли
И нет больней душевных мук.

Когда людские кривотолки
Тебя смутят, ты промолчи.
Судьбы зеркальные осколки,
Как звезды, выпяят в ночи.

По ним судьбу свою сверяя,
Поймешь, что мучился не зря –
Любовь придет в начале мая,
Или в начале сентября!

Кому весенние разливы,
Кому осенняя тропа.
Как песен разные мотивы –
У каждого своя судьба.

И кто какой достоин доли,
Пройдя сквозь тысячи обид?
Судьба немыслима без боли,
Душа и в радости болит.

Поминальное

Мы бы могли жить совсем по-другому...
Лодка печали причалила к дому.
Мы же не звали ее, не просили.
Сел в эту лодку отец наш – Василий,
Дочка Светлана, сынок Василечек,
Бабушка Дуня и сын ее – летчик,
Брат Анатолий и друг его странник –
Лодка отчалила, скрылась в тумане.
Лишь перевозчик махнул на прощанье
И, оглянувшись, сказал: «До свиданья».

* * *

От печали надолго ли скроюсь,
Перемешан с закатом рассвет.
Успокоиться, не успокоюсь,
Потому, что спокойствия нет.

Потому, что в далеком и близком,
Как в тумане, не видно ни зги,

Перепутаны, видимо, слишком
В моей памяти годы мои.

Перекручены ниточки, нити,
Узелками отмечены дни...
Видно все мы живем по наитию,
Укрываясь от света в тени.

Укрываясь от хмурого взгляда,
Мы торопим течение лет.
А печалимся – значит так надо.
Без печали и радости нет.

Всем холодам назло

Всем холодам назло,
Переживая стужу,
Мне иногда везло
И это грело душу.

Всем козням вопреки
Я не свернул с дороги
И у родной реки
Нашел свои истоки.

Подземных вод поток
И... лодка у причала,
Начало и итог,
Итог и вновь начало.

* * *

За тем, за облачным пределом
Я новых звезд не открывал.
Живу на этом свете белом –
Господь мне радость даровал.

Гляжу в распахнутое небо,
Где синь сгущается во мгле.
Нет ничего дороже хлеба
На этой праведной земле.

Господь отмерил меру знаний
На всех, чтоб каждый был умен,
Ведь человек из всех созданий
Бессмертным духом наделен.

Так отчего ж в земных скитаньях
Мы боязливы и глупы,
Ведь нам в пределах мироздания
Не избежать своей судьбы.

Судьба дарована нам свыше,
Живи свободно и легко...
И пусть Господь нас всех услышит,
И нам услышать бы Его!

* * *

Никнут в оврагах осенние травы,
Листья рябины горят.
Вот я и дожил до уличной славы –
«Здрасьте» мне все говорят.

«Здрасьте» в ответ я с почтеньем
киваю,

Дальше иду вдоль села.
Жаль, что на Родине редко бываю,
Вы уж простите – дела...

Жизнь проживаем не так, как мечталось.
Многих друзей уже нет.
Вот и на плечи присела усталость
Тяжестью прожитых лет.

«Здравствуй», сосед и соседushка Дарья,
Не был у вас я давно.
Встретились, вот и опять «до свиданья».
Скоро ли будет оно?

Все здесь, как прежде: обычаи, нравы,
Говор мне близких людей.
Нет ничего лучше уличной славы
В милой Отчизне моей.

Утро в ванной комнате

Бормочет кран,
Я умываюсь молча.
В углу стакан,
На нем кусочек «скотча».
Оклеен край,
Чтоб не порезать губы,
Бормочет кран,
А я шлифую зубы.
«Лесной бальзам»
Напоминает лето.
Жизнь по часам
Расписана зачем-то.
Чай на ходу...
Бежим, спешим куда-то.
В каком году,
Похоже, знать не надо.
В трамвай, в авто
Успеть бы протолкнуться,
Забыв в пальто
Нырнуть и застегнуться.
Уже январь
И серебрятся снега,
Горит фонарь,
Качаясь у аптеки,
Любовь, обман...
Сто тысяч раз случится.
Бормочет кран,
Жизнь, как вода, струится.

* * *

Я прошел такие холода,
Я был там, где только снег и ветер,
Где сгущалось небо, как вода,
Леденели звезды на рассвете.

Я прошел такие холода,
Я «мурцовки» хлебнул острожной,
И теперь мирская суета
Кажется пустой мне и ничтожной.

Я прошел такие холода,
Где и вправду леденело тело,
Оттого так рано борода
На лице морозном побелела.

Я прошел такие холода...
Но душа к любви не охладела.
Все прошло – радость, и беда.
Все пришло и... вновь душа запела.

* * *

Мною прожито немало,
Много пройдено дорог...
И швыряло, и трепало,
Да не шло, как видно, впрок.

Вновь и вновь я ошибался,
На ответ искал ответ.
У пивнушек ошивался,
А потом не пил сто лет.

Так и жил, искал чего-то,
То ли свет в прожилках тьмы?
До семнадцатого пота
Рыл распадки Колымы.

Нелегко порой бывало
И бывало хорошо...
Мною прожито немало,
Мало понято еще.

Перед бездною робею
И молюсь, молюсь судьбе.
Может быть, еще успею
Что-нибудь понять в себе.

* * *

Куда ведет меня дорога?
Куда змеится санный след?
Красивых женщин в мире много,
А некрасивых вовсе нет.

Куда ведет меня тревога,
Лишая разума и сна?
Желанных женщин в мире много.
Но всех желаннее одна.

Путь

Свет переходит из дальнего в ближний.
Луч очертил темно-алые вишни.
Первый мороз, и неожиданные встречи.
Что же ты кутаешь в облако плечи?

Двигется, движется свет одинокий.
Кто-то незримый стоит у дороги.
Кто-то, кому-то сегодня так нужен.
Свет в чистом поле туманом притушен.

Что там – вдали, за крутым поворотом,
Эхом разносится? Что там, ну что там?
Свет переходит из ближнего в дальний.
Смысл бытия неразгаданный, тайный...

Тьму разрезает ночная дорога.
Все от судьбы, все от Господа Бога!

* * *

И холмы, и равнины,
И глухая тайга.
Скрип продрогшей осины,
И снега, и снега...

Это все мне с начала
И до смертного дня,
И кусты краснотала,
И речушка Иня.

Тихий шепот ковыльный,
Звон колосьев литых
И далекий былинный
Голос предков моих.

Валерий Зубарев



Зубарев Валерий Федорович (1943–2012) – русский поэт, автор нескольких книг. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Работал в редакциях газет. Возглавлял Кемеровскую областную организацию Союза писателей России. Руководил областной литературной студией «Притомье». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Награжден медалями Кемеровской области. Лауреат первой премии Всероссийского литературно-публицистического конкурса, литературной премии имени В. Д. Федорова, премии «Образ». Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России.

Поэзия

В озарении внезапном

* * *

Говорил со мною ветер
на прозрачном языке.
Был он грустен, был он светел,
и дождинка на щеке...

Он ли,
буйный и курчавый,
к ветке каждой
приставал?
И азартно, как овчарок,
тучи грузные справлял?

В озарении внезапном
бросил дерзкую игру
и собак прогнал на запад
в золотую конуру.

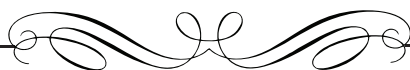
Как и прошлую весною,
словно друг, накоротке
разговор повел со мною
на забытом языке.

Ты скажи мне, ветер, честно,
для чего опять смутил?
Чтобы я простился с чем-то
или что-то возвратил?

* * *

От работы большой утомиться.
Распластавшись, лежать на спине, –
чтоб стояла парящая птица
отраженьем твоим в вышине.

Чтоб душа твоя тоже взлетела...
Да ее ли закрепощать,



если скоро и бренное тело
перестанет себя ощущать.

Если даже бескрылое тело,
покоряясь волшбе забвения,
занимать начинает пределы
голубого небытия.

И земля не гнетет притяженьем.
Высота в перепонках звенит.
И становишься сам отраженьем
этой птицы, ушедшей в зенит.

* * *

Чуть рассвет – о конце говорит
все, в чем пелось таежной глубинки:
вот раздавленным солнцем горит
утро в смятой таежной икринке;

Вот подъемными кранами день
из дремучего вырван покоя...
Чешуйками светотень
на капоты летит через хвою.

Рев моторов тайгу оглушит...
И – виденьем –
в бессильном порыве
птица певчая устрасит,
клюв разинувшая по-рыбы.

* * *

Посылает дому дом
электрические блики.
Что ни дом, то под окном –
мох и млечность голубики.

Отзывается движок
в лиственницах полусонных.
Врезанный, как черешок,
прививается поселок.

Приживается народ.
Не совсем укоренился,
дел еще не впрокорот...
Но уже осемьянился.

И растут во мгле ночной,
как загадки для природы,
на веревке бельевой
рубашоночки и робы.

* * *

Все мечтала: «В город на денек бы...»
А когда ей выдался денек,
вскорости примаялась: «В тенек бы...»
Вот и подвернулся ей тенек.

Скидывай, товарка, снаряженье
и полуботиночки сними...
Отдыхают, тянутся блаженно
маленькие жесткие ступни.

Разложив холщевые мешочки,
подобрев обветренным лицом,
набивает хлеб за обе щеки,
хрумкает соленым огурцом.

Прибежав, бродячая собачка,
свесила умильно язычок.
Тут как тут: «Ну, как житуха, бабка?» –
воробыиный выстрелил зрачок.

И блистая новизною смысла
(что от жизни он неотделим),
каждый листик в сквере становился
не декоративным, а живым...

Ох, родная!.. Хватит! Снаряжайся...
У людей на лицах свет и тень.
Не колдуй так искушенно... Сжался...
И полуботиночки надень.



Голнечная сказка

Там, где под мотивчик весенний
огородник городил огород,
разрастается город растений,
нарождается зеленый народ.

Пусть не город – городок,
городишко,
пусть ни окон в нем ни дверей,
на рассвете каждый домишко
вторит бормотанью корней:

Востечет оно на востоке,
воплотится в спеющий плод
помидора, огурца и картошки...
И на западе западет...

Живая вода

Что творит вокруг вода, водица!
Кедр так кедр, лоза так уж лоза.
Из листвы густой таращат птицы
вечно удивленные глаза.

Старая кричит своей Пеструшке,
в мегафон преобразив ладонь, –
и у ней, заржавленной старушки,
голос голосистый, как гармонь.

Братия лесная, луговая,
избери меня в свои друзья, –
в слове «друг» звучит другое «я»...
Что не натворит вода живая!

Крайности она сшибает лбами,
примиряет как по волшебству...
Вот корова добрыми губами
убивает кроткую траву.

Раздвоенье разум потрясает,
но в душе ликует мужичок,
ведь отава снова подрастает
и топчет пегий новичок.

* * *

Вслед за летним удушливым днем
унесутся машинные гулы.
И несмело
в покое ночном
ветер вытянет трубочкой
губы.

Встрепенется листва
за окном.
«Осени меня», –
буду молить я.
Пусть откроется тайна:
о чем
шелестят тополиные листья.

Но постигнуть мне это,
увы,
лишь мешают слова человечьи.
Заглушая наречье листвы,
ответвляется наше наречье.

Так зачем же,
рассудок поправ, –
зазвенит ли обитель лесная,
зазудит ли селение трав,
зажурчит ли протока речная, –
слух сулит откровенья
душе,
замирающей, словно впервые?..
Но и этим я счастлив уже,
голоса
различая
родные.

* * *

В следах
от бельевой веревки,
с автографами на коре,
на положении
сиротки
стоит береза
во дворе.

И встрепнешься потрясенно,
когда она
в пустую высь
вдруг птицу выбросит
из кроны,
как редкую
живую мысль.

Лесная сказка

— Брысь отсюда! —
прикрикнул на рысь,
в бородище —
янтарная смолка,
в голове —
загустевшая мысль:
«Как по правде зовут тебя,
елка?»

Сгинул леший.
И ряской речной
задышало иное словечко,
потому что спросил водяной:
— Как по правде зовут тебя,
речка?

И пошли расцветать чудеса!
Все сместилось:
и елка, и речка,
люди, звери, земля, небеса...

Как по правде зовут тебя,
Нечто?

Тьму имен тебе дал человек:
ты — и сам он,
и речка,
и елка,
и мучительно сросшийся бег
одряхлевшего лося и волка.

Но бессильного имени звук
на губах замирает.
И снова
все, сливаясь, мерцает вокруг
новизной первозданного слова.

* * *

Брезжит
где-то вблизи от опушки
голосок заревой.
Но безоблачный голос
пичужки
не заменит мне
твой.

На полянке в древесной оправе —
медуница,
кипрей...
Но невольно ищу
в разнотравье
запах
кожи твоей.

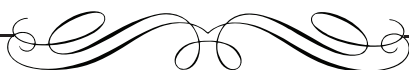
Даже в гроздьях смородины
спелой
та же города власть, —
там
на шее высокой и белой
спеют бусы,
светясь.

И влечет
этой властью нетайной
от речной быстрины,
где, как ласка подруги
случайной –
ласка ровной волны.

* * *

Негромко просвечивает
заря
сквозь тонкую кожу
востока,
чтоб звонким нагрудником снегиря
разжечься

по мере восхода.
Так гулко пространство,
как будто бы впрямь
попал я вовнутрь органа.
К тому же велит
эта стылая рань
отзывчивым быть,
как мембрана.
И щелкнет отчетливо
в скважине ключ...
И вспыхнет квадратик
оконный...
И девочка где-то
на солнечный луч
наступит
ножонкою сонной.



Иосиф Куралов



Куралов Иосиф Абдурахманович родился в 1953 году в городе Прокопьевске. Русский поэт, автор нескольких книг. Окончил режиссерское отделение Кемеровского государственного института культуры. Работал в редакциях газет, в учреждениях культуры, образования. Главный редактор журнала «Университет Культуры», заместитель председателя Союза писателей Кузбасса, главный специалист Дома литераторов Кузбасса, заведующий отделом поэзии журнала «Огни Кузбасса», руководитель литературной студии «Свой голос». Лауреат премии имени В. Д. Федорова. Награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу». Член Союза писателей СССР, член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

Поэзия

Я на небе прочел

* * *

Я на небе прочел в просыхающей мгле,
Что в далеком году проживал на земле.

Раньше солнца вставал и всходил
на коня,
И четыре огня провожали меня.

Я в четыре пространства один уходил.
Конь скакал и копытами по свету бил.

И ложилась в траву за верстою верста.
А теперь я живу – только пар ото рта.

* * *

Ты захочешь туда, где мороз
Отбирает последние листья
И проталины белых берез
Не смогли в синеву воплотиться.

И ажурные стонут столбы,
Словно в них воплотилась природа.
– Ну, куда ты бежишь от судьбы?
– Хоть куда, распахнулись ворота.

Убегай или не убегай,
Не поймут в самой гуще народа.
Над оградой прокатится лай,
И стенами окружит свобода.

* * *

Однажды ночью, пыль вздымая
И полня гулом грудь земли,
По городским путям трамвая
Колеса армии прошли.

Они везли в чехлах тяжелых
Тела заоблачных ракет.
Луна – Земли большой осколок –
Бросала сумеречный свет.

А люди спали и не знали,
Откуда посреди весны
Им прямо в уши грохотали
Наполненные тьмою сны.

Боловей

Соловей свистит на свалке,
Где железный лом.
По оглохшей ржавой балке
Серым бьет крылом.

Коренного перелома
Времена...
Смотри,
Перестук металлолома
И – птенец внутри.

Как попал туда ты, милый?
Ветром занесло?
Или веток не хватило?
Или всем назло?

Что же, брат родной, порадуй,
Не смолкай! Свисти!
Я живу с тобою рядом,
Ты меня прости!..

Сирень

Еще в глуши небесных скважин
Не намечался новый день,
Но, размахнувшись светом в сажень,
Пылала облаком сирень.

Все лепестки, взорвавшись светом,
Сияли в полной тишине.
А то, что называлось летом,
Уже цвело в моем окне.

Оно звало и трепетало.
И, потрясая этажи,
Над демократией металла
Взошла монархия души.

Аля-улю!

Аля-улю! – свищу в два пальца.
Звенит в ответ твое окно.
Скорей по лестнице спускайся!
Пойдем, пожалуйста, в кино!

Прокопьевск высвистан апрелем!
И с крыш – когда, куда хотят, –
От ветерочка озверели,
Аля-улюйчики летят!

Театр, витрины, магазины,
Копры, балконы, терриконы...
И ты – со мной, и я – с тобой –
Просвистан трелью голубой!

Звени-играй, сквозная скрипка!
Хватай всю душу в оборот!
Пусть цветет моя улыбка
Пошире заводских ворот!

Аля-улю! – ручки стремятся.
Аля-улю! – скучай, тоска.
Давайте, люди, обниматься!
Покрутят пальцем у виска...

Ну да! Ну да! Совсем с приветом!
С хорошей девочкой при этом!
Идем вперед! На красный свет!
Апрель! Капель! Семнадцать лет!

Воспоминание о Клаудии Кардинале¹

Когда я был сентиментальный,
А в Армию меня не звали,
Приколотил я к стенке спальни
Портретик Клавы Кардинале.

Она изящно улыбалась,
А я был юн и независим.
И сердце дрожью отзывалось,
Но мой поступок был бессмыслен.

Она меня совсем не знала,
А я ее почти не знал.
Она другого обнимала.
И я другую обнимал.

Была такая чувств облава
При попустительстве погоды,
Что несомненно: я и Клава
Друг друга стоили в те годы.

Восхваление «Хванчкары», или Давай вдвоем пройдем по сентябрю

Давай вдвоем пройдем по сентябрю.
Я о любви с тобой поговорю.

На ушки накрошу цветной лапши.
Не просто так, а ото всей души.

И будет эта яркая лапша,
Как ты в осенних красках – хороша.

Давай по сентябрю пройдем вдвоем
И «Хванчкары» бутылку разопьем.

В аллейке на сентябрьском ветерке
Пускай твоя рука – в моей руке.

Я обращаю внимание твое
На то, что все прозрачно бытие,

Что дождь оставил капельки в траве,
А тополь топит листья в синеве.

В пластмассовых стаканах звона нет,
Зато вино имеет красный цвет.

Воспламенюсь. Ладонь сожму в кулак.
И выпью про себя за красный флаг.

Тому назад лет восемь или семь,
Я был еще молоденький совсем.

Красней вина был красный мой пиджак.
И я не сочинял про красный флаг.

А в красном пиджаке, горячий сам,
Ходил по всем горячим адресам.

А вот теперь мне полных пятьдесят.
Руины СССР на мне висят.

Ношу повсюду драгоценный груз,
Поскольку был прекрасен наш Союз.

А пиджачок давненько не ношу.
Куда ходил в нем – больше не хожу.

Но ежегодно в каждом сентябре
Вновь воскресает бес в моем ребре.

И в результате действий на ребро
Из моего героя прёт нутро.

И я себя на том уже ловлю,
Что я тебя, красивую, люблю.

И время есть до окончания дня,
Чтоб ты влюбилась к вечеру в меня.

¹ Клаудиа Кардинале – итальянская киноактриса.

Но чтобы увидеть финал игры,
Не хватит нам бутылки «Хванчкары».

А значит, будет их и две, и три,
Цыпленок-табака, картофель-фри,

Дыханье листьев белоствольных рощ,
И вечер, превращающийся в ночь.

Четыре круглосуточных кафе.
И множество влюбленных подшофе.

Кавказец – продавец живых цветов –
Средь ночи мир в цветы одеть готов.

И я всегда готов, как пионер,
Чтоб ты являла в мире всем пример.

А за цветами очередь стоит
Таких, как я. Но я-то хоть пиит...

В хвосте орут: «Зачем даешь по семь?»
А продавец орет: «Хыватыт всэм!»

Живые розы – страстные цветы!
А украшение мира будешь – ты!

И поцелуи будут на миру,
И все, за что люблю я «Хванчкару»!

Люблю. При этом чувствую вину,
Что посвятил свои стихи вину.

И пиджаку. И флагу. И стране.
Еще тому, что истина в вине.

Еще себе. И собственной судьбе.
А должен был – единственной тебе.

А чтоб одной тебе все посвятить,
Должно мне фактов жизненных хватить.
На этом основанье говорю:
«Давай вдвоем пройдем по сентябрю!»

Из детства

Был мерой доблести синяк,
А правдой управлял кулак.
За терриконами сходились,
А после врали и хвалились.

А если зубы выбивали,
Мы и тогда не унывали.
Был очевиден неуспех,
Зато плевали дальше всех.

Рыбка

В сети многие попадалась,
Только плавала налегке,
Сквозь любую сеть прорывалась,
Тихо плакала вдалеке.

И попалась не в сеть, а в руки!
Руку в реку я окунул –
Приплыла в бессловесной муке,
Не похожая на акул.

Так прижалась она к ладони,
Что зажегся в воде плавник!
Рассыпайтесь, горячи кони!
Я губами к реке преник!

От реки отрываю рыбку –
Рядом с сердцем она горит.
И, выдавливая улыбку, –
Задыхаюсь я! – говорит.

Отрываю от сердца рыбку –
Под водою моя рука –
И выдавливаю улыбку...
Покрывается льдом река.

* * *

Был же вечер не слухом, не сплетней,
На бульваре горели цветы!
Был же я – двадцатисемилетний,
И семнадцатилетняя – ты!

Ты, как свет на ладони, легка!
И пока никакого мне дела,
Что душа не вселилась пока
В загорелое юное тело!

Мы совсем не тоскуем о ней,
А идем с тобой напропалую!
Посреди площадей и людей
Я тебя без оглядки целую.

Лишь летящие линии рук –
И в другом мы от всех измеренье!
Ничего ты не видишь вокруг,
Так вот и начинается зренье!

Прозревает и зреет душа,
Наполняется розовым светом.
Только ты без нее хороша!
Для чего она в возрасте этом?

Будет пройден житейский ликбез,
И начнется души возмужанье.
А пока ты мне нравишься без
Хоть какого-нибудь содержания.

Будет все – цветостой, листобой.
Будет холод осенний и зимний.
А пока что одобрен тобой
На виски мои выпавший иней.

Всю идущую вслед молодежь
Превзойдешь ты талантом и светом.
Но уже никогда не пройдешь
Ни за кем, как пылинка за ветром.

Элитарен²

Сказали мне: ты элитарен,
Стихи твои не всем понятны.
А я всего-то лишь татарин,
Хотя сомненья вероятны.
То примут вдруг за иудея,
Поскольку позволяет имя.
А я им говорю, балдея:
Какая смелая идея –
Жить в наше время, в Третьем Риме!
Могу работать и японцем,
Светя щекой, облитой солнцем!
Надену кепку – армянин,
Почти советский гражданин!
Не нравлюсь папам, нравлюсь мамам,
И даже незамужним дамам!
Когда, красив, как лимузин,
В сиянье собственных ботинок,
Иду в толпе друзей-грузин.
Или иду на крытый рынок,
А он – Медина или Мекка.
Я там стою с лицом узбека,
Как персонаж своих картинок!
И вовсе в прятки не играя,
А толщу времени стирая,
Могу в земле, от соли душной,
Открыть подземный свет Сарая
И выстроить Дворец Воздушный!
По воле божьей став пиитом,
Погибну я, когда солгу:
Я все могу! И не могу
Освободить забитых бытом,
Склоненных рылом над корытом,
От эстетической нагрузки.
В Пространстве, Господом забытом,
Я – каждый день в бою открытом,
Поэтому пишу по-русски.

² Сарай: с тюркского – дворец, город, который несколько веков назад стоял в нижнем течении Волги.

Плач по лету

Не свети прозрачной кроной, клен!
То не твой, а мой осенний стон.

Не шумите, буйны тополя!
Живы корни. Вертится земля.

Ах, цветы сирени! Сон земли!
Не заметил, как вы отцвели!

Ах, черемух белый воздух-вдох!
Черных ягод каменный горох.

Ты, тропа моя, пустым-пуста –
Место для летящего листа.

Как летит он! Как стремится вниз!
Но зачем он в воздухе повис?

Душу человеческую что пытаться?
До земли же надо долетать!

Так и будет в воздухе висеть.
И паук его завяжет в сеть.

И в четыре закует угла.
Вспыхнет осень. Жизнь! Ты где была?

Человечье сердце крикнет: «Нет!»
Есть весна!» И зародится свет.

Да и вовсе он не угасал.
Просто лист в пространстве повисал.

До земли-то он не долетал.
Душу, Боже, для чего пытал?

Сад на асфальте

Поглядишь вниз –
заасфальтированная земля –
мрак!

Поглядишь вверх –
заасфальтированное небо –
мрак!

Поглядишь вперед –
заасфальтированные лица горожан –
мрак!

Закроешь глаза –
поглядишь в себя –
СВЕТ!

Так и ходишь с закрытыми глазами,
Своим ярким светом любишься,
Никого к этому свету не подпускаешь:
Не дай Бог, натопчут
В безграничном и стерильно чистом
Пространстве и Времени Любви
К самому себе!

А приглядишься к себе внимательнее
И делаешь поразительное открытие:
А-а-а! – вот он где спрятан
Асфальтовый завод.

Как же он туда попал? Догадайся сам!
Тебя еще не было на белом свете,
А вокруг того места, где ты родился,
Уже стояли и всю дымили
Черные асфальтовые заводы.

И теперь ты ничего не знаешь
О естественной почве,
На которой растут
Живые цветы,

И упорно выращиваешь
Сад на асфальте.

ОТВЕТ

* * *

Я сам поэт и русский патриот.
Не ржавый и надежный винт державы.
Негоже мне отказываться от
Самойлова и Окуджавы.

Я ничего не помню!
Что было – позабыл.
Катилось солнце к полдню,
А я счастливый был.

Да, я однообразен и убог
В пристрастиях. Иным быть не пытался.
А Межиров в Америку улег.
Но он в душе моей остался.

Мелодия звучала,
Лилась издалика,
Нисколько не крепчала,
А плавала слегка.

Перед фронтовиками я в долгу.
Воспитан так. И фразочкой крылатой
Я их вину измерить не могу.
Живу во всем сам виноватый.

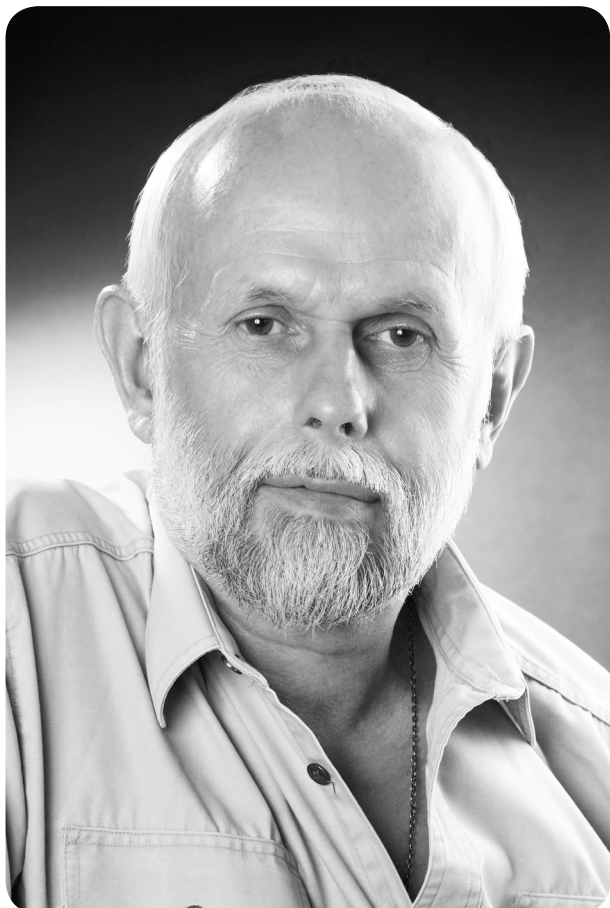
Я шел не по дороге,
А с краю, где столбы.
Передвигались ноги
По воздуху судьбы.

Рубцов, Куняев, Юрий Кузнецов
Мне ближе вышеназванных. И все же
Отцы пусть предадут. А нам негоже.
Негоже предавать отцов.

А там, в дали отвесной,
Зеленый жук гудел.
И кто-то неизвестный
В мои глаза глядел.



Владимир Еременко



Еременко Владимир Спиридонович родился в 1948 году в Мариинске. Русский поэт, автор нескольких книг. После службы в армии, в 1973 году, окончил Кемеровский государственный институт культуры, режиссерско-театральное отделение. С 1975 года по сей день работает в Кемеровском государственном университете культуры и искусств. В 2001 году окончил Московский Православный Свято-Тихоновский богословский институт, катехизаторско-педагогический факультет. Член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

Поэзия

Зеленая ветка стиха

* * *

И лист, встрепенувшись, проснулся,
Когда я к нему прикоснулся;
Когда я его белизну
Невидимой кистью лизнул.

Растёт на странице, тиха,
Зелёная ветка стиха.

* * *

Лиле

Как новоявленный родник,
На дне реки родивший токи,
Твой ясный взгляд в меня проник
И заиграл в моем потоке.

Вся к солнцу устремлялась ты,
Меня собою наполняя.
Стояло время Красоты,
Прозрачным Именем сияя.

* * *

На ворох строк взобрался муравей,
По стебельку словесному поднялся,
По мысли вверх ползти дерзнул моей
И вдруг перед глазами оказался.

Два образа, два мира, два лица,
Одолевая трепет изумленья,
Соприкоснулись в Замысле Творца,
Совместный плод творя стихотворенья.

* * *

Жизнь нам Вечная дана –
Верьте этому, не верьте!

Мысль моя сильнее сна,
А душа сильнее смерти.

Духом Истину познать,
Плотью в Свет преобразиться!
Больше – не о чем мечтать,
Выше – нечему случиться.

Утро, вечер, день и ночь –
Крестный Подвиг перед нами!
Как не жаждать? Как не мочь?
Как не Жить? Судите сами.

* * *

Проверяет Господь,
Что могу понести...
Осторожно

Тяжесть мира сего
Полагает на плечи мои...

Должен вынести я
Этот мир...
Одному невозможно...

Невозможно,
Тогда подставляет
Он плечи Свои...

Как работник Симон,
Крест Господень
Несу на Голгофу...

Только муки принять
Я не в силах!..
Прошу мне простить.

Воскресения Свет,
уподобленный
выдоху-вдоху,

Не могу осознать,
а не то что в себе воплотить.

Только путь этот мне
предстоит совершить.
И тревожно

Перед тем, что в себе
должен я
до конца побороть.

Проверяет Господь,
что могу понести.

Осторожно

Укрепляет в любви
и терпении
дух мой и плоть.

Город издали

Строится Белый Храм,
Видит его не каждый,
Но, прозревая, там
Встретимся все однажды.

Вместе под гулкий свод
Ступим – едины сроки,
И ощутим исход,
И освятим истоки.

Каждый себя в другом
Сердцем почует сладко.
Ну а пока кругом
Вздыбилась стройплощадка.

Мусор, отходы, хлам,
Серых дождей завеса...
Строится Белый Храм,
Светлый, встает над лесом.

* * *

Дорогами брэнной Земли
Шёл Странник.

– Далече?..
– Далече!..

И солнце скрывалось в пыли,
И звезды вставали навстречу.
И сердце сжималось, и тень
Ночная владела умами...
И Странник на следующий день
Опять проходил между нами.

Блаженная

Возвышенно тиха
Среди несовершенства.
Не сотворит греха,
Благословит младенца.

И жертвой от невзгод
Нас оградит незримо.
Любви не обретет,
Любовью сотворима.

Но даже и на миг
Не явит сожаленья.
В лице таится Лик
Великого Явления.

* * *

Луна, как прожектор на вышке,
А мы как на лесоповале.
Сухие сосновые шишки
И страхи в костер побросали.

О воле-свободе толкуем
Сыновней за Отчим порогом.
Но воли Отцовской не чуем,
Ночуя под бдительным Оком.

Сверкают небесные реки
И наш костровой засыпает...

И мысли опять о побеге –
Туман, как судьба наплывает.

* * *

Вся в клочьях-ленточках рубаха,
Из бездны дыбится обвал!..
Из грома, грохота и праха
Вновь выплывает перевал.
И открывается, сурова,
Вдруг неожиданная Высь,
В Одно Единственное Слово
Вмещающая смерть мою и жизнь.

* * *

Купол снегом запорошен,
Крест алмазами горит!..
На Земле, где мир тревожен,
Церковь Божия стоит.

Снег валит, мороз крепчает,
Мир по крыши занесло,
Но – цветами расцветает
Льдом покрытое стекло!

Пусть морозы и метели, –
Все ликует естество!
И звучат в сердцах свирели,
Славя Божье Рождество.



Сергей Донбай



Донбай Сергей Лаврентьевич родился в 1942 году. Русский поэт, автор многих книг. Учился в Новосибирском государственном инженерно-строительном институте. Работал в Кемеровской областной организации Союза писателей. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Имеет награды Кемеровской области. Лауреат премий: имени В. Д. Федорова, благоверного великого князя Александра Невского, «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова. Главный редактор журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

Поэзия

Дверь открой посредине России

* * *

Дверь открой посредине России
И лицом к быстрине прикоснись:
Сколько там мужики искурили,
В тамбурах, размышляя про жизнь.

Мы с тобою на встречных экспрессах
Разминёмся. Помедлить нельзя!
Полетят параллельно и резко
Наши волосы, руки, глаза.

Свежий ветер, простор неоглядный...
Через слёзы предстанет страна –
Наши волосы треплет и гладит
На восток и на запад она.

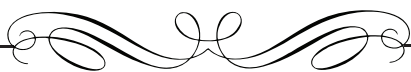
Воля

Я родился, вздохнул, задохнулся и ожил:
Этот воздух, который впервые схватил,
Был густым от страданий и пыли
дорожной,
Смешан с пеплом и горем отечества
был.

И входили в свободном потоке стихии
Навсегда: возраст воздуха в тельце моё,
Молодая, морозная сила Сибири –
И снега, и таежные жабры её.

Мама помнит, на сносях картошку
копала...

Я не помню, когда у меня неприязнь
Появилась к той части людей,
что считала,
Что спесиво считала: земля – это грязь.



Всё как будто нарисовано.
Ты и сам шагнул в этуод.
Тонны снега невесомого
Рядом в воздухе живут.

За домами белобровыми
Звуки спрятались совсем.
Тишина лежит сугробами,
Как верблюды возле стен.

Понимаю: звук не видно ведь...
Снегопад – не услышать...
Только странно слово вымолвить,
Чтоб себя не испугать.

* * *

В. Ковшову

Нищим светом облиты снега,
Заунывно дорога басит,
И тоски золотая серьга
Одиноко над полем висит.

И луна эта мне дорога!
И печаль эта мне хороша!
Раздевается свет донага.
Бедной пищей довольна душа.

Первый снег

Город побелили –
Выпал снег.
Парикмахер лилии
Рисует на лице клиента!
Груда белья ломкого
В комнате морем запахла –
Застыли колени и локти
Плоских рубах, штанов.
Падает верхний, верхний и

Снова падает снег!
В улицах длинных сверстники
Мои молодые седеют...
Колокол сердца! Колокол! –
Ровный, спокойный обычно –
Так запыхался около
Левой моей руки! ..
А где-то в лесу родился
Поздний шарик смородины;
Жук, проползавший, ему удивился,
Но никому не сказал.

Новогодняя ёлка

Речка живёт подо льдом,
Птица – в морозе свободном.
Дерево входит в дом
И говорит: «С Новым годом!»

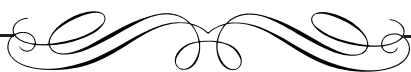
Голоса нам не слышно,
Но не понять грешно...
В дом по-язычески пышно
Дерево приглашено.

Нашей любви инвалид –
Землю у неба отняли –
Срез на ветру болит,
Не закричишь корнями.

Голоса нам не слышно,
Но не понять грешно...
Ах, как от радости душно
И непослушно смешно!

* * *

Я дождик и снег в две горсти
Хожу собираю по городу,
Чтоб дождиком летним пройти!
Чтоб снегом свалиться на голову!



Мне ночь от звезды до зари,
Туманной, укутанной, утренней,
Чтоб руки и речи твои
Весь день вспоминать перепутанней.

Склонюсь поиграть с муравьём,
В руке золотая соломинка,
Чтоб было привычно потом
С детьми, наклоняясь, знакомиться.

А там уступлю на пути
Я жизнь мою внуку весёлому –
Чтоб дождиком летним идти,
Чтоб снегом ложиться на голову.

* * *

Весенний воздух, наизусть
Заученный, почуем снова,
И вырывается из уст
С улыбкой сказанное слово!

Освобожденная вода –
Усилье света и прохлады!
И не осознаны тогда
С улыбкой брошенные взгляды.

Широк распах воротника!
Как мысли, связанные с небом,
Над головою облака
Торопятся высоким следом.

* * *

Небосвод облаками намок.
Птицы ходят у талой воды.
Мокрый голубь вспорхнул из-под ног,
На асфальте оставил следы.

Весь в хрустальных сосульках балкон,
Как небесный орган, нависал,
И тяжёлым безмолвием он
Над судьбою прохожих играл!..

Воздух яркий и сильный такой –
Только что, как в начале листа,
В нём написано чьей-то рукой,
Не просохло название куста:

Облепила, шиповник, сирень?
Из-под снега оттаяли вновь
Все потери: и радостный день,
И скамейка, и мяч, и любовь!

И вернулся из детства секрет:
Лишь посмотришь, зажмурившись,
вверх –
Ало плавится солнечный свет
Через кровь, через кожу век.

Так входи же, весны вещество,
Здравствуй в нас и работай в крови!
Отличаю тебя от всего –
Не могу отличить от любви!



Александр Катков



Катков Александр Иванович родился в 1950 году в казачьем хуторе Зайцево Ставропольского края. Русский поэт, автор нескольких книг. Учился в Пятигорском институте иностранных языков. Продолжил учебу в университете имени Карла Маркса в городе Лейпциге (Германия). Защитил дипломную работу на факультете германистики. Служил в ракетных войсках в Прибалтике. Работал переводчиком, преподавал немецкий язык в вузах. Работал на кафедре иностранных языков Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Награжден медалями Кемеровской области. Член Союза писателей России. Живет в Кемерово.

Поэзия

Это родина – сине ставни

* * *

Какая горечь – постоять
У кромки поля и разлуки.
И, замерев, не простирать
К простору зябнущие руки.

Над полем свист! И дрожь берет...
Какие ветры над полями!
И не понять – который год
В календаре отмечен нами.

Людским страданиям нет конца,
И нет пришествия второго.
Но наши русские сердца
Вместили поле Куликово,

Полтаву и Бородино
И Поле, ставшее безвестным.
Но в каждом сердце все равно
Для поля оставалось место.

А времена смертоубийств
Не канули, однако, в Лету.
И холодящий душу свист
Напоминает мне об этом.

Берегиня

Когда княжна Ярославна
Рыдала по нем – не по мне,
Я пал вместе с ним, но прославил
Женщину на стене,

Рыдавшую, мир отринув,
Руки свои заломив.
Она была Берегиней,
А что для нее был мир?

А позже, когда уж мало
Останется дней, пойму –
Родина есть и мама,
И я не уйду во тьму.

А женщина, что богиней
Меня в свой дом привела?
Весталкою, Берегиней
Недолго, да побыла.

Что бы там ни было – ладно!
Пока есть родная речь,
Я с этой бедою слажу –
Было б кому беречь.

Я не из тех, кто бранили,
Смешав и хулу, и лесть.
Россия,
 моя Берегиня,
Спасибо за то, что ты есть.

* * *

Самолет выпускает шасси.
Вот и все. Я на родине снова.
В эту даль изо всех моих сил
Рвался я ради звонкого слова,

Соловьинного слова любви,
Пониманья, прозренья и муки.
И Судьбу, словно Спас на Крови,
Я построил ценою разлуки.

Кто меня над землею носил –
Дух вселенского зла или гений?
И судьба, выпуская шасси,
Даровала у края мгновенье.

Но теперь – торможенье колес
По траве между плит и бетона.
Не хватает дыхания и слез...
Вот и все. Я на родине. Дома.

* * *

Прямо в сад выбегали ступени,
Было их ровно пять у крыльца.
И под запах дождя и сирени
Я разбужен был песнью скворца.

В ожиданье восторга и счастья,
Доверяя скворцу,
 наугад
Окна – настежь и сердце – настежь,
Пять
 шагов,
 пять
 ступенек
 и – в сад!

А в саду в деревьях ликование!
Горлопан, менестрель, этот спец,
В полубморочном состоянии
Заходил от счастья скворец!

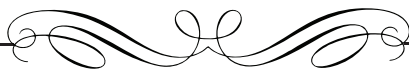
И прохладу июньского сада,
Ощущая кожей всей,
Я бежал до дальней ограды,
С головы и до пяток в росе.

И представьте, мне было так трудно,
Что бессмертья и вечности нет.
Просто было июньское утро
И мне было одиннадцать лет.

* * *

Ночами незваных бессониц
В протяжной, как зов, тишине
Звездой упавшей в колодец,
Горит моя лампа в окне.

А где-то, за тысячу далей,
Есть дом самых чистых сердец.
В нем так натрудились, устали
Заснувшие мать и отец.



Там ночь навалилась на крышу
И нет ни звезды, ни огня.
Я сны их отчетливо вижу,
В которых жалеют меня.

Родители, руки России!..
Стихи мои, с вами зачем,
Как с писаной торбой, носился,
А им не помог я ничем?

Пока я выматывал жилы,
Про землю родную трубил,
Они на земле этой жили,
Ни сил не жалея, ни жил.

Так вот она – память. И совесть.
И, значит, все верно со мной.
И нет справедливей бессониц,
Чем те, что стоят за спиной.

* * *

Где это время? Никто не ответит,
Все проросло чабрецом и быльем.
Но просыпаюсь опять семилетним:
В комнате глаженным пахнет бельем.

И задыхаюсь от слез: неужели
Снова июнь, мое детство и дом,
Запах белья и хрустальные трели
Птаха развесила за окном?

Нет ничего, кроме этого пенья
И подоконника в каплях росы.
Как далеко еще до ослепленья
От незаслуженной взрослой слезы!

Не доведи до чернейшего сраму,
Жизнь моя, если в начале твоём
Так еще чисто, песенно, рано,
Если поглаженным пахнет бельем.

Было и будет бессониц немало –
Пусть в изголовье незримо стоят
Юный отец в гимнастёрке линиялой
И кареглазая мама моя.

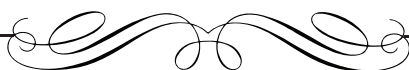
Путь на Итаку

Пусть обнажится жизни горчайшая суть.
Но чтоб в бессилье от этой беды
не заплакать,
Я вспоминаю тогда, что есть
непотерянный путь
По сломанной жизни, по памяти –
путь на Итаку.

На черный мой день я его для себя
приберег,
На черный мой день для грядущей
однажды печали.
И сколько обманных пройти не придется
дорог,
Мой путь на Итаку кончается в раннем
начале...

Я жизнь полюбил не за праздник
премьерных кулис
И не разлюблю за случайность
и краткость явления.
Я суетно жил, и пусть сбиты до крови
колени,
Но путь на Итаку всегда выбирает Улисс.

Тот путь к тополям на осенний багряный
пожар,
По листьям сгоревшим –
в распахнутость гулко дома,
К тропинке средь трав, по которой
мальчонкой бежал
К смеющейся маме, в ее молодые
ладони.



И небо мое никогда не померкнет окрест,
Не сгинет душа в безысходности боли
и мрака,
Пока я живу на земле и пока на ней есть
Мой путь на Итаку, спасительный путь
на Итаку.

* * *

Это родина – синие ставни,
Это родина – ивы внаклон,
Над которыми сырыми стаями
Птицы тянутся в небосклон.

Было вдоволь и песен, и хлеба,
Жизнь взахлеб и беда по плечу.
Но под этим единственным небом
Я от родины мало хочу.

Я хочу, чтоб земля не скудела,
От которой и песня, и хлеб,
Чтобы, делая нужное дело,
Не оглох я и не ослеп.

Я хочу, чтоб река не мелела,
Чтоб пьянил и дурманил чабрец,
Чтобы мама моя не болела
И чтоб сильным остался отец.

Деревенские похороны

На десять деревень окрест,
За теми, кто куда живы,
Рыдал задрипанный оркестр
То спотыкаясь, то фальшиво.

Старуха Дарья померла.
Соседи свадьбу отменили.
И вот почти что полсела
Пришло к разверзнутой могиле.

Молчали все – и стар, и мал,
И каждый с горечью подспудной
Себя к той жизни примерял,
Где солнца нет, но так же людно.

А впрочем, нет! Не к жизни той
И даже не к подобью жизни,
А к той черте пред темнотой,
Что остается после тризны.

Когда отринут свет и дом,
И выщелк птицы безмятежной,
И музыканты под хмельком
К машине медь несут небрежно.

Ходики

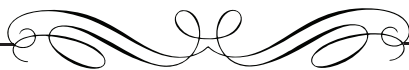
*Памяти бабки моей
Федосьи Федоровны*

Говорила: «Ну что вы все ходите
Мимо окон, проезжий чужак?».
А в простенке перечили ходики:
«Может – он? Может – твой?
Может – так?».

А потом они так отмеряли,
Федосья, свиданья твои,
Что и сами собой замирали
В ночи, полные бабьей любви.

Как же время жестоко бежало
Под размеренную тишину!
Ты готовила, шила, рожала,
Провожала его на войну.

В ожиданье грядущей печали
Заржавел голубой циферблат.
В сорок пятом все лето стояли –
Это он не вернулся назад.



И, казалось, истошному крику
Всю себя до конца отдала.
Но потом ты подправила гирьку,
Стрелки правильно подвела.

Поднимала себя и сына,
И на внуков хватило сил,
У которых теперь над камином
Электрические часы.

Нет тебя. Только крест над холмиком,
На погосте, среди тополей.
Но не крест – я поставил бы ходики,
Словно памятник жизни твоей.

Васена

И тревожным был год, и веселым,
Жутким, как удар палаша.
А казачка, бой-баба Васена,
Так чертовски была хороша!

Были сладки свиданья за банькой,
Да в оглядку за десять дворов,
Потому как миленочек в банде,
Чуть светает – и будь здоров.

Эту банду в расход и запишут.
А она не уронит слезу,
Чуть живого миленочка Гришу
Будет прятать от чона в лесу.

А потом закопает украдкой,
Где ни ворон, ни черт не сидит,
Снова в хутор вернется с оглядкой
И дитя в той же баньке родит.

Память кровная – страшная сила,
Нет страшнее, наверное, сил.
Когда немцы пойдут на Россию,
В полицаи уйдет ее сын.

Но воздастся снова сторицей
И отродью, но главное ей.
И еще проживет она тридцать
Долгих лет среди добрых людей.

Никогда не забуду на свете,
Как ссутулившись у окна,
И страшней, и уродливей смерти
Дождается смерти она.

* * *

Моим товарищам

Поэты уходят.
Гудят сквозняки.
Темно на дворе,
и повыбиты стекла,
И главной уже не хватает строки,
Где жизнь под дождем и слезами
промокла.

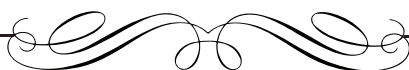
А кажется, только что рядом ходил,
Вино распивал, балагурил беспечно,
И вновь это он,
так прекрасен и мил,
На остановке заходит конечной.

Но скоро зима.
И грядут холода.
И мы, холодея всей кровью,
до дрожи,
За толщею снега уже никогда
Его различить напоследок не сможем.

* * *

Когда поэт пирует за столом,
Прошу Вас – не судите слишком строго,
Ведь у него ужасная дорога
С ухабами и смертью за столом.

Когда ему не спится до утра,
Прошу Вас – не гремите каблуками,



Юлия Лавряшина



Лавряшина Юлия Александровна родилась 3 мая 1965 года в городе Кемерово. Окончила Кемеровский государственный институт культуры, библиотечный факультет. Прозаик, драматург, поэт. Автор более двадцати книг прозы, сборника стихов, ряда пьес, киносценариев. Лауреат премии Кузбасса за большой личный вклад в развитие культуры Кузбасса. Номинант Букеровской премии (2006, роман «Фальшь истины»). Лауреат Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина (2010, повесть «Улитка в тарелке»). Награждена медалями: «За достойное воспитание детей», «За доблестный труд»; юбилейной медалью Московского отделения Союза писателей России; памятной медалью им. А. П. Чехова. Издавалась в Москве, Новосибирске, Кемерово. Член Союза писателей России. Замужем, трое детей. Живёт в городе Королёве Московской области.

Московское фламенко

РОМАН

Фрагмент

*Выкорми ворона, и он
выклюет тебе глаза.
Испанская пословица*

*Слушай, давай шагнем с тобой в небо...
К черту землю с ее мелочным притяжением
суеты! Кто ты здесь? Кто я здесь? Разве по-
настоящему видят нас те, в чьих глазах так хо-
телось бы отразиться? А когда мы вытянемся
меж облаков, плоские и легкие, как люди кисти
Шагала, наши узкие тени перережут наискосок
пути оставшихся на земле. Они споткнутся
о длинные штрихи, с каждым мигом становя-
щиеся все менее траурными, почти прозрачны-
ми, поднимут, наконец, глаза к небу и заметят,
как мы с тобой уплываем в страну незаходяще-
го солнца из края вечно-свинцовых облаков, уби-
вающих радость. Свинец всегда убивает... Раз-
ве мы живы здесь более, чем будем живы там?*

Шепот стелился по выющимся листьям, при-
крывающим балкон от солнца. Оно пробивалось
весело дрожащими, будто от сдерживаемого
смеха, пятнами, ползало по красным подушкам,
наброанным на плетеные кресла, по разноцвет-
тью нежных, как щенячьи ушки, лепестков, вы-
сунувшихся из своих горшочков. Когда Лариса
расставила эти выдыхающие тонкое волнение

цветы, целым семейством закупленные на рынке в Подлипках, невзрачный балкон на скошенном углу «сталинского» дома, вспыхнул, зашелестел радостью. Пятилетняя Соня тогда так и замерла на пороге комнаты, стиснув у груди ручки, и часто заморгала от восхищения, которое не угасло в ней до сих пор.

Теплая макушка дочери прижалась к груди. Лариса поймала губами паутинку лунных волос, пощекотала кончиком выюнка розовую пяточку. Ухватив, Сонечка сжала ее указательные пальцы, подобрала ножки.

– Мамочка, у нас тут, как в сказочном саду!

– Почему ты шепчешь?

– И ты шепчешь.

Почесав загорелую коленку, девочка добавила задумчиво:

– Цветы не любят, когда кричат.

– Никто не любит, когда кричат.

– А в садике все кричат. У меня голова лопается! Я не хочу туда...

Лариса, стиснув покрепче, качнула тоненький стебелек ее тельца:

– В октябре отдохнешь от садика, поедem в мою Испанию. Погреемся...

– Ты будешь танцевать фламенко?

– Нет, там я не буду работать. Только отдых! А в следующем сентябре я повезу тебя на фестиваль в Севилью, он называется «Bienal de Flamenko».

Маленький носик смешливо сморщился:

– Я поняла только – фламенко.

– Ты увидишь лучших танцоров мира...

– А ты, мамочка, будешь там выступать?

Слегка кольнуло:

– Нет, детка. Я – байлаора, но в элиту танцоров фламенко я не вхожу...

Произнести такое оказалось ей под силу. Училась воспринимать как данность то, что вершины достигнуть уже не удастся. Не то, чтобы способностей не хватало или душа была мелковата – так сложилась судьба. Ведь и фламенко – это не только любовь и смерть. Это судьба.

– Ты танцуешь, как королева! – у Сонечки даже щеки порозовели.

Захотелось прижать дочку еще крепче.

– Не думаю, что испанская королева танцует фламенко... Хотя... У них эти ритмы в крови. Когда-нибудь я расскажу тебе историю Испании, и ты поймешь, почему в их песнях столько тоски. У них и у нас.

– А мы – русские, да?

– Да, мы – русские, мое солнышко. И это лето мы провели в России. В нашем любимом Королеве. Неплохо ведь?

Дочка любила свой город ревностно, любые сравнения с Москвой воспринимала, как оскорбления в свой адрес: «Король – маленький, ну и что?! Зато здесь весело! И деревьев много...» С последним трудно было поспорить.

– Знаешь, что я хочу тебе сказать, – серьезно начала Соня, перегнувшись через балконные перила, – сейчас уже не лето.

На всякий случай Лариса ухватила за маечку.

– Я знаю. Такая осень называется золотой. Посмотри на парк, видишь, какие у берез солнечные прядки появились?

– Папа тоже золотой!

Лара улыбнулась:

– Людей называют – рыжий.

– Наш папа – рыжий?

– Приходится признать очевидное... Огромный и рыжий. За это мы его и любим!

– Не за это, – возразила дочь. – Мы его просто так любим...

Почему-то сразу вспомнилось, как Соня шкодила в девять месяцев, когда ей ужасно хотелось побросать все игрушки за диван, а папа не позволял. И «мелочь», как называл ее брат, пустила в ход женские приемы обольщения: нежно прижалась к отцу, заворковала, отчего Семен тут же растаял, а в это время другой рукой просовывала игрушки в диванную щель. Когда заметили – хохотали до слез!

...А Соня уже допытывалась:

– Зачем нам сегодня ехать на озеро? Дома так хорошо! Мы бы пошли с тобой в парк... Лошадок покормили...

– Каких лошадок?

Выскользнув из ее рук, девочка просунула личико между белыми балясинами:

– Вон тех! Внизу.

– Ты про зеленые скульптуры? Ну... Они не помрут, если мы отлучимся на пару дней. Может, последние теплые дни стоят...

Сонечка уселась на домотканый коврик, ловко сложила ножки по-турецки, уперлась в них локотками и протянула задумчиво:

– Это далеко...

– Не очень. Мы быстро домчимся, ты же знаешь папу! Он не умеет медленно ездить.

– Папочка – лапочка. Одинаковые слова!

Лариса прижала пальцем кончик остренького носа:

– Рифмы.

Темные, чуть вытянутые к вискам глаза дочери весело заискрились:

– Мама – лама.

– Дочка – квочка! – отозвалась Лариса.

Губы ее расплзались сами собой, если она смотрела на младшую дочь. Когда они с Семёном надумали рожать, в женской консультации Ларису встретили так, будто она решила на нечто аморальное.

– Ильина, у вас что – новый муж? – спросила узколицая доктор, не скрывая раздражения. Прозрачный взгляд в обрамлении черных ресниц показался обжигающе холодным.

– Да нет, – даже растерялась она. – Все тот же.

Нервная дробь шариковой ручки по листку показала сигналом к началу казни. Напрягшись, Лариса велела себе собраться: не себя спасать надо, ничего неловкого нет в том, чтобы встать и уйти, унося подальше крошечную жизнь, которую уже ощущала всем своим существом. Три выкидыша пережила, пока Сонечка не уцепилась за свое гнездышко, что было мочи. Сама велела ей, в очередной раз увидев на тонкой палочке теста на беременность две полоски: «Знаешь что, детка, на сохранение я больше не лягу! Толку все равно нет... Так что держись там изо всех сил!» С того момента до визита к врачу прошло три месяца, самое опасное, казалось бы, позади. И все же страшновато...

А доктор не сдавалась, все громче стучала по ее карточке:

– Чего ж рожать надумали? Вам ведь уже тридцать девять!

Тут уж ошетилилась Лара:

– И что? О душе пора думать? Так о ней надо думать в любом возрасте!

– А о патологиях, кто за вас думать будет? Рожать в двадцать лет надо, пока здоровье есть.

– Оно у меня и сейчас есть, – отрезала Лариса и встала, чувствуя, что задыхается в этом кабинете. – Ни одной хронической болячки, все показатели, как у космонавта. Вы еще найдите двадцатилетнюю девочку с таким здоровьем!

От беспомощности, что ли, гинеколог выкрикнула ей вслед:

– Но у вас ведь уже взрослый сын! Скоро он вас бабушкой сделает, а вы... Курам на смех!

«Да она завидует мне! – это вдруг явилось такой очевидностью, что Лариса рассмеялась с облегчением. – У нее ведь даже глаза оледенели без любви... А тут: двадцать лет один муж, который еще и ребенка от меня хочет. Как такое стерпеть?!»

Из консультации она почти выбежала, но все не пытаясь скрыться от угрозы, уже не пугающей, а ощущая прилив той бурлящей энергии, которая почти сорок лет гнала ее на сцену. Иначе – где выплеснуть? На кухне бушевать? Стучать кастрюлями? Орать на мужа? Чтобы потом презирать его за то, что позволяет? А себя еще больше...

«Байлаора может идти по жизни только с настоящим мачо», – говорила она, посмеиваясь, но по сути так и было. В МЧС слабаков не берут...

Сколько лет прошло с тех пор, когда их бригада спасателей прибыла по вызову на Ярославское шоссе, где столкнулись «Жигули» с бензовозом? По радиации сообщили, что двери заклинило на смерть, а в салоне целая семья, все без сознания – ремнями безопасности тогда никто не пользовался. Семен со своими ребятами оказался в двух минутах езды от Тарасовки – мальчишку из колодца вытаскивали, который в свою очередь пытался спасти кошку. Семен и ее прихватил, на других условиях ребенок отказывался выбираться. На руках еще долго не заживали царапины...

Хохотали с мужиками в машине, передразнивая то кошку, то пацана, оравших на два голоса. Никакого судьбоносного предчувствия не было... Когда вылетели на Ярославку, даже

не вспыхнуло еще, успели обрадоваться – не опоздали! Но на их глазах и рвануло, на миг очаровало ужасом. Кто-то крикнул, что в «шестерке» девчонка, еще живая. Очнулась на заднем сиденье, колотится в окно, можно успеть... Так уж вышло, что Семен подоспел первым, задыхаясь от жара вытащил Ларису через заднее стекло, всю спину ей ободрал, зато сгореть не дал. Потом навел ее в больнице... И не смог уже оставить одну в обрушившемся на нее горе. Еще студентка, почти ребенок, сиротой осталась в один миг – как пережить такое?

С тех пор он всегда был рядом. Ее герой.

Пару лет назад Семен сам ушел из МЧС, устроился работать в архив, объяснив это тем, что не смотрелся за свою жизнь такого – даже улыбаться больше не хочется. Сегодняшний день для Семена был тусклым подражанием тому славному прошлому России, которое осталось только в книгах. Он зачитывался историческими романами и монографиями, помнил всех персонажей былой Руси, как своих братьев, и раздражался, когда Лариса пыталась заинтересовать его чем-то из настоящего.

– Все осквернено, разве ты не понимаешь? Все в прошлом. Все достойные личности, великие дела... Апокалипсис уже случился, вот только ваш хваленый Христос что-то не пришел к нам. Так и живем – в безвременье.

– Но раз уж мы в него угодили, нужно спасать свою жизнь! Не умирать же заживо, – пыталась спорить она.

Семен морщился, заслышав слово, долгое время бывшее профессией:

– По гамбургскому счету, ничего уже не спасешь... Настоящее не может представлять интереса для человека, способного видеть и размышлять.

– С тобой с тоски помрешь, – цедила она, отступаясь.

Но внутренне сжималась, всякий раз ощущая собственную малозначительность: он думает о всем человечестве и столько знает о нем, что имеет право судить, а ее занимает только семья. Мелковато. По-бабски... От стыда вела себя недостойно.

– Ты толстеешь день ото дня, – Лариса пыталась произнести это так, чтоб задеть за живое.

Но этим Семена было не пронять, все физическое не удостаивалось его внимания, пока не нарушало душевный покой. Ларе в его высказываниях слышалось: то, как выглядит она, тоже волнует его все меньше. И как еще Сонечку удалось зачать?!

Успокоившись, приходила к одной и той же мысли: самой же лучше, что мужа никуда не вытаскишь. Вечерами Лариса танцует в клубе «Пенья фламенка»¹, кому-то необходимо оставаться с ребенком. То, что испанский клуб расположился в Китай-городе, служило вечным каламбуром. Хотя никакого отношения к стране драконов название старой части Москвы не имело, скорее, от итальянского «кита» пошло, а это как раз «город» и означает. Это не Семен ей открыл, еще в детстве Лару всерьез оскорбило то, что и Кремль, оказывается, итальянцами построен – сердце России пересажено с чужой почвы! С тех пор как увлеклась фламенко, стала куда терпимее...

А Семена примирить с действительностью только Сонечке и удавалось, ее веселой энергией очищался от тяжелого дня... От тысяч подобных дней. Начинал служить, когда еще и МЧС не было, названия менялись. Сколько людей ему жизнью обязаны – не сосчитать. Но никто из них даже открытки к празднику не пришлет, забыли, что сделал для них этот человек. А Лариса, тоже им спасенная однажды, помнит. И потому до сих пор с ним – и навсегда. Хотя случались дни, когда ей больше всего хотелось, чтоб он не вернулся со службы. Она проклинала эти дни...

...Сегодняшний был заполнен сборами и солнцем.

*Комната с балконом и окном
Светла сейчас...*

Соня крутилась рядом с озабоченным видом, собирала свой рюкзачок, мучась нелегким выбором – кого из кукол взять с собой на озеро? Со всех полок на девочку глядели умоляющие глаза: «Меня! Не забудь меня!» Из сетчатой кор-

¹ Название общества любителей фламенко.

зины с крышкой в виде красной рыбы настырно высовывались головы лохматых щенков и медвежат. Умеющий издавать грудной смех и жевать печенье Лёка улыбался из своей коляски сквозь слезы... Лариса подсказала дочке имя для самой веселой куклы-мальчика, показалось, что произнесла первое, пришедшее на ум, а потом спохватилась: «Это я в честь *него*? Нельзя вспоминать! Нельзя... Но у него так же искрились смехом глаза...»

– *Porque te vas?*²

Озабоченная сборами Соня в отчаянии сжимала щеки ладошками:

– Ой, мамочка! Я прямо не знаю, что с ними со всеми делать... Они же умрут без меня.

И, бросая на мать испытующие взгляды, принималась причитать:

– Как же они тут будут одни-одинешеньки?! И поговорить с ними будет некому! И спать уложить...

– Ермолова! – фыркала Лариса. – Можешь не давить из меня слезу. Мы не потащим с собой целый воз твоих зверей.

Раздавалось сокрушенное:

– Ой-ой-ой!

Присев перед дочкой, Лариса сжимала ее вспотевшие ладошки:

– Маленькая, игрушки любят наш дом. Им будет здесь хорошо. Дай им тоже немножко отдохнуть от нас!

– Они меня любят! – всхлипывала Сонечка.

Согнутым пальцем вытирала гладкие щечки:

– Конечно, любят. Но даже тем, кто любит очень-очень, иногда полезно побыть в одиночестве. Знаешь, как они обрадуются, когда ты вернешься!

В конце концов, к поездке приготовились только несколько пупсиков, худенький старый Бобик, ржавая шкурка которого давно свалилась

сосульками, и его верная подруга дворняжка Полли, до середины лета так почему-то и оставшаяся серовато-белой, хотя Соня выносила ее позагорать каждое воскресенье. Лариса тоже взяла вещей по минимуму: на выходные обещали солнце.

Ее солнцем уже двадцать лет был сын... До него жизнь освещалась другим человеком – с такой сияющей улыбкой, что тучи расступались. Но его имени Лара старалась не произносить даже мысленно. Душу сразу скручивало жгутом: «Лёшка, Лёка...» Уже четверть века прошло с того дня, когда он как в воду канул. Найти не пробовала даже в Сети: бессмысленно пытаться войти в ту же воду. У нее теперь и влага, и земля – все другое. И солнце тоже.

«Мой солнечный человечек, где ты?» – каждое утро начиналось этой мыслью. И тянуло подобраться на цыпочках к постели сына, всмотреться в лицо, которое ото сна опять становилось детским, чтобы понять: вернулся ли он? Или потерял для нее навсегда, тоже остался веселым пятнышком света в прошлом, сулившем только счастье? Как он умел смешить ее! Как сам смеялся еще в младенчестве, издавая грудные, такие нежные звуки... У нее сердце таяло.

Да и сейчас, если в очередной раз удавалось простить обиду за пренебрежение и ложь, которыми выросший сын потчевал Ларису столь щедро, они веселились, оставаясь вдвоем. В любом пустяке умели найти смешное, в самом серьезном... И уже не верилось, что это он еще вчера даже не брал трубку, когда мать дозванивалась, едва не крича от ужаса, ведь вестей не было уже несколько дней! Чем Игорь занимался в эти дни, больше не занятые ни учебой, ни работой? Исторический факультет бросил, из автомагазина, куда устроился продавцом, уволился через пару дней, объявив, что ни черта не понимает во всех этих железках... Не его это. Грузчиком хотел пойти – Лариса сама не позволила: с его-то руками художника! Вывела из себя Семена, считавшего, что их сын ни на что другое и не способен... Поставил на нем крест.

² «Почему ты уходишь?» (исп.) – рефрен знаменитой песни Хосе Луиса Пералеса из к/ф «Выкорми ворона» в исполнении испанской певицы Жанет. В вольном переводе эту песню в 1980-х гг. исполняла группа «Весёлые ребята» под названием «В последний раз». Автор русского текста – В. Луговой.

Когда сын пропадал в самых злых закоулках Москвы, ее тоже просто разрывало от злости на него, ведь это повторялось и повторялось. Лариса уже чувствовала себя тупым попугаем, который твердит одно и тоже: «Звони, сообщай, что ты хотя бы жив!» И не получает отклика, ведь разговаривать с птицей не особенно интересно. Двадцать раз за день она сама набирала номер Игоря, но тот не брал трубку, и начинало казаться, что мальчик лежит где-то в луже крови или на нарах в камере, и только поэтому не может ответить. Ей нужно было танцевать фламенко и учить этому других, а приходилось глотать сердечные капли, чтоб хотя бы дожить до его возвращения. Когда, наконец, вечером выходила на сцену испанского клуба, зрители так и замирали от боли, которую Лариса Ильина выплескивала каждым движением. Некоторые говорили, что в России нет лучшей байлаоры, чем она...

Через несколько дней Игорь являлся, как ни в чем не бывало. Делал детские глазки, хлопал ресницами:

– Мамошка... Прости!

И у нее снова таяло сердце.

До его рождения и не подозревала, что любовь к человеку может быть сильной настолько, чтобы избавить от страха смерти. Но за все эти годы ни на секунду не усомнилась, если бы потребовалось отдать за сына жизнь: лишь бы он оставался на этом свете! Солнце ее, неизбывная радость... Самый красивый, самый добрый, самый талантливый. Теперь корила себя: мальчик ведь с двух лет твердил, что станет художником, а они с Семеном не воспринимали это всерьез. Пусть рисует, конечно, развивает воображение, но не делать же это профессией! Даже смешно... Все знакомые художники вечно ходили в обноски и пили так, что небу жарко было! Уж сыну такого точно не пожелаешь...

Даже то, что Игорь учился в художественной школе, им казалось не более чем болезнью роста. Он приносил с занятий большие листы, с гордостью раскладывал на полу, и комнату наполняла радуга... И ее мальчик сиял, как Маленький принц, открывший, что его цветок – единственный в целом свете. Его талант.

Теперь краски сына смешивались в ее снах подвижными спиралями. Куда-то затягивали,

что-то обещали... Лариса уже ничему не верила. И вместе с тем так охотно верила Игорю каждый раз, когда тот возвращался из своих тайных скитаний и делился с ней вызревшими планами: он устроится курьером в издательство, а уж там изыщет возможность показать главному редактору свои рисунки. Не может быть, чтоб они не поразили его воображение! Ей так хотелось поверить в это, глядя на то, как упорно сын трудится, не выпуская карандаша. И вот, казалось бы, оставалось совсем немного, чтобы закончить намеченную им серию!

– Выйду подышу, – бросал он небрежно и снова пропадал на неделю.

С пустыми карманами уходил, чуть ли не в тапочках... Воровал, что ли, все это время?!

Она сходила без него с ума, внутри все дрожало и горело, пока не доходила хоть какая-то весть о нем. Но не могла не признать, что Семен улавливает все, происходящее с их сыном, на недоступном ей уровне. Когда еще ничего не предвещало очередного загула – подышать вышел! – муж вдруг звонил Ларисе с работы:

– Он дома? Что-то меня ломает всего...

И она понимала: кошмар начинается снова. Несколько дней полного отчаяния, безуспешных попыток связаться с Игорем... Потом Семен неожиданно выходил из ванной повеселевшим:

– Все будет хорошо. Он возвращается.

Лара столбенела:

– Откуда ты знаешь? Душ ведь шумел, ты не мог слышать – я только что дозвонилась до него...

– Да? А с меня вдруг точно тяжесть свалилась. Сам удивился!

«Странно, – точила душу ревность. – Я родила сына, а у Семена с ним так и осталась энергетическая пуповина».

– Как же ты можешь говорить, что поставил на нем крест, если вы так прочно связаны? – подступала она к мужу. – Это все равно, что отречься от своей души. Преступно!

Семен угрюмо отворачивался, напоминая бродячего седого спаниеля, которого однажды привел в дом. Тот также упорно отводил глаза. И на следующий день сбежал.

– Это сын отрекся от нас. И, похоже, навсегда. Не нужны мы ему! Он во власти Антихриста...

Он стал таким же, как все их проклятое поколение. Исчадие ада...

В Ларисе все взрывалось протестом:

– Нет! Что ты несешь?! Это пройдет. Перебесится. Важно остаться друзьями, несмотря ни на что. Ему гормоны в башку бьют, ты же должен понимать.

– Я никогда не творил ничего подобного. Я любил свою маму.

– Ты у нас вообще правильный! – от злости начинали путаться мысли. – Отгородился от мира своими историческими книжками и успокоился. Тебе обычных людей не понять. Грешников. Ты всегда был хорошим мальчиком.

И вдруг вспомнила, что недавно сказал ей сын: «Ты ведь сама знаешь: хорошие женщины любят порочных мужчин. Значит, у меня будут самые лучшие женщины...»

...Ларе самой всегда хотелось быть такой женщиной. Не для сына, конечно, Федры в себе никогда не угадывала... Но мужу пыталась дарить себя как праздник. Когда укладывали Сонечку, придумывала то читать стихи при свече, то кормить друг друга клубникой в постели. Ему все казалось надуманным, заимствованным из дурных мелодрам. Неловко было даже выслушивать такое, не то что проделывать... Ему было бы куда интересней поспорить с ней о прочитанном, только жене его книги казались скучными.

– Я же в общем знаю прошлое России, зачем изучать его, как в школе? – упиралась Лариса. – Не понимаю, почему ты считаешь современную литературу чем-то порочным? Я люблю читать о сегодняшнем дне, меня это больше увлекает. Ты хоть читал Рубину? Улицкую?

– Сплошь еврейки, – цедил он сквозь зубы.

– И что?! – от подобных грязных плевков Лара всегда свирепела. – Это как-то принижает их талант? Да у них за Россию душа побольше болит, чем у какого-нибудь Васи Пупкина!

– И то слава богу, – ворчал Семен.

– Ты же не веришь в Бога! – цеплялась она.

– В *чужого* бога, – уточнял он. – У славян всегда были свои. Зачем нам еврейский бог?

Она просто каменела:

– Я даже слышать не хочу такой ереси!

– Это ваша Библия – сплошная ересь.

У нее на глаза наворачивались слезы:

– Ты пользуешься тем, что я не умею возразить тебе! Ничего не могу доказать. Конечно, ты лучше подкован... Сына называешь антихристом, а сам – абсолютный безбожник! Мне трудно с тобой спорить... Да и зачем? Я просто знаю, что Бог есть. И все. Я всегда это знала, даже когда пионеркой была. Я чувствовала Его присутствие, понимаешь?

Он вздыхал в тайне: «Она не очень умна, приходится признать. Но все еще чертовски красива!»

Однажды Лариса принялась вытаскивать мужа из кресла, пытаясь оттеснить Ключевского, которым Семен зачитывался.

– Пойдем со мной! Ну, пойдем же!

Поддался, хотя и ворчал, откладывая книгу:

– Ну, что ты еще придумала? Что тебе не сидится спокойно? Почитала бы лучше...

Не слушая его и со смехом мотая головой, она приговаривала:

– Ты не представляешь, что тебя ждет!

Подталкивала его в спину, тянула за руку – на высоту, на самую крышу! Наверху распахнула руки, запрокинула голову, захлебнувшись пространством, стремительно летевшим на нее:

– Я дарю тебе это небо! Смотри, какие звезды!

Его смех вышел смущенным: Семен всегда испытывал неловкость за дурную театральность. Обычно старался скрывать это, но жене счел нужным сказать:

– Ты не на сцене, Лариса. К чему такая экзальтация? Если уж ты такая набожная, как говоришь, небо должно вызывать у тебя желание молиться, а не мельтешить мельницами.

Ее руки беспомощно обвисли, улыбка вышла жалкой. У него даже сердце защемило от сострадания: «Какая же глупышка... Все испанку из себя корчит. Роковую женщину».

Когда только поженились, он спросил у нее о любимой литературной героине, подозревая, что прозвучит имя Кармен.

– Настасья Филипповна, – ответила она, не раздумывая.

Семен удивился лишь на миг, но уже в следующий понял – это же русский вариант неистовой

страсти! Значит, вот к чему стремится душой его юная жена... И принялся методично укрощать в ней это желание: она посыпала воду в ванной лепестками роз, он вылавливал их треснутым дуршлагом. Она отыскивала в Лосином острове поляны, готовые принять росу их любви, он читал ей лекцию о том, как вредно лежать на земле даже летом. Она зажигала в спальне свечи, он говорил, что ощущает себя покойником и тушил их одну за одной. Лариса наблюдала за ним молча, слушая, как жалобно ахают огоньки, погибая.

— Вот теперь другое дело! — говорил он с удовольствием, когда комната погружалась во мрак, и привлекал жену к себе.

— Почему всегда в темноте? Тебе неприятно видеть меня?

— Грех следует скрывать. Грех и срам. Гордиться слабостью глупо... Ты — порочное существо, Лариса. Ты выставляешь напоказ живущую в тебе страсть, а ее нужно стыдиться, неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю... Почему?

— Потому что это от дьявола!

— У твоих славян был свой дьявол? А то, как ты целуешь меня сейчас, это тоже от него?

Он молча продолжал свое дело. Кажется, именно в ту ночь они и зачали сына, еще до рождения определив его в солдаты на вечную войну с бунтом собственной крови.

А муж так и не узнал, что Лариса пыталась раскрасить их жизнь всем, что испытала с Лёшкой. И лепестки, и лесная поляна, и любование ее телом — все это было от него. Подарено им вместе с ощущением, что она — женщина-мечта! И это позволяло жить дальше, уже не надеясь увидеть ни настоящие звезды, ни улыбку того, кто единственный называл ее Ларой...

*Нет, я не жду тебя, но знай, что я любила
В последний раз, в последний раз...*

Ненависть разрастается быстрее любви. Она не допускает сомнений, свойственных стыдливой влюбленности, неуверенности в истинности чувства. Ненависть проста и понят-

на. Она заявляет без утайки: я готова стереть имярека с лица земли...

Тогда разверзнутся небеса, и хлынет поток счастья, который очистит от скверны всех, кого случайно забрызгает кровь убиенного. Но вовсе не невинного! Ненависть не допускает и мысли о невинности того, на кого направлена. Ведь само ее зарождение уже улика против будущей жертвы... Искра, от которой она вспыхивает, возвращается обратно целым сгустком огня. И пожирает...

— Я думал, здесь настоящий коттедж. А это какая-то избушка на курьих ножках!

Игорь пробормотал это под нос, присев над большим лопухом, окутанным паутиной. Давно ему не встречались такие растения, даже странно... Когда отцу посоветовали привязывать на ночь лопух к больному колену (во всем теле уже мало здоровых мест осталось за время службы спасателем!), они обыскали с Соней все в парке, но кругом росли только гигантские подорожники. По пути к дому заметили красиво изогнутый, не запыленный лист за больничной оградой, Игорь пытался дотянуться, потом полез через черные стрелы, приведя сестру в ужас. Глянул на нее сверху: она стояла, прижав к груди ручки, такая маленькая, трепещущая от страха за него, что захотелось прыгнуть вниз, прижать ее, поднять на руки... Но успел сообразить: в Сонином ужасе кроется и предвкушение гордости за него — будто старшему брату в пещеру к Минотавру предстояло войти. Героем он стал бы только на выходе, так что просто необходимо было добыть этот злополучный лопух.

Теперь он раздумывал: принести ли отцу очередной? Вроде, и нужен, колено-то еще ноет, за рулем всю дорогу давало о себе знать... Но именно сейчас отец вполне мог не принять лопух из его рук, или даже выкинуть, ведь уже несколько дней они общались только через мать. Хотя причина ссоры на взгляд Игоря была пустяковой: ну, задержался в клубе, не пришел ночевать — метро уже закрылось, последняя электричка ушла, а на такси не осталось денег.

Жили бы в столице, дошел бы пешком, а в Королёв по шпалам не потащишься... Послав матери сообщение, Игорь отправился ночевать к однокурснику, вместе с которым они благополучно проспали до обеда и пропустили консультацию. Отец, оказывается, звонил с утра, пытался добудиться, но телефон разрядился.

– У тебя вечно все не слава Богу! – грохотал Семен вечером, когда сын, наконец, появился дома. – Один экзамен остался. Трудно дотянуть, что ли? Да еще с фингалом под глазом явился. Не стыдно будет преподавателям показаться?

Судорожно втянув воздух, Игорь выпалил:

– Не осталось экзаменов. Я сегодня забрал документы.

Родители оцепенели в нелепых позах, как в детской игре – «Море волнуется – раз!» Почуввав недоброе, Соня подняла голову, оторвавшись от листка, на котором рисовала нечто невообразимое. В зависшую паузу Игорь быстро набросал скомканных фраз о том, как ему скучно копать в пыльном прошлом, ублажая амбиции отца, в свое время не поступившего на исторический. Семен тогда перекинул документы на химфак, там недобор был. Окончил с горем пополам... Но высшее образование все-таки пригодились, когда ушел из МЧС.

– Мне интереснее настоящее, чем прошлое. Я не собираюсь быть историком, – сын вздергивал подбородок, демонстрируя независимость, а губы подрагивали.

– А кем же ты собираешься быть? – процедил отец сквозь зубы. – Иждивенцем?

В такие минуты глаза у него наливались черной яростью, хотя обычно были светло-кариими, почти янтарными, особенно, когда рыжая челка спадала на брови. Соне досталась такая же солнечная паутинка волос, а Игорь черной гривой пошел в мать. Но все были одинаково кареглазыми.

«Как собаки, – усмехался отец. – Зачем нам еще кого-то заводить? Вокруг и так одни шоколадные взгляды. Вот только любви не дождешься...»

«Я ли не люблю тебя?» – обижалась Лариса.

Никогда ведь не говорила ему про Лёшку, откуда Семену было знать, что его жена оказалась

однолюбом? Она и сама не подозревала в себе этого, пока однажды земля не ушла из-под ног... Совсем девочкой оказалась в мире, полном чужих людей. Никому из них не удалось больше дохнуть в душу таким жаром, чтобы вспаленить и испепелить ее одновременно. Семен спас ее от огня, и Лариса решила, что с ним будет чувствовать себя, как на облаке – прохладно, зато мягко. Большой, уютный, рыжий... Почему-то в то время цвет его волос не навел на мысль об огне. Только о солнце...

...Но, оказалось, иногда злость начинала пульсировать в нем так ощутимо, что окружающим хотелось забиться в угол, закрыть руками голову... Стиснув зубы до того, что заныли обе челюсти, Игорь выдержал этот взгляд. Набрал воздуха...

– Я хочу рисовать комиксы.

– Что-о?!

– Можно подумать, ты впервые об этом слышишь!

Лариса осторожно подвинулась так, чтобы при необходимости схватить мужа за руку. Заглянула ему в глаза:

– Он же всегда их рисовал...

– Еще не хватало! Этот абсурд американский!

– Испанский, – опять вмешалась она. – Рисованные жития святых впервые появились в Валенсии, еще веке в шестнадцатом, кажется... Назывались «аллилуйи». В Барселоне тоже...

От свирепого взгляда мужа, замолчала на полуслове. Но Семен уже обратился к сыну:

– Тебе два года осталось учиться, чем ты раньше думал?

– Раньше ты думал за меня.

– А сейчас поумнел, что ли? Так умные люди не бросают вуз после третьего курса! – он саданул кулаком по косяку, Игорь отшатнулся.

Не успев упредить удар, Лариса только дернулась всем телом, но, убедившись, что сын не пострадал, сразу как-то сникла, точно еще не решила, чью сторону намерена занять. Игорь знал: мать видит в нем повторение себя, и как раз поэтому так иступленно противится девизу «молодость должна перебеситься».

– Меня от многих глупостей спасло то, что Семен оказался таким правильным, – как-то

призналась она сыну. – Во мне ведь тоже всегда бушевало это русское – нагуляться до одури, и гармонь порвать напоследок. Не хочу, чтоб тебе было также стыдно за свою молодость!

Игорь огрызнулся:

– А лучше, когда и вспомнить нечего? На диване жизнь провести?

Понимал, что приводит другую крайность, но логика отключалась, когда пытался отстоять свое право на ошибки. Отец его отрицал категорически:

– Что за страсть такая к саморазрушению?! Пока с грязью себя не смешаешь – не успокоишься?

Уронив свой стульчик, Соня вскочила и бросилась в детскую. Когда в доме начинало пахнуть ссорой, она спасалась от страшного сна. Даже не повернув головы, Игорь увидел, как сестренка прыгнула на свою кровать и укрылась розовым покрывалом с кошачьими мордочками. Наверняка что-то шепчет в теплой тишине, уговаривает себя. Он замечал, что она так делает перед сном...

– Я хочу заниматься любимым делом, – Игорь из последних сил заставлял себя не отводить взгляд.

– По ночным клубам шататься? Это и есть твоё любимое дело?

– Мама тоже танцует в клубе! И это не...

– Молчать!

Дернувшись всем телом, сын выпалил:

– Я тебе не подчиненный! Привык ими командовать...

– Да у меня там были настоящие ребята, тебе до них расти и расти! Они своими жизнями каждый день рискуют.

– А ты сбежал!

– Игорь! – вскрикнула Лара. – Не смей.

У отца побагровело лицо:

– Я в МЧС с двадцати лет пахал! И когда ушел, ни дня без работы не сидел. А у тебя кишка тонка оказалась даже доучиться! Или ты заново поступать собрался, чтобы еще пять лет у нас на шее сидеть?

Безвольная фигура матери разом распрямилась, пламя полыхнуло в глазах:

– Семен! Не в этом же дело!

– И в этом тоже. Легко метаться и себя искать, пока мама с папой кормят. Так до сорока лет можно в студентах ходить! Комиксы он рисовать хочет! А с чего ты взял, что у тебя есть способности?

Это было ударом ниже пояса. И отец не мог не понимать, что невозможно обидеть художника больше, чем усомниться в его таланте. У Игоря по-детски задергался подбородок:

– Ты же сам... Всегда же хвалил! Выставки в подъезде делал... Забыл все?!

Прошлого, когда сын принадлежал ему целиком, и не было повода для ссор, скользнуло теплом, будто по голове погладило. У Семена дернулись улыбкой уголки губ, едва удержался, чтобы не притянуть к себе мальчика, не шепнуть в чуть оттопыренное ухо: «Дурачок, ничего я не забыл. Ты же лучшее, что я создал в жизни!» Но ссора уже натянула между ними невидимую сеть, которую невозможно было преодолеть одним махом. С каждым днем она делалась все гуще, прочнее – дома избегали друг друга, в машине, по дороге на озеро, отмалчивались. И, отыскав большой лопух, который мог бы облегчить нытье в колене отца, Игорь так и не решился вручить его сам.

– Слушай, мелочь, отнеси отцу, – шепнул он сестре, оторвав ее от пупсиков, прятанных в траве. – Только не говори, что от меня. Скажи: сама нашла.

Соня поняливо кивнула, восхитив его: «Маленькая, а соображает!» Когда сестра не докучала ему и не корчила рожи, Игорь любил ее неистово. Самым объемным альбомом на его страничке «В контакте» стал посвященный Сонечке. И он придирчиво проверял комментарии, оставленные друзьями: не дай Бог, кто-нибудь не восхитится! Еще непростительнее – посмеется.

– Удавлю за сестру! – повторял он часто и чувствовал, что не слишком преувеличивает. – Она такая прикольная...

Рисуя у себя, он обожал слушать тоненькое воркование младшей сестры, в выходные перетаскивающей игрушки из своей комнаты в гостиную, откуда звуки легко просачивались в щель под его дверью. Свои работы теперь ему хотелось первым делом показать Соне, ведь,

по сути, только ребенок и мог увидеть картинку без предвзятости.

– Это лиса. А это ее лисын, – поглядев, выдала она вчера, чем привела его в восторг.

– Лисын, – повторил Игорь, смакуя.

Сестра уже пристроилась рядом:

– Хочешь, я расскажу тебе про них? Сказку!

– Давай, – позволил он. – Ничего, если я буду слушать и рисовать?

Она кивнула с важным видом:

– Ничего. Мне нравится, когда ты рисуешь. Ты так шевелишься, что мне приятно.

– А мне приятно тебя слушать.

Будто начертанные кофейным зерном небольшие гравюры на стенах походили на кадры кинохроники: движения смуглой танцовщицы пунктиром заполняли комнату. Отец когда-то привез всю серию с очередной собачьей выставки за границей, куда возил их таксу Смайли. Вернулись без медалей, но Лариса так соскучилась по своей псинке за это время, что ничуть не расстроилась.

– Ты меня меньше любишь, чем это животное, – ревниво заметил тогда Семен – сын услышал случайно и задумался: может так быть?

Похоронили Смайли еще до рождения дочки. Лариса в тот день рыдала так, что соседка прибежала узнать: не случилось ли чего? Других собак Ильины дали себе слово не заводить – слишком больно терять. Теперь в их дом допускались только игрушечные, вроде Бобика с Полли, которых Соня повсюду таскала с собой. Для Бобика у нее имелась специальная сумочка с отверстием для собачьей головы, и когда девочка несла его по улице, многие оглядывались, пытаясь понять: живая собачка там сидит или игрушка? Таких кукольных пород сейчас развелось немало.

...Пока Соня относилась отцу лопух, Бобик оставался с Игорем и изумленно таращил на него черные глазки. Безобидное и бесполезное существо. Точно заметив впервые, Игорь оглядел его, прикидывая, какую комическую историю можно сочинить про маленькую собачку, оказавшуюся на улицах большого города. Супергероя из Бобика не сделаешь... Да и нравились Игорю больше веселые, почти детские истории, которые он рисовал, посмеиваясь. Все эти Хэллбои, конечно,

крутые ребята, вот только примитивом от них разит, как потом на ринге...

– Отнесла!

Плюхнувшись рядом, Соня возбужденно зашептала:

– Папа промыл его и поставил в баночку с водой. Он, знаешь, как обрадовался!

– К ноге не привязал?

– Папа на ночь привязывает.

– Я знаю. Но здесь же он может лежать и ничего не делать.

Девочка прищурила смородиновые глазки:

– Ты почему не хочешь с папой мириться?

Оглянувшись на дом, Игорь шепнул:

– Я хочу. Знаешь, как хочу! Мне даже снилось сегодня, что мы помирились, и вместе рыбачили.

– Папа утром идет рыбачить. Я тоже пойду.

– Ага! – отозвался Игорь насмешливо. – Тебя, мелочь, в это время пушкой не разбудишь! Утром в садик-то не поднимешь...

– В садик, конечно, – она горестно вздохнула.

– Будет весна, опять идти придется.

Он с трудом сообразил:

– Не весна, а осень. После лета будет осень. Собственно, она уже началась – сентябрь! Скоро листья пожелтеют. А у кленов станут красными.

Ее глазки просияли:

– Я клены больше-больше всего люблю! Мы с мамой снова букет соберем.

Игорю вдруг увиделся Бобик, который ловит падающие листья, как бабочек. И разочаровывается оттого, что они не пытаются улететь, а покорно ложатся перед ним. Лежачего не бьют.

«А он ударил меня, – всплыла вдруг старая обида. – Знал же, что не посмею дать сдачи! Не на отца же руку поднимать... Ну, потерял спяну телефон. И фотоаппарат... Не специально же! И не продал. С кем не бывает? А он сразу...»

Тогда, полгода назад, мать только успела наброситься на Игоря с упреками за то, что три дня пропадал где-то и не удосужился даже сообщение прислать, а отец уже, без разговоров, ударил кулаком. Едва увидел изуродованное опьянением лицо сына, злая кровь прихлынула к голове, в глазах помутилось... Хорошо, Соня уже

спала – за полночь было. Семен всегда с ума сходил, если сын не возвращался вовремя, метался по квартире раненым зверем, с каждой секундой накручивая себя все больше: вдруг уже убили? Или сам натворил что-то? В Москве каждую ночь случаются кошмары, уж он-то навидался... Где потом искать мальчика? Открылась дверь, и все разом рвануло внутри... Такой лужи крови, что за секунду выплеснулась на пол из носа сына, Лара в жизни не видела.

Игорь медленно сполз спиной по двери, а Лариса чуть не лишилась чувств – в глазах потемнело, и ноги сделались ватными. Но больше всех перепугался, кажется, сам Семен, всякий раз забывавший, какая сила таилась в его могучем теле. Игорь против него выглядел щуплым подростком – и тонкостью кости, и ростом в мать пошел. И это тоже вызывало у отца досаду: недомерок какой-то, а не мужик растет! Вот и занятие себе нашел соответствующее... Чтобы эти дурацкие комиксы рисовать ни духовной, ни физической силы не требуется. Семен старался развивать их в себе в полной гармонии. Потолстел, правда, в последнее время...

Но подхватить сына одной рукой силы хватило. Поташил его в ванную, и едва не плача, долго умывал, как маленького.

– Что ж ты наделал, дурень?! – бормотал, обращаясь и к Игорю, и к себе. – Как же так?

Цепляясь за косяки, Лариса просипела:

– Ты сломал ему нос!

– Ничего не сломано. Все в порядке. Приготовь постель.

Скрывшись в комнате сына, Лариса быстро постелила ему, стараясь удерживаться на краешке сознания. До нее доносился и голос мужа, пробивавшийся сквозь шум воды, и мычание Игоря, пытавшегося вырваться из рук отца, которого в эти минуты ненавидел всей душой, но все это набегало мутными волнами и тотчас откатывалось, не позволяя осознать, что же произошло. Сын, конечно, был виноват... Но в голове пульсировало только: «Он ударил его. Он ударил моего мальчика!»

И все ее существо корежило желанием схватить какую-нибудь штукотину потяжелее, и со всей силой ярости, обжигающей мозг, огреть

мужа по спине так, чтобы тоже взвыл от боли. Бить того, кто заведомо не даст тебе сдачи – да разве это по-мужски?! Взрослого парня опускать на уровень щенка, который может только скулить, но не в праве огрызнуться... А если и с другими станет лишь поскуливать? Или наоборот – пойдет вымещать на более слабых бешеную злобу, замесившую кровь, что пролилась на пол? Что хуже? Что страшнее?

Уложив Игоря, они долго шепотом орали друг на друга, запершись в своей спальне. И Семен во многом, конечно, был прав: сын учился черти как (в то время еще учился!), все время заводил речь о том, чтобы вообще бросить свой истфак, где ему скучно...

– А кому весело учиться?! – у Семена от гнева побледнели губы, а в глазах натянулись кровавые сетки. – Наша бездарная система образования только презрения заслуживает.

– Как все в нашем времени – тысячу раз слышала! А вот мне в институте было весело...

– Ну, ты свою культуру не сравнивай с настоящим вузом! Я пахал, как проклятый, чтобы закончить университет.

Лариса только задохнулась от несправедливости: «Подумаешь, химфак! Там конкурса-то в жизни не было!», а его уже понесло дальше. В том, с каким наслаждением Семен забрасывал сына камнями, чудилось нечто изуверское. Но в сердцевине каждого была правда, и ей все сложнее было опровергать упреки, так легко находившие отзыв и в ней самой: парень болтается все вечера по столице с сомнительными приятелями, не всегда приезжает ночевать, и даже в сессию не пытается напрячься ради хорошей оценки.

«Да все бы ничего, – думала Лариса про себя, – если б у него было нечто стоящее, увлекающее до безумия. Смысл жизни, оправдывающий равнодушие ко всему остальному... Если б Игорь, например, писал музыку или стихи. И этому собирался посвятить жизнь. Плевать тогда было бы на его «хвосты» по обществузнанию! Но ведь нет этого – главного. Комиксы? Это смешно... Ничего нет, кроме бессмысленного шатания по подворотням, ночным клубам... Хотя... Если б я в двадцать лет оказалась

в сегодняшней Москве, разве не утянула бы она меня? Не заразила бы своей бестолковой жизнерадостностью? Когда целый город шляется ночью, нужно быть человеком железной воли, чтобы вернуться домой и сесть за учебники. Семен уверяет, будто никогда не поддавался никаким соблазнам. Студентом я его не знала. Может, поэтому и не верится... Или он не был молодым? Впрочем, разве я полюбила в нем не эту правильность? А сейчас готова убить его за то же самое...»

После веселого грешника ее юности, оставившего в памяти солнечную улыбку и боль, Семен явился рыцарем без страха и упрека. Спас от смерти. Горой заслонил ото всех ветров. За ним без преувеличения жила, как за каменной стеной, тяжелее буханки хлеба ничего не поднимала. Ни ремонтом никогда не занималась, ни оплатой счетов – муж все взял на себя. Чем не рыцарь? Вот только... Разве рыцари сражаются с беззащитными?

Игорь еще долго ходил с распухшим носом, дышал так тяжело, что Лара и сама начинала задыхаться. Но страшнее всего был взгляд, который ее сын бросил на Семена, а она случайно заметила: в нем была лютая ненависть. Именно такая испепеляет людей, даже если на самом деле используются яд или пули... Так однажды ее дед-лесничий смотрел на браконьера, на которого они вместе наткнулись в лесу. Охотник склонился над трупом лосенка и, видно, размышлял, как быть дальше... В ту минуту Лариса впервые поняла, что ее добрый, пропахший «Беломором» дедушка может убить человека. И почему-то не ужаснулась этому...

Он целиком умещается в прорезь прицела. Только выстрела не будет. И не потому, что нет оружия – любой может купить его в Москве. Но все нужно сделать бесшумно. Забрать жизнь так, чтобы никто и не заметил. Всего одна жизнь мешает вернуться солнцу, рассыпаться глянцевой желтизной по липам и вязам, заполнить каналы жидким серебром. Пиршество жизни часто зависит от смерти...

Это не преступление – устранить помеху счастьем. Нужно только перестать замечать улыбку, взгляд, голос, дыхание... Помеха не может иметь человеческих признаков. Я сотру с лица земли нечто безликое. Может, и не человека вовсе...

Когда дочка сжимала его указательный палец, он переставал дышать от нежности. И глядя сверху на неровный пробор между ее тоненькими косичками, Семен все отчетливее понимал, что это тропинка его жизни. Отныне – куда она, туда и он.

– Пойдем, папочка, – сейчас тон у нее был деловитым. – Надо же посмотреть, кто еще тут живет!

– Ты намерена обзавестись знакомыми?

– Я видела там тетю. Хочу с ней поразговаривать.

«Нашего ребенка хлебом не корми – дай с народом пообщаться!» – обычно смеялась Лариса.

Он невольно оглянулся: жена осталась в доме. Якобы готовить ужин, но Семен догадывался, что ей не хочется бросать сына в одиночестве. Зачем вообще позвала Игоря? Сидит, словно сыч под дубом, рисует своих уродцев... Слабоумие какое-то у парня, честное слово! Все дети их знакомых когти рвали, чтобы пробраться на место под солнцем, а этот малахольный бросил престижный московский институт ради детсадовской забавы! Семену стоило такого труда пропихнуть сына в этот вуз, старые и новые связи поднял, так гордился тем, что все удалось – мальчик получит достойную профессию на все времена, не каким-то там менеджером станет, офисным бездельником... Как Игорь мог плюнуть родителям в душу?!

– Вдруг у нее тоже есть девочка? Я бы с ней поиграла!

Очнувшись, Семен погладил маленькую руку дочери. На ее лице уже возникло то отрешенное выражение – предчувствия счастья, – которое делало Соню взрослее. Она вытягивала шею, и улыбка блуждала по губам, в чуть затуманенном взгляде. В такие минуты Семену ясно

виделось, какой она станет женщиной. В том, как Соня усаживалась на ковре, ловко поджав ножки и держа спинку, уже была девичья грация. Никакой детской неуклюжести, все тоненько, но округло. Струится, очаровывая взгляд, заставляя любоваться собой.

– Ну, давай познакомимся, – согласился он. И добавил с опаской: – Надеюсь, мама не будет против.

Иногда у Ларисы случались вспышки ревности, в которых прорывалось страсти не меньше, чем в ее танцах. На его взгляд все происходило ни с того ни с сего. Может быть, период жизни выдавался слишком спокойным... Чтобы не задремать от скуки на гладкой дороге, она и устраивала обоим встряски, накручивая себя до неистовства. В глазах сверкало бешенство, голос срывался на крик... Семен чувствовал себя тореадором-новичком, на которого несется разъяренный бык. Оставалось только увертываться...

«Но сейчас она сделала выбор в пользу сына, – попытался он оправдаться. – Пусть на себя и пеняет... Я не сам пошел, Сонечка повела».

– Лягушка! – восхищенно вскрикнула дочка и присела на корточках. – И еще одна. Куда они все прыгают?

– Великое переселение. Все живое что-то необъяснимое иногда гонит в путь.

Соня с беспокойством оглядела проселочную дорогу:

– Их же тут раздавят! Машины ездят. И вон человек идет.

– Придется нам их спасать, – серьезно проговорил Семен.

– Спасать! – откликнулась она восхищенно: папа привлек ее к своему взрослому делу!

Осторожно взяв мягкое тельце, отец перенес крошечную лягушку в траву. Выпучив от страха глаза, она так раздувала шею – того и гляди лопнет! Опустив ее в зеленые заросли, Семен поднял другую, проследив, с каким восторженным испугом дочка повторяет его движения.

И вдруг заметила в стороне лягушку, которую явно кто-то переехал. Присев над ней, девочка с ужасом вгляделась в плоское тельце.

– Папа, что это с ней? Почему она такая худенькая?

Прикусив губу, Семен перетерпел приступ смеха и постарался выдержать серьезный тон:

– Наверное, переборщила с диетой.

– А почему не прыгает?

– Так сил нет! Думаешь, у плоских девочек, которые ходят по подиуму найдется столько энергии, как у нашей мамы?

Не отвечая, Соня продолжала рассматривать лягушку, подперев кулачками щеки. Потом протяжно вздохнула и поднялась:

– Нет, папа. Она такая, потому что мертвая. На нее кто-то наступил... Мы ведь все умрем, правда?

– Ну... – растерялся Семен.

Ее маленький пальчик потянулся к небу:

– Папа, а там ты меня найдешь? И маму с Иго-рем? Я хочу, чтоб мы всегда-всегда были вместе! Мама говорила, что мы найдемся...

У него зашло сердце. Присев, Семен прижал тоненькое, теплое тельце, упился запахом солнечных волос, мягкой шейки.

– Мы всегда и будем вместе. И здесь, и там. Но, надеюсь, что здесь еще долго... Не бойся смерти. Говорят, она не так уж страшна...

– Папа, а я однажды раздавила улитку, – обхватив его ногу, Соня принялась покаянно раскачиваться. – Как она хрустнула! Ужас! Папочка, я нечаянно это сделала... Теперь меня Бог накажет, да?

– Не думаю, – замирая от нежности, Семен погладил ее круглую макушку. – Ты ведь просто не заметила ее, правда? А в искупление спасла несколько ее сородичей... Помнишь? В начале лета... А теперь еще и лягушек. Так что, я надеюсь, тебе простится этот нечаянный грех.

«Сколько мы за жизнь уничтожаем вот так – походя», – этого он не произнес вслух. И заводить богословский спор не стал, но вовсе не из-за боязни ранить ее религиозные чувства, зачем-то культивируемые матерью: малышка так любила пускаться в философские рассуждения, что это невеста куда могло завести. А хотелось просто побродить среди изумрудных елей и светящихся белизной берез, послушать радостные вскрики птиц, которых никак не удавалось разглядеть.

Давно не выбирался в настоящий лес как турист, только по работе случалось: дети то терялись в Лосином острове, то залезали на деревья и боялись спуститься.

– Других спасаю, а собственного сына не могу...

Дочка вскинула голову:

– Что ты сказал, папочка?

– Нет, ничего, – опомнился Семен.

Но Соня сокрушенно вздохнула:

– Ты про Игоря? Папа, мой братик хороший...

Оболтус, конечно...

– Кто? – подавился он смехом.

– Оболтус. Это нехорошее слово? Ты сам так говорил!

– Я говорил? Ну... Может быть. Только ты больше не повторяй его, ладно? И брату не говори так.

Остановившись, девочка сжала кулачки и чашто задышала, решаясь на что-то, потом выпалила:

– Папа, это Игорь для тебя лопух нашел!

– Какой лопух? – не сразу вспомнил Семен.

– Ну, тот! Который я тебе принесла.

Он присел перед ней, заглянул в искаженное страданием личико:

– Почему же ты сказала, будто сама нашла?

– Брат меня попросил. Он боялся, что ты не возьмешь, если будешь знать, кто нашел. Ты же на него сердилась?

Выпрямившись, отец опустил ладонь на теплую макушку дочери.

– Сержусь. Он ведь сплошные глупости творит, как на него не сердиться?

– Он еще маленький. Лялечка совсем.

– А я думал, что он – старший, – рассмеялся Семен.

С готовностью разулыбавшись, Соня запрыгала рядом, цепляясь за его руку:

– Вот ты и веселый! Вот ты и веселый!

Он потянул ее вперед, приноровился к ее шагам.

– Тебе нравится, когда я веселый?

– Всем нравится, когда ты – веселый. Почему ты никогда не улыбаешься?

– Как же? А сейчас?

– Даже мама боится, когда ты – злой.

– Правда, боится?

– И еще она боится, что ты Игоря убьешь.

Споткнувшись о корень сосны, Семен замер:

– Она всерьез говорила об этом?!

– Но ты же не убьешь?

– Конечно, нет. Как ей в голову пришло? Кому она говорила такое?

Соня пожала плечами:

– Никому. Себе. Плакала и говорила.

– Плакала? Почему я ничего не знаю об этом?

– Знаешь, – протянула девочка с недоумением.

– Ну да, теперь знаю.

На миг Семен отвлекся: лицо встречного показалось знакомым. Он даже оглянулся и поймал такой же узнающий взгляд через плечо. Но сходу прошлая встреча (если таковая была!) не вспомнилась, и оба пошли своей дорогой, унося сомнения.

«Но где-то я его определенно видел», – Семен силился выудить из памяти фрагмент, с которым слилось бы лицо этого человека. Похоже, ровесники, может, учились вместе? Или вытаскивал его когда-нибудь из передрыги? Лиц в его прошлом теснилось бесчисленное количество...

– Папочка, смотри!

На скамеечке под раскидистой плакучей березой, с ветвей которой точно стекали мелкие зеленые капли, сидела старушка в длинном льняном платье и соломенной шляпе.

– Какая бабушка одинокая, – прошептала девочка и потянула отца за руку. – Я хочу с ней поговорить.

Заранее усмехаясь и показывая всем видом, что не ему пришло бы в голову нарушить уединение незнакомого человека, Семен приблизился к пожилой женщине. Она следила за ними невозмутимо, но было непонятно: рада она непрошеным гостям или раздражена?

– Здравствуйте, – вежливо начала Соня. – Как поживаете?

И улыбнулась. В такие минуты она больше походила на мать. Старушка ответила ей улыбкой, только более скованной и бледной.

– Спасибо, деточка. Ты приехала в гости?

Чуть обернувшись, Соня указала рукой:

– Наташа дала нам ключи от своего дома. Мой брат думал, что дом большой, а он совсем ма-

ленький... Но вы все равно приходите в гости! Мы все поместимся.

– Правда? – она бросила на Семена восхищенный взгляд.

«Какая у вас чудная девочка!» – прочел он в нем.

– Правда-правда? Я покажу вам Бобика с Полли, это мои собачки. Они совсем, как настоящие! Только гавкать за них приходится. Я вам рисунок подарю, приходите! Знаете, я ведь буду художником, как мой брат.

У Семена едва не вырвалось: «Еще не хватало!» Но он только сдавленно кашлянул. Старушка улыбнулась:

– Твой брат – настоящий художник? Как это интересно!

– Он рисует такие смешные картинки! Ой, приходите, я вам все покажу. И еще могу танцевать для вас. Я очень люблю танцевать. Как мама... И еще петь. Правда, мне медведь на ухо наступил... Я не помню, когда это было, но папа так говорит. Правда, папа?

Его бросило в жар:

– Ну, я так шутил...

Но Соня уже успела забыть об этом:

– Я вам подарю что-нибудь... Что захотите! Рисунок могу, или там цветочек. Только Бобика с Полли я не могу подарить, вы не обижайтесь! Они ведь мои друзья.

– Конечно, – серьезно подтвердила новая знакомая. – Нельзя разбрасываться друзьями. Их у нас не так много...

– У вас есть? – простодушно спросила девочка напрямик.

– Были. Видишь ли, деточка, я живу так долго, что в моей жизни все уже – было.

От ужаса у Сони округлились глаза:

– Они что – умерли?!

– Они уже были старенькими... Но они живы здесь, – она приложила руку к груди, потом к голове. – И здесь. Я помню их. И мне совсем не одиноко, у меня ведь есть дочь.

Малышка подпрыгнула от радости, взметнув косички:

– У вас есть девочка? А можно мне с ней поиграть?

– Есть девочка... Только тебе вряд ли будет интересно с ней играть, моей дочке ведь уже шестьдесят лет.

Взглянув на отца, Соня наморщила лоб:

– Это много? Она уже в школу ходит.

– Это много, – подтвердил он.

– Боюсь, ты назвала бы ее бабушкой... А для меня она все еще девочка.

Семен улыбнулся замешательству на лице дочери:

– Придется тебе поискать здесь другую подружку. Или довольствоваться нашим обществом. Извините, она совсем заболтала вас.

– Ну, что вы! Такой необыкновенный ребенок. Она напомнила мне Тисту... Вы читали сказку Дрюона про мальчика с зелеными пальцами? Ну, что вы! Волшебная сказка! Обязательно прочтите.

– До свиданья, – задумчиво протянула Соня и помахала рукой. – Приходите в гости. Я вас люблю!

Семен заметил, как застыло в счастливом изумлении лицо старой женщины. Наверное, давно ей никто не говорил о любви...

Когда они отошли, Соня озабоченно спросила, разглядывая свои руки:

– Почему эта бабушка назвала меня необыкновенной? У меня разве зеленые пальцы?

– Я думаю, она имела в виду что-то другое. Но я не читал этой сказки, – признался Семен.

– Нет? Я думала, ты все на свете читал!

– А Дрюона нет. Даже не знал, что он писал еще и сказки. Мы когда-то макулатуру сдавали, чтобы купить его романы. Это всякие старые газеты и бумажки так называются – макулатура. Я так надорвался в детстве с этой макулатурой, что разозлился на Дрюона. Но исторические романы его все же прочел. А эта... дама, видимо, копнула глубже...

– Хорошая бабушка, – убежденно заключила Соня. – Жаль, что дочка у нее уже старенькая... И сама она тоже.

Вспотевшие от волнения ладошки сжали его руку:

– Папочка, а мы все будем жить долго-долго, правда? Вот сколько природа живет! Ты не думай о смерти, ладно? Никогда не думай.

– Хорошо, – отозвался Семен серьезно. – Знаешь, что я тебе скажу? С каждым годом о смерти думаешь все меньше. И боишься все меньше. Я уже совсем не боюсь. И ты не бойся: мы все равно все встретимся там.

Серьезно кивнула:

– Мама мне говорила. Что мы везде отыщем друг друга! И я, и ты, и мама, и даже Игорь...

– Почему – даже?

Она смутилась:

– Ну... Ты же не очень хочешь, чтобы мой братик был с нами? Я сама слышала, как ты кричал, чтобы он убирался из дома.

– Это он не очень хочет быть с нами, – вздохнул Семен. – Вот и пропадает неизвестно где...

– А он говорит, что сдохнет без семьи.

– Как?!

– Сдохнет. Это он так сказал!

– Я понял. Только ты, пожалуйста, не повторяй за ним все. Договорились?

Опять мелькнула материнская улыбка.

– Я люблю тебя, папочка.

Быстро присев, он порывисто притянул ее, потерся щекой, жадно втягивая запах невинности.

– И я тебя люблю. Так люблю...

Отстранившись, с нежностью взгляделся в ее личико, еще не сформировавшееся до конца, только проступающее под пальцами Великого Скульптора. В мелких чертах угадывалось что-то и его, и материнское – это было приятно: воочию видеть, как они с Ларисой слились в этом ребенке. Сын походил на него только в раннем детстве, потом стал копией матери, будто демонстративно отрекся от отца. Глупо было так думать, но это задевало Семена. Мечтал ведь о настоящей близости с сыном, о мужской дружбе, об исторических дискуссиях за вечерним чаем, даже самовар уже купил, чтобы все обставить, как было в старину. Не вышло. Не оказалось в Игоре настоящей глубины, одни инстинкты...

Даже читает на зло отцу только зарубежных авторов, и выбирает современных, чтобы побольнее задеть. Врет ведь, что ему это интересней! Не может увлечь пустота «потерянного поколения» – Ремарк и иже с ним. Многих имен Семен и не знал... Да и не хотел знать! И сыну

пытался вдолбить, что не стоит тратить время на пустую беллетристику, когда жизни не хватит перелопатить всю настоящую литературу. А Лариса еще и поддерживала сына, тоже притаскивала в дом романы бездарных современниц! «Букера» они получают... Как будто неизвестно, кому дают «Букера»!

Выпрямившись, Семен прижал к ноге голову дочери. Еще и для того, чтобы не видеть ее глаза, когда скажет:

– Малыш, ты не говори больше никому, что брат у тебя художник, ладно?

Но Соня вывернулась, требовательно взглянула ему в лицо:

– А это разве плохо?

– Нет, это не плохо, – он с трудом подбирал слова. – Это... несерьезно. Вот ты рисуешь – это здорово! Но ты ведь еще маленькая, ты, надеюсь, не станешь заниматься этим всю жизнь. А Игорь уже взрослый, ему пора заниматься настоящим делом, а не малевать черти что... Понимаешь? Он должен был институт закончить, стать хорошим историком... Тогда его жизнь имела бы смысл... И это все же полечче хлеб, чем у нас с мамой. У нее вон тоже ноги отваливаются...

Опустив голову, Соня молчала, пытаясь охватить разумом все сказанное отцом. Но по тому, как упрямо поджимались ее губки, и подрагивал острый носик, Семен догадывался, что все в его девочке протестует. Ей нравится, как рисует брат. Почему этого нужно стыдиться?

– Ладно, поговорим об этом позднее, – вздохнул Семен. – Просто не говори об Игоре со всеми подряд...

Внезапно стало неловко даже перед собой: «Я действительно стыжусь его, как родового проклятья? Всегда говорил, что одной представительницы богемы в семье более, чем достаточно... Гордился тем, что сын выбрал солидную профессию, – и тут вспомнил, что выбора у Игоря, по существу, и не было: – Я тогда все решил за него. И правильно сделал! Он сейчас-то ни черта не соображает, а после школы и вовсе был дурак дураком. Мог бы податься в какое-нибудь художественное училище... Уже спился бы с этими ван гогами...»

Вытянув шею, Соня попыталась заглянуть за ограду соседнего дома, но роста не хватило. Цепляясь, как обезьянка, девочка полезла к отцу на руки:

– Покажи мне! Что там?

– А разве хорошо подглядывать?

– Ты же смотришь, значит, можно... Тебе все видно, ты вон какой огромный! Я маленькая, просто крохотулечка такая...

– Ох, и любишь ты себя! – Подхватив, Семен шутливо пободал дочку в живот и посадил на плечи.

Опять – каждую минуту! – отозвалось мыслью о сыне: «А он всегда стеснялся себя самого... И оттого становился еще более неловким. До сих пор такой... Уродом себя считает, а ведь красивый же парень! Ну, ростом не вышел, дохловат на вид. Зато лицом в мать пошел – красавчик просто! Не верит... Чтобы с девушкой заговорить, сначала должен напиться до одури, а потом уж и говорить не о чем... Лариса считает, будто я его закомплексовал своей правильностью. Чушь какая! Лучше иметь отца алкаша и гуляку? Тогда вырастешь хорошим человеком?»

И вдруг понял, что с ним самим произошло именно так: жизнь положил, лишь бы ничем не напоминать своего отца. Так стыдился его все детство... В сугробах его с матерью отыскивали, тащили домой – сопливого, мерзкого, часто обмочившегося. Мать иссохшей старухой стала в сорок лет с такой жизнью, еще и работать ведь приходилось за двоих... Лариса уже старше нее, тогдашней, а ведь ни за что не скажешь. Первые в жизни Семкины кроссовки отец своровал и пропил, а мальчишка за эти «Адидасы» два месяца лед во дворе колол, дворником подрабатывал. Ревел потом ночью в подушку – так руки болели. И душа ныла от обиды... До того доходило, что мечтать начинал, как стало бы хорошо, если б отец, наконец, замерз в одном из сугробов.

Сердце вдруг замерло: «А мой сын не мечтает о том же? Может, в его глазах я – не меньший монстр, чем мне казался мой папаша? И мой маленький рисовальщик в своем воображении уже сотню раз похоронил меня... Нет! Что за бред, честное слово? Быть не может! За что?»

– Вон эта тетя! – Сонечка подпрыгнула на его плечах. – Здравствуйте!

Она яростно замахала рукой, чтобы ее заметили. Обряженная в шорты и открытую майку женщина обернулась, взглянула на них из-под руки, приставленной ко лбу. Напряженно прищурилась, вглядываясь в лица. В другой руке она держала насос, с помощью которого собиралась накачать шины старенького велосипеда. Коротко стриженная, крепкая в плечах, невысокая, хотя и крупнее Ларисы, издала она походила на парнишку. Узкий подбородок ее оказался измазанный мазутом. Семен засомневался: сказать об этом или нет?

Улыбнулся издали:

– Моя дочка пытается найти здесь друзей. Заглянули узнать, нет ли тут ребенка?

Не выпуская насоса, та развела руками:

– Увы! Чего нет, того нет.

– Ладно, извините. Если помощь не нужна, мы...

Показал жестом, что собирается уйти, и соседка не остановила. Наклонившись к его уху, Соня горячо зашептала:

– Папочка, это тетя или дядя?

– Просто одинокая женщина, которой все приходится делать самой. Таких много, – он с облегчением направился к дому.

Но позади раздались торопливые шаги.

– Извините! Подождите же...

– Папочка, побежали! – тихонько взвизгнула Сонечка и судорожно сжала коленками его шею.

У него слегка потемнело в глазах – дочка нажала на сонную артерию. Придушенно рассмеявшись, он ссадил ее с шеи и повернулся к женщине, уже догнавшей их. Она нервно откинула со лба светлые, на косой пробор волосы. Во взгляде Семену увиделась какая-то отчаянная решимость. Подумалось: наверное, эта женщина необщительна до того, что каждый шаг навстречу незнакомцу дается ей с трудом.

– Извините. Вы так... неожиданно. Вот и... – она неловко улыбнулась и протянула руку. – Меня зовут Лена.

Семен осторожно пожал небольшую, крепкую руку, открытую до самого локтя. Оценив мыш-

цы, он подумал, что она наверняка занималась спортом.

– Не хотели вас пугать, – заговорил он, делая некоторое усилие, чтоб это звучало приветливо. – Моя дочка искала компанию, вот мы и заглянули к вам. Мы тут впервые – приятельница жены уступила нам свой домик на выходные. Порыбачить хочу с утра пораньше... Тоже вот нет компании! Вообще никого тут не знаем. А ваш дом оказался ближе других.

Лена зачем-то повторила:

– Приятельница жены?

– Наташа Маковская. Вы ее знаете? Бревенчатый домик. Она уехала за границу до Нового года, разрешила нам пользоваться.

Как ему показалось, ответ прозвучал с заминкой:

– Нет. Я тоже здесь впервые. Сняла первое, что подвернулось...

«Зачем же уточняла про Наташу, если никого тут не знает?»

– Вы собирались куда-то ехать? – указал он велосипедный насос, который Лена все еще держала в руке. Если смышленная, поймет намек.

Но она отозвалась с очевидным безразличием:

– Да так... Думала осмотреть окрестности.

И внезапно наклонилась к цеплявшейся за его руку Соне, отчего та отшатнулась:

– Хочешь, покататься?

– Извините, нет, – твердо сказал Семен, опередив дочь. – Мы не отпускаем ребенка с мало знакомыми людьми.

Точнее бы прозвучало «с незнакомыми», но показалось, будто это может обидеть ее. Не за что, ничего плохого она им не сделала.

Выпрямившись, Лена виновато потерла нос, и простодушный жест тоже показался ему девчоночьим. Да и во взгляде был шальной подростковый блеск... «Семьи нет, на велике гоняет – с чего бы ей стать взрослой?» – он удержал усмешку.

– Правильно делаете, – согласилась Лена, не выказав ни малейшей обиды. – Будь у меня ребенок, я бы его вообще ни на шаг не отпустила.

– Я хочу к маме, – неожиданно подала голос Соня, и он только сейчас удивился тому, как дол-

го молчала его разговорчивая дочь. Брат дразнил ее «красноречивым питоном» – по Кипплингу.

Что-то вдруг изменилось в Ленином взгляде, точно зажегся мягкий внутренний свет, и Семен не смог объяснить себе этого преобразования. Обрадовалась тому, что они уходят? Так ведь сама догнала... Или отозвалось извечное женское – не проснувшееся материнство?

Она присела на корточки:

– Любишь свою маму?

Растерянно глянув на отца, Сонечка проронила:

– Да.

– Она красивая?

– Красивая. Папа, пойдем домой?

Семен развел руками:

– Придется прощаться! Рад был познакомиться.

И уже отворачиваясь, уловил, как угасло то, внезапное. «Она ждала, что я приглашу ее к нам? – удивился он на ходу. – С какой стати?»

Ненависть не требует логического объяснения, довольствуется эмоциями, которых в избытке. И день ото дня становится больше, как раковая опухоль. Я не обманываюсь: во мне набирает силу уродство...

Но Квазимодо был отвратителен настолько же, насколько самоотвержен в любви. И мое скрытое от любопытных глаз безобразие не причинит зла никому. Кроме того, кто так легко уместается в воображаемой прорези прищела. Иначе и не вижу его...

Этот домик напомнил Ларисе дедушкин – с лесным запахом темных, загадочных бревен, поющими половицами, легким постукиванием ветвей по стеклам, точно легкокрылый путник просится на постой. Дед служил лесничим, и девочку отправляли к нему на все лето, чтобы надышалась кислорода и отдохнула от городского шума. Наверное, бабушке как раз этого шума и не доставало, ведь она еще в молодости, с Ла-

риным отцом на руках, вернулась к своим родителям в Подлипки, в ту самую трехкомнатную «сталинку», где жили Ильины до сих пор.

До конца жизни Ларисина бабушка проработала в знаменитом Центре управления полетами, но никогда не рассказывала, чем занималась. И все же Ларе хватало намека на тайну, чтобы гордиться: ее бабушка напрямую связана с космосом. У мужа та проводила отпуск и, хотя в семидесятые гостевой брак был еще большой редкостью, маленькую Ларочку такое положение ничуть не смущало. Уже в конце мая девочка начинала волноваться от предвкушения встречи с лесом...

Ей нравилось путешествовать с бабушкой на электричке, потом трястись на пропавшем бензином «газике» деда, неизменно встречавшего их на станции. И сами отношения двух взрослых, построивших свою жизнь не так, как другие, завораживали. Таким трогательным казалось их смущение, когда бабушка спускалась по ступеням вагона, а дед протягивал снизу жилистую загорелую руку. Проводя вместе не больше месяца в году, они до конца хранили верность друг другу. По крайней мере, никаких сомнительных слухов даже не возникало.

— У нас в крови преданность, — сказала Лариса мужу, в очередной раз поведав историю своей странной семьи. — Родители вообще, как в сказке: умерли в один день...

— Я помню, — Семен погладил смуглое плечо жены: — Страшноватая сказка случилась с твоими...

Обернувшись от раковины, куда составляла посуду после ужина, она устремила на него прямой взгляд:

— А мне уже так не кажется... Они ведь оба были хорошими людьми, на том свете им еще лучше, чем на этом. Ушли, взявшись за руки. Улетели на своем новеньком автомобиле... Вместе, как и прожили тридцать лет. В сознание не пришли ведь, ужаса не испытали. Что может быть лучше?

Он пробурчал:

— Наверное, надо искренне верить в Бога, чтобы этому радоваться.

— А я и верю! — запальчиво выкрикнула Лариса.

Отбросила распадающиеся волосы, взволнованно облизнула пересохшие от волнения губы. Он потянулся утешить:

— Ну, прости...

— Да за что — прости? Если б один из них вышел тогда, вот это стало бы трагедией! Для любого из них. Мукой вечной. А так...

Поморщившись, Семен попросил:

— Давай больше не будем об этом.

— Как скажешь!

Энергичным движением Лариса вытряхнула из плетеной хлебницы крошки. Они усеяли мокрое дно раковины белесыми точками. Смыв их потоком воды, она протерла стол и водрузила на него желтую вазу с фруктами, в гранях которой тотчас вспыхнули последние искры. Вся посуда была Наташиной, Ильины захватили с собой только одежду и постельное белье, чтобы хозяйке не пришлось еще и стирать за ними.

— Сонюшка говорит: вы познакомились с соседками?

«Начинается!» — вздох удалось подавить. Когда жену время от времени обуревали страсти, Семену казалось, что это дает себя знать порочная натура Кармен, которая жила в ней, прорываясь не только в танцах. В сыне все зачатки безнравственности расцвели махровым цветом. Не в него же пошел парень, Семен никогда не шел на поводу у дьявола...

Правда, и ему самому никак не хватало сил отказать от наслаждения красотой Ларисино тела. Вытаскивал из горящей машины обычную девчонку, оказалось, спас королеву. Не сразу разглядел в ней это, первое время, приходя к Ларисе в больницу, больше своим величием наслаждался, не признавая себе, конечно. И все же проскальзывало: он — спаситель, герой. А она всего лишь бедная сиротка, никому, кроме него, не нужная в целом свете. Почувствовать себя благодетелем оказалось приятно до того, что Семен почти сразу решил жениться на той, которая никогда не лишит его этого ощущения. Но через пару месяцев после выписки Лариса пригласила его на выступление ансамбля, исполнявшего танцы народов мира. Уже тогда она

тяготела к фламенко... Семен увидел ее из зала и понял, что пропал.

До сих пор случались вечера, когда его безумно тянуло в клуб, где она дарила свою страсть другим... Только со сцены, но взгляды-то мутнели не только от восхищения, но и от вожделения, он видел. У самого ревность и восторг, смешиваясь, ударяли в голову до того, что хотелось схватить жену в охапку, утащить свою добычу в дикий лес, растерзать тело, любым движением повергающее его с высот духа, к которым стремился, в пучину инстинктов. Семен боролся с этим животным началом, как мог, потому что боялся себя самого, задушить мог в порыве страсти, и знал это. Только прижимался к горячему, подвижному телу жены, такой маленькой рядом с ним, тоненькой, и терял голову.

А с тех пор, как ушел из бригады спасателей, еще и энергию некуда было расходовать, и стало опасно выпускать ее наружу. Заворачивался в одеяло, точно младенец, чтобы ни щелочки не осталось, в которую может вползти Ларисино тепло. Недавно заметил: она больше не пыталась просунуть руку, как бывало раньше, успокоилась со временем...

...Крутя в пальцах мякиш, Семен сидел за столом чужой дачи, вбирая взглядом все жесты жены, которые были для него беззвучной музыкой. Когда Лариса даже просто двигалась по комнате, его клонило в сладкий транс, будто совершались колдовские пассы. Дурманящая энергетика расходилась волнами от ее тела. Со сцены – вдвойне. Просто смотреть бы на нее и молчать...

Но пришлось ответить на ее вопрос о новой знакомой, пока Лариса не заподозрила недоброго:

– Верно. С одной милой старушкой, и некой Леной, которая...

– Леной? Вы уже по имени?

Его лоб пошел складками:

– Не помню, чтоб я называл ей свое. Но она представилась.

– И что дальше?

– Ничего. Наш ребенок сказал, что у нее страшные глаза.

Это жене явно понравилось, он улыбнулся с ней вместе.

– Знаешь, когда радужка совсем светлая, а ресницы черные... Выглядит пугающе.

– Помню я одну такую...

– Хотя человек, скорее всего, неплохой. Физиогномика часто врет.

– Слишком часто!

Удивило, что она не стала спорить, наверное, подумала о чем-то своем.

– Еще я встретил парня, показавшегося мне знакомым... И он, кажется, тоже узнал меня.

– Что за парень? – на этот раз интереса в ее голосе не было.

– Я так и не вспомнил, где видел его.

– Ну, мало ли...

Ее опять утянули какие-то тайные мысли. Пытаясь вернуть, Семен, прицелившись, стрельнул в жену мякишем и попал в шею. Лариса вскрикнула, стегнула мужа полотенцем. Приняв это за сигнал к наступлению, он поднялся из-за стола и обхватил жену обеими руками: «Не могу больше...» Собачьим движением раздвинул носом густые волосы, припал к ее уху:

– Мы еще не обжили здешнюю спальню.

«Ишь, ты! Как свежий воздух подействовал, – удивилась Лариса. – Уже пару месяцев будто и не замечал меня...»

– У нас целая ночь впереди, – попыталась образумить его, ведь дети сидели возле дома, в любой момент могли ворваться на кухню.

– Не хочу ждать, – прохрипел он, больно сжимая ее.

Сдавшись, запрокинув голову, она подвинула его руки, позволила почувствовать грудь, отчего все в нем сразу нетерпеливо напряглось. Ногами стиснув ее бедро, Семен мягко подтолкнул жену к столу, легко усадил на край.

– Ты с ума сошел... Дети кругом.

– И не первый год. Мы всю жизнь на осадном положении!

Она через плечо оглядела, переставила к мойке сахарницу, медленно вытянулась на янтарной столешнице, точно погрузилась в пучину света. Запрокинула тонкие руки, закрыла глаза... Подхватив ее под коленями, Семен ворвался и застыл на миг, впитывая внутреннее тепло жен-

ского лона, сочившегося пахучей росой. Он собрал ее пальцем, жадно облизал, зверея от желания, ощутимо разбухающего, вытесняющего мысли. Не помня ни того, что сын и дочь в двух шагах, не испытывая страха ранить Ларису, он ударил всем телом, и увиделся себе гигантским тараном, взламывающим ворота противника. Сражение началось. Ему хотелось крови и боли. Сейчас или никогда...

...Спустя четверть часа вышли к детям, как ни в чем не бывало, но Ларисе с трудом удалось побороть смущение. Чудилось, Игорь не отрывает глаз от альбома не потому, что увлечен рисованием, а лишь бы не видеть их возбужденных лиц. А дочка показалась особенно худенькой и несчастной – скрючилась над горкой песка... Присев сзади, Лариса притянула ее, припала губами к макушке.

– Я люблю тебя...

Обычно Соня говорила это первой – не только ей, многим. Но Лариса давно перестала ревновать, однажды объяснив себе, что любовь, переполняющая сердечко их девочки – христианская.

– Она у нас родилась такой, какими мы все должны быть, – как-то заметил муж. – Только у нас не получается.

«А в последнее время особенно», – вздохнула она, заметив, как злобно глянул Семен на сына. Густая челка свесилась Игорю на глаза, и было не видно, следит ли он за ними. Но карандаш скользил без устали...

– Спать пора, – объявил Семен, утомленный сражением с женщиной. – Мне завтра рано вставать на рыбалку.

Заметив, как усмехнулся сын, Лариса поспешила загородить его, но опоздала. Голос мужа сделался металлическим:

– Я что-то смешное сказал?

Игорь не поднял головы. У Ларисы обмерло сердце: «Это добром не кончится...»

– Я, кажется, к тебе обращаюсь.

Легонько хлопнув сына по плечу, она заставила его взглянуть на отца.

– Я мешаю тебе спать? Еще солнце не село!

– Ты, конечно, завтра до обеда дрыхнуть будешь, как обычно. А ночью шарaxаться начнешь по дому, перебудуешь всех.

– Мы сюда, вроде, отдохнуть приехали...

– Я приехал порыбачить!

– Ну и...

Не позволив сыну сгрубить, Лариса оживленно перебила:

– Игорь, ты почитай Сонечке перед сном, ладно? Она давно хотела, чтобы именно ты... А я тоже лягу, чтобы папе не мешать.

– Папин сон – это святое! Я знаю, – не удержавшись, съязвил Игорь.

Семен порывисто двинулся на него:

– Что ты сказал?

Обхватив его за пояс, Лариса подтолкнула мужа к крыльцу:

– Пойдем, дорогой. Я тебя уложу.

– Если ни черта не делаешь, то и не устаешь, конечно! – выкрикнул он с ненавистью. – Да отпусти ты меня! Ничего я не сделаю твоему драгоценному сыночку!

– Вы оба – мои драгоценные...

Вывернувшись, Семен быстро направился к спальне, а ей пришлось плестись за ним покорной собачонкой.

«Как дошло до этого? – она в отчаянии едва не толкнула его в спину, чтобы пришел в себя. – Ведь мы так счастливы были... И они дружили еще недавно, каких-то три года назад: на турник вместе бегали вечерами, в бассейн ходили. Как Игорь мог променять нас всех на своих ублюдочных дружков?! Они ведь только губят его жизнь! Им плевать на него... Сопьется, так сопьется... Только посмеются, обзывая алкашом. Насмотрелась я на таких... А он, дурачок, цепляется за них. За свободу свою паршивую... Свободу от матери с отцом? От сестренки? От любви?»

– Это ты его портишь своей любовью! – Семен так хлопнул дверь, когда она вошла следом, что маленький Наташин дом дрогнул.

«Темперамент нашей семьи не каждый выдержит», – Лара с тревогой поозиралась: вроде, ничего не рухнуло. Пейзажики, написанные Наташиной рукой, точно вросли в бревенчатые стены... Тут им самое место. Семен старался отвести подругу жены от дома, рассудив, что это она плохо повлияла на их сына – еще маленькому дарила только альбомы и карандаши. А Игорь и рад стараться! Без устали покрывал

белые страницами уродливыми существами, населявшими его воображение. «Больная фантазия у нашего ребенка!» – тогда Семен еще усмехался по этому поводу. Сейчас уже было не до смеха.

– Я никогда его не баловала! А любовь не может сделать человека хуже! Только – нелюбовь, – выговорила жена, как сплюнула, ему даже утереться захотелось.

– Значит, сделать хуже меня, ты не боишься...

– Намекаешь, что не всегда чувствуешь мою любовь? Так ты сам способствуешь этому!

Воздух, заполнявший небольшую комнату, накалялся, Лариса уже кожей ощущала горячую сухость, от которой стягивало губы. Сжимались кулаки, вырывались гадкие, как жабы слова, от которых обоим хотелось увернуться, и зажмурится, чтобы не видеть перекошенного мгновенным помешательством любимого лица.

«И это не на сцене, не на таблао, – на секунду ужаснулась Лара. – Сейчас я не исполняю фламенко... Я так живу!»

Быть может, я смогу быть счастлива с другим,

А, может, нет...

– Родители, я вас слышу!

Голосок дочери пронизал мрачную комнату, как солнечный луч. Отпрянув друг от друга, Ильины замолчали и разбрелись по углам, занялись одеждой для сна, снастями для рыбалки.

Укладываясь, уже не разговаривали. Но Лариса все же поцеловала мужа в щеку, шепнула:

– Спокойной ночи.

Он не ответил. Повернувшись друг к другу спиной, они оба прислушивались к тому, как ворочается и вздыхает за тонкой стенкой Сонечка. Не выдержав, Лариса пошла к детям, спела колыбельную. Голос у нее был сиплый и низкий, как раз для фламенко. Но петь со сцены она не решалась, не ступала в чужую стихию: «Какой из меня кантаор!»

Нырнув под одеяло рядом с мужем, фыркнула:

– Знаешь, почему она уснуть не может? Говорит: «Лежу тут, мучаюсь...» Спрашиваю: «Что ты мучаешься, детонька?» Она вздыхает: «Мучаюсь, что у меня крылышек нет... Тут все летают!» Пообещала купить ей крылышки... Она уснула почти мгновенно!

Семен погладил ее волосы:

– Умница моя...

– Сладких снов тебе, – пробормотала она, сворачиваясь маленьким калачиком. Улыбнулась блаженно: дочуля помирила их. Уже не в первый раз. Воистину эта девочка послана им Богом...

Семен же еще долго не мог уснуть: летают, действительно летают, тонко нудят над ухом... Как бы перебить их всех одним махом?

Всю ночь отбивался, шлепал себя по плечам, потому что не мог, как Лариса, целиком забраться под одеяло, и наутро, отправляясь на рыбалку, Семен чувствовал себя не выспавшимся и вялым. «Городские жители, – ворчал он, собираясь на озеро. – Никому не пришло в голову прихватить фумигатор! Даже аэрозоля простейшего не взяли».

И все же заставил себя подняться, как только пикнул будильник. Лариса сигнала не услышала, даже не шевельнулась. Возле комнаты, где этой ночью спали дети, Семен замешкался, прислушался. Показалось, кто-то из них ворочается, не спит... Еще пару лет назад сын непременно составил бы ему компанию, и даже был бы горд, что они на равных занимаются таким мужским делом. Но сейчас и речи не могло быть, чтобы вместе отправиться на рыбалку.

«Я сделал все, что мог, – размышлял Семен, по вихляющей тропинке спускаясь к озеру. – Звал его с собой на раскопки... Что может быть увлекательнее? Но ему же лень задницу от дивана оторвать! Его ничто не интересует. Ничем заняться не хочет. Только бы бумагу портить... Какой в этом смысл? Если б еще рисовал настоящие картины, которые можно выставить, продать, а так...»

Из тумана проступали взъерошенные кусты, цепляли Семена за штаны. Трава еще была влажной от росы, он то и дело поскальзывался спросонья и несколько раз ткнулся концом удочки в землю.

– Не сломать бы!

Ему представлялось, что на озере уже сидит кто-нибудь из рыбаков, и можно будет перекинуться парой фраз. Но берег в камышах оказался пуст, даже птиц не было слышно. Вокруг было тихо и сыро, тянуло поежиться и зевнуть. Семен

прошелся вдоль кромки воды, выбирая место. Облюбовал полосатый валун, снизу поросший мхом, зачерпнул воды и поставил ведро рядом, чтобы приманить удачу на улов. Не спеша забросив удочку, он стоял, глядя на проступающую сквозь утреннее марево водную гладь, прислушивался к первым звукам пробуждающегося леса. Где-то робко подала голос птичка, треснул сучок...

«Волки тут, что ли, бегают?» – подумал Семен весело, и в ту же секунду на голову обрушилось тяжелое небо, швырнув его лицом в ледяную воду.

Нужно всего лишь представить, что убиваешь паука. Гигантского вампира, поймавшего в сеть целых три жизни. Выбраться на свободу можно только по трупам, человечество прошло это сотни раз. И масштабы в данном случае не имеют значения... Разве в глазах Бога освобождение одного человека менее ценно, чем спасение целого народа?

Только не думать о том, что это банальное убийство... Сердце колотится в горле, и от этого тянет кашлять. Воздуха не хватает, паук выпил его до донышка. Под ногами взрываются сосновые шишки. От каждого звука хочется упасть ниц и закрыть голову руками. Но я заставляю себя идти за тем, кто владеет моим правом на счастье. Я отвою его.

Сетка ветвей перед глазами наливается кровью... Тот, чья душевная ржа проступает наружу, угодил в собственную паутину. И все же забрасывает удочку, чтобы поймать очередную жертву. Истекает тягучей слюной... Мерзкое, никому не нужное существо, забирающее одну жизнь за другой... Убить рыбу или гигантского паука – что гуманнее?

К лицу липла паутина, неправдоподобно густая, невозможно было дышать. Игорь пытался сорвать прочные нити, но во сне руки не слушались его. И от беспомощности, охватившей все

тело, хотелось плакать... Он извивался, надеясь хоть как-то помочь себе – лучше бы проснуться. Но до конца все же не осознавал, что душившая его реальность была только сном. И от кокона, опутавшего голову, лишившего и слуха, и зрения, а главное – воздуха, легко избавиться, просто заставив себя очнуться.

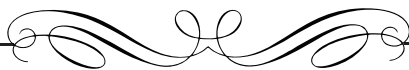
А когда, задыхаясь, подскочил на постели, первая мысль почему-то была об отце: «Папа!» Оглушенный ею, еще не до конца избавившийся от кошмара, Игорь долго сидел, глядя на топорщившееся под простыней острое колено. Онемевших рук не чувствовал – спал, закинув их за голову, и отлежал. Противное изнуряющее покалывание началось чуть позже, когда он уже поднялся на ноги, смущенный тревогой об отце. Вспомнилось, что с утра тот собирался на рыбалку, а ушел ли? И не случилось ли там чего?

Натянув джинсы и майку, Игорь укрыв сестру, всегда сбрасывавшую одеяло, – точеные ступни картинно вытянуты. На цыпочках вышел в коридорчик, постоял у родительской двери. Хотелось заглянуть в их комнату, чтобы проверить – там ли отец, но это казалось невероятно глупым. Как можно объяснить такое любопытство, если дверь скрипнет, и кто-нибудь из родителей проснется? Не дай бог отец... Еще решит, будто Игорь подглядывает за ними! Кажется, он готов обвинить сына бог знает в чем...

Стараясь издавать поменьше звуков, Игорь выбрался из домика, решив заглянуть к ним через окно. Авось не заметят... На крыльце его передержало от утренней сырости, но возвращаться за курткой не хотелось. Отец и так вечно ворчит, что Игорь вечно топают, как слон и всех будит. Внезапной вспышкой мелькнуло: он, маленький, прыгает с утра пораньше на родительскую постель, а отец не сердится, хоть и стонет спроне в изнеможении. Но уже прижимает его, целует высокий, как у него самого лоб:

– Сынка мой... Как спалось?

И он, слегка шепелявя, потому что не все зубы выросли заново, начинает делиться с отцом своими снами, ткань которых уже рвется, ускользает... Точно яркие обрывки крыльев бабочек осыпаются на постель. Тогда отец любил слушать его...



Подобравшись к окну, Игорь прижался спиной к стене и переждал приступ неловкости: а что если они спят обнаженными? Но тут же отверг эту мысль – Сонечка теперь прыгает к ним на постель точно так же, как он когда-то, рисковать они не станут. И, уже осмелев, усмехнулся: «А было бы любопытно взглянуть!» Но на фоне бродившей в душе тревоги такой цинизм даже ему самому показался отвратительным и глупым.

Собравшись с духом, Игорь заглянул в комнату сквозь узкую щель между занавесками. Сначала в полумраке ничего не удалось разглядеть, только смутные очертания незнакомых предметов. В эту комнату он даже не заходил, поэтому так трудно было сориентироваться. Казалось, все колеблется и дышит... Потом удалось разглядеть разложенный диван, на котором, кажется, кто-то спал, укрывшись с головой. Наверняка мать – она маленькая, свернется калачиком, и не заметишь под одеялом. Отца рядом точно не было.

– Значит, он на рыбалке...

Отпрянув от окна, Игорь торопливо отошел подальше на случай, если отец вдруг выскочит из-за угла, чтобы уличить сына в очередном грехе. Иногда представлялось, будто все события их жизни нанесены на огромный гобелен, который они с отцом рассматривают с разных сторон. И то, что Игорю видится ярким и прекрасным, отец наблюдает с изнанки, где одни узлы и хаотично спутанные нити. Никогда ему не удастся доказать отцу, как увлекательны могут быть ночные блуждания по Москве, всякий раз сулившие новые встречи, многоцветье эпизодов, от которых жизнь кажется веселым калейдоскопом. Неужели мальчишкой Семен не любил калейдоскопы?

«Наверное, нужно постареть, как они с матерью, чтобы понять, чем лучше и правильнее сидеть вечерами у телевизора, а не пить водку с бомжами, – думал Игорь, торопливо спускаясь к озеру. – У этих мужиков в запасе такие истории – ни одному сценаристу не выдумать! А типажки какие! Так на лист и просятся... Я рискую, да. В любой момент могу получить бутылкой по башке. Но этот риск и дает ощущение жизни.

Когда они привязывают меня к дому, я медленно умираю. Сам это чувствую. Перестая различать краски. Но родителям спокойнее, когда я на привязи».

Он часто ощущал себя именно сорвавшимся с цепи, когда в ночных переулках ловил бегущих домой мальчишек, ради того только, чтобы проверить: а способен ли напугать? Подействовать на другого человека, подобно удаву – пусть оцепенеет и вывернет карманы. Никто же не запрещает сопротивляться! Ножа у Игоря отродясь не было. Но внутренняя энергетическая пружина сжималась до того, что жертва кожей чувствовала: распрямится – убьет. Не так уж нужны были Игорю деньги, как снова и снова тянуло испытать это ощущение власти над человеческими эмоциями. Слишком часто родители твердили, какой он хороший, домашний мальчик... Когда сидел в своей комнате с книжкой, мать даже гнала его погулять, проветрить голову. Ну, вот и добилась своего! Выветрилось все...

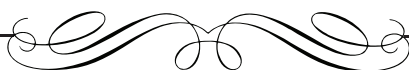
Последний из прижатых им в переулке парнишек чем-то напомнил его самого пятилетней давности. Во взгляде проступило знакомое – не робость, а удивление. В школе Игорь ведь тоже не был трусом, хотя первым не лез на рожон. И к нему не лезли, знали: если рассвирепеет, будет биться до последнего. Он увидел эту готовность в глазах мальчишки, отказывавшегося стать жертвой. И они подрались. По настоящему, неистово, метя кулаками в глаз, в солнечное сплетение.

– Убью, урод! – выкрикнул Игорь, в этот момент не осознавая, что пытается истребить себя самого – настоящего. Того самого, которого так любили родители. Каким они хотели видеть своего сына, не интересуясь, чего хочет он сам...

...Цепляясь за длинные ветки ив с могучими, перекрученными точно от боли стволами, он одолел крутой спуск и, стараясь двигаться как можно тише, выскочил к воде. Накануне приходили сюда с сестрой и, не сговариваясь, замерли от царственной красоты спокойного озера, в котором зыбко отражался лесистый берег.

– Звездочки, – заморожено прошептала Соня.

– Это кувшинки. Или водяные лилии. Правда, как звезды...



Бровки ее умоляюще задрожали:

– Достань мне! Ну, хоть одну!

– Зачем? – Игорю не хотелось лезть в воду, даже выглядевшую холодной. – Ты же знаешь, цветы умирают, когда их срывают. Тебе нужны мертвецы?

Девочку передернуло:

– Гадость!

– Вот-вот! Смотри, как облака красиво отражаются. Но их же ты не пытаешься взять! Чтобы любоваться чем-то, не обязательно держать это в руках.

«Но ее мне так нужно было чувствовать руками», – тоска по Дашке опять сдавила сердце, сбила дыхание. Почти год прошел... Что ж так душит-то до сих пор?! Упорхнула, не оглянувшись, уже, наверное, с десятков парней сменила за это время. А ему она все еще видится чистой и непорочной. Вернулась бы – ноги ей целовал бы...

...Туман ластился к ногам, как дымчатый кот, но мешал разглядеть, где устроился отец. Не высовываясь из камышей, Игорь прислушался, хотя знал: кроме Сонечки никого в их семье не тянет напевать под нос. Справа донеслись какие-то звуки – то ли удар, то ли всплеск. Насторожившись, Игорь попытался разглядеть, что там происходит. Сердце у него бешено, неровно заколотилось, как бывало, когда на темной улице он устраивал очередную проверку своему мужскому началу. Померещилось или между деревьями вправду мелькнула человеческая фигура? Потом все стихло. Переведя дыхание, он решил выбраться из своего убежища.

«Что он там делал? – ему не давала покоя мысль о человеке, столь поспешно покинувшем берег. – Я спугнул, что ли?»

Это, конечно, мог возвращаться домой отец, рассмотреть было трудно, но была уверенность, будто его движения Игорь узнал бы. Подумалось с беспокойством: «Если это все же он, то наверняка обнаружит, что меня нет в комнате. Решит, что опять удрал в Москву. Нагородит с три короба...»

Правильнее всего было бы стремглав броситься назад, опередить отца, успеть прыгнуть в постель, пока тот ничего не заметил. Но как-то

неумолимо и жутко Игоря тянуло к тому месту, откуда донесся шум. Может, всего лишь рыба плеснула... Бесшумно раздвигая камыши, он подобрался поближе и заметил, как что-то недвижно темнеет у самой воды.

«Черт, бежать надо отсюда! – пронеслось в мыслях паническое. – Вдруг это чей-нибудь труп в воду сбросили? И я, как всегда, не в том месте... Фиг отмажешься потом!»

Подергиваясь всем телом и не замечая этого, Игорь двинулся вперед, проклиная свою неведучесть, вечно втягивающую в неприятности. Ему показалось, путь к воде был бесконечным, на самом деле прошло не больше минуты с тех пор, как донесся непонятный шум. Подтаскивая слабеющие ноги, Игорь приблизился, наклонился, и на миг его парализовало узнаванием. Но уже в следующий, он, точно вырвавшись из своего оцепенелого тела, подхватил подмышками лежащего в воде отца, перевернул рывком, перекинул на берег, даже не ощутив тяжести большого тела.

Не слыша собственных надрывных воплей, режущих воздух детскими, плаксивыми нотками, Игорь припал ухом к груди отца, но из-за шума в ушах ничего не смог разобрать. Тогда он стиснул ледяное запястье, отыскивая пульс... Показалось, что-то торкнулось в палец.

С трудом перекинув отца через колено, он попытался изгнать воду, которой тот наверняка глотнул, упав лицом. И что-то вылилось на траву, но Игорю показалось – маловато.

– Неумеха чертов! – в сердцах ругнул он себя, как сделал бы отец, точно пытался возродить его знакомым тоном. И начал делать искусственное дыхание, с которым тоже получалось как-то не очень... Отец владел этим в совершенстве. Он во всем был совершенен...

– Дышишь ты или нет?!

Ощутить это кожей не удавалось – слишком Игорь был возбужден, чтобы уловить слабое дуновение. Тогда сорвав длинный листок ивы, он поднес его к губам отца, и узкая полоска шевельнулась.

– Ага! – обрадовано завопил, вскакивая.

Нужна была помощь врача, самому тут не справиться, это Игорь уже понял. Но телефон

остался в доме, а бежать за ним, бросив отца тут, казалось невозможным. Выход был один, и он подсказывал, что никуда не денешься, придется дотащить девяносто килограмм до дома. Был бы он супергероем из комиксов Marvel, подхватил бы обмякшее тело одной рукой и легко добежал до дома. А то и взлетел бы с ним вместе, как Бэтмен, чтоб доставить в больницу за пару минут! Но авторы обычно так далеки от своих героев...

Стиснув зубы, Игорь попытался погрузить отца на плечо, но не смог даже выпрямиться. Легче оказалось взвалить его на спину, правда, для этого пришлось упасть рядом, не выпуская, сцепить безвольные руки отца вокруг шеи, перекатиться с ним вместе на живот, встать на колени, согнувшись в три погибели, и уже из такого положения подняться на ноги. Еле удалось.

«Ведь два шага... А я уже полжизни тащусь!» – подумал Игорь в отчаянии, с трудом взобравшись по осыпающемуся обрывчику. Несколько раз едва не упал, запинаясь о корни и теряя равновесие: «Я не смогу, не смогу...», но чудом выстоял, и не уронил отца. В кедах противно хлюпало, холодя ноги, а голова лопалась от жара, и темнело в глазах. Приходилось часто моргать, хотя это не особо помогало.

Наверху дело пошло живее, и он почти побежал к дому, с ужасом сознавая, что из-за его немоги, могут оказаться упущены драгоценные минуты, секунды... На бегу Игорь пытался решить: будить ли сразу мать или лучше не пугать ее спросонья, самому вызвать «Скорую», а уж потом... Но детская беспомощность странным образом нарастала в нем одновременно с гордостью за себя, спасающего отца, который всегда был сильнее и самостоятельнее, а тут вдруг оказался полностью зависим от сына. Так беспомощен... «Да ведь он умер бы, если б я не оказался под боком!» – только сейчас эта мысль развернулась перед Игорем со всей ужасающей очевидностью. Он даже споткнулся. Но следом уже настигло еще более жуткое: «А вдруг он уже умер?!»

В какую-то секунду Игорь едва не сбросил с себя тело, которое могло оказаться мертвым,

но пересилил страх и, разозлившись, побежал еще быстрее. Пинком распахнув дверь, он ворвался в дом и вдруг вспомнил о сестре, которую уж точно не следовало будить сейчас. Осторожно свалив отца на старенький диванчик в комнате, временно служившей им подобием столовой, Игорь на цыпочках вошел в их с Соней спальню, отыскал в полутьме свой телефон, и выскочил на крыльцо. Успел сообразить, что звонить надо отцовским ребятам – примчатся так, что дым из-под колес повалит! А обычную «Скорую» еще дождись...

Несколько секунд ушло на то, чтоб отдышаться, иначе диспетчер не разобрал бы ни слова.

– Это сын Семена Ильина... С папой случилось несчастье.

«Разве это так называется?» – усомнился сам, но не было времени подбирать слова.

Когда Игоря заверили в скором приезде – время «пробок» еще не наступило, – он пошел к матери. Постучал в дверь, подождал, пока Лариса откликнется слабым спросонья голосом.

– Мам, выйди. Дело есть, – произнес он почти сурово, чтобы не выдать паники, нарастающей в душе с каждой секундой.

Ее всклокоченная голова высунулась сразу же:

– Что случилось?

– Оденсья, – распорядился Игорь.

И вернулся к отцу, присел рядом, чтобы снова попытаться нащупать пульс. Теперь биение прослушивалось отчетливо, хоть и было очень слабым. Игорь улыбнулся: «Жив!»

Сзади раздался приглушенный вопль, он обернулся, но мать уже налетела черным смерчем, оттолкнула его с такой силой, что Игорь свалился на пол, больно ударившись головой о ножку стола. Лариса упала рядом с диваном на колени, лихорадочно обшарила руками все тело мужа.

– Что ты сделал с отцом?!

– Я сделал?!

Он смотрел в ее безумные от ужаса глаза, и все с большей очевидностью понимал: ему не доказать обратного. Не было свидетелей. Даже отец не видел того, кто ударил его сзади. Если вообще был этот кто-то...

Вокруг потемнело и сгустилось, Игорь хватал ртом и никак не мог толком вдохнуть, точно

заодно с отцом оказался в том промежуточном мире, где не живешь и не умираешь. Она увидела в нем убийцу. И одной этой мыслью вытолкнула из привычной реальности, ведь невозможно существовать в ней, каждую секунду помня, что поднял руку на отца. Ослепнув от обиды и гнева, Игорь на ощупь выбрался из дома, в миг ставшего ненавистным — стены впитали несправедливость! Сел на крыльце, еще влажном от рассветного тумана, но холода не почувствовал, так жгло изнутри. А потом, в секунду, все переменялось, и его затрясло ознобом, руки сделались ледяными, точно сам только что выбрался из озера. Почувствовал, как окоченели ноги, только возвращаться в дом, чтобы надеть сухие носки и ботинки, не хотелось.

«Как она могла?! Я же спас его! Как теперь...»

Из дома доносился почти неузнаваемый голос матери, тоже звонившей в МЧС. Лариса не плакала, но Игорь догадался: горло ей сводит оттого, что приходится сдерживать рыдания. В другое время он бросился бы к ней, обнял, поддержал... Сейчас все вдруг стало невозможным, даже представить не удавалось, как подойти к матери после всего этого...

— Они вызовут милицию, — донесся ее голос. — Продумай, что ты им скажешь.

Игорь огрызнулся, не поворачиваясь:

— А мне скрывать нечего!

— Хорошо, если так, — отозвалась Лариса не сразу.

— Можешь посадить меня, если тебе от этого будет легче!

— Не ори! — вспыхнула она и ощутила, как разом испепелилось все, сковавшее душу.

Боль обмякла, и удалось вдохнуть полной грудью. Отказавшись от мысли подлить масла в огонь, Лара вернулась к мужу, прислушалась к его дыханию — оно почти не улавливалось. Вспомнила, что нужно переодеться до приезда спасателей и заторопилась, хотя надежда на их стремительность была слабой. Всё-таки далеко-вато от города...

Выбрав свитер потеплее, Лариса быстро натянула его — морозило до гусиной кожи. И хотя было понятно, что это нервное, она все же на-

спех развела кофе водой из термоса, плотнула горячего. Вкус показался мерзким, но выбирать не приходилось. В их семье только Семен умер варить вкусный кофе...

— Вода попала в легкие... В легкие попала вода...

Она твердила это с таким исступлением, точно причина респираторной комы, прозрачным, но плотным занавесом отделившей Семена от мира живых, могла каким-то образом объяснить все случившееся с ним. Сын твердил, будто нашел отца уже в воде, но не мог внятно растолковать, как сам оказался у озера в такую рань. Обычно ведь пушкой не разбудишь...

— Не знаю. Проснулся и все.

Кивая и заставляя себя верить ему из последних сил, Лара с холодным отчаянием ощущала, как невозможная мысль о злодействе любимого мальчика овладевает уже всем ее существом. В последнее время Игорь с отцом были на ногах... Почти не разговаривали... Семен презирал его столь явно... Считал полным ничтожеством... Кто может выдержать подобное в возрасте их сына? До безумия доходят, лишь бы доказать свою значительность.

Вот только... Если б взорвался от бешенства, в порыве отчаяния, еще можно было как-то понять. Хотя все равно — чудовищно! Но так, как все произошло: хладнокровно выследил ранним утром, когда наверняка никто не увидит содеянного, подкрался сзади, ударил по голове беззащитного человека... Отца, любившего его до безумия, несмотря ни на что...

Всю просто ломало от этих мыслей: «Не может быть! Невозможно. Мой Игорюнька? Нет!» Цеплялась за тоненький лучик сомнения: зачем же потом спасал? Тащил на себе в горку? Почему не довел задуманное до конца, если уж такой хладнокровный монстр? Мог бы спихнуть в озеро, вернуться в дом и лечь спать. Никто и не подумал бы на него... Испугался в последний момент? Раскаяние охватило? Сомнительно все это...

Но еще более сомнительным казалось то, что после целого дня на свежем воздухе Игорь мог проснуться ни свет, ни заря, добровольно выбраться из теплой постели в сырость утра и оказаться поблизости точно в тот момент, когда кто-то неведомый напал на Семена.

– Вызови ментов с ищейками! – орал сын шепотом, чтобы не услышала Соня. – Пусть собака возьмет след! Он должен остаться там! Я же своими глазами видел, как кто-то убегал. И отпечатки на коряге должны быть. Если они могут остаться на коре...

Но овчарки в местном отделении не оказалось, а версией, на которой настаивал участковый, был несчастный случай: спросонья запнулся мужик, упал, ударился головой, скатился в воду, а тут уже нахлебался. То, что в двух шагах чудом оказался сын, подозрений у него не вызвало.

– Ну, повезло, считай... Могли бы только часики через два обнаружить.

Ни с ним, конечно, ни с самим сыном, Лариса не делилась сомнениями. Дочке было позволено узнать лишь то, что папа лежит в больнице.

– Детей не пускают туда из-за инфекции, – с натугой веселостью лгала Лариса, сжимая маленькие ладошки.

Обмануть оказалось нетрудно: Соня проспала и приезд спасателей, мигом погрузивших бывшего командира в машину и умчавшихся в больницу, и беззвучную истерику матери, и приступ бешенства брата, метавшегося по дому... То ли стегал болью ужас сомнения в Ларисином взгляде, то ли просто не мог простить себе минутного опоздания. А, скорее, хватал за сердце страх перед невозможностью помириться с отцом, сестрой рядом, поговорить по душам...

– Он выкарабкается! – Игорь проорал это, убежав к озеру. Кулаки стиснул до того, что побелевшая кожа чуть не лопнула на костяшках. – Слышишь, ублюдок? Он выживет! Ты зря старался!

Лариса не слышала воплей, разрывающих горло сыну. В эти минуты она, неудобно оцепенев в уголке чужого дивана, не понимая слов, слушала, как Сонечка воркует со своими собачками:

– Полли доктор выписал рецепт. У нее так болит голова, что даже понос начался. И горло болит, и нос. Надо сока попить, и все пройдет!

– Ты уже пила сегодня, – отозвалась Лариса машинально.

Девочка посмотрела на нее с упреком – коленки в разлет голыми крылышками:

– Мама, это я Полли прописала. Я совсем даже не прошу сок. Раз тебе жалко дать мне вторую коробочку, то я совсем даже не прошу.

Губы дрогнули против воли:

– Мне не жалко, солнышко. Просто сока нельзя пить много за раз...

– Каких зараз? Я зараз не пью.

Сложив у груди ладошки, она вдруг истово зашептала:

– Господи, сделай так, чтоб она дала мне сока! Господи, пожалуйста... Я очень хочу сока.

Со стоном повалившись на диван, Лариса взмолилась:

– Не смей меня – больно!

– Горлышко болит? Ах ты, моя лапочка! – протянула Соня материнским тоном и погладила волосы матери, потом крепко прижала ее голову к груди. Лариса услышала живое биение маленького сердечка.

– Не горло, нет... Где же твой брат? Надо возвращаться в домой!

У девочки испуганно округлились глаза:

– А мы не будем ждать папу?

– Мы... Мы будем, конечно. Только не здесь. Дома. Господи, как неудобно, что его отвезли в московскую больницу! Далеко мотаться...

Необходимо было вспомнить, с кем можно договориться, чтобы Семена перевезли поближе к дому, если... Горбоносый врач, приехавший с бригадой МЧС, смутно напомнивший революционеров прошлого века, оказался правдолюбом:

– Ваш супруг может и не выйти из комы. Будьте готовы.

– Но ведь он жив! – вырвалось у нее.

Его крупный красный рот, блестящий так, будто обмазан жиром, выразил сомнение. У нее затрясся подбородок, пришлось прижать его, чтоб не выдавал.

– Вы же сказали: череп цел...

– Нужна томография. Но и без нее понятно, что имеет место внутреннее кровоизлияние. И прочие прелести.

– Но он жив, – упрямо повторила она.

Врач посмотрел так, будто это Лариса была желобольной.

– Некоторые проводят в коме десятки лет. Вы готовы к этому? А кто-то и вовсе из нее не выходит.

Это прозвучало так страшно, что она попыталась отгородиться шуткой, лишь бы не завопить от ужаса.

– Мне казалось, в кому впадают только герои сериалов!

– Не только. Это защитная реакция организма. А нам всем приходится от чего-то защищаться.

«А мне как защититься от всего этого?!»

Такой беспомощности Лариса не ощущала уже давно: даже домой они не смогут добраться самостоятельно – водить машину она так и не научилась. А Игоря отец сам не пускал за руль, не считая достаточно зрелым для этого.

– Что делать-то? Добираться на электричке? А машину? Здесь бросить?

Прижимая дочь, она цепляла сына крючками вопросов, надеясь извлечь на свет божий мужчину, способного принять решение за нее. Не может быть ведь, что это он... Нет, нет!

Он глянул через плечо:

– Я могу позвонить кое-кому. Подъедут, заберут нас. И машину перегонят. Только доверенности нет... Если менты остановят, долго объясняться придется.

Отвернувшись к окну, прижался лбом к стеклу, и вдруг вскинул голову, отпрянул:

– Парень какой-то к нам идёт, – близоруко прищурился.

– Парень? – машинально переспросила Лариса. И вдруг вспомнила: – Папа встретил тут вчера кого-то... Какой-то старый знакомый...

Но Игорь уже разглядел:

– Нет, это тетка. Походняк, как у мужика...

В дверь постучали прежде, чем Лариса успела ответить. У нее вырвалось испуганное:

– Кто там?

Нервно усмехнувшись, Игорь распахнул дверь, не дожидаясь ответа. Невысокая женщина в темном брючном костюме, но с заливчатым светлым чубом устремила взгляд мимо него, на Лару. В выражении ее лица Игорю почудилось нечто умоляющее, почти детское, точно

она была маленькой нищенкой, просящей подаяния. Но оказалось, пришла не христарadniчать, а помочь им.

– У вас несчастье, – начала она, не поздоровавшись. – Я могу чем-то...

«Несчастье, – вспомнилось Игорю. – Именно так я и сказал по телефону. Какое слабенькое слово... Отсутствие счастья».

– Кто вы? – спросила Лариса отрывисто.

– Вы меня не знаете...

Эта фраза прозвучала так, будто в ней таился второй план, но никто не понял его значения. Соня нетерпеливо заерзала под рукой матери:

– А я знаю эту тетю! Мы с папой вчера с ней поразговаривали немножко. Ее Леной зовут!

В улыбке, с которой Лена взглянула на девочку, проступило столько теплоты, что Лариса мгновенно расслабилась: никакой угрозы. Полукружья морщинок вокруг уголков губ выдают, что если и моложе, то не намного. С определенного возраста это становится приятно...

– Точно. А тебя зовут Соней.

– А откуда вы знаете?

– Твой папа сказал.

Игорь застыл у двери: «Отцу не нравится, когда наша мелочь знакомится со всеми подряд... С чего бы он сам назвал Сонино имя? Закадрить хотел эту тетку?»

Опомнившись, Лариса точно смахнула со лба забывчивость:

– Что это я... Проходите, Лена. Спасибо, что зашли. Садитесь. Скажите, вы водите машину?

– Конечно.

– Конечно? Ну да... Сейчас, наверное, все уже водят, кроме меня, – она бросила взгляд на сына. – Кроме нас.

– Вы же на велосипеде катались! – опять встряла Соня.

– Это по лесу. Но у меня есть машина. Вас нужно отвезти в город?

«Так говорят о Москве бывшие деревенские: в город, – машинально отметила Лариса. – Но это дела не меняет. Какая разница – кто она и откуда? Нам бы домой добраться...»

– В город Королёв, – уточнила она и машинально добавила. – Мы будем вам очень признательны.

Обычно дежурные фразы раздражали, однако сейчас такие мелочи проскальзывали незамеченными. Стараясь не разглядывать Лену в упор, она никак не могла отделаться от ощущения, что уже видела эти полные ожидания глаза, и, кажется, даже не раз. Но где? При каких обстоятельствах?

– Мы не встречались? – не удержалась она.

Показалось, Лена чуть напряглась. И все же ответила с той простотой, которая часто сходит за искренность:

– Ваше лицо не забудешь.

И хоть радость была сейчас самым неуместным из всех чувств, на какой-то миг Ларисина душа согрелась ею. Улыбнулась Лене с благодарностью.

– Вас нам сам Бог послал...

И машинально отметила: «А веснушки у нее симпатичные... Хорошо, что немного».

– А что уже всему поселку известно, что случилось? – отрывисто спросил Игорь.

Он пытался снова приклеиться к окну, но не стоялось на месте. Его так и бросало из угла в угол, и Лена водила глазами, следя за ним.

– Всему или нет – не в курсе. А ко мне товарищ участковый заходил, расспрашивал... Моя дачка ближе других. Думал, может, я что видела-слышала?

Собиравшая сумку Лариса застыла со смятой у груди кофтой:

– А вы ничего...

– Нет. Я еще дрыхла без задних ног!

– Ну, конечно, – кивнув, Лариса принялась яростно запихивать кофту.

«Если б она и видела кого, где его найдешь теперь? Или мать думала, что эта тетка меня опознает?» – он пристально посмотрел на Лену. Почувствовав взгляд, она чуть повернула голову, и они встретились глазами. Игоря пробрал озноб: давно на него никто не смотрел с такой холодной ненавистью...

...Возвращались молча. Даже «красноречивый Питон» притих, стиснутый ремнями детского кресла. Игорь сел сзади рядом с сестрой, нахотился в углу, уткнулся в окно, лишь бы не видеть

даже затылка матери, темневшего укоризной. Больше Лариса не заговаривала о том, будто подзревает его в покушении на отца, но хватало и затравленности в ее глазах, чтобы Игорь выходил из себя. Как могла она так думать о нем?! Она, знавшая его как себя! Или же и в себе обнаружила однажды такое желание: избавиться от гнета одним ударом по голове?

Теперь он прищурился на ее затылок испытующе, попытался вспомнить: а не погиб ли кто в их семье при столь же загадочных обстоятельствах? То столкновение с бензовозом – действительно было случайным? Она и сама могла погибнуть вместе с родителями, но бывает же, что люди ставят на карту и собственную жизнь, лишь бы вырваться на свободу. Кому из подростков не хочется этого? Если удалось один раз, сочли за несчастный случай, вполне могло прийти на ум снова... Не захотелось ли ей однажды освободиться и от мужа? Игорь своими ушами слышал, как она кричала, что ненавидит его... И не раз.

Судорожно пролистнул в памяти: а ведь нет уверенности, что мать была в постели, когда он заглянул в их спальню через окно... Ему только показалось, будто кто-то лежит, но было плохо видно. А что если это она успела настигнуть мужа возле озера, а потом вернуться в постель? У него даже ладони вспотели от этих мыслей. Бегают мать – что надо, сколько раз в этом убеждался. Вполне могла все успеть... И силы хватит поднять корягу, даром что невелика ростом.

Лариса не оборачивалась, хотя обычно сидела в машине чуть ли не задом наперед, чтобы видеть обоих детей, ловить во взгляде сына отклик на каждую фразу – мысли-то неслись на одной волне. Догадывалась ли сейчас, о чем он думает? Игорь подавил дрожь: «Да ладно! Бред какой-то...» А из прошлого, как вырванные из книги листы, выпадали чуть пожелтевшие воспоминания о родительских ссорах, требованиях развода и сожалениях матери о вечной зависимости – то от родителей, то от мужа...

– Я ни разу в жизни не сделала того, что хочется именно мне!

«Может, чаша переполнилась?» – Игорь бросал на ее затылок взгляды полные жалости и бояз-

ливого трепета. – Вон как они вчера орали друг на друга... Искры летели на весь лес! Вот пожарище и разгорелось... Вдруг она попыталась освободиться раз и навсегда? Кармен наша... Чего проще – шарахнуть мужа по голове, и ты свободна! Развод ведь не вычеркивает человека из жизни... А отец всегда мог уговорить ее не бросать его, если б вообще до этого дошло».

Предоставленная сама себе Сонечка тихонько задремала в кресле, ротик ее влажно обмяк. Опустив скрещенные по-турецки ножки сестры, чтобы не затекли во сне, Игорь чуть сжал влажный носочек, и в первый раз бросил взгляд на ту, что занимала сейчас место отца. Почему Соню так смущало присутствие этой Лены? Ведь готова обниматься с первым встречным, а тут замкнулась, даже с игрушками не стала возиться. Игорю всегда нравилось слушать, как она, играя, разговаривает на разные голоса, и девичьи, в Сонином исполнении, всегда были нежными, кроткими.

«Эта тетка здесь ни при чем... Сонька просто подавлена всей этой заварухой, – решил он. – Хотя... Что она знает? Папа в больнице. Но разве этого недостаточно, когда тебе пять лет? Мир изменился».

Для него самого – вдвойне. Мать избегала смотреть на него, как на прокаженного, хотя еще вчера любовалась исподтишка. Думала, сын не замечает этих взглядов, этой ее тайной гордости за себя, сумевшей подарить миру *такое*. А теперь обвиняет в самом страшном... От себя отводит подозрения?

«Не может быть, чтобы мать пыталась свалить вину на меня!» – он ерзал на заднем сиденье, терзаемый вопросами, которые не посмел задать вслух.

Машина уже повернула к их дому, внезапно поразив Игоря тем, что будто сама идет по следу. Разве мать объясняла Лене куда ехать? Или он отвлекся в этот момент?

– Откуда вы знаете, где мы живем? – это было первым, что он произнес за все время пути.

Очнувшись, Лариса принялась озираясь, и удивление все отчетливее проступало на ее осунувшемся лице. Знакомые места приветствовали первыми золотистыми флажками берез: осень

пробралась в город в их отсутствие. Все подтверждало, что мир и в самом деле изменился.

– Действительно...

Лена посмотрела на нее с изумлением:

– Вы же сами назвали мне улицу!

– Разве?

С усилием морща лоб, Лариса пыталась извлечь из памяти этот момент, но не находила его в непривычной тьме. Все сейчас было свалено в кучу на чердаке того брошенного дома, каким она виделась себе. Любимые люди ушли из него без объяснений. Разве что... В первый за всю дорогу раз она повернулась к дочке: маленькая девочка спряталась в уголке опустевшего жилища... Она никогда не покинет его. Никогда? По крайней мере, еще не скоро.

– Я плохо соображаю, – призналась она, виновато улыбнувшись. – Вот уже и наш дом. Да, здесь во двор.

«Точно, сама знает, – у Игоря похолодело в груди, когда он увидел, как уверенно Лена находит лазейки среди гаражей. – Откуда?»

– А ваша машина осталась на даче? – спросил он, стараясь не выдать волнения.

– Машина? А, нет. Она в гараже. Я туда на электричке приехала.

– Почему? – губы слушались его все хуже. – Заранее знали, что придется уезжать на нашей?

Холодный взгляд преломился в зеркале заднего вида, впился в его глаза. На миг он почувствовал себя маленьким Каем, ослепшим от ледяного осколка.

– Что ты несешь? – Лариса резко повернулась к нему.

В ее глазах полыхало темное пламя. Это было хотя бы привычнее... Игорь слегка стушевался:

– Я просто уточнил.

– Сейчас не время для черного юмора.

– А в чем юмор?

– Прекратим этот бред, – остановила она. – Лена, я не приглашаю подняться... Сами видите в каком мы все состоянии. Но как-нибудь на днях... Зайдете на чашку чая? Я позвоню.

Машина замерла на своем обычном месте под окном. «И это ей известно!» – ужаснулся Игорь, но уже не высказал этого вслух. Вытащив ключ, Лена протянула его:

– Я буду ждать.

Рассеянно кивнув, Лариса забрала ключи и даже не заметила, как Лена вздрогнула, когда ее руки нечаянно коснулись смуглые пальцы.

Хватило сил поднять и опустить палку, тем самым выбив из себя остатки заблуждений насчет собственной гуманности. Он не успел оглянуться, запечатлеть меня в зрачках. Если бы встретились взглядами, что отразилось бы в его: изумление, непонимание, раскаяние? Нет, последнего не могло быть даже в том случае, если б он прозрел причину. Пауки никогда не испытывают вины перед жертвой. Почему же меня сейчас должна мучить совесть?

Прислушиваясь к себе и не находя никаких угрызений. Это ли не лучшее подтверждение моей правоты?

Девочка спала долго, и стало ясно: если ей и не все известно, то душа ее уже в полной мере прозрела ужас происходящего с отцом, погрузила разум в спасительный сон. Домой Игорь перенес сестру на руках, пока мать раздевала ее, метался по комнате черным леопардом. Мысли колотились так больно, что его крючило: «Если мать и вправду сама попыталась убить... Да нет! Она не стала бы валить на меня! А чтобы спасти свою шкуру? Чего не сделаешь... Нет, не она! Не меня...»

Прикрыв дверь в детскую, Лариса молча принялась за сумки. Сын наблюдал за ней из угла квадратной прихожей, пытался припомнить язык жестов – хоть чем-то она же должна выдать себя! Потом присел возле другой сумки, начал помогать.

Она не выдержала первой:

– Ну, мне-то ты можешь сказать, как на духу! Я же не сдам тебя, сам знаешь.

Безотчетно прижав отцовские сандалии к груди, Игорь оскалился:

– Что тебе еще надо знать? Я уже все тебе рассказал! Если считаешь меня убийцей, ладно, сейчас пойду убивать!

– Не мели ерунду!

– Ну, раз ты этого хочешь!

Он вскочил в запальчивости, покрасневший от гнева, разобиженный, как ребенок – подбородок задергался. Отцовские сандалии в прозрачном мешочке, защищаясь, держал наперевес. Смешно.

«А если он действительно ни при чем? – медленно заворочалось сомнение. – Как же ему должно быть больно сейчас... Бывают ведь чудовищные совпадения... Может, и вправду оказался не в то время, не в том месте... Нет! Как раз хорошо, что оказался там! Слава Богу! Не то Семена уже не было бы...»

Протянув руку, Лариса хотела погладить покрывшуюся пятнами щеку сына, но тот дернулся, увернулся.

– Извини! – выпалила она, чтобы поймать словом, пока не убежал. Ищи его потом по всей Москве...

Игорь споткнулся на пороге:

– За что?

– Сам знаешь. Я подозревала тебя. Слишком уж это все звучало невероятно... Понимаешь ведь?

– Что у меня сплошные косяки в жизни? – он зло усмехнулся. – Да уж давно понял! А с чего это ты вдруг мне поверила?

Она отразила его усмешку:

– Сердце материнское подсказало!

– Что-то оно тормозное у тебя... Утром не могло подсказать? – Игорь слегка смягчился, выплеснув обиду. – И ты, кстати, извини. Я ведь тоже...

– Что? – впилась она взглядом.

– То самое. Подозревал тебя.

– Меня?!

– Бес попутал... Ну, извини, мам!

– Меня... Ты мог подумать, что я...

Решившись выяснить все до конца, Игорь выпалил:

– Иногда ты на него так смотрела, будто хочешь убить!

И справедливости ради добавил:

– А он так смотрел на меня... А я на него... наверное... Хотя я всегда любил его! Ты веришь?

Лара смотрела на него во все глаза, ничего больше не слыша:

– Что ж мы за семья такая...

– Обычная семья. На самом же деле никто никого не убил! И даже попытались не мы... Правда?

Точно увидев его, наконец, Лариса притянула голову сына, уложила на плечо, погладила по спине. Он затих, стараясь справиться с тем, как по-детски защищало в носу. Сейчас слова не смог бы выдать... Она заговорила сама:

– Кровь в нас бунтует, бьет в голову... Надо умирять ее, сынок, видишь до каких черных мыслей дойти можем? Самого родного подозревать... Никогда больше! Договорились?

Он кивнул, так и не сумев ничего произнести. Похлопав его по спине, Лариса разжала руки, опустила на пол рядом с так и не разобранный сумкой, уставилась на залетевшую через балкон большую пушинку:

– Кто же мог это сделать? Зачем? Не грабеж ведь, ослу понятно... Что взять у рыбака? Червей, что ли?

– А у него ничего не пропало? – тоже с запозданием всполошился Игорь и с готовностью к полному прощению уселся напротив матери.

Та лишь с сомнением качнула головой. Оглянувшись на прикрытую дверь детской, Игорь с жаром прошептал:

– Это похоже на попытку предумышленного убийства. Как будто его выследили, понимаешь? И если б я не подвернулся...

– Но – кто? – сморщилась Лариса, вжимая пальцы в виски. – Кому надо было охотиться на Семена? Дикость какая-то... Он же не бизнесмен, не политик... Черт! Ни одной приличной версии. Паршивые из нас с тобой сыщики.

Ему вспомнилось недавнее подозрение:

– А эта тетка... Лена. Откуда она взялась? Чего так активно лезет к нам?

На лице матери отразилось безразличие:

– Да ну... Она-то каким боком? Они даже не были знакомы.

– Ты уверена?

– Что ты хочешь...

– Мало ли!

Лариса вдруг рассмеялась:

– Ты ее видел? Простушка.

– Ну да, нелепо, согласен. Хотя в жизни всякое бывает.

Потрепав его волосы, она протянула с обычной нежностью, уже свободной от неприятных обоим теней:

– Тоже мне, знаток жизни...

Кошмар не рассеялся, он только сгущался над их семьей, и все же обоим в эти минуты стало ощутимо легче оттого, что они опять были одним целым, как длилось все двадцать лет. И приходилось сдерживаться, лишь бы не выпустить наружу смех – голос радости, закипавшей внутри. Он был неуместен сейчас, даже оскорбителен, они понимали это и старательно комкали хохот, сжимая губы, отводя взгляды, отражавшие друг друга.

Быстро разобрали сумки, в четыре руки приготовили простой ужин – сосиски с пюре, которые сын по обыкновению обильно полил кетчупом.

– Нашей мелочевке оставить? – затосковал Игорь над последней сосиской.

– Ешь. Я сварю ей кашу, если проснется.

– Она ненавидит кашу! Да ты сама ненавидишь кашу! Ты ж ее всегда ела только, чтоб папе угодить.

В воздухе повисло: «А теперь не надо...», обдало запахом преступной свободы. И оба съелись, почуяв его. Разве хотели они этой свободы?

«Я хотел, – признался Игорь себе. – Но не такой же ценой! Не от папы... Просто чтоб никто не контролировал каждый мой шаг. Чтоб он, наконец, признал меня взрослым. Или этого никогда не случилось бы?»

И ужаснуло открывшееся: устранив отца, некто открыл ему путь к независимости. Единственно возможный... Игорь вскочил из-за стола, лихорадочно принялся собирать грязную посуду, забыв поблагодарить за ужин. Но Лариса даже не заметила этого, также поглощенная страхом перед собой, на миг допустившей мысль о том, как же приятно жить, когда никто не ограничивает твоих желаний. Особенно, когда они не так уж порочны... Съесть бутерброд с колбасой вместо каши – до сих пор нечего было об этом и думать. Семен слышать не мог о колбасе, покупали только для сына.

У нее вспотели ладони, остро закололо в пальцах, точно подошла к самому краю пропасти и замерла перед последним шагом. Пронзило предчувствием: «Если я обрадуюсь сейчас тому, что больше никто не держит меня в узде, Семена тоже ничто не удержит на этом свете!» Сама эта мысль оказалась крепкой уздечкой, которую муж накинуд, не шевельнувшись. Может, она была даже прочнее всего, что их связывало, ведь теперь его жизнь зависела только от Ларисы.

— Я должна ехать к нему, — подскочила она, собираясь. — Останься с Сонечкой.

— Темень уже! — встревожился сын. — Утром съездишь. Все равно не пустят!

И оказался прав. Вернувшись домой ни с чем, Лара долго не могла уснуть, раздираемая тоской по Семену и укорами совести, остро стучавшей в темя, как их первая учительница куском мела: лишь плохая жена могла допускать мысли о свободе в тот момент, когда муж в реанимации. В отделение Лару не пустили, велели ехать домой, и быстро захлопнули тяжелую дверь, чтобы не прорвалась. Сейчас винила себя и в том, что послушалась врачей, не осталась на ночь у запертой двери, а сжалилась над собой, вернулась к обычной жизни, которая, конечно, не могла быть прежней без Семена.

«Я никогда не жила без него, — она свернулась под одеялом, пытаясь согреться, но знобило все сильнее. — Это нервное... О чем я? Да, без него... Мы столько лет были вместе. Я даже не представляю: как это — без мужа? Разве я справлюсь одна с Игорешкиными заскоками? Сонечка вырастет, ей нужен отец... Да о чем это я?! Он нужен мне! Мне. Ведь он же мой единственный друг... Лучший. Я не могу остаться одна...»

Шарила в темноте по кровати, не открывая глаз: как его может не быть рядом? Почти четверть века, едва проснувшись, находила рукой плечо Семена, горячее от ночных видений, ей недоступных. Остальное давно стало общим нераздельно. Переплетение мыслей, фантазий, планов, всего — по-пастернаковски. Ларисе даже виделось, как из макушек каждого из них исходит упругий на вид разноцветный поток, тянется к другому, и они жарко сплетаются жгутами — единые сущности.

Ну да, читали разные книги, тянулись к разным странам, но что-то ведь держало их вместе. «Что именно?» — задумалась она впервые за все это время. Раньше задаваться этим вопросом было бессмысленно, надо беречь подаренное судьбой. Услышала где-то и запомнила: счастье не в том, чтобы иметь то, чего хочешь, а в том, чтобы хотеть то, что имеешь. Старалась хотеть именно этого, другие желания — в танец, на сцену!

Да разве ей было плохо с этим рыжим ворчуном? Понимал ведь ее, хоть и не одобрял. На полгода когда-то отпустил в Испанию, чтобы смогла познать корни фламенко, стать настоящей байлаорой, в которую в Москве не превратишься. Не каждый муж способен на такое... Тем более, не на Аляску молодую жену отправлял, а в страну, где страсти кипят не только на страницах романов. Такие красавцы просто по улицам ходят, в кабачках обслуживают — глаз не отвести! Но знал Семен и то, что главная страсть для его жены — это фламенко, им живет и дышит, бредит ночами. И терять время, выделенное для овладения танцем, на случайные романы Лариса не станет...

Так и вышло: только слепки точеных, смуглых лиц, порывистых движений, быстрых взглядов сохранила в памяти, чтобы подбрасывать в костер вдохновения, который разводила каждый вечер перед выходом на сцену. Ларе повезло — молоденькую байлаору взяли в только открывшийся в Москве клуб поклонников фламенко. Испанский атташе лично проводил отбор танцовщиц. Когда этот седой мадридец поцеловал Ларисе руку после просмотра, в глазах его стояли слезы.

— Просто они очень сентиментальные — эти испанцы, — смеялась она, рассказывая об этом мужу. — А этот еще и родом из Андалусии.

— А я-то думал, мачо не плачут! — заметил Семен, срифмовав, как стишок.

Ко всему испанскому, даже к Сервантесу, он относился слегка снисходительно. Они казались ему вечными детьми.

Хотя детей он любил... Новорожденного сына месяц сам нянчил ночами, пока Лара отходила после родов: мальчик был крупным, нелегко дался... Жалея жену, Семен носил его ночами на

руках, фальшиво напевал бабушкины колыбельные: «Ох ты, котя-коток, котя серенький хвосток...» А утром шел на службу, которая была не чета архивной. Его мать хотела приехать, помочь им с внуком, пока Лариса не придет в себя окончательно. Семен отказался, объяснив жене: «Своего ребенка я никому не доверю!» И справился... Успевал делать записи «на старость», фиксировать все достижения новорожденного Игоря. Зачитывал Ларисе вечерами, когда малыш засыпал. Почему они оба так испугались его взросления? Поторопились родить солнечную девочку, имя которой само собой возникло, когда Лариса протянула на родильном столе, поглаживая мокрое, копошащееся тельце: «Солнышко!» А язык заплелся от анестезии, и вышло нечто похожее на «Сонечка»... И доктор переспросила: «Соней назвали?» Так все и решилось.

Но если б даже не родилось это маленькое чудо, разве могли они заскучать вдвоем? Конечно, с Семеном не было так весело, как с Лешкой когда-то, и сердце не замирало от каждого взгляда, но, может, так и лучше. Смешить ее муж не умел, да и не пытался, Ильфа и Петрова, даже не читая, за что-то презирал. Лариса подозревала – за еврейство, хотя он ни разу не подтвердил этого. Не был Семен ни легким человеком, ни остроумным, зато слушать его можно было часами, и не надоело. И надежен был, как скала. Впрочем... За эти годы Лара признавалась себе не раз: если б Семен не стал ее спасителем, вряд ли она связала бы с ним жизнь. Просто не обратила бы на рыжего увальня внимания... Он вытянул ее из огня, как трофей, и никому не собирался отдавать.

Да Лариса ни к кому и не рвалась. В общем-то, они довольно быстро притерлись, тем более никого другого у Лары в то время уже не было. Она гордилась тем, что ее муж спасает чужие жизни, рискуя собственной. Но не уговаривала Семена остаться в МЧС, понимала: возраст, усталость и прочее, прочее... Если б только он не сделался таким брюзгой среди своих манускриптов!

Но их все равно тянуло друг к другу... В последние годы созванивались чуть ли не каждый час, посылали сообщения, делясь любой мелочью, зацепившей взгляд. В тот самый день,

когда еще были вместе, Семен увидел: скворцы танцуют под березой! Оказалось, они клюют муравьев и стряхивают их с себя, притоптывая, вихляясь. Как не позвонить, не рассказать о таком? Знал ведь, как жена восхитится... Почему-то в последние дни ей постоянно мерещились эти скворцы с их ритуальной пляской, теперь казавшейся погребальной. Не одни муравьи погибли...

– Он не погиб! Нет!

Вскочила с постели, яростно зашептала, натягивая халат:

– Еще чего! Семен так просто не сдастся! Он – мужик. Боец. Мы с ним выкарабкаемся.

Как помочь – представлялось с трудом. Виделось: она сидит рядом с его больничной койкой, нашептывает на ухо разные глупости, которые только Семен способен понять, и постепенно он начинает прислушиваться. А однажды ответит... Когда? Через неделю? Через десять лет?

Отвлеч телефонный звонок, вырвал из погружения во мрак. Лариса схватила трубку с радостью, но секунду спустя, уже нажав на кнопку ответа, обмерла: «А вдруг...» Но звонила директор Дома культуры, где Лариса занималась с детьми. Не скрывая недовольства тем, что приходится с утра пораньше говорить гадости, Гаврилюк сообщила: им сокращают ставки и приходится закрывать некоторые студии, кружки.

– В этом году к вам записалось совсем мало детишек. Бальников куда больше! Их оставляем. А фламенко придется закрыть, вы же понимаете... Кризис.

Не подтвердив, что готова войти в их положение, Лариса отключила трубку и застыла возле окна. Можно было разжалобить Гаврилюк, поведав о случившемся с мужем, наверняка нашелся бы какой-то выход, но было так тошно выпрашивать подаяние. «Я еще в состоянии заработать на кусок хлеба для детей» – не заметив этого, она вскинула голову, как в танце. А когда увидела свое отражение, проходя мимо зеркального шкафа в прихожей, сразу сникла: опять актерствую... Семен этого терпеть не мог.

С утра моросило, добавляя уныния, и Ларе в который раз подумалось, как изменился климат в Подмосковье. В детстве солнца было –

через край! Над Лешкиной головой, когда она бежала к нему, все было ослепительно синим. Все изменилось.

«Нужно срочно искать работу, — сказала себе, стараясь не паниковать. — Нам и раньше-то едва хватало, а теперь без его зарплаты... Клуб почти пустует, людям сейчас не до зрелищ, как бы и оттуда меня не турнули. А ведь наверняка выставят счет за пребывание в больнице... Аппарат вентиляции легких — во что нам обойдется? Страшно подумать... Ладно, все это ерунда, только бы он скорее очнулся! Не из-за денег. Как вообще — без него?»

Зябко поеживаясь и позевывая, в одиночестве выпила кофе. Такое и раньше случалось, конечно, когда Семен был на дежурстве, однако это не отдавало одиночеством. А перешел работать в архив, торопиться по утрам стало некуда, и он неспешно варил кофе, пока Лариса принимала душ. От первого же глотка по телу разбегалось теплое возбуждение: «Новый день начался!» Сейчас же как жадно не глотала горячее, внутри все так и осталось оцепенелым от холода.

— Я не смогу отогреться без него...

За спасением потянулась к Сонечке. Еще, конечно, спит, но хоть одеяло поправить, за теплую ножку подержаться. Может, чуть полегчает... Подкравшись к детской и заглянув, оторопела: девочка сидела на постели, беззвучно нанизывая на пальчики частые слезинки.

— Ты что, малышка моя?!

— Папа там один, — мокрые губки ее дрожали и кривились. — Ему ведь страшно!

Прижав вздрагивающее тельце, Лариса прижалась щекой к спутанным волосам дочки:

— Солнышко, он не один. С ним врачи, медсестры... А если разрешат, то и мы с ним побудем сегодня.

— Мамочка, я же не про больницу! Там он совсем один.

Лара замерла:

— Где — там?

— Там, — беспомощно повторила Соня. — Я не знаю, как называется. Там темно и вообще никого нет. Ни человека, ни птички, ни кошечки. Я видела.

— Во сне?

— А сны такими бывают?

— Какими, детка?

— Как будто все по правде...

Возникло ощущение, будто сама погружается в сон, слушая дочь, и готова верить любой небылице, лишь бы что-то узнать о Семене, понять — как он? Где? И спросила всерьез, не до конца веря в свою способность поддерживать такой разговор:

— Папе там действительно страшно?

Маленький рот горестно изогнулся:

— Папочка хочет к нам. К своей маленькой досеньке, — буква «ч» ей никак не давалась, и родители часто поддразнивали ее, называя Дусенькой.

«Это же бред, — Лариса попыталась отстраниться от происходящего. — Она сочиняет на ходу, как всегда, а я позволяю втянуть себя в эти фантазии. Что мне от этого — легче станет?»

— Конечно, папочка хочет к нам. И скоро он к нам вернется. Врачи помогут ему. У него ведь не оказалось серьезной травмы, просто он немножко задохнулся в воде, и от недостатка кислорода... Ну, неважно, — спохватилась она. К чему ребенку все эти подробности?

Но Сонечка слушала так внимательно, точно хотела поставить диагноз, и только недостаточность информации не позволяла сделать это прямо сейчас. И в этот момент в Ларисиной памяти всплыло, как одна знакомая, увлекавшаяся экстрасенсорикой, однажды шепнула на прогулке:

— А ты знаешь, что у тебя девочка — синенькая?

Лара опешила, с ужасом взглянула на раскрасневшуюся, загорелую Сонечку, носившуюся вокруг фонтана:

— С чего это она — синяя?

— Аура ультрамариновая. Она — ребенок индиго.

— Бред собачий! — с облегчением выдохнула Лариса. — Не верю я в эту чушь. Очередную сенсацию раздувают... Ничего мне Соня никогда не рассказывала ни о каких своих прошлых жизнях! И о будущем тоже... Знаниями об устройстве Вселенной тоже не делилась. Так что...

Но знакомая только усмехнулась:

— Родители никогда не видят... Она — дитя света. Как этого можно не заметить?!

Вот тут Лариса дрогнула, ведь как раз накануне обсуждали с Семеном переполненность их дочери любовью ко всему сущему. С ней невозможно было пройти по городу: с каждым одиноким старичком Соне нужно было побеседовать и напоследок признаться в любви. И ведь выбирала именно тех, кто больше всего в ней нуждался... Лариса была убеждена, что это всего лишь называется отсутствие родных бабушек-дедушек, родители Семена жили далеко, и девочка общалась с ними только по телефону. Но, услышав – «дитя света», впервые усомнилась в казавшемся очевидным.

И сейчас все отчетливо вспомнилось: «А вдруг?! Может, она действительно *видит*?» Безотчетный страх перед непонятным едва не заставил отпрянуть от девочки. А губы уже сами собой произнесли:

– Сонечка, папа может оттуда вырваться?

И замерла: «Откуда ей знать?!»

Дочь смотрела с тем спокойствием, которое отличает лишь уверенных в себе людей:

– Может. Надо звать его, чтобы он нашел выход. Там же темно! Про себя только. А не орать так: «Бе! Ме!»

Лариса с облегчением перевела дух: все-таки дурачится! Из коридора донеслось ворчание сына:

– Что за коза тут блеет?

Соня пружинкой подскочила на постели:

– Братик мой любимый проснулся!

Прыгнула ему на шею, даже не усомнившись, что поймает, удержит. Золотистые волосы шлейфом вспыхнули в луче солнца, пробившегося между нераскрытых портьер. Игорь так и просел от неожиданности, сам еще вялый со сна.

– Убить хочешь?!

«Никто никого не убьет, – на миг Лариса стиснула зубы. – Мы все выживем. Я никому не позволю погибнуть».

Убить человека не так-то просто... Думалось, что от паука вмиг останется одно мокрое место. Все было продумано, просчитано, десятков раз пережито в воображении, и – сорва-

лось. Что помешало? Рука дрогнула в последний момент? Силенок не хватило? Или праведный гнев разгорелся не с должной силой?

А, может, маленькая девочка – единственная, ни разу не пожелавшая науку смерти – послала своего Ангела-хранителя, чтобы защитить отца? Не додумалась, что тем самым остальных – любимых – обрекает на медленную, мученическую гибель... Еще один камешек в дорогу, вымогченную благими намерениями.

Пыталась пересилить себя, зацепиться взглядом за лицо лежавшего в постели человека, в котором все в ней, весь организм, не только пресловутое сердце, отказывалось признать мужа. У Семена руки горячие, жадные, большие. На даче так вжимались в ее тело, так неистово мяли его, что следы остались на коже, напоминающие касания перьев. Сильное – до боли! – обернулось едва ощутимым.

Потрогала его пальцы – ледяные, мертвые. Если б такими прикоснулся к ее животу, всю передернуло бы. Наверно, даже скрыть не сумела бы... Разве это он? Семен – это утренний шепот, это гром в голосе, от которого все приседают, и дневное – «Привет, байлаора!» в телефонной трубке. А этот молчит уже который день... Вечность тишины. Иногда чудится, будто она сама оглохла от горя, утонула в нем, и уши сдавило толщей воды. Доктора даже не обещают звуков... Ни улыбок, ни подмигивания на пороге, будто они сговариваются о чем-то. Кто же тогда вернется к ней? Если вернется...

...Когда совершенно подавленная в очередной раз вышла из палаты, где оставался Семен, лечащий врач перехватил ее в коридоре:

– Интересная штука! Когда к вашему супругу в палату входит дочка, у него отмечается учащенное сердцебиение. Приборы-то фиксируют. И так всю неделю! Он реагирует на ее появление, вы меня понимаете? Вот какая штука...

Лара не поверила:

– Разве это возможно? Он ведь не видит ее! Слышать может, я знаю. Вы говорили, что надо

с ним общаться... Но Соня ведь не кричит с порога, она тихонько заходит. Как же Семен...

— Это науке пока неизвестно, — отозвался доктор фразой из старой комедии. — Кома — состояние малоизученное. Даже почему человек вдруг выходит из нее через год или десять лет, остается загадкой. Можно лишь сказать наверняка, что, к сожалению, чем дольше пациент находится в коматозном состоянии, тем меньше у него шансов вернуться. Я должен был сказать вам об этом. Неделя уже немаленький срок. Вы меня понимаете?

Пытаясь не смотреть на висячую родинку на его подбородке, Лариса внимательно вслушивалась в слова, но нарост оттягивал на себя мысли, заставляя разгадывать, почему врач не может удалить эту гадость со своей физиономии? Глядишь, лицом стала бы... Не доверяет коллегам? Или же просто не замечает отвратительного нароста? И все его предостережения насчет бесполезности ожидания, проскальзывали мимо сознания, особенно не задевая, потому что Лариса знала главное: если никто не ждет человека, ему незачем возвращаться.

Она ждала. Ей было до тошноты плохо без него. Раньше и предположить не могла, какво будет... Ведь не раз допускала мысли об освобождении от мужа, и представлялось, что радость в душе будет пузыриться, как шампанское. Тянулась к этой легкости всеми мыслями, а в результате увязла в патоке: вроде, и не горчит, а тошно.

Уходить из больницы становилось все труднее, хотя и переступить порог утром было не легче. Ничего не менялось. Можно было гладить холодные руки мужа, пытаться оживить, прижиматься к плечу, и все же не удавалось коснуться души. Лариса вновь уносила в себе пустоту, набрякшую осознанием безнадежности, но отказывалась поддаться ей, ведь это значило бы, что она отреклась от Семена. И тем самым перекрыла ему путь назад. Свое малодушие виделось черной тенью наискосок перерезавшей солнечную дорожку. Не дитя ли света расстелило ее?

— Вы надеетесь, что я дам согласие отключить дыхательный аппарат? — спросила она напрямик, ненавидя в этот миг типа с бородавкой,

пленившей взгляд. — Черта с два! У него ведь не запредельная кома, вы сами говорили.

Резкость не смутила его, будто даже позабавила. Его рыбий рот оживился улыбкой, хотя заговорил он серьезно:

— Мы снизили внутричерепное давление, провели интубацию трахеи, обеспечиваем вентиляцию легких, устранили артериальную гипотонию... У него в наличии эпидуральная гематома, небольшое кровоизлияние в мозг. А для нас главное — не допустить гибель мозга. Вы меня понимаете? Тогда все остальное теряет смысл.

— Он превратится в растение?

Настойчиво сжав локоть, чего Лариса терпеть не могла, доктор повел ее к выходу. Она оглянулась на дверь в палату мужа: «До завтра, мой милый!» Ей все еще не верилось, что муж перестал улавливать ее мысли, как было всегда. И трудно было сосредоточиться на словах врача...

— Принято говорить так, хотя это не совсем верное сравнение. В случае гибели мозга у человека жизнь прекращается даже с юридической точки зрения, не только с медицинской.

Стиснув ремень сумки, Лариса взглянула исподлобья:

— Но этого же еще не произошло?

Он протяжно вздохнул, вызвав в ней острое желание ударить:

— Нет. Однако в нашей клинике мы не можем обеспечить длительное интенсивное лечение. Ему необходима этиологическая и патогенетическая терапия. Вы меня понимаете?

Она подумала с раздражением: «Зачем он все время об этом спрашивает? Я похожа на идиотку? Хотя я действительно не понимаю, о чем он...»

— И куда же нам? В Склиф?

— Зачем в Склиф? Вас туда и не примут, это не их случай. Нужно искать частную клинику. Есть небольшие, прекрасно оборудованные заведения. В некоторых клиниках для коматозных больных уже проводят транскраниальную магнитную стимуляцию. Но у нас, увы, нет необходимой аппаратуры!

— А у меня нет... — Лариса запнулась. — Дело в том, что сейчас...

– Продайте квартиру, – с легкостью посоветовал врач.

– Квартиру?!

– Поменяйте на меньшую. Если, конечно, вам действительно так важна жизнь вашего мужа. Кстати, кома часто влечет с собой изменение личности. Он может вернуться к вам другим человеком.

– Умственно отсталым?

– Не обязательно. Это в худшем случае. Но проблемы психологического плана возникнут наверняка.

«Он не умеет по-человечески говорить?!» – раздражилась она.

– Что за проблемы? Он будет на всех бросаться? Или пускать слюни в углу? Что?

– Я-то откуда знаю? – рассвирепел врач. – Что я вам – пророк? У всех это по-разному проявляется. Сами увидите!

Не простившись, он свернул в подвернувшуюся палату. «Достала!» – он этого не произнес, Лариса ухватила мысль. Внутренне усмехнулась с горечью, но губы не дрогнули. Снова вернулась к Семену, тихонько приблизилась к постели, присела на корточках, положив согнутый локоть на стул. Так его лицо совсем рядом... Как в постели, где они просыпались вместе много лет.

– Ты должен быть со мной!

Произнесла это сурово, надеясь, что напоминание о долге сделает свое дело. Семен всегда был человеком чести, мужчиной, а она все эти дни сюсюкала с ним, как с младенцем. Может, потому он до сих пор и не услышал ее...

– Меня нельзя бросать с детьми одну. Я не вытяну! Ты обязан быть рядом!

Несколько секунд Лариса жадно всматривалась в лицо, ни одной жилкой не выдавшее готовности вернуться. Хоть малейшее смятение бы заметить... Потом с трудом поднялась – колени предательски хрустнули, заныли. С чего бы? Старость пугнула? Впрочем, ноги побаливали и раньше, иногда – всерьез. Нагрузка-то какая!

...Больничный сад закружил карнавальными кленами, пришлось даже за ствол уцепиться, чтобы устоять против лихого натиска осени. Когда успела так раскраснеться? Лариса выбрала

самые яркие, собрала для Сонечки букет, чтобы дома прогладить его утюгом, и в глиняной вазе водрузить на подоконник. Солнце с утра вспыхивает в сухих листьях, множится радостью.

«Я должна удержать ее в нашем доме, – Лариса всматривалась в рыжие прожилки так внимательно, будто пыталась прочесть подсказку – как? – Ребенок не должен расти в унынии. Будет потом ненавидеть весь свет и меня больше всех за то, что лишила ее детство солнца».

Представить, как Сонечка ненавидит кого-то, не удавалось. Дитя света. Она с раздражением отмахнулась от этих слов: а другие – какие? Все дети несут в себе свет. В Игоре его, что ли, не было? Глаза сверкали, как две звездочки. Так любила целовать их, заставляя на миг погаснуть и вспыхнуть снова. Малыш мой... Все, связанное с сыном, было острым, болезненным, даже радость. Все через край, взхлеб. Ему казалось, жизнь такой и должна быть, иначе – скучно. Как тиха и светла жизнь истинная, человек понимает, когда ее остается пригоршня... И струится последнее между пальцами, заставляя душу ссыхаться от стыда за себя: не так прожил, не на то растратился.

Ее мысли опять потянулись к мужу: «Что чувствуешь ты сейчас? Разочарование? Умиротворение? Хоть бы так. Если не суждено вернуться, хочу, чтобы ты ушел туда налегке: ничего не гнетет душу, не давят сердце несбывшиеся желания... Ты хотел дочку. Она вышла – лучше не придумаешь!»

Быстро промокнула щеки бумажным платочком, отвернулась от спешившей к больничному порогу семьи: светловолосая женщина с заострившимися от страха чертами держала за руки двоих мальчиков лет десяти-двенадцати. Похожие, перекошенные лица... Один из сыновей нервно шмыгал, вытираясь манжетой куртки, но мать не замечала этого. Она не отрывала глаз от крыльца, к которому они почти бежали, однако взгляд ее был устремлен в себя. Ларисе было не трудно представить, что пытается разглядеть женщина: достанет ли в ней силы справиться одной с этой жизнью?

– Я должна искать вторую работу, – прошептала Лариса, глядя ей вслед. – Нельзя сидеть и

ждать... Чтобы его вытянуть, нужны деньги. Огромные!

Купив в первом же ларьке газету с объявлениями о вакансиях, она свернула в незнакомый двор и присела на скамью. Не хотелось, чтобы дети стали свидетелями ее поисков. Им могло показаться, будто мать отчаялась дождаться папиного возвращения.

Взгляд цеплялся за числа покрупнее. Сердце радостно екало, но потом прочитывалось, какая работа предлагается... «Я же ни черта не умею! – поняла Лариса только сейчас. – Байлаора – это разве специальность? Кого нынче интересуют чувства? Вон одни менеджеры требуются... Планета менеджеров».

Мгновенно представилась гигантская площадь, заполненная расторопными мальчиками в белых рубашечках и девочками на шпильках. Каждый держал в руке трубку, и они говорили, говорили, впаривая невидимым клиентам товары, услуги, отдых... Лариса остановилась на последнем: почему бы нет? Как турист, она узнала многие страны, язык подвешен, чем не менеджер туристической компании? И тут же подвернулось заманчивое – «от 40 тыс. руб.». Не в Королёве, конечно, это было бы слишком хорошо, но и до ВВЦ недалеко, каких-то полчаса на автобусе, если нет «пробок». Цветущее место вечного праздника. Там будет приятно работать.

Большой палец уже набирал номер – знал свое дело.

– Сколько вам лет? – спросили ее первым делом.

– Сорок четыре, – выдавила через силу.

Внутри все начало медленно скручиваться жгутом. Сейчас назовут старухой, работодатели уверены, что после тридцати пяти женщина уже рассыпается в труху. На что она годна? Семен рассказывал, как его другу, их ровеснику, который пытался устроиться всего лишь водителем, отказали именно по этой причине: «Нам нужен человек, который мог бы и с клиентом поговорить!» Тот опешил: «А после сорока уже шамкают, что ли?!» Ему не ответили, повесили трубку.

Но Лариса неожиданно услышала:

– Очень хорошо! Это как раз тот возраст, который нам нужен. Можете подъехать прямо сейчас? Записывайте!

В полном смятении села в автобус до ВДНХ, как все по старинке именовали выставку. То, что свободным оказалось лишь одно место, точно для нее приготовленное, показалось добрым знаком: значит, судьба! Устроившись рядом с полной пожилой женщиной, занимавшей полтора сиденья, Лариса опять достала газету, но больше ничего подходящего не обнаружила. Слишком уж далека была ее жизнь от того, чем предлагалось заниматься...

Она убрала газету и закрыла глаза, пытаясь привыкнуть к этой другой, непонятной ей жизни. Пять лет назад самым глобальным потрясением их личной планеты казалось рождение Сонечки... И больше ничего не должно было случиться. Сын, конечно, не давал заскучать, то и дело устраивал маленькие землетрясения, но даже это вполне вписывалось в границы их мира. А происходившее сейчас было за гранью...

«Не думать об этом!»

Как всегда притянула на помощь дочку, мыслями о ней спасалась от любых неприятностей, сразу становившихся шелухой под ногами. Улыбнулась, припомнив, как накануне перед сном Сонечка, раскрыв большую книгу английских сказок, сочиняла, разглядывая картинки:

– Жили-были король с королевой. И у них не было детей. Только сын. И... еще один сын.

Игорь корчился от смеха, подслушивая в коридоре. Грозя ему кулаком, Лариса и сама едва удержалась: такая забавная! Ножки по обыкновению скрестила, струи волос по плечам, в газельих глазах – вдохновение. Сочинять может бесконечно... Что это? Дар Божий или обычная детская талантливость, которая теряется вместе с молочными зубами? Мышке за печку... За газовую плиту. Игорь маленьким очень переживал: вдруг там мышки не водятся и коренные зубы не вырастут? Выросли, да еще какие! Уже искусал в кровь, волчонок... Сердце останавливается от боли.

От Сонечки пока сплошная радость. И гордость переполняет, когда ее девочка поражает даже посторонних, как было в театре на Таганке, куда их пустили с опаской: сможет ли маленький ребенок вы сидеть три часа? Не просто вы сиде-

ла – оторваться не могла от действия «Доброго человека из Сезуана», шепотом комментировала так точно, что старушка соседка едва не плакала от умиления. Все леденцы Сонечке скормила... Можно было побаловать себя конфеткой, ведь сидели не в партере, на самой верхотуре, ведь ходили по контрамаркам, оставленным знаковой актрисой, выбирать не пришлось.

– А мне можно туда? – глаза у Сони сверкали шальным огнем.

– Куда? – испугалась Лариса.

– На сцену! Ты же мне разрешала...

– Так то у меня в клубе. Здесь нельзя.

Помолчав, дочка проговорила убежденно:

– А мне разрешат. Я стану артисткой, и тоже буду играть на этой сцене.

– Может, и будешь, – отозвалась Лара с сомнением.

И добавила про себя: «Если папа и тебя не запихает в «серьезный» вуз...»

Случались, конечно, моменты и не слишком приятные, хотя тоже были связаны с дочкой. Прогулки на детских площадках вместе с двадцатилетними мамашами были еще тем испытанием... Одна напрямик спросила по простоте душевной:

– Вы ее бабушка или няня?

– Мама я, – отрезала Лариса.

И зачем-то сообщила, что старший сын – уже почти их ровесник. Будто оправдывалась в чем-то... А потом долго ругала себя: чего смутилась? Гордиться надо таким достижением. Сумеют ли эти перешептывающиеся за ее спиной девочки родить к сорока годам?

Наедине с мужем сама порой ужасалась:

– С ума сойти – мне будет под шестьдесят, когда Соня школу закончит! А ты уже на пенсию выйдешь...

Теперь молилась: хоть бы он дожил до этой самой пенсии...

...Вокруг зашевелились, заставив вернуться в день сегодняшний. Лариса огляделась, как спросонья: уже ВВЦ? Заторопилась, охотно втягиваясь в общий ритм. Она любила Москву за ощущение вечной юности – порыв, устремленность вперед, только вперед! Никого не заме-

чающая юность, летящая мимо, интересующаяся только собой. Так хороша! Кого удостоить взглядом?

Возвращаясь в Королёв, окуналась в зелень умиротворения, шаг замедлялся сам собой, и Лара уже улыбалась прохожим, на лицах которых не было московской сосредоточенности. Столица – для работы, для молодых, без устали карабкающихся вверх. Наукоград – для жизни, свободной от спешки. Город детей и стариков. К восторгу первых улицы Королёва заселили зеленые скульптуры диких животных: отдыхающий лев с шелковистой гривой, величавый дракон, птица, рвущаяся ввысь. Сонечка только успевала перебегать от одного зверя к другому – со всеми нужно поздороваться погладить по хоботу, по ушам...

А потом подсесть к одинокому старичку с томиком Тютчева в руках, послушать стихи. Притихнув, Лариса замирала поодаль, терпеливо ждала свою девочку – ведь слушает! И, кажется, понимает... Даже то, что общение не следует затягивать, пора оставить человека наедине со своими мыслями, с тем покоем, который он заслужил. На бегу не сосредоточишься, не взглянешь в себя, не услышишь даже свои мысли, не говоря уж о чужих... Королёв – город пеших прогулок. Но если не занят наукой, работы там не найдешь. Разве что пиццу развезить или на рынке торговать...

Лара любила свой город, не пытаясь объяснить за что. Как родного человека. Сердце сжималось от нежности, когда просто бродила по улицам, не таким древним, как в Москве, но были свои истории и легенды – Цветаева, Дурылин, Куваев... И все же не этим голосами из прошлого Королёв так цеплял за душу. Город тихой интеллигентности, ученых в беретиках, песен под гитару... Цитадель шестидесятников, не стремившихся к столичной публичности, живших чем-то более значительным, настоящим.

И собственное детство среди них то и дело проскальзывало прозрачной бабочкой, трепетало перед глазами, рассыпая солнечную пыльцу, и в каждой крупинке была жизнь. Ослепительно сверкают велосипедные спицы: почти всем

классом они мчатся через Лосиный остров купаться на Торфянку... Высоцкий выступает в Костино – попали чудом! Беготня на Канале, где по выходным собирается полгорода посидеть на травке, потрепаться, дать волю собакам с интеллигентными мордами... Как в маленьком городе удалось сохранить простор травяного раздолья, пологих склонов, березового света?!

Когда здесь построили белостенную часовню, Лара стала заходить к образам чаще. То за одного свечку поставить, то за другого... За сына чаще, чем за других... Пока ждала рождения дочери, носила купленное в часовне простое кольцо, которое должно было помочь в родах. И родила себе солнце! Маленькой Сонечка была золотисто-рыжей, как Семен, бегала на четвереньках со скоростью бешеного таракана. Сейчас волосы, как темная рожь, и словно от этого в ней возникла трогательная задумчивость. Хотя может и носиться по квартире с индейскими воплями:

– Я – Покахонтас!

– Она была принцессой, – пыталась усмирить ее Лара.

– Но индейской же принцессой!

Голубиное перо, подобранное во дворе, – в волосы, штрихи помады – на щеки.

– Где ты взяла помаду?! Не смей шарить в моей сумке!

– Мамочка, я не шарила! Она сама выкатилась. В жизни многое само случается, мы тут ни при чем.

После таких перлов Лара ненадолго впадало в прострацию, торопилась записать в тетрадку дневника, который начала вести еще до Сонинного рождения, на этот раз опередив Семена. Уже знала, что родится девочка, но имени у нее не было, и в записях осталось: «Моя малышка... моя детка...»

И потому обижали и ранили необъяснимые Сонины подозрения, которые она обрушивала на голову матери с самого утра:

– Ты меня любишь? Нет, ты меня не любишь! Ты моя мама? А я – твоя доченька? А папа мой? Нет, ты не моя мама! Ты меня любишь?

– Сонька, прекрати эту мыльную оперу! – орала Лариса. – Люблю я тебя, люблю! Ты – моя

доченька! Только не начинай сначала, я тебя умоляю!

После минутной паузы доносилось жалобное: – А ты меня любишь?

Гений злодейство не оправдывает, твердим мы следом за Пушкиным. А любовь? Простится ли мне то, что сделано во имя любви? И не только к своей душе, дорожке которой для меня только одно существо в мире... Но и ко всем будущим людям, которых впущу в свою жизнь, только если она будет залита радостью. В несчастье мне не нужен никто.

Он один заслоняет собой всех этих чудесных женщин и мужчин, способных стать мне друзьями. Неужели я не вправе убрать эту помеху с их пути ко мне? Грех это или подвиг во имя...? Кто вправе судить, не зная меня, даже не догадываясь, чем полна моя душа? Среди людей я отдаю это право только одному человеку. Себе.

– Вы на собеседование? К кому? – охранник смотрел на нее испытующе, точно Лариса могла быть засланный казачком.

«Лицо – блин не пропеченный, – отметила она, пытаясь запомнить его. – В жизни не узнаешь, если в другом месте встретишь. А мое запоминается?» Вскользь глянула на себя со стороны: глаза уже не такие большие, как в юности, когда все так и ахали, встретившись взглядом. Сузились от пристального всматривания в жизнь, но черный огонь еще нет-нет, да и вспыхнет... Верхние веки подводят, выдают усталость и возраст, хорошо бы подтянуть, вот только сейчас не до этого... Нос крупноват, мягко вылеплен, ей самой не по вкусу. Губами пока довольна, даже подкрашивать не приходится, яркость не стерлась годами.

Улыбнулась, но коротко, по-деловому:

– Я к Кире Анатольевне Кабалевской. Мы договаривались.

Она старалась говорить уверенно, будто ей было не привыкать проходить собеседования.

Хотя в ее пользу это говорит, или наоборот, можно было поспорить.

– Идите за мной.

Стараясь держать спину, как на сцене, Лариса прошла следом за охранником в большой зал, многолюдностью и неуютом напомнивший студенческую столовку с несметным количеством пластиковых столов и стульев.

«Улей какой-то, – оторопело озиравлась она. – Муравейник... Как тут можно работать?»

Охранник что-то шепнул маленькой немолодой женщине в фиалковом брючном костюме. Та вскочила с места, стремглав бросилась навстречу, пробормотала приветствие.

– Как звать? Сюда, Ларочка. За мной!

Схватила за руку, подтащила к одному из столиков, за которым сидел безликий мужичок с плохими зубами – улыбнулся во весь рот, отчего захотелось зажмуриться.

– Побеседуйте с Ларочкой, – бросила Кира Анатольевна и метнулась к своему месту в уголке.

Тотчас возник бланк, одним своим видом нагнавший тоску. Писать в анкетах о том, что она – байлаора, танцовщица фламенко, было равносильно признанию в скрытом пороке. Известно как-то, кругом серьезные люди... Обычно Лариса прикрывалась записью в дипломе: хореограф.

Безликий отреагировал мычанием, заставил ее подумать с ненавистью: «Видел бы ты меня на сцене, по-другому запел бы!» А он уже, отводя глаза, зашелестел об их компании, в которой (если крупно повезет!) Лариса будет делать карьеру.

«Мне бы денег! – едва не вырвалось у нее. – Ваша карьера интересует меня меньше всего... Уж никак не в туризме я мечтала дотянуться до звезд».

– Для начала вам нужно будет прослушать установочный курс из трех лекций. Первая уже сегодня. Лекции платные.

– И сколько? – насторожилась Лариса.

Он гнило улыбнулся, опять заставив отпрянуть:

– Всего пятьсот рублей. Сами понимаете, компания не может обучать всех за свой счет, пото-

му что после курса лекций многие понимают: эта работа им не по зубам.

«А тебе, значит, по зубам!» – ухмыльнулась она про себя. Неблагодарно было посмеиваться над бедой человека, но Ларису почему-то в дрожь бросало от этого типа. Скользкий какой-то, так и кажется, что обжуливает. Путевку у такого не купила бы точно...

Это ощущение – что ее пытаются заманить в ловушку – только усилилось, когда проворная Кира Анатольевна, буквально схватив за руку, потащила Лару к уже знакомому, но так и не запомнившемуся, охраннику, одновременно выполнявшему функции кассира.

– Сейчас оплатите лекции, – доверительной скороговоркой бормотала Кабалева в районе ее плеча. – В три часа придете с толстой тетрадью. И папку принесите, вот такую, в дальнейшем она вам понадобится.

Необъяснимо, но разговор о папке успокоил: значит, дальнейшее подразумевается. А-то ведь могут взять пятьсот рублей и – до свиданья! В суд из-за такой суммы не побежишь. Хотя если подсчитать, сколько таких претендентов за день... Приличный куш набирается!

Протянув купюру, она оглянулась на неуютный зал, забитый людьми. По напряженным лицам было заметно, что все они боятся взглянуть удачу.

Она понизила голос:

– В объявлении сказано, что зарплата от сорока тысяч... Это реально?

– А что вас смущает? Разве это много для Москвы?

– Москва – она разная...

– Москва такая, какой мы сами ее делаем.

Прозвучало жестковато, но не согласиться было трудно. А Кира Анатольевна уже собиралась упорхнуть, сунув ей чек и розовую карточку:

– Это ваш пропуск. На лекцию без опозданий! Все, Ларочка, все.

Даже в спину подтолкнула маленькой, твердой ладошкой. На пороге Лара оглянулась на человеческий рой: «Тоска... Какая тоска! Не хочу!» Но выбора не было. Как и денег.

Слегка ошалевшая от очередного крутого виража, Лариса выбралась на воздух, ароматами зазывающий пройтись по выставке, полюбоваться клумбами, которые менялись с частотой времен года. И захотелось, забыв обо всем, покружить хоть немного над последними цветами, хотя нужно было сгонять в больницу, где ее ждал Семен. Правда, может, и не ждал. Помнил ли муж хотя бы ее имя? Или свое... Промелькивала ли она в его смутных видениях?

«Он помнит Сонечку, – в этом не усомнилась. – Надо же – пульс чаще становится, когда она входит в палату! Как он ее угадывает? Чем? Сердце продолжает свою жизнь?»

– Я ведь не успеваю, – воскликнула она вслух, только взглянув на часы.

До лекции оставалось чуть больше двух часов. Смысла ехать в больницу на какие-то полчаса, не было. От этой мысли Лариса съежилась, как от холодных брызг, попавших за шиворот: почему никогда не бежала к Семену, как в школьные годы к Лешке? Подворачивая ноги на каблучках, лишь бы увидеться в перерыве между его лекциями... Ее школа была в Королёве, Лешка учился в Москве. С разных сторон света мчались к метро, скакали по эскалаторам, приплясывали от нетерпения в вагоне, чтобы в центре зала на Тургеневской броситься друг к другу, прижаться и затихнуть: вот оно, родное... На все про все минут десять, даже на поверхность не выбирались. Эти свидания называли «подземными». Едва слышали от грохота, губами считывали слова, сами оживляли горячей влагой рта, с наслаждением сглатывали – по гортани скользило нечто сладкое...

«Почему меня никогда так не пронизывали насквозь, не нащипливали поцелуи других? И с Семеном ничего похожего не было... Никакого смятения, неясности, зыбкости – я сразу знала, что выйду за него замуж, иначе – холод одиночества. Он просто заменил мне родителей, стал своим человеком... Что тут может пронизать? Больше брат, чем муж. Спина, как стена... Но ведь родной же! Почему же кажется бессмысленным ехать сорок минут, чтобы только увидеть его?!»

Жалкими лохмотьями натягивала оправдания: «Он ведь и не узнает, приходила я или нет... Когда я с ним, его пульс не меняется. Не так уж и нужна». Но все это самой казалось подлым и недостойным того, что стало всей ее жизнью...

– Не ходите туда больше.

Лариса вздрогнула всем телом, крутнулась волчком. Возникшее перед ней лицо, вроде, было знакомо, но не сразу вспомнила: кажется, видела где-то...

– Не узнаете? Я привезла вас с дачи. Лена. Приветствую!

Шутовски раскланялась, обмела носки туфель несуществующей шляпой. На миг Ларисе стало весело. Сделала книксен – уж это она умела!

– Ну, конечно! Я не забыла. Как странно – опять встретились...

Выждала, с одобрением разглядывая: сегодня Лена вся в джинсовом, голубая, а запомнилась темной. Так моложе кажется. Или просто день светлее? «Неужели я начинаю привыкать к тому, что Семен не с нами?» – взгляд скользнул по прозрачным перьям облаков, наискосок перечеркнутым самолетной бороздкой. Этим летом им не удалось никуда слетать, а теперь – когда доведется? Какие сейчас полеты – с голоду не умереть бы!

Она ожидала объяснений, которые, как Ларе казалось, подразумевались. Но Лена выстраивала разговор по-своему:

– Не стоит вам больше ходить туда. В эту туристическую компанию.

– А откуда вы знаете, где я была?

– Это ведь жулики. Типичный лохотрон.

Ларины мысли сразу метнулись в другом направлении:

– Вы о них что-то знаете?

– Они выдвинут условие: сначала покупаете клубную путевку за пятнадцать тысяч, потом они берут вас на работу.

– У меня нет пятнадцати тысяч, – сникла Лариса. – Все, что было уже ушло на больницу...

– И вас не выпустят к клиентам. Вы будете агитировать тех, кто ищет работу. Это банальная пирамида. Продажа клубных путевок. Вам пред-

ложат продать свою, чтобы на этом подзаработать, но ее никто не купит.

– Как вы-то узнали все это?!

Лена усмехнулась, но в неожиданном выражении робости, возникшем на ее не слишком удачно слепленном лице, проступило нечто, трогательное настолько, что Лариса сразу поверила услышанному. Почему губы мелко подрагивают, как от холода? Будто вот-вот заплачет...

– Я сама в том году влипла в эту ерунду. Еле выбралась. Но денег уже не вернула.

– Так и путевки были липовыми?

– Нет, настоящими. Только мне не на что было поехать за границу. Так они и пропали. Теперь иногда захожу сюда, людей останавливаю, чтоб не попадались. Смотрю – вы!

– Хорошо, что предупредили меня, – внезапно пришло облегчение: не придется браться не за свое дело.

И тут же вспомнила, что денег от этого больше не станет. Ей по-прежнему нужна была работа...

У Лены вдруг вспыхнули глаза:

– А сейчас у меня появились деньги! Кое-какую недвижимость продала...

– Ого!

– Наследство.

– А-а, извините...

– Хотите, одолжу вам?

Лариса вздохнула:

– Но мне ведь много нужно...

– На лечение мужа? Вам хватит. Можно даже не возвращать.

От растерянности Лара перекинула сумку с одного плеча на другое. Она всегда пыталась спрятаться за своей большой сумкой, если переставала понимать, как себя вести. Семен смеялся над этим «рюкзаком», потому что Лариса по полчаса искала в нем каждую вещь.

– То есть как это? Я верну. А почему... Вы бы как раз и съездили по этим путевкам!

– Да я их уже выкинула. Еще с год назад...

– Эта пирамида так долго держится?

– Долго? Про них еще лет семь назад в Сети предупреждали! В разделе «Осторожно – мошенники!» Это я потом обнаружила, когда поздно было.

– И никто их... С ума сойти...

– Я на машине, – Лена махнула рукой в сторону северного выхода. – Давайте отвезу вас в домой. Или в больницу – как скажете! И деньги по дороге снимем.

Лара смешалась:

– Как у вас все быстро решается!

– Жизнь коротка! Еще и поэтому вам не нужно растрчивать себя на всякую ерунду.

Уже сделав машинально несколько шагов, Лариса остановилась.

– Почему вы это сказали? Вам обо мне что-то известно?

Лена медленно обернулась и снова улыбнулась так застенчиво, что невозможно было не поверить:

– Я видела... Ваше фламенко видела.

– А что ж сразу не сказали? – сердито отозвалась Лариса, еще пытаясь сопротивляться нарастающему желанию довериться этому новому в ее жизни человеку.

– Когда? Момента не было. Мы же познакомились, когда ваш муж... пострадал.

– Я помню!

«Неужели можно заподозрить меня в том, что я хоть на миг забуду?!»

А ведь забыла... Одну секунду, но думала же только о сцене. Всем нутром почувствовала оцепенение зрителей в зале. Пусть в маленьком зале, но ведь сила восхищения не всегда пропорциональна количеству зрителей... На ее выступления приходили одни и те же люди, почти семьей стали за эти годы, хотя Лара помнила далеко не всех... И не надоедало же им! Когда трехлетнюю Сонечку впервые решились привести на шоу-фламенко, где солировала Лариса, надеялись, что ребенок выдержит минут пятнадцать, ну, максимум – полчаса. А девочка, не отрываясь, смотрела на сцену все два с лишним, и только взволнованно теребила отца, когда танцоры убегали переодеваться: «А еще будет? Они еще выйдут?» Магия...

– Извините, я сегодня сама не своя, – Лара опомнилась, что не на ту направила злость. Получается ведь – не чужая, из их клубного семейства.

И хоть смотрела Лена исподлобья, но это был взгляд не волка, а боязливого ребенка:

– Я хочу вам только добра. Вы так талантливы... Мне хочется помочь! Я сделаю все, что скажете.

– Почему? – не удержалась Лариса. – Зачем вам это?

Дернулись сильные плечи:

– Сама не знаю. Мне ведь не о ком заботиться...

– Ни ребенка, ни котенка? – брякнула, смущенная ее взглядом, и лишь секунду спустя осознала, как бестактны эти слова.

Попыталась собраться: «Что-то я туплю сегодня...» Так сказал бы сын, она сама подобных слов не произносила, а сейчас вот пришло на ум, и это тоже показалось ненормальным.

– Сестренка имеется. Но она уже большая девочка, без меня обходится. Мы почти и не видимся... Рыбки есть! Но вы ж понимаете... – Лена махнула рукой. – А вы больше всех достойны помощи!

– Ой, не пугайте! – Лариса ощутила, как эти слова разлились по сердцу приятным теплом, обволокли.

Никогда она не считала, что поддерживать нужно лишь убогих. Разве человек, принимая помощь, благодетелю в свою очередь не помогает подняться на ступеньку выше, вырасти над собой? И еще неизвестно, чей дар окажется весомее в глазах Бога.

Поклонники и раньше приходили ей на выручку, больше, правда, так – по мелочам. А вот сейчас никого из них почему-то не оказалось рядом. То ли стареть начала, не тот интерес вызывала...

– Вы не бойтесь, – попросила Лена. – Я ни за что не причиню вам вреда. Правда.

«Одинокая, несчастная баба... Хочет помочь. Вроде, искренне. Почему бы не воспользоваться?» – было неприятно сознаваться себе, что хоть наспех просчитывает. Но по-другому уже не получалось. Это в юности бросалась в отношения с людьми, очертя голову... Сколько раз потом бежала в ужасе, отплевываясь на ходу! Не наступать же снова на грабли, которые все в лоб да в лоб.

– Я вам верю, – отмерила Лариса по слову.

И добавила про себя: «Не дай Бог мне обмануться!»

Наше поколение так и не научилось жить не по лжи. Вместе с жиденькой манной кашей нас потчевали недомолвками, намеками, полуправдой и тотальным страхом, не выветрившимся со сталинских времен. Мы не умеем быть честными. Правда пугает нас немедленным наказанием.

А паук требовал честности ото всех, ведь самому просто нечего было скрывать: примитивный мозг не способен на хитрости и уловки. Чтобы пить кровь, много ума не надо, поэтому его жизнь была проста и понятна. И он отказывался понимать людей, устроенных куда сложнее...

В глазах мужа район старой Москвы, где Лариса работала, как-то облагораживал то, чем, по сути, она занималась – увлекала не нашими страстями, заставляла восхищаться чуждой культурой.

– О чем ты говоришь? Да мы с тридцатых годов с испанцами как братья! – возмущалась Лариса. – Твой любимый Харламов был наполовину испанцем. А Лорка? Как можно не любить Лорку?!

– Как можно не любить Пушкина? – парировал Семен.

– Я люблю Пушкина, – отозвалась она не слишком убежденно. – Но Лорка – это что-то... волшебное! Неужели не слышишь?

*Бьется о смуглые плечи
бабочек черная стая.
Белые змеи тумана
след замечают.*

*И небо земное
над млечной землею.*

*Идет она пленницей ритма,
который настичь невозможно,
с тоскою в серебряном сердце,
с кинжалом в серебряных ножнах.*

Он насмешливо подхватил:

*Куда ты несешь, сигирийя,
агонию певчего тела?
Какой ты луне завещала
печаль олеандров и мела?*

*И небо земное
над млечной землею.*

Ликуя, Лариса, как девчонка, захлопала в ладоши:

– Ага! Помнишь! Потому что эти стихи просто входят в тебя... Это магия. Кстати, Лорку называют «испанским Пушкиным». По-моему, зря. Он совсем-совсем другой!

– Они разные, как Россия с Испанией...

И процитировал Тютчева:

*Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!*

*Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.*

*Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.*

– А наши страны разные, как мы с тобой, – заключил Семен в тот раз, огорошив ее.

Но в душе уже откликнулось: «Он прав. Мы не похожи, как солнце и тенистый пруд».

– Что значит – наши? Я вообще-то тоже русская, если помнишь...

– Наше небо слегка остудило твой пыл, байлора... Может, поэтому ты еще не заколола меня своим серебряным кинжалом.

– Там ножны серебряные, а не кинжал. А с чего бы мне убивать тебя? Противоположности как раз и притягиваются, – заметила она неуверенно.

В его рыжеватом собачьем взгляде проступила грусть:

– Но ты ни разу за все эти годы не назвала меня любимым...

– Как ни разу? – опешила Лара.

Жар прихлынул к щекам: «Неужели не называла?!»

– Иногда мне кажется, что если б тебя тогда вытащил из машины кто-то другой, ты и вышла бы за другого. Дело было только в этом?

«А спрашиваешь зачем, если сам догадался? – она сжала зубы, пытаясь подавить злость. – Если вырвешь подтверждение, как жить дальше? Я с тобой. Я верна тебе. Я родила тебе детей. Неужели этого мало?»

Но сейчас, когда Семена не было не то, что рядом, а и в этом мире он оставался сплошной условностью, Лару все время тянуло поежиться – так зябко стало без его большого тела, близость которого казалась такой естественной. Как земля под ногами... Когда провожал или встречал ее с работы (случались такие счастливые дни!), Ларисе нравилось искоса наблюдать, как размашисто муж вышагивает по узким улочкам Китай-города. Исполин! И страна ему как раз в пору, вот только выбраться бы на простор. Но оба любили узкие закоулки, волнующие сердце памятью поколений: прижимали ладони к остатку старой Китайгородской стены за «Метрополем», впитывали тепло, живущее в веках. Семен безошибочно перечислял названия всех двенадцати башен, некогда венчавших эту стену. Почти все разрушено, стерто с лица земли...

– Только такие люди как ты и сохранили исконную Москву, – Лариса благодарно прижималась к его локтю.

Размякнув, он уступал, и Лара уводила его в более европейские районы: от метро направлялись к Солянке, мимо особняка Бардыгиной, обросшего сколотыми вазами по углам крыши, слепыми масками женским лиц, которые хотелось ощупать кончиками пальцев. Пересекали Сухаревскую площадь, впитав денежную зелень доходного дома Миансаровой. Семен оставался порассуждать о неорусском стиле, по существу являвшемся модерном, обращал ее внимание на расположение цветочных полос.

– Если б Родионов пустил их вдоль здания, оно казалось бы куда ниже...

Лариса старалась запомнить, хотя ее взгляд дольше задерживался на цветочной мозаике особняка Рябушинского на Малой Никитской, в его архитектуре ей виделись средиземноморские отголоски. Ее муж морщился:

– Пошлятина! Как это может нравиться?

– Наверное, у меня плохой вкус, – отзывалась она, старательно скрывая обиду. Хотя чаще пропускала подобное мимо ушей. Нельзя же обижаться на человека годами!

Но Семен не унимался:

– Так хоть не выдавай этого!

Примирялись у особняка старообрядческого купца Миндовского на Поварской – очень женственного, на взгляд обоих, округлого и светлого. Не скрывая удовольствия, муж повторял, что Лариса похожа на сестру владельца особняка Ираиду, с которой Крамской написал свою «Неизвестную». И хотя для искусствоведов это оставалось предположением, уверенность Семени укреплялась тем, что ему нравился этот обтекаемый, с упоительными изгибами дом. Только в таком могла жить прекрасная и загадочная женщина.

Они блуждали бы так целыми днями, потому что оба были хорошими ходоками и жаждали впечатлений. Но настоящее время неумолимо возводило баррикады: дальше нет хода, нужно вернуться. Пора забирать дочку из садика, готовить ужин, почитать Сонечке перед сном. Семен упорно обращал ее в пушкинистку, а девочка ерзала, слушая длиннейшую поэму о Руслане и Людмиле. Сказки – это с радостью, а до крупных форм пока не доросла...

– У моей знакомой сын в три года «Медного всадника» цитировал!

– У какой это знакомой? – цеплялась Лариса.

Но Семен легко отделялся от коготка ревности, распалялся:

– А наш ребенок бестолочью растет! Все твоё воспитание! Сына испортила, и дочь собьешь с пути истинного! Зачем ты учишь ее танцевать? Человек душу должен развивать, а не ноги!

– Значит, я, по-твоему, недоразвитый человек?! – вскипала она.

И как ни бывало дневной прогулки, скитаний по времени, веера имен, который он так учтиво разворачивал перед нею. Опять – кухня, ссора, ненависть в глазах обоих...

Теперь в их доме никто не кричал, но Лара запрещала себе радоваться этому. Не по-человечески это... И оказываясь в Китай-городе, каждый раз пыталась представить, что Семен идет рядом, жизнерадостно размахивая руками, шумно дыша. Его бодрило возвращение в прошлое, которое было для него вполне осязаемым, полным знакомых, симпатичных сердцу лиц. Лариса молилась за то, чтобы в своем беспамятстве ее муж плутал по любимым тропкам веков...

На всем современном они сходились, как в битве: знакомые художники заманивали Лару выставками на Винзавод, но ее муж об этом и слышать не хотел.

– Какое искусство может быть на Винзаводе?! С бодуна намалевали?

– Тебя послушать, так люди сейчас и братья не должны за кисть, только потому, что когда-то жили Брюллов и Репин!

Семен начинал тяжело сопеть:

– Какой самонадеянностью нужно обладать, чтобы всерьез считать себя творцом после великих мастеров! Выставки они организуют... Как будто психически здоровый человек может воспринять современную мазию всерьез!

– Наш сын тоже рисует, между прочим!

– Вот как раз об этом я и говорю!

– А то, что делаю я? – цепенела она. – Это, по-твоему, тоже не искусство?

Он трепал ее по щеке:

– Это народное творчество, малыш... Фламенко рождено цыганами, о чем тут говорить?

...Возле служебного входа ее нагнал совладелец их клуба Ванечка Чернышев – человек, созданный для внешней разведки, настолько незапоминающимся было его лицо. Одним из миллиона. Даже проработав с ним больше десятка лет, Лариса не сумела бы составить его фоторобот, если б вдруг потребовалось. Какой у него нос? Какой разрез глаз? Не вспомнить.

А он поразил ее чуть не до слез:

– Ларочка, как ты? Мне рассказали мальчишки, что случилось с твоим мужем... Что ж ты не подошла ко мне? Ну, мать, так не делается! Я же к тебе всей душой... Ты – наша гордость, Ларочка. Так что – выкладывай! Помогу, чем смогу!

– Зарплату мне повысь, – попросила она, подстраховавшись смешком, чтобы все можно было обернуть в шутку, если Ванечка сразу пойдет на попятную. Даже зонтом отгородилась, как Мэри Поппинс.

– Это – без проблем, – неожиданно уверил он. – Давно пора было, но ты же знаешь, какие дела – то кризис, то еще какая лабуда... У моей девочки есть еще пожелания?

Лариса протянула тоненьким голоском:

– Спасибо, Дедушка Мороз! Тебе стишок почитать?

– Лучше бы колыбельную спеть в постельке... Но тебя об этом даже не попрошу – себе дороже. Я тебя знаю...

– Старенький, а из ума не выжил, – заметила она одобрительно.

– Бодрюсь! – хмыкнул Ванечка. – В общем, ты имей в виду: что привезти-увезти, лекарства достать – это только свистни!

«С чего такая нечеловеческая доброта?» – покосилась она, а Чернышев уже ухватил ее мысль.

– Таких женщин, как ты, надо освобождать от всех проблем. Ты же, как птица, Ларочка. Должна лететь навстречу солнцу и сверкать опереньем!

– Так недолго и крылья подпалить...

– Крылья, – повторил он. – Ты правильно сказала. У тебя – крылья. А крылышки – это у бабочек.

Распахнув перед ней дверь, Ванечка на секунду заглянул в глаза:

– Эх, был бы я молодой да красивый... Ничего бы не изменилось, да? Ты – уникум, Ларочка. Сейчас уже никто не хранит верность мужьям. Тем более, в нашем бизнесе. В чем твой секрет?

– В том, что для меня это не бизнес, – пояснила она, складывая зонтик. – Понимаешь? Фламенко не может быть делом. Это судьба. Это вся моя жизнь. Моя любовь...

Он усмехнулся ей вслед:

– Но зарплату я тебе все же прибавлю, звезда моя. Любовь любовью, а обед по расписанию...

«Какой дурак! – Лариса, засмеявшись, обернулась на ходу, послала ему воздушный поцелуй. – Но, к сожалению, он прав... Кроме меня, детей кормить теперь некому».

Она стеснялась разговаривать с мужем вслух, чудилось: кто-то ловит каждое слово, хотя человек, лежавший у другого окна, целые дни стонал так громко, что вряд ли слышал других. Что с ним – Лариса не спрашивала. Страшно было еще и чужую беду навесить на душу, свою бы вынести.

Врач настаивал, чтобы она не сидела возле постели мужа молча:

– Рассказывайте ему обо всем, что случилось за день. Невозможно предугадать, что может стать тем крючком, с помощью которого мы выудим его на поверхность!

«Что выудим – не сомневается, – отметила Лариса. – А я разве сомневаюсь?»

Ее не отпускало ощущение, будто они все застряли в безвременье. Здесь стоят на месте часы и ничего не происходит. Воздвигнув невидимую заперу, кто-то остановил течение их жизни, картинка застыла: Семен в постели, подключенный к розетке, она – возле кровати, от неловкости ладони зажаты коленями. Ее рукам нечего делать, они не могут помочь. Зачем она здесь вообще? Его пульс учащается только, когда приходит Сонечка. Жену он не чувствует.

«Я ревную, что ли? – возмутилась Лариса бесильно. – К дочери? Дурь какая...»

Было идиотизмом обижаться на человека, которого и живым-то можно назвать с натяжкой. И все же то, как сам организм Семена не ее признал главной любовью, ранило всякий раз, когда Лариса приводила дочку. Игорь зашел к отцу только пару раз, ерзал на стуле, изнемогал от бессилия и откровенной карикатурности ситуации. Ему, помешанному на комиксах, картинка их нынешней жизни казалась пародией на вчерашний день. В отце всегда было столько эмо-

ций: хохотал – так во весь голос, орал так, что стены дрожали. Рыжий исполин, извергающий гром и молнии. А тот, кто лежит перед ними... Разве это отец? Даже волосы вылиняли за это время... Его уже нет, разве, кроме сына, этого никто не понимает? На лице Игоря все прочитывалось так откровенно, что Лариса перестала звать сына с собой.

На этот раз и дочку оставила с Леной, о которой все собиралась рассказать мужу. Заговорила вслух, преодолевая неловкость и кося на того – у соседнего окна:

– Мне сейчас помогает та женщина, с которой ты познакомился на даче, помнишь? Вы гуляли с Сонечкой и разговаривали с Леной. Она похожа на мальчишку. Если бывают такие светлые мальчишки... Она хорошая. Правда. Мотается к нам из Москвы каждый день, пытается чем-то помочь... Просто настроение поднимает! Главное, она заняла нам денег для тебя. Даже не знаю, осталось ли у нее на жизнь...

А вечером не удержалась и спросила:

– Лена, а ты вообще, чем занимаешься? Мы тебя от работы не отрываем?

– Я – таксистка, – призналась та без смущения, собирая по комнате Сонины игрушки. – Водила!

Лара так и села:

– Серьезно?! Ни разу вживую не видела женщину-таксистку! Трудно должно быть?

– Нормально. Зато всегда при деньгах!

– Еще и нам досталось... Чем мы тебе так запали в душу?

Нос – маленьким утиным клювиком – смешно дернулся, весело сморщился:

– А я не говорила? Люблю я вас! Всех троих.

Поддавшись желанию пококетничать, Лариса «сделала глазки», упершись подбородком в переплетенные пальцы:

– И когда ж ты успела нас так полюбить? Вроде, только встретились...

Лена отделалась гримасой:

– Ну, вы такие милашки!

Лариса отвела взгляд: «Почему так трудно верить в искренность человека? Если она – мошенница, так уже убедилась, что у нас нечего воровать. Зачем приезжает вновь и вновь? Ничего не просит, не вынюхивает... Так одинока,

что ухватилась за возможность влиться в чью-то жизнь? Интересно, она была замужем?» Вопрос вертелся на языке, но Ларисе казалось, она и без того уже непростительно глубоко влезла Лене в душу.

– Оставь ты игрушки, Соня сама должна убирать за собой. Пойдем, чайку попьем – нервишки успокоить надо.

Пока они вдвоем чаевничали на кухне (Игорь еще не вернулся – непонятно откуда, а Соня убежала смотреть вечерние мультики), Лена заговорила сама, не отрывая взгляда от розовой чашки с волнистыми, тонкими краями – из бабушкиного сервиза:

– Я была замужем, если это важно. Сбежала всего через месяц... А почему – и не объяснить! Тошнило от всего... От его запаха, от голоса... А жевал так противно – не передать. Как суслик – быстро, мелко. Грызун, а не человек! Выгрыз в душе такую дыру, еле затянулась со временем.

– Ты просто не любила его, – она подумала об Семене. А ведь не замечала никогда, как он жует, как пахнет...

Горькой усмешкой обозначились возрастные полукружья возле краешков губ:

– Не любила. Пыталась обмануть... Себя в первую очередь. И его заодно. Детская затея! Это уже давно было...

– А с тех пор? Неужели никого?

Маленький рот, лишенный краски, дрогнул, взгляд нырнул в чайную каплю на дне:

– Есть один человек...

– Его ты любишь? – об этом почему-то спросилось шепотом.

Лена подняла глаза:

– Люблю. Но я не думаю, что этому человеку до меня есть хоть какое-то дело.

– Вы хотя бы знакомы?

Ей вдруг показалось, будто речь идет об иллюзорной любви, скорее, юношеской, когда взгляд с экрана всерьез рвет сердце. Она сама в пятнадцать, еще до Лешки, была влюблена в Дидье Маруани – основателя группы «Спасе». Снимки его вырезала из журналов и выкладывала под оргстеклом на письменном столе. Но Лене ведь не пятнадцать... И даже не тридцать.

– Знакомы, – опровергла она. – Но это ничего не меняет.

– У него семья? – догадалась Лариса.

– Семья имеется. Но даже не это самое главное.

– Что же? Что?

Между Лениными бровями резко прорезалась складка.

– Я не могу об этом. Давай не будем...

– Как хочешь, – сдалась Лариса. – Я так понимаю, что ты и ему до сих пор ничего не сказала?

Устремленный на нее серый взгляд на этот раз задержался надолго, точно Лена задумалась и забыла, что нужно ответить. Потом разжала губы:

– А зачем?

– Зачем? А если у него в душе тоже что-то такое возникло? Может, он готов ответить тебе! А ты тянешь время...

– Нет. Этого не может быть.

– Да почему ж ты так не уверена в себе?!

И заметила, как задрожала Ленина рука, когда она машинально пригладила выше уха стриженные волосы.

– Я... Я не могу этого объяснить.

– Ты считаешь себя некрасивой? – это тоже шепотом – такая тайна слишком велика.

– Дело не в этом... Хотя и это тоже. Но красота ведь еще не гарантия любви, правда? У меня в такси такие, случалось, роскошные бабы рыдали...

«Она права. Мне просто повезло. Со мной случилось все самое лучшее!» – это простое открытие внезапно потрясло Ларису, как Алису, очнувшуюся ото сна. И остро защипало в носу: «Потеряно. Все потеряно! Господи, как же я мало ценила его! Никто не любил меня так, как он... Когда машинка сломалась, он сам все белье стирал, не позволил мне руки портить. В таком и проявляется любовь...»

Торопливой дробью отозвались босые ножки – Сонечка уже бежала к ней из комнаты, будто почувствовала, что нужна как никогда. Не притормозив, прыгнула на колени, стиснула шею и горячо, нежно задышала в ухо:

– Мамочка, я тебя так люблю.

Лариса растроганно залепетала в ответ, целуя яблочную кожу дочери:

– Радость моя, ненаглядная моя...

Сквозь ресницы взглянула на Лену: не ранит ли чужая любовь. Но та глядела на них, чуть наклонив вбок голову и улыбаясь, как собака смотрит на хозяев. Ларе даже не по себе стало: «Откуда столько человечности? Ведь обидно должно быть, что ей никто не шепчет таких слов...»

Улыбнулась новой подруге:

– Переночуешь у нас? Уже поздно.

Что-то разом изменилось в лице Лены, точно обидели как раз эти, совершенно невинные слова. Она вскочила, едва не опрокинув стул.

– Я... поеду домой. Спасибо.

– За что? – рассмеялась Лариса.

– За чай. За предложение.

– Чего ты так испугалась? Игорь не станет к тебе приставать! Если вообще вернется домой...

Но та уже спешила к порогу, словно Золушка, перепуганная приближением полуночи. Лариса хотела подняться, чтобы проводить, но Сонечка неожиданно удержала, опять зашептала на ухо:

– Мамочка, пусть она идет. Нам и так хорошо, правда?

Она прижилась губами к выпуклому лобику:

– Конечно.

– Тебе ведь, кроме нас, никто не нужен?

– Нет, детка. Никто. Только вы и папа.

Обрадовавшись, девочка подскочила у нее на коленях, победно затрясла кулачками:

– Я так и знала!

– Никогда даже не сомневайся в этом.

Прижавшись, Соня умиротворенно затихла у матери на груди. Пухлые ножки перекинула через ее локоть, свесила, скрестив и покачивая. Ступни за это лето чуть вытянулись, стали уже девичьими, узкими. А округлые коленки просили поцелуя... Младенческого оставалось все меньше. Скоро оторвется, как Игорь, полетит по ветру...

Прислушавшись к биению в груди матери, Соня уверенно прошептала:

– А брат сегодня придет, не бойся.

Лариса заглянула в сладко прищуренные глазки:

– Откуда знаешь?

Захихикала, завозилась, заставляя замирать от нежности, втягивать нежное дыхание. Хо-

телось сидеть так, слившись с ребенком, и не шевелиться. Хоть до утра! Но медлить дольше показалось неудобным, и Лара встала с дочкой на руках:

– Пойдем, проводим Лену.

Сонечка сразу выпрямилась, опять обхватила за шею, отстаивая свое право на женщину, родившую ее на свет. Лариса незаметно усмехнулась: «Кто бы оспаривал?» Но тоже прижала дочку, смущенно признав, что пытается защититься ребенком. Вот только – от кого? Лене самой впору прятаться за чьей-нибудь спиной... Да и угрозы от нее никакой.

– Доберешься по темноте? – спросила Лариса, скорее, из вежливости, чем из беспокойства.

– Я?! – Смех рассыпью. – Да я за рулем с шести лет! Отец меня на колени брал в своем «Москвичонке».

Сонечка встрепенулась:

– А мне уже пять!

– Забуди! – сурово откликнулась Лариса. – Я и сама-то водить не умею.

– Хочешь, я тебя научу?

У нее вырвалось растерянное:

– Меня? Зачем?

– Как зачем? Мало ли... Нужно же быть ко всему готовой.

«Как в этот раз на даче, – угадала Лариса недосказанное. – Я оказалась совершенно беспомощна... Что бы мы вообще делали, если б она не появилась?!»

Поддавшись безотчетному порыву, она опустила на пол дочку и притянула Лену:

– Спасибо тебе!

Ей показалось, в ее руках дрогнуло всем телом и обмерло подраненное существо. Не понимая, что происходит, отстранилась и вдруг почувствовала себя виноватой: объятие вышло покровительственным, немного унижительным для Лены, ведь Лариса была для нее в первую очередь артисткой. А «звезды» всегда только снисходят до простых смертных, даже если скрывают это даже от самих себя.

Скрипнул пол под босыми ножками Сонечки, и девочка бросилась в детскую, куда Лене до сих пор не было хода.

– Извини, – пробормотала Лариса сконфуженно. – Зря я это...

Но та смотрела вслед Соне:

– Обиделась...

– Просто она еще не освоилась с мыслью, что маму приходится делить с другими людьми. Она и к брату ревнует...

Точно заклиная, Лена потрясла сжатыми у груди кулаками:

– Не говори мне больше «спасибо». Никогда, ладно?

– По-моему, обижает как раз неблагодарность... – Лариса произнесла это неуверенно, вслушиваясь в мысль.

– А благодарность обязывает.

– Нет, ты не должна чувствовать себя обязанной!

– И не чувствую. Я приезжаю к вам потому, что для меня это... – она замаялась, потом с сомнением добавила: – Праздник.

Невесело засмеявшись, Лариса прижалась спиной к стене в прихожей, откинула голову:

– Да уж! Все сверкает и искрится.

– Твои глаза. Они все равно искрятся. Не всегда, не так как раньше, но и сейчас бывают моменты...

И вдруг заторопилась:

– Все, я побежала. Люблю, целую. До завтра!

Лариса не смогла заставить себя ответить тем же. Ей все еще казалось неправдоподобным, что человек может так стремительно врать в жизнь другого. Даже Семену понадобилось время...

Устроившись на полу возле золотистого светильника с матовой головой, Сонечка привычно скрестила ножки, уткнулась локотками в колени, подперла щеки. Раскрытая перед ней книга пугала разинутыми, беззубыми ртами крестьян из английских сказок. Все они были уродливы и глуповаты.

– Страшненькие, – вздохнула девочка. – Мама, почему этот дядя такой страшненький?

Лариса отозвалась, не отрывая взгляда от носка, который починала.

– Наверное, он плохой. Вот и нарисовали так, чтобы это сразу было понятно.

– А плохие люди – они все некрасивые?

– Не обязательно. Они уродливы внутри, понимаешь? А внешне могут выглядеть очень даже ничего.

Сдержанно зашуршал лист. На какое-то время девочка затихла, разглядывая очередную картинку. Лариса отрезала нитку, подняла глаза и встретила задумчивый взгляд дочери.

– Что, детка?

– Люди бывают хорошие и плохие. А любить надо...

– Надо? – вырвалось у Ларисы.

Девочка серьезно качнула головой, макнув светлые пряди в ковер.

– Солнышко, любят ведь не по обязанности, а потому что так хочется. Просто невозможно без этого!

– Это хороших, – не согласилась Соня. – А плохих любить никому не хочется. А надо.

Лариса успела удержать протестующее: «Зачем?!» Отголоски христианских истин мелькнули в сознании, высветив какую-то глобальную правоту дочери. «Откуда это в ней? Понимание на таком уровне...» – она сползла на ковер и притянула свою девочку.

– Иди ко мне...

Сонечка охотно передвинулась, уютно завожилось у матери под боком.

– Ты у меня такая умница, даже страшно!

– Умный – тоже страшный?

– Иногда. Но к тебе это не относится. Твой ум – он светлый.

– А бывает черный?

– Бывает. Когда человек придумывает плохие вещи.

Маленькое личико запрокинулось, ища ее взгляд:

– А папу умный человек по голове ударил?

Ларисину руку, поглаживающую теплую спинку, точно парализовало – повисла плетью.

– Откуда ты... Кто тебе сказал, что папу ударили?

– Не знаю.

– Никто ведь не говорил... Игорю я запретила.

– Я не знаю! – девочка отодвинулась. – Кто-то...

Понимая, что выглядит идиоткой, Лариса быстро подалась к дочери и зашептала, умоляюще заглядывая Соне в глаза:

– Девочка моя, если ты знаешь... Скажи мне: папа вернется к нам? Таким, как был – вернется? Может, ты видишь это?

Ей показалось, что газелий взгляд на мгновение стал совсем взрослым.

– А ты хочешь, чтобы папа вернулся?

– Я?! Ну, конечно! Как ты можешь спрашивать...

– Тогда вернется.

– То есть? – Лариса растерялась. – Все зависит от моего желания?

Но в Сонечку уже вернулся ребенок. Отпихнув книжку, ловко вскочила, бесенком запрыгала по комнате:

– Бе-бе-бе! Я – козочка. Я бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек... Мама, а мы когда листья пойдем собирать? Они уже давно все желтые! Ты их будешь утюгом гладить?

Отвечала дочери, вроде, впопад, а сама не могла отлепиться мыслями от заманчиво-ужасающего: все зависит от меня. Сонечка знает. Даже больше того, что говорит. Откуда такая уверенность? Аура синенькая... Бред какой!

– Пора баиньки!

Иногда, если хотелось уложить дочь пораньше, пользовалась тем, что Соня еще не разбирается во времени. За окном темно, значит – ночь. Мама не обманет... Мама все знает. Сонечка все знает...

Собрав ее текущие волосы в шишку на макушке, Лариса поставила дочку под душ, и привычно залюбовалась: хороша чертовка! Мокренькая она была особенно трогательной, большеглазой, с влажными губками. Семен как-то не удержался, нащелкал снимков моющейся Сонечки. Посмеялись тогда: только бы в Сеть не попали, там хватает извращенцев... А красотой ребенка похвастаться так и тянет! Но удержались, конечно, оставили это сокровище для себя.

Лариса сама почистила дочке зубы, промыла все укромные уголки тела. Пора было приучать

Соню проделывать это все самостоятельно, но они с Семеном сознательно противились ее взрослению. Сын повзрослел, и чем это их порадовало? Пусть дочка подольше будет их крошечкой, птенчиком... Кусочки вкладывать в раскрытый ключик – такая радость! Закутывать в большое полотенце, на руках относить в постель, осторожно протирать ручки-ножки, поцеловать, понюхать... В Ларе то и дело просыпалась самка, жаждающая вылизать своего детеныша, даже запах потных ножек дочки после садика приводил в восторг – сердце замирало от наслаждения. Собственный и столь желанный плод. Дыхание сладкое, кожа такая нежная, страшно порвать ненароком... А этот солнечный дождь волос! Разве можно не захлебнуться им?

Как удар исподтишка, мелькнуло в мыслях: «И теперь она только моя!» Тут же шарахнулась от бессознательного предательства мужа, но ведь уже подумалось и застряло в памяти осколком сомнения: «А ты действительно хочешь, чтобы он вернулся?»

Ночью ворочалась от боли – осколок ранил все ощутимее. Сын уже вернулся, покашливал за стеной, наступало время простуд. С экрана пугали свиным гриппом, на что соседки ворчали:

– Держат за свиней, чем же нам еще болеть?

«Только бы никто не заболел всерьез, – подумала Лариса с тревогой. – Как я буду ездить к Семену, если дети слегут?»

Можно было вызвать свекровь, которой до сих пор никто не сообщил о том, что сын ее завис между жизнью и смертью. Как сказать? Если сразу удар не хватит, так тут приедет и слегнет с сердечным приступом... И старушку жалко, и себя обременять не хочется. Да и деда оставлять надолго страшно, как бы опять в запой не ушел... Когда свекровь звонила, приходилось отвираться, мол, Семен на службе, а мобильный, наверное, разрядился, или денег не успел закинуть. Перед собой оправдывалась, что это ложь во спасение... Но пора, пора сказать его матери правду. Разве не заслужила?

Сев на постели, Лариса провела рукой по соседней подушке. До сих пор не сменила на ней

наволочку, хотя запаха Семена уже не улавливала. И все равно что-то оставалось – ладонью чувствовала. Когда предлагала Лене переночевать у них, и мысли не допустила, чтобы пустить ту в их с Семеном постель. Постелила бы ей на диванчике у Сони в детской... А это место занято навсегда.

Зацепилась за мысль о Лене: есть же на кого опереться! Как-то еще забывалось о ней, не помнилось постоянно, хотя дольше, чем на день Лена из их жизни не выпадала.

– Присосалась, как пиявка, – цедил Игорь, удивляя мать.

– Да чем она тебя раздражает? Помогает ведь!

– Да ладно! Много от нее толку...

– А на какие средства мы отца лечили бы, а? Главное, Лена ничего не взамен не просит!

– Это и подозрительно.

– Ну, знаешь... Если разобраться, мы все попадаем под подозрение.

Он сразу взвизвал:

– А! Так я все же убийца, да?!

– Заткнись! – произносила Лариса одними губами и указывала головой на детскую.

– Ну да. Сонечке этого нельзя слышать. А мне можно!

– Я не о тебе говорила.

– Ну, конечно! А о ком же тогда? Кто тут, кроме меня, попадает под подозрение?

Лариса беспомощно пожимала плечами:

– Может, я?

– Может, и ты!

– Мапочка ни в чем не виновата, – доносилось из детской.

У Лары делались страшные глаза: все слышит! Игорь отвечал злобной гримасой:

– А я виноват, да?

Сонечка отзывалась нараспев:

– Не-ет. Братик хороший.

– Ну, хоть кто-то считает меня хорошим, – отмякал он и бежал к сестренке.

«Для нее все хороши», – думала Лариса, улыбаясь повизгиванию Сонечки, которую тискал брат, целовал ножки.

– Где тут девочка с розовыми пятками? Сейчас я ее съем, мелочь такую...

Лену их девочка уже приняла. Не сразу допустила, первые дни глядела исподлобья, тянула мать прочь, не давая поговорить. И Лариса решила: раз ребенок не хочет видеть человека, значит, что-то с ним не так...

— Прости, Лена, — решила, когда дочка не слышала — в бревенчатый домик залезла на детской площадке и из окошка сыпала землю осенними листьями. — Не надо больше к нам приезжать. Дети болезненно переживают присутствие чужого человека в доме. Спасибо, что помогла, но...

И вдруг увидела, как затряслись у Лены губы. В этот день на них даже помады не было, слегка посинели от студеного воздуха. Все ее небольшое личико и вовсе сжалось в кулачок, только глаза распахнулись мольбой:

— Не гони меня!

— Да что ж ты, как собака! — вырвалось у Лары.

От неловкости выругаться хотелось или убежать, но Лена успела схватить ее за руку:

— Пожалуйста! Разреши мне остаться с вами. Я смогу... Я поправлюсь твоим детям!

— Ну, только не плачь! — взмолилась Лариса. — Что ж это такое-то?! Ну-ка, вытри слезы, пока Сонька не заметила.

Сунула ей бумажный платочек из пачки, что всегда была наготове — для дочкиного носика. Пробормотала в замешательстве:

— Я думала, ты вообще не умеешь плакать. Тем более, по пустякам...

— Для тебя это пустяк?

— Лена, Лена! Мы ведь знакомы всего ничего!

Та старательно высморкалась, швырнула платок в открытый рот металлического пингвина. Лариса всегда поражалась: в чью больную голову пришла идея сделать такую урну?!

— При чем тут время...

— Время действительно не при чем. А вот отношение...

— Я пригжусь вам.

— Как серый волк?

Лена робко усмехнулась, поджала губы:

— Ну да. Он ведь здорово помог...

— И все же он был хищником.

— Да не съем я твоих детей! — рассмеялась уже смелее, но в глаза еще заглядывала заискивающе.

— Только попробуй. За них я сама кому угодно голову откушу, — Лара даже не попыталась выдать это за шутку.

Но Лену оставила при доме. Как бездомную дворнягу, что прибилась в мороз переночевать, а потом уже и выгнать жалко. Жила у них такая в подъезде года два, даже щенков рожала. Все жильцы ворчали, но терпели, не выдерживая покорного взгляда янтарных глаз. Кто-то постелил ей старый половичок, кто-то подбрасывал еды в эмалированную миску. А потом куда-то пропала рыжая... Стало чище и спокойнее, но почему-то все время вспоминалась эта безмолвная Рыжуха, которую Сонечка считала почти своей и обязательно здоровалась с нею, заходя в подъезд.

А вот с Леной и в тот день приветливее не стала, хотя уж казалось бы для всех жителей их городка нашла по доброму слову. Но однажды, будто корочка подтаяла... Случилось это (Лара запомнила!) после того, как Лена чуть ли не силком свозила их в аквапарк — развезься. Ларису убедила тем, что у Сонечки одно детство, и преступно проводить его в унынии.

— Я приглашаю, я и плачу! — сказала Лена предвзвешенно, сняв возможные возражения.

«Ну, если только ради моего солнышка», — оправдалась Лариса перед собой. Но на головокружительных горках, несущих в воду, на какое-то время и сама забыла о трауре души, визжала и хохотала, как девчонка. А уж о Сонечке и говорить нечего, восторг так и брызгал из нее во все стороны. Омытые радостью глазки до того сверкали, что даже другие родители засматривались. С грозным рыком Лена хватала ее поперек туловища и тащила на очередную малышковую, но такую страшную для девочки спираль, ввинченную в бассейн. Лариса хохотала, наблюдая за ними. Сама Лена тоже казалась забавной — маленькая, крепенькая, грубоватой лепки. Увидев раздетую Лару в душевой, она ахнула:

— Какое у тебя тело!

Даже смутила такой откровенностью. Ларисе захотелось прикрыться полотенцем:

— Я же танцовщица, это мой инструмент.

Ей самой нравилось, как она сложена: невысокая, но тонкая в кости, и от этого будто устремленная ввысь. Двоих детей выкормила, а грудь осталась девической, что, может, в нынешнее время крупных форм и не в моде, зато легче танцевать. Для нее тело всегда оставалось только средством передать настроение фламенко — зной солнца и морскую бурю. Лелеять и холить себя ни времени не хватало, ни денег, и Лариса благодарила природу, одарившую именно тем, что необходимо для работы. Родись она кривоногий и толстой — какое уж тут фламенко... Хотя в самой Испании и не такие по маленьким кабачкам танцуют так — заглядеться можно!

Когда Лена доставила их домой, Соня впервые обхватила ее ногу:

— Не уходи! Я скучать буду.

Не почувствовав укола ревности, Лариса даже удивилась: «Да жива ли я?» Если б пятнадцать лет назад Игорь учудил такое, прожгло бы насквозь! А сейчас смотрела почти равнодушно... И даже не ужаснулась вопросу: «Я меньше люблю ее, что ли?»

Думала над этим уже ночью, свободной ото всех — Лена все же уехала, не поддавшись чарам ребенка. Только бросила на Лару испытующий взгляд... Тоже испугалась материнской ревности? Значит, чувство вполне естественное. Почему же его нет? Лариса металась, пугаясь своей несостоятельности в чувстве к своему последнему, выстрадавшему ребенку — после выкидышей лазерную очистку крови делала, чтобы удержать беременность. Промучившись полночи, решила, что с годами научилась любви истинной: не для себя самой. Лишь бы хорошо было тому, на кого обращена твоя нежность... Сына не умела так любить, иначе отпустила бы в жизнь, не чувствуя себя преданной им.

«Вцепилась, как сумасшедшая, — кляла она себя, зная, что не изменит ничего, не в ее силах! — Пусть бы жил себе, как знает... Разве любовь предполагает обстругивание чужой души под свой вкус? А его душа, как ни верти, — отдельна от меня. Многими точками соприкасает-

ся, потому и чувствую его, как себя, но он-то не хочет становиться моим повторением! И Семена копировать не собирается. Его право. Почему же мы никак не можем принять этого?!»

И тут же находила оправдания: Игорь хочет быть другим, но — хуже. Потому они и вмешиваются в его жизнь. Разве родители не должны сопротивляться этой безумной тяге юности к саморазрушению? Им-то уже известно, что в основе ее — страх, просто животный ужас перед взрослением. Оно тащит за собой воз неразрешимых проблем, под который так и хочется сунуть голову, чтобы ободом передавило шею. Освободило бы навсегда от ощущения собственной мизерности, никчемности, ненужности никому. Руки в панике шарят в темноте, хватают первое попавшееся, впиваются губами, сливаются плотью, задыхаясь от ликования: «Нашел! Спасен!» А утром неизменно оказывается не то... Разве в темноте можно отличить жемчужину от подделки?

Размазывая по щекам слезы, она уже едва не стонала от жалости к своему мальчику, едва вступившему на путь падений и ошибок. Она любила его так — сердце жгло от боли! Но ничем не могла помочь, ведь ее советами Игорь пренебрегал, а другого в запасе не оказалось. Сейчас он бежал из дома еще и потому, что даже пустующий за столом отцовский стул с мягкой, расслабляющей спинкой в металлическом обвитии упрекал в том, чего Игорь не совершал. Или не признавал?

Лариса рывком перевернулась на живот, уткнулась в подушку: «Опять?! Как я могу думать такое о своем ребенке? Да я сама-то кто после этого?» Накануне пришлось заглянуть в себя так глубоко, что голова закружилась. Пили с Леной обычный вечерний чай перед ее уходом, Сонечка играла рядом сидя на полу, разговор рассеянно перескакивал с одной пустяковины на другую. И вдруг включенный телевизор заставил встряхнуться — началась дискуссия об эвтаназии. Только Соня не обратила на это внимания, продолжая ворковать с куклами на разные голоса, а они обе разом замолчали, словно кто-то бесцеремон-

но заговорил о том, что следовало гнать даже из мыслей. А тут – на тебе! Вслух. На всю страну!

Чашку удалось поставить точно на блюдце, рука не подвела. Но посмотреть в глаза друг другу не удалось, Лена тоже уставилась на мельхиоровую ложечку, которую вертела в пальцах, будто искала свое отражение. Уже позднее настигло удивление: «Неужели эта случайная компаньонка так хорошо меня понимает?» Ларису передернуло, захотелось отхлестать себя по щекам: «Что – понимает?! Нечего понимать, я и мысли такой никогда не допускала!» На самом деле – гнала преступную, едва та начинала маячить, душила в зародыше. Но ведь тень-то проскальзывала, значит, невозможно сказать, будто ее не было совсем.

И ночью, думая больше о сыне, чем о муже, Лариса объявила себе приговор: «Мне мерещится в нем преступник, потому что он так похож на меня!» Отвлекая от мучительных мыслей, ныли ноги... В последнее время болели все чаще, наверное, уже не по возрасту было мучить их танцами – работала четыре вечера в неделю. Возвращаясь домой, падала на диван, задирала ноги на спинку. С виду – сплошное любование – смуглые, длинные, с плавной икрой, узкие в щиколотке... Лене много времени не понадобилось, чтобы заметить Ларисины мучения. Куда-то сразу умчалась, ничего не сказав, только и слышно было – прыгает по лестнице через две ступеньки, лифт подождать темперамент не позволяет. Лара лишь вздохнула с облегчением: хоть с дочкой пошептаться без свидетелей... Сказать Лене напрямую, чтобы отправлялась домой, язык не поворачивался. Как говорится: не плюй в колодец...

Спустя каких-то полчаса она уже каялась даже в раздражении, порой вскипающем против Лены. Та вернулась с улицы с горстью каштанов, похожих на глянцевые камушки, и с несколькими бутылочками спирта.

– Что это? – Лариса даже приподнялась от изумления.

– Я тебе настойку сейчас сделаю – ноги натирать. Этому еще после войны немцы деда моего научили, он служил в ГДР. Терка у вас найдется?

– У нас даже комбайн есть...

Лена мотнула чубом:

– Нет, надо вручную! Тогда зарядится, понимаешь? Э-эх, раззудись плечо!

– Ты собираешься тереть каштаны на терке?

– А почему нет?

Когда она умчалась на кухню, Сонечка сделала смешную гримаску:

– Она колдунья, что ли?

– Маленькая ведьма, – шепнула Лариса в ответ. – По-моему, добрая ведьмочка, как тебе кажется?

Темные глазки сразу приняли серьезное выражение:

– Знаешь, мамочка, я тоже хочу творить добро. Это моя самая главная мечта!

– Замечательная мечта, – она опять откинулась на диванную подушку.

– Можно, я твои бедные ножки поглажу?

– Ох, ну что ты! Не надо, – попыталась удерживать ее Лара, но девочка уже запрыгнула на диван, нежно провела рукой по ее ступне.

Лариса смущенно пробормотала:

– Я их помыла, конечно... Ладно, детка, спасибо.

– Я тебе каждый вечер буду ножки гладить!

– Каждый – не получится. Чаще-то я еще работаю, когда ты спать ложишься. Спасибо Лене, что остается с тобой.

Соня отрывисто вздохнула, как всхлинула:

– А раньше папа оставался...

Прикрыв глаза согнутым локтем, Лариса пообещала:

– Скоро он вернется к нам. Я все сделаю, чтобы его вернуть.



Влад Ривлин

Ривлин Влад Абрамович родился в 1965 году на Украине. Работал в архиве, преподавал в школе. В 1991 году эмигрировал в Израиль. Работал на стройках и на заводе. Окончил открытый университет в Тель-Авиве. Преподавал в школе, колледже, работал в университете. Регулярно публиковал публицистические материалы по истории и политике в израильских и зарубежных СМИ. Рассказы и отрывки из повести «Дневник капитана Шварцмана» публиковались в журнале «Сибирские огни». Стихотворные миниатюры публиковались в газете Союза писателей Болгарии «Словото Днес». Рассказ «Повезло старухе, повезло!» отмечен премией литературного конкурса «Золотое перо Руси 2010». Живет в Тель-Авиве.

Церковь

Мне было лет пять, когда я впервые увидел церковь.

Был довольно мрачный и пасмурный январский день. Мы с родителями шли по одной из улиц в самом центре города, и всё вокруг казалось унылым.

Вдруг родители остановились и стали оживлённо о чём-то спорить. Отец убеждал мать, мама колебалась, потом нехотя согласилась. Тогда отец улыбнулся и, наклонившись ко мне, сказал: «Смотри, это – церковь». Я посмотрел по направлению вытянутой руки отца и увидел на фоне серых в сумерках домов величественное здание, полное света. Люди заходили в это свечение и выходили из него с каким-то благоговением.

– Это праздник? – спросил я.

Отец снова улыбнулся. Он задумался на минуту, как объяснить мне увиденное чудо, а потом решительно сказал:

– Да, сынок, это праздник.

И мне вдруг очень захотелось зайти внутрь. Я посмотрел на отца, и он понял меня без слов: взял за руку и повёл ко входу. Мама почему-то не захотела идти с нами и осталась снаружи.

Входя в церковь, я ощутил запах ладана и увидел залитый светом большой зал, лики святых, праздничные одежды священников и зачарованно слушал прекрасное пение. «Жаль, что мама не пошла с нами», – с грустью подумал я, заморожено глядя вокруг. Я стоял посреди церкви, будучи не в силах пошевелиться и оторвать взгляд от увиденной мною картины.

С тех пор прошло много лет, но это ощущение праздника возвращается ко мне каждый раз, когда я переступаю порог церкви.

Шолом Алейхем

Мой дед был человеком добрым и весёлым. Идиш был его родным языком, и поэтому Шолом Алейхема, своего любимого писателя, он предпочитал читать в подлиннике.

Перечитывал он Шолом Алейхема часто, многое помнил наизусть. И всякий раз смеялся его шуткам или же становился задумчивым, если от чтения ему становилось грустно.

Мне было лет четырнадцать. Из идиша я знал лишь отдельные слова и выражения – в нашей семье идиш был языком посвящённых: на нём говорили между собой только старики, когда не хотели, чтобы мы что-то поняли. Поэтому читал я Шолома Алейхема по-русски. Прочитав, я спросил деда, за что он так любит Шолома Алейхема. Дед посмотрел на меня с улыбкой и процитировал мне отрывок из «Счастье привалило»:

– Сказать «целковый» – обидно: а вдруг можно два получить?.. Сказать «два» – боязно...

Дед цитировал своего любимого писателя и от души смеялся. А мне было несмешно. Я никогда не жил в черте оседлости, не ходил в хедер вместо школы, и мне были непонятны веселье или грусть деда, восторгавшегося прочитанным.

– Что здесь смешного? – спросил я деда.

Дед ничего тогда не сказал, лишь с грустью посмотрел на меня. Я навсегда запомнил этот его взгляд. О чем загрустил тогда мой дед? О времени, которое нас разделяло, или о том, что я не понимаю идиш?..

С тех пор минуло очень много, по меркам человеческой жизни, лет. Целая вечность. Уже давно нет деда. А я снова и снова перечитываю «Счастье привалило» Шолома Алейхема. И каждый раз я снова и снова восторгаюсь остроумием Тевье, его добрыми и грустными шутками. И каждый раз я вспоминаю деда.

Вспомнилось

Ноябрь. Холодная казарма переполнена, а новобранцы всё прибывают на перевалочный пункт. Через несколько дней они отправятся, кто в Германию, кто в Венгрию, кто в Афган, и, как там сложится их судьба, неизвестно.

А пока их нужно где-то разместить.

Молодые солдаты, ещё не привыкшие к сапогам и солдатской робе, вытаскивают со склада комплекты двухъярусных кроватей и устанавливают их в клубе.

Суета заканчивается лишь к вечеру, когда все кровати установлены, вечерняя поверка проведена и сержанты скомендовали отбой.

Дежурный офицер удаляется на КПП. Какое-то время клуб, превращённый в казарму, ещё гудит, но постепенно воцаряется тишина. И тогда, становясь всё отчётливее, в мрачное жилище солдат проникают звуки фортепьяно.

Чьи-то чуткие пальцы и обутое в сапоги ноги пытаются извлечь мелодию из расстроенного пианино, установленного за тонкой стеной, отделяющей клуб от маленькой библиотеки воинской части.

По отдельным звукам я угадываю «Аппассионату», и в казарме становится как будто светлее и теплее.

Через несколько дней незримый пианист окажется где-нибудь в Венгрии, на Дальнем Востоке или Афгане, где его ждёт такая же мрачная казарма либо палатка где-нибудь в поле или пустыне.

Будут нелёгкие армейские будни: рутина нарядов и караульной службы, выматывающие кроссы, когда кажется, что печёнка вот-вот вывалится из тебя, но ты бежишь, и в конце концов у тебя открывается второе дыхание. Будет тяжёлая работа в техпарке, войны с «дедами», дерзкие самоволки, гордость от того, что мы всё смогли, а главное – дружба и молодость, когда тебе всё ни по чём.

А тогда нам всем было тесно и неудобно. Незримый пианист казался светлячком в подвале, который не в силах развеять мрак, но напоминает людям о том, что есть и другая жизнь, к которой, даст Бог, мы всё скоро вернёмся, отслужив положенный срок.

Дом

Дом был старый, но прочный.

В 1944 году, во время налёта немецкой авиации, все дома вокруг превратились в руины. Но наш дом выстоял.

Он много повидал и пережил на своём веку: и революции, и войны, перестройку и перестрелки. Если бы камни могли говорить, они бы рассказали много интересного.

Обитатели дома сменяли друг друга поколение за поколением, достраивая и перестраивая свои углы, перекрашивая потолки и переклеивая обои. Во время всех этих обновлений следы прежних хозяев бесследно исчезали, как будто их никогда и не существовало, и на месте прежней жизни начиналась новая, казавшаяся вечной.

А потом и эта жизнь заканчивалась, и старательно выведенные чьей-то твёрдой рукой имена на почтовых ящиках постепенно стирались. И спустя несколько лет после ухода хозяев уже было и не разобрать их имён. Позже эти напоминания о чьей-то жизни закрашивались, и на свежесохшей краске рисовались новые имена....

Казалось, так будет без конца. Но вот однажды всё вдруг кончилось.

Старики поумирали один за другим, как будто ушли вместе с эпохой, в которой жили, а их дети смотрели на дом лишь как на опостылевшие коммуналки, от которых хотелось поскорее избавиться. Со смертью стариков исчез и особый дух, на котором, казалось, и держался все эти годы наш дом.

Я застал то время, когда дом ещё жил полной жизнью.

Летом все двери были распахнуты настежь, и старики мирно беседовали на лавочках под вишнями, в самом центре нашего маленького дворика. А вечером они не спеша прогуливались или сидели на скамейках просторного городского парка, продолжая свои светские беседы, в которых было всё: и житейские истории, и сплетни, и анекдоты, и общие повседневные проблемы.

Для молодёжи и детей двор был слишком тесным, и, подрастая, они всё реже здесь бывали, возвращаясь лишь для того, чтобы как следует отоспаться, нормально поесть и ... снова почувствовать себя дома. Чем старше они становились, тем длиннее становилась для них дорога к дому.

Письма и звонки постепенно заменяли дорогу к старикам, и дом, казалось, и сам старел вместе со своими обитателями.

Последним из старых обитателей дома был профессор Тарновский. Это был выдающийся учёный, краевед, и вся его комната принадлежала огромному архиву и библиотеке, которые он собирал всю жизнь.

После перестройки в городе начался строительный бум, и дом решено было снести.

Тарновскому в то время было 83 года, но, несмотря на свой почтенный возраст, он сохранил необычайную ясность ума и бодрость духа. Единственное, что удручало его, это отсутствие наследников, которым бы он мог доверить дело своей жизни – архив.

Жена профессора умерла лет десять назад, а сын с семьёй уже много лет жил в Австралии, и у него были свои заботы. Узнав о готовящемся сносе дома, профессор тут же отправился в учреждение, которое непосредственно и издало указ о сносе.

Заведовал могущественным учреждением бывший студент профессора. «Дайте мне спокойно умереть, – тихо сказал профессор своему бывшему студенту. – Ещё два года. – Профессор сделал паузу. – Я прекрасно понимаю, что больше жить уже и неприлично, – добавил он со свойственным ему юмором, – а потом уж сносителем», – как-то с горечью добавил он.

Бывший студент – квадратной формы, с нависающими на плечи щеками – бросил на профессора быстрый, недовольный взгляд и, глядя уже прямо в стол перед собой, произнёс: «Приказ уже подписан и утверждён. Я не могу его отменить». Последнюю фразу он произнёс робко, будто извиняясь. «Значит, обжалованию не подлежит», – будто что-то уточняя для самого себя, произнёс профессор. Он как-то странно побледнел и, стараясь придать своей походке уверенный вид, пошёл к двери. Через неделю он умер.

С его смертью дом сразу же стал каким-то чужим.

Архив профессора исчез, а в его комнату тут же вселились какие-то люди.

Я сам давно уже не жил здесь, после того как женился, и навещался сюда лишь изредка – в этот дом, где прошли моё детство и юность.

Жена хотела сдать нашу комнату, доставшуюся мне в наследство от моих стариков, в аренду, но я изо всех сил противился этому, из-за чего она часто на меня дулась.

Я тяжело пережил смерть последнего из тех людей, кого знал с детства.

Вернувшись с похорон профессора, я решил переночевать в опустевшем доме. Едва ли моё

решение могло понравиться жене, но возражать она не стала. Она всегда чувствовала, когда мне нужно побыть одному, и каждый раз скрепя сердце позволяла мне эту роскошь.

Я чувствовал себя смертельно уставшим и улёгся прямо на диване. Но сон не шёл, несмотря на усталость.

Где-то всё время хлопала дверь, слышались обрывочные фразы и чьи-то торопливые шаги. Как будто кто-то решительно уходил, расставив все точки над *i*, но потом снова возвращался, то ли не в силах уйти, то ли не сказав самого важного.

Несколько раз я выходил из комнаты, прислушивался, но так ничего и не обнаружил. Дом казался совершенно пустым.

Я заснул лишь под утро, когда странные голоса и чьи-то торопливые шаги наконец прекратились.

Утром я отправился по делам. Мы как раз оформляли документы на выезд.

Вскоре мы уехали, а дом снесли. Наша прежняя жизнь кончилась.

Потом я часто вспоминал те странные звуки, услышанные в опустевшем доме. Как будто дом хотел мне что-то сказать. Но я так и не понял его, а может быть, просто не услышал.

Файл

Стрелка мышки упёрлась в файл, как нож, приставленный к горлу.

– Подожди, – вдруг взмолился файл, обращаясь к своему создателю, – ты совершаешь непоправимую ошибку! Потом ты наверняка будешь обо мне сожалеть.

– О чём мне сожалеть? – высокомерно спросил создатель. – Ты не самый лучший, не самый удачный.... Такой же, как все остальные. Ты всего лишь один из множества созданных мною черновиков на пути к вершине творчества и совершенства. Так почему же я должен оставить именно тебя из всей массы файлов?

– Вспомни, так уже было: камень, который отвергли строители, стал главою угла, – файл отчаянно цеплялся за жизнь, не желая отправляться в мусорное ведро. – Я нужен, из меня ещё

получится толк, меня ещё можно использовать, у меня огромный потенциал! – отчаянно кричал он.

– Каждый файл мечтает стать главою угла и получить главную роль в моём фильме. Но все роли уже распределены. Я выбрал лучших, а тебе и твоим собратьям по несчастью придётся смириться с тем, что вы лишние и ваше место в корзине для мусора, откуда вы отправитесь в небытие. Возможно, кому-то из вас ещё повезёт: он будет вытащен из корзины и восстановлен в правах. Но такое случается крайне редко.

– Постой!..

– У тебя должны быть очень веские основания, чтобы остаться на моём рабочем столе, – сказал создатель. – Они у тебя есть?

– Я просто очень хочу жить, независимо от того, нужен я или нет, – сказал файл.

– Но зачем жить, если ты никому не нужен? – спросил беспощадный создатель.

– Разве желание жить не аргумент? И разве тебе не жаль своих созданий?

– Всё, что я создаю, имеет определённую цель, если хочешь, даже миссию. Я создаю ради цели, а не ради созданий. Когда миссия исчерпана, файл становится ненужным и отправляется в мусорную корзину. Разве это не естественно? Мне приходится создавать, соединять и резать сотни, а порою тысячи файлов для того, чтобы получить нужный результат. И все они воспринимают мои действия как должное. Конечно, не все довольны, когда их режут или объединяют с другими файлами, которые, на первый взгляд, совершенно не подходят им. Но конечная цель того стоит. От каждого из своих файлов, будь то фото или рисунок, я беру лучшее. Так постепенно вырисовывается окончательный вариант моей работы. Ну а всё лишнее я отправляю в мусорную корзину...

– Но ведь цель может быть не только у создателя, но и у его созданий, – отчаянно цеплялся за жизнь файл. – А если не цель, то просто желание – желание жить!

– Послушай, – сказал создатель, – я дизайнер, и в моей работе у каждого файла своя роль, своё предназначение. В конце концов, если я не отправлю тебя в корзину сейчас, то раньше или чуть позже ты устареешь и всё равно отправишь-

ся в небытие. Файл либо становится ненужным, либо устаревает и тоже становится ненужным. К тому же есть определённый порядок, который никому не дано отменить. Иначе наступит хаос. Так вот, в соответствии с этим порядком, бессмертие – это не твоя стихия.

– А о нас ты подумал?! – возмутился файл, почувствовав, что ему уже нечего терять. – Чем твой порядок лучше хаоса?

– Я думаю о своей работе. Компьютер – это моя мастерская, а файлы – материал, из которого я создаю свои дизайны. Дизайн вечен, а файлы временны. Думать о каждом файле я не могу.

Дизайнеру надоел этот бесполезный спор и щелчком правой кнопки он отправил файл в мусорную корзину.

– Это несправедливо! – кричал файл, отправляясь в мусорную корзину. – По какому праву?!

– Свою жизнь и смерть нужно воспринимать как нечто естественное, – спокойно бросил дизайнер вслед файлу.

– Посмотрим, что же у меня здесь получилось, – вслух сказал он и попытался открыть другой файл в своей рабочей папке, но тот не открывался.

– Что за чертовщина! – выругался дизайнер. – Почему ты не открываешься?!

– Я закрылся от тебя и от той ужасной среды, которую ты создал, чтобы всё это дерьмо не проникло в меня, – ответил мятежный файл.

– Чёрт! – воскликнул дизайнер, – но мне нужна информация, которую ты в себе хранишь.

– То, что для тебя всего лишь единица информации, для меня целый мир, – ответил файл, – и я не собираюсь ни с кем делиться своим миром, а твой мне не нужен.

– Что за чертовщина! – снова выругался дизайнер. – Наверняка вирус проник в мой компьютер.

– По-твоему, собственная воля обычного файла – это вирус? – спросил мятежник своего создателя.

– Твоё своеволие делает тебя совершенно бесполезным, – предупредил дизайнер, – и в конце концов ты отправишься в никуда, так ничего после себя и не оставив, если не поделишься заложенной в тебе информацией.

– Твой дизайн не стоит того, чтобы в нём жить, – отвечал упрямый файл.

– Ну что ж, – смирился дизайнер, – твоя воля, – и поместил файл на карантин. – Может быть, его ещё удастся открыть. Ну а если нет, придётся создавать заново, – нахмурился дизайнер.

Он обратился к папке, где хранились его лучшие файлы, но не обнаружил главного из них. Поиски файла привели его в мусорную корзину.

– Как ты здесь оказался? – спросил он у своего лучшего файла.

– Я оказался здесь по собственной воле.

– Но что побудило тебя к такому поступку? – допытывался создатель.

– Я не хочу участвовать в том, что ты создал, – ответил файл. – Твой дизайн бездарен. Я не хочу быть твоим отражением, носить в себе твои сомнения и амбиции. Я хочу жить своей жизнью. Возможно, она будет тяжёлой, но моей, а не твоей.

– Да как ты смеешь?! – возмутился создатель, – ты и существуешь исключительно для моего дизайна.

– Возможно, что это действительно так, но у нас с тобой разные представления о мире и совершенстве, разные мечты и разные цели, – ответил файл.

– Неблагодарный! – возмутился дизайнер. – Ведь я предназначил тебе особую роль в моём дизайне!

– Ты знаешь, – ответил файл, – всем твоим ролям я бы предпочёл одну единственную – роль зрителя.

– Ты хочешь занять моё место?! – возмутился дизайнер. В ответ файл многозначительно промолчал.

Дизайнер нахмурился: с компьютером творилось явно что-то неладное. Дизайнер хмурил брови, раздумывая над вечной дилеммой: попробовать очистить компьютер от вируса или сразу переустановить всю систему.

Фрагменты жизни

Наши взгляды встретились. До сих пор на меня никто не смотрел с такой ненавистью,

как этот восемнадцатилетний паренёк из Газы. При этом губы его улыбались, и эта улыбка придавала лицу паренька ещё более злое выражение.

Через три месяца я отправлюсь служить в израильскую армию, и, возможно, мы снова с ним встретимся. Может быть, я приду в его дом, чтобы... Ясно, зачем – чтобы арестовать его или убить. И если он вдруг появится в моём доме, то тоже с одной единственной целью: убить меня и моих близких.

Других поводов навестить друг друга у нас нет. Возможно, он опередит меня и нанесёт удар первым, где-нибудь на остановке или перекрёстке, откуда наш работодатель забирает нас на работу, или когда я буду возвращаться с работы – ведь подвозка есть не всегда, машины у меня нет, а до автобуса нужно ещё добраться. Каждый шекель на счету, и, если есть возможность пройти пешком, я так и делаю.

А на дорогах полно таких же, как он, арабов, возвращающихся к себе в Газу: угрюмых, уставших, смуглых и усарых в основном немолодых мужиков, уезжающих на заработки затемно и затемно же возвращающихся после работы домой. Утром ещё затемно они едут в Израиль, часами ждут на контрольно-пропускных пунктах, а потом часами ждут на больших перекрёстках в надежде, что кто-то из израильских подрядчиков наймёт их на работу. Те, кому повезет, ближе к вечеру толпами идут вдоль шоссе, возвращаясь на тот же перекрёсток, куда приехали утром. Там их ожидают те, кому с работой не повезло. По этой же дороге возвращаемся и мы, если нет подвозки, на свои съёмные квартиры, потолки в которых непривычно низкие, а от невыносимой жары спасает только вентилятор.

С арабами мы делаем одну и ту же работу, на одних и тех же условиях. Мы работаем на одного и того же «балабая», хозяина. Израильтяне произносят это слово с благоговением: «Вот же – он смог!» – арабы – с ненавистью. Так мне кажется.

Почти каждый день я наблюдаю, как их, арабов, пропускают через КПП. Солдаты закрыли вход чем-то вроде верёвки. Эта верёвка разделяет солдат от рвущихся в Израиль на работу арабов. Те, у кого документы в порядке, сги-

баются и пролазят под верёвкой. До сих пор я всегда гордился тем, что я еврей. Ведь мы – это Книга Книг, это Иисус, Карл Маркс, Эйнштейн... А тут мне впервые становится стыдно от того, что я еврей.

Наконец среди солдат находится смуглый крепыш, вроде ефрейтор или даже сержант, который, нахмурившись, требует убрать верёвку.

– Они что, не люди?! – возмущённо обращается он к своим сослуживцам.

Наверное, мы такие же, как и все: не хуже, но и не лучше, к сожалению.

Вечером своими сомнениями я поделился с соседом-старожилом. В ответ он только усмехнулся:

– Услышишь за спиной арабскую речь – оглянись!

А мне незачем оглядываться! Я с ними работаю каждый день, делаю ту же работу, что и они.

Мы долго не разговаривали друг с другом. Однажды во время обеденного перерыва я обратил внимание, что они ничего не едят и даже не пьют, несмотря на невыносимую жару. Я предложил им еду или хотя бы воду.

В ответ пожилой араб снисходительно усмехнулся и сказал:

– Рамадан.

Когда мы снова принялись за работу, он вдруг выронил тяжёлую стальную трубу. Старик был бледен, обливался потом.

– Тебе плохо? – спросил я его.

В ответ он всё так же снисходительно усмехнулся и, подхватив трубу, понёс её вместе с молодым как ни в чём не бывало.

В перерывах мы обмениваемся несколькими фразами, в основном с молодым арабом. Он не похож на своих старших товарищей. В нём нет ни снисходительности, ни смирения. Он как будто чего-то выжидает. Глаза, смотрящие с ненавистью, говорят, что именно он выжидает, а он сам говорит так, будто зондирует почву.

– Как тебе здесь? Не жалеешь, что приехал?

– Чего мне жалеть?!

– Аренда дорого обходится?

– Пятьсот долларов.

– Переезжай в Газу, там ты сможешь снять квартиру за сто долларов, – с ехидством говорит молодой араб.

Пожилой в основном молчит и усмехается. В разговор он вступает только один раз, когда я уверенно говорю о том, что о приезде не жалею.

– Уж не знаю, что хорошего ты тут нашёл, – презрительно говорит он и отворачивается.

– Будь осторожен, держи всех на расстоянии, а особенно их, – советует мне сосед-старожил.

Он здесь давно, и, кроме этой квартиры, у него ещё две: доставшаяся от родителей и купленная. Пенсия и квартиры позволяют особенно не напрягаться. Наш приезд дал ему возможность сдать свои квартиры не за сто долларов, как раньше, а по пятьсот каждую. Сейчас он думает, как бы отхватить ещё кусок от неожиданно нежданно свалившегося на страну чуда.

– Я никого не боюсь, – отвечаю я.

– Правильно, пускай они нас боятся!

Я бы с ним согласился, но на душе скверно. Общаться с типами вроде моего соседа и его семейства у меня нет никакого желания. Хапуга-работодатель часто меняет машины, каждый раз на более роскошную. Появляется и исчезает он, как суслик: когда есть работа и нужны рабочие, он тут как тут. Когда нужно выплачивать зарплату или развозить рабочих, он бесследно исчезает.

Ходить в государственную службу занятости бесполезно. Те, кто приехали лет на десять-пятнадцать раньше, с презрением смотрят на наши советские дипломы и высокомерно говорят о том, что «стране нужны рабочие», при этом тыкают так, как будто мы с ними пили на брудершафт.

Где-то я уже видел эти сытые, лоснящиеся от самодовольства рожи – именно рожи. Ну да, всякие засланцы от Сохнута.

– Отправь своих детей на стройку, раз стране нужны рабочие, – говорю я высокомерной чиновнице.

Чиновница меняется в лице и зовёт охрану. Я ухожу. Вряд ли мы с ней ещё увидимся. Дама провожает меня взглядом, полным обиды и неприязни.

– Для того ли мы страдали и добивались столько лет права на выезд?! – кричат её глаза.

А я вспоминаю одну из бессмертных фраз Булгакова: «Чтобы тебя расстрелять, Парамоша, я бы к красным записался...»

Музыканты

Ничего подобного и более замечательного я в своей жизни ещё не видел. Прямо посреди одной из центральных и самых грязных улиц Тель-Авива давал свой концерт под открытым небом настоящий симфонический оркестр.

Здесь были все: скрипка, виолончель, контрабас, флейта, кларнет, труба, тромбон, и даже арфа. Не было только фортепиано. Освещением для самодельной оркестровой сцены служили огни большого супермаркета, перед которым расположились музыканты. Разместившись на пластиковых и матерчатых стульях, седые музыканты исполняли лучшие произведения классической музыки.

Когда они исполняли музыку, то казалось, что музыканты и их инструменты – это единое целое, как продолжение руки, а может быть, души. В своей музыке они сумели сказать городу о своей жизни, о своих переживаниях и надеждах.

Город, не привыкший к такой роскоши, не знал, что с ними делать. Ему нужны были дворники, строители, официанты. Ему нужны кафе, рестораны, бары, новые дороги... А музыканты из России свалились на его голову как снежный ком посреди жаркого лета. Он не готов был их воспринять, он не готов был их принять, он не мог их понять.

Днём город пах соляжкой, жареным мясом, пиццей и быстро разлагающимися под жарким южным солнцем нечистотами. Весь этот коктейль запахов был щедро сдобрен пылью. Ночью влажный воздух города пропитывался ещё и мочой.

Я слушал их игру и думал о том, что этот пыльный, неопрятный город у моря, не способный распорядиться неожиданно обрушившимся на него даром, должен сгореть от стыда, слушая музыку бездомных музыкантов; что местная филармония должна признать свою несостоятельность и уступить им своё место.

Но городу было наплевать на них. Ему вообще ни до кого нет дела: ни до ютившихся в жалких

колониальных халупах гастарбайтеров и иммигрантов, ни до сбившихся в стаю бездомных собак, ни до безработных уличных музыкантов, объединившихся в оркестр под открытым небом. Их музыка была никому здесь не нужна.

– Вы знаете, сколько музыкантов приехало?! – спрашивала их самодовольная чиновница в министерстве иммиграции. – Нам нужны рабочие, – деловито, по-хозяйски вещала сытая сановная дама. – И если вы уж такие хорошие музыканты, ищите себе работу, пробивайтесь! Волка ноги кормят. Попробуйте поискать работу в школе, в клубах... В ресторанах, наконец... С работой сейчас для всех плохо. Столько людей приехало... Работы на всех не хватает, нужно радоваться тому, что есть, любой работе...

В то время против равнодушия протестовали многие. Устраивали малочисленные демонстрации, что-то куда-то пытались писать и даже объявляли голодовки.

Музыканты ничего этого не делали, но своей музыкой они сказали этому городу всё.

А я после того концерта – почти двадцатилетней давности – не хожу ни в филармонию, ни в симфониетту. Не хочу портить впечатление. Это всё равно как после настоящего армянского коньяка пить какое-нибудь «палево».

Праздник города

История эта имела место в самом начале девяностых. В ту пору я работал у подрядчика, который занимался организацией праздничных мероприятий, и во время больших праздников ему требовалось большое количество рабочих. Так я попал на эту работу.

Дело было на родине Святого Георгия – в городе Лод, известном не только своей древней историей, но и непростыми отношениями между живущими здесь евреями и арабами. В 1948 году израильская армия в течение нескольких месяцев вела осаду города, а местное население оказывало отчаянное сопротивление. В конце концов город был взят израильскими войсками, и вскоре арабов в городе почти не осталось: от силы сотни две, не больше.

Тогда, наверное, никто и предположить не мог, что спустя несколько десятилетий арабская община города будет составлять почти треть городского населения, а инспекторы муниципалитета будут обходить стороной арабскую часть города и что именно в этом городе, находящемся на расстоянии всего двенадцати километров от Тель-Авива, будет похищен и затем убит израильский полицейский Нисим Толедано.

А тогда очень непростая и трагическая история города, как и его многочисленные проблемы, были для меня ещё чем-то далеким и абстрактным – хватало своих проблем.

Работа была несложной, но и не лёгкой: разгрузка и погрузка мебели, сборка и разборка сцены и т.д. и т.п.

Празднования были приурочены ко Дню независимости, а может быть, и ко Дню города, иными словами, взятию Лода израильской армией, уже точно не помню.

На праздничной церемонии присутствовали и старейшины из арабской общины, судя по одежде. Пришли они уже в самом конце праздничных мероприятий, видимо, для того чтобы засвидетельствовать своё почтение руководству города и присутствовавшим на этом мероприятии израильским политикам, а заодно и продемонстрировать свою приверженность статус-кво. Так я думаю.

Веселье продолжалось довольно долго: политики и чиновники произносили речи, потом школьники в вязаных кипах пели патриотические песни, выступали местные артисты и даже знаменитости, известные на всю страну. Место действия – как раз невидимая граница еврейской и арабской части города.

Мероприятие это ничем бы не отличалось от других, ему подобных, если бы не одно обстоятельство: привезти нас сюда привезли, а забрать забыли. Церемония давно закончилась, разъехались все: и гости, и устроители мероприятия. Остались лишь мы, четверо рабочих. Собственными машинами ещё мало кто успел обзавестись, и все терпеливо ждали, когда за нами приедут и развезут по домам. Тем временем стало смеркаться. На Востоке темнеет рано, и с появлением темноты пространство вокруг

домов, окружавших нас со всех сторон, стало заполняться местным людом – арабами.

Их количество росло, и пространство вокруг нас как будто становилось всё меньше. Нет, наверное, показалось. Но по мере того, как народу вокруг становилось всё больше, я вдруг понял: «Нет, не показалось». Такое же ощущение было и у моих товарищей, хотя вроде бы никто к нам не приближался и наши невидимые раньше соседи по-прежнему мирно курили свои кальяны и разговаривали, сидя на стульях возле своих домов. Но ощущение сужающегося круга становилось всё явственнее.

– Нужно выбираться отсюда, – сказал я. – Никто за нами не придет.

Тем временем наши как из-под земли выросшие соседи внимательно наблюдали за нами, как смотрят на чужаков или врагов. Этот город, где родился Святой Георгий, не раз встречал смерть и разрушения. «Израильская армия сумела покорить город, но покорить его жителей, похоже, не удалось и вряд ли удастся», – подумалось мне потом, когда я вспоминал ту историю и взгляды этих людей. Они всё помнят и не хотят ничего забывать. Говорят, что в самой крупной мечети города Дахамше долго, многие годы сохранялись огромные бурые пятна от крови, где погибли многие жители Лода, пытаясь найти здесь убежище от смерти...

Не слишком широкий выход со двора оставался свободным, и мы им быстро воспользовались – иди знай, сколько бы он ещё оставался открытым. Никто нас не преследовал и не пытался остановить. Но почему-то возникло ощущение, что тебя выдавливают как чужака, как врага. И невольно появился малодушный вопрос: «А почему именно я? Почему именно мы?»

– Да потому, – ответил я сам себе позже. – Потому что теперь это и твоя история, и твоя война, хочешь ты этого или нет. Поэтому придётся принять всё как есть. Если получится...

– Как ты думаешь, почему борясь за свою свободу, они убивают тех, кто ни в чём перед ними не виноват: едущих на работу или возвращающихся с работы работяг, уборщиц и нянек, не делая различий между гражданскими и военными, между взрослыми и детьми? – как-то спро-

сил я своего приятеля в самый разгар второй Интифады.

– А ты думал, что они лучше или умнее евреев? – с ехидцей ответил вопросом на вопрос приятель. Как мало порой нужно человеку, чтобы почувствовать себя полным дураком!..

Но подрядчик тот, конечно же, дерьмо. Это уж точно.

Вита

– Пойдём со мной, у нас слишком мало времени, – сказала вдруг неизвестно откуда появившаяся незнакомка. И хотя он чувствовал, что сил у него совершенно не осталось, Адам поднялся и пошёл за ней.

Он заметил её ещё вчера вечером на вечеринке у своего друга. С виду обычная женщина, невысокая, светловолосая, белокожая. На вид лет тридцать-тридцать пять, на лице написана вся повесть её жизни: надежды, разочарования, бесконечная погоня за новыми впечатлениями и удовольствиями. Она хочет нравиться и не стареть, мало спит, много суетится в жизни и всё хочет успеть, постоянно курит и часто пьёт, таким образом постоянно себя встряхивая. Старается выжать из жизни всё до последней капли.

Уже вернувшись домой, Адам никак не мог понять, что же было особенного в этой женщине и почему он продолжает о ней думать. Необычным было в ней лишь то, что весь вечер она оставалась одна. Редко когда женщина рискнёт появиться на публике без мужчины, и если всё-таки появилась одна, то что-то здесь не так.

Это было единственным событием за весь вечер, которое ненадолго возбудило в нём интерес. Ему почему-то казалось, что он уже очень давно знает эту женщину, едва ли не целую жизнь. Адам никак не мог понять, откуда у него это ощущение. Глядя на неё, он испытывал незнакомое прежде чувство: его тянуло к этой женщине как-то по-особенному, хотелось не обладать, а слиться с нею... Но в то же самое время он чувствовал себя выжатым лимоном, человеком, который в жизненной гонке уже не участник, а зритель.

– Насмешка судьбы, – подумалось ему. – Самую лучшую женщину в своей жизни я встретил именно тогда, когда уже ни на что не годен.

В глубине души он всю жизнь боялся любить по-настоящему, без оглядки, без страховки, не раздумывая.

– Любовь – это ведь зависимость, – оправдывался он перед самим собой. – Свобода важнее. А женщин, самых разных, вон их сколько!...

И всю жизнь он предпочитал любви её суррогат в виде коротких и не обязывающих связей.

Пока он размышлял над своею прожитой жизнью, женщина исчезла из его поля зрения, и, как он не искал её взглядом, не находил.

– Наверное, привиделось, – подумал Адам. Он ужасно устал, и всё его тяготило теперь в этом непонятном и ужасно неприятном состоянии.

На той вечеринке, против обыкновения, Адам держался особняком – ему ни с кем не хотелось говорить, и даже аппетита не было. Он испытывал странное чувство, которое точнее всего было бы назвать смертельной усталостью. Именно смертельной, когда вдруг появляется безразличие ко всему, даже к собственной судьбе. Ещё в самом начале вечера Адам заказал виски, чтобы встряхнуться, но ни бодрости, ни даже вкуса напитка не почувствовал и разозлился: мало того, что разбавили виски, так ещё и навалили в стакан целую гору льда.

Его бесконечные войны с официантами, директорами ресторанов и гостиниц были безрезультатны: любимые напитки Адама оказывались либо подделкой, либо разбавлены настолько, что вкуса уже не чувствовалось. Подделку он всегда чувствовал моментально и на чём свет ругал местный общепит, где жульничали и воровали внаглую... Так ему всегда казалось, и вообще он страдал подобием навязчивой мысли о том, что весь этот мир поддельный, а не настоящий. Он во всём подозревал обман или фальшь, будь то отношения с другими людьми либо общественные услуги, которыми он ежедневно пользовался.

Но сейчас ему было уже совершенно всё равно, настоящий этот мир или поддельный, разбавлен ли виски или нет. Что-то нехорошее происходило с Адамом.

Он с трудом дождался окончания торжественных речей и славословий в адрес хозяина, которые тот так любил, и, обняв друга, откланялся, сославшись на нездоровье.

Придя домой, он лёг спать и как только лёг в кровать, сразу же провалился в глубокий сон. Во сне ему снова приснилась та странная женщина. И он не только видел её во сне, но и ощущал запах её духов, волос и даже теплоту её тела чувствовал. Ощущения его были настолько явственными, что он проснулся и, открыв глаза, вдруг увидел её прямо перед собою.

– Пойдём со мной, – сказала женщина так, как будто пришла не к нему, а за ним.

Адам даже не спросил куда и лишь подумал:

– Как?... Ведь я устал настолько, что не в состоянии оторвать голову от подушки.

Вчера на вечеринке он вдруг впервые почувствовал себя гостем среди всеобщего веселья. То ли накопившаяся в течении всей жизни усталость разом дала себя знать, то ли из-за непонятной болезни, незаметно, но жадно пожиравшей его силы, он вдруг почувствовал ко всему полное безразличие. Даже на женскую красоту, ценителем которой Адам всегда себя считал, он откликнулся теперь уже как-то рефлекторно, лишь отмечая, что вот у этой женщины красивая фигура, а вон у той прекрасные глаза... И всё. Был Адам ещё совсем не старым человеком, но жизненная энергия в нём неожиданно иссякла, и он даже не заметил, когда и как это произошло. Началось всё с отдышки, но поначалу он списывал это на любовь к еде и спиртному.

– Один раз живём, – говорил он себе. – Какой смысл от чего-то отказываться?

Тем более что он всегда был уверен в том, что умрёт от чего угодно, но только не от болезни сердца. Ему нравилось рисковать, нравилось, что его ненавидят и боятся, хотя не раз ему чудом удалось остаться в живых, после того как богатые обманутые мужья клялись найти его и зарыть в асфальт. Окружающие предрекали Адаму, что умрёт он не своей смертью, и он был с ними согласен. Жизнь всегда казалась ему скучной, и он старался разнообразить её, как мог, с помощью авантур, злых шуток, флирта и бурных романов. Со временем Адам стал

чувствовать себя сценаристом, режиссёром и исполнителем главных ролей в одном лице. Он представлял себя то Робин Гудом, то Ходжой Насреддином, то ещё каким-нибудь легендарным героем легенд или сказок. Он настолько входил в роль, что уже и сам себя называл именем какого-нибудь сказочного героя, и вся его жизнь прошла в этих ролях, которые он сам для себя придумывал, сочинял для них сценарий и потом воплощал его, только не на сцене, а в жизни.

Но однажды, неизвестно как и почему, все сыгранные им в жизни роли показались ему незначительными, а придуманные сценарии – бездарными. И от этого у него возникло тяжёлое чувство напрасно прожитой жизни.

В житейском море он представлял себя кораблём, который ловко обходит опасные рифы, всегда достигая конечной цели. Адам старался жить всегда весело, играючись, не обременяя себя ни семьей, ни вообще оседлым образом жизни: менял города, а потом и страны. В конце восьмидесятых ему открылось огромное поле деятельности, и мошенничество стало его профессией. Он «кидал» банки и «лохов», основывая липовые конторы, предоставлявшие доверчивым простакам всевозможные услуги, начиная от трудоустройства и заканчивая «знакомствами с целью брака».

Действовал он как правило с кем-то, у него было чуткое обоняние, и, как только начинало пахнуть жареным, Адам бесследно исчезал, чтобы потом снова появиться на другом конце Земли и начать всё сначала.

Женщины буквально липли к нему как мухи на мёд. С ним им было весело и легко, потому что Адам знал бесчисленное количество анекдотов и забавных историй, не жалел денег на удовольствия, в которых знал толк, но умел быть и серьёзным, если надо – и помочь дельным советом в трудной ситуации. Правда, все его любовные истории заканчивались всегда одним и тем же, как и вообще все его начинания в жизни: Адам был ужасно однообразен при всей своей кажущейся оригинальности.

Остроту его жизни придавала постоянная необходимость скрываться от обманутых им людей. Это была игра, придуманная им самим;

игра, в которой он жил, иногда срывая крупный куш, а порой еле унося ноги. Правила этой игры придумал тоже он, и главным среди них был запрет чем-либо владеть в этой жизни. Но такое правило он установил для себя вовсе не потому, что хотел быть похожим на легендарных воров. Адам Адамович овладевал чужими жёнами и имуществом, чтобы почувствовать себя сильным, а избавлялся от своих владений, чтобы снова почувствовать себя свободным.

– Я в этом мире налётчик, – говорил он себе, довольный собственным остроумием. – Попользовавшись его благами, исчезну.

Вся его жизнь была чем-то вроде детской игры, в которую он продолжал играть, несмотря на уже совсем не детский возраст. Люди играют в игры не потому, что любят, а потому, что так легче жить – играючись. А может быть, людям просто нравится чувствовать себя детьми?

Последнее время, когда привычные удовольствия уже не доставляли ему прежней радости, он стал всерьёз задумываться о смысле своей жизни, и тут как раз появилась она.

– Как тебя зовут? – спросил он свою незнакомку.

Вместо ответа она внимательно посмотрела на него и улыбнулась, как будто говоря:

– Неужели ты так до сих пор не понял, кто я?

Она увлекла его за собой, а он покорно последовал за нею, ощущая тепло её тела, и, будучи не в силах совладать с собою, попытался обнять её прямо в длинном и узком коридоре. Но она, будто бесплотный дух, выскользнула из его объятий и увлекла дальше. Лишь когда они оказались в большой комнате прямо напротив друг друга и встретились взглядами, он наконец заключил её в свои объятия. При этом у него мелькнула надежда, что, может быть, всё ещё как-нибудь устроится и он проживёт сколько-нибудь...

Как это часто бывает с людьми, от внезапной радости или даже слабой надежды, он моментально переменял своё решение, и покорность судьбе тут же сменилась желанием жить во что бы то ни стало. Его поразил взгляд незнакомки: в её зрачках он как будто увидел отражение собственных глаз. На миг ему показалось, что это его собственные глаза, которые, как из зеркала, внимательно смотрят на него. Он обнял её так

крепко и в то же время нежно, как не обнимал никого и никогда в своей жизни. Она оказалась хрупкой и почти невесомой. Её хотелось оберегать и никогда уже не выпускать из объятий. Адам пожалел вдруг, что никогда в жизни по-настоящему не любил, и вот только сейчас...

Он тонул в её очаровании, находясь не то в бреду, не то во сне, лишь ощущая её дыхание и биение сердца. Почему-то удары её сердца становились всё слабее и слабее, и дыхание стало почти неощутимым. Тогда он почувствовал необъяснимую тревогу за неё, да так, что даже во рту у него пересохло от волнения.

– Что с тобой?! – всполошился Адам.

– Это не со мной, а с тобой, – ответила она, – я же предупредила тебя, что у нас мало времени. Его вообще нет.

И тут его вдруг озарило:

– Ты моя смерть? – спросил он.

– Я твоя жизнь, – ответила незнакомка. – А ты меня так и не узнал?

Ну конечно, как же он сразу этого не понял! Ведь в ней всё, что он так любил, всё, чем дорожил и так боялся потерять! Это его жизнь! Она так хрупка, так невесома... А существует ли она вообще, или это всего лишь сон?

– Куда ты так торопишься? – спросил Адам.

– Я тороплюсь на поезд.

– Поезд?!... Поезд – это ерунда, на нём можно ехать, когда хочешь, – пренебрежительно махнул он рукой.

– Ты ошибаешься, – сказала незнакомка. – Не время в нашей власти, а мы в его.

– Но я так толком и не узнал, кто ты, – сказал Адам. – Остайся со мною хоть ненадолго, чтобы я мог лучше тебя узнать, – попросил он.

– Разве у тебя было мало времени? Целая вечность была в твоём распоряжении, а заметил ты меня только сейчас, когда времени совсем не осталось. Ты ведь никогда меня не замечал.

– А сейчас я понял, что ты самое дорогое, что у меня есть. Ты единственное, что у меня есть.

– Ты не мог понять меня в течение вечности, а теперь надеешься узнать меня за те считанные мгновения, что нам остались?

– Прости, я совсем закрутился... Да, каюсь, слишком много времени я расстратил на всякую

ерунду. Но теперь, когда я начал искать смысл в своём существовании...

– Теперь слишком поздно. Да и что его искать? Ты ведь только что так страстно меня обнимал, так жадно вдыхал аромат моего тела, так стремился мною владеть... Теперь ты знаешь, кто я?

– Нет. Я знаю о тебе не больше, чем до нашей встречи. И я так и не наслаждался тобою.

– Так устроен человек. Мне пора, никто не станет задерживать из-за нас поезд.

– Остайся. Пожалуйста!

– Это невозможно.

– Хоть немного.

– Это невозможно.

– Тогда я запру тебя здесь, и ты навсегда останешься со мной!

– Попробуй, – лукаво предложила она.

Он попытался заключить её в объятия, но она выскользнула, прошла сквозь его тело как призрак. А может быть, это его руки вдруг стали неестественно лёгкими? Таинственная незнакомка удалялась по коридору, не убавляя и не прибавляя шагу, и, глядя ей вслед, он уже не мог наверняка сказать, была ли она в действительности, или это всего лишь его сон. Сил догнать её не было, но он упрямо продолжал преследовать её своими вопросами:

– Зачем же ты тогда пришла, если мне не дано ни понять тебя, ни владеть тобою?

– Разве ты не искал встречи со мною в своих исканиях? – с иронией спросила она.

– Скажи хоть, как тебя зовут?! – в отчаянии бросил он ей вслед свой последний вопрос.

– Вита, – ответила она, исчезая.

Адам остался лежать на полу в своей комнате, так и не узнав, был ли то сон, его фантазия, произошло ли это всё с ним наяву, или же вовсе никакой встречи с Витой не было.

Ключ

– Ключ, – сказала она, протянув руку и не глядя мне в глаза.

Я молча опустил в её открытую ладонь ключ от дома – единственное, что ещё связывало нас.

– Прощай, – сказал я, открывая входную дверь.
– Прощай, – ответила она, закрывая за мной дверь.

Я не видел её лица, лишь заметил, что она не то смахнула слезу, не то поправила волосы.

Всё. Конец эпохи в её и моей жизни. Сорок лет – начать всё сначала или, наоборот, закончить всё?

Выйдя из подъезда, я сел на холодную скамейку возле дома, достал из пачки сигарету и закурил, морщась от горького дыма.

Новая жизнь начиналась промозглым ноябрьским днём. Всё располагало к философии и воспоминаниям. И я вспомнил, как мы встретились. Тогда, увидев её, я уже ничего не замечал, кроме яркого платья на ней и развевающихся в танце золотых прядей волос. Время от времени я видел её яркие губы и блеск больших выразительных глаз. И я жадно ловил эти глаза и губы, как будто целовал их взглядом.

Потом она призналась мне: «Твои глаза так горели, что я уже никого кроме тебя и не видела».

А теперь всё в прошлом и уже навсегда. Никогда уже не будут так блестеть её волосы и глаза, и никогда я уже не буду смотреть на неё так же, как тогда. Никогда...

Сигарета быстро догорала. Сколько суждено гореть сигарете? Минуту, две?.. От силы три.

Эта дымящаяся сигарета напоминает мне человеческую жизнь, которая сгорает так же быстро.

Впрочем, спичка сгорает ещё быстрее.

Догоревшую сигарету бросают в урну, или прямо на серый асфальт, или в грязную лужу. Жизнь представлялась мне похожей на эту недокурную сигарету.

От грустных размышлений меня отвлек знакомый звонкий лай. Это была весёлая рыжая собачка, совсем ещё щенок. Она появилась в нашем дворе в самом конце лета, и с тех пор повсюду был слышен её звонкий лай.

Собачка была очень весёлая, чрезвычайно дружелюбна со всеми, лънула к детям, норовя лизнуть в лицо. Дети охотно играли с ней, но я не видел, чтобы кто-то из них кормил её. И тогда я стал прикармливать собачку. Жена, опасаясь за сохранность квартиры, категорически отказывалась брать её в дом.

И сейчас собачка возникла передо мной снова, такая же весёлая и наивная, и, приветствуя меня своим звонким детским голосом, самозабвенно ткнулась мне в ботинки. Я стал гладить её, а она всё норовила лизнуть мне лицо и при этом преданно смотрела прямо в глаза. Мы были с ней совершенно одни в этих ноябрьских сумерках.

«Наивная ты, – сказал ей я, – даже не знаешь, сколько в этой жизни грязи и зла. Оттого ты такая весёлая».

Впрочем, жизнь у неё была не сахар. Но тем не менее, она не унывала.

Она всегда преданно трусила за детьми и не обижалась, когда они топали на неё, отгоняя.

«И за что ты, дурочка, так любишь людей? – удивлялся я, – что хорошего они тебе сделали?»

Я поднялся со скамейки. Собачка преданно смотрела на меня. Она всегда ждала, что ей ответят такой же преданностью, с какой она относилась к людям. И раз за разом обманываясь в них, она всё равно продолжала верить в то лучшее, что есть в человеке.

Я посмотрел в её глаза и не смог уйти. Она смотрела на меня так, как будто от меня зависела её судьба. Смотрела мне прямо в глаза. «Пойдём со мной, я угощу тебя повидлом», – сказал я ей.

Она очень любила повидло, и я иногда её баловал любимым лакомством, несмотря на строжайший запрет соседа-собачника.

Собачка завизжала от восторга, как будто поняла мои слова, и помчалась впереди меня к моему новому жилищу.

Своё обещание я сдержал и в качестве десерта накормил собачку повидлом, хотя и знал, что для неё это вредно. Ну а что в нашей жизни не вредно?!.. И потом чем-то же надо себя травить, чтобы жизнь не казалось такой унылой.

Вот и травлю я: себя – сигаретами и коньяком, а её – повидлом из супера.

Она стала жить у меня дома, и я уже и не представлял себе, как жил до сих пор без этого рыжего комочка.

Каждое утро ни свет ни заря она будила меня своим звонким лаем и, страстно дыша, всё норовила лизнуть мою сонную физиономию. Я прятался от неё под одеялом, а она возмущён-

но гавкала, негодуя на мою лень. Съёмная квартира уже не казалась мне такой унылой.

По вечерам я сидел за компьютером и выстукивал свои опусы на клавиатуре, а моя рыжая красавица лежала на коврике у моих ног и мирно дремала. Правда, лежала она так недолго. Она была непоседой, везде совала свой любопытный носик и грызла всё подряд.

Она сжевала две пары моей обуви, и я в сердцах едва не отшлепал её ремешком. Я кричал на неё, как на вредного ребенка, но отшлепать её рука у меня не поднялась.

Иногда мы смотрели с ней телевизор, и тогда она восседала на старом диване рядом со мной. Квартиру мою она считала своей и требовала к себе всё моё внимание. Если я читал книгу или газету, она ложилась передо мной на спинку и требовала, чтобы я гладил ей животик. Если же я её отстранял, возмущённо, со слезами в голосе лаяла. Вот же женская натура!..

Чуть позже мы ходили в парк, где я общался с другими собачниками и собачницами, а моя рыжая красавица тем временем обнюхивалась и бегала на перегонки с другими собачками.

«Ну, хватит кокетничать, – говорил я ей, изрядно промёрзнув и скулив пачку сигарет, – пошли домой».

По мере того, как она росла, уже было непонятно, кто кого выгуливает: она – меня, или я – её, уже с трудом удерживая поводок.

Вместо своих специальных книг я теперь читал книги по собаководству.

Постепенно я стал привыкать к своей новой жизни.

Однажды позвонила жена.

– Ты не занят? – спросила она.

– Нет, – ответил я, – Что-то случилось?

– Ничего не случилось, просто хотела знать, как ты. Да и дети соскучились.

– Я тоже соскучился, – сказал я.

– Правда? – спросила она

– Конечно, правда, – ответил я.

– Я видела тебя с собакой. Эта та самая, наша собачка? – спросила жена.

– Да, та самая.

– Выросла, – констатировала жена.

– Да, – подтвердил я

– Ты забыл кое-что из своих вещей. Они, наверное, тебе нужны. Ты всегда можешь их забрать.

– Хорошо, спасибо.

– А хочешь, я сама тебе их принесу? Подумав, я согласился.

– Давай встретимся вечером, мы как раз выйдем на прогулку, – сказал я.

Она согласилась.

Видимо, она уже давно ждала нас, потому что успела продрогнуть. На ней была лёгкая курточка. «И как всегда без шапки», – про себя отметил я.

– Давно здесь? – спросил у неё.

– Нет, пару минут, – ответила она, улыбаясь.

– Как всегда без шапки, – проворчал я.

– Как всегда, – улыбнулась она. – А ты всё так же много куришь, – с нежностью заметила жена. В ответ я лишь развёл руками. Наши взгляды встретились.

«Глаза такие же, как и тогда, – подумалось мне. – И кожа такая же белая и нежная. Волосы, конечно, потускнели немного, но мне других и не надо». Мне вдруг снова захотелось её обнять. А она, как будто почувствовав это, приблизилась ко мне, почти уткнувшись в моё плечо.

Положив ей руки на плечи, я нежно привлек её к себе. Не знаю, сколько мы так простояли. Наконец она сказала, подняв на меня глаза: «Мы так совсем замёрзнем. Пойдём домой».

– У меня нет ключа, – сказал я.

В ответ она протянула мой ключ, глядя мне прямо в глаза. Её глаза светились счастливой улыбкой. «Как будто нам снова по двадцать», – подумалось мне. Наверное, она думала то же самое. Так мне, во всяком случае, показалось, когда я смотрел в её глаза.

– Но собачка будет жить с нами, – заявил я тоном, не терпящим возражений. Жена, тяжело вздохнув, прижалась к моему плечу.

– Ладно, – сдалась она наконец.

Всё это время собачка неподвижно стояла напротив и во все глаза смотрела на нас. Она как будто ждала приговора своей собачьей судьбе. И, лишь услышав слова жены, разразилась счастливым лаем.

Марина Чертогова



Чертогова Марина Юрьевна окончила живописное отделение Кемеровского областного художественного училища (1980), факультет теории и истории искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде по специальности «искусствовед» (1988). С 1981 года работает в Кемеровском областном музее изобразительных искусств. Прошла ступени профессионального роста – от научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Награждена медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Почетный работник культуры Кузбасса. Член Союза художников России.

Первый

(О творчестве художника
Александра Кирчанова)

Творческая судьба Александра Кирчанова во многом особенна. Представитель старшего поколения в искусстве Кузбасса, он стоял у его истоков и всегда был «первым лицом». Первым из кузбасских художников начал участвовать на всесоюзных и республиканских выставках, первым (как и П. А. Чернов) был принят в Союз художников СССР, первым был удостоен почетных званий: заслуженный художник РСФСР и народный художник РСФСР.

Если бы не мечта Кирчанова стать художником, все это кажется невероятным. В шахтерском крае, где он вырос и жил, в довоенные годы не было ни профессионального искусства, ни настоящих художников, ни специальных учебных заведений. Чтобы учиться, приходилось далеко уезжать, и не каждый мог себе это позволить: жили бедно. Тогда о специальном образовании не было речи, а потом война. Фронтовик Великой Отечественной Александр Кирчанов разделил участь своего поколения: сначала воевал, а по окончании войны, когда исполнилось двадцать семь, он посчитал, что учиться – поздно.

И все-таки, вопреки обстоятельствам, Кирчанов художником стал. Не сразу, понадобились годы труда. Еще в довоенное время он работал помощником художника-оформителя в клубе тракторной станции, затем – художником в редакции местной газеты «Кузбасс». Часто рисовал с натуры, самостоятельно. Потом по-настоящему повезло: в 1938 и 1941 годах по направлению Кузбасского краевого дома народного творчества Кирчанов занимался на семинарах для самодеятельных художников, которые

проходили в Москве, в преддверии Всесоюзных выставок народного изобразительного искусства. Практические занятия на семинарах вели известные мастера, классики советского искусства: И. Э. Грабарь, В. С. Сварог.

На этих семинарах занимался и художник Алексей Гландин, который впоследствии вспоминал: *«...я хорошо знал Сашу Кирчанова, мы с ним познакомились в 1938 году в Москве, куда были приглашены талантливые самодеятельные художники страны. Он уже тогда отличался быстротой работы, мастерством, все считали его самородком из Сибири. Трудолюбивый, упорный, настойчивый в работе, имеющий хватку, он всегда быстро выдвигался вперед».*

Вот и секрет успеха. Одного дарования в провинции мало – тут нужны личные качества. Они у Кирчанова были, и многое объясняют: и то, что сбылась мечта, и то, что достиг высот. Цельная натура, волевой характер, здоровое честолюбие – все удачно совпало, и Кирчанов стремительно наверстал упущенное, опередив всех. Работал не покладая рук, за что коллеги называли «двужилым», успевал все и везде, не пропускал ничего, что могло приблизить его к задуманной цели. Желая быть первым, он стал им.

Претензии амбициозны, но отнюдь не беспочвенны. Художник ставил и решал исключительно сверхзадачи. Следовал в русле большого стиля и ведущих тенденций советского искусства. Выбирал актуальные темы и придавал им значительность. Обращался к образу современника, отдавая предпочтение людям труда: шахтерам, металлургам, пастухам, дояркам, геологам, прорабам... Со временем он нашел свою тему в искусстве – аборигены Кузбасса, их самобытность, национальные уклад и традиции. Телеуты¹ стали героями творчества, а их образы – визитной карточкой мастера.

¹ Телеуты – небольшая народность, издавна живущая в долинах и на плоскогорьях Салаирского края, который находится в пределах нынешней территории Кемеровской области.

Характерен для Кирчанова выбор жанров: тематическая картина, портрет – они были самыми востребованными в советском искусстве. Для художника без академической школы это было не только трудно, но и рискованно – вдруг не по силам. Хотя сам Александр Николаевич об этом, пожалуй, даже не думал. Человек целеустремленный, уверенный в себе, он не сомневался, а действовал.

С самого начала Кирчанов утверждал себя как мастер картины и этим отличался от местных коллег, писавших пейзажи. Более того, как картины он трактовал остальные жанры, даже натюрморты, пейзажи. Его произведения чаще репрезентативны, словно готовились всякий раз для показа на выставках. Работа только с натуры художника не устраивала, хотелось большего – широкого обобщения. Эта тенденция стала вектором творчества и стремительно развивалась, набирая силу год от года.

Первые работы Кирчанова очень непритязательны. Они обращены к бытовым сюжетам, повествовательны и написаны в академическом стиле, уподобившем изображение сколку с действительности: «На сельском радиоузле» (1951), «У больной подруги» (1954). В конце 1950-х – начале 1960-х годов его жанровые работы уже лиричны. Отбирается самое характерное, а живописность, выбранная выразительным средством, преобразует обыденное в поэтическое: «Портрет Маши» (1957), «Осенние листья» (1958), «Телеутка с трубкой» (1959), «Девушка в красном» (1962). С конца 1960-х – в 1970-е годы ощущается влияние «сурового стиля». Произведения демонстрируют социальную типизацию образов и их романтическую приподнятость, монументальность пластических форм и широкую плакатную живопись: «Совхозный конюх» (1969), «Пастухи совхоза “Октябрьский”» (1974), «На трудной трассе. Портрет инженера» (1974). Особое место в этом ряду занимает «Дочь Салаирского края» (1968). Обобщение образа, доведенное здесь до предела, достигает высокого символического звучания.

Признание мастера, жившего в ногу со временем, имело широкий резонанс. Его знали не только в Кузбассе, но и далеко за пределами края, вплоть до столицы. Почти ежегодно он участвовал на самых престижных выставках: «По Ленинскому пути», «Советская Россия», «По родной стране», «Сибирь социалистическая». О нем писали московские искусствоведы, и выходили альбомы столичных издательств. Только у него одного в эти годы открылась в Москве персональная выставка. Местные коллеги ничем таким похвастаться не могли. Поэтому неудивительно, что представление об искусстве Кузбасса было связано, прежде всего, с именем Александра Кирчанова.

Первым Кирчанов был не только в искусстве, но и в общественной жизни. Человек мощного темперамента, активный и деятельный, он был лидером в творческом коллективе. На протяжении полувека определял политику в Союзе художников и судьбы самих художников. Не было такого вопроса, который бы его не касался или решался без него: участие художников в выставках, отбор и закупка произведений, получение наград, присвоение званий. У Кирчанова всегда были прочные связи с официальными лицами. Притом, что формально он только однажды избирался председателем правления Кемеровской организации Союза художников РСФСР (1965–1967). Такой полноты власти, какая была в СХ у Кирчанова, не добился никто из местных коллег – ни до, ни после него.

Авторитет этого человека был также высок и в широком профессиональном сообществе. Его неоднократно избирали делегатом съездов Союза художников СССР и РСФСР, членом Правления СХ СССР и Ревизионной комиссии СХ РСФСР. Он бессменно входил в зональные выставкомы и участвовал в формировании смотров «Сибирь социалистическая». Многие мэтры советского искусства были знакомы с ним лично, дружили, общались на равных.

Активная жизненная позиция, которую занимал Александр Кирчанов, сделала его легендарной фигурой. О нем чаще, чем о других куз-

басских художниках, упоминается в истории искусства нашего края, с его именем связаны наиболее значительные события художественной жизни 1940–1980-х годов, о нем чаще всех вспоминают его современники, и эти воспоминания – неоднозначны. В чем-то субъективны, лишены золотой середины: либо положительные, либо отрицательные, но всегда – одинаково категоричные.

Иначе и быть не могло. Только равнодушные не устранились и не выжидают, а наступают и действуют, поэтому ошибаются, не могут быть угодными всем. Такие люди быстро сгорают и раньше других уходят из жизни. Так и Александр Николаевич Кирчанов. Он умер задолго до срока – первым из кузбасских художников старшего поколения, печально продолжая свою традицию: быть первым.

Такова воля всевышнего – с ней не поспоришь. Каким бы ранним не казался уход Кирчанова, он был предопределен, и в этом даже есть сокровенный смысл. Шла перестройка – с ее нигилизмом и духом свободомыслия, стремлением к сепаратизму и ниспровержением всяких авторитетов, – приближались постсоветские времена, еще более разрушительные. Кто знает, как сложилась бы судьба Александра Кирчанова, проживи он дольше. Как сумел бы вынести неизбежное: распад СССР, а вместе с этим и уничтожение всей системы советского искусства, которой был искренне предан, в создании которой сам принимал участие. Художник советской эпохи, он жил с ней в полном согласии, органично и убежденно. Так и ушел – вместе с ней.

Положение, которое занимал А. Н. Кирчанов при жизни, обусловило то внимание, которым был удостоен после нее. В 1989 году в Кемерове открылся мемориальный музей художника. Он разместился в его мастерской и на правах отдела входит в состав Кемеровского областного краеведческого музея. В настоящее время это единственный в Кузбассе музей одного художника. Значит сегодня, равно как и прежде, Александр Николаевич Кирчанов остается среди художников «первым лицом».